Анатолий

Виноградов

Повесть о братьях Тургеневых

Осуждение Паганини

Анатолий Виноградов

Повесть о братьях Тургеневых

Осуждение Паганини

Лениздат · 1983

84.3Р7
В49

Текст печатается по изданию: *Виноградов Анатолий.* Избранные произведения в трех томах. М., ГИХЛ, 1960.

В $\frac{4702010200-085}{М171(03)-83}$ без объявл.

Повесть о братьях Тургеневых

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема исторического романа по-прежнему остается проблемой в силу того, что наша поэтика, теория жанров и стилей пока ограничивается лишь общими теоретическими указаниями, исходящими от максимы ученого исследователя: *«История есть политика, опрокинутая в прошлое»*. Это недостаточно и не во всем верно.

Мы не намерены касаться здесь теоретических вопросов: нас интересует *литературная практика*. Пользуясь доступностью частных, семейных и государственных архивов, мы берем нетронутый угол прошлого и пытаемся практически разрешить на микроскопическом сегменте задачу воссоздания этого прошлого в той мере, в какой малый сегмент является частью огромного круга проблем, объясняющих необходимость сегодняшнего дня. *Объяснение не есть оправдание.* Нынешний блестящий день человечества, организовавшегося на гигантских пространствах, равных одной шестой части всей суши, в социалистическое общество, не нуждается в оправдании. Скорее обратно: качество прошлых дней мы оправдываем готовностью к нынешнему. Именно с этой точки зрения мы с интересом останавливаемся на некоторых фигурах прошлого.

Семья — отец, мать и четыре сына Тургеневы впервые становятся объектом исторического романа. Каждый из персонажей по-своему интересен, но, конечно, наиболее яркой фигурой, с точки зрения исторической ценности, является Николай. Старик Иван Петрович Тургенев, воспитанный в идеях гуманности масонов, друг республиканца Радищева, его жена Екатерина Семеновна — крепостница и кнутобоица, красавица с арапником, щадившая борзую и налагавшая красные полосы на спины малолетних детей,— вот первая коллизия, мучившая первое сознание молодых Тургеневых. А дальше *«нищета миллионов и богатство счастливой тысячи»*, александровская сентиментальность и аракчеевское зверство, истинно русское «хамство» блевоти-

на расейского вихрастого парня с гармошкой» и «блестящие интеллекты Германии, Франции и Англии» — все эти противоречивые впечатления не могли не произвести переворота, мучительного и долговременного, в умах тургеневской молодежи. Но каждый из четырех братьев по-разному воспринимал жизнь; по-разному предъявлял ей требования. По мере сил изображая эту неодинаковость, автор стремился к равновесию, но уже в силу того, что Николай сделался в молодых годах «преступником царской России» и *пережил* на своем большом сложном и интересном пути *всех братьев*, его судьба, естественно, выступила в нашей повести на передний план. Николай Тургенев родился в трагический 1789 год, когда грянул освежающий гром Великой французской революции — молодая буржуазия, свергнув дворянство руками трудящихся, сама становилась у власти. Тургенев умер в 1871 году, когда окрепший пролетариат Парижа впервые в открытом бою сделал попытку отнятия власти у буржуазии. Чрезвычайно интересна судьба Николая Тургенева и его брата Александра — двух растений, сорванных с родной почвы разливом великих исторических рек и проведших цветущие свои годы «без корней у чужих берегов». Не потому ли их судьба при всей яркой и пестрой прихотливости была судьбой почти бесплодных растений — глубоко трагической судьбой добровольных изгнанников, скитавшихся под зноем и дождями европейской погоды XIX века?

Несколько слов по поводу «исторической правды». В тех случаях, когда события двух-трех лет не находились во взаимной причинной связи, мне приходилось описывать их в плоскости одновременной, чтобы *необходимым* материалом не растягивать *излишне* повествования. Кроме того, по ряду композиционных соображений мне необходимо было свести в одном месте персонажи, которые в данном году фактически отсутствовали в Петербурге. Еще двум второстепенным лицам пришлось прибавить возраст года на *три*; я сделал это для того, чтобы не прибавлять к повести лишних страниц — главы на *четыре*. Это существенно не изменило той внутренней правды, которая является обязанностью пишущего. На эту тему я не желаю спорить. Я не желаю также спорить на тему о том, нужно или не нужно было вводить в мою повесть всю массу неудобоваримых и еще на многие годы дискутабельных характеристик разных групп *«исторического декабризма»*, групп, составляющих предмет школьного исследования.

Я не проводил своих героев через «Знаменитые годины» XIX века, стараясь не попасть в положение сісего-

пе — проводника туристов по знаменитым местам и историческим зданиям.

Я согласен спорить и защищать свою характеристику Николая и Александра Тургеневых. Я настаиваю на связи русского масонства и политических обществ с *«большой европейской Карбонадой»,* вслед за Кампером. Идеи и практика, сущность и ритуалы тургеневской конспирации были и оставались *«импортными моментами».* Николай Тургенев, в сущности, не был декабристом в историческом значении этого термина. Документы прочитанного мною тургеневского архива настойчиво говорят о том, что оба брата были и оставались «поздними розенкрейцерами» — масонами высоких степеней.

Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, давшее такую яркую картину истории, ни в какой мере не было делом рук Николая Тургенева, тем менее Александра. Трудно сказать, как сложились бы события, будь Николай Тургенев в России. При его жесткой прямолинейности, большой и отчетливой планомерности действий, «14 декабря» или не было бы вовсе, или династия Романовых могла бы найти себе конец. Политическая потенциальная сила Тургенева волею истории была лишена проявления и динамики.

«Опыт теории налогов», по мнению М. И. Покровского, был сводкой классических воззрений «политической экономии, на которых воспитался и Маркс». Но политическая система Н. И. Тургенева, при всей своей жизненной новизне, имела перед собой действительность, ставшую *против.* Из этого нельзя делать отрицания системы, как из неуспеха какой-нибудь паровой машины Герона Александрийского в рабовладельческом эллино-римском мире нельзя делать ни отрицания самого факта изобретения, ни значения повторного ее изобретения в другую, более благоприятную эпоху. Меня, беллетриста, заинтересовала вся семья Тургеневых как трагических личностей. В одном случае они обогнали свое время и оторвались от широкой среды, в другом — после 14 декабря они роковым образом оказываются позади тех, кого когда-то звали за собой. Сделав свое дело, Н. Тургенев не только не увидел осуществления своих замыслов, но даже вынужден был от них отречься отречением Галилея. В истолковании этого явления мы видим глубоко поучительный пример того, с какой легкостью иногда выпадает ценное и необходимое звено при механически понимаемом процессе и как это звено закономерно укладывается в исторические связи при диалектическом понимании истории.

Я не считаю возможным спорить о правильности и пригодности для беллетриста так называемой «Оправдательной записки» 1827 года. Эта (равно как и другая редакция «оправданий») всецело вынужденная записка Николая Тургенева представляет собою смесь юридической софистики французского адвоката Ренуара, стилистических двусмысленностей Проспера Мериме и, самое главное, психологической беспомощности большого человека, попавшего в страшную николаевскую западню. Трудно судить о человеке вообще, если брать только то, что он напишет под дулом револьвера или под топором палача в свое *«оправдание»*. Во всяком случае, такая *запись* никак не может считаться исчерпывающим документом всей жизни Николая Тургенева. Достаточно с меня того, что его «Оправдательная записка» оправдана исторически как документ научный и нисколько *не оправдывает* возлагаемых на нее надежд, как только дело идет о живых образах для бытописателя-беллетриста.

Я не имею нужды утруждать читателя перечнем материалов, которыми я пользовался. Некоторые из них все еще мало доступны. Публикуемое в ближайшее время исследование дает мне несколько бо́льшие возможности коснуться вопроса о материалах.

Последнее сомнение, которое довелось мне услышать по поводу моей повести: Александр Тургенев якобы «расстался с дворянскими симпатиями и ринулся навстречу молодой буржуазии». Надо сказать, что Александр Тургенев был довольно сложной фигурой, несмотря на черты поверхностные и неглубокие. После тяжелой семейной катастрофы Александр Тургенев в качестве скитальца искал самых разнообразных европейских встреч — он записывал анекдоты Проспера Мериме, любезничал с Виктором Гюго, спорил с Бальзаком о Сведенборге, дружил с карбонарием Андрианом, часами беседовал с бабувистом Буонарроти, путешествовал со знаменитым Стендалем, вместе с Лерминье посещал беседы сен-симонистов. Однако в день скандала́ на лекции Лерминье, произнесшего контрреволюционную фразу, Тургенев под натиском возмущенных студентов принужден был выскочить из окна вместе с лектором и с приятелем своим Петром Андреевичем Вяземским. Александр Иванович бывал всюду, но христианнейшие салоны Свечиной или Рекамье с Шатобрианом, или легитимный салон Виргинии Ансло всегда притягивают его отовсюду, несмотря на то что Николай пишет ему: «Шатобриан бредит... не хочу помощи Гизо». После Июльской революции в Париже, когда мэр департамента Сены Одилон

Барро открывал своей речью буржуазный клуб «Атенеум», с какой едкой иронией Александр Тургенев передает в дневнике речь оратора, захлебывающегося от восторга по случаю того, что французские купцы и банкиры — «соль земли», стали у власти! Это презрение к буржуазии, сменившей феодальную Францию, звучит в устах Александра Тургенева реакционно. Можно было отводить душу даже с представителями европейской Карбонады новой формации: спасшимся из тюрьмы Андрианом или учеником Бабефа, Буонарроти!

Для тех, кто заинтересуется судьбою тургеневского наследства, сообщаю, что последний представитель тургеневской семьи Петр Николаевич Тургенев передал весь архив Академии наук уже в нынешнем столетии.

Пострадавший на вилле Вербуа в год франко-прусской войны от солдатского сапога, этот архив еще более пострадал от рук неряшливых представителей науки: один, работая над изданной частью архива у себя на дому многие годы, так и умер, не пожелав сдать документов, а другой, бежав за границу, частью бросил на произвол судьбы, а частью *украл* ценнейшие документы из тургеневской переписки. Автору настоящей повести известно, что третий ученый виделся в Париже с беглецом, но желательных для *нашей родной советской* науки последствий это свидание, очевидно, не имело.

В заключение считаю радостным для себя долгом выразить горячую благодарность М. Горькому, без внимательной заботливости которого я не мог бы осуществить замысел этой повести.

Анатолий Виноградов

Глава первая

Верстовые столбы мелькают по дорогам. Пошатнувшиеся и истертые осями почтовых карет и брик, они меряют версты за верстами от Москвы до самого Симбирска. А посмотришь из окон Тургеневки на другую сторону Волги, и кажется, что кончилась Россия, или уж, во всяком случае, географическая Европа кончилась. Дальше, от заволжских степей, где-то несутся сухие пески. Кончаются леса, и глядят через широкую, плавную Волгу глаза азиатского Востока. Там и москвич, и ловкий ярославец, и калужанин, и туляк, и Рязань хоть и чванятся как хозяева, но все-таки они чужаки. Чуваш и черемис, татарин и старые, непонятно откуда ведущие свой род болгары, а иногда киргизы, пригоняющие конские косяки в десять — двадцать табунов,— вот настоящие хозяева края.

Когда маленькие Тургеневы вышли, заспанные и усталые, из старой екатерининской дормезы, они не сразу огляделись и не сразу признали Тургеневку своею.

— В Киндяковку поедем завтра,— сказал отец.— Да и то, ежели кости ломить не будет.

— Уж ты посиди хоть недельку, я сама поеду,— ответила своенравная супруга Катерина Семеновна, рожденная Качалова.— Тебе, Иван Петрович, спешить некуда. Раз ты меня однажды не послушал и своих масонов не бросил, за что пострадал, то уж хоть теперь-то возьмись за ум,— все равно Москвы не видать тебе, как ушей своих.

Одиннадцатилетний Андрей, старший сын Ивана Петровича Тургенева, внимательно вслушивался в родительские пререкания. Немец Тоблер, учитель, подошел и сурово приказал ему подниматься в мезонин.

Вид оттуда чудесный. Зеленые степи на другой стороне с озерами и песчаным берегом Волги. А здесь огромные фруктовые сады над крутым и обрывистым берегом перемешиваются с дубовыми рощами, бегущими лентой от са-

мого Нижнего и дальше к западу окаймляющими берега Оки.

— Здесь очень красиво,— сказал маленький Саша Тургенев по-немецки.

— Александр, раздевайтесь, идите умываться, потом успеете насмотреться в окна. Боюсь, что окна будут мешать занятиям,— сказал Тоблер.

— Здравствуйте, дорогой барин, отец меня к вам послал на услуженпе,— сказал красивый четырнадцатилетний мальчик, останавливаясь в дверях.

— А как тебя зовут? — спросил Александр.

— Василий,— отвечал мальчик.— Мы вашего батюшки рабы.

— Нет, Вася, у моего батюшки рабов нету.

— Как же так нет? — отвечал Василий.— Они на Волге, можно сказать, главный хозяин. Весь Симбирск их знает.

— А ты меня, Вася, барином не зови. Будем играть вместе,— сказал Андрей.

Александр подхватил слова старшего брата, и трое мальчиков пошли переодеваться с дороги.

Перед обедом, часа за полтора, Катерина Семеновна вошла в кабинет Ивана Петровича. По решительному виду жены Иван Петрович почувствовал, что разговор будет серьезный. И действительно, с первых слов тон Катерины Семеновны был самый решительный.

— Хочу тебе, Иван Петрович, по душам словечко сказать. В Москве не до того было. Я уж видела, что государынин гнев тебя к земле пригнул. Ну, тут не Москва и не Петербург, тут ты согласись к делам не подступать и моих холопов не портить.

— Что вы, что вы, Катерина Семеновна, разве я вашему хозяйству перечил? Об одном лишь вас попрошу — не забывайте о милосердии и справедливости к рабу, ибо раб есть не меньше человек, нежели члены других сословий государства, а в послании Иоанна-масона сказано...

— Ну, батюшка,— резко оборвала Катерина Семеновна,— я думала, что ты свою масонскую белиберду в Москве за Рязанской заставой оставил, ан выходит, до самого Симбирска довез! Мало тебе, что как ссыльного в деревню согнали; мало тебе, что друга-приятеля Новикова в крепость посадили, а этого крамольника Радищева в Сибирь под конвоем отвезли; мало тебе того, что уж совсем хороший человек Иван Владимирович Лопухин под надзором

полиции в Москве живет; мало того, что ты с семьею Москвы, как ушей своих, не увидишь,— ты еще здесь мне мужиков вольнодумством портить хочешь! Какое ж это будет хозяйство, ежели у тебя в голове крамольное настроение вместо дворянского ума...

— Катерина Семеновна, оставьте, матушка, перебранку. Нравственное совершенствование есть истинный долг человеческий, и я об одном прошу вас, чтобы в имении нашем не было телесных наказаний.

— Как? Что? — наступала Катерина Семеновна.— Я и твоего любимца, пропойцу Пафнутку, выпороть не могу? Да ты, Иван Петрович, ума рехнулся? Знаешь ли ты, что Щербатова рассказывала мне в самый день прощания нашего с Москвою, что вот из-за этих самых вольностей в мыслях французы короля сместили, что у них бунт и резня, что голоштанники в правители полезли. Мало тебе Пугачева?

— Эх, матушка, пороли б меньше, Пугачева бы не было. А французы от нас далеко.

— Далеко, говоришь, старик, а знаешь, какие мысли Александр в голове держит, что он-де во Франции учиться наукам будет. Это мне Тоблер сказал. На горох мальчишку поставлю. Жаль, что тебя, старого, на горох поставить нельзя.

Иван Петрович беспомощно развел руками, словно сам удивляясь невозможности стояния на горохе.

Катерина Семеновна, когда-то замечательная красавица, дама сухая и строгая, отличалась свободною плавностью манер и полновластной осанистостью. Иван Петрович, сияющий, как солнце, в кругу своих друзей — Карамзина, Дмитриева, Радищева, Новикова, Лопухина, Фонвизина — угасал при малейшем выражении недовольства своевластной супруги. И в Москве и в деревнях он пытался всячески облегчить участь крепостных, попавших под тяжелую руку Катерины Семеновны, но делал это тайком, с боязливостью, не внушавшей никаких надежд его невольным подзащитным. Для крестьян Иван Петрович был просто приживальщиком и нахлебником, не смевшим перечить истинной хозяйке — Катерине Семеновне. Хуже всего было то, что мысли о заграничном воспитании детей были взлелеяны самим Иваном Петровичем и он знал, что рано или поздно придет время для серьезного разговора об осуществлении этого воспитательного плана.

Гнев императрицы Екатерины обрушился как снег на голову и был истинной катастрофой. В Европе закачались троны. Герцог Брауншвейгский приглашал государей к по-

ходу на Париж и к сожжению мятежного города. «Вольтерьянские цветочки» превратились в «красные ягодки» французской революции. И многим приходилось расплачиваться за увлечение Вольтером. Плохо пришлось и самой Екатерине. Вольтер был ее корреспондентом. В глазах царицы и крепостного дворянства именно Вольтер и авторы Энциклопедии были отцами революции. Катерина Семеновна с негодованием видела в словах Ивана Петровича зародыши мятежа в ее собственном семействе, а спокойный и благодушный член общества вольных каменщиков, масон Иван Петрович Тургенев, отставной полковник Ярославского пехотного полка, конечно, ни о какой революции не думал. Страшился он ее так же, как и другие дворяне. Масонское стремление к нравственному совершенствованию казалось ему необходимой помощью христианской религии, и ни о каком переустройстве не только мира, но и своей усадьбы Иван Петрович не думал. Одного он хотел добиться, это — чтобы Катерина Семеновна запретила побои и отменила телесные наказания. В Москве это ему удалось, в деревне опальный масон почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. Что можно было сделать? Детям внушить отвращение к рабству. Делать это надо исподволь, не тревожа Катерины Семеновны педагогическими домыслами, благо она сама науками мало интересовалась, предоставив это дело целиком Ивану Петровичу. Он все-таки пытался слабо возражать, но Катерина Семеновна решила нанести главный удар.

— Хорошо ли старику говорить неправду? Я еще в Москве тебя спрашивала о причине царского гнева — ты все от меня укрыл. Ну, так знай же, что мне доподлинно все ваше безумство известно. Пожалел бы семью, старик!

Глава вторая

То, что было предметом двухлетнего молчания между супругами, внезапно стало темой неприятного разговора. Приятель Ивана Петровича Тургенева, Александр Николаевич Радищев, пропутешествовал из Петербурга в Москву, побывал в сотый раз у Тургеневых, потом приехал к себе и описал свое путешествие. Да даже не одно путешествие. Чего тут только не было! Тут была и ненависть к царям, и оправдание крестьянских восстаний против помещиков. В этой книжке Радищев выступал как пламенный республиканец. Он призывал к разрушению царской России, к ниспровержению огромной империи, из развалин которой

должны, как малые светила, возникнуть свободно соединившиеся в большой союз вольные республики.

Из недр развалины огромной
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег, —
Возникнут малые светила.
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцом.

Итак, слепой народ, по слепоте своей, самодержавного волка считал своим отцом. Но, проснувшись и прозрев, он неминуемо этого волка задавит. Так писал Радищев в своей книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

Как могла появиться такая книга при царице Екатерине II? Для многих потом это было непонятно. Для Катерины Семеновны непонятно было, как с этаким человеком мог дружить Иван Петрович. Правда, книги она тогда не видала. О Радищеве слышала очень ко́ротко и смутно, знала, что он арестован.

А происходило это вот как. Императрица любила поиграть с огнем. Вступила она на престол, прикончив своего слабоумного мужа, в надежде, что из незнатной немецкой принцессы воля истории превратит ее в либеральную царицу азиатской страны. То, что едва успела она прочесть в библиотеке своего отца, немецкого генерала, довольно сильно вскружило ей голову. Приехав в Россию в качестве супруги Петра III, больше всего любившего потехи с деревянными солдатиками на огромном столе и расстрелы горохом крыс, повешенных за лапки, Екатерина Ангальт-Цербтская почувствовала некоторое головокружение от обилия власти и применения личных способностей. Сбить с престола своего супруга было делом легким. Чем дальше, тем больше убеждалась принцесса, ставшая императрицей, что управлять страною неученых дворян тоже чрезвычайно легкая и забавная штука. Но хотелось прославиться. На Западе не было крепостного права, не было холопства. И вот она затевает переписку с философами, Вольтером и Дидро. Дидро приезжает в Петербург, осматривает все диковинки екатерининских построек и говорит, что уж очень велико несоответствие между счастьем одного человека и несчастьями миллионов. Екатерина созывает своих дворян, пишет им наказ для составления проекта нового государственного уложения. Небывалый случай в Европе: в варварской стране, построенной по образцу древних восточ-

ных деспотий, императрица созывает депутатов для того, чтобы после многих веков молчания населения услышать какой-то его голос. Екатерининский наказ печатается на многих языках и, как это ни странно, царский наказ, пришедший из России, получает полное запрещение и сожжение в странах Западной Европы.

В 1766 году двенадцать молодых дворян отправляют в Лейпциг учиться для того, чтобы впоследствии сделать из них усердных и знающих чиновников царской России. Среди них — приятель Ивана Петровича, молодой Саша Радищев. Двенадцать молодых дворян едут в сопровождении фельдфебеля Бокума, который смотрел на своих питомцев, как на клетку путешествующего зоологического сада. Он сажал их в карцер, лишал обедов, заставлял голодать по суткам и по двое. Однако он не мог влезть к ним в головы и не мог остановить течения свободолюбивых мыслей своих воспитанников. Однажды, применив к молодому Александру Радищеву способ физического воздействия, он в ответ получил звонкую пощечину и упал на пол. В городе Лейпциге Бокум в ответ на оскорбление потребовал применения к русским ученикам военной силы. Все студенты были арестованы и наказаны, как государственные преступники, заключением в темных казематах, пока не узнали о всех кражах и жестокостях Бокума и его не сместили. Самая главная наука, которую прошел Саша Радищев, была наука о том, что люди родятся равными, что у них есть естественные, прирожденные и неотъемлемые права, что государство образовалось путем общественного договора вольных людей, которые свою неограниченную свободу, данную от природы, ради общего блага ограничивают законами гражданскими, но лишь до той поры, пока эти установленные людьми гражданские законы не обращаются во зло людям, и тогда граждане имеют право насильством и кровопролитием эти законы низвергнуть. Законы человеческой массы и свобода человеческого общества столь же естественные вещи, как дыхание воздухом или глядение на свет солнца. Два философа были любимым чтением молодого Радищева. Это — Руссо и Мабли. С этими мыслями, с их учением возвращался он в 1771 году в Россию. Он был охвачен безумным и пламенным порывом «всего себя отдать на пользу отечества», он был уверен, что раз их, двенадцать, послали учиться этим наукам, то, значит, несмотря на казематы Бокума (которого все-таки сместили — справедливость восторжествовала!), возложена на них трудная, но почетная задача. Вернулся, снова встретился с сердечными друзьями — Иваном Тургеневым, Ло-

пухиным, Новиковым. Подал им знак посвящения в масонскую ложу, встречен был как брат младшей степени без особых клятв и церемоний, а дальше начались путешествия из Петербурга в Москву.

Через два года любознательная императрица создала «Общество переводчиков», чтобы переводить любопытнейшие сочинения с иностранных языков на русский. Опять приглашен Саша Радищев. Вызвали его, спросили: «Что хочешь переводить?» — «Хочу перевести «Размышления о греческой истории» аббата Мабли». Любимые мысли Радищева — полное равенство людей, передача земли в национальную собственность, одинаковые законы для всех. Не довольствуясь переводом, Радищев дает примечания, в которые вкладывает гораздо больше, чем думал сам автор. Иван Петрович читает и выхваляет: «Хорошо, Саша, правильно пишешь, но как мы с тобой слово «деспотизм» объясним?» Не спеша очинив гусиное перо, Радищев пишет: «Деспотизм есть *самодержавство* — наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

...И, откинув перо, берет очередной номер «Ведомостей» и читает газетные объявления:

Продается малосольная осетрина, семь сивых меринов и муж с женою.

А дальше в следующей колонке не менее красноречивое объявление:

Продаю одиннадцати лет девочку и пятнадцати лет парикмахера. Да сверх сего четыре кровати, перины и прочий домашний скарб.

— Каковы объявленьица! — восклицает Радищев, глядя прямо в глаза Ивану Петровичу.

В эту минуту вошел Лопухин и сказал:

— Товарищ, и ты, брат, в стране нашей неблагополучно, неведомый поднялся за Волгой и возмутил вихрем вольности столетия дремавших рабов.

То были первые вести о страшной, кровавой грозе пугачевской. Радищев и Тургенев встали.

— В стране, где две трети населения в законе мертвы, разразится гроза опасности и гибели. Ждут случая и часа, колокол ударит, и пагуба зверства разольется быстротечно. Что ты хочешь, Лопухин, смерть и пожигание будет ответом на нашу суровость и бесчеловечье.

С этого дня начались тревоги и волнения. Под именем Петра III, убитого мужа императрицы, поднялся старый,

вековечный самозванец русский и пошел жечь города и села, протянув кровавую руку призрака к императорской короне. Вольтер и Дидро посмеивались тихо. Нахмуренная царица, выходя утром из опочивальни, приказала Вольтерову статую выбросить в подвал. Потом, позвавши Анну Степановну Протасову, спросила:

— Ну, что, каков?

— Не годится, матушка, второй ночи не выдержал.

— Отправь его тогда на съезжую.

Разговор короткий, но многозначительный. Анна Степановна — крепкая и свирепая женщина — по приказу царицы всегда брала на трехночное испытание намеченных императрицей людей, прежде чем допустить их к царской опочивальне в китайском шлафоре и с книжечкой в руках, якобы для чтения у благочестивейшего царского ложа.

Эта неудача с избранником огорчала императрицу не меньше, чем слух о взятии Казани Пугачевым.

«Что это за несчастье! — думала она по-немецки.— В один день две неприятные вести. Одно дело — красиво сказать, а другое дело — затеять мятеж. Никто не может сказать, какой ад живет в душе русского мужика».

Императрица стояла в Мельбрунском павильоне; перед окнами кипела, покрываясь белыми барашками, широкая Нева. Золотой тончайший шпиль Петропавловской крепости купался в ясном, светло-синем воздухе. Мягкий свет тысячею брызг дробился в хрустальных подвесках тридцати тысяч граненых хрусталинок на люстрах Мельбрунского павильона. Белые стены, белые мраморы пола, белые раковины под фонтанами, ручейками нежно журчащей воды,— все купалось в том же воздухе двусветного павильона. Ажурные мраморы перил легко взлетали на верхнюю галерею, зеленые мирты, штамбовые розы и шары лавровых деревьев смотрели на мраморах, словно поздняя зелень на раннем снегу. Под роскошным стеклянным балдахином огромный золотой павлин с часами князя Потемкина-Таврического махал крыльями и выкрикивал полдень. Пушка на крепости стрельнула точно, правильно. Механизм государства идет безошибочно. А вот Казань взята, и фаворит оказался непригоден. А какой широкоплечий, красивый и стройный! Что же это за напасть такая — Протасихи не выдержал! Что же это за напасть такая — умерший в Ропше супруг вдруг ожил и двинулся с войском на Москву. Императрица была очень недовольна. Перекусихина Мария Саввишна и камердинер, Захар Константиныч, по нечаянности вместе вошли в Мельбрунский павильон. Оба, причастные к ночным бдениям царицы, не имели других

намерений, как отремонтировать закусочный столик, застрявший по дороге и не ушедший под пол. (А полагалось, чтобы прислуга по ночам не входила в Мельбрунский павильон. Все подавалось механизмами из-под полу.) Императрица разгневалась нечаянным посещением. Звонкая пощечина Перекусихиной обратила в бегство также и ее сотоварища.

— Не смей неделю в Эрмитаж показываться, паскудница! — закричала царица.

Политическая катастрофа охладила эту женщину к ночным приключениям, но потом начались успехи. Неорганизованные пугачевские массы таяли в заволжских степях. Вместе с жестокостью, проявленной к помещикам, появилась крестьянская холопливая угодливость, спасавшая господ и выдававшая пугачевцев. Шли с именем «законного» царя против «незаконной» царицы. А императрица, почитавшая себя законной государыней, разбивала беспорядочные группы повстанцев и овладевала важнейшими местами их сборов. Вместе с тем какая-то счастливая истома овладевала молодой царицей. Любовные удачи ее были неисчислимы. Молодой называла она себя не только сама, но и те, кого в китайском шлафоре приводил Захар Константиныч к опочивальне царской. Месяцы проходили, и портной не успевал пошивать золоченые флигель-адъютантские мундиры, шляпы с плюмажем и брильянтовым аграфом едва успевали отвалять искусные шляпники. Каждое утро Захар Константиныч являлся в новые покои нового фаворита, поднося ему флигель-адъютантский мундир и шляпу с брильянтовой застежкой. Так прошли годы.

Глава третья

Наступил 1790 год. Обстоятельства во Франции были раздражающие. Пришла весть, что парижские горожане гурьбой пошли на старинную Бастилию — мрачную крепость в середине Парижа, в которой издавна томились политические заключенные, мечтавшие о республике и свободе. С оружием в руках овладев крепостными валами, потребовав спуска крепостного моста, они ворвались в тюремные камеры в надежде освободить заключенных. К тому дню их всего оказалось два человека, но тюрьма внушала так много ненависти, что парижане решили ее разрушить. Оказалось, что в самый трудный момент осады Бастилии двое молодых людей с фузеями и байонетами[1]

[1] С ружьями и штыками. (*Примеч. автора.*)

кинулись в перестрелку. Русская императрица гневалась, так как эти двое оказались князьями Голицыными. Гнев ее был безграничен, когда, в размышлениях о голицынской измене, она взяла книжечку, забытую лектором-любовником на мраморном столике опочивальни. Книжечка в ярко-зеленом сафьяновом переплете, тисненная золотом, называлась «Путешествие из Петербурга в Москву». Захар Константиныч не позаботился узнать, что за книжка, просто вложил в руки фавориту самую последнюю книжную новинку безыменного автора, новинку, посвященную вопросу о простых вояжах, так как императрица «зело любила путешествия». Ночью было не до чтения, а утром, когда Перекусихина осторожненько, за ручку, вывела фаворита, книжка оказалась на мраморном столике, неподалеку от царского ложа. В размышлении о суетности своих успехов и о превратности судьбы французов, Екатерина взяла в руки эту книжечку. С вечера было у нее плохое настроение. Петербургские дворяне без всякого стыда и совести иллюминовали свои дворцы и пускали фейерверки «по поводу взятия Бастилии и падения тиранства». Пора переменить политику. Но вот, читая строчка за строчкой красиво описанный сон Радищева, она скидывает одеяло и в сорочке, почти упавшей с плеча, встает гневная и яростная. Писателю представилось, что он «царь, шах, король, бой, набоб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле». К престолу подходит женщина-истина. Подошед к царю, сняла с глаз его толстую пелену и заявила, что доселе ей не приходилось бывать в царских чертогах. «Ведай,— говорит истина царю,— ты первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общей тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если запустеет мир».

— Да ведь это оскорбление величества! — восклицает, читая, Екатерина и читает дальше:

— «Военачальники, посланные на завоевания, утопают в роскоши. Солдатам жизнь хуже, чем скоту. И казна, отпускавшаяся солдатам, прилипает к рукам начальства. Флот, отправленный против неприятеля, бездействует, а начальник его нежится на мягкой постели с любовницей. Народ называет верховную власть обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом».

Голубые глаза царицы загорелись яростью, дыхание стало затрудненным, нижняя губа отвалилась, румянец, покрывавший щеки после горячей ночи, вдруг сменился смертельной бледностью. Тридцать страниц прочитала — и

никакой пощады. Швыряет книгу на пол, дергает сонетку с таким гневом, что шнур обрывается. Сонетка, как разбитая склянка, звучит коротко и падает на пол с жалким звуком. Календарь показывает 26 июля. Испуганный Захар, не умея скрыть выражение ужаса на лице, показывается из-за портьеры.

— Прикажи Храповицкого,— сдавленным голосом говорит царица.

Секретарь царицы пришел в сильном волнении. Царица не могла говорить. Слезы бегут у ней из глаз. Из невнятных слов царицы Храповицкий понял, что нужно послать за обер-полицмейстером. Обер-полицмейстер Никита Рылеев и Храповицкий, трясясь всем корпусом, вошли в опочивальню царицы.

— Ты что же, беззубый хам, делаешь, ежели даешь разрешение на такие книги?! Кто сочинитель оной? — спросила Екатерина.

— Думаю, что не иначе, как Радищев...

И прежде чем Никита Рылеев и Храповицкий успели опомниться, она приказала разобрать это дело кнутобойце Шешковскому.

Шешковский был фигура страшная. Ему истинное наслаждение доставляло зрелище человеческих страданий. Но сердце его смягчалось всякий раз, когда родственники человека, попавшего к нему в лапы, помахивали перед его носом замшевым мешочком со звенящими червонцами. Шешковский был самым крупным взяточником из всех воров и расхитителей, окружавших престол Екатерины. Однако Шешковский запротестовал.

— Радищева я знаю, он всегда мимо Экспедиции (так называлась тайная полиция Екатерины) проходил без отягощения. Это не он,— говорил Шешковский.

Дело в том, что Радищев не принадлежал к числу тех людей, которые могли бы дать доход Шешковскому. Шешковский метил выше, он хотел замести в это дело молодого красавца, парижанина Строганова — приятеля известной якобинки Теруань де Мерикур, революционной амазонки, скакавшей по правому берегу Сены во фригийском колпаке и с обнаженной левой грудью.

Но улики оказались слишком явными. Арестован был Мейснер, носивший в цензуру книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Арестован был Зотов — книгопродавец и сафьяновый переплетчик. Оба они показали, что книга была напечатана в домашней типографии Александра Радищева. Делать было нечего, пожива была плохая, оставалось только одно — натешиться вдосталь страдания-

ми безденежного дворянина. Деревянные колышки под ногти можно было запускать на четверть вершка, ежели в чем запрется. Все равно денег от этого Радищева не получишь. За правильные показания Зотова и Мейснера можно было освободить. Освобожденные явились к семьям своим, порадовались, что дешево отделались и спаслись, а поутру Зотов вышел до ближайшей чайной за кипятком и исчез бесследно. Мейснера супруга его Амалия Федоровна нашла поутру в постели холодным. Колпак свисал на нос, слезинка застыла на левом глазе, руки скрючились и закоченели, так что даже при положении в гроб невозможно было сложить крестного знамения из пальцев.

Александр Николаевич Радищев, узнавши, что справлялся о нем Шешковский, два часа не мог прийти в себя. Сознание к нему не возвращалось. Пробовал писать — выходили каракули. Бежать невозможно. Набрался мужества, решил потребовать свидания с императрицей, чтобы ей доказать свою правоту. Но опять помутнело сознание, прилег на диване, а проснулся в камере Шешковского. По первой просьбе увидеть царицу был сбит с ног ударом кулака в лицо. Грязным ручником повязал нос и разбитую челюсть. Отвечать отказался. Собственноручной пометкой Екатерина говорила: «Вход не имеет в чертоги, родился с необузданной амбицией, готовился к высшим степеням, но до них не дошед, желчь с нетерпения разлилась у него». Шешковский прямо тычет в глаза Радищеву книгу, где собственной рукой было написано: «Скажи сочинителю, что читала я его книгу от доски до доски и, прочтя, усомнилась, не сделана ли ему какая обида».

— Что скажешь? — спросил Шешковский.

— Скажу, что первейшая мне обида сделана, как человеку и гражданину, рабским состоянием страны Российской, чего ни в одной стране нет и к чему человек не рожден.

После этих слов тяжелый кнут сбил парик Радищева, и снова погрузился он в тяжкое, бессознательное состояние. Сильный запах нашатыря привел его в себя. Разъяренный Шешковский потирал правую руку, словно после большого ушиба, и говорил:

— Мне с тобою, смерд, разглаголать нечего. Царская воля мне известна. Признаешь ли книгу своею?

— Признаю,— ответил Радищев.

— Сколько штук ты пустил в продажу через Зотова?

— Восемьдесят,— ответил Радищев.

— Сколько напечатал?

— Шестьсот пятьдесят,— ответил Радищев.

— Где остальные?

— Пожег.

— А где рукописание твое?

— Пожег,— ответил Радищев.

— Укрыться хотел, крамольник! — заорал Шешковский.— Царицу оскорбил, а потом концы в воду. Это ты писал? — и подставил к самым глазам Радищева лист синей картузной бумаги, на котором были написаны полные строфы, частично вошедшие в «Путешествие», радищевской песни о вольности.— Ты писал?

— Я,— ответил Радищев хрипло и снова от головокружения и боли потерял сознание.

Когда он проснулся, то вместо Шешковского сидел неизвестный ему человек. На листе было написано канцелярской скорописью:

«Я, подписавшийся ниже, коллежский советник и бывший ордена святого Владимира кавалер, Александр Радищев, оказавшись в преступлении противу присяги должности и подданства, ныне обязуюсь яко государственную тайну хранити ныне учиненный мне допрос и ни о чем мною испытанном никому николи ни словом не обмолвиться, храня сие как государственную тайну под угрозою потери головы чрез отсечение».

Радищев машинально подписал, после чего надели на него кандалы и служительский тюремный тулуп, вывели и посадили в кибитку. Через два с половиной месяца тяжелых мучений проснулся Радищев в далекой Сибири, к северу от Иркутска, на поселении.

Катерина Семеновна, уставившись на мужа, пытала его:

— Что ж? О Радищеве неверно я рассказываю?

Рассказ ее был, конечно, неверен, но, казалось, злоба оскорбленной царицы нашла себе отклик в голове хозяйки крепостной вотчины: симбирская помещица негодовала не меньше, нежели российская императрица.

— Да тебе-то что до Радищева, матушка? Я же ведь к этой истории непричастен.

Звонкая пощечина была на это ответом. Иван Петрович вздрогнул и медленно опустился на старое потертое кресло.

Он был, конечно, прав. В деле ссылки Радищева имя Тургенева не фигурировало. Но Катерина Семеновна, как мастерской следователь, осуществила только первую часть допроса. Ей важно было узнать, не растеряется ли Иван

Петрович, видя ее чрезвычайную осведомленность. Существо дела по обвинению она решила изложить во второй части своего допроса и таким образом отыграться за двухлетний *силанум* супруга. Силанум — это приказ о молчании, объявляемый периодически в тайных масонских обществах, когда все члены секретного братства обязуются многие месяцы, а иногда и годы, хранить полное молчание и не узнавать друг друга при встрече.

Не давши опомниться Ивану Петровичу, она продолжала уже на деревенской воле, зная, что никто из друзей не прервет беседы, свой допрос с пристрастием.

— Ты бы отца Илию, приходского батюшку, пригласил да вымолил бы у святых угодников прощение твоей проклятой ереси. Ты уже годов восемь в церковь не ходил, а причина сего мне теперь известна. Видишь ли, православный обряд отрицаешь и молитвой внутренней занимаешься. Так знай же, Иван Петрович, что из Симбирска ты ни в какой Орел не поедешь на собрания твоих масонов.

Иван Петрович молчал.

Он очень хорошо помнил выезды в Орел с Николаем Ивановичем Новиковым. Ехали на долгих из Москвы до самого Орла. Новиков был разговорчив и радостен, так как, помимо московской университетской типографии, которую он арендовал, открыл он у себя в подмосковной деревенскую типографию, в которой начал печатать многие «человечеству полезные» книги.

— Ценсировать я их не посылаю, ибо книги сии печатаны токмо для своих братьев и в продажу не поступают.

На откидной скамейке, против Тургенева и Новикова, сидел молодой архитектор Баженов, бывший братом четвертой степени той же масонской ложи. Баженов дремал, голова, склоненная на левое плечо, дышала необычайной легкостью, профиль, нежный и мужественный, хранил черты старинного итальянского типа — не то венецианский кондотьер, не то рафаэлевский ангел. А в этой голове, под густыми каштановыми кудрями, носились удивительные картины зданий, еще не существующих, но таких реальных, как будто художник видел их в незнакомом городе в чужих краях. Творческая легкость Баженова была совершенно необычайной. На месте старой развалины, в Москве, на углу Моховой улицы, там, где заступ землекопа выкидывал на свет божий черепа, пробитые круглым отверстием всегда в одном и том же месте (старинный застенок царя Ивана IV Грозного), Баженов построил для отставного поручика Пашкова новый дом: оранжевый, с белыми колоннами, с бельведером, на котором воздвиг статую Ми-

нервы, с фонтанами, прудом и огромными фонарями на столбах, узор на металлической изгороди. Баженов три недели ходил к церкви Николы Стрелецкого слушать говор восхищенных москвичей, приезжавших со всех концов столицы смотреть на эту генуэзскую сказку, воздвигнутую на Моховой улице.

В этом самом Пашковом дворце князь Прозоровской рассказал князю Репнину о том, что им получен приказ арестовать Николая Новикова и разгромить московских мартинистов. Тайные общества ненавистны стали императрице, тем более тайные общества, главари которых находятся за пределами империи. Во Франции ярится Конвент. Головы падают на эшафоте, благородные дворянские головы. Доктор Гильотэн, как истинное исчадие ада, разыскав миланские чертежи рубильной машины, заказал парижским слесарям и столярам такую же машину для рубки человеческих голов. Дух мятежа и вольнолюбия черни распространился по Европе. А тут эти ученики Сен-Мартена — французского свободолюбца — мартинисты, собираются на тайные собрания и затевают заговоры и козни. В те дни, когда сугубо нужно оберегать границы сословий, они собираются вместе со своими рабами, коих называют братьями, целуются с ними, поют совместные песни.

«Пригоже ли дворянину драть глотку вместе с холопом?» — спрашивает Прозоровской у Репнина.

— Так ты, батюшка Иван Петрович, думаешь, что пригоже? — спрашивает Катерина Семеновна, продолжая допрос супруга.

Иван Петрович молчит.

— Молчишь, помещик Тургенев, молчишь, ссыльный дворянин? — кричит Катерина Семеновна, наступая.

Иван Петрович, приосаниваясь и разглаживая бороду, в негодовании трясет головой.

«Не драться же мне с супругою,— думает он.— Уж терпеть так терпеть». И, приосанившись, решил испить чашу до дна.

Катерина Семеновна видит, что перед ней каменная стена. Кричит о том, что он-де Иван Петрович, которому поручено благородное дело воспитания юношества, он — директор Московского университета — развратил целое поколение учащихся чтением богопротивных, вольнодумных книг, которые печатал он в деревенской типографии вместе с Новиковым секретно.

— Как тебе не стыдно! Мне все теперь известно. Ежели Новикова сослали, в Шлиссельбург посадили — туда ему и дорога, но ежели тебя Шешковский пожалел и после

допроса отпустил, то уж в этом, батюшка, особое божье милосердие и милость императрицы, тобою не заслуженная. А потому потрудись, батюшка, в хозяйство носу не совать и крепостных холопей мне не портить. Здесь тебе не Орел и не Москва, я тебе не Новиков и не Баженов.

Вошел Тоблер с плачущим Колей Тургеневым. Трехлетний мальчик с нахмуренными бровями и красным личиком тщетно старался удержаться от стонов.

— Каждый раз как из кроватки ступает левой ножкой, он падает и ушибается,— сказал по-немецки Тоблер.

— И сын-то у тебя коротконогий, в год французского восстания родился. За грехи отца левая нога короче правой,— сказала Катерина Семеновна.

Звонким голосом крича и напевая, влетел в комнату Александр Тургенев. Увидя плачущего братишку, остановился.

— Ты зачем? — строго крикнула на него мать и, взявши за ухо, долго мяла это ухо в руке.

Красный, молчаливый, надутый, Александр выскочил из комнаты.

Иван Петрович гладил головку белокурого, кудрявого плачущего ребенка.

— Ну, хроменький, ну поди ко мне на ручки,— говорил он Николаю.

Бурмистр вошел с докладом. Катерина Семеновна сделала знак рукою, и все удалились.

Как величавая Минерва воссела она на кресло. Бурмистр с клоками синей бумаги, на которой корявым почерком были сделаны хозяйственные записи, подобострастно глядя на Катерину Семеновну, ждал барского приказа. Катерина Семеновна «были гневны», и ноги у бурмистра дрожали, коленки тряслись, и так хотелось бухнуть в ноги, как перед иконой Владимирской божьей матери в местной церкви.

Тяжелая и трудная житейская обстановка Тургеневки давала себя знать и в Киндяковке по соседству. Крестьяне стонали. Иван Петрович трепетал. Дети боялись грозной матушки. Но тайком возникали ребячьи союзы, вольные и беспечные, насколько это было можно. Силки и тенета, расставленные в тенистых и огромных симбирских садах, фантастичных по запущенности и плодоносных как сады Шехерезады, приносили ежедневно разнообразных и пестрых птиц. Попадались иволги и длиннохвостые синицы, дубоносы и микроскопические птицы, вроде крапивчиков, населявшие кустарники, свисавшие в самые воды Волги. Когда Тоблер вел с Андреем сосредоточенные и серьезные

беседы, в это время Александр и Сергей Тургеневы, вместе с Васей-крепостным, подкрадывались тихонько к зарослям и крепям в трепетном ожидании, что вот судьба подарит им нового пленного певца. На черном дворе была голубятня. В ясные дни Иван Петрович садился в кресло, перед которым ставили огромный, двухсаженный, серебряный таз и наливали его водою. Безумные турманы, коричневые, жесткоперые бухарцы и нежные египетские голуби поднимали свой спиральный полет к самому синему небу. Не поднимая головы, Иван Петрович наблюдал, как отражается их полет в прозрачной воде серебряного таза. Но у маленьких Тургеневых была своя забава. Вася отгородил часть деревенской клети, получилась целая комната, населенная всевозможной дикой птицей.

Глава четвертая

Прошло два года. Голубоглазый и не в меру задумчивый мальчик Коля Тургенев начал учиться. Старшие братья относились к нему с некоторой нежностью и снисхождением. Все могли резво бегать и веселиться, а Николай не мог — одна нога была короче другой.

Однажды, очень рано утром, Тоблер, умываясь, заметил, что кроватка Коли Тургенева пуста. Немец не нашел своего питомца нигде в доступных в утренние часы комнатах Тургеневки. Он вышел на крыльцо, надеясь встретить Николая в цветнике, но и там его не нашел. Мальчик вернулся только к утреннему чаю, хмурый, и отказывался отвечать на вопросы. Глаза, голубые и холодные, говорили, что этот маленький человек думает гораздо больше, чем говорит.

После занятий обнаружилось, что у Васи птичник сломан и все пленные птицы, пойманные братьями Тургеневыми и Васей, улетели. Огорчению не было пределов. Искали преступника и решили, что это Петька-черемис созорничал из зависти к Василию, допущенному к барскому дому. Как только было высказано это предположение, так было прервано молчание маленького Николая.

— Я выпустил птиц,— сказал он громко.

Александр надул губы, Вася заплакал. Наступило неловкое молчание.

— Я не хочу, чтобы птицы сидели в клетках,— заявил Николай твердо.

— А мы хотим,— сказали братья,— и будем ловить.

— А я буду выпускать,— заявил Николай.

— Придется сказать отцу,— заявил Андрей.

Перед самым обедом маленький Николай был вызван к Ивану Петровичу.

Объяснение было очень короткое.

— В клетках тесно и грязно,— сказал Коля,— а кроме того, там полет «невозможен».

Тоблер восхитился, слушая, как мальчик отчетливо произнес слово «unmöglich» [1].

— Колька прав,— сказал Иван Петрович.— Прекратить мучить птиц!

Оставалась еще одна инстанция, но об ней никто не подумал. Это была Катерина Семеновна.

Петька-черемис ликовал. Один раз только пытался он устроить клетку для птиц и был за то нещадно избит своим отцом. А тут Ваське такая воля!

Через несколько дней наступило внезапное огорчение у других Тургеневых. Катерина Семеновна проиграла в преферанс соседнему помещику Дудареву одного подростка. Выбор Дударева пал на Васю. Карточные долги — дело чести, здесь никаких не может быть колебаний. На этот раз Александр Тургенев, с глазами, широко открытыми от ужаса, вбежал к матери и, зная, на что идет, все-таки закричал:

— Матушка, не продавайте Васю. Вася такой же человек, как и твои сыновья.

Катерина Семеновна кормила борзую, держа наготове свернутый кольцом арапник. Развернувшись, этот арапник лег во всю спину на Александра Тургенева. Глаза Катерины Семеновны горели, как голубые льдинки. Она не говорила ни слова, но вся была полна яростью от сознания того, до какой степени несчастное и скудоумное поколение, воспитанное развратными масонами, может забыть о долге дворянской чести. Еще было у нее огорчение: княгиня Щербатова прислала письмо с оказией и сообщила, что во Франции революционная чернь казнила короля и королеву.

Тоблер и четыре мальчика выехали на берег Волги, взяли с собой завтраки, самовар и чашки, большие удочки, дворового человека Федора, по выражению Катерины Семеновны, «весь домашний скарб». На берегу рыбацкие выселки. Сохнут невода, а на плетнях развешаны верши. Около самого берега топко. На кольях, вбитых в дно, толстые веревки, тонущие в воде. К ним привязаны садки, большие, похожие на дощаники деревянные ящики, просверленные и пропиленные узкими отверстиями для сво-

[1] Невозможно (*нем.*).

бодного обмена воды. Чумазые ребятишки бегают по улицам, вернее — по грязному, покрытому лужами проходу между двумя рядами курных изб. Старый рыбак, позевывая и глядя на солнце, чинит сеть. При проезде барской коляски встал и почтительно поклонился. На берегу Волги, около песчаных отмелей, где посвистывают сотни куличков и со стоном поднимаются пестрые пигалицы с хохолками, Тургеневы остановились.

— Если бы так на лодке до Астрахани,— сказал Александр Тургенев.

— Ну и что же — вода да вода,— благоразумно заметил Андрей.

— Перед Колумбом тоже была одна вода, однако открыл новые страны,— заметил Александр Тургенев.

— Никаких новых стран на Волге не откроешь, все уже открыто,— сказал Андрей.

— А может быть? — возразил Александр.— Может быть, еще не все. Каспийское море велико, персы географию плохо знают.

— Тебя всегда тянет из дому,— сказал Николай Александру.— А вот я бы так не уехал из Тургеневки.

Татарские ребятишки, по просьбе Тоблера, натаскали хворосту. Зажгли костер, стали готовить чай. Справляли пятнадцатилетие Андрея Тургенева. После официального домашнего праздника разрешен был праздник ребячий. Редкий случай, когда с одним только Тоблером, без родительского глаза, разрешали отлучиться далеко. После таких поездок не обращали внимания на запачканный костюм, на грязные руки, на взъерошенные волосы и громкий голос.

На Волге было широко и привольно. Красивая большая река, с обрывистым берегом около Симбирска, здесь текла плавно между низкими берегами. На берегу были мелкие заводи и затоны, богатые всякой птицей. Когда после чая дети побежали в кустарник на голос какого-то пернатого существа, вылетела целая стайка дергачей, а те, что были помоложе, разбежались в разные стороны, забавно вытягивая вперед длинные шейки и на бегу раскачиваясь в обе стороны, как маятник. Птичка, за которой бежали Александр и Николай Тургеневы, перепархивала с куста на куст. Мальчики бежали за ней, то крадучись, то напролом через кусты большими шагами, до тех пор, пока внезапно густые заросли не кончились, и на другой стороне маленькой песчаной косы снова показалась красивая, спокойная Волга. На берегу горел костер. Совсем у кустов лежала на воде длинная узкая беляна. Перед костром сидели два-

дцать человек в лаптях, измученные, волосатые. Лямки и канаты неподалеку говорили о том, что люди, сидевшие у костра,— бурлаки.

Мальчики подошли поближе и спросили:

— Что вы здесь делаете?

— Беляну тянем,— ответил хриплый голос. Говоривший посмотрел на Александра Тургенева единственным глазом и вдруг ухмыльнулся.

— А я думал — и не приведет бог свидеться,— заметил он неожиданно.

Александр Тургенев узнал не сразу — до такой степени Вася, товарищ его детских игр, изменился за ушедшие четыре года.

— Как ты сюда попал, Вася?

— А так. Был в Москве у господина Дударева. В кузнечных учениках на каретном дворе служил. Вон, видишь, окривел, когда ободья ковал, а теперь в оброке в бурлаках.

— Куда ж ты идешь?

— Вот с нижнего плеса тянем беляну до Кунавина.

— Хочешь, пойдем с нами, Вася?

— Никуда ему, барин, идти нельзя,— прервал сердито старый бурлак.— Эй, ребята, поворачивайся, бери лямки.

— Через полгода, коли живы будем, увидимся, Сашенька,— сказал Вася.— Оброк мой кончается перед тем, как ехать в Москву.

Саша протянул руку, хотел обнять товарища, но тот боязливо отшатнулся и, не оглядываясь, пошел к берегу.

Мальчики медленно возвращались. Александр только теперь заметил, что Николай во все время беседы не проронил ни слова. Тоблер сделал выговор. Андрей и Сережа смотрели хмуро.

— Я не для того отпросил вас у матушки,— сказал Андрей,— чтобы вы гуляли отдельно. Уж вместе так вместе.

Сережа надул губы и повторил: «Уж вместе так вместе».

Александр сначала хотел рассказать о встрече с Васей, но, услышав суровый тон Андрея, решил молчать. Маленький Николай никак не мог выразить словами, почему костер здесь у ног Тоблера и там — костер бурлацкий внушают ему столь разные чувства. Тут хорошие завтраки в чистых салфетках, блюда, разложенные на траве, чайник, подаваемый дворовым человеком. А там — разбитый синий полуштоф и плесневелый хлеб.

Началась непогода. Откуда-то из-за Волги нашли тучи, и, прежде чем мальчики успели сесть в открытую коляску,

загрохотал гром и застучали крупные капли дождя. Огромные темно-синие тучи покрыли небо. Холодок, вместе с каплями дождя, бегущими за ворот, заставил ребят Тургеневых теснее прижаться друг к другу. Тоблер сидел хмурый, сняв очки, с носу у него падали на оливковый редингот крупные капли дождя.

— Подмокло твое совершеннолетие,— сказал Александр Андрею Тургеневу.

— А все благодаря тому, что ты убегал надолго,— возразил Андрей.

— О чем ты задумался, Коленька? — спросил Тоблер Николая.

— Я думаю о том, как можно тащить беляну в такую погоду,— сказал мальчик.

— Что такое беляна? — спросил Тоблер.

Николай не ответил.

Приехали. Встретили их охами и ахами. Катерина Семеновна, ради совершеннолетия Андрея, выдрала его за уши. Щеки у нее горели, она была очень возбуждена, соседи еще не разъезжались, и пир стоял горой. Мальчики приехали, казалось, несмотря на непогоду, не вовремя: родители были заняты не ими. Вишневки, сливянки и смородиновки вместе со стерляжьей ухой разогрели патриотизм Ивана Петровича. Стоя посреди комнаты, он громко говорил о пользе самодержавия. Катерина Семеновна, раскрасневшаяся, со сверкающими глазами, взволнованно понтировала за круглым зеленым ломберным столом, и в этот день ей не везло. Не играя на деньги из соображений бережливости, она играла на крестьян и проиграла шестьдесят душ. Иван Петрович этого не знал, был весел и смотрел на супругу подобострастно. Она победила в хозяйстве и в семье, а победителей не судят. Минутами, мигая глазами, он силился понять, что с ним происходит. Симбирские помещики, отставные штаб-ротмистры и дворяне, не чуждающиеся откупщичества, казались ему «дурачьем, верноподданным набитым дурачьем», и временами так и подмывало крикнуть на всю залу Тургеневки так, чтобы задрожала зеленая штофная мебель из карельской березы, что, дескать, «вон идите отсюда, дурачье», что «вы», дескать, «неученые хамы, позорящие дворянское сословие». Но каждый раз, поглядывая на разгоряченные щеки и горящие глаза супруги, Иван Петрович ее волнение о проигрыше приписывал энергии и хозяйственной распорядительности, затихал и старался изобразить перед гостями благополучный и законопослушный круг мыслей своей супруги. Старый гусар Зубакин притоптывал и приплясывал,

держа на плешивой голове большой бокал иностранной мальвазии. В минуты случайного прекращения разговоров он поднимал двумя пальцами бокал высоко над головой и кричал: «Здравие императрицы, матери отечества, царицы цариц!»

Гости подхватывали, по анфиладам Тургеневки неслись нестройные крики «ура!», тонные гости из города Симбирска начинали напевать английский гимн «Бог да хранит короля!», ходивший в то время в качестве благонамеренной патриотической песни.

На мезонине четверо ребят Тургеневых переодевались и пили чай с малиной, чтобы не простудиться. Тоблер, омраченный и сердитый, помогал своему любимцу Николаю, не прекращая с ним разговора.

— Aber warum sind Sie traurig, Kola? [1]

— Скажите, дорогой учитель, кто переодевает бурлаков, которые тянут беляну?

— Но, мой мальчик, я второй раз спрашиваю вас, что такое беляна?

Николай объяснил, равно как и объяснил все свои мысли и чувства по поводу встречи с окривевшим товарищем детских игр.

Тоблер, длинный, сухопарый, подняв брови, смотрел на Николая молча, потом, после длинной тирады своего питомца, произнес полушепотом по-немецки:

— Ты недаром сын своего отца, но знай, мальчик, что наступит такое время, когда не будет ни рабов, ни господ и когда один человек перестанет угнетать другого.

— Как сделать, чтобы это время наступило поскорее? Увижу ли я это время? — спросил Николай.

— Не знаю,— сказал Тоблер.— Нужно много знать и многому учиться, чтобы на это ответить.

— Я буду много знать и буду учиться, я хочу это видеть,— сказал Николай Тоблеру.

Глава пятая

Матушка Екатерина, императрица всероссийская, отправившись за нуждой в уборную, вдруг почувствовала себя плохо и, заслонивши грузным своим корпусом дверь, скончалась. Долго искали ее по всему дворцу. Наконец генерал Болховской осмелился открыть дверь. Это было чрезвычайно трудно. Поправивши государыню от зазорного вида, приступили к похоронам.

---

[1] Но почему вы так печальны, Коля? (*Нем.*)

Из Гатчины, загнав лошадей, прискакал наследник цесаревич Павел Петрович. Первым делом простил Баженова и Новикова, которые звали его в масонство.

За Волгой зима была ранняя в этот год. Снег в 1796 году выпал в самом начале октября, и ударили ранние морозы. По Волге плыло сало. Плакучая ива, заиндевелая и омертвевшая в неподвижных формах, спускала свои ветви в прозрачные осенние воды. Белые, украшенные льдинками, они превращались в зеленые, как только попадали под воду. Из мезонина Тургеневки виднелись побелевшие сады и обширные белые замороженные заволжские степи. Небо было красное, красные тучи, и над ними ослепительное зимнее солнце.

Первым проснулся Николай Тургенев и босыми ножками подбежал, прихрамывая, к окну. Он громко захлопал в ладоши и закричал:

— Виват, виват! Зима наступила. Уже настоящая зима — снег не тает.

Александр, в длинной рубашке до пят, вскочил на этот крик и опрокинул табуретку с сальной свечкой. Толстая книга комедий Гольдони, читанных им на сон грядущий, свалилась на пол. Сергей и Андрей проснулись за ним. Александр, не говоря ни слова и закинув руки под затылок, сладко потягивался, думая о том, что хозяйка гостиницы, выведенная Гольдони, очень похожа на дворовую девушку Марфушу,— должно быть, такая же веселая, так же заливисто хохочущая и показывающая ослепительно белые зубы. Каждый раз, когда проходил мимо Марфуши, Александр испытывал непонятное смущение. Сергей, оглядывая комнату, натопленную, светлую и веселую, глядя на снег, чувствовал понятную только ребятам радость от этого уюта, теплоты, яркого света красных облаков, освещенных ранним солнцем, и бесконечных степей, покрытых снегом и уходящих куда-то далеко, к востоку, за Урал, в сердце непонятной и таинственной Азии. Оттуда шел Ермак, оттуда в древности по зимам неслись на лихих конях дети Чингисхана. Теперь покорные, красивые татарчата едва помнят о своих предках-победителях. Вокруг Тургеневки мир и прекрасная зимняя тишина, совершенно такая же, как в душе Сережи Тургенева. Николай быстро одевался без посторонней помощи. Тоблер, не обращая внимания на детей, лежа в постели, читал какую-то толстую книгу. Ворота заскрипели. Раздался громкий лай дворовых собак, им ответило тявканье борзых.

— Какой сегодня день? — спросил Николай Тургенев.

— Пятнадцатое ноября,— произнес Тоблер, не меняя позы.— Сегодня двойной урок математики и истории.

Заскрипели ворота еще раз.

— Вкатила кибитка,— закричал Николай Тургенев.

Тут все братья подбежали к огромному тройному окну мезонина и стали смотреть, как кибитка на широких полозьях с подрезами заворачивала за угол и в облаках пара лошади остановились у крыльца.

— Военная форма,— произнес Андрей.

Усатый фельдъегерь, шашкой стряхивая снег с валенок и держа в руках с величайшей осторожностью кожаную сумку, входил на крыльцо. Через секунду громкие крики ликованья понеслись по дому. Император Павел Петрович требовал возвращения Ивана Тургенева в Москву.

Иван Петрович плакал, как большой ребенок. Он сидел на тяжелом вольтеровском кресле, спрятав голову в подушки. Высочайшая грамота лежала перед ним на столе. Коленка в подштанниках выставилась неуклюже из-под шлафора, и старые плечи Ивана Петровича вздрагивали. Катерина Семеновна осанисто и серьезно, ни на минуту не теряя своего достоинства и спокойствия, распоряжалась угостить фельдъегеря водкой и соленой рыбой.

Быстро молва пронеслась по Киндяковке. Тургеневские и киндяковские мужики и бабы толпились во дворе. В таких случаях вторжение челяди в барские комнаты не считалось дерзостью. Добрые полторы-две сотни народу заполнили двор, крыльцо и прихожую. Катерина Семеновна, поднеся «бодрительную» кружку с мальвазией супругу, вышла в прихожую и, высокомерно подняв голову, произнесла:

— Ну, холопы, государь требует барина в столицу. Пафнутьича слушайтесь, оброк платите исправно, и чтоб жалоб не было!

— Слушаем, матушка барыня, слушаем, Катерина Семеновна! — раздались голоса.

Сборы были короткие. Выехали на зимних дормезах, пересаженных на полозья. Ехать решили на долгих, так как самые лучшие лошади почтовых станций были переброшены на Питерский тракт. На следующий день двинулись в дальний путь. Четверо мальчиков, немец Тоблер и Федор Пучков, дворовый человек, сели в переднюю дормезу, выпивши чаю, помолившись на дорогу и присевши со всей семьей и челядью в большой зале Тургеневки, подальше от печки, на прощание.

Первые дни хорошо спали и вкусно ели. Зимние дороги легки и коротки. Нет ни болот, ни гатей, все закрыто снежным покровом, нет ни оводов, ни проклятой строки, кото-

рая нападает на лошадей, покрывая их сплошным покровом отвратительных, копошащихся насекомых. Маленькие окна кибиток заиндевели. Николай Тургенев рукавицей старается отодрать ледяную корку, чтобы видеть окружающие дорогу леса и деревни.

— Что интересного? — говорит Андрей, видя, как кусочки оттаявшего снега сваливаются на медвежью полость под рукой Николая.— Ну, увидишь деревню, только и всего, не мешай лучше спать.

— Нет, я хочу видеть,— говорит Николай.— Деревни разные, а лица одинаковые. Я хочу найти разные лица.

— Какая глупость,— говорит Андрей.— Лица у мужиков разные, а глупость одна.

— Знаете, Андрей,— говорит почтительно Николай,— вы самый старший, а говорите вещи совсем необдуманные.

Андрей не спорил, зевнул, задремал снова.

В лесу, на поляне, насторожившись и мягко ступая, легко, почти не вдавливая рыхлый снег и выставив голову вперед, с опущенным хвостом пробиралась лисица. Горностай, почти невидимый на березе, кидался головой вниз и прятался в снегу. Изредка, около деревни, испуганные движением больших экипажей, поднимались из-под одинокой сосны среди поля огромные, как телята, матерые волки. На постоялых дворах отец приходил навещать сыновей. Держа в руках серебряный стакан с медом, распущенным в кипятке, Иван Петрович расспрашивал детей, не устали ли в дороге, помнят ли Москву. Почти никто хорошо не помнил. Хотят ли ехать в Москву? По-видимому, не очень.

— Где будем жить? — спросил Андрей.

— На Моховой, при университете,— ответил Иван Петрович.

По ночам не ездили, хотя Катерина Семеновна торопила и не всегда давала лошадям выстоять. Одно время даже требовала она отправить лошадей в Киндяковку и ехать на перекладных. Но Иван Петрович, приобретя уже в дороге самостоятельность, запротестовал решительно. Встречный курьер с письмом привез ему радостное известие о прощении Радищева. Катерина Семеновна, нарезая индейку за обедом на постоялом дворе, пыталась было вырвать у него из рук письмо. Но, неожиданно для самого себя, Иван Петрович, поднимая письмо высоко в руке, опалил свою супругу таким грозным взглядом, что она остановилась не столько от испуга, сколько от удивления.

— Ты что, батюшка, сумасшедшими глазами на меня смотришь? Знаю, что новая метла чисто метет. А все-таки ты носа не задирай.

— Катерина Семеновна, вы бы хоть при челяди...— начал было Иван Петрович и протянул супруге письмо.

Катерина Семеновна прочла его, осторожно сложила и, возвращая, произнесла:

— Апостол Павел сказал, что жена да боится мужа своего. Я, Иван Петрович, никогда у тебя из повиновения не выходила.

— Что вы, что вы, Катерина Семеновна! — произнес Иван Петрович, поднимая руку.— Я совсем не про то!

— Да и я тоже не про то,— сказала Катерина Семеновна.

К вечеру брали глиняные плошки, наливали их водой, ставили ножками походные кровати в воду. Хорошие кровати, старый офицерский инвентарь Ярославского полка. И все-таки под утро все стонали и охали от огромного количества укусов. Меньше всего страдала Катерина Семеновна.

— Клоп тебя не любит, барыня,— говорил старый дворецкий.— Это ндрав у тебя такой! А вот у барина ндрав мягкий, и клоп его язвит. Вон и Николая Ивановича тоже не трогают — ндравом в матушку идет.

Катерина Семеновна, снисходительно относившаяся к суждениям старика, качала головой и произносила по-французски:

— Характером-то в меня, а вот затеи-то у него отцовские. Готова клятву в этом дать. Оттого и молчит много мальчуган.

К югу от Мурома сломалась хозяйская дормеза. Едва нашли кузнеца. В крутую гору села, за шесть верст от большой дороги, едва втащили проселком тяжелый экипаж. Кузнец возился два дня. Маленькие Тургеневы бродили по деревне, смотрели, как в речке на багор надевают через прорубь рыбу. Крестьянские мальчики в островерхих шапках и коричневых лохмотьях, когда-то бывших отцовскими армяками. «Непонятный говор, совсем не русский,— думал Андрей.— Пробовали объясняться — ничего не выходит. Десятки чужих слов, разговор быстрый, окающий, невнятный, словно каши в рот набрали».

Но Тургеневы восхищались сноровкой и ловкостью, с какой мальчуганы занимались рыбной ловлей. Александр пробовал действовать багром, приморозил руки и едва не упустил снасть. Мальчуганы, разговаривая между собою, рассказывали о Рощине, который будто бы залег своей разбойничьей шайкой неподалеку от Мурома. Леса глухие, дороги дальние, ни жилья, ни огонька кругом. Разговоры эти были переданы старшим. Никто не обратил на них

внимания, и, к ужасу мальчиков, решили даже выехать ночью, так как поломка заставила задержаться в дороге лишних двое суток.

Ночные леса необычайно красивы при лунном свете. Месяц то прятался за тучи, то ярко освещал огромные пространства.

— Луна восхитительна,— говорил Александр Тургенев.

— А спать чертовски хочется,— говорил Андрей.— Ну ее к... твою луну.

— Андрей, где научились таким словам?— спросил проснувшийся Тоблер.

— Не у вас за пюпитром, дорогой учитель,— ответил Андрей с хохотом.

— Да, я думаю, что не у меня,— сказал Тоблер.

— А вы у кого научились? — спросил Андрей.

— Во всяком случае, не у тебя,— ответил немец.

— Я думаю,— ответил ему в тон Андрей.

Мороз крепчал. Под утро задул ветер. Луна ушла с горизонта. В лесной чаще замелькали, как синие свечки, парные огни волчьих глаз. Ехать становилось жутко, и томительное чувство охватывало путников. В совершенно глухом месте огромная сосна перегородила дорогу. Пришлось остановиться. Лошади храпели и били копытами в снег. Все вышли из экипажа. Дормезы сгрудились, форейтор пошел искать обходной дороги, кучера взяли топоры и тщетно пытались рубить твердую, как сталь, замерзшую древесину. Она звенела, стонала и пела и еле-еле поддавалась топору.

Катерина Семеновна одна не вышла из дормезы. Через Марфушу она выспрашивала, как обстоит дело с дорогой, и Александр Тургенев подробно рассказывал Марфе, в чем состоит затруднение. Марфа скалила зубы. Саша Тургенев смеялся, говоря, что через неделю разрубят дерево и поедут дальше, как вдруг по лесу раздался протяжный свист. Топор выскочил из рук кучера. Все остолбенели. По хрусту ветвей можно было думать, что на дорогу выходит целый полк пехотинцев с обозом.

Десять рослых фигур вышли на дорогу из леса и остановились по другую сторону срубленной сосны.

Тургеневский поезд мгновенно замер. Разговоры и шутки Саши Тургенева прекратились. Форейторы и кучера, прошептав только одно слово: «Рощин», остановились и замолчали.

— Кажись, они самые,— раздался голос с дороги. Потом наступила пауза, и в темноте трудно было понять, что намереваются делать лесные разбойники.

Иван Петрович пошел по направлению к ним.

— Ой, батюшка, не ходи! — закричал старый дворецкий.

Саша Тургенев думал о сказочных разбойниках. Марфуша взвизгнула и бросилась к барыне в экипаж. Андрей, стиснув зубы, заметил:

— Как жаль, что нас не послушались, а теперь да будет во всем воля божия.

Голодный и протяжный вой раздался издали. Ему ответил вой другой волчьей стаи. Катерине Семеновне Тургеневой казалось, что жизнь кончается и весь мир распадается прахом. Чувство невыразимого страха за свою жизнь ее оцепенило. Разбойники и волки — неизвестно, что страшнее. Тоблеру хотелось спать, а тут всякий сон прошел мгновенно. «Гирька на кожаном ремне с короткой рукояткой, называемая кистенем, через минуту-другую уложит всех путников».

«Страшная страна! — думал Тоблер.— И если я когда-нибудь увижу мой родной Геттинген... Aber um Cottes Willen[1] случится ли это когда-либо»? Перед ним пронеслась вся его жизнь в маленьком германском городе с университетом, чтение Руссо по ночам, поездка в Кенигсберг ради слушания лекций профессора Канта, неудачная попытка обзавестись своей семьей. Немец думал про себя, вздыхал и называл себя самого «бедный Тоблер! Der arme Tobler!»[2]

Иван Петрович, остановленный дворецким, решил, что, пожалуй, действительно неблагоразумно приближаться на короткое расстояние к поваленной сосне. С быстротою молнии сообразил он, что сосна повалена недаром, а нарочно, чтобы перегородить им дорогу, что вот сейчас они будут ограблены или разорваны голодной стаей волков,— и все это накануне счастливого приезда в Москву, с которой связана тысяча счастливых надежд.

«Вот когда небо с овчинку кажется»,— думал по-русски Иван Петрович и по-немецки обратился к Тоблеру:

— Wir haben unsere letzte Stunde[3].

— Jawohl, gnädiger Herr[4],— ответил Тоблер, чувствуя, как дрожат его колени.

Бегающие светляки, синие огоньки замелькали вокруг поезда. Казалось, тысячи светящихся синих жучков летают по лесу. Слышалось лязганье челюстей, подвывание маток. Волки приближались огромной голодной стаей.

[1] О, боже мой (*нем.*).
[2] Бедный Тоблер! (*Нем.*)
[3] Настал наш последний час (*нем.*).
[4] О да, милостивый государь (*нем.*).

Женская прислуга плакала, даже не плакала, а, вернее, подвывала вместе с волками, словно обе вражеские стороны жаловались на какую-то общую обиду.

Быстро чиркнуло огниво. С какой-то неожиданной быстротой загорелась сухая хвоя сваленного дерева. Буквально через минуту около дороги пылал костер. Рослые, широкоплечие люди, опершись на длинные шесты, стояли около костра. Теперь уже ясно можно было различить ближайших представителей обеих вражеских групп. Около костра был десяток людей в высоких шапках, с шестами, с угрюмыми, неподвижными, зверскими лицами. А в ста шагах вырисовывались темные силуэты сидящих на снегу волков. Высунув разгоряченные языки, они, казалось, выжидали какой-то команды, какого-то мгновения для того, чтобы броситься на осажденных ими людей. От костра загоралась поваленная сосна. Ни одна сторона не нарушала молчания. Выхватив из костра большой горящий сук смолистого дерева, один из неизвестных трижды махнул им над головой и швырнул в группу присевших волков. Вся группа отпрянула от неожиданности и испуга. Прошло мгновение, и второй сук, кружась, шипя и потрескивая, понесся в сторону второй группы волков. Мальчики Тургеневы с восхищением смотрели на богатыря, который, размахивая горящей сосною, ловко бросал ее на двести шагов. Волки отбегали с испуганным лаем, обиженно тявкали вместо короткого воя и не возвращались. Поваленная сосна горела по всей длине. Неизвестные таскали хворост, рубили его короткими топорами сосредоточенно и хмуро, не обращая никакого внимания на Тургеневых. Прошли добрые полчаса. То, что вначале казалось томительным — эта странная молчаливость людей, вышедших из лесу со словами: «Кажись, они!» — то теперь давало впечатление какой-то спасительности. В голову никому из Тургеневых не приходило нарушить это молчание. Все словно сошлись на одном чувстве: так будет лучше. Прошел еще час. Холод заставил ходить. Начали сначала шептаться, потом говорить громко. Неизвестные тоже слегка переговаривались. Тургеневы услышали слова: «Застрял твой купчина, Кузьма». — «Не минует»,— ответил тот. Начало светать.

— Однако ловко они разогнали волков,— сказал Коля Тургенев.

— Да, нам бы без них пропадать,— отозвался Андрей.

— А может быть, через них-то и пропадем,— возразил Александр.

Тоблер шептал: «Бог велик и милосерден!»

Катерина Семеновна казалась окоченевшей. Она упорно молчала. Уставившись глазами в темноту, она сидела не шевелясь, и казалось, мгновенное безумие, овладевшее ею, лишило ее способности речи. Когда совсем уж стало светло, неизвестные прикрутили вершину отгоревшей сосны веревкой и, взявшись за веревку всей гурьбой, с какой-то удивительной плавностью и легкостью очистили дорогу. Старший подошел к тому месту, где потухал костер, снял шапку и, не приближаясь к Тургеневым, громко крикнул:

— Господа хорошие, проезжайте, слободная вам дорога. Мы — пильщики и вам зла не хотим.

Зоркий глазок Николая Тургенева заметил, как один из толпы неизвестных подобрался к ближайшему дереву и жадно смотрел в детский экипаж одним-единственным глазом. Рыжая борода закрывала почти все лицо смотревшего. Но по глазу и по всей фигуре Николай Тургенев узнал Васю-птицелова. Через минуту Николай Тургенев не мог бы сказать, видел ли он этого одноглазого во сне, или действительно тот подходил к экипажу,— до такой степени быстро он растаял в воздухе. Да и вся группа, как дурной ночной сон, не то чтобы ушла, а просто как-то исчезла, скрылась из глаз.

Когда миновали обгоревшую сосну и прошел в пути какой-нибудь час, все ночное происшествие стало казаться простым сновидением, и даже разговаривать о нем не хотелось. Нервное возбуждение исчезло. Дети и родители спали крепким сном. Только кучер и форейтор многозначительно обменивались короткими словами:

— Пильщики! Хороши пильщики! Не нас ждали, а то было бы кистенем в висок — и прощай барин, прощай барыня, прощай милые детушки.

— Ды-ть, взять-то нечего. Барыня-то с фельегерем шкатулку отправила. Едуть без денег.

— А они почему знают?

— Кто? Рощинцы-то? Да они чего хошь знают. Кривого видал?

— Ну что? Видал.

— Так ведь это Васька-птицелов.

— Врешь!

— Право слово, Васька.

— Рыжий-то?

— Ну да, рыжий.

— Вот оно так-то и бывает. Из господской воли вышел и на большую дорогу пошел.

— Господская воля — мужицкая доля. А барыня-то как перепугались!

— Что говорить — язык отнялся. Первый раз в жизни не ругалась.

— Ды-ть, нешто можно тебя не ругать?

— Пошел к матери, тебя самого ругать надо.

— Сиди, сиди крепче, а то кобыла тебя стряхнет. Ей-богу, обоза не остановлю. Пропадай тут, волчья сыть!

— Что лаешься, старик?

— А ты что зубы скалишь о барыне?

— Ну, подь на меня пожалься.

— На кой ты мне ляд нужен? Все равно тебе в некруты идти.

На этом разговор оборвался.

Глава шестая

В Москве, на Моховой, в университетской квартире расположились хорошо и уютно. Зимний семестр университетских занятий уже начался. Тем не менее Андрей был определен и сделался студентом. Ставши воспитанником университета, он довольно быстро превратился в вожака тургеневского отряда. Трое младших братьев считали его заместителем отца. Особенно Александр завидовал его студенчеству и стремился догнать старшего брата. В этих целях он упрашивает отца определить его в подготовительный курс к университету, в так называемый Университетский благородный пансион. Отец соглашается. Двое из Тургеневых большую часть дня проводят вне дома. Иван Петрович, окрепший, обрадованный и веселый, ведет оживленную работу с московским студенчеством. Катерина Семеновна притихла и, проходя у супруга курс человеколюбия, старается сдержаться, когда руки чешутся оттаскать за волосы провинившуюся Марфушу. Сергей и Николай сидят дома. Тоблер целиком ушел в заботы о Николае. Крепкий и сильный мальчик с серо-голубыми, стальными глазами, с огромным характером и силой воли делается любимым питомцем стареющего Тоблера.

«Редкий ребенок,— думает немец,— он обнаруживает чрезвычайную зрелость, ясность холодного ума и большую широту горячего сердца. Что-то выйдет из этого сочетания? У Александра как раз обратно: быстро вспыхивающий блестками, чересчур горячий ум и сердце, прыгающее от Марфуши к Анюте, немножечко мелкое, немножечко узкое. Из Александра ничего не выйдет, из Николая выйдет богатырь, гигант. Сергей — лирическая фигура, пре-

лестный мальчик, живущий только гармонией собственных чувств. Достаточно грубому порыву жизни разрушить гармонию, и Сережа погиб. Это настоящий рыцарь, а живет фантазиями. Но император Павел, кажется, тоже живет фантазиями,— думает немец,— магистр Мальтийского ордена, масон, чудак, он считает, что является носителем верховной религиозной, гражданской власти в стране. В малиновом далматике, вышитом серебром, и в архиерейской митре, он самолично служит в гатчинской церкви в качестве священника. Он совершенно серьезно убежден, что дворянское сословие создает породу особо одаренных, благородных людей, что именно ему нужно поручить руководство царствами и формирование правительств. А вместе с тем по нашептыванию масонов он учреждает ограничительный закон для помещиков, запрещая отправлять крестьян на барщину больше трех дней в неделю. Он мечтает о вооружении всех европейских дворян и об отправке их на защиту французского трона. Все это буквально повторяет Сергей — самая привлекательная фигура тургеневской семьи».

Четвертого ноября 1797 года у Тургеневых был семейный праздник. Это — день поступления старших в университетский пансион. Было много гостей. Были Кайсаровы — Андрей, Михаил и Сергей,— был Николай Михайлович Карамзин и случайно заехавший в Москву, с бегающими глазами и безволосым черепом, с огромным лбом, вздрагивающим при каждом восклицании, Александр Николаевич Радищев. Кайсаров рассказывал, как на смотру Измайловского полка у солдат оказались неисправны парики. При маршировке носки поднимались на разный уровень над землею, и вообще было немало неисправностей. Император Павел Петрович, отказавшись принимать смотр, сам командовал полком и закричал: «Налево кругом — марш... в Сибирь!» При этих словах Кайсарова Радищев болезненно съежился и поднял брови.

— Ну и что же? — спросил Тургенев.

— Что же,— ответил Кайсаров,—полк так смотровым строем и пошел к заставе. К вечеру выслали конный разъезд искать, куда он вышел. Вернули только около Чудова.

— Каково повиновение! — воскликнула Катерина Семеновна, проходя мимо. Она спешила подсесть к ломберному столу, где, вопреки нахмуренным бровям Ивана Петровича, началась большая игра московских кутил. Француз Пелисье метал банк. Катерина Семеновна и ее сестра Нефедьева возбуждали друг друга азартом. Иван Петро-

вич дважды подходил и осторожно трогал супругу за руку; по третьему разу, когда Иван Петрович подходил, Катерина Семеновна с негодованием заметила:

— Пошел бы ты, батюшка, приказал бы принести мне оржаду, мне доктор велел миндальное молоко пить.

— Подите, подите сами, Катерина Семеновна,— сказал Иван Петрович строго.— Дети замечают, что вам зеленое сукно вредит.

— Не приставай, батюшка,— сказала Катерина Семеновна.

Пелисье бросил ей очаровательную улыбку.

— Мадам, вам так везет, вы так счастливы в игре, позвольте указать вам счастливую карту.

Через минуту княгиня Щербатова сняла брильянтовый перстень и сказала:

— Катенька, тебе везет. Денег у меня нет, вот тебе перстенек на зубок.

Вторично поставив на ту же карту, Катерина Семеновна сорвала банк и торжествующе посмотрела в сторону где стояли Иван Петрович и Андрей, хмурясь и пошептывая. Но вдруг произошла перемена счастья, и перстень, и сорванный банк, и двадцать пять тысяч рублей в какие-нибудь полчаса ушли от Катерины Семеновны.

Когда гости разошлись, дети собрались у Ивана Петровича в кабинете.

— Не расстраивайтесь, друзья,— говорил Иван Петрович. — Отнюдь не осуждайте и гоните от себя хулительные мысли. Пуще всего не поддавайтесь унынию. Дело это мы поправим. Ну, Сашенька, еще раз поздравляю тебя и за латинские твои стишки благодарю. Торжественным стилем латыни ты овладел. Ты, Сашенька, помни, кто был основателем нашего университета — холмогорский паренек из государственных крестьян Михайло Ломоносов. Когда будет тебе трудно в жизни, припомни, как этот человек, претерпевая побои, с трудом завоевывал себе книгу, как он ночью с обозом пешком ушел из Архангельска, как едва не погиб дорогой, идя до Москвы, как здесь сносил унижения ради науки и все-таки выбился в люди, да еще какие люди! Всем вам, дорогие друзья, всем моим четверым товарищам, коим я являюсь отцом, даю завет: пуще всего хранить в сердце человеколюбие, а в уме и воле — стремление к труду и познанию.

После этого небольшого вступления началась очередная беседа с детьми на всевозможные темы. Трудно было понять, читает ли это лекцию профессор университета, или это дружеская беседа пяти ровесников,— до такой степени

живы и увлекательны, умны и веселы были эти собеседования.

Ночной сторож прошел по Моховой с колотушками, завернул на Никитскую и дальше, стуча, пошел по Шереметьевскому переулку. Расхаживая большими шагами, Андрей слушал отца. Александр сидел у камина, с затаенным и жадным вниманием он старался не проронить ни одного слова из того, что говорили отец и братья, сообщавшие о прочитанных книгах. Все четверо читали много и беспорядочно. Расстались за полночь. Александр долго не мог заснуть. У него была уже своя комната, горы книг лежали на письменном столе. Стихотворные опыты и прозаические наброски, первые попытки вести дневник,— все было перемешано в этой литературной кухне. Яркий лунный свет заливал улицу. Снежинки попада́ли в полосу фонарного света, слегка кружились и медленно падали на немощеную улицу, изрытую ухабами. Сторож в черной поярковой шляпе и широком балахоне, сидя у ворот противоположного дома, спал, склонив голову к себе на колени. Длинная алебарда, высовываясь через плечо, уперлась в водосточную трубу. Была полная тишина. Александр записал: «Сижу один в моей комнате. Глаза мои смыкаются. Вижу из окошка бледно мерцающий свет фонарей. Все вокруг меня спит, все тихо. Один сверчок прерывает глубокую тишину. Помышляю о том, что происходит теперь в пространном мире: трудолюбивый крестьянин, работавший целый день в поте лица своего, чтобы достать себе кусок черствого хлеба, разделяет его со своей голодною семьею и помышляет, как бы ему не умереть с голода в будущий день. Между тем как празднолюбивый богач ест самые отборные кушанья, совсем ни о чем не думая».

Окончив эти размышления на тургеневские темы в карамзинском стиле, Александр задул сальную свечу и лег спать.

Проснулся рано утром и думал, с трудом припоминая, о чем это бишь вчера Николай Михайлович Карамзин и молодой поэт Вася Жуковский разговаривали с Мерзляковым.

Ах да, о немецких замках на берегу Рейна. Говорили, что красивая река, на которой немало развалин немецкого средневековья. Старший брат Андрей слушал и восхищался рассказами о том, как на одной стороне Рейна выстроил замок барон Маус, а на другой через несколько лет возник другой замок, по повелению барона Катцена. Огромные глыбы юрского камня громоздили одна на другую покорные германские рабы. Когда замок был готов, барон Кат-

цен послал Маусу записку: «Мы кошки, а ты — мышь. Отдай мне твой замок, со всеми деревнями, или мы просто тебя съедим, как кошка съедает мышь». Барон Маус обиделся. Началась многолетняя война; сверху по течению, снизу против течения причаливали к берегу Рейна лодки врагов, сшибались на середине, тонули и гибли. И если рыцарь в кольчуге или стальном шлеме падал из лодки, то тяжесть вооружения немедленно тянула его ко дну. Светила луна. Рейнская русалка Лорелея сидела на берегу Рейна в виноградниках, которые спускались по костлявому, каменистому берегу к водам прекрасной реки. Она расчесывала золотым гребнем свои мокрые волосы, в которых, по выражению Мерзлякова, «конечно, застряли головастики и лягушачья икра», и смеялась по поводу гибели рыцарей. Это была очень злая русалка. Кончилось дело тем, что кошки все-таки съели мышей. Барон Катцен разгромил замок барона Мауса, так как не хотел жить в его жилище. Это старинное немецкое сказание приводило в восторг молодого поэта Васю Жуковского. Николай Карамзин кивал небритой головой. Голубые спокойные глаза смотрели с необычайной ясностью, а губы, опущенные вниз, казалось, всех обливали хинной горечью.

Александр Тургенев задумался над тем, почему у Николая Карамзина такое забавное противоречие между улыбкой лица, холодностью глаз и хинной горечью, которая веет от складки губ и от нижних уголков, которые ясно проступают, опускаясь вниз в минуты самого большого веселья, самых беспечных улыбок Николая Карамзина.

Карамзин приехал ненадолго. Пробудет в Москве еще несколько дней. Он живет в Царском Селе, среди великолепных и холодных дворцов. Он пишет стишки про то, как крестьяне любят помещиков. Александр силится вспомнить карамзинские стихи.

Как не петь нам? Мы счастливы,
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее,
Их искусство — говорить.
Что ж умеем мы? — Сильнее
Благодетелей любить.

— Кто такие благодетели? — спросил Николай Тургенев, подходя к Карамзину.

Карамзин со снисходительной жалостью посмотрел на Колю Тургенева и ничего не ответил.

Александр начал говорить о том, что легенда о кошке и мыши, живших на берегах Рейна, есть по существу очень

старая легенда. В дворянском пансионе рассказали, что есть греческая поэма, посвященная войне мышей и лягушек. Список сей поэмы находится на царском печатном дворе: «Батрахомиомахия — сиречь война мышей и лягушек — это рукопись древнего песнотворца Омира, привезенная в Московскую Русь невестой Ивана III — дочерью греческого императора Софией Фоминишной Палеолог».

— Очень учено, но совершенно неуместно,— сказал Мерзляков.

Все это вспомнил Александр Тургенев утром пятого ноября, когда выпал снег и по Моховой потянулись обозы на полозьях вместо колес. Сразу наступила необычайная мягкость погоды. Мальчикам дышалось легко и вольно. Но захотелось побегать на лыжах, спуститься на широкую Волгу по заячьим и лисьим следам мимо тенистых садов, запушенных теперь хлопьями снега, хрустящего под полозьями чужих, незнакомых, не московских саней.

Как бы в ответ на эти мысли Александра Андрей вскинулся на кровати и воскликнул:

Ах, что сравнится, что тешит взор,
С прелестной далью волжских гор.

При этом возгласе проснулись Николай и Сережа.

— Ты что — Тургеневку вспоминаешь? — спросил Николай.

Сережа потягивался, скидывал одеяло, бормотал что-то невнятное и плакал. Андрей, как старший, подошел к нему, потрогал лоб и сказал:

— Сережка все еще болен. Я думал, что у него скоро пройдет. Вероятно, у него то самое, что нынешние доктора называют очень смешным названием *грипп*. Знаете ли, что такое грипп? Ведь это просто морщенье — смотрите, как Сережка морщится.

Сережа, облизывая языком горячие губы, умоляюще поднимал на братьев почти невидящие, мутные детские зрачки и, ничего не говоря, метался в постели. Вошел Тоблер, пощупал лоб Сережи и сказал:

— Однако надо вызвать доктора.

Глава седьмая

Десятого марта 1801 года в Летнем саду гуляло яркое солнце, гуляло по дорожкам, по деревьям, по статуям. Была настоящая, восхитительная петербургская весна. Два офицера встретились на тропинке. Один попытался не узнать другого, но тот, кого хотели не узнать, дружески

обнял своего знакомца за талию и, держа за темляк большого драгунского палаша, спросил:

— А ну-ка, суворовский адъютант, расскажи-ка, как там живут за Альпами?

— А, здравствуй,— ответил пойманный.

— Здравствуй, а с дорожки хотел свернуть. Я ведь видел, как метнул глазами в мою сторону и быстро — налево.

— Совсем нет. Однако что ж ты хочешь спросить?

— Да вот то самое, что спросил.

— За Альпами... Ну, шли мы против разбойника Бонапарта спасать Италию от французской революции. Ну, все остальное ты и без того знаешь из газет и журналов.

— Послушай, дорогой офицер, ты прекрасно знаешь сам, что император Павел Петрович никаких газет и журналов не пропускает из-за границы. Ты хорошо знаешь, что нам связаться с мыслящей Европой невозможно. Ты все наши повадки знаешь, и уж, если на то пошло, скажу тебе прямо, что император Павел Петрович повинен в смерти и моей супруги. Две недели тому назад на Галерной вышла она, больная, из экипажа при встрече с императорской каретой, как по нонешнему регламенту полагается, для реверансу проезжающей царской фамилии. А сам знаешь, какой на Галерной реверанс: ручьи от самого памятника Петру бегут в Неву, грязь и жидкие лужи лошадям по уши. Вот она, родив мне ребенка, больная, с матерью своею вышли из экипажа, чтобы приветствовать его величество, и сразу по колена в мерзлую грязь ушли. Третьего дня я ее схоронил — из-за поклона его величеству. Это ли не тирания, это ли не деспотия?

— Все хорошо, но от меня ты чего хочешь?

— А вот чего я хочу. Нонче ты вернулся в Петербург из-за границы, и нонче ты заступаешь караул Измайловского полка во дворце. Обещай мне помнить, о чем мы с тобою говорили.

Собеседник внезапно осклабился веселой и счастливой улыбкой. Протянул руку, широко обнял товарища и сказал:

— Это я тебе обещаю. Пален утром был у меня. Ты свое помнишь, а я всероссийское горе помню.

С этими словами они расстались.

Под утро одиннадцатого марта, вскочив с железной походной кровати в белых подштанниках и белой рубахе, император всероссийский Павел Петрович увидел перед со-

бою разъяренные офицерские лица и после короткого разговора с генералом Паленом отрицательно покачал головой.

— Не отрекусь от престола,— прохрипел он.

Тогда тяжелый пресс с письменного стола лег ему на висок. Струйка крови из пробитого виска побежала по белой ночной одежде. Пален, бледный, разъяренный и злой, вышел на верхнюю лестницу. По коридору, звякая шпорами и палашами, бежал ночной караул. Предательство! Оказалось, не измайловцы дежурят у дворца, и если слабоумного деспота не стало, то и все заговорщики будут сейчас истреблены. Нужна последняя ставка. Все ближе и ближе блестящие мундиры, ближе гремят шпоры, яснее и яснее горят разъяренные глаза встревоженного караула. Пален становится на верхнюю площадку, скрещивает руки на груди, как это делает якобинец Бонапарт, посылая Францию на смерть, и кричит:

— Караул, стой!

Зычный генеральский рев. Моментально лица успокаиваются. Караул останавливается. Дежурный по караулу подходит с рапортом. Пален молча поднимает руку и говорит:

— Император Павел Петрович скончался. Да здравствует император Александр!

Затем, подняв правую руку высоко, высоко над плечом, кричит:

— Ура!

Караул подхватывает «ура». Затем наступает молчание. Пален командует:

— Налево, кругом...

Команда исполнена. Еще несколько мгновений. Раздается вторая часть команды, но не по-кавалерийски, а коротенько, отрывисто, как пушечный выстрел:

— *Марш!!!*

И, печатая всей ступней, без единого перебоя, шаг в шаг, плечо в плечо, палаш в палаш и коса в косу, люди в мундирах шагают по темному ночному коридору, не смея думать и только покоряясь львиному голосу бесшабашного и отважного заговорщика.

Пален с адской улыбкой говорит Скарятину:

— Хорошую дисциплину создал покойничек. Кабы не он, от нас бы осталось сейчас мокрое место!

В своих покоях цесаревич Александр горько плакал, зная о том, что совершится, и зная о том, что это уже совершилось. Маленькая принцесса Елизавета Алексеевна, его жена, говорила ему тихим и спокойным голосом:

— Но, мой ангел, перестань колебаться. Ты начнешь новую и счастливую жизнь своего народа, а кроме того, завтра ты уже не генерал-губернатор столицы; мы можем спать в постельке сколько угодно, не подавая ненужных рапортов этому деспоту в пять часов утра. Аракчеев не станет будить нас и выгонять меня за ширму каждое утро в пять часов, в самый сладкий час нашей любви, ради того, чтобы получить твою подпись на какой-то бумажке.

— Да, в самом деле, мой ангел,— говорил молодой Александр, ненавидя свою супругу за то, что у нее хватало характера перешагнуть через преступление отцеубийства.

Вопреки всему наступило «дней Александровых — прекрасное начало».

Александр I — любимец бабушки Екатерины. Он знал все ее качества и все ее пороки. Батюшка, Павел I, жил в Гатчине, имея любовницей Анну Гагарину. Бабушка, Екатерина II, жила в Петербурге, принимая в Эрмитаже не первого, а уже неизвестно какого своего «аманта».

Трудно было молодому великому князю Александру с двумя братьями — Константином и Николаем — лавировать между отцом и бабушкой. Это были буквальные, а не мифологические воплощения ужасов гомеровской «Одиссеи». Там Сцилла, а здесь Харибда, и посреди них — узкий морской проход, по которому утлый плот Одиссея едва мог проскочить. Александр читал книжки Руссо — французского философа, звавшего человека к возвращению на лоно природы. Александр думал: «Все выходит прекрасным из рук творца, все портится под рукой человека». Однако православные иерархи говорят о каком-то первородном человеческом грехе. Александр обращается к своему учителю — почтенному швейцарскому республиканцу Лагарпу. Тот говорит:

— Все это — богословский вздор! Человек родится из материи и в материю уходит. Человек родится с задатками лучшего будущего, а несовершенное общество задатки эти уничтожает в детстве; следственно, речь идет об уничтожении неправильного устройства человеческого общества и о воссоздании человеческого общества, соответствующего природным требованиям.

Из Парижа вернулся Строганов. На балу у графа Кочубея он узнал о намерении царя, поехал во дворец и стал рассказывать Александру о французской революции. Император целиком стал на позицию якобинцев. «Правильно, что короля Людовика XVI казнили, правильно, что требуют республики».

— Я сам за республику,— сказал робко Александр.

Но «всероссийский самодержец, подающий голос за республику», был настолько большой исторической нелепостью, что даже тогдашние либеральные представители французских идей не поверили Александру. Однако графу Строганову поручено было вести протоколы негласного комитета, занимавшегося вопросом о либеральных реформах в империи Российской.

По поручению царя Завадовский отправился к сибирскому изгнаннику Радищеву и предложил ему написать проект — «Установление политических свобод».

Иван Петрович Тургенев, окруженный своими сыновьями, сидел — в отсутствие Катерины Семеновны, выехавшей на генерал-губернаторский бал в невероятно расфранченном виде,— с эмалевой табакеркою и даже с сигаретою в зубах. Иван Петрович говорил сыновьям:

— Друзья мои и дети мои, вы знаете, что без вас жизнь моя была бы несчастьем, потому должен я оставить при себе опору своей старости. Андрюша да пребудет при мне. Но знаете вы, что устройство ваше есть первейшая моя забота, и знаете вы, что европейские государства сотрясаются от переворотов. Дело идет о правильном устроении экономии сил внутренних и экономии сил государственных. Необходимы хорошие познания экономические, чтобы человек, выступающий на поприще дел государственных, мог справиться со своею задачею. Для сего потребны геркулесовы силы ума и несметные познания. Где сейчас в Европе лучше и полнее этому научают, нежели в германских странах. Голос внутренний подсказал мне, что милый Тоблер может вооружить вас знанием немецкого языка, а теперь настоятельно потребно вам осуществить прожекты престарелого отца. Простите...

Тут Иван Петрович вынул большой, в полскатерти, фуляр и стал отирать слезы.

— Простите, дети мои, если чувствительность родительского сердца не позволяет мне высказаться полностью, и не принимайте сии слезы за слезы печали, но я должен истребовать согласия вашего на то, чтобы первенец, рожденный мне природою,— Андрей— при мне остался. Александр — соименник звезды российской, ты поедешь, дабы осуществить пламенные надежды царства и отеческого упования. Все будет тебе обеспечено...

Александр Тургенев встал, с полным изумлением подошел, бросился на колени перед отцом и укрыл свою голову у него на груди. Андрей встал и медленно отошел в угол. И пока Александр плакал на груди отца, Андрей сухими

глазами смотрел на братьев. Младший, Сергей, играл лежащей на столе статуэткой, а в левой руке держал щипцы с коробочкой для снятия наплыва и нагара на сальных свечах.

Иван Петрович продолжал, смотря на детей ясными, голубыми, стариковскими глазами:

— Ребята, вы еще несмышленыши, вы вряд ли понять меня можете. Настал новый век, ныне вторая годовщина нового столетия, и новое столетие начинается блистательными словами молодого царя. Перед Россией — невиданное будущее. Будьте его достойны.

Маленький Сережа уронил статуэтку и разбил. Это было прямое нарушение достоинства минуты. Александр рыдал на груди отца, а Андрей думал: «Этакая торжественная минута, а болван Сережка разбил о паркет севрскую маркизу. Ну, уж ладно, я останусь, Сашка уедет — Марфушка останется».

Александр по-прежнему рыдал на груди отца. Ему хотелось ехать за границу, но Марфуша все-таки кое-где, в каких-то уголках памяти мерещилась. Мальчишкой въехал в Симбирск на тройке тайком от отца, с Марфушей вдвоем,— кажется, сто лет тому назад это было,— сбил с ног городового перед самым домом губернатора. Ах, и с тех пор прослыл первым шалуном города Симбирска. Что такое Александр I? Пообещает, пообещает... и ничегошеньки не исполнит... «Однако куда это батюшка метит?»

— Так вот, Сашенька, поедешь ты в Германию, в город Геттинген. Дело решенное. Там наилучшие пособия по экономическим наукам дают. Ты принадлежишь к владетельному дворянству, на тебя смотрят первые должности государства. Дворянству не надлежит заниматься коммерческими делами. Пусть сим делом занимаются иностранные купцы. Однако ж, когда придет время, сумей понимать их работу; ежели она не клонится к выгоде империи Российской, то работу сих иностранцев остановляй. Сам же ни к каким делам коммерции прикосновения не имей. Дворянину это негоже.

От последних слов Александр почувствовал некоторое успокоение и спросил:

— Куда же я поеду?

— В Германию, в город Геттинген, поедешь, дорогой.

— Знаю, батюшка, в Геттингене лучшие профессора, лучшие экономисты, лучшие историки, батюшка дорогой, жалко мне расставаться с семейством.

— Что же делать, милый друг, брат и товарищ,— сказал Иван Петрович.— Ты уже все знаешь, что отец сооб-

щить детям может, нынешний император не чета другим. Явись готовым на большую брань, ибо все же, как древний летописец сказал: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет».

Катерина Семеновна вернулась под утро — веселая, слегка запьяневшая. Дети уже спали. Андрей, идя в уборную, слышит:

— Знаешь, муженек, твой приятель отравился, принес вчера утром Завадовскому якобинскую бумагу о преобразовании государства, а Завадовский ему говорит: «Ты что же, Радищев, за старое принимаешься, мало тебе одной Сибири?» И знаешь, милаша Иван Петрович, приехал твой Радищев домой, намешал себе стакан цикуты, а через две минуты его обмыли и на стол положили покойником. Вот тебе, батюшка,— не верь якобинским глупостям.

Андрей не мог заснуть всю ночь. Когда под утро дети и родители встретились за утренним чаем, Иван Петрович был желт, как итальянский апельсин, мешки висели у него под глазами. Катерина Семеновна сверкала аквамариновыми льдинками своих глаз и ловила выражение глаз у своих детей. Андрей явился позже всех. Старшего сына Катерина Семеновна не то чтобы лорнировала, а с торжеством на него смотрела. Андрей был хмур, и, когда опускал веки, словно под многопудовым грузом, под многолетней усталостью, она торжествующе шептала про себя: «Яблоко от дерева недалеко падает». Сережка, по обыкновению, пролил чашку на коленки отцу. Николай, занятый своими мыслями, надрезал скатерть и за то был бит по рукам. Иван Петрович, с большим трудом раскачавшись и поднимая синие веки, сказал детям:

— Знаете ли, друзья, когда великий философ Сократ проповедовал пользу познания, его обвинили в ереси против богов. Обвинение неправильно было. Сократ говорил, что он не таил своего учения, он проповедовал на площадях и перпатировал в греческом колонном коридоре в Афинах: все могли его слышать. Никакого тайного учения, никакого заговора противу правительства его речи не содержали. Он говорил лишь о свободе суждения и о том, что правильное познание добра ведет к его осуществлению. Одначе Сократ был схвачен и посажен в тюрьму. Там он принял цикуту, поднесенную ему палачом, и, окруженный своими учениками, повествовал им об истине, перемежая свое повествование заметками о том, что вот уже ступни ног и кисти рук омертвели, и дальше говорил, прерывая

«Братья, почитатели истины, вот уже ноги по колени и руки по локоть охладели». И так говорил он, смеясь и бодро смотря на учеников своих, пока похолодание смерти не застало его на слове истины. Дети, друзья и товарищи, прошлой ночью от того же самого яда умер великий мудрец так же премудро и просто. Поминая его смерть добрым словом, порадуемся, что в державе Александра подобная смерть не повторится. И проводим ныне весело и счастливо Сашу в германский город Геттинген. Дети мои, мир сотрясается под революциями, во Франции учреждена республика, народоправство стучится в окна. Вдумайтесь в происходящее, перед вами многие возможности.

В два часа дня в Грузинах Саша Тургенев сел в почтовую карету, положив тяжелый баул на крышу. Покрепче в дорожную шинель! «Ох, как хороша дорога!» — думал Александр Тургенев, садясь в почтовую кибитку.

Марфуша пекла блины. Едкий дым застилал глаза. Фекла била ее смертным боем, а она, все чаще и чаще убегая за печку, дергаясь плечами, говорила: «Сашенька, Сашенька!» — и плакала навзрыд никому непонятными, глупыми, бабьими слезами.

Глава восьмая

Дворовый человек Василий, ухарски завитой, в шитой рубашке, ворот которой торчал из-за полушубка, на лихой тройке приехав на почтовую станцию, остановил Александра Ивановича за какие-нибудь двадцать минут до отъезда:

— Дорогой барин, государыня Катерина Семеновна вас требуют.

Оплакавши Россию, приготовившись к отъезду, Саша Тургенев должен был, повинуясь родительской воле, вернуться домой. На подорожной сделали отметку об отсрочке.

Дома полное смятение. Катерина Семеновна, раздувая ноздри, рвет и мечет. Иван Петрович, как никогда хладнокровный и спокойный, говорит:

— Хорошо, матушка, в Петербург поедем, такова высочайшая воля, но все равно ты меня не переймешь — ехать Сашке надо будет; он и Двигубский уже зачислены, а там еще, смотришь, Кайсаров Андрей, Галич, Куницкий, да и другая молодежь ехать должна — это тебе, матушка, не Синбирск, чтоб девятнадцатилетнего мальчишку с дороги ворочать. Я тут глава, я — начальник семьи.

Дети с ужасом смотрели, как дрожал письменный стол,

а через минуту большой фарфоровый чайник разбился о паркет. Катерина Семеновна мрачнее тучи вышла из комнаты.

На следующее утро все выехали, но не в Германию, а в Петербург. И лишь оттуда, через три дня, несмотря на капризы и протесты Катерины Семеновны, Александр Тургенев и Яншин сели за Нарвской заставой в петербургском Отделении почтовых карет и брик, ровно через десять дней после случая в Москве, и шестерка с диким криком форейтора из калмыков помчала кибитку по Ковенской дороге. Саша Тургенев впервые, тайком от матушки и батюшки, был вдребезги пьян. Яншин уговаривал его прислониться к кожаной подушке и заснуть. Саша пел песни про широкую Волгу, про Степана Разина, говорил несвязные слова о том, до чего хороша вольная жизнь и что если б матушка не была похожа на черта, то все было бы замечательно. Яншин его успокаивал и говорил:

— Когда тебя, милый друг Сашка, сильно начнет тошнить, ты мне скажи, а сейчас спи, дурак!

Саша думал: «Если б не капризы и етурдерия матушки, был бы я сейчас человек человеком, а то выходит, что я перед Яншиным свинья свиньей». Саша не помнил, говорил ли он вслух эти слова, или ему так думалось, но только Яншин трубил ему в ухо:

— Всегда, Сашка, перед отъездом так бывает, ты только не злись и не неволься. В Германии еще не то будет! Ты куда едешь? В Геттинген?

— В Геттинген,— отвечал Саша, запинаясь.

— Я тоже! А вот Двигубский — в Париж. Счастливая собака! Там интереснее.

Саша Тургенев проснулся и не мог определить, который час. Яншин сидел в кибитке. На чемоданчике, разложенном на коленях, на верхней крышке было блюдо с резаной курицей. Яншин ел с аппетитом, ястребиным глазком посматривая на Тургенева. У Саши голова кружилась. Достал матушкину жареную индейку и, пока с ней возился, увидел на крышке большого баула две золотые стопки, наполненные лиловатой, издающей приятный запах жидкостью.

— Bon voyage! [1] — сказал Яншин. — Но только не мигая и до конца!

Саша, не привыкший к спиртному, выпил и вдруг сразу почувствовал, что ему хочется есть. Болтал без умолку, говорил бессвязные, глупые вещи. Яншин холодным, ястре-

[1] Счастливого пути! (*Франц.*)

биным глазком на него смотрел, и лицо его выражало нескрываемое презрение к захмелевшему юноше.

— Тебе девятнадцать лет, Тургенев, да?

— Да,— сказал Саша,— а что?

— Да так, ничего! Думаю, где мы с тобой остановимся, когда приедем в сей славный университетский город.

— А я думаю,— сказал Саша Тургенев,— как бы мне опустить проезжему курьеру письмо к матушке и батюшке.

— Да ты, я вижу, сосунок,— сказал Яншин.— Без батюшки и матушки дня прожить не можешь!

После этих слов Яншин почему-то противен стал Александру Тургеневу.

Каждый предавался своим мыслям, и так ехали до самой границы. Там была проверка паспортов. Комиссар на границе впился глазами в русских путешественников и спросил ломаным немецким языком, зачем им нужен въезд в Германию. Отвечал Яншин, окончательно покоривший Тургенева своей практической сметкой и умением разобраться в обстоятельствах.

Начались бесконечные северо-немецкие болота и туманные места Восточной Пруссии. Сам не помня, как и когда, Александр Иванович Тургенев открыл глаза; въехав в маленький город на берегу реки, остановился синий, с большими почтовыми рогами дилижанс. Яншин, веселый и довольный, покачиваясь и посмеиваясь, вышел из экипажа.

— Где мы? — спросил Александр Тургенев.

Яншин осмотрел его с головы до ног. Треугольная шляпа лежала на бауле, черный редингот с голубым бархатным воротом и палевый шелковый ворот с гофренным галстуком, переходящим в кружевное жабо, довольно изящно оттеняли свежее, юношеское лицо молодого Тургенева, с прическою, сбитою мелкими кольцами и спадающею на лоб, с небольшими бакенами, спускавшимися чуть повыше кончика уха. Александр Тургенев был похож на заспанного фавна. Немножечко припухшие веки говорили о том, что юноша или устал с дороги, или, быть может, внимая увещаниям товарища, выпил излишне.

— Знаешь, ты даже похож чуточку на молодого царя,— сказал Яншин, указывая на белокурые волосы Александра Тургенева.

Александр Тургенев был занят другим. Почтовая станция была маленькая. Наблюдателей было немного, и, пользуясь случаем, какой-то старик в тяжелых больших очках, с высоко поднятым воротом, небритый, так что седые волосы торчали вокруг подбородка и под носом, хрип-

лым голосом, почтительно что-то доказывал молодому человеку.

Тот стоял, элегантный, прямой, высокий, и, не глядя, слушал. Тургенев разбирал отрывочные слова из шепота.

— Принц Конде обещал — скоро последняя голова у гидры будет срублена, ваша светлость! Матушка ваша приказала не унывать. Золото в надежных руках. Будьте уверены, что Париж раскроет вам ворота.

Молодой человек, вялый и изнеженный, медленно натягивал перчатку лимонного цвета на левую руку и говорил:

— Хорошо, Франсуа, ты — верный лакей. Надо, чтобы в течение двух недель сто тысяч прокламаций было разбросано. Мишель возьмет двадцать пять, ты — семьдесят пять тысяч. Марш!

К удивлению А. И. Тургенева, человек, ехавший с ними, такой старый и почтенный, казавшийся всем, ехавшим с ним от границы Германии, не то маркизом, не то графом старой Франции, оказался просто лакеем французского аристократа.

— Ну, что же ты так долго? — спросил Яншин.

Из дилижанса вышли. На извозчике поехали по берегу реки. Прошло еще два часа, и, окончательно сваленный аметистовыми бокалами Яншина, Саша Тургенев очнулся уже в городе Геттингене, в маленьком мезонине, где Линхен и Амальхен приготовляли постели для русских путешественников и приглашали их на кофе.

Началась студенческая жизнь Александра Тургенева.

Надо матрикулироваться. Матрикул — большой лист пергаментной бумаги — требует заполнения целого ряда вопросов: о родителях, об исповедании, о философских взглядах, какие науки интересны и прочее и прочее.

— Вы русский? — спрашивает секретарь.

— Русский,— отвечает Тургенев.

— У нас был русский Куницын. Ах, это студент, это студент! Он доктора получил через два года, aber es ist ein Iakobiner? [1]

— Aber was für ein Iakobiner? [2]

— Вы еще переспрашиваете,— говорит секретарь,— вам мало одной королевской головы, оторванной от плеч.

— Я вас не понимаю,— говорит Тургенев.

[1] Но он якобинец (*нем.*).
[2] Но что такое якобинец? (*Нем.*)

— Платите две марки за матрикул,— говорит секретарь.— Я не имею ничего сказать вам.

Александр Иванович оборачивается к Яншину и говорит:

— Я ничего не понимаю!

Яншин стукает его ладонью по лбу и говорит:

— Это в порядке вещей! Придешь, тебе вечером объяснит Линхен, а под утро — Амальхен.

— Что за чушь? — говорит Александр Тургенев.— Это возмутительно! Отпишу батюшке, что не затем ехал я в Германию.

— Отпиши, отпиши, милый,— говорит Яншин,— сваляй дурака. Прошло время, когда непонявший обращается к матушке и батюшке.

Круглая зала университета. Профессор Сарториус в шапочке с шелковыми углами («словно митрополичий кучер», говорит Тургенев) входит на высокую кафедру, маячащую перед аудиторией. Шестьдесят пять студентов разных национальностей сидят перед ним. Профессорская мантия, головка, откинутая на спинку кресла, длинные сухие пальцы, сваливающиеся с кафедры, говорят о прошлой эпохе. Свободные жесты кидает Сарториус в аудиторию. Рука от локтя до кисти временами вдруг встает костлявым привидением над кафедрой и свободно откидывается в сторону студентов. Костлявые пальцы свисают в аудиторию, а голова профессора запрокинута за деревянную доску — «словно на эшафот французской гильотины»,— шепчет Двигубский на ухо Тургеневу.

— А тебе что — уж Париж снится? — спрашивает Тургенев.

— Точно могу тебе сказать: в Париже сейчас уже не то. Там в умах у всех некий генерал с острова Корсики — Буонапарте.

— Не слыхал такого,— говорит Тургенев.— Думается мне, что у парижан на уме прэнс Лудвиг Нормандский и легитимные Бурбоны, вроде прэнса Конде.

— Ну уж, братец мой, ты оставь это матушке своей Катерине Семеновне, а мы — молодежь — думаем иначе. Оставайся тут со своими немцами, а я в Париж поеду.

— Bon voyage! — говорит Тургенев. — Однако ж не мешай мне слушать.

— Народы Европы,— продолжал Сарториус,— не привыкли управлять сами собою. Да это и в порядке вещей с того дня, как деньги стали делать хозяйство. Сто лет тому назад никто из владетельных князей Франции и Германии и не подумал бы, что какой-нибудь кружочек из золота

может решать судьбы царств и участи королей. Однако цены на хлеб становились все дешевле: владелец земель, который поставлял хлеб на мировой рынок, не мог выручить того, что он затратил на производство хлеба. Этот владелец, он же дворянин Франции, Германии, Англии и России, никак не предполагал, что хлеб будет стоить так дешево. Тем временем вырастали машинные фабрики. В народном хозяйстве появилась новая могучая сила. Что вы хотите с ней делать? У нее есть избыток капитала, избыток денег. Сейчас эта новая богатая денежная сила бросается к господам дворянам и говорит: «Государство нуждается в золоте. Чтобы вы зря не брали с населения денег за хлеб, пустим иностранное зерно. На рынке падут цены на хлеб. Вероятно, это нам нужно, ибо чем больше денег в государстве, тем государство счастливее».

Так думали многие в прошлом столетии, так ошибочно многие думают и посейчас, но, дорогие коллеги, это — ошибка, дорого стоящая ошибка *меркантилизма* прошлого века. В нынешнем столетии мы должны во что бы то ни стало пересмотреть теорию народного хозяйства XVIII столетия. Каждый из вас кушает кусок хлеба за обедом. Позволительно спросить вас: откуда этот кусок у вас в руках? В России, в тиранской стране, это все понятно — он дается дворянским детям даром, но кто в Германии и особенно в нынешней Франции возьмет этот кусок и по праву скажет: «Он мой, я его заработал»? Дорогие коллеги, в то время как верхушка населения имеет все, нынешний крестьянин не имеет ничего.

— Хорошо он говорит,— произносит на ухо Яншину Саша Тургенев.

— Молчи, дурак, тебе отрубят голову,— отвечал грубо Яншин.

— Итак, дорогие коллеги,— продолжал Сарториус,— система хозяйства в государстве, предложенная экономистами прошлого столетия, есть система торгового барыша и прибыли. Ясно, конечно, что если человек стремится увеличить барыш в своих сундуках с мешками золота, то он должен, дабы всякое неравенство исчезло, разделить общество на два правильных класса: один зарабатывает и укрывает, другой — страдает, обливаясь потом лица своего. Благородный дворянин, обеспечивающий правильную жизнь и от нищеты спасающий своего виллана, обязанного ему крестьянина, несомненно больше заботится о мужицком достатке, нежели нынешний купец, торговец и предприниматель. Человек, думающий о наполнении замшевого мешка золотыми монетами, менее полезен, чем простой

трудолюбивый человек, мечтающий об увеличении реальных, настоящих благ государства.

— Знаешь, Тургенев, он, по-моему, фритредер, он сторонник свободной торговли, он хочет уничтожить пошлину на продукт.

— А может, так и нужно делать, чтобы население не голодало,— возражает Тургенев.—Что из того, что денег много, а есть нечего?

Сарториус продолжал:

— Система прошлого столетия есть система завоза и накопления в государстве большого количества монеты. Это, дорогие коллеги, чистейший меркантилизм, унаследованный от старинных веков процветания богатого купечества. Знаете вы латинское слово «меркатор», что значит продавец. В Венеции целый квартал назывался «Меркан-ти». Мифологическое божество древних римлян, способствовавшее всевозможным коммерческим сделкам, называлось «Меркурий». Отсюда французское слово «маршандиза», что значит купля-продажа. Увлечение большой наживой амстердамского дома величайших европейских банкиров Фугеров создало в государствах особое стремление делать все, дабы накоплять в государстве золото, покровительствовать вывозу и препятствовать ввозу чужеземных товаров. Но, дорогие коллеги, все имеет свои пределы. Господа купцы вскоре убедились, что вывоз простого деревенского продукта — хлебного зерна или муки — повышает цены на эти продукты в той стране, из которой их вывозят. Какое из этого надобно было сделать следствие? Только одно. Применить обратный закон к хлебному рынку, а потом объявить свободный ввоз хлеба в свою страну по пониженным ценам и тем самым заставить своих производителей зерна понизить цену на хлеб в своей стране. Население возблагодарило создателя после такой мудрой меры, но равновесие в торговле было сим актом нарушено.

— Ничего не понимаю,— говорит Яншин на ухо Тургеневу.— Скажи, как, по-твоему, он за или против меркантилизма?

— Таким образом получается естественное следствие меркантилизма — вмешательство правящей власти в дела рынков. Это вмешательство, дорогие коллеги, именуется протекционизмом. Государство поощряет одних и препятствует другим. Меркантилизм и протекционизм теснейшим образом связаны друг с другом.

— А знаешь — это очень интересно,— говорит Тургенев Яншину, и свинцовый карандаш, шурша по бумаге, быстро записывает основные мысли преподавателя.

— Но, дорогие коллеги, наступает новая эпоха. Новый век стучится в ворота истории и требует, чтобы мы возвестили наступление свободы торговли. Правительство не может вмешиваться в то, что должно осуществляться в силу естественных законов. Одна и та же природа породила людское племя и хлебные злаки. Если одно служит на пользу другому, то это лишь в силу божественного предназначения человека. Все бесконечно разнообразные продукты, производимые нынешней усложненной индустрией, могут оказаться за пределами человеческих потребностей, если у человека нет куска хлеба. Следственно, первейшая забота государства есть обеспечение свободного развития зернового хозяйства. Пора знать вам, дорогие коллеги, что *нужды* управляют государствами, что потребности и интересы формируют общество и что продукты, естественно поддерживающие жизнь человека,— суть первая и основная потребность государства.

— Я так и знал, что он физиократ,— говорит Александр Тургенев.

— А я думал, что он сторонник свободной торговли, сиречь фритредер,— говорит Яншин.

— Какая разница между этими двумя учениями? Одно дополняет другое, как изнанка и лицо,— сказал Александр Тургенев.

Раздался звонок. Студенты, деканы, профессора и педели высыпали в коридоры, в галереи и покрыли собою широкие лестницы.

Георгия Августа — это название университета в Геттингене. Основан он был в 1734 году; из маленького ганноверского учебного заведения сделался крупнейшим центром европейской культуры начала XIX века. Речка Лейна, протекающая совсем у подошвы горы Хайнсберга, хорошо видна из окон библиотеки. В простенках — большие желтые шкафы из ясеня, за стеклами видны кожаные тисненые переплеты трех тысяч рукописей на латинском и немецком языках. Полмиллиона книг в просторных, тихих, прохладных коридорах.

— Сладостна здесь наука,— говорит Александр Тургенев. Галич не слушает. Другие студенты тоже мало обращают внимания на восторженное состояние девятнадцатилетнего Саши. Молодые люди в украшениях из пестрых лент разных корпораций снуют по коридорам. Коротенькие козырьки шапочек, носы, изрезанные рапирами, губы, надорванные остриями, широкие шрамы и черные пластыри на физиономиях студентов, лица, слегка одутловатые, ро-

зовые и красные от огромного количества пива, мелькают перед Тургеневым.

Подходит Яншин, наклоняется к Тургеневу и шепчет:

— Что ты вечером сегодня делаешь?

— Думал писать письмо матушке и батюшке.

— Ну, так вот, посылаю тебя к матушке со всеми вытекающими отсюда последствиями, но ты дрянью будешь, ежели не поедешь с нами ночью, при факелах, в ущелье Хайнсберга. Туда едет вся русская колония и вся студенческая Ганноверская корпорация.

— А что там такое?

— Там цыганский табор, и два наших студента подрались из-за цыганки. Случай небывалый, биться будут на старинных мечах, в кольчугах, при свете факелов.

— Фу, черт возьми,— говорит Тургенев,— надо ехать.

Глава девятая

Вечером от восьми до девяти Тургенев сидел с Яншиным, русские студенты пели русские песни. Александр Иванович читал письма, полученные из России. Оказывается, и старший брат уехал за границу, в Вену, для зачисления в русскую миссию при графе Разумовском. «При Иване Петровиче остались младшие братья — Николенька и Сережа»,— думал Тургенев. Яншин, сильно подвыпивший, заливаясь соловьем, выводил какую-то длинную песенную руладу, закинув глаза высоко и играя на гитаре. Играл он мастерски, пел с упоительным увлечением. Тургенев смотрел на него и думал: «Добрый малый и с хорошим душевным расположением, но как общение с немецкими графами, с этими драчунами-студентами, отвлекло его от учения». Продолжая думать, Тургенев говорил себе: «Однако я в сутки сижу двенадцать часов без разгибу, сплю, как монах, пять часов, самое большое, в надежде отоспаться в гробу после смерти. Но ведь этак можно раньше времени накликать гробовой сон. Надо непременно ходить до усталости, а то спина не гнется. Надобно ехать сегодня повеселиться. Хотя что за веселье будет, ежели у самых развалин замка Плесс будет драка на старинных мечах. Грубые люди все-таки эти немцы! А в горах там красиво, с самых высоких белых утесов падают и разбиваются в брызги горные ручьи, что при лунном свете дает зрелище ослепительное. «Поеду»,— решил Тургенев и хотел обратиться к Яншину с напоминанием, как вдруг на улице раздался крик, звон и дробный барабанный бой. Тургенев, Яншин и все студенты бросились к окну. Страш-

ное зарево окрасило горизонт. Множество студентов бежало по улице. Все кричат:

— Feuer, Feuer, Bursche heraus![1]

Тургенев быстро оделся и побежал к месту пожара. Стечение народа было большое, но, к удивлению Тургенева, почти никто не принимал участия в тушении пожара. Равнодушие зрителей его возмутило. Он быстро вбежал в горящий дом и стал помогать охваченным паникой жителям в спасении их имущества. Он перебегал из комнаты в комнату. Немецкое жилище обнаруживало перед ним свое устройство и навыки хозяев. При большой чистоте отведено слишком много места всевозможным заботам о желудке. Неуклюжесть и громоздкость обстановки поразила Тургенева во мгновение ока. Он не успел осмотреть долго и внимательно ни одной комнаты, потому что заметил, что, то ли от клубов едкого дыма, то ли потому, что не было уже надобности вытаскивать имущество, он внезапно остался один. Лестница, по которой он вошел, провалилась, он толкнул ногой дверь в комнату и увидел на постели ребенка с широко раскрытыми глазами, кашляющего от дыма, но нисколько не напуганного. Он взял его на руки и бросился в коридор. Там дышать невозможно было от жары. Выбив раму, Тургенев вышел на крышу. Это был низкий чулан, примыкавший к зданию, покрытый каким-то мягким промасленным ковром. На воздухе дышать было легче. Языки пламени уже лизали окна комнаты, из которой вышел Тургенев. Недолго раздумывая, он подполз к водостоку и через пять минут стоял на маленьком черном дворе около водяного чана, полного до краев. Ребенок спал у него на плече. Передав его шуцману, Тургенев побежал домой и, не раздеваясь от усталости, закопченный, продымленный и опаленный, заснул и не просыпался четырнадцать часов подряд.

Утром долго не мог понять, что с ним было. Он удивлялся только чрезвычайной холодности немцев. Он писал у себя в дневнике: «Отец, лишившийся взрослого сына, тужит о том, что воспитание его дорого ему стало и что сын умер, не успев вознаградить отца за понесенные издержки. Брат, потерявши брата, радуется, что ему достанется кафтан и сапоги покойного».

На следующий день ездили верхами. Тургенев писал: «Сейчас приехал верхом. Целый день был в движении и был в трех государствах: в Ганноверском, в Прусском и Кассельском. А у нас и дач трех помещиков нельзя в один

[1] Пожар, пожар, бурши, выходите! (*Нем.*)

день объездить». Тут же Тургенев записал анекдот: «Недавно случилось, что в прусской службе в одном полку находились отец и сын солдатами: первой провинился и осужден быть прогнан шесть раз сквозь строй. Полковник велел собраться полку всему; ему докладывают, что сын преступника также тут и просит избавить его от сей несносной должности; но сей настоял на своем повелении. Экзекуция началась. Сын наряду с прочими взял несчастное орудие; но могла ли рука его подняться на виновника бытия его? Он, вместо того чтобы давать отцу удары, при приближении его бросил к ногам его прутья и получил от надзирающего офицера за сие несколько сильных ударов; в другой раз поступил он так же и получил вдвое больше ударов; в третий раз узнает об этом полковник, подходит к нему и бьет жестоким образом. Вдруг воздействовало в солдате природное чувство: он схватил ружье и убил бесчеловечного. Все солдаты закричали: «Браво!» Офицеры хотели усмирить их, но последовал всеобщий бунт, и они должны были уступить силе многолюдства».

Напротив, через улицу, поселилось французское семейство: старая маркиза, маркиза молоденькая и старый маркиз — генерал, бежавший из Франции и поселившийся там, где, по его мнению, он был дальше всего от Бонапартовых глаз. Тургенев познакомился со старым генералом. Узнал, что генерал Бонапарт — «выскочка из самой заурядной семьи», что он одерживает теперь победы, что с Французской республикой чрезвычайно трудно бороться. Генерал с горечью говорил, как многие его сотоварищи, титулованные дворяне, «продали свою шпагу этому проходимцу Бонапарту».

— А какие дикие нравы у этих французских якобинцев,— говорил генерал с горечью,— они к лучшим военачальникам покойного короля приставили военных комиссаров. Те требуют побед во что бы то ни стало, а если войско терпит поражение, то комиссар застреливает из пистолета генерала. Согласитесь сами, что невозможно служить в такой армии.

— Однако она все время одерживает блестящие победы,— заметил Тургенев.— Значит, армия сильна!

— Эту силу революционерам дает дьявол,— сказала старая маркиза.— Разве можно думать, чтоб какая-нибудь марсельская голытьба или шатовьевский штрафной батальон из каторжников и галерников в красных шапках могли одержать победы над регулярными брауншвейгскими отрядами, а тем не менее эти регулярные отряды бегут при виде красных шапок бунтующих французских каторжников.

«Действительно, странно,— думал Александр Тургенев.— Если уж они говорят так, то, значит, республиканские войска непобедимы. Если это говорит французский эмигрант, ненавидящий французскую революцию, то, значит, эти слухи о французских победах верны. Однако не слишком ли они доверчивы ко времени и пространству? Время бежит быстро, и уже недалекие пространства отделяют ганноверские владения от полей сражения, на которых раздаются французские военные песнопения».

Тургенев подписался на немецкие журналы. За шесть талеров в год стал получать все, что выходит периодического в Германии.

Составил себе расписание слушать лекции профессоров истории всеобщей, истории русской, которую читал Шлёцер — автор знаменитого исследования о Несторе-летописце. Слушал лекции английского языка, изучал латинский язык, натуральное право, естественную историю, в первые годы главным образом ботанику. Время было разобрано до такой степени, что, начиная лекции с семи часов утра, Тургенев заканчивал свою работу в будни в одиннадцать часов ночи. Воскресенья он проводил за городом в полном и счастливом отдыхе. Эта огромная, напряженная работоспособность спасала его от многих неприятностей, свойственных жизни молодежи на чужбине. Товарищ Тургенева, молодой Успенский, менее работоспособный и менее дисциплинированный, поддался тоске и, прохворав две недели, должен был уехать обратно в Россию, так как не в состоянии был рассеять «чувства страстной и захватывающей меланхолии», которая отравляла ему каждую минуту. Яншин был другого склада человек. Он пил вино, волочился, озорничал, шумел по улицам и сделался типичным буршем. Однако Тургенев охотно проводил с ним время. Он писал большие письма, начиная их каждый раз словами «Милостивый государь батюшка, милостивая государыня матушка». Он охотно выполнял поручения отца, высылал ему книги, которые в большинстве случаев не доходили. Он выслал отцу книгу Шатобриана, только что вышедшую в республиканской Франции и предвещавшую в недалеком будущем возврат французской литературы к идеалам и стремлениям королевского прошлого. Эта книга, «Гений христианства», беспрепятственно дошла из Геттингена в Москву.

По воскресеньям Тургенев любил выезжать из Геттингена. Граница была недалеко, можно уехать в Пруссию,

можно уехать в Кассель, от ганноверского Геттингена все это было рукой подать. Наблюдения Тургенева аккуратно заносились на странички его дневника. Большая зеленая книга с конвертным клапаном и завязками по ночам исписывалась тончайшим, мелким, малоразборчивым почерком. По-русски он писал наблюдения о немецких князьях. Проезжая в кассельских владениях, Тургенев наблюдал, как женщины выполняют самые тяжелые полевые работы. Он допытался о причинах этого: корыстолюбивый кассельский ландграф торговал своими подданными. Во время американской войны он устраивал посадку на корабли своих рекрутов и довольно изрядно нажился на этой торговле войсками. Торговля эта производилась тайно, никто не мог с точностью указать матери, куда исчез ее сын, невесте, куда девался ее жених. Ходили темные слухи, но вслух об этом не говорили. В дневнике Тургенев писал: «Между прочими резкими чертами, характеризующими ландграфа и его корыстолюбие, достойна замечания следующая: чтобы сократить расходы на двор свой, выдумал он средство иметь истопников и не платить им никакого жалования. Он заставил отапливать свой дворец невольников, содержащихся под стражей и, следовательно, отягченных цепями. Но неприятный звук цепей, который раздавался с тех пор всякое утро в покоях и тревожил сладкий сон покоящейся его любовницы, заставил последнюю упросить его упразднить эту экономию».

Тургенев восхищался своими профессорами, особенно Шлёцером. Он с восторгом писал, как именно Шлёцер впервые, вопреки цензуре, осмелился написать о всех бесчеловечных и грязных поступках кассельского государя. В ответ на статистические вычисления Шлёцера о том, как пострадало население Кассельского ландграфства от продажи молодежи иностранцам, кассельский государь обратился к Шлёцеру с негодующим письмом за эти якобы клеветнические показания. Ландграф писал Шлёцеру, что ежели он чего не знает, то пусть обратится непосредственно к ландграфу. На это Шлёцер ответил: «Не знаю только одного, не знаю точного количества золотых мешков, которые получили вы от иностранцев за торговлю немецкой молодежью». На этом переписка прекратилась. Ландграф не ответил профессору.

Суббота. Профессор Шлёцер кончает лекцию. Он рассказывает о том, как всевозможные племена скрещивали пути своих караванов и кочевий на востоке Европы, он

говорил о том, как нужда гонит одних и подчиняет других, он рассказывал увлекательным и живым языком о возникновении и исчезновении больших государств Азии и стремился внушить своим студентам мысль о том, как нужды и интересы больших и малых человеческих групп делают историю; как шлифуется и оттачивается человеческое общество благодаря столкновениям острых и противоречивых интересов и как постепенно видоизменяются государственные формы. Зачастую поворачиваясь в сторону русских студентов, он произносит несколько фраз, блестящих, красивых, почти напыщенных, по-русски. Широким жестом он приподымает покровы тяжелых исторических туманов, осевших над старыми временами, он описывает события с такой яркой жизненностью, как будто сам был их участником, он заставляет воображение работать лихорадочно. Его сильная логика направляет мозговую работу аудитории. Студенты слушают затаив дыхание и провожают Шлёцера рукоплесканиями. Его заключительные слова совсем неожиданны. Он говорит о том, что во Франции произошла революция, что все страны идут к народовластию, но вот на востоке появляются признаки новых исторических форм просвещения. Александр I собирается сделать в России шесть просветительных округов-дистриктов. В каждом округе будет университет, не просто университет, а центр просвещения, от которого будут зависеть школы разных степеней. Будет могучая школьная сеть, в которой каждая ступень есть подготовка к следующей. «Однако,— заканчивает Шлёцер,— все упирается в одно: необходимо уничтожить в России рабство».

Профессор Буле и профессор Мартенс не читают сегодня лекций. Двигубский, Яншин и Тургенев выходят из университетских галерей, сдавши книги в библиотеку, и при выходе на большой университетской лестнице останавливаются и вопросительно смотрят друг на друга. Всем троим очень молодо и очень весело. Жизнь заманчива и интересна.

— Я хотел бы быть сейчас в гавани, наклониться с палубы белопарусного корабля, смотреть вот на такое же великолепное заходящее солнце и ждать, как поднимется якорь и в золотистую даль потянет и поманит тебя ветер туда, в неведомые, в удивительные страны,— сказал Двигубский.

— А я хотел бы стакан пуншу,— сказал Яншин.

— До гавани далеко, пунш от нас не уйдет, а пойдемте-ка лучше к Ганзену, возьмем трех лошадей, поедемте верхами до Миндена,— предложил Тургенев.

Сказано — сделано. Через два часа, сидя под огромными буками на высокой горе, трое молодых людей, положив шляпы, перчатки и английские стеки, уже беседовали над огромной долиной, в которой змеилась, протекая, голубая Фульда, ручьи бежали неподалеку, бесконечная долина, окруженная горами, покрытыми лесом, зеленела и золотилась в лучах заката, развалины замков на трех огромных уступах были позолочены лучами вечернего солнца. Старинный германский ландшафт, необычайно мирный и прекрасный, даже величавый в спокойном угасании вечереющего дня. Красные, золотые, внизу клубящиеся, а сверху перистые облачка таяли и уплывали, тихо меняя очертания. В ближней зелени затихали птицы. И вдруг среди этой необычайной тишины, где-то очень далеко, почти беззвучно, словно попыхивая, послышались один за другим четыре пушечных выстрела. Двигубский продолжал говорить, не слыша. Тургенев вслушивался не понимая, и только Яншин вскочил на ноги.

— Господа, это сражение!

Дневник Тургенева.

«8/20 мая (1803). Итак, французы уже близки к ганноверским владениям. Что-то последует с здешним университетом? Верно, просвещенные французы не потревожат муз, любящих и требующих более всего спокойствия. Под эгидой Минервы нам нечего опасаться.

11/23. Отправил письмо в Москву и в Лейпциг. Итак, мы можем теперь назваться осажденными. Беспрестанно ожидают ганноверцы входа французской армии. Всех граждан призывают к присяге. Силою берут в солдаты, и беспрестанно виден на улице новый привоз рекрутов. Сегодня ввечеру вели их. Жители с сожалительною миною смотрят на них. Я шел со своими товарищами и смеялся над пустыми приготовлениями ганноверского правления и над этой недисциплинированной кучей шалунов, которую берут под ружье. Женщины, увидевши, что мы смеемся, вскричали: «Und die Russen lachen!»[1] А что же нам иначе делать, мы не имеем нужды трепетать.

Видно, что страх их не бездельной. Даже и за город никого из мужчин не выпускают.

13/25 июня. Писал письмо к брату. Итак, я уже не в королевских, не в ганноверских владениях, но... ура! в республиканских французских. Государственные гербы здешнего курфюрста поневоле уступили место французскому

[1] Даже русские смеются! (*Нем.*)

равенству и вольности. Ни на одном же казенном доме не скачет конь ганноверского дома. Везде республиканский девиз «Liberté, egalité»[1]. Войско сдалось на постыдную капитуляцию. Французы господствуют. Депутация здешнего университета кончилась с изрядным успехом. Французы сумели поддержать о себе мнение как о просвещеннейшей европейской нации и хотят оставить геттингенских муз в покое. Генерал Мортье отвечал профессорам нашим — Мартенсу и Блуменбаху: «L'université dé Guettingue sera respectée dans tous les rapports possibles»[2]. Разумеется, поставят сюда немногочисленный отряд».

Андрей Кайсаров каждый раз приходит к Александру Тургеневу читать московские письма. Потом Тургенев за одним столом, Кайсаров за другим два часа строчат обширные послания в Москву все тому же Ивану Петровичу Тургеневу, любимцу русской студенческой молодежи в Геттингене.

За его здоровье пили первые бокалы на студенческих пирушках, именуя Ивана Петровича «Другом человечества». Ему исповедовались во всех литературных сомнениях и ересях, ему писали о своих увлечениях шиллеровскими трагедиями и произведениями веймарского писателя Гете. Ему рассказывали лекции профессора Буттервека о Петрарке, о его удивительной любви к Лауре. Восторженно сравнивали Петрарку с Васильем Андреевичем Жуковским, который в тот год стал уже замечательным стихотворцем. Александр Тургенев только Кайсарову доверял свои семейные дела. Ни Двигубский, ни Яншин, ни другие студенты не были в такой мере близки семье Ивана Петровича, как Андрей. Лирическая настроенность Тургенева не встречала насмешек со стороны друга. Кайсаров лучше других понимал весьма утонченные и сложные переживания своего приятеля.

— Знаешь, друг Андрей,— говорил Александр Тургенев,— я смотрю вокруг себя и не узнаю вещей и природы. Кажется мне, что выветриваются остатки прошлого века, скидывается штукатурка, а под ней вместо старых бревенчатых стен обнаруживаются камни и железо новых невиданных строений. Не уловляю этих перемен в ясности, но кажется мне, что меняется облик вселенной и тают образы всех знакомых предметов прошлого века.

[1] «Свобода, равенство» (*франц.*).

[2] К Геттингенскому университету отнесутся с возможным уважением (*франц.*).

— Старое стареет,— сказал Кайсаров,— стареет и отмирает. Отмерла старая Франция придворных поклонов, париков, мушек и фижм. Послушай, какие дерзкие вещи говорят французские офицеры в ресторации Ганзена. Они на весь мир смотрят как на свою собственность. И я уверен, что замыслы их идут очень далеко.

— Ты прав, когда говоришь, что старое стареет. Вот уже батюшка вышел в отставку. В последнем письме он пишет о том, как уже съехали с Моховой улицы, купив дом на Маросейке, и туда поселились. Андрюша приехал, и все три брата в Москве. Пишут, что отец уже стар и только матушка одна посещает московские балы усердно. Во мне два чувства борются. Очень хотел бы видеть отца и братьев, но так привязался я к Геттингену и к наукам, так я чувствую себя на месте, что с боязнью думаю о разлуке с этим прекрасным городом.

Бросив письма на почту, Кайсаров и Тургенев свернули в переулок, вошли в калитку большого тенистого сада и, пройдя мимо цветочных клумб к обрывистому берегу, сели на прекрасную веранду господина Ганзена, где подавалось лучшее в Германии пиво и где студенты собирались для товарищеских обедов. Столы были полны. Среди студентов, ничем не выделяясь, весело говорил, поднимая бокал в правой руке, молодой безусый студент баварской корпорации. С ним спорили два французских офицера; господин Ганзен, грузный, но веселый и насмешливый, стоял неподалеку, бросая острые словечки. Безусый студент прекрасно говорил по-французски. Французы обращались к нему, называя его «citoyen» [1], студент с ними спорил и говорил, что еще одна коалиция — и Французской республике конец. Что будет тогда с Францией? Офицер оживился и заговорил с жаром:

— Едва наши свободные крестьяне успели засеять поля, как аристократы, продавшие Францию, двинулись с наемными войсками. Франция всех отшвырнула от своих границ, но так как вы упрямо добиваетесь гибели моей родины, так как вы упрямо добиваетесь царства аристократов, то нам приходится идти против вас и завоевывать ваши пределы. Мы всюду скинем королей, мы всюду напишем великие слова нашей революции. Да здравствует свободный Ганновер! Да погибнут англичане, правившие этой немецкой землей!

Студент поднял бокал и осушил его залпом. Французский офицер протянул ему руку.

---

[1] Гражданин (*франц.*).

— Моя фамилия Бланки,— сказал он безусому студенту.

— Я счастлив,— сказал студент, пожимая руку французу.— Меня зовут Людвиг, я — наследный принц баварский.

Француз отступил, сверкая глазами. Воцарилось неловкое молчание. Потом раздался смех. Француз подошел к прилавку и, бросив три пятифранковых монеты, воскликнул:

— Плачу за всех, сдачи не нужно!

Это была щедрая плата. Когда французы ушли, господин Ганзен показывал всем новую французскую монету. Красивая чеканка. На монете портрет Бонапарта с надписью: «Первый консул». Вместо точки — изображение петуха в самой гордой и воинственной позе с огромными шпорами, а по краям надпись: «Бог покровительствует Франции».

— Однако,— сказал Кайсаров,— что-то последнее время французы часто стали поговаривать о боге. Должно быть, Бонапарту понадобилась помога римского папы.

Вечером Тургенев был на чаепитии у Шлёцера. В большой старинной зале шлёцеровской квартиры собралось восемьдесят человек. Среди них Тургенев заметил баварского принца и французского генерала-эмигранта, ослепшего еще при короле и теперь проживающего в Геттингене вместе с красавицей дочерью. Для того чтобы не чувствовать стеснения, Тургенев быстро выпил три бокала шампанского. Немецкий принц пил также не мало. Оба захмелели, речь стала веселей, оба подтрунивали над тем, как молодой венгерский граф Текели, пользуясь слепотой старого француза, целует его дочь, в то время когда генерал осыпает бранью Бонапарта и нынешнюю Францию.

— Однако нравы стали вольные,— сказал Тургенев. Принц пожал плечами и засмеялся.

Слепой французский генерал бушевал, крича:

— Этот вор и бандит осмелился убить герцога Энгиенского! Сын какого-то корсиканского чиновника, островитянин, где половина населения занимается воровством и грабежом, безродный выскочка, которому во что бы то ни стало нужно рядиться в римские одежды, называть себя первым консулом, управляет Францией!

Венгерский граф, кончая танец, подвел дочку генерала к креслу и быстрым, почти незаметным движением поцеловал ее в висок.

— Венгерская контрибуция с Франции,— трунил принц.

Генерал продолжал:

— За один этот год были два обширных заговора — Пишегрю и Кадудаля. Если бы хоть один из них удался! Этот господин консул, очевидно, застраховал свою жизнь у самого черта.

Шлёцер подошел к Тургеневу. Веселый, насмешливый и умный старик, пожимая руки своему студенту, говорил:

— Ну, что же, поздравляю. Ваш Александр учредил министерства, я читал его указы об уничтожении пыток и ограничении телесных наказаний. Я считаю, что указ о вольных хлебопашцах, разрешающий наконец помещикам освобождать крестьян целыми деревнями, есть хорошее начинание. Пожалуй, при таких условиях в России все пойдет мирным путем.

— Господин тайный советник,— сказал Тургенев,— я надеюсь, что вы не проводите аналогии между Людовиком Шестнадцатым и Александром Первым.

— Дорогой мой, у вас нет третьего сословия, нет сильной буржуазии, у вас почти неизжитый феодальный быт. Только поэтому я не провожу аналогии,— ответил Шлёцер, улыбаясь умными светлыми глазами.

Тургенев смотрел в эти прозрачные, горящие искрами ума глаза и чувствовал, что весь образ мыслей Шлёцера ему непонятен, что сколько бы он, Тургенев, ни просидел в Геттингене, он никогда не получит этой изощренной гибкости мозга и этого блеска ума, обогащенного большими знаниями и постоянным упражнением ненасытной, огромной мысли.

— Не будем загадывать вперед,— сказал Шлёцер,— нынешние страны Германского союза могут только завидовать России. У вас уже открыты университеты в Харькове и Казани, у вас открыты гимназии, уездные училища. Александр хорошо начинает. Надо иметь в виду, что французский сенат и государственный совет тоже не дремлют. Во Франции строятся политехнические школы, создается новый гражданский кодекс, выравнивающий людей всех сословий. Люди без роду и без племени, как говорят русские (эти слова Шлёцер произнес по-русски), могут достичь высоких степеней в государстве. Конечно, немножечко смешно, что они рядятся в греческие и римские одежды. Им все-таки хочется разыграть древних греков. Через столетия легенд и преданий своей героической аристократии безродные французы протянули руку братьям Гракхам, Бруту, Гармодию и Аристогитону. Это ведь тоже неплохо, хотя пахнет театром. Во всяком случае, обращение к античным героям для французских буржуа, поднявших крас-

ное знамя, было менее обидно, чем обращение к прошлому своей аристократии, которую они стремились уничтожить. В самом деле, французская аристократия ведь совершенно себя изжила, она уже перестала быть двигательной силой государства, она превратилась только в потребителя крестьянского труда. А тем временем французское купечество зрело, укрепляясь. Оно уже владело финансами и чувствовало себя хозяином страны. Перед французским богатым горожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянскую грамоту. Теперь это преимущество ничего не стоит. Всякий француз может применять свои способности и свободно соревновать с другим. Всякий солдат может стать генералом, не предъявляя дворянского патента. В России этих условий нет. Она вся распадается на дворянство и крестьянство. Царю нужно опираться на одно, чтобы управлять другим. Возможности у него неограниченны. Все дело в том, пожелает ли он ими воспользоваться.

Тургенев собирался заговорить, но подошел профессор Блуменбах и что-то шепнул Шлёцеру, отведя его под руку. Раздавался голос баварского принца:

— Драмы Шиллера — прекрасная вещь, но хорошо, что закрыли геттингенский театр, так как весь университет проводил там свое время. Театр был полон, аудитории пустовали. Что касается меня, то я Ганзена люблю больше, чем Шиллера. Мозельский виноград на меня действует лучше, чем «Орлеанская дева».

— Я знаю деву, которая на тебя действует лучше мозельского винограда,— произнес захмелевший студент, обращаясь к принцу-студенту.

Дружный хохот был ему ответом. Тургенев заметил, что из двери, пробираясь по стенке, подходит к нему Андрей Кайсаров с лицом, искаженным гримасой.

— Что с тобой делается? — спросил Тургенев.

— Пойдем домой.

— В чем дело?

— Дорогой скажу.

Быстро выбежали оба на улицу.

— Ты только дай мне слово не шлепаться в обморок и не вести себя, как баба,— сказал Кайсаров.

— Да не томи ты, скажи, в чем дело. Что нибудь с матушкой, с батюшкой?

— Нет, с Андрюшей.

— Умер?

— Болен.

— Тяжело болен? Что с ним?

— Приехавши в Москву... захворал, две недели как... похоронили.

Несмотря на все свое мужество, Александр Тургенев не мог удержаться на ногах. Он пошатнулся и сел на деревянный тротуар, спуская ноги на мостовую.

— Нет проходу от пьяных студентов,— сказал какой-то почтенный немец, обходя Тургенева.

Наутро пришли из Вены обратно письма Александра Тургенева к брату Андрею с извещением, что «императорский секретарь Андрей Иванович Тургенев выбыл в Москву».

— Кто мог бы думать, что он выбыл из числа живых,— говорил Тургенев в минуты просветления после часов страшного отчаяния. Он буквально не находил себе места. Он брался за перо, чтобы писать в Москву, и не мог. Он судорожно брал первую попавшуюся книгу, чтобы не сойти с ума от горя и отчаяния, и через несколько минут, не могши прочесть ни строчки, видел, что держит опрокинутую книгу. Тогда начинал ходить по комнате, вспоминал, как в одном письме Андрей со смехом отзывался об искусственном и глупом титуле, придуманном для него на срок заграничной поездки. После многих мучений Александр Тургенев заснул. Ему снился самый неподходящий вздор. Он целовал хорошенькую кельнершу господина Ганзена и шептал ей на ухо какие-то студенческие нежности. Проснулся, обливаясь холодным потом, вторично проснулся, потому что первый раз проснулся во сне. Проснулся во сне и увидел себя у постели больного брата. Казалось, в жизни не любил он так его, как в эту минуту. Он ловит руку Андрея и говорит слабеющим голосом. Не помнит, что говорит, но слышит ясно: «Тебе жаль меня будет, братец!» Вторично проснулся от этих самых слов. Комната наполнена желтым светом. На столе мигает свеча. Свет бросает огромную тень на противоположную стену. Это не тень, а какая-то гигантская фигура. Мертвая и давящая тишина. Лучше бы не просыпаться. Предметы кажутся далекими, чужими. На сердце щемящая тоска и ужас оттого, что действительно проснулся и что все это верно, что Андрей где-то далеко, за две тысячи верст, уже лежит в отсыревшем гробу, глубоко под землею. Комната совершенно чужая. Весь мир совершенно чужой. Кругом непроглядная ночь, и только в этой комнате — желтый, мучающий глаза свет.

Тень на стене заколебалась. Это Кайсаров, сидя у письменного стола, перевернул страницу. Он читает всю ночь. Какое всю ночь? Оказывается, он вторые сутки у постели

бредящего Александра Тургенева. Подходит. Снимает мокрое полотенце с головы Александра. Тут только Тургенев замечает, что волосы слиплись на лбу.

— Нельзя так предаваться горю,— говорит Кайсаров.— А все потому, что это первая смерть в дружной семье. Вы — баловни судьбы, Тургеневы.

— Боже мой, неужто будут еще и следующие? — спрашивает Александр.

— Будут,— говорит Кайсаров.— А для того, чтобы они были не скоро, приведи себя в порядок и будь как старший утешением старикам.

Глава десятая

Исполнялись всевозможные сроки. Старились старики, крепли юноши, рождались младенцы. Одно зрело, другое отмирало. Зима сменила осень, весна сменила зиму. И лето пришло на смену весне. Трехцветные знамена развевались над Парижем. Двенадцатый год над Европой ветры носили великую песнь марсельских федератов. «Марсельеза» снилась королям вместе с громом французских пушек, а ее автор, сорвав с себя погоны, бросил их под ноги генералу Карно, заявляя, что он не может служить во французской армии после того, как голова короля слетела с плеч. Природа делала и не такие шутки. История в эти годы не только смеялась, но хохотала. От ее громкого хохота давали трещины дворцы, казавшиеся вечными. От ее улыбки над зелеными равнинами Ломбардии появилось яркое солнце, уходили австрийцы, иезуиты и жандармы, возникали легкие отряды итальянской молодежи, мечтавшие о свободе и счастии людей. Первый консул все еще казался богом войны и революции. Но и это было только улыбкой истории. В 1803 году от республики осталась тень, и эта тень протягивала руку императорской короне. Во Франции третье сословие считало, что довольно играть с огнем. Для охраны кошельков нужна полиция. Послушный первый консул поручил хитрецу и ловкачу Фуше организовать розыски не только мелких воров, но и свободных французских мыслей.

— Республика хороша в той мере, в какой она выполняет мою волю,— говорил Бонапарт на докладах Фуше.

— Бонапарт хорош в той мере, в какой он сдерживает натиск санкюлотов и оберегает нашу собственность,— говорили французские банкиры и фабриканты. — Санкюлоты хороши, когда они режут аристократов, но когда они тре-

буют дележа имущества, то им надо крикнуть: «Руки прочь!» Частная собственность священна.

С презрением говоря о рабской России, французские граждане, сидевшие в законодательных учреждениях, и не подумали о свободе колониальных рабов. Во французских колониях вспыхнули восстания цветных племен. Французских буржуа-колонистов резали с таким же восторгом, с каким восторгом парижские буржуа тащили на эшафот французских аристократов. Всему этому нужно было положить конец. Вот почему каждый буржуа радовался, видя каменную неподвижность и неумолимую энергию на лице Бонапарта. Огромная масса французов намагничивала эту бронзу, и, чувствуя, что он попал на гребень волны, Бонапарт выпрямлял свою маленькую фигуру и, поднимая руку навстречу молнии, считал себя в самом деле великим. В ранце каждого солдата был маршальский жезл. Опьяненная молодежь бредила войной и славой. Это были молодые горожане, отцы которых ставили в армию чулки и нитяные колпаки, военные сукна и металл, кожу и барабаны. По всей Европе катились волна несчастий и пьяная волна военного бреда.

Семнадцатого января 1804 года Александр Тургенев писал в дневнике о несбывшихся мечтах военной карьеры. В самом деле, какая тут военная карьера, когда умер старший брат и Александр теперь чуть ли не глава семьи! Отец пишет о том, чтобы он ехал для изучения славянских земель. Геттингенский университет кончен.

Дневник Тургенева.

«Итак, я не солдат, я не натуральный историк, я не курьер при иностранной коллегии, я не секретарь посольства. Что ж я? Адъютант русской древней истории при Санкт-Петербургской Академии наук. Воображал ли я, что через полтора года по моем приезде в Геттинген Шлёцер сделает мне подобное предложение? Ах, милый брат Андрей, день ото дня чувствую более и более нужду в тебе. С кем посоветуюсь я? Ах, как все переменилось — все переменилось».

Началась длинная переписка с родителями. В конце концов Александр Тургенев не без досады писал отцу: «Я не знаю, с чего заключили вы, что мне очень хочется в Академию, я никогда не был мечтателем и никогда не хотел занимать профессорской кафедры». А Кайсаров в своем письме Ивану Петровичу писал по поводу предложе-

ния Шлёцера: «Немецкий мечтатель рекомендует русского дворянина в профессоры». Очевидно, за время долгого отсутствия из России Александр Иванович сам недостаточно ясно представлял себе, куда готовит его отец. В глубине души он чувствовал симпатии к научной деятельности, но разбрасывался и ни на чем не мог остановиться надолго. Смерть Андрея коренным образом изменила планы Ивана Петровича Тургенева. Московские масоны собирались почти открыто. Сам Александр, казалось, вот-вот сделается мастером какой-нибудь ложи. Андрей Тургенев умер, не дождавшись посвящения. Все надежды Ивана Петровича и все стремления превратить старшего в семье в исполнителя поручений масонского союза теперь обратились на Александра. «Наука не есть вид общественного служения,— думал Иван Петрович.— Она завлекла Александра, но она замкнет его в узком круге интересов, а ныне предстоит обширная задача *создать Союз соединенных славян*. Пусть так и будет. Андрей Кайсаров, на мое мнение, производит прекрасное впечатление. Пусть он будет с Александром вместе».

Александр Тургенев повиновался родительской воле. Оставив разочарованного Шлёцера, простился он с Геттингеном. Приехавший купец Рахманов застал его в самый день отъезда из Геттингена. Рахманов рассказал, как разгоряченный на вечере Андрей пришел к матери Катерине Семеновне и та уговорила сына поесть мороженого.

«Оттого приключилась с Андреем Ивановичем горячка и прикончила ево жисть,— добавил Рахманов.— А об вас, батюшка Александр Иванович, все дюже убивалися. Княгинюшка Щербатова и ваша тетушка Нефедьева целый вечер проплакали у матушки вашей, за достоверное передав, что вы убиты французами, которые из пушек стреляли в ваш ниверситет».

Двадцать восьмого марта, выезжая из Касселя, Тургенев отметил: «Вчера минуло мне двадцать лет. Excidat aevo — пусть выпадет этот несчастный год из жизни моей».

По дороге из Дрездена на Вену Тургенев просил соседа, одного из тринадцати пассажиров, сидевших в дилижансе, дать ему газетный листок, который тот не отрываясь читал и перечитывал, словно уставившись в одну точку. Это была французская консульская газета, которая именовалась «Газетой Защитников Отечества». Тургенев прочел и понял причину напряженного внимания францу-

за. Двадцать восьмого флореаля (восемнадцатого мая 1804 года) сенат, под председательством Камбасереса, в Париже вынес решение, по которому учреждалась империя, а первый консул становился императором французов, хотя Франция по-прежнему именовалась республикой. Тургенев молча передал газету Кайсарову. Оба, не говоря ни слова и несколько смущенно оглядываясь по сторонам, вернули газету французу.

«Итак,— думал каждый,— якобинская республика кончилась, выскочка, сын корсиканского нотариуса, мелкий буржуа, французский офицер Бонапарт «вошел в семью» европейских монархов под именем императора Наполеона I».

— Что такое флореаль? — спросил Кайсаров.

— А что же? Французский Конвент в тысяча семьсот девяносто третьем году провел предложение Фабра д'Эглантина, по которому двадцать второе сентября тысяча семьсот девяносто второго года, то есть день объявления республики, был назван первым днем нового человечества. Каждый месяц в календаре д'Эглантина распадался на три декады по десять дней, и каждый месяц назывался по натуральным признакам в соответствии с погодою, промыслами и хозяйством.

— Да, помню, помню,— сказал Кайсаров.

Тургенев продолжал:

— Кажется, первый месяц назывался вандемьер, второй — брумер, третий — фример, четвертый — нивоз, пятый — плювиоз, шестой — вантоз, седьмой — жерминаль, восьмой — флореаль... Ну да, верно, это как раз восьмой месяц соответствует середине мая... Девятый, значит, будет — прериаль, десятый — мессидор, одиннадцатый — термидор и двенадцатый — фруктидор. Как видишь, здесь и ветры, и погода, и плоды, и овощи.

— Однако нигде, кроме Франции, этот календарь не принят,— заметил Кайсаров.

— Надо сказать, что новоиспеченный император довольно быстро двигается по Европе. Боюсь, что в скором времени, кроме нашего отечества, этот календарь войдет в моду повсюду.

— Не дай бог,— сказал Кайсаров.— Еще французские меры веса и меры длины, которые они называют десятичными, пожалуй, умная вещь, ну а календарь... слуга покорный, я — христианин и этих языческих выдумок принимать не желаю.

— Ах, Кайсаров, ты понятия не имеешь о том, что может заставить принять или не принять война. Будем

надеяться только на силу нашего отечества. Что касается Европы, то новоиспеченный император зальет ее кровью.

Француз, читавший газету, обратился к русским студентам:

— Простите, я не знаю русского языка, но по всему вижу, что и вас волнуют вести из Франции. Я уверен, что ваши суждения об моем отечестве ошибочны. Англия виновата в войне, и если Наполеон Первый ведет войну, то он ведет ее ради чести и спасения республики. Уверяю вас, что в самые тяжелые годы Англия затопляла Францию потоком фальшивых кредиток; пользуясь нашими невзгодами, она отняла все французские владения. Господин Брок поднимал всю Европу своей брошюрой, в которой он клеветал на французский народ только потому, что этот народ осмелился сбросить с себя иго дворянских цепей. Английский король Георг Третий объявил, что Франция угрожает человечеству. Именно поэтому в прошлом году первый консул объявил английскому посланнику Вайтворсу в Париже свое негодование: «Вы уже раз заставили нас вести десятилетнюю войну, теперь вы принуждаете меня продолжить ее на пятнадцать лет. Если вы обнажаете меч первым, то да будет вам известно, что я вложу его в ножны последним. Вы систематически нарушаете договоры». Известно ли вам, русской молодежи, что ровно год тому назад, на другой день после отъезда английского посланника, тысяча двести торговых судов и мирных кораблей Франции были захвачены англичанами в гаванях и в открытом море? Известно ли вам, что английские аристократы превратили французских матросов в рабов? Если это вам неизвестно, то узнайте это сейчас и поймите, что, как бы ни назывался генерал, отстаивающий свободу Франции, будь он президентом, императором, королем, герцогом — кем угодно,— но он будет вызывать любовь и верность третьего сословия уж потому, что он способен защищать наши пределы.

— Вы — прекрасный оратор,— сказал Тургенев,— а мы — плохие политики. Кажется, интересы моей и вашей родины, к счастью, не пересекаются.

— К счастью для вашей родины,— сказал француз.

— Милостивый государь,— воскликнул Кайсаров,— я считаю ваши слова дерзостью.

Публика в дилижансе заволновалась. Все тринадцать человек пассажиров заерзали на креслах и диванах, на скамьях и на империале кареты. Все ждали, что скажет француз.

Тихим голосом, слегка приподнимая шляпу правой рукой, француз ответил:

— Гражданин, я готов дать удовлетворение в любой форме.

— Кто вы такой? — спросил Кайсаров.

— Я — бельгийский оружейник, моя фамилия — Лепаж.

— Так это вы делаете лучшие дуэльные пистолеты в мире? — спросил Кайсаров.

— Да, это пистолеты системы моего деда.

— Сколько смертей разносит ваше изобретение! — заметил Кайсаров.

— Я не хотел бы, молодой человек, чтобы вы были в списке погибших. Я охотно беру назад свои слова о вашем отечестве.

К общему удовольствию, ссора кончилась благополучно. Кайсаров и Лепаж протянули друг другу руки.

Александр Иванович Тургенев писал из Вены 9 июля 1804 года:

«Милостивый государь батюшка!

Милостивая государыня матушка!

Вчера я был у славного Галя, который изобрел новую систему, называемую кранеологиею. Я еще в Геттингене учился у ученика его и слышал об этом целую лекцию; но Галь говорит, что он ни одним учеником своим не доволен, что ни один не вникнул еще порядочно в его учение, и оттого публика ничего еще верного не знает. Его обвиняют, и, кажется, справедливо, материализмом; почему здешнее правительство и запретило всем своим подданным слушать его лекции, и одни только иностранцы могут пользоваться ими. Впрочем, как ни говори, а система его очень вероятна, как скоро видишь такое множество ощутительных доказательств, беспрестанно подтверждаемых опытами; только должно было быть необыкновенному человеку, чтобы сделать в этом самое первое наблюдение. Но я еще ни слова не сказал о самом деле. Он говорит, что человек рождается с известными органами и что мозг, действуя на череп, образует их. У одного может их быть больше и в сильнейшей степени, нежели у другого; но воспитание, однако ж, может или мешать, или способствовать их развитию. Весь череп расчерчен у него, и каждому органу показано особое место. Орган сыновней любви, например, или родительской любви находятся вместе с органом храбрости и с многими другими в затылке; органы остроумия,

памяти и других находятся во лбу. Есть ли у кого какого-нибудь органа недостает, то там есть впадина. Вероятнее и интереснее делается его система тогда, когда он в человеческом черепе показывает те самые органы, какие находятся на самом том же месте у известных животных; например, у хитрого и лукавого человека на самом том же месте есть возвышения или орган, на котором у известного хитрого зверя — лисицы находится также возвышение. Он уже множество имел случаев угадывать, ощупывая череп какого-нибудь человека, о добром или худом свойстве или о какой-нибудь способности. Недавно к нему пришел известной славной виртуоз (есть и орган музыки), выдавая себя за профессора математики, и просил его, чтобы он осмотрел череп и сказал ему, к чему он наиболее способен. Галь при всех отвечал ему, что «вам бы не математиком, а музыкантом быть должно: у вас сильно действует орган музыки, а не математики». Таких примеров было множество не только с ним, но и с учениками его. Он долго делал наблюдения и долго не говорил никому о своем открытии, пока наконец, удостоверившись во многом совершенно, стал говорить и учить публично; но ничего еще не писал сам о своей системе, а только ученики его, которыми он совсем недоволен, проповедуют его учение. Я с трудом достал в Геттингене довольно сходно с его расчерченный череп. Я спрашивал у него, не сходится ли его система с Лафатеровой физиономикой; но он отвечал, что ни мало и что в Лафатеровой нет никаких основательных правил. Он предлагал нам сам прочесть несколько лекций о своей науке; но мы не имеем более времени, чтобы воспользоваться его предложением. Я наговорил так много, а для вас, может быть, это совсем не интересно. В таком случае простите моему празднословию.

Вчера же удалось мне быть и на здешней университетской лекции. Здесь образ учения университетского и порядок более сходен с нашим Московским (по крайней мере — с бывшим), нежели с другими (протестантскими) университетами Германии. Профессор спрашивает и взыскивает на ученике своем, чего бы не вытерпел наш брат ни от кого не зависимый академической гражданин. У нас, то есть в Геттингене и в других университетах, скорее можно сказать, что профессор зависит от студентов, нежели наоборот. Хочешь — учись, хочешь — нет, лишь заплати за свое место профессору; и кажется, эта свобода для взрослых гораздо лучше; а там иначе и быть нельзя. Но здесь есть также факультетные директоры, о которых ни в России, нигде не имеют понятия. Они имеют право

ходить к профессору здешнему на лекцию и взыскивать на нем, если он худо читает; имеют право предписывать ему учебную книгу, по которой он должен преподавать свою лекцию; могут рассматривать и не одобрить собственную его или им выбранную. Это ничего не знают тамошние профессоры. Здесь все это ведется еще от времени езуитов, которые хотели держать ученых в узде и располагать умы учащихся, как им хотелось. Иосиф II отменил было это, но теперешний император снова восстановил своих ученых деспотов. Однако ж благодаря Иосифу теперь и здесь говорят и пишут довольно свободно. Оттого, что здесь профессорам дается жалованье, положенное от правительства, и что они ничего не берут с студентов, они не очень и пекутся о том, ходят ли охотно, или нет к ним на лекции. У них нет этой побудительной причины, как в других университетах, учить лучше своего товарища и перебить у него слушателей для того, чтоб получить большее количество денег. Притом же и студенты здесь в совершенной зависимости от университетского правления. Они не могут слушать того профессора, которого им хочется, но того, которого следует по порядку учения. Теперь опять начинают здесь читать на латинском языке.

Недавно был я в славном Шенбруннском саду и жалел, что здесь нет никого из наших университетских медиков, которые бы могли больше меня воспользоваться им. Сад этот разделен на три части. В одной гуляют, другая назначена для одних только медицинских растений, а третья — для всех редких иностранных. В последней есть чему подивиться, особливо когда видишь в одно время сочное растение Южной Америки и наше. Порядок и просмотр везде прекрасный; но зато и три главных садовника, кроме славного Жакеня, который сам часто бывает в саду.

На следующей неделе и мы непременно отправляемся отсюду. Милых братьев целую от всего сердца. Препоручая себя родительским вашим благословениям, с чувствами глубочайшего почтения и совершенной преданности честь имею быть,

милостивый государь батюшка,
милостивая государыня матушка,
вашим покорнейшим сыном,

Ал. Тургенев».

Следующие письма были уже из Будапешта. В столице венгерского королевства Тургенев «видел на бале цвет венгерского народа. Одно уже национальное платье делает бал великолепным. Все обшито золотом и серебром, особ-

ливо магнаты, составляющие знатнейшее дворянство. Танцуют в шпорах. Здесь еще, как в старину прошлого века, без менуэта бал не начинается. Однако здесь простой народ или мужики и к народу не причисляются, а только одно духовенство. Магнаты и дворянство составляют народ. Последние сии классы не платят никаких податей, и привилегии дворянства простираются до того, что если какой-нибудь магнат убьет мужика, его никто не смеет арестовать, и он пользуется свободою неограниченной и дикою до тех пор, пока не осудят его, что, впрочем, никогда не случается, ибо в этом месте Европы до сих пор одерживает верх право сильного или богатого».

Чешская Прага, кроатский Загреб, десятки больших и малых славянских городов мелькали перед путешественниками сквозь окна имперской почтовой кареты. Дни проходили за днями. Холодные ночи на горах Крайны сменялись жарою около Фиуме. Прозрачные, светло-голубые волны Адриатического моря сверкнули на солнце, славянские лодки, турецкие фелюки с косыми латинскими парусами тихо покачивались под ветром на взморье. Турецкие кофейни, итальянские матросы, грузчики, говорящие словно на испорченном русском языке, из сербов и босняков, далматинские песни заставили на целую неделю забыть о Европе Кайсарова и Тургенева.

— Где тут разыскать славянскую идею, где тут определить братство балканских народов, о котором поручил твой батюшка? — говорил Кайсаров, как всегда несколько неуклюже и тяжеловесно выражая свои мысли.

— Ты старше, и тебе виднее,— говорил Тургенев Кайсарову.— Батюшка обещал и мне раскрыть эти секреты. Я, конечно, предпочел бы осуществить его первоначальный план — отправки меня в Париж. Он очень долго и серьезно говорил об этом. Бонапартовы дела все перевернули. А то были бы мы сейчас в Сен-Жермене у батюшкиных друзей.

— Потерпи, Александр! Тебе немного осталось времени до двадцати одного года, а там, смотришь, ты уже франкмасон младшей степени, и от тебя самого зависит пойти по ступеням Тайны быстро или замедлительно.

— Жду, ох, как горю нетерпением!

— Нетерпение не есть свойство масонов, это ты забудь, а иначе ты отсрочишь посвящение. Сейчас старайся узнать сродников своих, во всех оттенках старайся узнавать славянина, как подобает русскому сердцу. И не забудь пере-

дать Захару Яковлевичу Корнееву, обласкавшему тебя когда-то в Минске, все многозначительное, что слышал ты от профессора Ганки в Праге. Он совсем недаром говорил тебе, что скоро вспыхнет теснейшая связь народов славянских.

— Знаешь, дорогой друг, не очень я что-то верю в наше славянство. Если говорить о братстве народов, почему ограничиваться славянами, и много ль славянского осталось у нас — великороссов? Где ты найдешь чистые племена? Сам посуди, в каждом столько и финна, и татарина, что до великоросса и не докопаешься.

— Ой, ты нехорошо говоришь! — воскликнул Кайсаров.

— Чистую правду говорю, как думаю.

Холодок наступил между собеседниками. Разговор не возобновлялся почти до самой Венеции, и каждый думал про себя и по-своему.

Глава одиннадцатая

Февраль 1805 года. Ярко светит солнце. На небе ни облачка. Но морозный, все леденящий ветер взметает уличный снег почти до самых крыш. На улицах буря. Там, где Покровка переходит в Маросейку, в Собачий переулок сворачивает извозчик и останавливается у дома Тургеневых. Всегда последние шаги перед встречей кажутся самыми долгими. Крики и радостные возгласы, оглядывание друг друга с головы до ног. Иван Петрович в халате нетвердыми шагами идет навстречу Александру, обнимает его и плачет по обыкновению. Руки у него дрожат.

На восемнадцатые сутки по выезде из Ольмюца Тургенев увидел московскую заставу. Усталый с дороги, отвыкший от России, полюбивший Геттинген, как родной город, он терялся под напором самых противоречивых чувств. Ему казалось, что все страшно переменилось. Он ничего не узнавал, словно целые десятилетия прошли между днем отъезда и новой встречей. Все казалось ему разрушающимся, все не нравилось, и все возбуждало чувство острой жалости. Больше всего он был потрясен видом отца. Смерть Андрея и нервный удар сделали его почти развалиной. Матушка с негодованием говорила, что университет — это разбойничий вертеп якобинцев, что здесь открыто говорят хвалы Бонапарту и негодяю Робеспьеру, что Иван Петрович распустил молодежь и что молодой царь совсем запутался в политике. Одно только обрадовало сердце — это Николай. «О Николае нужно много думать особо, даже трудно сказать, что приходит в голову». За такой ко-

роткий срок — совершенно другое лицо. Встретил бы на улице — не узнал. Черты лица — пленительные, вьющиеся волосы, тонкие очертания губ, круглые брови — красив необычайно, но глаза — холодные, стальные и беспощадноумные. Неужели можно так меняться до неузнаваемости? Даже прихрамывание делает его походку пленительной.

«Неужели этот человек — мой брат? — думал Александр Тургенев.— Какое счастье!» Однако ни слова не сказал с ним. Николай смотрел и внимательно слушал. Без умолку болтал Сережа. Восторженно, захлебываясь, расспрашивал без конца. Николай спокойно смотрел на всех, и казалось, что он сравнивает голоса, но не слушает произносимых слов. Под предлогом переодевания Александр ушел в бывшую свою комнату. Проходя мимо комнаты Андрея, тронул скобку. Комната была заперта. Поглядел в замочную скважину. Книги, тетради, гусиное перо в чернильнице — как будто Андрей только вчера вышел из комнаты.

Александр вошел к себе. Повернул ключ в двери, бросился на постель и, уткнув голову в подушки, чтоб никто не слышал, предался своему горю. Мальчишество и отрочество прошло. Он теперь старший брат, которому предстоит охранять покой полуразрушенного старца и выслушивать крепостнические рацеи матушки. Неужели так быстро промелькнуло время беспечности? Вспомнились горы под Геттингеном. Замок Плесс, горные реки, белые утесы и водопады, горные долины. Поднялся, подошел к окну. Бушевала снежная вьюга, сквозь которую высоко над Москвой виднелось бесконечно-ясное, синее, солнечное небо. «Восхитительное зрелище все-таки: Замоскворечье с татарской мечетью и далекие синие Воробьевы горы — все видно. Ах, какой хороший дом купил батюшка!»

Наступила первая неделя великого поста. Вся Замоскворецкая набережная вдоль кремлевской стены и по другой стороне берега Москвы-реки покрылась возами и палатками. Всю неделю торговал так называемый грибной рынок. Бочки, бочонки и кадки, наполненные грибами всевозможных сортов и солений, бесконечные ожерелья сушеных белых грибов, свисавшие над прилавком палаток, медовые ночвы, долбленные из липы, дубовые кадки с брусникой и тысячи всевозможных «постных» вещей, способных разлакомить лакомку и свалить обжору, предлагались на грибном рынке в православной Москве.

Катерина Семеновна говела на первой неделе. Иван

Петрович решил — на страстной. На крестопоклонной неделе Николай и Александр Тургеневы пошли с отцом на Большую Никитскую под вечер к Ивану Владимировичу Лопухину. Судя по приготовлениям отца, сыновья решили, что предстоит какая-то важная конфиденция,— доверительное сообщение от отца к сыновьям. Пришли. Разделись и сели в пустынной холодной комнате. Единственная свеча горела на столе. Сидели долго. Иван Петрович, не привыкший к далеким прогулкам, чувствовал удушье, сильно кашлял и сморкался в огромный фуляровый платок.

Наконец вошел осанистый и важный старик, неизвестный тургеневской молодежи. Он обратился с каким-то особым, странным жестом к Ивану Петровичу. Стальной перстень с пятиконечной звездой сверкнул у него на пальце. Затем кивнул головой в сторону тургеневской молодежи.

— Они? — спросил он Ивана Петровича.

— Да, дети мои по плоти, друзья и братья мои по духу.

— Пойдемте,— сказал старик.

Перешли в маленькую комнату, где над столом из карельской березы на стене, обитой зеленым, с красивыми разводами, штофом, висели портрет француза Сен-Мартена и маленькая деревянная статуя, изображавшая старца,— тип довольно обычного немецкого сапожного мастера. Внизу надпись: «Иже во святых отцу нашему — Якову Бемену». Так русские последователи по-своему переиначили в славянской надписи имя знаменитого немецкого мистика Якова Бёме. Книги в цветных переплетах, рукописи, письменные принадлежности в беспорядке загромождали стол-секретер. На двери, в другом конце комнаты, висели стальной циркуль и медный треугольник. Иван Петрович обратился к сыновьям:

— Дети мои, товарищи и братья, я уже стар и скоро отойду. А вы вошли в совершенные года, когда по уставу нашего совершенного и прекрасного ордена вольных каменщиков вы можете быть приняты в ложу. Сейчас произойдут важнейшие события в жизни вашей. Не как отец, а как друг и сторонний наблюдатель, скажу, что по доброте и щедрости сердца вы уже достойны посвящения. Крепко веруйте в правоту дела своего, идите по пути исследований важнейших наук ордена и осуществляйте дела его помощью и разумом на всех стезях жизни и на всех путях государственных должностей. Отечество наше должно обновиться. К этому призовет вас орденское повеление. Свято блюдите тайну и не отступайте!

Иван Петрович закашлялся и сел на кожаный диван. Старик открыл портьеру, за которой стоял высокий, во всю стену гардероб. Он открыл его и, обращаясь к молодым Тургеневым, сказал:

— Снимите суетные городские одежды, так как не подобает перед мастером стоять иначе.

Тургеневы повиновались. Они остались в шелковом специальном белье, еще утром собственноручно принесенном им Иваном Петровичем. Затем старик подошел и завязал глаза каждому из них мягкой широкой повязкой. Потом, взяв правую руку каждого в свою левую руку, повел обоих братьев,— казалось, в соседнюю комнату. Но скоро перестал поскрипывать паркет. Братья почувствовали, что идут по неровным каменным плитам, потом просто по земле, потом ноги начали вязнуть, и вдруг холодная вода заледенила им ноги до самого колена. Какой-то быстрый ручей обтекал их ноги. Каменистое дно было неровно, ноги скользили по тинистым камням, и казалось, что вот-вот быстрый поток собьет их и унесет. Но это было всего каких-нибудь полторы минуты. Шли они медленно и с большой осторожностью. Вышли на берег и почему-то чувствовали, что кругом темно и они все еще находятся под землею. Сквозь повязку ничего видно не было. Но, проходя мимо освещенной комнаты, они все-таки смутно чувствовали, что брезжит свет. Теперь было кругом совершенно темно, холодно и сыро. Вода насквозь промочила туфли. Идти было скользко и неудобно. Через минуту, за крутым и быстрым поворотом, братья почувствовали, что попадают в полосу яркого света. Еще минута, и подземный холод сменился живительным теплом. Чем дальше они шли, тем теплее становилось. Но вот стало совсем жарко, стало совсем невыносимо жарко. Еще секунда, и Александр Тургенев судорожно отдернул руку. Язык пламени лизнул ему пальцы и опалил волосы. Помня наставления отца, оба брата молчали. Прошло уже минут двадцать этого подземного путешествия. Начались лестницы и переходы — то вверх, то вниз, так что разобрать направление было невозможно. Воздух был душный, пахло сухой землей, и не было ни следа первоначальной мерзлоты, которая пронизывала и вызывала дрожь. Стали подниматься и остановились, про себя отсчитав пятнадцать ступеней. Старик стучал деревянным молотком в железную дверь. За дверью раздался голос, спрашивающий: кто идет? Раздался ответ старика:

— Вожатый и жаждущие живой воды.

— Не нарушен ли ими обет молчания?

— Нет, прошли через житейские реки и огонь соблазна, не промолвив ни слова.

Дверь открылась. Тургеневы вошли. На пороге Александру страстно захотелось спросить у Николая: «А где же батюшка, разве он не с нами?», но холодный и ясный ум Николая инстинктивно уловил возможность такого движения. Он резко дернул его за локоть, и тот опомнился. Гулко раздавались шаги. Очевидно, шли по большой комнате. Затем остановились. Старик наклонил головы братьев к себе на плечи и спросил их:

— Точно ли знаете, что отвечать на вопросы, не боитесь ли сбиться? — И, не дожидаясь ответа, стал сообщать братьям главнейшие части ритуального вопросника масонов. Потом положил им руки на голову и пошел с ними дальше. Когда ноги обоих братьев стали на коврики, старик отошел. Неизвестно чьи руки сняли с братьев повязки. Ослепительный свет заливал комнату. Она была огромна. Голубые стены были без окон, на них висели экраны с блестевшими ярко треугольниками, циркулями, пятиконечными звездами в круге. Братья увидели, что они стоят на треугольных маленьких коврах, что перед ними стол, покрытый черной скатертью. Два черепа на краю. Перед каждым черепом две кости, сложенные крест-накрест. Большой старинный меч поперек стола, острием к братьям. Справа молоток, слева — высокая античная урна, черная, с красными символическими изображениями. Прямо перед ними за столом человек в белой шелковой маске. Широкая орденская лента у него через плечо. В руке он держал большую книгу в металлическом переплете с застежками, на которой сверкали драгоценные камни. Александр Тургенев вздрогнул. Он не заметил, когда и как рядом с ним стала высокая черная фигура, сверху донизу закутанная в черный плащ. Эта фигура держала в руках такой же старинный меч, который лежал на столе, руки были неподвижны, крепко стискивали рукоятку, и меч, такой же неподвижный, как и сама фигура, устремлял свое острие к лепному потолку. Со смутным чувством беспокойства при виде этой мрачной и необычной фигуры, Александр повел глазами направо. Сбоку от Николая он увидел совершенно такую же фигуру. Впечатлительный и нервный, Александр потерял ощущение времени и событий и окончательно был убежден, что все происходящее здесь есть только сон, пробуждение от которого запрещено до времени. Эта мысль его успокоила. Три канделябра горкой, по семи свеч в каждом, стояли на столе. Свечи мигали. Черный дымок подымался от фитилей. Но, несмотря на это, можно было

различить по три фигуры с каждой стороны, сидящие рядом с креслом человека в белой маске. На тех были тоже значки, но маски были черные. Голубые глаза одного из сидящих внимательно и знакомо смотрели на братьев Тургеневых. Человек в белой маске встал и произнес молодым, звонким и отчетливым голосом:

— Прежде чем посвятить вас в правильную и совершенную ложу, должен поздравить вас с большим счастьем, редко выпадавшим на долю даже старым искателям истины. Правильная и совершенная ложа великого северо-востока нашего ордена в рассуждении заслуг Друга человечества, являющегося родителем вашим, и в рассуждении того, что один из вас уже исполнил поручение в славянских землях...

Александр силился припомнить, что именно, свидание с кем, сам того не зная, он сделал по этому неведомому масонскому поручению. Но ему опять показалось, что он может проснуться не вовремя и что действительность окажется хуже сна. Он почувствовал головокружение, схватился руками за виски и упал замертво. Николай, встревоженный, двинулся к столу и нечаянно коснулся рукою меча. Раздался сильный треск. Он почувствовал ожог, и рука онемела.

Европейская новость — аккумуляторная батарея — стала широко применяться в масонских ложах на Западе. Она увеличивала таинственность и создавала настроение. Неосторожному она напоминала о карающей силе ордена и создавала эффекты, тешившие сердца молодых и старых, искренне убежденных и забавляющихся членов ордена вольных каменщиков в царской России.

Через минуту порядок был водворен. Человек в белой маске не садился. С помощью Николая Александр очнулся и снова стал на коврик. Раздался снова тот же звонкий и отчетливый голос:

— Постигшее вас сейчас испытание только показывает правоту нашего решения. Еще раз говорю вам о великом счастии вашем. Степень ученика — младшая степень ордена вольных каменщиков — пройдена вами, а по заслугам вашего отца и в рассуждении того, что один из вас уже исполнил поручение в славянских землях...

При этих словах человек в белой маске остановился. Голубые, как лед холодные, светящиеся глаза, казавшиеся страшноватыми и жуткими сквозь разрезы маски, пронзительно глядели на Александра Тургенева, с особым упорством произнося слова: «исполнил наше поручение в славянских землях».

— ...правильная и совершенная ложа постановила принять вас и дать вам посвящение второй степени, минуя первую. Приблизьтесь и отвечайте. Известны ли вам и желанны ли вам обязанности товарища, открывающие вам доступ повсюду, ибо велика и могущественна сила нашего ордена?

Братья твердо и отчетливо ответили:

— Клянемся по силе и по чести исполнять обязанности, возложенные орденом на меня как на товарища.

Александр говорил более торопливо и успел закончить фразу раньше младшего брата.

— Второе наше постановление разрешает принять вас как братьев по плоти и сыновей Друга человечества по духу, обоих одновременно, как то было сделано с разрешения великого магистра мастерами великой ложи Орфея и малой ложи Астреи. Нынче мы принимаем вас обоих.

После произнесения формул, получения ответов, после окончательных слов посвящения братья получили указание, как опознать масонов в свете, и были выведены опять с завязанными глазами, опять прошли подземными ходами и через полчаса одевались в комнате лопухинского дома. Переодевшись и выйдя в большую пустынную залу, они увидели в углу за маленьким столиком сидящих при свете шандалов и играющих в шахматы стариков — Ивана Петровича Тургенева и Ивана Владимировича Лопухина — автора масонской книги «Рыцарь духовной» и, повидимому, их поручителя.

Старик пошел братьям Тургеневым навстречу. Из объятий Лопухина Тургеневы перешли в отеческие объятия. Оба старика с торжественной важностью поздравляли молодых людей. Санки ждали во дворе. Сели, Николай на переднюю скамеечку лицом к батюшке, Александр рядом с отцом, закутывая стариковские ноги в медвежью полость. Катерина Семеновна встретила всех троих словами полного негодования:

— Как вам не стыдно в великий пост шляться незнамо где до поздней ночи. Нашли время ходить по гостям. Лучше б ко всенощной пошли.

Отец и дети словно по уговору молчали и подошли к матушкиной ручке. Но Катерина Семеновна гневно руку отдернула и, сверкая глазами, сказала, кивая на Александра:

— Это все вот этот, немецкий бурш, бусурманские порядки заводит. Ну, идите ужинать.

За ужином война не прекратилась. Молчание еще

более сердило Катерину Семеновну. Слухи о том, что вся Германия завоевана Бонапартом, страшно тревожили старуху. Передавали слова Бонапарта о том, что он намеревается повсеместно отменить крепостное право, и поэтому Катерина Семеновна была сердита. Возвышение Наполеона кровно ее оскорбляло, словно это было лично против нее направленное злодеяние.

Во время матушкиной тирады Александр Тургенев вдруг спохватился. Он заметил, словно впервые после возвращения из-за границы, что Николай не иначе обращается к нему, как на «вы». Решил спросить его, почему, и забыл. И каждый раз забывал. Он понимал, что многолетняя разлука, разница лет, а главным образом то, что он сам теперь на положении старшего в семье, где больной отец, диктуют какие-то особые соображения Николаю. Он установил также, что Николая невозможно переубедить, если он убежден серьезно, и невозможно отговорить от раз принятого им намерения. Эти отношения между братьями остались на всю жизнь.

Глава двенадцатая

Прошло вербное воскресенье с шумным и пестрым базаром на Красной площади. Прошел пасхальный день, заутреня. На третий день пасхи Александр Тургенев с сестрою танцмейстера Иогель покупали на Девичьем поле сладкие пирожки, кружились на каруселях, стреляли в цель и громко смеялись на шутки и остроты заезжего фокусника в большом балагане.

— Не надоело вам месить грязь? — спрашивала Иогель.

— Ног под собою не чую, а только в сердце счастливое биение.

— Ну, Александр, вы сейчас опять начнете говорить комплименты.

— Не комплименты, а истину. Вы очаровательны, Нина!

— Давайте лучше говорить о погоде, а то вы не сойдете с того места, на которое заехали ваши слова.

Квартальный надзиратель с каким-то гражданским чиновником проходил по рядам палаток, мальчишки с голубями свистели, воробьи чирикали в лужах, на зелени надувались почки. В воздухе какая-то удивительная благоуханная струя протекала с полей из-за вишневых рощ, покрывавших Воробьевы горы. Была ранняя весна. Сердце щемило. Хотелось уехать куда-то далеко. Надоели матушки-

ны ссоры. Тяжела стала батюшкина болезнь. Разговоры с братом — одно утешение. Но он уехал. И вот теперь подвернулась под бок Иогельша, такая живоглазая, с ямочками на щеках, смеющаяся, чудесная и веселая девушка. Это, конечно, не утешение в скорбях. Но шататься с ней по Девичьему полю и ехать потом в балет все-таки лучше, чем киснуть. А все-таки, когда показался Николай Михайлович Карамзин с кипою книг, почему-то захотелось спрятаться с Иогельшей за палатку. Поймав себя на этой мысли, Тургенев предложил Иогельше руку и с Ниной вместе храбро прошел мимо Карамзина. Николай Михайлович его не заметил.

— Что же вы замолчали? — спросила Нина.

— Встретил важного историка и задумался.

Нина выдернула руку.

— Я знаю, о чем вы задумались, Александр,— все вы таковы, не вы первый, не вы последний.

— Боже мой, что вы, Нина!

— Ничего,— ответила она.— Я хочу снова вертеться в карусели.

Вошли в круг. Дождались остановки. Сели в трясущуюся корзинку с бубенцами. Слон, выкинувши хобот вперед и комично расставивши ноги, как борзая на рысях, что совершенно не подходило к слону, был приделан на железных брусьях к корзинке. Бросив медяки в тарелку, Тургенев поправил цилиндр. Белокурые волосы выбились ему на лоб. Нина улыбалась и по-ребячески относилась к предстоящему кружению на каруселях. Заиграла дикая музыка, где-то в середине под навесом заскрипели валы, и корзинка стремительно помчалась по кругу. Нина смеялась, щеки у нее горели, глаза искрились. Тургенев украдкой целовал ей руку. Она выдергивала, случайно зацепила за ленту шляпы, узел распустился, шляпу унесло ветром. На втором круге после этого видно было, как молодой франт поднял эту шляпу и почтительно ждет в том месте, где публика выходит с карусели.

— Успокойтесь, Нина, вот ваш будущий новый обожатель.

— А вы ревнивы, Александр?

— Да,— сказал он твердо.

Карусель остановилась.

— Вот ты чем занимаешься,— сказал подошедший франт.

— Боже мой, князь, я тебя не узнал,— сказал Александр Иванович.— Ну, право же, никогда не видел на тебе парижского одеяния,— говорил Тургенев, рассматривая

князя Петра Андреевича Вяземского.— Да ты и без очков сегодня?

— Очки я ношу за чтением, а ты все-таки представь меня своей даме. Скажите,— произнес он, обращаясь к Нине,— ведь это Александр виноват, что у вас шляпу унесло ветром?

— Что делать! — сказала Нина.— Он покушается на худшее — он хочет унести мою голову.

Тургенев, польщенный, торжествуя взглянул на Вяземского.

— Голову не страшно, лишь бы сердце осталось на месте,— сказал Вяземский.

— Сердце от головы недалеко,— ответила Нина, взяла шляпу из рук Вяземского, церемонно присела в знак благодарности и отошла к деревянному карусельному столбу, на котором висело неуклюжее, кривое зеркало, аляповато украшенное фольгой.

— Кто эта прелестница? — спросил Вяземский.

— Это Ниночка Иогель,— ответил Тургенев.

— Ах, это жена знаменитого танцмейстера?

— Нет, сестра его.

— А, в таком случае ты безопасно можешь волочиться. Редко танцмейстеры бывают не из французов.

Тургенев смотрел на Нину. Молодой человек, элегантно одетый, румяный, легкой походкой подошел к Нине, и послышалась веселая французская речь. Менее чем через секунду, завязав ленты на шляпе, Нина под руку с французом убежала и скрылась в толпе.

— Знаешь кто? — спросил Тургенев.

— Знаю,— ответил Вяземский.— Мы ставили его балеты в Остафьеве. Я тебе говорил, что по легкости, по изяществу пастушеских идиллий это лучший балетный постановщик. Недаром государь его так любит. Он в шутку говорил, что хочет Новерра сделать министром балета.

— А какую прелесть издал он у Августа Семена! — воскликнул Тургенев.— Эти четыре тома «Lettres sur les danses»[1] составляют честь молодого автора.

— Ты великодушен,— сказал молодой Вяземский.— Ты не только прощаешь похитителя, но еще находишь силы им очаровываться. Однако что же мы с тобою стоим? Птичка улетела, и нам надо идти.

— Куда? — спросил Тургенев.— Домой идти не хочу.

— Ну, поедем ко мне.

Взяли извозчика, поехали. Дорóгой Петр Андреевич

[1] «Письма о танцах» (*франц.*).

Вяземский рассказывал о последней охоте зимою, по снегу, на лыжах, говорил о том, как в Остафьеве лося загнали на птичий двор, как он там передавил кур, перебил стекла в сторожке и поранил кучера, говорил о том, как ночевал на мельнице, на речке Сетуни, за Кунцевом.

— Мельничиха красавица замечательная. Возится с двумя детишками, ведет свое хозяйство, но мучительно страдает от мужа, без просыпу пьяного мельника. Я потому это тебе говорю,— продолжал Вяземский,— что напрасно Катерина Семеновна, твоя матушка, таких красивых крепостных девок продает на сторону. Она тебе могла бы пригодиться.

— Ты вздор говоришь, Петр! Даже не знаю, про кого ты говоришь!

— Как не знаешь! Марфушу, вероятно, помнишь.

Тургенев привскочил на сидении.

— Как ты говоришь? Марфуша?

— Ну да, она же мне сказала, что она от господ Тургеневых.

— Боже мой, чего только матушка не наделала в своей жизни!

— Да, крутой характер у Катерины Семеновны,— заметил Вяземский.

Приехали на московскую квартиру Вяземского. Сначала пили чай с красным вином, потом красное вино и болтали без умолку. Вяземский был собеседник умный, интересный. Он знал все столичные и московские новости, рассказывал Тургеневу о том, как «двигается отечество по пути к славе».

— Ты вот не смейся, но через год будет у нас конституция. Царь хочет народоправства.

— Это что же, все этот польский князь Чарторыжский выдумал? Тоже, нашли доверять кому такое дело!

— Чарторыжский уж вовсе не такой плохой человек, как ты думаешь. А что из того, что он поляк? Не все ли равно, какой нации, лишь бы голова была не пустая и держалась бы не накривь вбок на плечах. Чуднее всего, что профессор Паррод выступает на защиту автократизма. Ты знаешь, он пишет, что в России только самодержавие и возможно. Пестрая французская публика в России, а сейчас так и понять невозможно, кто Бонапартов, а кто — сторонник короля и старого закона. Ты знаешь, частенько бываю я на Кузнецком. Там уже лет шесть водворился французский мещанин Готье, открыл книжный магазин, неизвестно откуда и какими путями получает книжки безо

всякой цензуры, и собирается у него вся французская колония. Знаешь, по-моему, что-то они замышляют...

Вошел лакей со словами:

— Ваше сиятельство, первой гильдии купец Оссовский просит принять.

— Разрешишь? — обратился Вяземский к Тургеневу.— Ненадолго!

Вошел важный, осанистый человек, широкоплечий, с окладистой бородой, с широким носом, спокойными, умными серыми глазами. Осмотрелся в комнате, трижды перекрестился, найдя икону, и, держа в руках картуз, почтительно поклонился Вяземскому со словами:

— Здравия желаю вашему сиятельству!

— Зачем пришел? — спросил Вяземский.— Садись. Чаю хочешь?

— Покорнейше вас благодарим, ваше сиятельство, тороплюсь и утруждать вас не хочу. Дело у меня к вашему сиятельству небольшое. Двадцатого января еще подали мы всем московским купеческим обществом челобитие о том, чтобы господам иностранцам господа дворяне наших отечественников мужиков и баб не продавали, да и чтобы в Москве никакой бы продажи мужиков не было. До сик пор ответу никакого нет. Купечество московское бьет вашему сиятельству челом — походатайствуйте за сирых и бездомных! О себе, ваше сиятельство, скажу. Было у меня шестьдесят ручных станков в Питере. Делали мы хлопчатобумажную ткань. В нынешнем году поставил я аглицкую новинку, вот вроде как стоит у вашего сиятельства на столе самовар, ну, так у меня на фабрике — котел; только вот у вас сквозь самоварную крышку пар зря уходит, а мы его по трубам пускаем, в цилиндеры, а там валы да шестеренки ворочаются, ну, то, другое, пятое, десятое, смотришь — челнок и заработал. Хорошая это штука — паровой двигатель! И обученные мастера у меня есть, да вот беда: прошел оброчный срок, и шестьдесят мужиков, самых моих лучших работников, уезжают к вашему сиятельству в деревню. Помилосердствуйте, ваше сиятельство, отпустите мне мужичков на годок.

— Что ж, я не прочь,— сказал Вяземский.— Мужикам-то не худо у тебя живется?

— Да уж известно хуже, чем у вас, ваше сиятельство: у нас ведь таких хоромов нету; спят они в домишке на Малой Неве, у Жукова моста,— сами знаете, что за места. Вошь да крыса до Елагина мыса!

— Ну, ну,— сказал Вяземский,— скажи Клементьичу, что я согласен. Сколько же у тебя этих паровиков?

— Пока четыре поставил, а потом неизвестно,— что дальше.

Вяземский на минуту остановился. На лице было написано раздумье. Казалось, он колебался и старался не смотреть на Тургенева.

— А скажи-ка, Оссовский,— вдруг произнес он,— как, деньгами ты не богат?

— Сколько понадобится вашему сиятельству?

— Да мне тысяч десять на ассигнации нужно.

— Ох, ваше сиятельство, расстроился я, туго с деньгами, но уж для вас...

Оссовский снова присел, расстегнул поддевку, долго рылся за пазухой, наконец вынул бисерный, голубой, монастырский бумажник, грязный и засаленный по углам, достал оттуда отсыревшие пачки денег, отслюнил, подсчитал, положил перед собою и прикрыл рукой.

— На какой срок, ваше сиятельство? И, позвольте доложить, годовых — двенадцать про́центов, иначе — никак невозможно. Ежели, к примеру, у Неваховича возьмете, так не иначе пятнадцать заломит.

— Ну, уж это ты врешь,— сказал Вяземский.— На прошлой неделе мой приятель у Неваховича из семи взял взаймы. Это ваша купецкая порода такая — обязательно свалить на чужую нацию свои ростовщические пороки.

— Как вашему сиятельству будет угодно. Невахович так Невахович — я своими деньгами не набиваюсь,— сказал Оссовский, в то же время подсовывая Вяземскому бланк вексельной бумаги.

Вяземский принес чернильницу. Написал вексель, просчитал деньги, швырнул их в секретер и мрачно посмотрел на Оссовского.

— Бывайте здоровеньки, ваше сиятельство,— сказал купец.— Ежели новые оброчники будут, явите божескую милость — пошлите мне. Вот вам крест животворящий, что к рождеству и к пасхе пришлю по штуке лучших мануфактур, чтоб видели вы, ваше сиятельство, что не зря у меня мужики на фабрике сидят.

Оссовский ушел.

— Бездоходно стало в деревне,— сказал Вяземский.— Вот ведь никаких земель не имеет, беспризорный корабельный мальчишка из Балтийского порта этот Оссовский, а какими деньгами ворочает... Что думаешь, ведь теперь политик, смотри, как о Бонапарте рассуждает, со свету сжить готов Бонапарта. А думаешь почему? Потому, что парусину ставит в Англию. Вот этакий мужчина, а на Бирже речь произнес, говорит: «И моя копеечка не щербата,

при Трафальгаре весь французский флот погиб, бурей парусину порвало, а моя, говорит, парусина на аглицких кораблях была, ее не то что ветер, а и пуля не берет. Я, говорит, над Бонапартом с англичанами победу одержал». Его купеческое общество посылало на открытие Березинского канала — знаешь, недавно, между Днепром и Западной Двиной.

— Знаю,— сказал Тургенев.— Тринадцать тысяч мужиков там полегло. В этом канале плотины и шлюзы из человеческих костей.

Наступило короткое молчание, прерванное приездом Василия Львовича Пушкина. Войдя с веселой шуткой, сверкая остроумием, слегка напевая и помахивая палевым шелковым платочком, надушенным и вышитым, Василий Львович быстро заставил молодых людей перейти на французский язык, и через пять минут комната огласилась дружным и несмолкаемым хохотом. На смену красному вину появились редереровские бутылки, закипело в бокалах французское аи, горы бисквитов в серебряной корзине быстро таяли благодаря дружным усилиям Тургенева, Вяземского и Пушкина. В самый разгар пира приехал Василий Андреевич Жуковский. Привез с собою молоденького, безусого офицера русской службы. «Князь Ираклий Полиньяк»,— представил его Жуковский. Минуту спустя все пели хором нравоучительную масонскую песнь. Тургенев силился припомнить что-то, глядел на Василия Пушкина, слушал звонкий голос поющего Василия Львовича, и вдруг с полной ясностью вспомнилась ему картина подземелья и масонского посвящения. Ведь это он смотрел на него. Это его голубые глаза глядели на Тургеневых из-под маски. Александр Иванович сделал условный знак, но в ответ Пушкин, продолжая петь, закачал головой и насмешливо улыбнулся. Когда песня кончилась, Василий Львович рассказал о своем приключении позапрошлой ночью.

— В стихах напишу,— сказал он,— и назову «Опасной сосед».

— Ценсура этого приключения твоего с легкой девицей не пропустит,— возразил Жуковский.

— А мы без ценсуры обойдемся,— ответил Пушкин.

Поздно ночью Александр Иванович вернулся домой. Матушка спала.

«Ну, пронес бог!» — думал Тургенев.

В комнате Николая был свет.

Александр тихо постучался.

— Войдите,— ответил Николай.

Братья сели друг против друга и некоторое время не говорили ни слова.

— Я не знал, что ты уже приехал,— сказал Александр.

— Со мною неблагополучно,— ответил Николай.

Старший брат с тревогой посмотрел на Николая, и сразу весь хмель его прошел. Прошла еще минута. Александр не спрашивал, Николай колебался. Наконец он произнес:

— Батюшка стар и забывчив. Он спутал мои года. Мне шестнадцать, а посвящение я принял как девятнадцатилетний.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Александр.

— А разве вы не встречаетесь с друзьями? — спросил Николай.

— Я, вероятно, встречаюсь с ними в свете, но не узнаю.

— А я встречаюсь с ними ежеминутно и только что у них был. Дело это надо поправить, чтобы не брать ложью того, что ведет к истине, особенно в нынешнее время.

— Что ты хочешь этими словами сказать о нынешнем времени?

— А то, что отечеству нашему предстоят большие испытания, и каждый в отдельности будет их чувствовать. Война с Бонапартом неизбежна.

— Уж будто так неизбежна? Да ежели так неизбежна, все равно Бонапарту будет плохо.

Николай Тургенев пристально посмотрел на брата.

— Нет у меня этой уверенности,— сказал он.— Слишком много в России внешнего и показного. А всякое испытание требует подлинности и здравых, настоящих сил.

«Вот он какой! — подумал Александр Тургенев.— Живешь с ним под одной кровлей и не знаешь, что в его голове творится и обдумывается».

До поздней ночи продолжалась беседа. Александр, удивленный и восхищенный, ушел из комнаты брата. Его восхищала строгость и зрелость ума человека. Порою перед шестнадцатилетним юношей он чувствовал себя неловко. Было впечатление какой-то острой проницательности.

Глава тринадцатая

Русские войска были в Германии, по которой из края в край прошел Бонапарт — император Франции и король Италии. Стоял декабрь месяц. В Москве наступили жестокие холода. В тургеневском доме с утра до вечера пели двери, поскрипывали заслонки и звенели вьюшки. Топили два раза в день, и два истопника следили за тем, чтобы

жар не прогорел и чтобы господа не угорели. Иван Петрович не мог согреться. Он чувствовал себя плохо в такие холода, сидел полусонный, с поникшей головой, не мог ни читать, ни говорить. Он тосковал и томился. В углу на столике лежали старые рукописи — стихи покойного сына Андрея:

Угрюмой осенью мертвящие луга
Уныние и мрак повсюду развевают.

И следующее:

На камне гробовом печальный, тихий гений
Сидит в молчании с поникшей головой.

Александр Тургенев вернулся поздно из канцелярии Новосильцева. Предстоял переезд в Петербург. Новая служба была незанимательна и не говорила ничего ни уму, ни сердцу. Но было другое обстоятельство, заставившее его пройти мимо столовой к себе наверх и запереться. Он обдумывал, как бы утаить от впечатлительного и тоскующего отца весть, пришедшую из Германии. Русские войска наголову разбиты под Аустерлицем.

Вот знакомые санки видны по улице. Бобровый воротник, маленький, красивый, бобровая шапка, щегольская бобровая муфточка на руках — это приехал брат Николай. Надо поговорить с ним. Через минуту, прихрамывая, Николай вошел к нему сам.

— Ну, вы, вероятно, беспокоитесь о батюшке. Ему уже утром все было известно. Пойдемте вниз и посидимте все вместе.

Александр развел руками.

«Да это какой-то гений проницательности! — подумал он.— Или действительно права геттингенская гадалка Клотильда, утверждая, что мысли передаются на расстоянии».

— Что же будет, Николай, что же будет? — произносил Александр шепотом.— Кажется, будто кончается мир и совершаются какие-то последние сроки истории. Все заколебалось. Ни в чем нет уверенности, ничто не устойчиво.

Вечер был прощальный. Московское отделение новосильцевской канцелярии уезжало в Петербург, и Александру Тургеневу предстояло на другой день покинуть Москву и родительский дом. Делал он это не без радости, хотя эта радость была отравлена сознанием, что нехорошо оставлять старика отца на попечении двух младших братьев. Но уж очень стала тягостна обстановка. Иван Петрович все

больше и больше уходил от жизни. Катерина Семеновна, как заноза, шла против своего времени и мстила ему. Каждый новый день нес с собою все большее ей раздражение. Услышав от сына Александра слова, правда сказанные по-немецки Николаю, о том, что русское самодержавие есть хищение власти у народа, она побагровела от злости и не вышла прощаться с сыном. Александр Иванович из Твери и из Торжка, где перепрягали лошадей встречного курьера, послал ей в Москву нежные письма.

Холодным зимним утром появился он на Лиговке. Каждый раз, как приезжал он в Петербург, все одно и то же восхищенное чувство охватывало его. Он с обожанием относился к северной столице. Тщательно переодевшись, слегка позавтракав, поехал он к Виктору Павловичу Кочубею, как уговорено было с Новосильцевым. Важные императорские сановники приняли его лучше, чем то мог ожидать его возраст. Новосильцев и Кочубей говорили с ним, как с равным. С табакеркой, осыпанной брильянтами, в туфлях, белых чулках, со звездою на фраке, Кочубей, черноглазый, чернобровый, с седой головой, смотрел на Тургенева весело, с каким-то беспечным задором, простительным для сановника, которому страшно везет в жизни. Новосильцев пускал клубы дыма из трубки. Брильянтовые перстни сверкали у него на пальцах. Он говорил глухим, почти сиплым басом. Опухшие веки были красны, щеки помяты и в жирных складках. Не стесняясь, продолжали они разговор при Тургеневе. Разговор был отвлеченный, по поводу одного провинившегося придворного. Кочубей вспоминал правила нравственного поведения и религии. Новосильцев брал согрешившего под свою защиту. Он говорил с напускным смирением:

— Ваше сиятельство отрицает закон божественной благодати. Имейте в виду, что человеческая порядочность есть гордыня. А ничто так не оскорбляет господа, как гордыня его тварей. Грех делает человека скромным, кающимся. А ведь это только и нужно. Умиленное сердце смягчает гнев божий, а гордыня леденит.

— Но ведь вы же говорите шутя, Николай Николаевич?

— Нет, я говорю совершенно серьезно. Вы должны понять этого молодого человека и оправдать его, хотя бы по ходатайству митрополита Платона. Не могу вашему сиятельству не выразить свое удивление — вы были защитником подстрекателей и стачечников, поднявших революцию на суконной фабрике Осокина в Казани и на суконной фабрике Кривошеиной в Воронеже. Там, где действитель-

но нужна суровость, ваше сиятельство взывает к человеческим чувствам и молодому царю внушает несбыточную уверенность в доброте человеческой природы. Я сам уважаю дела комитета: готовить конституцию,— быть может, предотвращать революцию, но нельзя же прощать открытых якобинцев.

— Какие это якобинцы! — захохотал Кочубей.— Голодные суконщики, неграмотные и глупые, которых фабриканты хотели послать на нефабричную работу! Они даже правы, по-моему.

Спор сановников продолжался еще два часа. Затем Новосильцев стал прощаться. Выходя вместе с Тургеневым, он говорил:

— Ну, покажите вашу немецкую мудрость. Завтра экзамен по политической экономии в Педагогическом институте. Потрудитесь экзаменовать, а потом поговорим с вами о занятиях ваших в Комиссии по составлению законов.

Тургенев сел в экипаж Новосильцева, с правой стороны. При выезде за угол раздался крик. Городовой взметнул руку к козырьку. На гнедой лошади в широких санках ехал человек, закутанный в серую шинель. Летняя фуражка с красным околышком была у него на голове. Тургенев успел рассмотреть сизый нос картошкой, оловянные глаза, щеки с прожилками, уродливые губы и оттопыренный подбородок.

— Аракчеев,— сказал Новосильцев,— инспектор артиллерии.

В 1807 году братья Тургеневы осиротели. С Иваном Петровичем стало нехорошо. Сначала было дурно голове, и он метался. Потом потерял сознание, затих, стал дышать спокойно и скорее заснул, чем умер. Катерина Семеновна вдруг сильно переменилась. Она поплакала немного, потом, взяв себя в руки, решила проявить твердость характера. Казалось, смерть мужа сделала ее более осторожной в отношении к идеям своего времени. Она уже не преследовала детей за вольномыслие и настойчиво и твердо повторяла о том, что раз Александр после германской науки получает хорошее жалованье и любим начальством, то и Николаю обязательно и необходимо пройти тот же курс.

— Особенно учись английскому языку,— говорила она Николаю.

Николай, который уже прекрасно говорил по-английски, учился свободно писать и каждый день писал хозяйственные реестры для матушки на английском языке. Ворон-

ловы, Шаховские, Щербатовы и множество других знакомых и друзей Катерины Семеновны были яростными англоманами. Бонапарт скомпрометировал все французское. Оставалось только одно — идти по пути союза с консервативной Англией, ущемлявшей Бонапарта на море, покупавшей льняную парусину и полотно у русских помещиков, соль у Строгановых, кожу у Шаховских, и мало ли еще каких торгов не делала Англия с русскими помещиками. К детям приглашали англичанок. Французская гувернантка выходила из моды. Но было и другое течение. Граф Николай Румянцев был за Бонапарта и за французский союз.

Дворянство волновалось, а молодой царь в заботах о своей популярности не слишком обращал внимание на эти волнения. Аракчеев говорил однажды своему закадычному другу Енгалычеву:

— Понимаешь ли, я в канцелярии на Кирочной печать ставлю на казенной бумаге, но ежели по той же бумаге не поставят печати у масонов в Москве, в Милютинском переулке, то бумага моя без движения валяться будет. Два у нас правительства: одно явное, но без власти, а другое — тайное и могущее.

Если бы Аракчеев знал, что Николай Тургенев действительно получил масонскую санкцию своего отъезда в Геттинген вместе с матушкиным благословением и казенной командировкой, то он почувствовал бы себя подлинным прозорливцем. Но он не знал этого. А Николай Тургенев не принадлежал к числу болтливых, даже старшему брату он говорил не все. Бывая на всех обязательных масонских собраниях, он теперь уже твердо знал, до какой степени зорко следят за всеми масонами глаза руководителей. Он видел, что вместе с течениями легкомысленными и пустыми есть глубокая подземная река, течением которой управляют ему не известные, но большие, вне России находящиеся силы.

Выезжая в Геттинген через Ригу, Николай Тургенев не чувствовал ни одинокости, ни покинутости. Он уже твердо знал, что в германском городе его ждут не простые случайности путешественника, а совершенно правильный, ритуалом определенный прием. Выезжая из России, он уже чувствовал себя гражданином не национального государства. С гордостью ощущал он прилив в сердце космополитических, а не национальных чувств.

По приезде на место русские впечатления совсем оставили Тургенева. И, словно чувствуя это, Александр Иванович и Сережа старались вдвойне напомнить ему о забы-

том. Двадцать шестого августа 1808 года Александр и Сергей Тургеневы писали письмо Николаю:

«Теперь я тебе дам отчет о своем путешествии. Из Москвы, откуда я писал к тебе (2-е письмо, в Геттинген 1-е), я поехал в Тургенево и заехал в Ахматово, где нашел все в изрядном порядке и с благоговейною грустью вспомнил, что тут отец наш часто проводил дни своего ребячества и своей молодости, что сюда приезжал он с дед. и баб. гостить к дяде. Еще многие мужики его помнят и были товарищами его в детских играх. Прежде я не знал об этом и не думал, что Ахматово для нас должно быть так дорого. Оттуда проехал я в Симбирск, где не нашел ни одного дядюшки, в тот же день проехал в Коровино, а оттуда в Тургенево и прожил там, видаясь ежедневно с Петром Петровичем, почти шесть дней, в продолжение которых съездил в Семиключевку. Ты ссбе представить можешь, с какими ощущениями я подъезжал к Тургеневу, входил в старый дом и увидел все прежнее, все, что было свидетелем пяти лет моего детства. Я не мог ни на что смотреть без какой-то тайной грусти, без душевного волнения; даже старые мебели делали на меня удивительное впечатление; но всего более возбуждали во мне воспоминания о прошедшей жизни нашей виды из залы, где мы обыкновенно учились. Сад, трава и вдали синеющиеся Заволжские горы — все сии предметы своей неизменностью показывают перемену всего остального,— напомнили мне множество случаев, ничего не значащих для других, но важных в истории моей молодости. В которую сторону ни смотрел,— всюду находил какой-нибудь предмет, который был для меня почему-либо интересен. Сердце билось во мне особливо тогда, когда я вспоминал то, чего оно лишилось в эту полосу, которая отделяет тургеневское мое житье от теперешнего петербургского. Что со мною было? И что было с другими, которых потеря была для меня невозможною, невообразимою? Сидя ввечеру при солнечном закате в большой зале под окном, что в сад, я читал дядюшке Петру Петровичу стихи, которые Жуковский написал для моего альбома. Почти каждый стих останавливал меня, ибо то, что в нем сказано было, происходило в сии самые минуты на самом деле — или перед глазами моими, или в душе моей:

Как часто солнечный закат
Мы взором в поле провожали,
Прохладой вечера дышали,
Смотря на бег шумящих стад,
И тихия зари пленялися блистаньем.

Придешь ли ты назад,
О время прежнее, о время незабвенно!
Иль, может быть, навек веселье отцвело,
И счастие мое с протекшим протекло!..

Я объезжал все те места, на которых прежде резвился и был счастлив, где с братом и Васей — вы еще были тогда очень малы — мы проводили довольно весело и не без удовольствия скучное деревенское время и не подозревали, что отец наш жил в ссылке под гневом великой государыни, следовательно, будучи не по собственному желанию в деревне, не мог наслаждаться приятностями сельской жизни. Но сколько я помню, в свободное от ученья время мы, кажется, были очень счастливы, особливо летом в саду. Зимой случались скучные вечера, потому что занятий или забав у нас почти уже никаких не было, и мы часто желали вырваться из деревни, видя к тому же батюшку в грусти и часто нами недовольным, особливо мною. Но что жаловаться на прошедшее? Верно, я уже никогда так счастлив не буду.

Какое счастие мне в будущем известно?
Грядущее для нас протекшим лишь прелестно!»

В Германии Наполеон вторично разбил русские войска под Фридландом. Отечество Тургеневых терпело кровные оскорбления от «сына корсиканского нотариуса» Бонапарта. Наполеон низвергал наследственные монархии. Уже одно это было несовместимо с уверенностью в незыблемости и мировом значении священных традиций. Новосильцев, Кочубей и Строганов в Петербурге, с одной стороны, участвовали в негласном комитете Александра I по подготовке конституции, а с другой стороны — всячески настраивали Александра I против какого бы то ни было мира с Францией. Дворянам невыгодно было разрывать наладившиеся торговые отношения с англичанами. А Бонапарт, потерпев от англичан на море, решил применить к ним систему континентальной блокады. Торговля с Англией кого бы то ни было рассматривалась совершенно так же, как вооруженные выступления против французского оружия на поле битвы. Потерпев несколько поражений, примирившись с потерей польских земель, из которых Наполеон создал герцогство Варшавское, Александр I заключил с Бонапартом мир и поехал на свидание с Бонапартом в городе Эрфурте.

Германия покрылась сетью тайных обществ. Удар, нанесенный Наполеоном, пробудил какие-то новые, небывалые чувства в сердцах немцев. Некий Штейн явился побор-

ником освобождения крестьян от остатков феодальных повинностей. Медленно, но верно идя по ступеням чиновной лестницы, Штейн вскоре сделался прусским министром и, пользуясь давлением Франции, с одной стороны, и пробуждением третьего сословия, с другой, он проводил реформу за реформой до тех пор, пока французские и немецкие власти не усмотрели в нем опасности. Французы видели, как Штейн пробуждает национальное сознание немцев, а прусские князья видели в Штейне якобинца, стремящегося ниспровергнуть вековечные дворянские права. Одновременно союзы молодежи, под названием тугендбундов, как огоньки, вспыхивали всюду, и бороться с ними становилось все труднее и труднее.

Такова была обстановка в Германии, когда молодой Николай Тургенев начал учиться в Геттингене.

Что ни день, то новая перемена. Каждый курьер привозит печальные вести с европейского театра войны. Каждое письмо — это новая трещина в фундаменте Европы. Что делать? Что принесет завтрашний день? С этими мыслями вставал по утрам Александр Тургенев и в Москве и в Петербурге. С ними он ложился спать. Сон его был тяжел и беспокоен. Он часто думал о Николае и завидовал его спокойствию. Как рано сумел этот юноша найти самого себя. Небо его мыслей всегда безоблачно. Если для Александра Тургенева русский патриотизм был чем-то обязательным, если для него философские и исторические воззрения современников имели значение чужих, необязательных взглядов, то для Николая вырабатывались, под влиянием чужих мыслей, и свои, получая значение обязательных и менявших не только его мысли, но и все его поведение. Из мальчика, вдумчивого и спокойного, он превращался в человека бесповоротных решений. При наружном спокойствии и холодности он мог проявить железную настойчивость и бешеную смелость в действии. Мозг его работал бесшумно, мысли не сопровождались словами. Как большой и могущественный механизм, при внешней неподвижности бесшумно действующих машин, при полной неизменности облика, не ускоряя походки, без единого лишнего слова и жеста, он привык накоплять, пускать в ход и останавливать гигантскую энергию свободолюбивой и самоотверженной мысли. Большинство окружавших в Геттингене этого юношу не понимали его. Он казался замороженным, педантичным, замкнутым ученым, сухим и нелюбопытным. Однако не было человека во всем студенческом кружке, который бы сумел с такой зоркостью схватить неуловимые черты характера собеседника, заметить

все мелочи и понять сущность человеческих побуждений. Все это было проникнуто не сухим и праздным любопытством аналитика, а горячими мыслями о человеческой солидарности, ставшими второй природой молодого масона. Это был редкий представитель человеческой породы, обладавший быстротой перехода от мысли к воле, от представления к действию. Большие и малые дела этого единственного мира в одинаковой степени были ему доступны.

Там, где многие страдают оттого, что замкнутые личные состояния являются центром тяжести внимания, Тургенев не страдал, так как очень мало занимался собою. Вопросы собственного, ограниченного, личного порядка были для него чужими. Он весь представлял собою гармоническую и музыкальную восприимчивость, работу какого-то большого, красиво устроенного инструмента, отзывающегося на впечатления большого и малого внешнего мира. В этом состояла тайна его внутреннего спокойствия. В этом был секрет его прелести. В этом были черты очарования, недоступного обычному взгляду. Но, в отличие от брата Александра, он не спешил эту восприимчивость израсходовать тотчас же в лирических строфах или элегических строчках. Характерной его чертой было полное отсутствие поэтического и особенно лирического стремления. Однако временами он мог смеяться. В тот день, о котором мы говорим, Николай Тургенев хохотал, кидаясь на кожаный диван, вскакивал снова, брал книжку, лежавшую на столе, читал дальше и опять смеялся, временами беззвучно, а временами звонким и заливистым хохотом. Автор книжки сидел перед ним. Это был человек немного старше Николая Тургенева. Это был закадычный друг Александра — Андрей Кайсаров. Книжка, им написанная, прославила автора среди геттингенских студентов. Она-то и была предметом насмешки, добродушной и беспощадной в этом добродушии насмешки молодого Тургенева. Кайсаров писал по-латыни солидную и серьезную диссертацию об освобождении крестьян. Николай Тургенев, к этому времени целиком ушедший в изучение политической экономии, в изучение истории феодализма, в изучение истории крепостного права, разбирал абзац за абзацем кайсаровскую статью и бранил автора. Кайсаров сначала был обижен, потом начал спорить, потом почувствовал себя побежденным и наконец позабыл даже свою первоначальную фразу: «Когда ж этот мальчишка успел это прочесть и передумать?» Кайсаров просто, как человек честной и серьезной мысли, слушал молодого Тургенева и учился у него. Тургенев говорил:

— Знаете ли, Андрей Сергеевич, ничему не нужно удивляться. История не есть результат произвола. Никакой каприз не может ее свергнуть с дороги. А ваша латинская диссертация как раз обратное утверждает. Это — ошибка. Вы говорите «толчки», вы говорите «катастрофы». Профессор Сарторнус прав, когда говорит, что катастроф не бывает необоснованных. Назовите мне, с какой песчинки вы будете называть песок кучей песку. Две тысячи песчинок уложатся на ладони. Тридцать тысяч песчинок есть куча песку или нет?

Кайсаров говорит:

— Нет.

— Ну, а сколько же? Когда же ваше количество перейдет в качество? Когда капли, падающие в чашу, ее переполнят? Когда польется ручей? Когда силы, накопленные бесконечно малыми энергиями (помните, что Лейбниц говорил?), приобретут огромное напряжение, не правда ли, количество энергии может перейти в качество действия? Вот вам, дорогой Андрей Сергеевич, история пугачевского бунта. Количество отдельных негодований переходит в социальное качество, именуемое революцией. Я, как дворянин, всей душой желаю отечеству нашему избегнуть этой минуты. Предостережения слишком большие и значительные, чтобы ими можно было бы пренебрегать или отделываться вашей латинской схоластикой. Я боюсь, что будет поздно, когда спохватятся. Обратите внимание: римский папа проклял французскую революцию — законное негодование третьего сословия. А четыре года тому назад тот же самый римский папа был принужден короновать революционного генерала Франции в императоры французов. Что вы вчера читали в «Монитере»? Читали вы о том, что этот самый французский генерал Бонапарт, ставший императором, низвергнул короля Испании и посадил своего брата королем. То же сделано в Италии, то же сделано в Германии. И все это при всеобщем ликовании сословия, ставшего у власти. Еще Александр Иванович, мой старший брат, ехал в ваш Геттинген через Ковну и через Варшаву, а я уже не мог этим маршрутом ехать — в Варшаве сидят французские комиссары. Вы, Андрей Сергеевич, может быть, толчком почитаете и то, что со вчерашнего дня римский папа превратился в простого итальянского попа, без всякой светской административной власти? Но разве вы не поняли, что четыре года тому назад для католического мира революционер Бонапарт заставил римского папу в пожарном порядке короновать его императором, а теперь для якобинского мира этот же самый Бонапарт ли-

шил его всякой светской власти. Римский папа в Италии — нуль. Он ничего не может, ничего не смеет, под угрозой вторичного вывоза его бонапартовскими озорниками, двадцатилетними генералами Миоллисом и Раде.

Тургенев вскочил с дивана.

— Припомните, Андрей Сергеевич, как это было. Ведь они же этого римского старика украли, подставили лестницу к ватиканскому саду, пробрались к нему ночью, спешно заставили его одеться, не подходя к ручке и не прося благословения. Его святейшество в уборную не успело сходить. Посадили в карету и увезли. Привезли под конвоем якобинских жандармов и заставили короновать императорской короной Франции какого-то сына нотариуса с острова Корсики. По-вашему, Андрей Сергеевич, это тоже толчок?

Кайсаров разводил руками. Он слушал эти остро отточенные фразы, чувствовал, что на него налетел какой-то ураган, и совершенно не понимал, что с ним самим делается. Картина, нарисованная Тургеневым, была совершенно правдива. Но он не знал обстоятельств, сопровождавших коронацию Бонапарта, он не знал собственных мыслей Тургенева и был немного растерян. Наконец с чувством томительным и смутным он произнес:

— Вот что, ты, Николай Иванович, несмотря на молодость лет, прочел мне целую лекцию. Ты знаешь, что я тебя старше, однако и мне за тобой трудно было уследить. Если б твой исторический монолог напечатать, то, ей-богу, до конца дочитать невозможно. Ну, шабаш! Об этом больше ни слова. Толчки и капиллярное развитие истории — это мудрость свыше моего ума. Через неделю я уезжаю, а на завтра мне студенческая корпорация Ганновера предложила ехать на Гарц. Хочешь ли принять участие?

— Мне тоже предложили, Андрей Сергеевич,— сказал Тургенев.— Я поеду.

— Поедем вместе? — спросил Кайсаров.

— Вместе,— ответил Николай Тургенев.

Глава четырнадцатая

Молот. Фонарь. Черная одежда, похожая на монашескую рясу, и группа в тридцать три человека спускается воротом в глубокую шахту. Кругом горы. Далеко виден снег и гигантский, мучительно-таинственный, до боли сладостный Брокен. Здесь совсем недавно доктор Фауст был с ведьмами и с жабами, украшенными бубенцами, в безумные часы Вальпургиевой ночи. Здесь в вихре всех

соблазнов, безумных опьянений и сверхчеловеческих пыток Люцифер истязал покорные ему души. В далекой глубине средневековья рыцарские замки враждовали друг с другом по ту сторону и по эту сторону Гарца. Немецкие поэты украсили нимфами, эльфами, кобольдами, дьяволятами и чертенятами, ведьмами и ведунами всех сортов и рангов эти гигантские галереи диких ущелий, водопады, превратившиеся в витые колонны, утесы с человеческими лицами и ледяные моря, превратившиеся в зеркальное отражение хмурого серого, неподвижного и страшного германского неба. Отсюда начиналось нисхождение. В черных одеждах угольщика, с фонарем в руке и молотком, выбивающим искры из каждого камня, с непокрытой головой и ногами в сандалиях спустился юноша Тургенев в подземелье Гарца. Он просмотрел огромные полосы серебра, предназначенные к отправке на монетный двор в Ганновер, треугольные призмы золота, маленькие, тусклые, под которыми гнется толстая дубовая скамья, просмотрел ярко-алую, светящуюся, невероятную по блеску и трепету гранатовую залу Гарца, где красные камни всех оттенков и всех форм делают человека совершенно пьяным,— все это прошло перед взорами русского путешественника и не остановило их. Тургенев даже не обратил большого внимания на своих спутников, опьяневших при виде стольких чудес. Он спокойно с товарищем сел в кабину и, держась за канат запачканной, почерневшей рукой, опустился на километр под землю. Студенческая экскурсия была недалеко, но эта шахта была не их шахтой. Восемь минут спуска. Тургенев вынул похожий на репу огромный английский брегет. Каждую минуту тихий звон раздавался в кабинке. Движение было плавное, изредка прерываемое толчками. Когда, стукаясь о черные угольные стены, кабинка трещала, становилось немножечко жутко, томительная грусть забиралась в сердце. После пятой минуты фонари горели тускло, какая-то едкая пыль слепила глаза. Было жарко и душно. Шестая минута кажется особенно длинной. Движение медленное.

— Schlafen Sie? [1] — спросил собеседник.

— Nein, Kamerad [2],— ответил Тургенев.

Почему-то движение кажется замедленным. Седьмая минута. Брегет прозвонил, и, кажется, седьмая вечность миновала. Мир кончился, он был где-то высоко и позади. Прошлого не было. Настоящего нет. Наступил сон. Время

[1] Вы спите? (*Нем.*)

[2] Нет, товарищ (*нем.*).

тянется невероятно тягуче. Секунда кажется годом. У Тургенева расширены зрачки. Собеседник смотрит на него пристально, словно пронизывая взглядом.

— Es ist noch Zeit[1],— говорит спутник.

«О чем он говорит? — думает Тургенев.— Что можно вернуться назад, к людям, к свету, к солнцу, к яркому дню, который мы оставили позади себя ради черных одежд угольщика, ради того, что ждет впереди. Сомневаться низко,— решает Тургенев,— и думать о себе постыдно. Предстоит великая задача».

— Мое время — это будущность,— отвечает Тургенев.

Брегет звонит восьмую минуту. Толчок — и прыгают канаты, прыгает площадка, прыгают фонари. Тургенев нечаянно падает на плечо к спутнику. Старик тихо целует его в лоб и гладит ему волосы. Вышли. И вдвоем, согнувшись, пошли длинным, душным, темным, черным каменноугольным коридором. Спутник говорит:

— В прошлом году в шахте Мария Хильфер был обвал. Вот так же, как мы, прошли, а вернуться обратно не смогли. И вспомнили об них через три недели после письма матери погибшего студента.

Тургенев молчал. Шли очень долго. Воздуха не хватало. Душная каменноугольная пыль подземных слоев была безжизненна, мертвила легкие, и в висках стучало. Вкус крови во рту. Темнеет в глазах. Недаром брат Александр писал, что без знания минералогии и без усердного изучения Гарца по книжкам не пускаться в сие рискованное предприятие. Легкий удар в сердце. Толчок, и кровь из головы через правый глаз, по щеке. Быстро капающие горячие капли. Липнет ладонь. Кажется, нельзя остановить. Глаз совсем закрылся. Взял платок. Надавил на пораненное место. Вздохнул твердо и решительно и решил: «По-тургеневски: не было бы этого удара, я не опомнился бы. Кровью изойду, но дойду до конца». А конца все нет и нет. Где-то наверху, вероятно, поет веселый жаворонок. Цветущие — зеленые долины, ручьи и козий пастух в широкой шляпе играет на флейте, как во времена сказочного Менандра. Какой восхитительный мир и как хороша жизнь! Розовые облака тают над Гарцем. Серебряные перистые тучки тонут в закатном свете. Что за диво, что за чудо этот мир, эта жизнь, эта земля! Стоило ли менять ее ради неведомого, стоило ли отдавать единственное счастье ради жуткой и строгой тайны? Сердце упало. Почувствовал себя так же, как в тот день, когда Андрей холодеющую

[1] У нас еще есть время (*нем.*).

руку положил ему на лоб. Тогда казалось простым и естественным отдать свою жизнь за жизнь брата. На этом слове поймал себя Тургенев. Братьев так много! Почему за одного, а не за всех? Тогда это было невозможно. Теперь это легко и просто. Решение принято, надо его выполнять. Дальнейший путь был легок и прост.

«Сейчас я все узнаю,— думал Тургенев.— Сейчас мне будет сказано то, что из простого куска неорганизованной материи превратит меня в исполнителя великой воли, и это одно может наполнить мою душу счастьем. Муки и казни, серая жизнь,— все будет ничто. Когда счастливый посвященный знает свою жизнь, и страшнейшая мука не испугает после того, как человек узнал свое назначение. Что может быть лучше, что может быть счастливее!»

Путники выпрямились. Вход в широкую освещенную подземную залу открылся за внезапным поворотом. Гигантские сталактиты свисали сверху, сталагмиты поднимались с полу, десятки, сотни и тысячи свечей освещали подземную залу. Огромный черный аналой стоял посередине. Рыцари в шлемах, панцирях, налокотниках, наплечниках и наколенниках стояли по стенам. Громадные мечи от пола до подбородка были воткнуты в землю. Руки, настоящие, живые руки, левые — в перчатках, правые — обнаженные, лежали на крестообразных рукоятках старинных мечей. Забрала были подняты. Молодые, сверкающие жизнью и отвагой лица, старики — голубоглазые, высокие, рослые, с длинными бородами, спускавшимися на чеканные латы, стояли кругом. Русский студент из Геттингена не ожидал этого зрелища. Оно поразило его как громом. Он хотел бы потерять сознание, он хотел бы быть в обмороке, но не мог, потому что идея мира и братства свободных народов, идея всеобщей справедливости, идея космополитической гуманности, привлекшая его сюда, была слишком светла, слишком умна, слишком правильна и проста, чтобы позволить ему увлечься декоративной фантасмагорией германских масонов. Он выпрямился спокойно. Физически усталый и задыхающийся, он чувствовал себя в одинаковой силе с собравшимися здесь. Мгновение спустя стальные поножи, латы и панцирь плотно облегали его молодую и гибкую фигуру. Он занял место, указанное ему товарищем Ярно, как звали старика. А через минуту, забыв о своей короткой ноге, он легко и не прихрамывая подошел к старику, который, держа андреевское знамя, взглянул на него темными орлиными глазами, раздувая ноздри орлиного носа, и протянул ему белую благоухающую розу.

— Ты видишь перед собою мастера Иоганна,— сказал

ему Ярно.— В тот день, когда тебе начинаются ученические годы, он сам кончил годы великого посвящения.

Тургенев силился вспомнить, где видел он это лицо, кто этот старик в доспехах с такими молодыми, горячими глазами и, только став впоследствии в последнем ряду обряда, он понял, что мастер Иоганн — это великий творец «Фауста» — Гёте.

«Счастье так же трудно перенести, как горе»,— думал Тургенев, когда его шатало. Панцирь держал его в сборе. Наколенники и поножи не позволяли ему иметь нетвердую походку. При всей ясности его ума, ему было странно и необычно чувствовать себя в этом диковинном собрании. То, что он слышал, что он видел, то, что он обещал, поднимая меч за лезвие рукояткой кверху, казалось ему и ужасным, и безумным, и сладостным, и в то же время безукоризненно верным и честным. Ярно подошел к нему и сказал:

— Это бывает раз в семь лет. Следующего семилетия не будет. Кому известно, будем ли мы живы через четырнадцать лет. Объявим силанум, и ты молчи.

Так кончился этот сон. Уже впоследствии, в тридцатых годах, читая строчку Пушкина

Он имел одно видение, непостижное уму,

Тургенев думал, что и у него тоже было «видение, непостижное уму», о котором никто никогда от него не узнает и не услышит. Здесь Тургенев принял посвящение через одну степень, и с тех пор многие окна, закрытые шторами, для него открылись. Сквозь эти окна видел он и понимал суть европейских событий с такой четкостью и ясностью, с такой прозорливостью, как никто из тех, кто не был причастен к «студенческой экскурсии пещеры Гарца», именуемой «Шахта Доротея».

Через несколько дней Тургенев отдыхал в небольшом горном ресторане вместе с Андреем Кайсаровым. Два пастуха, охотники в зеленых шляпах с кистями, в зеленых куртках, два французских офицера и несколько купцов наполняли комнату. В соседнее помещение вошли трое рослых людей с ружьями, перевешенными через плечо. А через некоторое время — еще трое, до странности похожие на первых.

— Это наверняка военный совет,— шепнул Кайсаров.— Французы продолжают кричать о свободе, равенстве и братстве, а немцы подхватывают этот крик и истолковывают по-своему: «свобода от французов, равенство герман-

ских провинций и братство германских племен». Согласись сам, что проповедь в этом духе не нравится Бонапарту.

Французы разговаривали громко. Один из них был маленького роста кавалерист, с белокурыми усами и голубыми глазами. Другой — грузный, с круглым лицом, с каштановыми, почти черными волосами, в форме императорского комиссара. Этот последний рассказывал своему спутнику, как немцы напали на него в Брауншвейге и как ему пришлось спешно вооружить команду выздоравливающих и отбить нападение.

— Я был сам простужен,— сказал француз,— и с трудом выздоравливаю после тяжелой лихорадки, полученной в Сагане. В сущности говоря, я нуждаюсь в длительном отпуске и не думаю, чтобы двухнедельная поездка на Гарц могла решить вопрос моего отдыха. Два дня тому назад я едва не погиб в городе, где решил отдохнуть. Спокойный, захолустный саксонский Стендаль едва не стал моей могилой. На третий день после моего приезда, утром, туда ворвались стрелки из крестьянской молодежи под предводительством горного разбойника Катта, перебили стекла, захватили магистрат и повсюду искали французов. Горничная Луиза выдала меня за своего родственника. Какой же это отдых! — Произнеся это, комиссар отрезал большой ломоть мяса и хлебнул из кружки красное вино.

— Вот видишь,— сказал Кайсаров Тургеневу,— открытой войны нет, а волнения всюду. Бонапарт наконец разрешил германским государям упразднять народоправство. Он сам убедился, что его свободные лозунги ведут к обратным результатам.

Совсем неподалеку, в лесу, на горном склоне, раздался выстрел. Шестеро сидевших в отдельной комнате трактира вышли один за другим и с озабоченным видом удалились из ресторана. Французы бросили им вслед долгий и испытующий взгляд. Трактирщик, не подымая глаз, ушел в другую комнату, оставив стойку с винами и кассой на произвол судьбы. Тургенев смотрел в окно. Слева — крутая стремнина из серых камней вела к горному потоку, прямо перед окнами клином заканчивался гребень горного леса, а направо, среди снегов и елей, опустивших лапы под грудами снега, вилась узкая лента тропинки. Необычайная тишина царила кругом. Покой и холод гор.

Тургенев и Кайсаров поздно ночью приехали в Нюрнберг. Наутро оделись, побрившись собственными силами, без парикмахера, и решили осмотреть старинный город. Мальчуган из гостиницы, которого они просили проводить их, показал стену на площади, усаженную пулями.

— Здесь в прошлом году французы расстреляли книгопродавца господина Пальма.

— За что же они его расстреляли? — спросил Тургенев.

— За то, что у него нашли книжки.

— Но ведь он книгопродавец,— заметил Кайсаров.

— Книжки были запрещенные,— сказал мальчик.— Вот он тут стал, снял повязку, которой ему завязали глаза, бросил на землю и сказал: «Я хочу смотреть на ваши лица». Тогда солдаты отказались стрелять и поставили ружья к ноге. Французский офицер закричал что-то на своем языке и выстрелил в воздух из пистолета. Тогда французские солдаты стали стрелять и все не попадали в господина Пальма. Одна пуля раздробила ему руку, и господин Пальм просил, чтобы они делали свое дело поскорее. Вот почему так пробили эту стену!

Вечером Тургенев рассказывал Кайсарову о нюрнбергской торговле в средние века, а потом незаметно перешел к современным событиям.

— Знаешь, что я слышал? — сказал Кайсаров.— Что этот самый Катт, который напал на саксонский городишко Стендаль, сейчас в Богемии составил так называемый Черный легион, или принят в Черный легион, или выступал в Черном легионе против Саксонии, но только это не просто бандит, как о нем говорят французы, это — руководитель большого отряда в несколько тысяч человек. Самое интересное то, что с германских княжеств сходит вековой сон, как только французы в них побывают.

— Это тем более странно,— отозвался Николай Тургенев,— что Наполеон Бонапарт спит и видит истребление либерализма в Германии. Сам он взобрался на вершину славы по костям и скелетам жертв якобинской революции, но в Германии он в прочном союзе с немецкими князьями. Недаром он так ненавидит Генриха цум Штейна — нынешнего преобразователя Пруссии. Если б ты знал, Андрей, до какой степени хочется мне познакомиться с этим человеком! Ты представить себе не можешь, до чего пленительна эта фигура. Если Штейн удержится в Пруссии, то германское якобинство произойдет без крови. Дважды увольняли его в отставку и дважды без него не обошлись. Ты припомни, что произошло в прошлом году. Едва обессиленный король призвал Штейна, как он, никого не спросясь, провел закон об отмене всех крестьянских феодальных повинностей. Не чудо ли это? То, что стоило Франции потоков крови, здесь проделано напряжением прекрасного ума и высокой воли. Нет ни одного крестьянина, который не знал

бы имени Штейна. Недаром Бонапарт — не далее как вчера читал я эту декларацию в «Монитере» — осудил деятельность Штейна. С точки зрения французского императора, все реформы Штейна сводятся к усилению сопротивления французам, к пробуждению германского национального духа.

— Это очень странно,— сказал Кайсаров.— По-моему, Штейн, как имперский дворянин, сам является представителем германского феодализма, а то, что он поссорился с Бонапартом, показывает, что имперское германское рыцарство вроде твоих цум Штейнов вскорости выступит открыто против Наполеона в союзе с кем угодно.

— Жаль,— сказал Тургенев,— что недосуг мешает ему отвечать на письма. Дважды я ему писал свои соображения о крестьянах в России, и дважды он мне не ответил.

Глава пятнадцатая

Тургенев ходил большими шагами, прихрамывая, по комнате и проявлял признаки чрезвычайной взволнованности. Он был похож на человека, охваченного лихорадочным бредом, так как говорил бессвязно, разгоряченно и жестикулировал, будучи один сам с собою.

«На одного французского санкюлота по численности населения будет сто московских. Что же, не нынче — завтра этот идол на глиняных ногах свалится, падая к подножию истории, и никакого лобного места не хватит в Москве для казни. Что делает Бонапарт — самодержавное исчадие якобинского республиканизма?.. Разве так должна идти стройная система человечества?..»

Локтем задел вазу, разбил ее и громко про себя заявил:

«Непонятный признак неуравновешенности! Что с тобой делается, Николай Тургенев? Ты под властью навязчивой идеи, тебе грезятся признаки санкюлотов, бегающих по длинным московским улицам, в путанице переулков, во дворах, где живут старухи просвирни, в трактирах, где продают сбитни и дешевый чай, грезятся тебе красные флаги и окровавленные ножи. Смеялись над Пугачевым. Вот вам теперь европейский Пугачев! Счастье будет, ежели блеск императорской мишуры ослепил глаза Бонапарта...»

«А если нет... Тогда полный ужас и сплошной бедлам... Бедлам... бедлам... Что значит бедлам? Ведь это исковерканное слово бетлеем — по-славянски Вифлеем. Неужто от этого города, где, по евангелию, родился Христос, пошло

мировое безумие? Однако ведь назвали ж англичане свой дом умалишенных этим именем».

Подбежал к письменному столу. Раскрытая большая зеленая тетрадь. Листы желтой бумаги, готовые поглотить все его мысли.

«Не лучше ли затаиться? — думает Тургенев.— Этакую страшную бурю носить в душе могу я один. А напишешь, в суете путевых беспокойств потеряешь написанное, скинет тебя орлиное крыло в Сен-Готарде в пропасть, или просто дорожный разбойник трехгранным острием проколет тебе горло, и будет эта тетрадка в руках досужего человека, бранящего Тургенева за мысли, дела и чувства».

Однако подошел к столу и записал: «Как легко можно без сожаления переезжать из одного места в другое. Это потому, что меня ничто не привязывает ни к какому местопребыванию. И в России не предвижу и не могу предвидеть для себя ничего лестного и приятного. Я пишу тайно, обиняками, потому что не хочется самому себе даже говорить откровенно, боясь мыслить с откровенностью о моем необычайном положении и о видах на будущее. Презрение людей производит *презрение людей*».

Раздраженно закрыл тетрадь, бросил ее пренебрежительно в большой кожаный дорожный баул. Потом стал ходить из угла в угол опять. Короткие штаны, белые чулки, черные атласные туфли, рубашка, открывающая грудь, и незастегнутое жабо, великолепное, мягкое, тончайшее испанское кружево складками, восемнадцать рядов кружев. Все нашито на груди. На маленьком столике тринадцать жемчужных застежок. На другом столике неубранные принадлежности после бритья, поваленное зеркало в мыле. Черный шелковый галстук. Синий фрак.

«Однако пора одеваться»,— думает Тургенев. Бессонные ночи и нервы — это свойство всех кончающих Геттингенский университет. Об этом предупреждал брат Александр. «В последний день инавгурации будешь ты себя чувствовать наподобие безумца,— говорил Александр,— как зверь в клетке. Но ты не смущайся, сумей ошалеть вовремя и вовремя опомниться. Я не хочу учить тебя ничему плохому, но ты лучше напейся, чтобы забыть переход от одиннадцати часов в сутки работы к новой твоей свободной жизни».

Николай помнил это наставление Александра Ивановича, но выполнять его не хотел.

«Я лучше додумаю все нормально и в безалкогольном состоянии,— говорил он себе.— Дело, конечно, не только в учебе. Конечно, не только в этом утомлении».

Новогодний бал в Вене, на котором был Тургенев, показал ему во всем блеске закат европейского дворянства. «Какие имена, какие люди, какие состояния, какая фантастическая власть уходит безвозвратно! Уверенность в победе, в несокрушимости своего могущества! Короли, принцы, герцоги, графы, бароны, вчера еще беспечные, уверенные в своем успехе,— сегодня, окровавленные, плетутся на жалких клячах по непролазным, глухим дорогам Европы с обломками растрепанных и нищих отрядов. Что это за ужас? Кто это сделал? Простой французский мужик и парижский сапожник. Европейские монархи не дали им и трех дней подышать воздухом воли, и вот теперь они мстят: громят города Европы, ломают троны, рассыпают королевские мешки с золотом, как с ненужной золой. Хрустят короны под ногой огромного якобинского сапога. Нет силы, которая может это остановить».

Тургенев взял листок бумаги, лежавший на столе. Это была копия письма вестфальской королевы. Она писала: «Захват Бонапартом Голландии глубоко волнует меня, потому что я вижу, что в этом, в земном мире слез ни для кого нет прочного счастья. Где искать спасения королям, когда ни теснейшее родство с Наполеоном, ни открытое расположение царской России не спасают против французского указа о присоединении. Наследственные государи находятся в жутком колебании двойной перспективы, одинаково страшной: либо Наполеон потребует от них союза и повлечет их к позору и к гибели со своим падением, либо, *как только потребуют его личные обстоятельства,* он внезапно объявит о смещении наследственных государей и старинных династий и нагло заменит их своими префектами из французских мужиков и кузнецов Парижа».

Отдувая щеки, почти задыхаясь, бросил Николай Тургенев это письмо на стол.

— Открытое расположение России...— говорил он.— Начали громко провозглашением Наполеона вне закона, а кончили дружеским свиданием с ним в Эрфурте. Следует ли мне думать о России? Страна голодных рабов и безумных господ! Если б можно было никогда, никогда ее не видеть! Но через два дня надо уезжать. Решаться надо теперь же.

Подержав в руке синий фрак, швырнул его опять и, прихрамывая, стал ходить по комнате.

«Решаться! — подумал он.— Легко сказать. Здесь все — наука, свет, познание, друзья и наставники — явные и тайные, здесь то, о чем лишь изредка, по разрешению стариков, могу подумать в чарующие минуты свободной

воли ума, а что там? Грязь и полицейские окрики! Кабацкая Русь и длинногривые попы».

Вдруг, внезапно остановившись, он почувствовал головокружение. Смертельная бледность покрыла его щеки.

«Ты ешь крепостные хлеба, Тургенев, на тебя идут силы тургеневских и коровинских мужиков! Что ты им отдашь, как ты вернешь то, что израсходовано на тебя здесь, в Геттингене?»

Подошел к столу. Сел. Бросил голову на руки, чтобы ничего не видеть, не слышать. А в голове били, как молоты, все те же мысли, искры сыпались перед глазами, огненные круги возникали и исчезали в темноте. Встал. Сорвал полотенце, обламывая пальмовую ручку. Бросился на подушку и, вздрагивая плечами, беззвучно зарыдал. Кричал про себя яростно, исступленно, но не переводя слова на голос. Оглушен был этим криком, но кругом сказали бы, что он спит. Он кричал только одно: «Ни за что, ни за что не вернусь в Россию!» И чувствовал, что этот крик переходит в исступление. «Кто узнал сладкое, тот не захочет горького; кто увидел свет, тот не захочет в темноту. Буду нищим, но не вернусь в эту проклятую страну».

Слова «измена», «предательство» — ничто не действовало. Манили большие европейские дороги, зеленые, обсаженные каштанами и буком. Манил Веймар, где величавый старик, упоенный жизнью, очарованный тайной вещества, наклоняется над столом, разбирая античные камеи, наблюдая в микроскоп строение растительной клетки — хлорофилла.

«Разве не могу я быть простым батраком в славянской Крайне, писцом в военной канцелярии, да, наконец, кем угодно, лишь бы не русским помещиком на царской службе. Сейчас я молод, вся жизнь впереди. Пройдет неделя — и будет уже поздно. В России гибель моя неизбежна. С моими мыслями жить там чудовищно. Молодость, молодость, молодость!» — повторял Тургенев, и ему в такт раздавались удары дверного молотка.

В низкую дверь геттингенской комнаты Тургенева осторожно стучали. Едва успел накинуть фрак. Открыл. Вошел старик Шпитлер — геттингенский профессор.

— Я уже думал, что господин Тургенев уехал, не простясь с учителем,— произнес он.— Рад, что вас застал.

— Садитесь, дорогой господин хофрат,— сказал Тургенев.— Польщен и рад вас видеть.

— Каким направлением вы едете? — спросил Шпитлер.

— Я еще не выбрал. Вероятно, придется ехать на Штеттин,— сказал Тургенев.— Но еще не уверен в этом.

— Уверьтесь,— сказал Шпитлер.— Теперь Штеттин — единственная дорога. Так вот, я хочу, чтобы мой лучший ученик встретил лучший прием повсюду.

С этими словами он развернул тончайшую папиросную барселонскую бумагу и достал оправленную в золото красную пятиконечную звезду из гарцского граната.

— Наденьте это на шею, добрый друг, и когда вам будет очень трудно, ну совсем плохо, ну, положим так, вас присудят к казни,— покажите это судьбе. Затем не сомневайтесь в том, что вам нужно вернуться в Россию. Прошлый раз мы говорили с вами о французской революции. Не волнуйтесь, знайте, что это простое следствие трехвековой борьбы третьего сословия за свои права. В России — счастье и несчастье, что нет этого сословия. Оно никогда и не разовьется до полной силы. Вашей революции придется шагнуть через целый исторический этап. Ну, итак, простите, дорогой! Не советую вам задерживаться в Германии. Я не своеволен, и если б мне не было приказано, я бы сегодня к вам не явился. Смешнее всего, когда человек, знающий настоящую науку, малодушно обижается на историю. Такие обиды суть простое выбрасывание на ветер лучшей вашей энергии. Прощайте!

Тургенев не успел сказать ни слова. Хлопнула дверь. Старик был уже далеко. На тонком шелковом шнуре висела гранатовая безделушка. Тургенев раздраженно дернул ее рукой и подумал:

«Все это хорошо — песнь вольных каменщиков, переодевания в рыцарские одежды, разные гранатовые побрякушки, циркули и треугольники. Но что мы будем делать, когда волна разъяренных санкюлотов уничтожит баронские замки Германии?»

Однако посещение Шпитлера принесло успокоение.

На четвертые сутки, под утро, седые померанские туманы показали Тургеневу, что он уже недалеко от Северного моря.

«Завтра начнется дорога в Россию».

Путь был до такой степени странным. Часы просвета. На горизонте обрисовывалась большая фигура пастуха в шляпе. Тонкорунные немецкие овцы среди безлюдной пустыни. Потом маленькие дома на холмах. Двадцать четыре домика на двадцати четырех пригорках, заполнявших весь горизонт. Странная, полуславянская, полунемецкая речь. Глухо. И очень тоскливо. Европейские бури и грохот наполеоновских пушек казался где-то далеко и ушедшим

в прошлое. Но сегодня туман такой густой, что кажется опасным ехать. Если бы не старые, испытанные лошади, знающие дорогу, то лучше было бы не ездить. Дилижанс не вышел в этот день. Пришлось ехать на крестьянской паре. Возница, первоначально словоохотливый, говоривший о том, что теперь жить стало хорошо, барщина прекратилась, долги прощены,— чем дальше к северу, тем становился молчаливее. Тургенев спал. Было холодно, и сырость пронизывала до костей. Но вдруг грубый толчок, и он проснулся. Он полз вниз плечом и головой по жидкой грязи, пытаясь за что-то схватиться. Раскровенив руки, он держался за колючий кустарник. С трудом поднялся, едва разгибаясь от боли. Маленький экипаж лежал колесами кверху. Баул валялся тут. Лошадь, оборвав сбрую, билась задними ногами. Возницы не было.

«Что случилось?» — подумал Тургенев.

Случилась очень простая вещь. В тумане экипаж скользнул в овраг и сломался.

Николай Тургенев, с трудом цепляясь за кусты, вышел на дорогу. Трубил рожок форейтора. Встречная шестерка неслась по дороге. Яркие фонари прорезали туман. Показались лошади, форейторы в ливреях и огромный черный кузов имперской кареты.

Тургенев поднял руку. Карета медленно остановилась. Красиво одетый молодой человек в цилиндре, с большой пелериной, соскочил с козел и подошел узнать, в чем дело. Тургенев просил помощи, так как ему не на кого было надеяться в этой безлюдной местности. Через минуту молодой человек вернулся и сказал:

— Граф просит вас к себе.

Отворяя дверцу кареты, Тургенев увидел старика с крупными чертами лица, ясными глазами, слишком живыми и молодыми для седых бакенбард и седых бровей, смотревших из-под шляпы.

— Кто вы? — спросил старик.

— Магистр Геттингенского университета, командированный для наук из России.— Тургенев.

— Я рад встретить однокашника. Я — старый геттингенский студент. Вас я знаю. Теперь узнайте меня: Фридрих Карл цум Штейн. Едемте ко мне. Дорогой я отвечу на ваши письма.

Тургеневу казалось, что это счастливый сон. Штейн — предмет его восторгов, этот кумир молодой Германии, с которым встретиться он уже никак не рассчитывал, возвращаясь в Россию,— вдруг выручил его из беды, как нечаянный подарок фортуны.

Глава шестнадцатая

После нескольких вступительных фраз представители имперского рыцарства и русского дворянства начали прямой разговор. У обоих в характере было не мало упрямства, оба не хотели играть комедии и потому чрезвычайно быстро, почувствовав эти свойства, Штейн и Тургенев стали понимать друг друга. Однако Штейн упорно не сходил с геттингенской темы. Он говорил о Геттингене так, как могут говорить взрослые люди о своей колыбели, о лучших воспоминаниях детства, о лучезарных и прекрасных видениях юности. Тургенев рассказал, что он является уже вторым представителем тургеневской семьи, обучавшимся в Геттингене. Штейн был растроган. Тем не менее Тургенев уловил нотки отчужденности в голосе своего собеседника, когда разговор коснулся профессоров-экономистов и историков Сарториуса и Геерена.

— Мне кажется, что они делают ошибку,— сказал Штейн,— приписывая слишком большое значение денежным, особенно металлическим, запасам в государстве. Ведь посудите сами, молодой друг...

Внезапно после этих слов глаза имперского рыцаря Штейна заблестели, зрачки расширились, и, наклонясь к Тургеневу, он сказал:

— Я должен вас назвать младший товарищ, если вы помните нисхождение в шахту «Доротея».

Тургенев встал, насколько это позволяла высота кареты, и, прикасаясь левой рукой к правой руке собеседника, произнес спокойно и твердо:

— Я слушаю и повинуюсь во имя креста и розы.

После этого Штейн сказал ему:

— Успокойтесь, мы будем говорить не шифром, а клером. Роза Гарпократа еще не расцветает между нами. Молодой друг, можете говорить и молчать, сколько вашей душе угодно. Я ничего не говорю тайного. Но от вас зависит испортить наши отношения. Я назвал вам свое имя вовсе не для того, чтобы им похвастаться перед первым встречным. Я узнал в вас русского, а я еду из России.

— Как! — закричал Тургенев, вскакивая с места снова.— Что ни шаг, то загадка. Ужасна Германия в период мировых бурь!

— Это не мировая буря — это наша страна в период бури и натиска,— спокойно ответил Штейн.— Мы думаем, что наши государственные дела на этот раз чужды житейского беспорядка и полны планомерности... Но вы меня не дослушали, младший товарищ Тургенев, я обязан напом-

нить вам, что вы в ближайшие месяцы для пользы вашей и вашего государства должны прочитать английского экономиста Адама Смита. Вы поймете тогда то, чего не договорил вам Сарториус и многие другие. Настают времена, когда простой кусок хлеба будет цениться дороже верблюда, нагруженного червонцами. В наши дни любая фраза Адама Смита стоит тысячи томов, которые могли бы написать меркантилисты. Вы удивились, что я из России, так знайте же, если вы до сих пор не знаете этого, что вы со всеми вашими горями не можете меня понять. Цум Штейн — рыцарь старинной Германии — сейчас перед вами бедный нищий. Тринадцать месяцев тому назад я поссорился с таким же заурядным человеком, как наш возница. Это сын корсиканского нотариуса, внук корсиканского бандита, дикий островитянин — Наполеон Бонапарт. Если вам неизвестно, так знайте же, что тринадцать месяцев назад я был богатейшим помещиком, у меня были виноградники в Рейне, собственные копи в Герце, богатейшие пастбища в Померании. Я помню всех своих дедов и прадедов до девятого столетия, а теперь я — нищий и еду тайком в свое имение, так как все конфисковано Бонапартом. Я — освободитель прусского крестьянства — буду расстрелян первым французским сержантом, который перехватит меня на дороге.

Холодный ум Николая Тургенева вдруг закипел вулканическим потоком мыслей.

«Какой ужас! — думал он.— Как я страшно отстал, живя в Геттингене. Этот горный кругозор, замкнутый и прелестный, совершенно лишил меня дальнозоркости. Мой кумир — освободитель германского населения — подвергся столь жестокой участи, а я ничего об этом не знал».

— Как же случилось это? — спросил Тургенев.

— История неумолима,— сказал Штейн,— и плохо делает тот, кто на нее обижается. Однако сердце мое радуется, имея дело с достойным противником. Я принужден был переехать в Россию — *последнюю страну рабства,*— сказал Штейн, растягивая эти слова,— лишь после того, как осуществил заветную мечту уничтожить феодальные пережитки в отношениях между дворянином и крестьянином в Германии. Вот посмотрите, я буду принят хорошо в любом из моих недавних владений, и ни одна душа живая, даже под пытками, не произнесет моего имени французскому комиссару, живущему в моих имениях. Но, милый друг, младший товарищ, какая безотрадная картина ваша страна! Вот вам задача. После Геттингена займитесь изу-

чением Смита и немедленно уезжайте в самое пекло, в самый ад. По письмам вашим я вижу, что вы хорошо ко мне относитесь. Ну, так вот. Если даже не во имя этого хорошего отношения, то во имя собственного успеха в жизни сверните с дороги и немедленно поезжайте в Париж.

Николай Тургенев мечтал о том времени, когда после лихорадки отец брал куски холодного, прозрачного москворецкого льда и прикладывал ему к вискам. Голова его горела. Он вдруг вспомнил высокого, худого и стройного человека, стоявшего рядом с Ярно в шахте «Доротея». Теперь несомненно — это был Штейн. Рядом с ним стоял рыцарь с голубым пером на шлеме...

Откуда вдруг взялась эта фамилия — Гарденберг? Вообще, кто был в этой шахте, какой дальнейший путь Тургенева, чем он связан с этими людьми, кроме явных, простых орденских поручений? Одно только хорошо, что, вместо тяжелого маршрута с перспективой меховой шубы в ледяном отечестве, он может и, по-видимому, должен...

— Так обещаете мне быть через десять дней в Париже? — спросил Штейн внезапно.

— Обещаю и исполню,— сказал Тургенев машинально.

— Раз это так, то вы обещаете мне еще одно.

— Исполню,— ответил Тургенев.

— Вы не обмолвитесь ни словом о встрече с Фридрихом Карлом цум Штейном.

— Обещаю и исполню,— ответил Тургенев, опять-таки чувствуя смущение от этого автоматизма ответов.— Но скажите же мне по крайней мере, сколько времени должен я провести в скитальчестве?

— Вам скажут,— ответил Штейн и дернул за звонок кареты.

Форейторы повернули влево. Минуя главные корпуса усадьбы, карета остановилась у маленького флигеля, перед которым тысячи голубей кормились и купались на берегу мраморного бассейна.

— Здравствуйте, господин Гогенлинден,— приветствовали Штейна обученные и законспирированные крестьяне.

— Здравствуйте, друзья,— отвечал им Штейн.— Я привез к вам заблудившегося студента. На сегодня он — хозяин в доме, ради него делайте все, что сделали бы вы ради родных и друзей.

Мгновение спустя Тургенев почувствовал себя действительно в кругу родных. Штейн, безопасности ради, как простолюдин, забрался на крестьянский чердак. Центром повышенного внимания поселка, если только можно было это внимание назвать повышенным, стал бывший геттин-

генский студент, заблудившийся русский — Николай Тургенев.

Из всего, что он видел и слышал в короткие сутки, протекшие после встречи со Штейном, он понял, что речь идет о формировании германского легиона к предстоящей войне с Бонапартом. За чашкой козьего молока Фридрих цум Штейн, смотря на своего русского друга спокойными, ясными светло-голубыми глазами, говорил:

— Вот посмотрите, это, конечно, улыбка жизни, похожая на хохот гор. Когда горы хохочут, то обрушиваются села; когда жизнь улыбается, то это значит — целое поколение сошло в могилу. Я говорю о том, как французский император из предводителя якобинских полков превратился в самую мрачную фигуру нашей истории. Каких-нибудь десять лет тому назад французские крестьяне, обученные братьями масонами, сажали майские деревья перед воротами французских феодалов, добровольно отказавшихся кабалить своих крестьян. А теперь этот же самый Бонапарт является самым мрачным, самым ужасным, деспотическим видением растерянной и порабощенной им Европы. Жизнь улыбается жуткой улыбкой, и от этой улыбки сбежали цвета жизни и радости с каменного чела Бонапарта.

Утром через два дня Штейн вручил Тургеневу законные подорожные и другие документы, удостоверяющие его дворянское право на въезд в столицу императорской Франции.

— Поверьте, младший товарищ, что я искренне рад встрече с вами. Вы еще очень будете мне нужны...

Тургенев с волнением пожимал руку Штейну, внимая этим словам простой любезности. Но Штейн, взглянув на него и не выпуская руку, давя ему на ладонь большим пальцем, говорил, словно читая в его мыслях:

— Я не произношу слов простой любезности. Вы, юноша, будете необходимы, а не я вам. А теперь — доброго пути! До скорой встречи в Петербурге!

В трактире «Четырех Ветров» на старой границе Франции Николай Тургенев написал письмо брату Александру, простое, с описанием чисто внешних событий, ни единым словом не упоминая о привалившем ему счастии в виде встречи с «рыцарственным стариком Фридрихом цум Штейном».

Тургенев был исполнителен. Чувство долга занимало первое место в его сердце. Мысли об английском чтении по поручению Штейна, эти твердые, ясно сознанные мысли, не покидали его всю дорогу. Но книги в тогдашнее время не были так легко находимы во французской провинции, как

в последующие десятилетия прошлого века. Николай Тургенев сокрушался. Но и тут крепко завязанный узел его жизни дал себя почувствовать. В городе Лионе, на постоялом дворе содержателя французских дилижансов господина Кальяра, совершенно случайно перебирая предметы, лежавшие на втором дне дорожной укладки, Николай Тургенев нащупал толстый пакет и, распечатав его, с удивлением убедился в том, что перед ним лежит новенький, не разрезанный трактат Адама Смита о государственном хозяйстве.

Только дисциплина вольных каменщиков позволила ему ограничиться удивлением. В существе своем дело было неприятное, ибо в дороге путника тревожат в одинаковой степени внезапные исчезновения и внезапные находки. Опытные люди недаром говорят, что неизвестно, что опаснее, что хуже. Предоставим этим опытным людям суждение по настоящему предмету. А чтобы не задерживаться, последуем за Николаем Тургеневым в город волнующий и зажигательный, в город, таинственный своими пороками и добродетелями, в столицу Франции — Париж.

При самом въезде Николай Тургенев был разбужен звонким и заливистым смехом двух французов, сидевших в третьем ряду кареты. Брюнет рассказывал блондину о том, как на песчаном берегу около Варриера полицейский агент арестовал двух купальщиц. Одна была совершенно обнажена и плавала на виду у публики, другая повязана легкой тканью на бедрах. Обе арестованы были как политические преступницы. Блондин недоумевал.

— Но при чем тут политика?! — восклицал он.

— Постой, друг,— отвечал другой.— Ты спрашиваешь, при чем тут политика, но обе были осуждены судьями — одна, чуждавшаяся покровов, за возбуждение народных масс, а другая — в год трудности снабжения — за сокрытие предметов первой необходимости.

Дилижанс отвечал хохотом.

Тургенев был поражен не мало.

«Говорят, что во Франции мрачное настроение. Какая же мрачность при этаком направлении умов?» И, обращаясь к старой даме, единственной женщине в дилижансе, он спросил разрешения курить. Длинная пальмовая трубка задымила приятным табаком, вымоченным в геттингенском меде. Последняя пачка этого табаку была продана студенту Тургеневу краснощекой Лизхен — кельнершей у Ганзена, которую брат Александр в нежнейших письмах к геттингенским студентам всячески умолял сохранить. Пуская кольца дыма, Тургенев думал о том, как профес-

сор Куницын (увы! двадцативосьмилетний профессор!), перед тем как вернуться в Петербург и сделаться преподавателем Царскосельского лицея, испробовал свои силы и таланты над характером Лизхен. Кельнерша уступила, и с тех пор она сделалась целебным источником удовольствия для многих студентов. Провожая Куницына, геттингенские студенты увенчали его лоб венком из роз. Они называли его Моисеем, ударившим жезлом в каменную стену, открывшую после удара благодатный источник утоления студенческой жажды.

Миновали заставу. Шумный, веселый Париж поглотил стук железных ободьев кареты о каменистую, хотя и немощеную, улицу Гомартен.

Начались парижские дни русского студента

Первым делом Тургенев записал в дневнике:

«Париж, 31 июля, вторник, 6 ч. вечера. В дороге писать не мог, допишу теперь. Из Шалона выехали мы в пятом часу вечера. Погода была хороша. В восемь часов были мы уже в Эпернее, маленькой, но изрядной городок. Мы проехали деревню Аи, остановились и пили самое лучшее вино, которое растет во Франции. Подле самого Парижа местоположение совсем не восхитительное. Маленький лесок с кустарниками, есть и болота. Подле Парижа видел множество трактиров. Сердце мое так, как сердце многих пассажиров, к удивлению, совсем не билось при мысли, что я в Париже. Я живу и буду жить по-нашему в 4-м этаже и буду платить 72 франка за месяц. Это для меня очень дорого».

Неожиданная надпись на двенадцатой странице: «Где будешь ты, Николай Тургенев, когда допишешь до этой страницы», и приписка сбоку той же рукой: «Вот я здесь, в Париже».

Тургенев вчерашний перекликался с Тургеневым нынешним из страха, что по прошествии нескольких дней один другого не узнают. Николай Тургенев чувствовал огромную потребность в таком общении с своим завтрашним «я». Его тревожили и быстрота событий, и постоянная смена состояний.

«5 августа. Приехавший вчера курьер из Петербурга привез мне сто червонных — это от брата Александра. Меня почти до слез тронуло доказательство любви ко мне старшего брата. Александр пишет, что в Царском Селе основан лицей для подготовки чиновников из дворян, что Волконский и Ростопчин выступают на защиту крепостно-

го права, а остзейское дворянство требует освобождения крестьян, но без земли, для удобства фабрик».

Николай Тургенев принялся за чтение газет. Французский хроникер с большим удовольствием сообщал, что в Англии большие беспорядки. Ткачи уничтожают паровые машины, так как при нынешней безработице в Англии невозможно семь человек оставлять на производстве там, где труд семерых ручников заменяется единоличным управлением одного машиниста. «Некий лорд Байрон выступает на защиту провинившихся рабочих».

«Неужели это всеобщее явление?» — думал Тургенев.

«Двенадцать дней я в Париже, а немец, указанный Штейном, до сих пор не является»,— тревожился Тургенев, вставая по утрам и обливаясь холодной водою. Утром мадемуазель Мерси стучала минут через десять после того, как прекращался плеск и было ясно, что господин Тургенев уже оделся. Мадемуазель Мерси приносила кофе. Ее мать, очень непохожая на мать,— Тургенев подозревал, что это просто хозяйка — бывшая содержательница увеселительного заведения,— обращалась с мадемуазель Мерси как с восемнадцатилетней девушкой. Тургенев думал: «Мадемуазель Мерси наверняка уже тридцать лет, может быть,— тридцать два, может быть,— тридцать три. Она довольно неудачно разыгрывает из себя подростка». Мадемуазель Мерси любит поговорить и поговорить на особенную тему. На нее всегда кто-нибудь покушается. Она хочет пробудить во всяком приезжем пансиона благородные рыцарские чувства, и господину Тургеневу она тоже силится внушить стремление выступить на защиту оскорбленной невинности. У господина Николая Тургенева очень много работы. Ему совсем не до того. Тем не менее госпожа Мерси жалуется ему на то, что в конце коридора комиссар французского трибунала — «якобинец и негодяй» — устроил пирушку с тремя молодыми девицами. Они всю ночь пели и пили.

— Ах, господин Тургенев, как я трепетала: ведь если ему понадобились три, то могла понадобиться и четвертая. Крючок у моей дочери такой слабый, и я настолько беззащитна, что все могло случиться.

Господин Тургенев стоял как деревянный. Ни тени сочувствия на этом холодном лице.

— Ах, господин Тургенев, беззащитной девушке трудно в наши дни в Париже. С тех пор как казнили короля и забыли бога, сатана стал страшно силен. Бороться с ним невозможно.

Но господин Тургенев пьет кофе, пока мадемуазель

Мерси поправляет на висках желтые тирбушоны. Мадемуазель Мерси выходит. На другом конце коридора, против двери трибунальского комиссара, кутившего с девицами, есть другая дверь. Там живет господин Лобо — антиквар, старик с провалившейся верхней губой, с выдающейся, небритой, нижней частью подбородка. Мадемуазель Мерси знает, что это за старик. Это граф Шанфлёри — агент бурбонской семьи, проживающий в Париже под чужим именем. Мадемуазель Мерси за недорогую плату сообщает ему последние парижские новости из тех, что пробалтывают ей подвыпившие бонапартовские офицеры. Она же, эта же самая мадемуазель Мерси, согревает своим еще не старым телом простыни и одеяла господина Лобо. Это все за ту же плату — ради церкви и короля.

После кофе Тургенев посещал музеи. Идя из Тюильри около двух часов дня, он любовался аркадами, галереями и переходами Елисейских полей. В этой части улицы Парижа были только что замощены. Карета, лакей с плюмажем. Едет знатная дама. Кто она? Красивые, огромные черные глаза, очень грустные, несколько детские. Парижане кланяются при встрече. «Княгиня Богарне»,— слышит Тургенев сзади себя. Сегодня княгиня Богарне, а еще вчера она была императрицей Жозефиной. Она уезжает из Парижа, как бездетная вдова. Наполеон буквально faisait la cour[1] легкомысленной дочери императора Франца. Кончилось тем, что он женился на Марии-Луизе, бросив Жозефину. Якобинский генерал породнился с католическими Габсбургами. Наполеон считал себя победителем императоров, но коронованные волки решили, что «если Бонапарт с волками хочет жить, то он по-волчьи должен выть». Его апостолическое величество — король и первосвященник австро-венгерской монархии,— выдав свою дочь за безбожного француза, решил оказать на него самое энергичное давление. Многие ему помогали. Новоиспеченные дворяне, которых много появилось вокруг императорского трона Франции, решили, что настала пора обуздать безбожную парижскую бедноту. Император перестал смеяться. Веселые французские песни стали признаком политического вольнодумства. Насмешка над черным монашеством казалась императору опасной. Население проявляло вольные стремления, которым необходимо было положить конец. Вот почему, когда французские церковники захотели съезжаться в Париже, Наполеон Бонапарт отдал распоряжение об оказании полного содействия. Католи-

[1] Ухаживал (*франц.*).

ческая Франция снова ожила. Но церковь без монархии не существует. Оправдать монархию Бонапарта церковники не могли и не хотели.

Наконец Тургенев встретился около самого Тюильрийского сада с немцами и русскими, которых он ожидал. Он не называет их фамилий. Он просто говорит о том, что во Франции подготовляется война с Россией.

Расставшись с ними, он курит трубку, одну за другой, ленясь идти завтракать и в то же время чувствуя голод. Трубка прогоняет голод. Невольно шаги направляются опять к Тюильрийскому саду. Он видит, как огромные толпы народа продвигаются ко дворцу. Машинально последовал за ними.

На балкон дворца вышел короткий человек, довольно грузный, в синем мундире со звездой. Ноги обтянуты в лосинах. Довольно полное брюшко. Голова без шапки. Короткие волосы на пробор. Выглядывая через плечо, в голубом платье, за ним появилась на балконе высокая, полногрудая женщина. Раздались крики: «Да здравствует император!» — вразброд и недружно. Генерал в синем мундире сел, женщина в голубом заняла стул рядом.

«Однако он довольно толстый, этот Наполеон»,— подумал Тургенев. Вспомнил: сегодня день крещения новорожденного сына Бонапарта, именуемого римским королем. Зевая, усталый Тургенев фланировал по Парижу. Идя к театру Фейдо, увидел вывеску: «Синьор Пио. Уроки итальянского языка».

«Вот что мне нужно»,— подумал Тургенев.

Через минуту уже уговорился об условиях и решил начать занятия поутру со следующего дня. Вечером Тургенев был в театре. Слушал «Сандрильону» и довольно поздно вернулся домой. Лег спать голодный. Странное чувство рассеянности и апатии овладело им после того, как он услышал неправдоподобные (так ему показалось) суждения о предстоящей войне Наполеона с Россией. «Что из того, что Россия нарушила договор с Бонапартом о блокаде Англии. Все нарушают, так как англичане продолжают морскую торговлю под чужими флагами. Конечно, если пройдет распоряжение Наполеона о прекращении всякой торговли с иностранцами вообще, то, пожалуй, разрыв союза будет неизбежен, но тогда не только Россия, а и все европейские государства вооружатся против Бонапартова произвола». С этими мыслями заснул.

Во сне война уже началась. Пушки гремели. Тряслись

стены и ломались двери. Проснулся от собственного сна. Вскочил. Стук продолжался. По коридору слышалось хождение, возбужденные голоса и сдавленный шепот через перегородку. Накинул шлафрок. Быстро надел туфли. Подошел к двери и хотел выйти, чтобы узнать в чем дело. Рослый часовой с ружьем в медном кивере с султаном загородил ему дорогу.

— Что такое? — закричал Тургенев.

Часовой молча погрозил и невежливо хлопнул дверью, едва не зацепив головы Тургенева.

Тургенев побежал к окну. Внизу на черном дворе с факелами стояли вооруженные люди. Очевидно, весь пансион оцеплен. Тургенев зажег свет. Сел у стола и стал ждать. Перебирал книги одну за другой. Наконец решил одеться и пойти напролом. С удивившей самого себя быстротой через две минуты он был уже одет в геттингенский редингот. Решительно открыл дверь и столкнулся лицом к лицу с французом в черной одежде.

— Я — русский подданный,— сказал Тургенев.— Кто осмеливается задерживать меня и ставить часовых у двери? Мне даже не вручен ордер об аресте.

На другом конце коридора показалась плачущая Мерси и старуха содержательница пансиона. Человек в черной одежде, с короткой тростью в руках сказал:

— Сударь, это никакого отношения не имеет к вам. Но я, как гражданский комиссар, должен был осмотреть все комнаты. Пустите меня на одну минуту и предъявите ваши документы.

— Я могу предъявить вам документы в коридоре, но даю вам честное слово, что не имею ни малейшего желания видеть вас в своей комнате.

— Однако вам придется это сделать,— сказал комиссар.— Государственный преступник, которого мы ищем, мог совершенно легко спрятаться в вашей комнате в ваше отсутствие.

Госпожа Мерси всплеснула руками.

— Гражданин комиссар,— воскликнула она,— клянусь вам, все мои жильцы — люди самые добропорядочные, среди них нет ни преступников, ни аристократов, ни изменников, ни шпионов... Я, конечно, не знаю этого русского господина, платит он исправно, но зачем он живет в Париже, и действительно ли он русский — я не знаю.

Комиссар был уже в комнате Тургенева. Молоденький офицер с ним вместе осматривал комнату. Рослый жандарм просматривал паспорт и сертификаты Тургенева. В коридоре слышался шепот:

— Понимаешь ли, если губернатор послал супрефекта, то, значит, серьезный преступник.

— Так вы действительно русский? — спросил молодой офицер.— У вас нет ни одной русской книги, а я очень люблю русские книги.

— Кого вы ищете? — спросил Тургенев.

Человек в черном, оказавшийся супрефектом Парижа, не ответил. Он спросил только жандарма:

— Сколько комнат в пансионе?

— Восемнадцать,— ответил молодой офицер.

— Все ли ты осмотрел? — спросил супрефект.

— Вот эта, и еще осталась комната хозяйки.

Супрефект обратился к Тургеневу:

— Скажите, не встречали ли вы здесь господина маркиза Шанфлёри?

Тургенев отрицательно покачал головой.

— Однако именно вас вчера видели одновременно с ним выходящим из двери.

— Не знаю никакого Шанфлёри,— ответил Тургенев.— Вчера выходил я из дверей совершенно один.

— Тем не менее он шел вслед за вами до самого Тюильрийского сада.

Тургенев презрительно пожал плечами.

— За мною шел проживающий здесь торговец Лобо и больше никто.

— Очень прошу извинить меня, но потрудитесь не выходить из комнаты до конца обыска.

Пошли в комнату хозяйки. Послышались крики: «Лобо! Лобо — мясник в Дижоне. Он ставит мясо на армию и в настоящее время уехал из Парижа. Клянусь вам, господин комиссар!»

— Ну, хотя бы посмотреть на этого Лобо,— возражал супрефект.

— Конечно он будет очень рад,— отвечала госпожа Мерси.— Как только приедет, он не преминет пойти к господину супрефекту.

— Для порядка все-таки осмотрим вашу комнату,— спокойно проскрипел, как старые часы, супрефект.

Старуха спокойно открыла комнату и заявила:

— Пожалуйста, господин супрефект. Я сейчас вскипячу кофе. Не угодно ли вам ликеров? Есть прекрасный мартелевский коньяк.

— Благодарю, я спешу,— ответил супрефект. — Пройдемте,— обратился он к офицеру и двум жандармам.

Облокотясь на притолоку и закрыв лицо руками, мадемуазель Мерси плакала навзрыд.

— Святая дева,— причитала она,— можно ли причинять столько горя мирным гражданам! Где это видано, чтобы по ночам держали в осаде с целой армией маленький пансион? И это храбрые французы, и это войска!

Вдруг она перестала плакать. Из гардероба госпожи Мерси вытащили в белом ночном костюме маркиза Шанфлёри. Он шел, упираясь, требуя неприкосновенности, а супрефект спокойным голосом говорил ему:

— Пожалуйте, господин Лобо, пожалуйте сюда!

Схваченного привели в комнату Тургенева.

— Вы не знаете этого человека? — спросил супрефект.

— Я знаю случайно, что его фамилия Лобо.

— Господин Лобо,— заявил супрефект,— вам уже не придется торговать французским пушечным мясом. Одевайтесь-ка, ваше сиятельство, и идите с нами.

Потом, указывая большим пальцем на Тургенева через плечо, он сказал:

— Обыскать иностранца!

Тургенев с возмущением отступил на несколько шагов. Офицер приступил к обыску. Через минуту супрефект вернулся. Тургенев заявил ему:

— Завтра же господин русский посланник будет знать о нанесенном мне оскорблении.

Супрефект скосил глаза, не отрываясь смотрел на ночной столик у кровати Тургенева. Красная звезда из граната горела под лучами бледного утреннего парижского солнца.

Круто повернувшись, супрефект остановил офицера и сказал:

— Извините, что мои помощники погорячились. Если потребуется, я завтра приеду с официальным визитом извиниться от имени губернатора. Но, право же, это чистое недоразумение. Бестолковые ребята ввели меня в заблуждение вашим знакомством с этим шпионом.

Оставив смутное чувство в душе Тургенева, супрефект почтительно, даже униженно поклонился, часовой сделал на караул, офицер, вскидывая рукой под самую треуголку, позванивая шпорами, вышел из комнаты. По коридору, гремя прикладами, уходили солдаты, уводя с собой разоблаченного маркиза. Мадемуазель Мерси, ломая руки, плакала на весь пансион:

— Проклятые, проклятые, что они сделают с бедным стариком!

Не раздеваясь, Тургенев заснул. Он спал глубоким, почти непробудным сном и был очень недоволен, когда синьор Пио тряс его обеими руками за плечи. Ученик и учитель

пили кофе. Тургенев усваивал быстро, переспрашивая учителя по-французски.

Итальянский урок прошел хорошо. После урока решил непременно идти в префектуру. Там категорически отрицали ночное происшествие.

«Что же это? — сказал себе Тургенев.— Старого маркиза выкрали, как в сказке, неизвестные воры, или это мне привиделось? Я много курил, но ничего не пил. Фантастические сновидения со мной редки».

В этих размышлениях он дошел почти машинально до русского посольства. Огромная коляска стояла у подъезда. Роскошные ливреи, лакированный черный ландолет говорили о том, что кто-то есть в посольстве из сановных гостей. Но оказалось иначе. Куракин выезжал во дворец. Николай Тургенев носом к носу столкнулся с русским посланником. Тот посмотрел на него щурясь, натягивая перчатку и гремя по лестнице своими раззолоченными дипломатическими доспехами. Потом узнал в изящно одетом молодом человеке Николая Тургенева, махнул на него перчаткой совсем перед носом и спросил на ходу:

— Ко мне?.. Некогда, голубчик, некогда. Придешь в шесть часов. Прямо приходи на кватеру. Тут такие дела делаются...

И проскочил мимо Тургенева вместе с долговязым бритым молодым человеком с лошадиным лицом.

Николай Тургенев чувствовал себя затерянным в огромном городе. Ночное происшествие вырастало даже в его холодном уме до размеров какого-то кошмара. Он нервно курил сигаретки одну за другой, помахивал тростью, едва не цепляя прохожих, и в такт собственной походке говорил:

— Домой! домой! Куда же? В Геттинген.

На слове «Геттинген» прихрамывал короткой ногой и, когда волновался, прихрамывал все больше и больше. В спокойном состоянии он научился маскировать хромоту, она была почти незаметна.

«Однако primo [1] — Геттинген не дом. Неужели я настолько космополит, что изменю отечеству? Secondo [2] — какой же я масон, если я не дождусь приказанного приема в ложу». Эта мысль его охладила. Он шел уже более спокойно. До шести вечера читал извещения об успехах физики. Некий Гальвани открыл животное электричество. Профессор Вольта его опровергал и рассказывал об электри-

---

[1] Первое (*итал.*).
[2] Второе (*итал.*).

честве совершенно другое. Между учеными шла перебранка. Молодой Кювье публиковал опыты Ботанического сада.

«Вот куда нужно пойти»,— вдруг вздумал Тургенев. Прогулка в Ботанический сад не отняла много времени. При самом выходе из сада увидел он сходящего с подножки экипажа высокого человека в зеленом рединготе, с острым носом и кольцевидными завитками волос. Он держал шляпу в руке. Рядом с ним — человека среднего роста в короткой шапочке, с горбатым носом и губами, опущенными вниз. Тургенев сразу узнал их.

«Но как судьба соединила христианского поэта и первого натуралиста Франции Шатобриана и руководителя опытов Ботанического сада Жоржа Кювье?»

Наспех пообедав в первой попавшейся ресторации, Тургенев поспешил в русское посольство.

Куракин, одетый по-домашнему, но еще в белых атласных туфлях с помпонами и белых чулках, ходил между камином и столом, широко размахивая руками. Перед ними стояли двое неизвестных Тургеневу людей. Куракин кричал по-французски:

— Он меня скандализировал, он меня скандализировал!..

Вошедший Тургенев поклонился. Куракин совершенно не обратил на него внимания и продолжал покашливать.

— Так во время торжественного приема заявить полномочному императорскому министру, князю Куракину, как заявил он во всеуслышание,— невозможно. Об этом завтра будут писать и говорить: C'est la crapule[1],— добавил Куракин. Потом, внезапно обращаясь к Тургеневу, Куракин произнес: — Представь себе, голубчик,— и потом, переходя на русский язык,— нонче собрался весь дипломатический корпус, и его величество, император французов, заявляет мне: «Я, говорит, не такой дурак,— так прямо и сказал,— чтобы думать, будто вас так занимает Ольденбург...» Ты понимаешь, Тургенев, что сестру Александра I — ольденбургскую княгиню,— выселить вот этак в одни сутки и сделать из Ольденбурга тридцать второй департамент Французской империи — это ведь не шутка! Так вот, он считает, что царю не на что тут обижаться. «Я, говорит, ясно вижу, что тут дело в Польше, я, говорит, начинаю верить, что вы сами на нее зарите. Так, говорит, знаешь, Куракин, ежели прусские войска вот тут в Париже, на

[1] Это низость (*франц.*).

Монмартре, поставили бы артиллерию, так я и тогда не уступлю России ни пяди Варшавского герцогства».

Наливая в серебряные стопки аи и скидывая кончиком мизинца вафлю с золотой этажерочки, Куракин говорил:

— Тут дело, конечно, не в том. На него нажимают французские купцы. Им обидно, что Сперанский обложил французские товары высоким тарифом, а еще обиднее, что мы, по его мнению, продолжаем торговлю с Англией. Он мне же один раз сказал: «Нечего делать из меня дурака, уверяя, что существуют американские корабли, корабли, приходящие в Балтийский порт,— это не американские, а английские корабли». А я что могу сделать? Разве отсюда уследишь, разве против австрийского флага поднимешь пушки? Черт их там разберет!

— А вы как думаете,— спросил неизвестный Тургеневу немец,— дерзнет ли этот замечательный император на войну с Россией?

— На твой вопрос отвечу,— сказал Куракин,— с полной откровенностью. Не дерзнет, но видимость войны покажет.

— А ежели не только видимость? — спросил неотвязный немец.

— Ну, друг,— вдруг оживившись, ответил Куракин по-французски,— ты меня принимаешь за всеведущего Иегову. Откуда, батюшка, я знаю? Могу сказать, что первый раз этак я себя чувствовал en entrant aux antichambres de Chaims — second fils de Noë [1].

Собеседники вытаращили глаза, смотрели на Куракина не без ужаса. Слова русского посланника были невероятной дерзостью. Воспользовавшись наступившим молчанием, Тургенев начал довольно сбивчиво излагать историю позапрошлой ночи. Куракин слушал сначала внимательно, но стоило только Тургеневу произнести фамилию Шанфлёри, как Куракин замахал руками и сказал:

— Ну тебя, батюшка, пошел ты со своей guet-apens [2], никаких твоих маркизов не знаю и знать не желаю. А что у тебя грозились обыском, так на это обижаться нечего.

— Как?.. Что?..— спрашивал Тургенев. Ему показалось, что он спит и видит сон. Русский посланник отказался от своего долга.

Не промолвив ни слова, сидел он как убитый на диване, пока Куракин по-прежнему расхаживал и маленькими, аккуратными глотками попивал шампанское. По-английски,

---

[1] Входя в прихожую Хама — второго сына Ноя (*франц.*).

[2] Западней, ловушкой (*франц.*).

не прощаясь, Тургенев ушел. Газовые фонари — замечательная новинка Парижа — освещали дом русского посольства. Тургенев прошел на Итальянский бульвар. Шампанское кипело в крови, голова была горячая. Над Парижем угасало зеленоватое небо. Деревья вырезались на фоне этого зеленого неба черными силуэтами, и лишь ближайшие ветки фантастически зеленели под газовыми рожками, было очень сладко переводить глаза от серебристых и розовых облачков, таявших где-то высоко, в зеленоватом небе, сюда вниз, к ослепительным газовым фонарям, освещавшим темный канал бульвара, замкнувшийся в купах зелени, свисавшей с обеих сторон. Бульвар кишел народом. Шляпы и трости, жакеты с буфами и модные страусовые перья, трости с набалдашниками, длинные цепочки от часов из жилетного кармана, молодые и старые лица, веселые и беспокойные, счастливые и сумрачно нахмуренные пробегали мимо Тургенева, словно смена калейдоскопских картин перед удивленным провинциалом. Однако Тургенев не был провинциалом. У него было молодое студенческое изумление двадцатидвухлетнего юноши, сдержанного и сдерживающего обаятельный разгул своих чувств, свое бесконечное любопытство к жизни, свои широкие мысли, умеющие приводить в порядок эти бесшабашно бегущие, случайные картины жизни. Студенчество и молодость кипели в жилах Тургенева. В этот час, после неприятного разговора у Куракина, он стремился наверстать чувства и мысли, брошенные по ложному пути.

«Я сам виноват,— думал он.— Разве можно надеяться на кого-нибудь, кроме себя, хотя, конечно, человеческое «я», упирающееся в эгоистический интерес, ровно ничего не стоит».

Он помахивал тростью с легкостью petit-maître'a[1]. «Разве позволить сегодня себе наглость»?» — спросил самого себя Тургенев, и, разрешив себе эту наглость, он сделал непозволительную вещь: снял шляпу и пошел по бульвару без головного убора. Пройдя половину Итальянского бульвара, он вдруг, повинуясь безотчетному стремлению, присел на скамейку, и мигом рядом с ним присела лоретка. Черные, яркие глаза осматривали Тургенева с головы до ног. Белые зубы, ровные, сверкающие, обнажались с каждой улыбкой. Еще минута, и она готова была заговорить. Рассеянный взгляд Тургенева остановился на ней случайно. Он вдруг понял все. Вынул десятифранковый билет («Неимоверная щедрость!» —подумал он) и протянул его

[1] Франта, щеголя (*франц.*).

сидевшей с ним женщине. У нее загорелись глаза. Она быстро сунула билет за корсаж и привстала, взглядом и жестом приглашая Тургенева следовать за ней.

«Ноги налиты свинцом,— думал Тургенев.— Как мне быть?..»

Он просто отрицательно покивал головой. Тогда лоретка вынула десятифранковый билет и сказала, суя бумажку в глаза Тургеневу:

— Ты зачем это дал? Ты думаешь, что я попрошайка-нищая?

— Черт возьми! — выругался Тургенев по-русски.

— Ты — русский? — внезапно спросила лоретка.— С вами скоро будет война,— сказала она отчетливо, резко и грубо.

Тургенев молчал, а она продолжала:

— Вот твои деньги, вот,— и перед самым носом Тургенева рвала десятифранковый билет, кидая клочки банковской бумаги прямо в лицо молодому человеку.

Тургенев вскочил. Слова проститутки о войне, ее обиженность за то, что десять франков дали ей, «лишь бы отстала», потрясли его глубоко. Он почувствовал какой-то прилив внезапной симпатии к этой черноглазой девушке, но опять вспомнил старое данное себе обещание «сохранить свой пыл до времени». «До какого времени? — думал Тургенев.— Не дурак ли я в самом деле? В этой девушке — пылкость и раздражительность, все это, как я слышал, сулит много опытному любовнику».

Он молча протянул руку девушке и, почти насильно усаживая ее на скамейку, сказал:

— Глупо рвать деньги! Я сегодня болен, а плачу за следующий раз. Приходи сюда ровно через неделю.

— Так бы и сказал,— ответила девушка.— Я не нищая, я еще не дошла до последней степени. А теперь кто же мне отдаст мои десять франков?

Тургенев снова достал второй билет и вручил его девушке. Та попросила его взглянуть, который час.

— Только еще десять с половиной. Вполне можешь рассчитывать, дорогой (как тебя зовут, я не знаю)... Ах, Nicola,— продолжала она в ответ на шепот Тургенева,— в десять с половиной, ровно через неделю, я приду к этой скамейке. Как хорошо, что рано. Меня еще не успевают замучить до полусмерти к этому часу.

Она потрепала Тургенева по щеке. Он пожал ее руку, и они расстались. Прихрамывая, пешком пришел он на улицу Ришелье, с удивлением заметил с тротуара, что его комната в пансионе Мерси кем-то занята. Был свет почти

во всем этаже. Прошла минута, пока отпирали на стук дверного молотка. Потом дверь открылась, и он вошел к себе. Никаких признаков освещения не оставалось. Тургенев трогал себя за уши и за лоб. Ему казалось, что он грезит. Однако действительно никого в комнате не было.

«Неужели куракинское шампанское такое крепкое?» — подумал он, и вторично, не разуваясь и не раздеваясь, едва успев скинуть сюртук, он повалился на непостланный диван и заснул крепким сном.

Наступило утро. Постучался в дверь неизвестный человек. Вошел. Черный, с длинной черной пушистой и мягкой бородой, с оливковым цветом лица, с черными, вернее даже с аметистово-синими, большими и грустными глазами. Вошел и в дверях прямо сделал знак. Мгновенное чувство предубеждения исчезло в Тургеневе. Знак говорил: нужно принять этого человека как старшего. Сели. Стали пить кофе. Упорно отказывается вошедший называть фамилию. «Богдан-молдаванец» — и больше ничего.

— Может быть, молдаванин — так будет правильнее? — спрашивает Тургенев.

Кивает головой — отрицает. Выпивает третью чашку кофе. И наконец говорит:

— В субботу тридцать первого августа, перед самым заходом солнца, будешь принят в здешнюю ложу. Гляди в окно, я кивну и провожу.

Потом просто встал, попрощался и ушел так же, как и пришел. Тургенев теперь знал, до какого числа он пробудет в Париже. Чувство внезапной радости его охватило. Опять жизнь широкой волной вливалась в душу. Ветер, поднимающий листья в аллеях Тюильрийского сада, вполне гармонировал с вихрем в голове, с разбросом мыслей, похожих на листву опавших деревьев.

Приходил и уходил итальянский учитель. После него Тургенев обедал. Потом сел в пассажирский мальпост и в шесть часов вечера приехал в Версаль. Это было двадцать шестого августа 1811 года. Было объявлено народное гулянье.

В семь часов вечера забили версальские фонтаны. Тысячи ручейков, струй, миллионы брызг ожили под розовыми лучами заходящего солнца. По аллее, где пять минут тому назад были сухие бассейны, вспыхнули хрустальные огни фонтанов. Золотистая пыль пронизывала воздух. Косые красноватые лучи негреющего солнца освещали вечереющий Версаль. Прошло еще пятнадцать минут, и ожили, зажурчали все воды Версаля. Нимфы и тритоны поплыли. Французские русалки утонули в воде наполненных бассей-

нов. Крестьянин, стоявший на перекрестке двух аллей, говорил:

— А пожалуй, стоило три дня не пить воду, чтобы увидеть сегодняшний Версаль! Хорошо, что эдакие развлечения делаются для народа!

Тургенев хотел заговорить, но щелканье бича, клики и появление экипажа его остановили. Желтолицый маленький человек, с высокой женщиной, разряженной пышно, взглянул острым и пронзительным взглядом на Тургенева из коляски. Короткий мундир. Белые атласные туфли. Белые чулки, белый жилет и белые панталоны. Белые страусовые перья на треуголке. Все белое. Синий мундир — цвет Парижа и красная звезда — орден Почетного легиона. Все называло этого человека. Публика кричала: «Да здравствует император!»

— Это вечерняя прогулка императора,— промолвил крестьянин, смотря на Тургенева с некоторым презрением.

Тургенев замолк, не успев произнести начала фразы. С готовым вопросом он обратился к случайному прохожему:

— Где дорога в Трианон?

Пойдя в указанном направлении, дошел до иллюминованного сада и пробыл в Трианоне, слушая, как крестьянки из-под Парижа пересыпались остротами с приехавшими из города на прогулку девушками. С наступлением ночи пустился в обратный путь. В экипаже были четыре пассажира. Все четверо были парижскими ремесленниками, все четверо были навеселе, острили, кричали, перекликались со встречными, те подхватывали, и Тургенев, мало-помалу привыкая к спутникам, хохотал до упаду. Не было пешехода, не было тележки, которых пропустили бы мимо эти четверо веселящихся и смеющихся людей. У Версальской заставы хохот сделался всеобщим. Вошел таможенник, осмотрел карету и, глянув наверх, спросил:

— Нет ли чего-нибудь на крыше?

— Как же, как же,— ответили ремесленники,— там стог сена.

— А может быть, там овес, чтобы кормить вас, милостивый государь,— парировал насмешку старый досмотрщик.

— Мы не в родстве с вами,— ответили ремесленники.

— А почему же на ваш смех откликаются лошади? — спросил тот.

— Они радуются, узнавая в вас родственника,— ответили те.

Опять всеобщий хохот. Карета тронулась. Тургенев думал о том, какая разница между характерами во Франции и в Германии. «Сколько бы швернутов вызвали такие остроты в Германии, а здесь все считают своей обязанностью ответить еще острее, но не обижая». Дальше его мысли перешли к суждению о внутренних таможнях. Он еще не проверил на фактах, но само по себе учение Адама Смита казалось ему правильным. «Не есть ли свобода торговли успех развития государства?» — думал он. В Париже простился со своими друзьями. Дома, засыпая, видел Геттинген как родное гнездо; кассельские и ганноверские водопады казались в тысячу раз лучше фонтанов Версаля и Трианона. Наутро вспомнил только ремесленников. Умение отдаться беззаботной веселости поразило его во французском простолюдине. Ему стало стыдно своих меланхолических размышлений. Он не понимал, как, будучи так хорошо принят жизнью, он не умел ценить жизнь как простой и ясный факт. Студенческие мысли и студенческие настроения восторжествовали. Кончив утром с занятиями, он теперь изо дня в день проводил за пределами Парижа, уезжал в Сен-Жермен, скитаясь по лесам и рощам. Он просто с наслаждением вдыхал воздух чужой страны, стараясь как можно скорее прогнать усталость геттингенской учебы и все сентиментальные свои настроения прежних лет. В одной из таких прогулок он вдруг понял, что меланхолические и сентиментальные думы были в нем чем-то подражательным, были простым заимствованием у Карамзина и Мерзлякова, были батюшкины манеры сентиментальной меланхолии в жизни.

Неожиданно получил письмо. Старый Штейн извещал, что его скитания кончаются, что он долго не увидит родины, что вместо нелегальной поездки в Россию он получает возможность открытого проживания при дворе Александра I. Письмо кончалось сообщением, что молдаванец-Богдан передаст словесные поручения Тургеневу.

В субботу тридцать первого августа, в два часа ночи (1811 г.) Тургенев писал: «Нынче день удачный. Зашел я на почту, получил там письмо от Сергея. Получивши оное, я спешил в Каво, взял полчашки кофе и ел виноград, читал письмо от брата и ожидал идти... *После обеда был принят в ложу.* Об этом не пишу. Вот минуты, каковые я давно не имел, вот что сделало меня веселым!»

Несколько дней приготовлений. Наступает сентябрь — время уезжать из Парижа.

Тринадцатого сентября Николай Тургенев пошел в посольство. Еще перед этим видел Куракина в иллюминованном саду сидящим на скамейке в аллее. Русскому посланнику не хотелось быть узнанным, Николаю Тургеневу не хотелось прерывать интересного разговора. Дело шло о том, что математика и военные науки стали первенствующими во Франции. Политехническая школа имени математика Эйлера выпускала французских инженеров. Молодые буржуа, отличившиеся в науках, перебивали дорогу избалованным дворянчикам. Тургенев оживленно беседовал со спутником о значении математических наук, «иссушающих душу».

— Бонапарт силен именно тем,— говорил Тургенев,— что он откидывает в сторону все предрассуждения и идет прямыми путями, уничтожая идеи на своем пути и порождая новые, необходимые его веку.

Так и теперь, идя в посольство за паспортом для дальнейших поездок, уж совсем по другим причинам не хотел Тургенев видеться с Куракиным. Однако увильнуть не удалось. Секретарь русского посольства Дивов прямо заявил Тургеневу:

— Князь желает вас видеть.

Пришлось идти. Куракин хоть и сидел без дела,— второй секретарь Колоколов стоял перед ним молча,— однако не сразу отозвался на приветствие Тургенева. Лишь немного спустя, оторвавшись от своего раздумья, Куракин произнес:

— Послушай, ты можешь сделать мне очень большое одолжение.

Молодой человек с готовностью поклонился. Князь вышел. Через минуту вернулся с серебряным дорожным несессером, раскрыл его на столе перед Тургеневым и, вынимая бритву, оправленную в слоновую кость, протянул с любезнейшим поклоном молодому человеку. Тургенев с удивлением смотрел на русского посланника.

— Будь другом,— сказал Куракин и, слегка опуская голову на плечо, жалостно добавил — сбрей усы!

Тургенев, смущенный, ответил, что он ни разу еще не брился.

— А все-таки лучше обрейся. Только усы — бакены можешь оставить,— умоляюще произносил русский посланник.

— Хочу ехать в Италию, ваше сиятельство,— сказал Тургенев, принимая элегантно отделанную французскую бритву,— а там, кажется, модно носить усы.

— Ошибаешься, голубчик, ошибаешься,— сказал Кура-

кин. Затем поспешно сел за стол и на маленьких бланках с гербом и цветной монограммой написал Тургеневу четыре рекомендательных письма. Формальности были выполнены быстро.

Через неделю Тургенев ехал, думая: «Я спешу не в Швейцарию и не в Италию, но через Швейцарию и Италию в Россию». Заплатив восемьдесят четыре франка за место в открытом кабриолете, закутался получше, так как был ветер, и пустился на лошадях в дальнюю дорогу, в южные страны Европы.

Глава семнадцатая

Все итальянское путешествие проходило в какой-то странной меланхолии, овладевавшей Николаем Тургеневым до такой степени, что он впадал в совершенное отчаяние. Чувства противоречивые наполняли его душу. Его тяготило общество и пугало одиночество. Он стремился в Россию, чтобы увидеть своих, и в то же время боялся и ненавидел эту страну. В борьбе этих странных чувств он машинально осматривал Италию, почти не останавливаясь подолгу ни в одном месте. Чтобы победить самого себя, он затеял продолжительные, большие пешие прогулки, после которых мог засыпать спокойно, но под утро снился Геттинген как родина, и тянуло туда обратно. Просыпаясь, осуждал себя за то, что забыл свое настоящее отечество. Тридцать первого декабря 1811 года приехал он в Неаполь и с удивлением заметил, что этот волнующийся, кричащий и бегающий город был причиной значительного облегчения его тягости. Даже выезжать из Неаполя шестого января было трудно. Рим прошел незамеченным. Флоренция тоже. И чем дальше к северу, тем больше возникало в Тургеневе ему самому странное чувство *любопытства к России*. Ловил себя на мыслях и, как сам выражался, прожектах: «удалиться в Геттинген, жениться там на какой-нибудь Аделаиде и проводить дни и годы в мире и тишине». Потом садился вечером в гостинице или в комнате, где путешественники ожидают эльвагена, и, раскрыв большую зеленую тетрадь с дневником, перечитывая вслух, смеялся над самим собою. Старший брат Александр, заместивший отца, вызывал иногда в нем досаду: деньги приходили поздно, а впрочем, и другая была причина, ловил себя на мысли, что брат Александр все-таки старший. Потом опять смеялся над собою: «Неужели я еще мальчишка?»

В таком растерянном и противоречивом состоянии приехал в Вену.

Утром четырнадцатого февраля вписал три строчки в дневник, уложил его на дно чемодана и выехал из Вены. Насупился. Замолчал. До самой Москвы не раскрывал тетради. Спутником был до границы князь Петр Борисович Козловский — насмешник и скептик, одинаково с Тургеневым ненавидевший русское рабство, но смеявшийся над его ребячливою надеждою переменить рабский строй русского государства.

Только шестого марта 1812 года, через три недели после приезда в Москву, начал он приходить в себя. Оцепенение, овладевшее им дорогой в «отечество», было похоже на состояние человека, потерявшего чувство боли в сугробе и засыпающего под снегом. Россию и Москву он принял как сон, от которого нельзя проснуться. В этом холодном человеке, с таким большим запасом воли, словно не осталось никаких сил для того, чтобы скинуть с себя этот сон. Студенческие годы в Геттингене казались явью, прекрасной действительностью. Россия — от границы до Москвы — и Москва воспринимались только как сон и болезненное состояние. Это ощущение было настолько сильно, что оно покрывало собою даже логический ход мыслей, оно врывалось в дневное расписание, оно определяло собою планы и предположения. Планы и предположения строились в покорности, так как все ощущение говорило, что это ведь только сон, и когда наступит пробуждение, то с этой минуты уже прекратится то проклятое «все равно», которым сейчас Николай Тургенев отзывается на Москву и Россию. Была одна обязанность, которая выполнялась машинально и как долг, не терпящий отлагательства. Это — начатая в Геттингене работа «Опыт теории налогов». Вставал рано. Изредка виделся с братом Александром. Сергей с матерью были в Симбирске. С неудовольствием ловил себя на мысли, что их отсутствие ему приятно. С удивлением ловил себя на мысли, что к брату Александру перестал питать нежные чувства, которыми был полон в Геттингене. Утратилась душевная гибкость. Все линии воли выпрямились и одеревенели. Все русские впечатления сплошь были оскорбительными. После утренней прогулки садился за стол и не разгибаясь сидел до вечера. В первую же неделю почувствовал себя плохо. Купил верховую лошадь и, невзирая на погоду, ежедневно два часа ездил по хорошевским дорогам и в Серебряном Бору. Молодой жеребец был упрям, и борьба с ним была затруднительна. Это доставляло Тургеневу удовольствие. Он озлобленно стискивал бока лошади шенкелями, бил шпорой и собирал повод.

Предпоследняя глава книги «О налогах» была написана. Тогда развернул шелковое покрывало, достал геттингенские дневники, открыл свободную страницу венского дневника и записал:

«6 марта. Вот уже три недели, как я здесь, и по сию пору не опомнился. Многое показывается мне здесь в таком виде, в каковом князь Козловский представлял мне дорогою. Незначащие лица, на которых видна печать рабства, грубость, пьянство,— все уже успело заставить сердце обливаться кровию и желать возвращения в чужие края. Непросвещение высших классов также действовало на произведение последнего желания. Суровая зима показалась мне совсем не таковою, как я представлял ее, будучи в Геттингене и Неаполе. Она подлинно убийственна. Служба — а! Я рад некоторым образом, что во мне родилось теперь чувство почти совершенно равнодушия ко всем выгодам оной. Это *почти* исчезнет тогда, когда я на опыте увижу, что полезным быть нельзя. Теперь я также заметил, что у нас мало вреда происходит от малого выбора, делаемого правительством при вручении чиновникам должностей: на что там выбирать, где не из чего, по крайней мере обыкновенно, выбирать? Единственный род службы, который был бы хотя несколько сходен с моими желаниями, есть в Коллегии иностранных дел. И оттуда я должен выходить! От финансов, то есть от службы по сей части, отбило всю охоту, как скоро я прочел *План...*»

— Сёма, Сёма, дай перо!

Крепостной мальчуган вбежал в комнату.

— Вот видишь, что ты наделал,— сказал Тургенев,— который день не чинено перо!

Четырнадцатилетний Семен в светло-голубом фраке и в валенках (сочетание странное, которое возможно было только в отсутствие Катерины Семеновны!) без всякого испуга через плечо Тургенева посмотрел в рукопись и громко прочел:

— «Я прочел план, я прочел план, я прочел план». Тургенев локтем отстранил подбородок Семена и сказал:

— Послушай, четвертое перо меняю, и все не очинены, а все потому, что барыни нет, да?

— Нет, Николай Иванович, ей-богу нет, совсем не потому,—и быстро принялся чинить перья.

Семка ушел. Тургенев подошел к окну. Зеленоватые тяжелые зимние сумерки, несмотря на март месяц, с дымом и морозом расстилались перед окнами.

«До чего грязна Москва,— думал Тургенев.— Но что касается кляксы от неочиненного гусиного пера, то, право же, она своевременна». Посмотрел в дневник. Слово *«план»* написано прописными буквами. «Пора бросить глупости, пора вспомнить, что я в царской самодержавной России»,— с этими словами внезапно упал на кресло. В мозг ударила молния, задрожали руки и ноги, ослепило глаза. Об этом *план*е говорить невозможно. С неимоверною остротою завихрились мысли и перенесли зрение в шахту «Доротея». Черные угольные ходы, душные коридоры, а там необычайно яркий свет и слова лучших людей мира о том, что сквозь черный угольный ход без страха нужно идти к вечному свету, но что этот вечный свет есть истинное блаженство. «Какое? Вечное. Для кого? Не для тебя и не для тех, кого ты любишь. Жуткое чувство...»

«Так вот в чем дело,— думал Тургенев,— символ вечного света овладел моей волей, и единственно, что я знаю, это то, что я никогда не сверну с дороги, что я не выйду из повиновения, что я вольный каменщик, но я должен так же точно знать, что все мои надежды, связанные с отечеством, не сбылись. Обещано мне было точно определить каждый шаг моего поведения, и если сейчас я не могу этого сделать и в силу этого в России бездействую, обращаясь только к занятиям научным, то буду надеяться, что в будущем дорога моя прояснится».

Вздрогнул, словно в лихорадке попал на мороз. Трижды постучались в дверь. Вдруг вспомнился Париж, девица Мерси и арест какого-то маркиза. Стук повторился. Скинул с себя тяготу лихорадочного бреда, спросил по-французски: «Кто там?!» По-русски услышал ответ:

— Николай, это я.

Вошел Александр Иванович.

«Лучше было бы какой-нибудь полицейский»,— подумал Тургенев. Давно тяготился мыслью о том, что рано или поздно предстоит объяснение. Приехав из-за границы, уже застал в доме главного хозяина — брата Александра, но говорить с ним по душам не хотелось.

«Ведь четыре года прошло,— думал Тургенев,— все переменилось, и то, что знаю я, никакого отношения не имеет к узам родства».

Александр Иванович вошел веселый и улыбающийся. Он нес в руках, словно псаломщик евангелие, толстую книгу в кожаном переплете и весело, живыми глазами глядя на Николая, говорил:

— Скажи, пожалуйста, как бы ты отнесся, ежели б мы

в Коровине — Тургеневе устроили ткаческую фабрику? Вот смотри, что досужий человек Левшин пишет.

Александр Тургенев положил перед ним книжку Д. В. Левшина «Русский полный фабрикант и мануфактурист» и добавил:

— Он призывает русское дворянство к делу развития индустрии. Что на это скажешь?

— Что мне сказать вам, дорогой брат? Вы — здесь хозяин и глава семьи. Делайте, как хотите. Меня смущают только волнения посессионных рабочих в двенадцати волостях Пермской губернии. Это ведь все-таки государственный крестьянин, однако же простой перевод их на положение фабричных вызвал такие шкандалы. Что будет дальше, если мы крепостных будем посылать на фабрики в порядке оброка?

— Ты вечно во всем сомневаешься,— ответил Александр Иванович.— Мы совершенно по-разному смотрим на европейские дела, а ты от меня затаился.

— Я отвечу вам на все ваши вопросы, Александр Иванович,— спокойно сказал Николай Тургенев.

Старший брат сел. За ним и Николай опустился на маленький стул около кресла у письменного стола.

— Николай, я хотел поговорить с тобой серьезно! — внушительно беря быка за рога, произнес Александр Тургенев.

Николай сидел желтый, как лимон, смотря позеленевшими зрачками на брата и удерживая губы от брезгливой гримасы. (Впрочем, он сам не понимал, что с ним происходит.)

Александр Иванович продолжал:

— Ты был во Франции — это нехорошо! Ты был в Италии — это еще хуже! Я слышал о том, что там какие-то шахтеры, какие-то угольщики-карбонарии, как их зовут итальянцы, затеяли какие-то страшные перевороты, ломающие вселенную. Властью старшего брата и опекуна я требую, чтобы это было все оставлено. Никаких шахт, никаких угольщиков! Ты — исконный дворянин, и дворянство не позже шестой книги должно уцелеть в Европе. Довольно с нас бонапартизма!..

Николай вздрогнул. Вскочил.

— Я, кажется, не давал повода, братец...

— Я, конечно, не обвиняю тебя прямо в приверженности к этому дьяволу, но согласись сам, что вести себя так неблагоразумно. Ведь есть Бонапарт и бонапартизм. Быть может, этот маленький офицер, ставший императором, и сам не знает, кто направляет его волю.

— Будьте уверены, дорогой брат, что его волю направляет третье сословие.

— Тем хуже,— сказал Александр Иванович.— Нам давно известно, что такое невежественное купечество.

— В той же мере, в какой мне известно, что такое невежественное дворянство.

— Я сам от этого стражду,— сказал Александр Тургенев.

— Если страждете, надо действовать,— сказал Николай Иванович.

— Что ж ты посоветуешь? — спросил Александр.— Якобинство?

— Нет, не якобинство, не кровь, не топор, не казни. Весь семнадцатый век мы имели то, что во Франции разразилось столетием позже, мы имели Разиных и Пугачевых — довольно с нас этого! Я считаю в последний раз необходимым воззвание к разуму дворянства.

— Да, но для этого необходимо не запираться в четырех стенах, а действительно взывать к первейшим людям своего сословия. Да что там говорить,— продолжал Александр Тургенев,— я тебе прямо скажу. Внизу сейчас сидят лучшие люди России, даже те, кои во мнениях расходятся. Назову тебе — Николая Михайловича Карамзина, старого моряка Шишкова и твоего любимца Василья Львовича Пушкина... Кстати скажу тебе: в прошлом годе отвез я его племянника в новообразованный Царскосельский лицей. Ну, я тебе скажу, мальчишка! По дороге забил меня вопросами. Директор его принял и сказал: «Хлопот будет много. Даром, что зовут его так же, как вас, Александр».

— Александр Пушкин?

— Дело не в том, а сойдешь ли ты — меланхолик — вниз или нет? Вот что меня интересует.

— Очень ли это необходимо? — спросил Николай Тургенев. — Если спрашиваете как брат, нет к тому моей охоты, но если по закону приказываете... (пожал плечами) должен сойти, хотя знаете что, Александр Иванович... (опустился в кресло, освобожденное братом) трудно мне. Я еще диссертацию не кончил, и каждые сутки на счету.

— Диссертация твоя для заграницы, а нонче что Китай, что Геттинген — расстояние одинаковое.

— О-чень жаль,— злобно сказал Николай Тургенев и молча последовал за братом.

Вошли через разные двери, Александр Иванович немного раньше, Николай Тургенев позже — в другую дверь.

На столе, покрытом белоснежною скатертью, стояло

необозримое для глаз количество бутылок; раки, холодная телятина, ветчина и салаты всевозможных сортов чередовались со всевозможными холмами каких-то неопределенных блюд. Дым стоял столбом. Чубуки висели на стенах и торчали в руках некоторых гостей, отошедших в сторону и куривших английский опийный табак через пемзовые мундштуки. В середине стола стоял Василий Львович. Когда вошел Тургенев, он кричал:

Знакомка новая, обняв меня рукою,
«Дружок, — сказала мне, — повеселись со мною;
Ты добрый человек, мне твой приятен вид,
И, верно, девушке не сделаешь обид.
Не бойся ничего: живу я на отчете,
И скажет вся Москва, что я лиха в работе».
Проклятая! Стыжусь, как падок, слаб ваш друг!
Свет в черепке погас, и близок был сундук...

Николай Тургенев вошел и спокойно занял место в углу стола. Василий Львович продолжал:

Но что за шум? Кричат! Несется вон, в светлицу,
Прелестница моя, накинув исподницу,
От страха боснком по лестнице бежит;
Я вслед за ней. Весь дом колеблется, дрожит.
О ужас! Мой сосед, могучею рукою
К стене прижав дьячка, тузит купца другою;
Панкратьевна в крови: подсвечники летят,
И стулья на полу ногами вверх лежат.

Тяжелые черепаховые очки. Голубые глаза. Склеротические складки около носа. Приключение в каком-то притоне, где-то за заставой, описанное легкими, вольными, быстрыми стихами.

Слова: «Я лиха в работе» врезались в воображение Николая Тургенева. Вольтерьянец, человек свободных мыслей, член общества «Арзамас», еще недавно, какие-нибудь пять лет тому назад, лежавший под шубою в огромной зале тургеневского дома на Маросейке, московский шутник Василий Львович Пушкин был предметом соболезнования такого же, как он, арзамасца Василия Андреевича Жуковского. Накрытый тяжелой медвежьей шубой, четыре года тому назад Василий Львович Пушкин был принят в это содружество молодых беспечных дворян. Жуковский произносил над ним, покрытым медвежьей шубой, надгробную речь, после которой Василий Львович должен был встать и осушить огромный кубок смешанных вин...

Этот самый Василий Львович ныне читает похабную повесть с некою б... где-то в окраинных домах Москвы, и все ему рукоплещут.

Николай Тургенев наклоняется к Жуковскому и спрашивает:

— Василий Андреевич, в чем тут дела?

— Шуба — шуба, повествует о своих похождениях. Знаешь, Коленька, старику пора бы и на покой. Вот! Вотрушка! Вот так его опять! — выкликивал подвыпивший Жуковский арзамасские прозвища Василия Львовича Пушкина.

— Одначе мужчинам только свойственно столь безобразное возбуждение,— говорит Тургенев.— Да и какой же он старик? Ему сорока пяти еще нет, это просто любострастие состарило Пушкина!

— Знаешь, Коленька,— говорил Жуковский, положив голову на правое плечо Тургеневу,— тебе легко говорить, ты — целомудренник, воздержаниик, ты — сплошная аскетика, а старенькому Васе Пушкину это трудно. Уж ты ему прости...

Василий Львович, вытирая вспотевший лоб, кончает, кивая в сторону адмирала Шишкова: «Блажен...

> С кем не встречается опасный мой сосед;
> Кто любит и шутить, но только не во вред;
> Кто иногда стихи от скуки сочиняет
> И над рецензией Славянской засыпает».

Романтический поэт Жуковский гладит правую щеку Тургенева. Напротив сидит адмирал Шишков в морском мундире и, не обращая внимания на антиславянский выпад Пушкина, продолжает говорить, гнусавя:

— За матросов не могу поручиться. Вот супротив сидит человек, от которого все чего хочешь ожидать можно. Я императору подал «Рассуждение о любви к отечеству», но, друг, не поручусь, что любовь к отечеству...

На левом конце стола, к удивлению Николая Тургенева, оказались Волконский и Ростопчин. Оба, тыкая пальцами не столько в Шишкова, сколько в его опустевший бокал, кричали:

— Адмирал, уж ежели ты хочешь, то взгляды русского гражданина на положение российских фабрик требуют другого.

Вдруг Николай Михайлович Карамзин поднялся за столом, кожаное кресло шлепнулось спинкой об пол, и закричал:

— Геттингенский студент! Да здравствует чувствительность! Да здравствует любовь к отечеству и народная гордость! Да здравствует дворянство и да погибнет наглое разночинство!

В ответ раздались рукоплескания. Поднялся старик с бакенбардами, с завитыми волосами, в синем сюртуке с воротником, доходившим до затылка. Николай Тургенев посмотрел пристально: «Опять Василий Львович Пушкин...»

— Неужто ему рукоплещут? — спросил неизвестный сосед.

Нет, рукоплескали Николаю Михайловичу Карамзину. С адмиралом Шишковым — защитником древних правил российской словесности — Николай Михайлович на ножах, но он за русский слог, он за обновление языка, за новые правила в поэзии. В жизни, конечно, все должно остаться по старинке. По мнению Николая Михайловича, эскимос блаженство испытывает в северных снегах и, будучи противу воли перенесен в знойную Тавриду, будет тоску испытывать без своего ледяного жилища. Человек любит места, в коих родился, в коих все чувствительному сердцу напоминает блаженство младенчества и надежды юности.

«Однако ж почему я это не испытываю? — подумал Тургенев.— Прохладное отечество единственно внушает мне стремление к енотовой шубе».

Карамзин продолжал:

— Ясно, конечно, что никакая гражданственность французская не заменит русскому пейзанину отеческих попечений благонамеренного помещика. Господин, поставленный ему самим богом вместо отца, есть истинный благодетель селян, и только бесчувствие сердца может побудить людей лишить крестьянство, как детей отеческого надзора, доброго ока благомысленного хозяина.

Шишков одобрительно кивал головой, уже не сожалея, что поручение министра привело его в стан недругов.

— Мысли здравы, а язык у тебя не русский,— сказал он Карамзину.— Помни, что даже безбожный Вольтер не посягнул на александрийский стих и правила французской речи!

«Однако,— думал Николай Тургенев,— странное сегодня у нас на Маросейке сборище. Оно, конечно, весело за столом послушать вольные стишки старого Пушкина, но что-то уж очень тяжко говорит Карамзин».

Шишков трясущимися руками открыл устрицу, надавил лимонную корочку и брызнул кислым соком. Тонкая струйка потекла у него по подбородку. Губы шевелились, язык с белым налетом высовывался, как у ребенка. С трудом и громко проглотил он устрицу и снова глотнул шампанское.

— А ты, Николай Михайлович, должен был без обиняков царю сказать, кто есть истинный враг государства. Отечество наше не таково, чтобы разночинцы сочиняли законы. Что есть Россия? Купечество невежественно, крестьяне суть дети, это правильно ты сказал, а, одначе, вместо дворянства к первейшим должностям в государстве подпускают людей без роду и без племени. Гляди на этого Михайлу Сперанского. Нонче — первейший министр. Одиннадцатого февраля учредил правила о дворянском налоге. Да разве это русский человек, чтобы первейшее сословие государства так теснить?

— Александр Семенович, я вашему превосходительству не перечу, но думаю, что и без меня дело обойдется. Сперанского песенка спета, он — изменник, и не сносить ему головы.

Все переглянулись.

— Что вы сказать хотите? — спросил Александр Иванович.

— Поживи и увидишь,— ответил Карамзин.— Дело быстрое, двух недель не пройдет.

Николай Тургенев почувствовал духоту, тихо и бесшумно встал и вышел из комнаты. Перед тем как подняться на лестницу, он остановился и прислушался: в маленькой комнате, под лестницей, слышалось тихое, заунывное пение. Николай Тургенев открыл дверь. Марфуша, лежа на постели и бросая вязальными спицами искры по комнате, напевала заунывную песню. При виде Николая Тургенева она быстро натянула одеяло до подбородка и уставила на него испуганные черные глаза.

— Ты что — больна, Марфа? — спросил Тургенев.

— Нет, барин, ноне здорова, а было очень плохо. Только тоска осталась.

— О чем же тоскуешь, коли здорова? — спросил Тургенев.

— Дочурку свою жалко — померла.

— А я не знал, что ты замужем,— сказал Николай Тургенев.

— Ох, уж и не говорите, Николай Иванович, а пуще Катерине Семеновне не говорите. Как ушла с мельницы самовольно, дворецкий хотел меня в Симбирск отправить, и там бы мне конец. Спасибо, Александр Иванович отстояли. А девочку мне жаль.

— Ну, хочешь, Марфуша, поговорю с братом, чтобы твоего обидчика наказали.

Марфа вдруг с диким ужасом вскочила на постели, сорочка соскочила с плеча, испуганная красавица вспле-

снула руками и умоляюще смотрела на Николая Тургенева.

— Что вы, барин, какой же Александр Иванович обидчик, нешто он может меня обидеть. Только надоела я ему, я сама виновата.

Покраснев до корня волос, Николай Тургенев отворил дверь и медленно поднялся по лестнице.

Прошло две недели. В Царском Селе в кабинете Александра I происходил короткий разговор, все более и более отрывистыми фразами сыпал царь. Тщетно его прерывал Сперанский.

Вернувшись в Петербург, Сперанский получил пакет с предписанием выехать немедленно в Нижний-Новгород и там ждать императорского указа. Кибитка с жандармом, не давшим даже собраться, приняла его в свою темноту. Не глядя на вечернее время, на ночь, Сперанский выехал. Карамзин оказался прав.

Глава восемнадцатая

В самом начале мая, уже к тому времени твердо решившись начать борьбу с рабовладельческой Россией, Николай Тургенев выехал из Москвы и седьмого числа был в Петербурге. «Опыт теории налогов» был началом этой борьбы. В этом финансово-экономическом исследовании молодому Тургеневу хотелось показать, до какой степени гибельна крепостная система для всех сторон государства. Получил назначение в Комиссию по составлению законов. Четырнадцатого мая писал в дневнике:

«Час от часу более удостоверяюсь, что мне надобно оставить отечество, которое так люблю и для которого так бы охотно всем пожертвовал бы; но тьма препон, невозможность с моей стороны быть полезным заставляют более и более знакомиться с мыслью разлуки. Написал брату просьбу выслать в Петербург геттингенские тетради».

Александр Иванович приехал сам. Зашел к брату на полчасика. Семен привез тючок с тетрадями. Александр Иванович, укоризненно качая головой, говорит:

— Дорого стоила твоя затея — груз тяжелый.

Николай Иванович нахмурился и ничего не ответил, подумав: «Вижу, ты малым детушкам не родной отец». Скупость брата давала себя чувствовать. На месте прежней откровенности в отношении их стояла ледяная стена, и уже ничто не могло ее устранить.

Молодой дворянин, вернувшийся из западных краев, во многих возбуждал любопытство. По странному противоре-

чию в наиболее мрачные дни румянец играл на щеках Тургенева, глаза блестели, улыбка холодная и слегка насмешливая казалась обязательной и играла на тонких губах. Все это был блеск молодости, нисколько не отвечавший мрачности внутренних настроений Николая Тургенева. Он неохотно шел на новые знакомства, он не был падок на впечатления. Кроме того, был недостаток, обращавший на него внимание в те роковые минуты светской жизни, которые состоят в движении от двери гостиной к креслу хозяйки: блистательная красота лица и слишком заметное прихрамывание. Гости смотрят не на лицо, а на ногу. Молодые женщины и девушки думают: «Он не может танцевать». Все это окрашивает последующий час пребывания в свете. Но гораздо того сильнее было ощущение другого контраста: Германия, Франция, Швейцария и Италия давали впечатление большой старинной культуры. Из этой культуры вырастали, как плоды на огромном дереве, мысли лучших учителей Геттингена, из них росли на полках европейских библиотек прекраснейшие творения человеческого ума. Здесь, в Петербурге, и в Москве все поражало дикой грубостью. Дворянин, обладающий всем, кроме ума и образования, чиновник, живущий лишь мелкими малоблагородными побуждениями, своекорыстие властей, доходящее до бесстыдства,— все это чувствовалось Тургеневым с невероятной остротой. Минутами, возвращаясь к себе на Морскую и оставаясь один, Тургенев чувствовал, что задыхается в атмосфере мелких дел и фальшивых людей. Одних он не любил, других он сожалел как жертву.

Двадцать пятого мая записывал в дневнике: «Мысль о несчастном состоянии большей части людей в России, которая не выходит из моей головы, много действует на образ мой мыслить и многое заставляет презирать. Хорошо, что я хоть презираю подлинно достойное презрения каждого, хотящего размышлять».

Стояло чудесное петербургское лето. Бледно-голубое небо отражалось в каналах. Сфинксы с золотыми крыльями встречали прохожих на мостах через каналы. Дворцы, церковные шпили с ангелами на крестах четко рисовались в ясном и синем воздухе. Нева была спокойна как зеркало. Молодая, незапыленная зелень кидала прозрачную тень на дорожки. Не ветер, а какое-то прохладное дыхание с легким шелестом неслось по аллеям петербургских садов. Зеленые и золотые солнечные блики перебегали при этом по мрамору статуй. Резвились дети по аллеям Летнего сада. Облачко лежало тенью по огромному простору Марсова поля. Корабли-гиганты, оснащенные белоснеж-

ным парусом, неподвижно стояли у гранитных стен Невы. Чайки садились на мачты, и солнце золотило реи. Страшно тянуло вдаль при виде этих кораблей.

Николай Тургенев сторговался с вольным ямщиком и поехал в Царское Село. Через несколько часов он сошел около лицея и спросил старого дядьку в мундире и, несмотря на июнь месяц, в валенках, где живет профессор Куницын.

— А вот они сами,— прошамкал тот и указал на круг около фонтана, где на низкой каменной скамье сидел человек с острыми чертами лица, большим лбом и волосами, откинутыми назад. Узнал Тургенева по походке. Бросил шляпу на скамейку, побежал и обнял. Куницын с жадностью расспрашивал о Геттингене.

— Сумеем ли мы,— говорил он,— внушить к нашему лицею такую же любовь, какую мы сами питаем к Геттингену. К счастию, здесь мы преподаем свободно и даже, кажется, слишком. Молодежь, особенно стихотворцы, вроде вон того, курчавого,— Куницын указал рукою на белокурого мальчика с толстыми губами,— племянника твоего приятеля — Василия Пушкина, беду наделать могут своими стишками. С того дня, как кончилась карьера Сперанского, каждый новый день приносит перемену. Император уже не мечтает быть республиканским царем, уже и о конституции думать перестали. Аракчеев ведет линию на голое тиранство, и неизвестно, что будет завтра. А крестьян, даже государственных, то есть как будто защищенных от произвола помещиков, как скот перегоняют с места на место. Сколько народу недавно полегло при переселении крестьян новгородских и вологодских на Урал в распоряжение горнозаводчика Яковлева. Настоящие были сражения с окопами и редутами, с правильным ведением войны.

— Падение Сперанского и его казнь,— говорил Тургенев,— которая страшнее смерти, делает мало чести виновникам его возвышения и падения. Во всем этом деле нет ни осторожности, ни порядка.

— А я слышал,— сказал Куницын,— о шумном твоем успехе, уверяют, что ты прямой заместитель Сперанского.

Тургенев вздрогнул и нахмурился.

— Не собираю молву о себе,— сказал он.— И единственно из тревоги спрашиваю: что ты слышал?

— Да ведь ты третьего дня был на приеме у министра?

— Был. И вышел rempli d'indignation [1],— сказал

[1] Полный негодования (*франц.*).

Тургенев, переходя на французский язык, так как позади скамейки появился тот же дядька,— исполненный презрения в отношении к тем, которые там рассуждали, и с горячим сожалением ко всей огромной массе населения, на которую распространяется влияние министров. Мне жаль миллионов людей. Чувствую тоску в сердце и стремление отдать за них все силы. Но все дело в том, что внутреннее управление государства в большом беспорядке и всего более заметен беспорядок в Петербурге.

Куницын посмотрел на Тургенева исподлобья, помолчал и затем произнес:

— Ты словно отравленный, не узнаю в тебе прежнего Тургенева. Тебе надо принять участие в больших делах, иначе твои силы без применения сожгут тебя самого. Бери дела, соответственные твоему кругозору, и немедленно принимайся за деятельность, иначе будет тебе очень плохо.

— Я это знаю,— сказал Тургенев,— но ты знаешь мой характер. Выбрав, я не должен отступать. Ложный шаг заведет меня очень далеко. Поправить будет невозможно. Я не боюсь за себя, но я боюсь, что избранный путь ошибочен. И тогда я отвечаю перед братьями по духу, перед всем орденом за израсходование себя не по назначению. Ответственность нравственная тяжка. Вот почему мои колебания и моя скука: я — человек и потому томлюсь.

— Царь тебя не призывал?

— Александр сейчас в Вильне. Его приняли тамошние масоны, и не знаю, что из этого выйдет.

— Возможна ли война с Францией? — спросил Куницын.

— Она неизбежна и может вспыхнуть в любую минуту.

Куницын встал. Крупные капли пота падали у него со лба. Казалось, он изнемогал под тяжестью какой-то страшной мысли. Тургенев продолжал:

— В нашем Геттингене я при размышлениях о войне с Францией питал детскую уверенность в победоносности войны, теперь я думаю как раз обратное.

С Куницыным вместе приехали в Петербург. Николай Тургенев застал на столе московскую почту. Полное смятения письмо брата Александра. Младший брат уехал уже два месяца. Почта бездействовала, и последнее письмо из Симбирска было в марте. Сергей уехал почти тайком учиться в Геттинген по примеру братьев. «Что с ним теперь, с этим неблагоразумным мальчиком? Если уж идти по стопам братьев, то прежде всего необходимо обзавестись их осторожностью и благоразумием».

— Нашли время, когда посылать мальчишку! — вдруг переходя от осторожности к благоразумию, закричал Николай Тургенев, скомкал письмо и хотел его разорвать. Толстая синяя бумага не поддалась. На пальцах и ладонях образовались красные рубцы.

На холме, недалеко от берега Немана, в черном польском плаще, с подзорною трубою в руках ходил у костра невысокий офицер. Поодаль стояли генералы, среди них высокий, стройный, блестяще декорированный понтонер Эблэ. Изредка, принимая короткие сообщения солдат, приезжавших на взмыленных лошадях, Эблэ подходил к офицеру в польском плаще и, вскидывая руку под кивер, докладывал коротко и отрывисто. Это было двадцать третье июня 1812 года. Наполеон в польском плаще сам руководил работами понтонеров. В два часа французские инженеры навели три моста, и беспрерывным потоком после этого в течение трех суток по этим понтонам шли четыреста тысяч людей, стучали копытами лошади, и гремели тысячи орудий, вдавливая колесами утлые понтоны, и гремя выкатывались на восьмерках лошадей по хрящу каменистого литовского берега. Так начался Великий северный поход. Эта армия быстро захватила западные города и с молниеносной быстротой шла к Москве. Москвичи не верили в то, что столица будет сдана. После Бородинской битвы, после совета в Филях дело определилось. Но задолго до того московская знать учуяла недоброе. Могилевские, витебские и минские помещики семьями в старинных дормезах и поодиночке в зимних кибитках двигались на север. Они сначала наводнили Москву своим скарбом, своей польской речью, своим украинским говором, скользившим на поверхности общерусской дворянской речи. Они-то и посеяли неуверенность в робких сердцах. Они рассказывали, как французские якобинцы из армии Наполеона раскидывают листовки крестьянам и заявляют по деревням, что настало время освободиться от помещичьей власти. Помещики рассказывали, что крестьяне совершают порубки помещичьих лесов, что правильное лесное хозяйство Платеров сильно пострадало оттого, что саженый, редкий и холеный лес сводят и рубят для нужд военных и крестьянских одновременно. Этот Наполеон — сущий якобинец: он всюду несет за собою заразу бунта и яд революции.

Слыша это, москвичи с испугом загружали сундуки, готовили возы и, оставляя «верных» людей в старинных дворцах, уезжали в дальние деревенские усадьбы.

Но вот Наполеон в Москве. Ростопчин затевает пожар. Москва горит, и бедный Николай Тургенев не выходит из панического состояния, бродя по пустынным улицам северной столицы.

— Две головы российской державы, две орлиные головы двуглавого орла — Москва и Петербург,— говорил адъютант Новосильцева.— Одна уцелела и другой поможет.

— Великий тактик и стратег Витгенштейн отрезал Бонапарту дорогу на Петербург,— говорил сам Новосильцев.

Бродя по печальным улицам со щемящей тоской в сердце, Николай Тургенев чувствовал, что попал в какую-то морщину времени и что нужно собрать все силы для того, чтобы не растерять надежд. Петербург его холодил, но и успокаивал, хотя при мысли о том, что нельзя вот завтра, как прежде, сесть в почтовую кибитку и ехать в Москву, он испытывал состояние, похожее на чувство инвалида, в первые дни забывающего, что ему отрезали ногу.

Почта совершенно расстроилась. У державы выели сердцевину, и вместо двенадцати почтовых трактов, скрестившихся в Москве, бойко бегали тройки, одиночки и гуськи вдоль замерзшей Волги, по Шелони, по Ловати, по северным рекам и повыше Твери выезжали на старую, укатанную петербургскую дорогу. Там полосатые верстовые столбы с черным двуглавым орлом, покосившиеся и старые, говорили об императорском тракте, о «большой дороге к Северной Пальмире великой и могучей России». Ямщики, крутя кнутом над головою, свистали и пели многоверстные унылые песни. Фельдъегери с застывшими глазами, в башлыках и тулупах, мчались с казенными пакетами, которые «дороже человеческой жизни».

«Грустная эта Россия»,— думал Тургенев и завернул на Фонтанную. Там в небольшом кружке друзей расхаживал перед камином и грелся Николай Михайлович Карамзин; размахивая руками, он рассказывал о своих впечатлениях от Нижнего-Новгорода.

— Греюсь, батюшка, греюсь,— сказал он Тургеневу.— Нынче только приехал из Нижнего — это и каторга, и ссылка, и эмиграция — все что хочешь! Томился я там бездельем и застывал в конуре, как собака. Подумай только, вся богатая Москва там — Римские-Корсаковы, Апраксины, Бибиковы, там два старика Пушкиных — Алексей и Василий, там Малиновский, Бантыш-Каменский и Муравьев, там Батюшков, там Дружинин со своим англичанином, двумя гувернантками и шестью собаками. У Архаровых «роуты» не хуже московских, но квартер нетути; леса кругом, а дров мало. Город хороший, от Коромысло-

вой башни за Волгу верст пятьдесят видно. Но город маленький, и всех москвичей не поместить.

— А как Василий Львович? — спросил Тургенев.

— Василий Львович пиитствует, но живет в мужицкой избе, ходит по морозу без шубы, изо дня в день на чужом рубле. Ходит с покрасневшим носом между телег и отпускает французские каламбуры. Я уж ему говорю: «Ты бы от этого наречия поостерегся», а он, как нарочно, у Архаровых ни слова по-русски не скажет. Московские франты и красавицы толпятся на площади перед собором, между телег и жалких извозчичьих колясок, поминая Тверской бульвар почти что со слезами. Шутка сказать, по какой непролазной грязи приходится устраивать променады. У Архаровых Василий и Алексей Пушкины едва не передрались: начались разговоры о псовой охоте, перешли на Кутузова. Любовь к отечеству у всех на устах пылала. Красавицы прыгали во французских кадрилях до обморока, а Василий Львович, тыча пальцем в своего всегдашнего врага Алексей Михайловича Пушкина и рассказывая сам о своих потерях книг, экипажей и всего состояния, упрекал Алексея в том, что для него мало разницы — утеряна Москва или не утеряна, что-де Алексей на Тверской да на Никитской играл в бостон да в вист, а в Нижнем уж тысяч до восьми выиграл. Ему мало разницы! Только кричать в Нижнем стал больше да курить табаку стал вдвое больше прежнего. На то ему Алексей давал литераторскую отповедь: «Ты, говорит, дражайший однофамилец, слова по-русски сказать не умеешь, а я считаю, что российская словесность куда преизряднее французской». Опять начались споры. Василий Львович сел на своего конька и стал доказывать преимущество французской словесности, а чтоб уязвить Алексея, читал по общей просьбе свое обращение к нижегородцам:

Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь, промчались вы.
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов,
Примите нас, мы все родные,
Мы дети матушки Москвы.

Прочтя эти стихи, Карамзин вдруг сам расчувствовался, вынул платок, смахнул слезу. Сел в кресло и произнес:

— Грустно на сердце. Тоска томит и гложет.— И прозрачные, спокойные слезы ручьем полились у него по щекам. Голова его держалась спокойно. Он словно показывал свою чувствительность. Правильные черты лица нару-

шались только слегка опущенными углами губ, и хищная горечь улыбки отравляла самоуслаждение этих слез.

Петр Андреевич Вяземский, потягивая дымок из длинного чубука, проговорил:

— Ну, ну, довольно, расчувствовался. Побыл бы хоть пять минут в этом аду кромешном, и плакать и тосковать перестал бы.

Тургенев попросил Вяземского рассказать об этом «кромешном аде». Вяземский спокойно, привычной речью, плавно, закругленно и красиво рассказывал о Бородинской битве, где он был чуть ли не единственным штатским человеком, приехавшим верхом, в шляпе, в панталонах со штрипками и в сером рединготе. Под ним была убита лошадь, и он стал пешком ходить от батареи к батарее, ничего не понимая и не будучи в силах разобраться, где русские, где французы. Ярче всего ему запомнился эпизод, когда молодой Щербатский приехал непосредственно из главной квартиры к Багратиону, чтобы прямо попасть на линию огня. Багратион посмотрел ему на грудь и сказал:

— Ты штабной?

— Так точно, ваше сиятельство!

— Прислан для награды?

— Так точно, ваше сиятельство!

— Знаем мы,— заворчал Багратион.— Какая твоя очередная?

— Станислав второй степени.

Багратион вынул книжку, написал несколько строк, вручил Щербатскому и сказал:

— Получай! Налево кругом — марш и чтоб духу твоего здесь не было!

Щербатский прочел представление к награде за немедленный отъезд с линии огня. По-детски обрадовался, сделал под козырек и удрал.

Тургенев нахмурился. Карамзин перестал плакать.

— Однако,— сказал Карамзин,— поступок не дворянский. Тоже и Багратион твой хорош! Поговаривают, что уж недолго осталось Наполеону быть в Москве, что Москва сильно погорела, но толком узнать ничего нельзя.

Вошла старушка Талызина, предложила всем сидевшим чаю и сказала:

— Сейчас Мишенькин денщик пришел, Мишенька — племянник мой — Митропольский приехал из армии и прямо, как прописался у заставы, поведен был во дворец. Денщик пришел, а Мишеньки все нет. Подождем,— вероятно, важные вести.

И пока пили чай и развертывали ломберные столы, го-

товясь играть, старушка нетерпеливо посматривала на часы. Ее ожидание увенчалось успехом гораздо раньше, чем она сама ожидала. Свеженький и опрятный офицер, позванивая шпорами и отряхая снег, появился в вестибюле. Старушка бросилась ему навстречу, и, скидывая шинель на руки денщику, Мишенька согнулся, чтобы поцеловать ручку у низенькой старушки тетки.

— Важные вести, тетушка,— сказал он по-французски.— Генерал Милорадович послал меня к главнокомандующему, а тот с депешами — сюда. Наполеон покидает Москву.

Все вскочили. Карамзин молитвенно поднял руки к небу. Вяземский перекрестился. Старушка плакала, не выпуская племянника из объятий и гладя его по голове.

— Тетушка, я с утра ничего не ел. Дайте же мне хоть выпить чаю,— заявил молодой курьер.

— Ах, что же я,— всполошилась Талызина и вышла из комнаты.

Присутствовавшие обступили Митропольского. Пользуясь общей суматохой, Тургенев вышел и направился на Литейный проспект в дом, где с двенадцатого июня 1812 года проживал уже совершенно легально опальный германский министр Генрих Фридрих Карл цум Штейн.

Тургенев был немедленно принят. Старик, высоко подняв брови, не без некоторой иронии смотрел на своего взволнованного посетителя, и так как Тургенев молчал, то он спокойно произнес первый:

— Ну, что же, дорогой геттингенец, наш общий друг не выдержал московского холода.

— Вам уже известно? — спросил Тургенев.

— Да, мне это известно с утра,— сказал Штейн.— Теперь все зависит от того, хватит ли у этого «умного умника» военного такта, чтобы избрать подходящий обратный путь. Если он пойдет на Украину, то долго придется с ним возиться. Будем надеяться, что не он будет выбирать дорогу. Если он пойдет на Смоленск, то потеряет армию и попадет в плен. Живя в Петербурге, вы представить себе не можете, что представляет собою полоса в три тысячи ярдов шириною, по которой шли его войска. Это мертвая, безлюдная пустыня. Только бы в ослеплении он выбрал эту дорогу, остальное все сделает природа.

Тургенев склонил голову.

— Когда бы ни слушал я вас, дорогой барон, ваш гений меня всегда восхищает. Вы говорите, как самый блестящий мудрец Европы.

— А вы говорите совсем ненужные фразы, добрый друг. Но, во всяком случае, уверен, что вам скоро представится новый случай побывать в Европе, в Европе разумной, освобожденной от этого чудовища, которое украло человеческую свободу.

— Я был бы счастлив быть вашим спутником. Близок день, когда ваши права будут восстановлены.

— Вы будете моим спутником,— сказал Штейн и открыл стеклянный ящик с настоящими гаванскими сигарами.— Вот самое большое лишение, которое не могу простить я Наполеону. До войны ни один американский корабль не мог войти в Балтийский порт без того, чтобы не вызвать дипломатического скандала. Агентам Бонапарта всюду чудились английские товары.

Сидели молча и курили, пуская кольца голубоватого дыма. Огромная черная кошка с разными глазами зеленого и красного цвета поднялась на диване, выгнув спину, и стала потягиваться, царапая кожаную обшивку.

— Долой, Мефисто! — крикнул Штейн. Кошка прыгнула к нему на колени. Старик гладил пушистую спину, искры, потрескивая, вонзались в стальной перстень с Адамовой головой на безымянном пальце левой руки.— В четверг у меня соберутся вольные каменщики,— сказал Штейн.— Вам надлежит быть. Собрание секретное. Войдете с черного хода в семь часов вечера. Перед дверью наденете маску не для ритуала, а из уважения к императорской крови.

Тургенев слегка побледнел, быстро встал и простился.

Великий князь Константин Павлович в белой шелковой маске был всеми немедленно узнан. Не так легко всем остальным было узнать друг друга. Хуже всего, что не было Штейна. Наследник болтал без умолку. После песни «Все мы братья» он говорил только один, говорил о том, как успешно преследуют Наполеона, что близок день, когда русские войска вступят в Европу по следам его тающей армии, что всюду наперерез беглецу высланы разведывательные отряды, что царь задался целью перестроить Европу на началах религии и почтения к власти, что главным министром всех европейских провинций назначается барон Фридрих цум Штейн.

Ужинали, пили рейнские вина, потом снова пели и поздно разошлись, братски пожимая друг другу руки, делая вид, что никто никого не узнал.

Глава девятнадцатая

Деятельность Комиссии по составлению законов, заглохшая после ссылки Сперанского, возгорелась благодаря энергии Тургенева. Дважды приехав в Зимний дворец, молодой докладчик входил в кабинет немножечко сухой и пыльный, с запыленной чернильницей, неубранными перьями и большими листами бумаги, на которых сохранились следы многочисленной пробы нового гусиного пера. За большим деревянным столом, покрытым картами со значками и карандашными отметками, сидел офицер с мелкими чертами лица, женственный, с белокурыми редкими волосами и мелкими колечками белобрысых бакенов, с голубыми, жидкими, словно аквамарин, глазами, холодными под нахмуренными бровями, и с чарующей улыбкой тонких, далеко не мужественных губ. Он был занят. Приходилось долго ждать стоя. Потом он начинал говорить, не глядя на вошедшего, и наконец, вслушиваясь в звонкий, отчетливый и спокойный голос Николая Тургенева, словно ловя нотки успокаивающей мудрой деловитости, он, отдыхая, откидывался в кресле, закрывая на минуту глаза, и потом, медленно их открывая, смотрел на Николая Тургенева, спрашивал: «Как твоя фамилия?», рассеянно слушал ответ, брал огромное перо и писал со множеством колечек и виньетов: «Быть по сему. Александр».

— Какая твоя главная задача? — спросил он однажды Тургенева.

— Освобождение крестьян, ваше величество,— ответил Тургенев, глядя прямо и спокойно.

Морщина появилась между бровями Александра, а на губах заиграла пленительная улыбка. Александр вздохнул и сказал:

— И моя также.

В эту минуту, не забываемую для Тургенева, вдруг из-за портьеры, грузно шлепая по ковру, выступил генерал с оловянными глазами и сизым носом, в серой тужурочке, словно заштатный денщик из крепостных, и только овальный портрет Павла I с брильянтами, висевший на анненской петлице, под лацканом, указывал на то, что это значительная персона. Продев большой палец правой руки под тужурку и придерживая портрет ладонью, Аракчеев, не обращая никакого внимания на Тургенева, заговорил:

— Сжег Москву начисто, ваше величество! Так столицу растрепал, что в пять лет не починишь. Прикажи, государь, министру финансов раскошелиться.— Потом, уставя глаза на Тургенева, продолжал: — Бестужева привезли.

Ведь этакий христопродавец, Бонапарту предоставил секретные архивы и сам же признается, что французские бумагомараки писали пашквили и на твою, государь, династию, и на всю историю твоей державы.

— Что ж, Алексей Андреевич,— сказал Александр,— надо будет наполеоновские бумаги отбить. Я слышал, что под Красным великое множество штабных баулов досталось нам. Сколь помню, это тебе все ведать надлежит. А Бестужев зачем в Москве остался?

— Завтра допрошу, ваше величество. Полагаю, что партикулярные были причины. А пуще всего виновато в том заграничное воспитание. Ну, на что Бестужеву, русскому дворянину, обучаться в Европах? — Аракчеев ехидно улыбнулся, глядя на Тургенева, и затем, разводя руками и как бы нечаянно указывая на Тургенева, добавил: — Одно якобинство разводить. Уж будет! Кончать пора!

На губах Александра по-прежнему играла, как солнце, пленительная улыбка.

Звезда Тургенева поднялась высоко. Русский царь вместе с союзными армиями вступил в Европу по следам Бонапарта, который, греясь у камина в Сен-Клу, говорил, к великой досаде парижан: «А все-таки здесь лучше, чем на московском морозе».

Ненавидимый Наполеоном Штейн был назначен министром всех владений, отвоеванных у Наполеона. Каждая страна посылала к нему в качестве представителя своего комиссара. Российским императорским комиссаром при Штейне был назначен Николай Иванович Тургенев за отменное знание законов, уважение гражданской справедливости и либеральный образ мыслей.

«15 октября (1813). Вот уже с неделю как собираюсь в свою дорогу. Барон Штейн сдержал свое слово, и я в полной мере радовался бы сей поездке, есть ли бы не думал, что некоторым образом перебиваю теперешнее мое место, тем более что Сергей идет в военную службу.

Хотя я и весьма рад, что еду, в особенности когда воображение мое хотя несколько разгорячится; но не менее чувствую что-то неприятное, или, лучше сказать, неловкое; и в сем случае утешаюсь только мыслию, что предчувствия дурные часто меня обманывали.

Всего более беспокоит меня опасение быть совершенно лишним для Штейна. Теперь первый раз в жизни чувствую я в себе желание нравиться — в первый раз, *ибо я еще до*

сих пор не старился никому нравиться. И потому боюсь теперь за успех».

Записал эти слова и пошел по Петербургу прощаться. Поздно вечером приехал к другу — Сергею Петровичу Трубецкому, поручику Семеновского полка. Сергей Трубецкой привстал, слегка накренившись, так как долго не мог оправиться после ранения, и, бросившись навстречу к другу, громко поздравил его с успехом. На голос мужа вошла в комнату Екатерина Ивановна Трубецкая. Красивая француженка, голубоглазая и белокурая, так странно бывшая не под стать сухопарому и долговязому супругу. Мечтательный, безвольный Трубецкой как-то сразу стушевался при появлении этой женщины. Екатерина Лаваль была и умнее его и крупнее характером.

«Единственный ее недостаток,— подумал Николай Тургенев,— это обожание Сергея. Она ему совершенно не подходит, равно как и он ей». За вечерним чаем втроем говорили о самой главной своей тайне. Члены одной и той же масонской организации, Трубецкой и Тургенев затевали большую реформу ложи. Они стремились превратить ее из маленького и стареющего дела в большую политическую конспирацию. Уже удались первые шаги. Возникло Общество русских рыцарей. Вместо прежних мистических отвлеченностей шли разговоры об освобождении крестьян и об установлении конституционного образа правления. Поручик и законовед во всем сходились в области политических вкусов. Екатерина Трубецкая считала дело обреченным на неуспех, и когда двое других друзей — ахтырский гусар Петр Яковлевич Чаадаев и самый младший из их компании восемнадцатилетний Кондратий Федорович Рылеев — говорили с Екатериной Ивановной в отсутствие ее супруга, то все трое соглашались, что вряд ли государь останется при прежнем курсе мнений, что вряд ли следует выступать открыто и явно, но что если дело и обречено на неуспех, то вести его все же надо для того, чтобы даже самый неуспех прозвучал как могучий колокол, способный разбудить страну.

Разговор, по обыкновению всех троих собеседников, велся спокойный и прикровенный так, чтобы слуги, преданные хозяевам, не оказались случайными предателями.

— Кондратий также едет за границу, получив производство,— сказал Тургенев,— но будет в действующей. Воображаю, как развезет его под конец конная артиллерия.

— Ничего, он человек молодой, и его еще не трепал снаряд, как меня. Пусть понюхает пороху,— заметил Трубецкой.

Тургенев посмотрел на свою укороченную ногу и ничего не ответил.

— Интересно, как скоро будете в Париже,— сказала Трубецкая. — Говорят, Бонапарту удались наборы.

— Все-таки армия его уже не та. Ведь у него каждая дивизия — проходные ворота. Раз до восьмидесяти обновлялся состав. Какая ж это военная семья! Да и обучать рекрутов ему некогда.

— Ну, все-таки еще подержится! Во всяком случае, раз уж мы вмешались в европейскую кашу, придется хлебать ее до конца, хоть и невесело это иногда бывает.

— Да,— сказал Трубецкой,— приходится вспомнить, не к ночи будь помянут, императора Павла. Так ведь и отрезал английскому посланнику: «Завидую, говорит, вашим успехам». Тот спрашивает: «Каким?» — «А таким, говорит, у вас Россия — хороший союзник, а у меня все — дрянь, вроде вас». Ясно, конечно, одно: что русским солдатам своими черепами придется платиться за австрийские и немецкие выгоды. Кстати, друг, бывал ли ты у Штейна в эти дни?

— А что? — спросил с неохотой Тургенев.

— Да так, передавали мне его разговор о том, что Россия должна идти своим путем, что дворянской молодежи совсем не нужно обучаться иностранным языкам и что даже иноземных книг ввозить не нужно.

Тургенев улыбнулся.

— Да, это одна из его странностей.

— Странность ли это? — сказал Трубецкой.

Екатерина Ивановна улыбнулась тонкой улыбкой и с расстановкой произнесла:

— Штейн — ледяной человек. Это не странность, Николай Иванович, а тонкий расчет. Вот посмотрите: пройдет немного времени, и немцы повернутся к нам спиной.

— Не думаю,— сказал Тургенев.— Это в вас говорит французская кровь.

Красавица улыбнулась.

— Если так, то она говорит все-таки правду. Во всяком случае, в моей французской крови больше искренности, чем в русском патриотизме немецкого барона. Царь его любит, но это тоже не говорит за него. Царь очень занят вопросом о том, что говорилось о нем, о его балах, о его шутках госпожой Сталь и господином Шатобрианом.

— Однако мне пора,— сказал Тургенев.

Разговор о Штейне стал его задевать.

— Надеюсь увидеться с вами, и скоро,— сказал Тургенев на пороге, протягивая руку Трубецкому и, обернувшись

к Екатерине Ивановне, добавил, целуя ей руку,— в Париже, конечно, княгиня.

Лаваль рассмеялась и отошла к окну.

Холодный соленый ветер ударил Тургеневу в лицо. Он пошел на Васильевский остров. Усталый ванька плелся по другой стороне улицы на заморенной рыжей кляче. Тургенев его окликнул. Тот не отозвался. Лошадь свернула в переулок. Пришлось идти пешком. Пройдя добрые полчаса и чувствуя себя слегка продрогшим, он решил не ходить к приятелю Свечину — командиру лейб-гвардии Егерского полка. Повернул обратно, но потом почувствовал укоры совести и, не желая казаться малодушным в собственных глазах, решил вернуться к Свечину. У самого фонаря Жукова моста, в минуту этого колебания, поворачиваясь то вперед, то назад, поскользнулся и едва не был раздавлен наехавшим экипажем. Лошадь ударила копытом больную ногу. Кучер мгновенно остановил. Тургенев привстал на локте. Живые глаза молодого человека с оттопыренной губой, ярко освещенной под самым фонарем, с беспокойством смотрели на Тургенева. Правой рукой незнакомец помогал Тургеневу встать.

— Не повредило ли вам падение?

— Нет, кажется, только легкий ушиб, в котором я сам виноват. Я поскользнулся на повороте.

— Могу предложить вам место в экипаже,— сказал незнакомец.— Куда вас довезти?

— На угол около Старой гавани.

— Уж не к Свечину ли? — спросил тот.

— Вы угадали,— сказал Тургенев.— Откуда вы знаете этого доброго конного егеря?

— Знаю по дружбе с моим отцом,— сказал незнакомец.

Сели в экипаж. С минуту ехали молча.

— Однако кого же мне благодарить?

— Благодарить не за что,— ответил незнакомец,— а назваться могу: Петр Григорьевич Каховский.

Тургенев в свою очередь назвался.

— Вот как — неожиданность полнейшая! Это вас прочат в министры?

— Не слыхал об этом,— сказал Николай Иванович.

— Люди говорят,— отозвался Каховский.— За что купил, за то и продаю. Только, будете министром, попытайтесь узнать о судьбах народа нашего не по геттингенским книжкам и не по Зимнему дворцу.— И вдруг, обернувшись к Тургеневу, сказал: — Вы простите, я, быть может, напрасно это говорю. Я знаю, что в немецких университетах

воспитываются люди свободнее. Мы тут лишь из Плутарха, Тацита и Ливия берем пищу геройства, да и то в самом деле какими крохами! Вот я прожил в сожженной Москве с французами, книжек никаких не было, но школу прошел такую, какая вам в Геттингене не снилась. Наш университетский пансион был как раз таким местом, где остановились офицеры-республиканцы, участники террора, ставшие солдатами Бонапарта еще в те времена, когда тот был простым генералом. Подумайте, я родился в 1797 году. Мы уже теперь не увидим того, что видели они во Франции, но, быть может, увидим то же самое в России.

— Нехорошо быть этаким поспешным пророком,— сказал Тургенев.— Вам еще по-настоящему нет шестнадцати лет, а вы берете на себя слишком много.

— Мы и отдать можем очень много,— сказал Каховский.— Во всяком случае, этот опыт пережили мы недаром.

Подъехали к темному двору. Вышли. Пробрались по темной и грязной лестнице, едва не упав на кучу мусора.

— Грязно живет наше отечество,— сказал Каховский.— У родителя моего бывал в Петербурге каждый год — всегда столица была столицей. Приедешь на рождество, любуешься чистотой после Москвы, а теперь, после нашествия Наполеона, все, кажется, позапустело, все позасорилось. Россия пожигает французские и русские трупы. Говорят, до полумиллиона пожгли да свыше двухсот тысяч лошадиных трупов. На сколько десятилетий зараза?

— Слушаю я вас,— заметил Тургенев,— и кажетесь вы мне почтенным старцем. Где огонь и веселость вашей молодости?

— Эх, Николай Иванович, удержу не знает моя молодость, но открытыми глазами смотрю себе под ноги.

Постучались. Свечин открыл. Обрадовался Тургеневу. Нахмурился при виде Каховского.

— Если б покойный твой батюшка знал, что ты будешь шляться и загонять его лошадей, он бы этих рысаков кому-нибудь другому завещал. Где был с утра?

Каховский засмеялся и, указывая на Николая Ивановича Тургенева, сказал:

— Служа царю и отечеству, спасал будущего министра.

Но уже Свечин не слушал. Он наливал стакан чаю с ромом Тургеневу и говорил:

— Что делать с этой сволочью иезуитами? Остался я в Питере один-одинешенек с той поры, как католические

попы вывернули наизнанку голову моей сестрице. У нас здесь отечество погибало, а она в Париже держала католический салон. Католические попы в рясах — это коршуны, а тайные иезуиты — это волки-оборотни, это страшные звери.

— Имеете какие-нибудь вести о Софии Петровне? — спросил Тургенев.

— Самые скверные,— сказал Свечин.— Ваш любимый Гете сказал: «Где за веру спор, там, как ветром сор, и любовь и дружба сметены». Еще они покажут себя, еще устроят государство в государстве.

— Не так страшен черт, как его малюют,— сказал Николай Тургенев.— Это ведь небольшой кружок полоумных фанатиков.

— Хорош небольшой! — сказал Свечин, от жары доверху расстегивая сюртук.— Я поинтересовался этим делом. У них организация наподобие масонской, дисциплина наподобие военной и мертвая хватка, как у портового бандита. Там, где нужно,— по горлу чик! (Свечин показал жестом, как это делается) — и нет богатого наследника, а, смотришь, духовное завещание в пользу римской церкви. Вот посмотрите, все наши петербургские барыни в обход прямым наследникам завещают деньги и имения римскому папе.

— Вы бредите,— сказал Тургенев, отпивая чай глотками.— Лучше скажите, кто вам нравится — Гурьев с Румянцевым или Козодавлев?

— Я ведь помещик, а не фабрикант и к фабричному делу отношусь как к вредному. Я за Гурьева и за дешевый ввозной тариф. Считаю, что Государственный совет допустил большую ошибку, даже больше вам скажу. Какое ж у нас самодержавие, ежели царь не сможет остановить этого безумия. На хлеб налагают пошлину, а фабрикантам протежируют. Ничего хорошего из этой протекционной системы не вижу. Россия страна дворянская и земледельческая. Попробуйте, насадите фабрики — и все пойдет к черту.

— Однако,—сказал Тургенев,— вопреки вашей воле и соображениям фабрики насаждать будут, да они сами вырастут, как грибы.

— Ну, тогда прощай наше дворянство,— сказал Свечин.— Эх, напиться, что ли?

Он налил себе половину стакана ромом.

— Отведайте-ка, Николай Иванович, девяносто шесть градусов!

— Чей? — спросил Тургенев.

— Шведский,— отвечал Свечин. — От самого Бернадота контрабанда.

— Не знал я, что вы с королями в дружбе!

— А что ж, неплохой народ,— сказал Свечин, пьянея.

— А по моему, короли — дрянь,— вдруг отозвался Каховский.— Чаю-то вы мне, Евграф Павлович, дадите?

— За королей не нужно б было тебе давать. Ты что сегодня безрукий, что ли, что сам налить не можешь? Да, Николай Иванович, пропадает наше дворянство.

— Ну что, какие несообразности говорите,— возразил Николай Тургенев.— Сословие, в руках которого находятся все преимущества, и вдруг пропадает... Поработать кой над чем надо — и не пропадет. Сословие хорошее, только мужицкое рабство отменить нужно. Позорно это и для честного ума не переносно. Срамота это перед богом и перед людьми!

— Это вы с мужика хомут хотите снять? — спросил Свечин с ужасом.— Да знаете ли, что тогда будет? Тогда нам самим вилы-тройчатки в первом же амбаре в бок от спасенных вами мужиков.

Тургенев рассердился и, цепляя хромою ногой с шумом падающее кресло, заходил по комнате.

— Как вы, этакий умный человек, не понимаете своей же выгоды? Что может быть хуже рабства! От него и хамство, от него и пьянство, от него и бунты, повсюду бунты, дорогой мой, по всем губерниям непокойство. Перестаньте дурака ломать, пока вам не сломали шею. Я говорю о дворянской выгоде прежде всего. Крепостной труд на фабриках никуда не годится. Раб — поганое слово! Какого от раба сознания можете ждать? Любой заводчик с вольным рабочим за пояс заткнет наших дворян с крепостною фабрикой. Я уж о бесчеловечье не говорю, о скотском держании людей. Вчерашний день получил я безграмотное письмо. Был у меня в детстве приятель — крепостной мальчуган Василий. Матушка проиграла его в карты. Помещик Досекин выхлестнул ему глаз. Был этот кривой человек бурлаком, стал беглым холопом, замешался в воровскую шайку, а третьего дни попал на съезжую и написал мне письмо. Просит его выручить. Пошел выручать, да поздно. Под семидесятым кнутом помер. Что это, батюшка Евграф Павлович, в какой стране это есть?! Обучать Европу собираемся, а своей дикости оставить не можем.

Каховский поднял кресло и смотрел на Тургенева злыми глазами.

— Вы что, молодой человек,— спросил Николай Турге-

нев, обернувшись к нему,— жалеете, что ваши кони меня не подмяли?

— Нет,— сказал Каховский,— я совсем о других материях держу мысли. Французы в Москве срамили мою родину так за это же самое, о чем вы говорите, что повторить невозможно.

Глава двадцатая

В пятницу двадцать четвертого октября 1813 года кучер с молотком и щипцами, кузнец в кожаном фартуке вошли к Тургеневу и сказали:

— Исправно, барин, можете на край света ехать.

— Хорошо ли смазал? — спросил Тургенев.

— Преотлично! Пусть только Федотка на каждой станции смотрит. Коляска новенькая и сделана на славу.

— Ладно, друзья, прощайте,— сказал Тургенев и заперся у себя в кабинете.

Раздумывал: «Лучше геттингенской жизни быть не могло. Буду ли снова чувствовать себя так же? Здесь, в Петербурге, невозможно, а в других местах России еще меньше. Вот поеду сейчас по Ковенской дороге. Опять один-одинешенек попаду в польские и литовские леса. Темный край! Бесконечные лесные дороги по пескам и болотам. Только полосатые столбы с двуглавыми орлами. Вот и все встречные. А куда еду? Что будет? Как повернутся события, ежели Наполеон с новой армией опять вторгнется в Россию?»

Карету устроил удобно. Выехать и прямо заснуть, полулежа, полусидя, спрятав ноги в полость и закутавшись шотландским пледом. «Новенький,— поглаживая рукой английский товар, думал Тургенев.— Сколько сразу английских товаров! Словно плотину прорвало. И старая и новая гавани полны английскими кораблями. Мачты как лес». Посмотрел на часы. Осталось два часа. Стал читать дневник 1806 года. «А я тогда больше думал и нравлюсь себе больше тогдашний, чем нынешний. Любопытство тянет меня на Запад, но нет уверенности. Петербург — хорошая школа для опытности, но для опытности жить с людьми, а это — печальная опытность». Вдруг вспомнил, что Сергей теперь адъютант при командире гвардейского корпуса Воронцове. Потом резко упрекнул себя за полное отсутствие мыслей о старшем брате, и как раз, как нарочно, в эту минуту раздался стук в дверь. С чемоданом в руке, в шинели, в меховой шапке, с покрасневшим носом и красными веками, Александр Тургенев стоял на пороге, словно раздумывая, входить или нет.

Николай молчал, словно оцепенел. Александр Иванович отвел глаза и, улыбнувшись, сказал:

— Ну, что ж, провожать так провожать,— и стал раздеваться.

Охлаждение стесняло обоих братьев. Манеры Александра казались Николаю тираническими. Чувство это, безотчетное, досадное и неверное, расстраивало Николая гораздо больше, чем огорчало Александра. Переходя от темы к теме, Николай заговорил об иезуитах России.

— Подождем,— сказал Александр Тургенев,— у государя мистические настроения. Прямо не знает, куда ими швырнуться. Но, уверяю тебя, будет время, я своего добьюсь. Запретим им пребывание в Российской империи.

— Это было б хорошо,— сказал Николай Тургенев.— Но трудненько вам будет этого добиться.

— А ты не думай о трудности, когда начинаешь дело,— посоветовал Александр Иванович.

Прошел час. Сели друг против друга, подальше от печки. Поставили золотые стопки. Выпили прощальные бокалы шампанского, обнялись и поцеловались. Николай стал на колени. Александр надел ему ладанку — подарок матери.

— Матушка занята по хозяйству. Приехать не может. Сам же ты в Тургеневке затеял ткацкую фабрику. Ей сейчас не до поездок.

Перекрестились на иконы. Обнялись.

Во дворе ярко горели фонари у коляски.

— Провожу тебя до заставы,— сказал Александр.

— Ne vous derangez pas[1],— сказал ему Николай и прибавил по-русски: — Долгие проводы — лишние слезы. У заставы извозчика не найдете, а пешком возвращаться — опасно. На чужих кораблях завезли в Петербург шайку чужеземных душителей. Шнурками в секунду задушивают человека, обирают дочиста, а трупы швыряют в Неву. За вчерашний день шестнадцать покойников выловили.

Александр Иванович вздрогнул.

— Чужестранцы ли это? Много своих на краю голодной смерти решаются на разбойничью жизнь. По проезжим дорогам стало опасно. Есть ли с тобой-то оружие?

— Никогда не имел и иметь не собираюсь. Ни стрелять, ни колоть человека не буду в жизни.

---

[1] Не беспокойтесь (*франц.*).

— Слава богу, еще не уехал! — вдруг раздался голос.— Душа ты моя, голубчик ты мой, как же мое сердце изболелось! Я ведь уверен был, что едешь через неделю.

— А, вот подарок так подарок,— сказал Николай Тургенев.

Плача слезами привычного и сладкого умиления, Николай Михайлович Карамзин обнял Николая Тургенева и гладил его по плечу.

— Дорогой мой, как же я рад! — повторял он беспрерывно.

Николай Тургенев сел в экипаж. Дверцы захлопнулись. Кучер ударил. Скрипя по песку, завертелись колеса. Держась за ручку кареты, бежал Александр Тургенев, заглядывая в стеклянное окно. Тургенев, откинувшись в глубь сиденья, не замечал брата. Карамзин сморкался в фуляровый платок и шарил в кармане, ища табакерку. Потом взял под руку вернувшегося Александра Тургенева, сказал:

— Поедем ко мне на петербургскую фатеру, а утром вместе махнем в Царское Село.

Взяли извозчика. Поехали на Кирочную.

С дороги Тургенев писал профессору Куницыну:

«Дорогой товарищ, любезный геттингенец, пишу тебе из самой что ни на есть глуши. Тяжко и одиноко в польских лесах. Вчерась понравилось мне крыльцо у одного из почтовых домов, подле которого растет дерево, дружелюбной старинной дуб, растущий тесно подле дома, словно охраняет его стражем, соединив свою судьбу с судьбою оного дома. Так думал я: неодушевленные предметы часто придают много прелести другим предметам: зла от них ожидать нельзя, как от людей. Мрачная мысль, но что ж делать. Когда я вижу людей в стране, сквозь которую я проезжаю, те, кои более всех имеют право на счастие — землепашцы, в каком они положении? Без содрогания не могу смотреть на здешних почталионов. Трубит в рожок, отдувая посинелую щеку. Руки застужены, и из глаз льются слезы. Товарищ дорогой, ничто справедливое не умирает. Сохраним верность геттингенским нашим замыслам. Пиши мне в Вену на имя Воронцова, а Сергей мне передаст. Ожидаю увидеть Штейна, но нет твердости в мыслях моих. Аракчеев с государем, а то не предвещает ничего доброго. Правда ли, что Сперанский прислал свою защиту? Отпиши все подробно».

По странной игре случая письмо вместо Куницына читала канцелярия графа Аракчеева.

Переехал границу. При переезде принял пакет на свое имя, секретный, с фельдъегерем. Военные посты удивляли. Множество офицеров в станционных домах. Ушел в комнату таможенника и, потребовав, чтобы его оставили одного, распечатал пакет. Предписание ехать на Франкфурт-на-Майне. С досадой пожал плечами. Удлиняет прямую дорогу почти что вдвое. Выйдя из комнаты досмотрщика, встретил знакомого геттингенского доктора. Увы... фамилии не помнил. Но при рукопожатии большой палец обнаружил масона. Вследствие этого Тургенев решился обратиться с просьбой — рекомендовать слугу. К моменту перепряжки лошадей в русскую карету Тургенева просьба была уже исполнена. Вошел молодой человек, вежливо и спокойно поклонился и произнес:

— Положитесь на меня. Я все буду делать, как верный брат.

Тургенев писал в дневнике: «Вот,— скажет Ганнеман,— и выгода быть вольным каменщиком».

Дальнейший путь он совершал вместе с этим странным слугою. С сильно бьющимся сердцем в субботу третьего декабря въехал в Геттинген. Думал: «И хорошо, и плохо. Все осталось на месте, кроме молодости. Во французских госпиталях умирают раненые. Князь Репнин хочет иметь меня при себе. Встретился с Беннеке, Рау, Соколовичем, Кассиусом. Пошел в библиотеку. Был у Сарториуса. Без конца болтал у Геерена. Был у Магера. Дочки стали красавицами. Ночью постучал в маленький домик, рядом с Ганзеном. Лотта узнала по голосу, бросилась на шею. До чего она еще хороша! Вышел от нее под утро».

Десятого декабря — Франкфурт. Сразу у Штейна. Штейн принимает Тургенева ласково, но хитро улыбается. С первых часов, не отдохнув от дороги, Тургенев стремится войти в работу. Какая пестрота в международной канцелярии Штейна! Прусские принцы, австрийские генералы, представители всех освобождаемых от войск Наполеона государств! Штейн знакомит этот международный штаб по борьбе с Наполеоном с русским императорским комиссаром. Почтительные поклоны. Льстивые слова. «Всякий другой принял бы на свой счет,— думал Тургенев.— А мне нужно сделать так, чтобы не кружилась голова и чтобы не ускользала основная идея».

Вечером был в театре. Смотрел пьесу Коцебу.

— Ну пьеса! — говорит Тургенев своему соседу.

К немецкому пастору является некий французский убийца, когда-то прикончивший его дочь. Пастор принимает преследуемого, дает взятку полиции. Растроганный убийца остается у него слугой, моет полы и чистит двор.

Немецкая публика рукоплещет.

Тургенев хохочет так, как давно не хохотал.

«Попасть прямо из кареты на этакую вздорную пиесу, слушать эту галиматью в течение целого вечера — это в стране, где есть Гете и Шиллер,— забавно! Кто такой Коцебу?» — думает он.

Сосед немец рассказывает:

— О, это замечательная фигура! Вы говорите Гете. Коцебу тоже из Веймара. Он был там адвокатом. У вас в России его переводили и ставили.

— Как же, как же, знаю,— сказал Тургенев.— В России это не диковинка, но как он у вас пользуется успехом? Русские его дела я знаю. Тринадцать лет тому назад при императоре Павле Коцебу попал в Сибирь, и только «Лейб-кучер Петра I» — тоже дрянная пьеса — спасла его из ссылки тем, что понравилась царю. А что он делает сейчас? — спросил Тургенев.

— Ну, уж не буду вас смущать,— сказал немец.— Он смотрит из партера собственную пьесу только для того, чтобы говорить с императорским комиссаром Николаем Тургеневым.

Тургенева передернуло. Пьеса кончалась. Тургенев мрачно молчал. Коцебу хихикал и ерзал на стуле.

— Ваше превосходительство,— говорил он Тургеневу.— Вы не забудете меня как издателя «Русско-немецкого народного листка», как верноподданного его европейского величества, помазанника божия Александра. Вы должны будете оценить мое усердие.

Маленькая, теплая и отвратительно влажная рука пожала руку Тургенева.

— Согласитесь сами,— сказал Тургенев,— что средство, которое вы выбрали для знакомства со мной, скорее пригодно для агента секретной полиции, чем для автора столь достойного. Пеняйте на себя, сударь, ежели неудача вашей пиесы вынудила меня к нечаянной откровенности. Обижать вас я не хотел, но и знакомства продолжать не намерен.

— Молодой человек,— сказал с внезапной наглостью Коцебу, переходя на русский язык,— в вашем хорошем русском языке есть поговорка: «Насильно мил не будешь», и еще: «Прежде отца в петлю не суйся». Вам со мною

знакомство иметь придется, даже если вы этого не захотите. И вы, и я имеете долг перед христианским отечеством всех народов. Борьба против духа свободолюбия, якобинства и безбожия французской революции вас обяжет почитать всякого, кто стоит на страже законной власти.— И, сгибая указательный палец в какой-то коготок, Коцебу с видом разъяренного педагога махал ручкой перед самым носом Тургенева.— Мы еще встретимся, молодой человек,— говорил он яростно, и потом, переходя на немецкий язык снова, так как перед ним показались капельдинеры с почтительными поклонами, он произнес: — Будьте почтительны, ведь я тайный советник его величества прусского короля,— и повернулся к Тургеневу спиной.

— Фу, черт возьми! — говорил Тургенев, выходя на воздух и едва не попадая под колеса.

Карета остановилась. Смеющиеся, веселые глаза старика посмотрели на него сквозь стекло. Штейн открыл дверцу и пригласил Тургенева в карету. Он начал прямо с места в карьер:

— Ну вот, выяснилось все. Я получил частное письмо императора. Вот основание твердого мира в Европе. Первое, что представляется, есть — обезопашение Европы от Франции. Какое влияние имела Франция на судьбу Европы не только в политическом, но даже и в нравственном отношении! Итак, надобно, так сказать, обложить Францию сколь возможно более непреодолимыми границами. Такая граница всего нужнее со стороны Германии. Для сего всего, кажется, лучше и вернее противопоставить на берегах Рейна Франции германскую державу первого класса, которая бы во всякое время, при каждом покушении Франции, могла одна противиться сей последней державе. Для сего нужно пожертвовать несколькими мелкими владениями. Но все должно покориться великой цели независимости народов-владетелей или лишиться вследствие сей перемены земель своих. Можно частью вознаградить в других частях Европы или даже *отставить* с пенсионами. Династия, которая должна будет царствовать в сем новом воздушном королевстве, должна быть связана с одною из сильнейших держав в Европе не только узами политики, но также и узами родства. Такую же державу должно основать и в Италии. Для сего королевство там уже готово, а именно: итальянское королевство. В Голландии должно учредить династию, которая бы также была связана самыми тесными узами с одною из первейших европейских держав. Итак, на Рейне будут царствовать родственники императора российского, в Италии — родст-

венники Австрии, в Голландии — родственники короля английского, английские принцы или принцы дома Оранского, который сверх того связан и с прусским двором. В середине Германии могут существовать державы второго, третьего и так далее ранга: окруженные тремя первоклассными державами в самой Германии, они никогда не будут опасны для свободы сей земли и с сим вместе для свободы Европы. Et cette belle France[1] будет в клетке сама любоваться своею красотою.

Тургенев молчал, размышляя о прекрасной Франции и чередуя эти мысли с рассуждениями о том, следует ли, или нет рассказать Штейну о встрече с Коцебу,— решил смолчать и через минуту благодарил себя за это решение.

— Завтра приходите ко мне обедать,— сказал Штейн.— Вы молчите,— очевидно, дорожная усталость сказывается на вас сейчас.

— Я молчу,— сказал Тургенев,—только потому, что во время долгого пути в карете я видел и слышал слишком много такого, что заставляет меня сожалеть о прекрасной Франции. В частности — я убедился, что гражданский кодекс Наполеона вовсе уж не такая плохая вещь, а потом — разрешите ли вы мне быть откровенным?..

— Как всегда,— сказал Штейн.— Откровенность есть первая уловка дипломата.

Тургенев засмеялся.

— Я не о той откровенности говорю. Я хочу сказать вам, что меня страшит успех императорской России. Я боюсь, что результатом будет печальная участь крестьянского вопроса в нашей стране.

— Каждая страна,— сказал Штейн,— имеет свои законы. Что было своевременно в Пруссии, то может оказаться пока ещё опасным в вашей стране.

Глава двадцать первая

Дни и месяцы, каждый по-своему полный пестрых и очень разнообразных впечатлений, слились для Николая Тургенева в какое то тусклое серое пятно, до такой степени они были похожи один на другой. Переменчивое счастье Бонапарта наконец совсем от него отвернулось. Медленно и упорно французские войска уходили на территорию старой Франции, и штаб международной администрации медленно двигался за ними.

[1] И эта прекрасная Франция (*франц.*).

Тургенев начинал чувствовать скуку и уже имел возможность подвести первые итоги своей деятельности на широкой европейской арене. Они были неутешительны.

«Что же это? — думал он.— В чем состоит деятельность моего благородного патрона? В том, что мы постепенно, шаг за шагом оттесняем французские войска, тщетно пытаемся уничтожить следы невольного якобинства, вносимого Наполеоном. Мы хотим повернуть назад колесо истории. Каждый день администрация Штейна получает разнообразные и часто друг друга исключающие требования, из которых я понимаю, что дворянство и купечество никак не могут помириться друг с другом и поделить остатки французского наследства. Невеселое дело! Оказывается, нет никаких идеалов, связывающих всех людей вместе. Есть корысть отдельных классов. А трудолюбцы, кормящие и купца, и дворянина, и фабриканта, и заводчика, никак даже не привлечены к решению вопроса об условиях своего бытия. Вместо благоустройства мы заняты уничтожением французских влияний. Однако опыт научил меня видеть в этих влияниях гораздо больше полезного, чем мог я видеть это сквозь петербургские туманы. Полезна ль моя деятельность сейчас? И даже могу спросить себя: есть ли в ней необходимая для дела честность?»

Размышления эти имели место в Труа на французской территории; десятого февраля 1814 года Тургенев писал в дневнике:

«Вот уже несколько дней, как беспрестанно видны по дорогам раненые. Французские деревни от Бар сюр Лоб до Труа оставлены. Дома пусты, но мебель и посуда целы, то есть предоставлены воле проходящих солдат. Поля устланы соломою, разломанными бочками, посудою, пухом. Следы бивуаков. Я ездил из Лангра в Женеву — путешествие скучное. Теперь сказался больным, дабы не ехать в Брюссель. Не знаю, как это понравится Штейну. Но путешествовать или ездить курьером в теперешнее время во Франции, где на почтовых дворах нет ни лошадей, ни повозок, ни корма,— ужасно! Я сделал одну лишь станцию, но воротился.

14 марта вечером Шомон опустел. Императоры и короли уехали. Вчера держали мы вольнокаменщическую ложу. Старший Щербинин был принят. Гейие, Препаратор, делая с ним начальные путешествия, говорил хорошо, то есть с чувством, напомнив ему два раза о недавно умершем брате. *Вот масонство!* Черные души только не могут любить или по крайней мере уважать его.

У Штейна обедал с Чарторыжским и Радзивиллом.

Умные они люди, но сожалею, что не понимают, как благоустроение государства или что сама Россия может созидать свое счастие на несправедливости. Штейн и Чарторыжский — люди, не раздумывающие, что *угнетение одного класса граждан другим может когда-либо быть залогом благосостояния великого и нравственного доброго государства.*

Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное, (почти) необъемлемое пространство! Какое отечество! Как теряют те, коих одна только природа привязывает к их родине, а не вместе с нею образованность жителей, обработанность земли и климат!! Это я чувствую. Нельзя более любить своего отечества, как я люблю Россию; но всегда, при мысли об отечестве, мысль некоторой жалости, мрачная и печальная, побеждает все другие мысли. Прежде, например, живя в Геттингене, при мысли об отечестве сердце билось от радости, от восхищения. Где то время! Теперь напротив. В перемене сего чувства, конечно, люди гораздо более причиною, нежели природа.

Ужасное пространство России! Как управляют ею из Петербурга? Как управлять ею?

Настоящий переворот в Европе переменил весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь или негодными, или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, быв истинами до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия! В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя. Сия последняя может быть лучше или хуже, но всегда должна быть и останется хорошею, полезною».

Раннее утро. У Николая Тургенева болит голова. Подходит к форточке и не находит ее на месте. Хочет взять золоченую стопку, подаренную Сергеем в детстве,— она еще вчера стояла на маленьком столике перед кроватью,— ее нет. Начинается незнакомое беспокойство. Широко открыв глаза, осматривает комнату. Обои с огромными цветами вместо маленьких листьев душистого горошка на стенах. Огромные широкие простенки. Маленькие окна с невероятно широкими подоконниками вместо хорошо знакомых огромных итальянских окон в три ряда, сквозь которые виден собор и площадь Франкфурта.

Тургенев берет полотенце со стула. Выливает на него графин воды, мочит себе виски и обвязывает голову.

— Со мной что-то случилось,— говорит он громко.— Еще вчера было все на месте.

Шатаясь, оборачивается, чтобы лечь в постель.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спрашивает человек в белом халате и подхватывает Тургенева, так как тот вместо ответа во весь рост падает на пол.

В коридоре слышатся голоса:

— Это началось по дороге на Вену. Бред и высокая температура. Во Флорисдорфе пришлось его снять.

— А как сейчас? — раздается голос.

— Сейчас просто крайняя славянская впечатлительность. Он уже вне опасности.

— Кто вне опасности? — кричит Тургенев через дверь.

Дверь отворяется. Входит Репнин, а через его широкое плечо саркастически улыбается Штейн.

— Ну что же, дорогой, надо поправляться к началу конгресса! Завтра — открытие. Съехались властители Европы. Вена веселится. Сейчас самый блестящий момент. Жаль, что первая сессия прошла без вас.

— Какая сессия? — спрашивает Тургенев с испугом.— Ради бога, объясните мне, где я и что со мной.

— Выехали вы из Парижа месяц тому назад, и вот сегодня первый раз имею удовольствие разговаривать с вами. Вы, сударь мой, буянили, как бандит, разбили окно кареты, едва не утонули в озере. У вас была серьезнейшая лихорадка. Вы, вероятно, даже не знаете, какие дела сейчас сделались во Франции. Наполеон давно низложен, был сделан губернатором Эльбы. Талейран приехал на Венский конгресс, провозглашая принципы единственной бескорыстной страны — Франции, желающей Европе одного только мира, а неделю тому назад снова гремели пушки в двадцати километрах от Брюсселя, снова под командою Наполеона. Сейчас все кончено.

— Боже мой, ведь это тысячи лет,—говорил Тургенев.

— Да,— снова заговорил Штейн.— Событий хватило бы на столетия...

Уже на что легкое гусиное перо, но даже от него рука дрожит, как от неимоверной тяжести. Однако десятого февраля 1815 года Николай Тургенев писал:

«Вот уже шестая неделя, как я не схожу почти совсем с постели. Сначала доктор ласкал меня скорым выздоровлением, но теперь срок моего заключения опять отдалился.

При всем том, однако же, он уверяет своим честным словом, что через две недели я буду выходить».

После страницы дневника опять долгое беспамятство. Двадцать пятого февраля писал:

«Вот уже два месяца как я болен».

А четвертого марта снова пишет:

«Вот уже три недели как я не встаю с постели. Желаю выздороветь не столько от скуки лежать, но для скорейшего окончания наших дел».

Двадцать пятого июня, уже выздоровев, во Франкфурте был на собрании масонской ложи св. Иоанна. Вернувшись вечером, перечитывал свой парижский дневник. Долго не узнавал своего почерка, и даже первой мыслью было, что в те до дна забытые времена не мог он сам так писать, что кто-нибудь, шутя над ним, вписал в дневник эти нешуточные строки. Буквально написано было следующее:

«Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное, (почти) необъемлемое пространство!.. Как теряют те, коих одна только природа привязывает к их родине, а не вместе с нею образованность жителей, обработанность земли и климат!! Прежде... при мысли об отечестве сердце билось от радости... Где то время! *Теперь напротив.* В перемене сего чувства, конечно, люди гораздо более причиною, нежели природа».

И дальше уж совсем не тургеневские строки:

«Ужасное пространство России! Как управляют ею из Петербурга? Как управлять ею?

Настоящий переворот в Европе переменил весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь негодными или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, быв истинами до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия! В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя. Сия последняя может быть лучше или хуже, но всегда должна быть и останется хорошею, полезною».

Первый приступ тоски почувствовал в часы ночного приезда в замок Полижи. Приехал верхом. Во дворе, окруженном стенами с бойницами, с огромными башнями, стояли повозки. Зажженные фонари и факелы бросали бегающий свет по стенам. Люди на тенях превращались в гигантов. Вот тут холодный ум не мог сдержать бешеной

игры воображения. Вдруг ощутил тоны и звуки давно умершей феодальной Франции. От этого чувства столетий, опадающих, как листья на осенних деревьях, закружилась голова. Вот когда началась болезнь.

«Быть может,— думал Тургенев,— болезнь вызвала эти размышления, а быть может, обратно».

Взглянул в окно. Спокойные воды Майна с большими речными судами у пристани блестели при свете месяца. Тургенев посмотрел на тетрадку.

— Почерк, несомненно, мой,— сказал он.— Да и что за болезнь, что за расстроенность воображения предполагать чужую руку?

Читал дальше:

«После того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, *освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я поручился бы за успех даже скорого переворота.*

Вот венец, которым русский император может увеичать все свои дела. Если он теперь этого не сделает, то нельзя и надеяться на такую перемену».

— Да, конечно, это я писал,— громко сказал Тургенев и читал дальше:

«29 апреля 1814 года. Утро. Что за французы! В то время как другие народы пользуются несчастиями и внутренними переворотами и присвояют владычество (souveraineté) себе, вручая королю исполнительную власть, французы тоже теперь кричат, но о чем? О том, кому они *принадлежат!* Одни кабалят себя Лудвигу, другие думают, что гораздо славнее быть рабом Наполеона. Вчера в Palais Royal разговорился я с одним французом, который был сего последнего мнения и без пощады бранил Бурбонов. Но между тем французский народ не видел еще никакого полезного действия революции. Он остался без конституции и в деспотизме. Какое несчастие, какой стыд для целого народа! Драться, резаться, убить короля за свободу и потом, после жесточайших войн, прийти на то же место, с которого пошли за двадцать пять лет!

Пришедши вчера домой, я нашел приглашение в du Point parfait. Это приглашение обрадовало меня более обыкновенного».

Глаза Тургенева быстро бегали по строчкам. Описание масонских лож, шотландской ложи «Иерусалима», немецкой — «Железного креста», французской ложи «Восхититель мироздания». ...Все это призраки быстро тающего времени, все это безвозвратно исчезающие минуты волнения сердца, глубокие и странные, о которых тем не менее

исчезает память. ...Кончился Венский конгресс. Вот опять через несколько страниц странные, совсем не тургеневские суждения о Петербурге:

«Решившись ехать в Петербург, я решился на многое. Все неприятности сносить с холодностью и презрением. Будет же меня иногда поддерживать идея о экспатриировании».

И дальше вдруг неожиданное заключение:

«2 сентября 1814 года. Повечеру был в Редуте. Монархи и монархини пришли часу в одиннадцатом. Зала, сделанная из манежа, весьма хороша и освещена была чрезмерно светло, так что трудно было смотреть на сие. Императрицы, как торбы, сидели в большой зале. Императоры и короли стояли, как ослы в стойлах. Трудно было даже смотреть на вюртембергского короля, каково же было ему стоять: брюхо у него ужасное. Что, если б все эти владетели или по крайней мере трое из них были совершенно согласны и поклялись бы за стаканом вина удержать мир в Европе лет пятьдесят или более! Всем этим королям и императорам весьма трудно знать состояние народа, различных классов оного и так называемое общее мнение, что короли и императоры живут в совершенно другой сфере, нежели народ: они окружены новою *придворною атмосферою*, которая так густа, многосложна, что мешает им дышать обыкновенным воздухом. К тому же все окружающие их имеют свои выгоды стараться как можно более отделяться от массы народа и прилепляться к этому придворному миру.

...Ах республики! Люди, более похожие на ангелов, нежели на людей, изобрели республиканское правление — идеал всего человечества.

...думал о некоторых переворотах в России и о том, как бы я стал там действовать, если бы у меня были средства. Я чувствую, что мне или духу моему в моем теле узко и если б я начал действовать в теперешнем моем расположении, то дела мои, быть может, не имели бы последовательности, но все носили бы печать энергии».

«Странный конец дневника»,— думал Тургенев.

«В течение всего времени сделал я печальную опытность, которая частью разрушила мои сладостные надежды о благополучии любезного отечества».

Тургенев вскочил и заходил по комнате. Теперь жизнь вставала перед ним настоящей, неприкрытой реальностью. Он ощущал себя в каждой строчке автором этого дневни-

ка. Месяцы болезни словно выпали из сознания. Он снова вернулся в себя.

До какой степени памятен этот день, когда с отчетом о делах комиссии он и Штейн говорили с Александром I.

Вдруг простая мысль о том, что после деловых экономических трактатов Венского конгресса русский царь перешел к замыслам об истреблении самой идеи свободы. От прежних мечтаний не оставалось и следа.

Тургенев читал в дневнике:

«О судьба, как играешь ты легко верностью людей, как жестоко смеешься над их слабыми, но справедливыми и честными замыслами! Давно мудрые говорят, что легче узнать глубину моря, нежели тайные изгибы сердца человеческого!»

...Ясно представилась картина. Маленький мозаичный стол. Бронзовая чернильница, скорее похожая на солонку. Громадное перо с позолоченным очином. Песочница с золотистым тончайшим песком для подсушивания строк и рука — тонкая, длинная, женственная, озлобленно и нервно барабанящая пальцами по отчету Штейна, в то время как глаза сидящего царя, улыбаясь и сияя аквамариновым блеском, смотрят на Тургенева, а губы, сложенные в пленительную улыбку, произносят обращенные к Штейну слова преувеличенных похвал, обещаний неслыханных милостей...

«Вот именно после таких высокомилостивых речей петербургские сановники немедленно подают в отставку»,— подумал Тургенев, хорошо знающий эту манеру царя.

Подавляя в себе любопытство психолога, Тургенев стремился не слишком пытливо глядеть в лицо Александра, так как эта пытливость немедленно вызывала перед его глазами другое, поразительно схожее с лицом русского царя лицо: перед вечером летом на Итальянском бульваре в Париже эту же самую пленительную улыбку и это же самое холодное сияние аквамариновых глаз видел он у лоретки в голубом платье с розовым зонтиком. Белокурая бестия, наглое и алчное животное, французская кокотка и русский царь! Тургенев сам испугался этого сопоставления, а между тем было какое-то с ног сбивающее сходство, и пока мысль отчаянно искала, в чем оно, Тургенев, напряженно задумчивый, почти не слушал царя.

Александр был доволен его внешностью. Он глубоко оценил эту серьезную, напряженную внимательность своего комиссара. Русский царь, в этот день сломавший карьеру Штейна, решил высоко вознести Николая Тургенева.

Кончая последнюю закругленную фразу, Александр

кивнул головой. Докладчики откланялись. И вдруг Тургенев понял. Черта сходства — лживость.

Вот почему в дневнике двадцать третьего декабря 1814 года стоит подчеркнутая фраза: *«Наружность обманчива. Должно иметь столь невероятное и ужасное доказательство.* Святая надежда, не обмани ожиданий чистейших и справедливейших, ожиданий блага отечества. Но с чем встречаются мои мечтания? Дух безбожного невежества, грубых предрассудков, дикие крики исступленного самовластия встречают сии мечтания, но не заглушают стенаний невинно угнетаемого человечества».

Глава двадцать вторая

Н. И. Тургенев занимался, как сам говорил, маленьким делом. Тургенев, комиссар, проводивший финансовую реформу и занимавшийся ликвидацией военных расчетов и долгов, стоял на каменной площади франкфуртского пожарного двора и смотрел, как с огромных возов стаскивают кипы русских кредиток и ассигнаций, кладут на дровяной помост и ждут его приказа. Господин комиссар — Николай Тургенев — медлит секунду. На этом холодном лице появляется улыбка при мысли о том, в скольких руках побывали эти русские кредитки, сделанные наполеоновскими типографщиками. Когда-то, во времена Конвента, когда головы французских аристократов торчали на кольях крестьянских виноградников, а в Париже ликовали красные фригийские колпаки, англичане дали первый сложный урок фальшивых денег французским санкюлотам. У Дюнкерка и Кале, на песчаных дюнах с соснами, почти на границе с Голландией, рыбаки находили огромные короба хорошо упакованных фальшивых французских денег. Вчерашний бедняк становился банкиром, и эта зараза фальшивых денег плыла по Франции с севера на юг, давая бешеный фантастический успех на короткий срок одним и слезы от разорения другим. Фукье-Тенвиль, Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон посылали лучших разведчиков революционной Франции искать очаги этой заразы. Все нити вели на север, на недосягаемый остров, где гражданин Брок и сэр Вильям Питт, согревая холодную и терпкую кровь крепким алкоголем, флегматически, но упорно строили новые козни Конвенту. Разваливался рынок, безумно прискакивали цены, деньги ничего не стоили. Их было так много, что можно было выложить кредитками шоссе от Парижа до Марселя. И не было сил остановить этот поток. Урок был принят хорошо. Бонапарт выпускал в России

своих фуражиров, свои эскадроны разведчиков, из которых каждый был академиком-географом, профессором-этнографом и чертом-разведчиком в человечьей шкуре. Эти люди мастерски повторили английский урок в России. Там, где английские холерики брали медленным упорством, сангвиники-французы брали быстротой и утонченной хитростью. Бешеные темпы их ударов посылали фальшивые деньги в такие края России, где меньше всего ожидал Александр. Все заграничные расчеты, производившиеся русскими рублями, были подорваны. Хлеб стал валютой. Его было мало. Люди, когда-то караулившие по большим дорогам проезд мальпостов, бросавшиеся с криками и выстрелами на путешественников, обиравшие дочиста проезжих, теперь искали не денег, а хлеба. Толстые бумажники русских купцов, немецких генералов, австрийских священников вышвыривали тут же, не считая денег. Бедные немецкие семьи, в домах которых стояли русские солдаты, насильно принуждены были отдавать последнее и с горем прятали кипы ненужных денег в тех редких случаях, когда господа русские офицеры удостаивали платежом.

Но совсем не потому и не от этих мыслей улыбка пробежала по лицу Николая Тургенева. Он думал еще о том, что к этим заведомо фальшивым деньгам он присоединил кипы настоящих кредиток последнего выпуска, а для того чтобы это уничтожение бумажного хлама, вводящего людей в заблуждение, достигло действительного успеха, он вчера, взявши измором двух комиссаров нейтральных стран, заставил их скостить с русского долга восемьсот тысяч золотых гульденов. Это была трудная операция. Тургенев думал: «До какой степени своекорыстны правительства, забывающие в расчетах на золото о самом драгоценном расходе — простой солдатской крови!» Чувство огромного омерзения от этого спора делало Тургенева жестоким и напор его беспощадным. Под конец выкуривая в комиссии трубку за трубкой, он решил не спать, не вставать, не кончать комиссии до тех пор, пока не добьется своего. Там, где объективная логика была не на его стороне, он дипломатически выдвигал ему известные материальные соотношения сил и, в сущности, взял измором.

Тургенев махнул платком. Рыжеволосый короткий, толстый пожарный нагнул факел. Дрова вспыхнули.

— Долго горят,— сказал немецкий уполномоченный.

— Но они много сожгли сами, прежде чем сгореть,— сказал Тургенев.— За четыре года сколько человеческого счастья успели сжечь эти деньги.

В этот день Тургенев сделал пометку в журнале:

«О разных способах, кои служили в различных государствах для уничтожения рабства».

Захлопнул книгу и стал собираться. Слуга немец помогал укладывать вещи. Маленький баул, в котором были самые необходимые предметы, Тургенев любил набирать сам. Всегда самое верхнее место в нем занимала очередная тетрадь дневника. Перед тем как положить его в баул, Тургенев снова раскрыл очередную страницу и надписал против строчек «о способах уничтожения рабства» слова: «Да будет эта мысль моею путеводною на обратном пути в ужасный Петербург. Тишина и прекрасная погода сейчас возбудили в душе моей одно из тех чувств спокойствия и свободы, которое ощущал я некогда гораздо чаще. Наслаждайся настоящим,— говорит мне это чувство,— придет время, ты со вздохом вспомнишь о нынешней минуте. Предстоящий мне ужас делает приятной настоящую ничтожность».

Уже сидя в мальпосте, Николай Тургенев получил письмо от брата Сергея. С восторгом пишет, что прибалтийские крестьяне получили личную свободу, но без земли, и что матушка Катерина Семеновна, хотевшая прикупить еще две деревеньки, задумалась и от этого намерения отказалась.

«...стоит ли обзаводиться мужиками, когда не нонче-завтра помещиков разорять станут».

«Да, действительно не стоит,— подумал, улыбаясь, Николай Тургенев.— Матушка остается себе верна».

Желтая карета с серебряными трубами на дверцах, желтый почтальон с красиво загнутым рожком на ремне через плечо, кучер в тирольской шапке, шестерка усталых, ребрастых лошадей и дорога, поднимающая белую пыль. Тургенев с наслаждением смотрел в окно кареты. Трубил рожок, и посвистывал веселый осенний ветер. Мальпост по дороге на Берлин был полон. Светило яркое солнце. Немецкие крестьяне работали в полях. Птицы поднимались с тополей стаями. Деревья качались, раскидывая по ветру широкую листву. Нагибались травы в лугах под ветром. В мальпосте налаживалась беседа. Ни одного знакомого пассажира.

«Это хорошо»,— думал Тургенев.

Быстро сговорились и разрешили друг другу курить, так как не было женщин. Толстый баварец рассказывал громко анекдоты, пользуясь тем же правом; его соседи громко хохотали. Тургенев не слушал этих анекдотов для

курящих и с жадностью ловил спокойные голоса двух немцев, рассуждавших где-то у него за спиной ни более ни менее как о природе современной власти. Оба говорили чрезвычайно ученым языком. Один отмечал, что «власть есть выражение волевой равнодействующей всего народа. Если народ безволен, то власть деспотична».

— Твои рассуждения похожи на Делольмовы суждения об английской конституции,— возражал говорившему сосед.— В сущности говоря, всякая власть есть тирания, заслуженная массой глупцов. Властвуют умные негодяи над стадом тупоголовых баранов. Всякий народ заслуживает свое правительство. Сатрапы древней Персии, деспоты древней Азии так же необходимы и так же естественны, как следствие, необходимо вытекающее из причины.

— А общественный договор?

— Ну, общественный договор — это наивная легенда господина Руссо, которую французы развенчали уже в дни Конвента. Я не верю ни в разумную организацию общества, ни в благородство власти. Разве не блестящим примером является нынешний год? Над Европой одержало победу организованное зверство московских дикарей. Русский самодержец, навалившись ордой своих бородачей на Париж, диктовал Европе условия. Это же возмутительное издевательство над самой идеей цивилизации. Непросвещенная толпа широкоплечих мужиков задавила страну философии и социальных идеалов.

— Жалею, что я не записал твоих слов в прошлом году. Ты совершенно то же говорил по поводу власти Бонапарта. Ты непоследователен.

— А, я очень рад, что ты об этом вспомнил. Именно тут-то и был я наиболее последователен. Все истины относительны. То, что было истиной год тому назад касательно Франции, теперь истина касательно России.

— Но ведь это же полная беспринципность!

— Я не боюсь страшных слов,— ответил собеседник.— Истины выцветают так же, как плохая краска на ткани. Ткань перегорает, все меняется, и все течет.

— Печальная философия,— возразил собеседник.— Интересно было бы посмотреть на тебя в какой-нибудь канцелярии через год, через два.

— О, это совершенно неинтересно! Я научусь получать жалованье и защищать ту действительность, которая обеспечивает мне возможность дышать и двигаться. Я неприхотлив. Я даже согласен посещать церковные службы, еженедельно ходить на исповедь с абонементным билетом

для отметок священника. Я считаю исповедь самой серьезной и самой хорошей дисциплиной, так как один неверующий человек рассказывает другому неверующему все глупости, какие приходят ему на ум. Исповедь — это хорошее зеркало, а взглянуть на себя иногда бывает чрезвычайно интересно.

Собеседники замолчали. Тургенев украдкой посмотрел на них. Оба были молоды и оба носили печать усталости и даже измученности на лицах. Казалось, что они недавно расстались с университетом. Смесь Макиавелли и Фридриха Великого наложила отпечаток на их немецкие умы. Тургенев пытался заснуть. Пружина давила в бок. Скрипели рессоры. Песчаная дорога хрустела под колесами. Щелкал бич. Покрикивал форейтор. Пел рожок. Старый длиннобородый еврей храпел рядом с Тургеневым, и Тургенев тщетно пытался следовать его примеру. Так доехал до маленькой почтовой станции, на которой производилась перепряжка лошадей. Четыре пассажира вышли. Вошли двое. Один — элегантный молодой человек с мягкой улыбкой — вежливо поздоровался и занял место перед Тургеневым, сев к нему лицом. Другой — огромного роста, с зверским лицом, в поношенном платье, с глазами, не внушающими никакого доверия,— к неудовольствию Тургенева, сел рядом с ним. Молодой человек с тревогой и подозрительностью посматривал на своего соседа. Ражий парень с курчавыми волосами, с узловатыми корявыми руками, покрытыми шерстью, смотрел на Тургенева с каким-то диким и буквально зверским выражением.

«То ли у меня больные нервы,— думал Тургенев,— то ли действительно мой сосед опасен». Но беспокойство овладело Тургеневым сильно.

Элегантный молодой сосед, по-видимому, разделял опасение Тургенева. Обращаясь к нему по-французски, он произнес:

— Меня очень удивляет порядок, позволяющий впускать в почтовые кареты подозрительных лиц.

Тургенев пожал плечами и сказал:

— Вполне разделяю ваши опасения.

Ражий парень молчал с мрачным видом. У него не было никаких вещей, он был очень плохо одет, посматривал на соседей бегающими глазами и не проронил ни слова.

Тургенев разговорился с молодым человеком. Последний держал маленький саквояж на коленях и, ловко уклоняясь от толчков дилижанса, шлифовал ногти маленькой щеточкой. Произнося малозначащие фразы, он

постепенно выспрашивал Тургенева, кто он, куда едет и какая цель поездки.

Мальпост выехал на ровную и широкую дорогу. Колеса бесшумно покатились по ровному шоссе. Толчки прекратились. Прекратились вопросы собеседника. Тургенев зевнул, прислонил голову к кожаной подушке и заснул.

Проснулся он от толчка и, открыв глаза, не сразу понял, в чем дело. Внутри кареты все говорили наперебой. Ражий парень держал элегантного тургеневского соседа за обе руки. Тот стремился ударить держащего ногой. Крики негодования и ругань пассажиров оглушили Тургенева. И вдруг во мгновение ока он понял все. Тургеневский бумажник из красного сафьяна с большим золотым гербом сверкал и переливался в руках элегантного молодого человека.

Ражий парень кричал Тургеневу:

— Берите у этого мерзавца ваш бумажник, чтоб он не выкинул его в окно!

Тургенев наклонился. Взял бумажник правой рукой, но элегантный молодой человек никак его не уступал. Вцепившись шлифованными ногтями в сафьян, он держал его как стальными крючьями. Тургенев рванул обеими руками, и бумажник оказался у него в руках. Глубокие черты ногтей остались на сафьяне.

«Ничего не понимаю,— думал Тургенев.— Как все это могло случиться?»

Пассажиры шумели и требовали друг от друга молчания, так как ничего нельзя было разобрать.

Наконец один, молча развязав свой чемодан, накинул веревку на плечи молодого человека и с помощью державшего его парня завязал руки вора.

Мальпост остановился. Пассажиры с волнением вышли и вывели связанного.

— Что с ним делать? — спрашивали все Тургенева.

Тургенев пожимал плечами и говорил:

— Отпустить на все четыре стороны!

Немцы неодобрительно качали головами.

— Это невозможно! Мы обязаны доставить его как преступника до первого полицейского пункта и передать его в руки властей.

— Но в таком случае его придется иметь соседом в мальпосте!

Ражий парень со зверским лицом вдруг осклабился. Лицо стало необычайно добродушным и веселым.

— Ничего, пусть он будет моим соседом,— сказал он громко.

Приключение закончилось сдачей шуцману молодого человека, производившего прекрасное впечатление, ражим парнем, принятым за бандита. С момента этого происшествия сонливая вялость овладела Николаем Тургеневым. С ослабленным пульсом и веками, которые почти не держались на усталых глазах, он, поминутно вздрагивая и просыпаясь, продолжал путь, пропуская очередные остановки, почти не принимая пищи и чувствуя в короткие промежутки, проводимые без сна, приливы страшной тоски.

Глава двадцать третья

Дневник Н. И. Тургенева.

«С.-Петербург, 7 ноября. Я не записывал того, что я чувствовал при въезде моем в Россию и во время пребывания моего в Москве и здесь. Но чувства сии сильно запечатлелись в душе моей. Все, касающееся до России в политическом отношении, то есть в отношении к учреждениям и управлению, казалось мне печальным и ужасным; все, касающееся до России в статистическом смысле, то есть до народа, свойств его и т. п., казалось мне великим и славным; конечно, климат и не таковое инде благосостояние народа, каково бы оно быть могло, делают в сем последнем исключение. Порядок и ход мыслей о России, который было учредился в голове моей, совсем расстроился с тех пор, как заметил везде у нас царствующий беспорядок. Положение народа и положение дворян в отношении к народу, состояние начальственных властей, все сие так несоразмерно и так беспорядочно, что делает все умственные изыскания и соображения бесплодными. С тех пор как я здесь, замечания мои привели меня к еще более печальным результатам. Невыгода географического положения Петербурга в отношении к России представилась мне еще сильнейшею, в особенности смотря по нравственному отдалению здешних умов от интересов русского народа. Все сие часто заставляло и заставляет меня сожалеть, что я не искал остаться в чужих краях, то есть в Париже; но идея жить в чужих краях делается мне час от часу более знакомою. Бросить все, отклонить внимание от горестного состояния отечества, увериться в невозможности быть ему полезным,— вот к чему — думаю я часто — должно мне стремиться. Посвятить себя на службу не стоит труда по причине малой возможности быть полезным так, как бы мне хотелось. Приятностей жизни здесь нет, да я начинаю уверяться, что и нигде их для мыслящего человека не существует. Живя в Париже, можно воображать по край-

ней мере, что живешь и наслаждаешься жизнию — в других местах и сего утешения иметь невозможно. Занятия здесь по службе, сколько я предвижу, не могут быть достаточными, pour absorber l'âme et le coeur[1]. Что делать? Молчать и жить, почитая себя машиною. Но зачем душа всегда желает перемен, желает лучшего и видит даже возможность сего лучшего? Зачем сердце не довольствуется собственным благополучием? Зачем оно предпочитает сему благополучие других?»

Не сразу и как-то медленно происходили встречи с друзьями. В отличие от прошлых лет не было сердечности и простоты. Улетучилось в пространство какое-то теплое вещество. Казалось Тургеневу, что надо всей землей индевеет зимний сумрак, зябнут мысли и зябнет сердце. Сам не зная как, стал работать над планом *полного преобразования России*. Он пишет «План реформ на двадцать пять лет». Каждая часть плана осуществляется в одну пятилетку; в течение пяти пятилеток мир должен увидеть новую Россию. Но с чего нужно начать первую пятилетку? С подготовки человеческого материала. За пять лет отборная молодежь должна обучиться и детально разработать план финансов и народного хозяйства и приняться за его осуществление.

По вечерам перечитывая этот план, Николай Иванович самого себя считал наивным, но потом им овладевало бешеное, чисто тургеневское упорство, и он снова принимался за пересмотр и разработку деталей.

Посещал литературное содружество «Арзамас». Нащупывал почву.

Двенадцатого ноября писал: «Вчера был я при заседании «Арзамаса». Ни слова о добрых намерениях сего общества. После заседания говорил я с Карамзиным, Блудовым и другими о положении России и о всем том, о чем я говорю всего охотнее. Они говорят, что любят то же, что и я люблю. Но я той любви не верю. Что любишь, того и *желать* надобно. Они желают цели, но не желают средств. Все отлагают — на время; но время, как я уже давно заметил, принося с собою доброе, приносит вместе и злое. Вопрос в том: должно ли быть, что желательно? Должно. Есть ли теперь удобный случай для произведения чего-нибудь в действо? Есть; ибо такого правительства или, лучше сказать, правителя долго России не дождаться».

Воспитанник Лагарпа, друг Чарторыжского, проповед-

---

[1] Чтобы поглотить душу и сердце (*франц.*).

ник либеральных идей, мог ли Александр I не откликнуться на призыв такого человека, как Тургенев? Очевидно, не мог, очевидно, законченный план новой России встретит его поддержку, если в числе первых актов Александра в 1816 году было назначение Тургенева помощником статс-секретаря Государственного совета.

Жили с братом Александром Ивановичем в его казенной квартире на Фонтанке в двадцатом номере, прямо против Михайловского замка, в третьем ярусе. Во втором ярусе жил министр просвещения и духовных дел, при коем состоял Александр Иванович.

На третий ярус взбегал по лестнице, шагая через четыре ступеньки, оттопыривая верхнюю губу на каждом прыжке, белокурый, с огромными голубыми глазами, только что кончивший лицей Александр Пушкин, стучал бешеными ударами в дверь и, уже в прихожей наполняя воздух шумом, смехом и остротами, врывался к хозяевам. Он был всеобщим любимцем. Он был так беспечен, так восприимчив ко всем явлениям жизни, так отзывчив на всякий отзвук явлений, что всюду, куда он приходил, он перестраивал мысли, разговоры, чувства и настроения. Два места любил он в те дни: кабинет Тургеневых, где можно было, лежа на большом столе для книг, писать стихи, петь и читать; невзирая на уговоры братьев, мешать им как угодно, декламировать, присев на стол и закинув ногу на ногу, оду «Вольность», написанную однажды на этом самом столе, и без конца слушать разговоры старших друзей. Здесь, в этом кабинете, в этих комнатах, как ему казалось, выковывались идеи нового века, создавались проекты новых цивилизаций, слышались отзвуки лучших культурных эпох. Катенин спорил с Вяземским о драматургии, Карамзин и Жуковский замолкали внезапно, когда звучные пушкинские строфы останавливали общую беседу.

Второе место — вход в Зоологический сад в час закрытия. Красивая билетчица подсчитывает последние алтыны и кредитки, потом, накинув легонькую мантилью на плечи, берет Пушкина под руку и садится с ним в экипаж. Вяземский об этих проделках писал не без горя Тургеневым.

Куницын, Орлов и офицерство, приверженное новым идеям, были постоянными гостями дома на Фонтанке.

Насколько трудна была петербургская обстановка царской России для одного брата, настолько она была легкостью и приятностью для другого. Александр Иванович купался мыслью и нежился умом в беседах с просвещеннейшим дворянством. Снисходительно относясь к пушкин-

ским шалостям, он считал Пушкина чуть ли не воспитанником своим. Будущее казалось ему прекрасным.

После первых столкновений с Александром на почве сомнений разговоры Николая стали более сдержанными, и в скором времени доверчивость между братьями уступила место традиционной официальной почтительности и традиционным семейственным чувствам. А между тем для сомнений Николая Тургенева возникало все больше и больше настоящих поводов. Чувство недоверия к словам Александра I охватывало наблюдательного Николая Тургенева все чаще и чаще при столкновении с делами. Слово настолько расходилось с делом, что это могли бы заметить и другие, если бы хотели, но уж слишком многие, уставши от войн, ушли и от либеральных идей. Николаю Тургеневу пришлось искать иные человеческие группы, а эти поиски требовали времени.

Ласковость Александра I была пленительна. Жестокость Аракчеева внушала всем ужас. Александр и Аракчеев были неразлучными друзьями. Можно ли жить при таком противоречии и не видеть его? Николай Тургенев изнурял себя непосильной работой в департаменте, стремясь изучить финансовое состояние страны, и эта мучительная работа в ночные часы, когда уходили последние гости, когда на письменном столе догорала четвертая смена свечей, когда вороха бумаги, начиная от докладных записок и простых человеческих документов, доверху наполняли письменный стол, подтачивала его богатырское здоровье. Как часто встречал он наступление бледного туманного дня в Петербурге. Светлела узкая полоска над шторой, нагорали и оплывали свечи. Погасив их, Тургенев пил кофе и шел в Государственный совет.

В один из таких дней, под влиянием неожиданного импульса, встретив Аракчеева в пустынной галерее, остановил его словами:

— Алексей Андреевич, в Лондоне есть должность генерального консула не столь для защиты русских граждан, сколь для изучения тамошней жизни и торговли. Вы сейчас идете к государю, доложите мою всеподданнейшую просьбу о назначении в Лондон.

Аракчеев просиял улыбкой. Этот либеральный барин, переставший быть россиянином, вскормленный европейскими мыслями, вдруг обращается с просьбой к нему, Аракчееву!..

— Беспременно скажу, Николай Иванович. В совете буду в два часа пополудни и ответ его величества передам.

Ответ был отрицательный. Александр внутренне раз-

гневался, думая, что Тургенев замышляет побег. Через секунду с веселою улыбкою сказал:

— Скажи ему, Алексей Андреевич, что место это ниже его и вдобавок там мало жалования.

Аракчеев передал в точности. Тургенев горестно опустил голову и, отходя с прихрамыванием по паркетам залы, произнес словно про себя:

— Не жалования ищу, а полезной должности.

И эти слова были переданы царю. У Александра I были приступы сентиментальной восторженности. Слова Тургенева показались ему отзвуком его собственных розовых мечтаний «о полезной царской должности в Российской республике». Умилившись собственной чувствительности и не задумываясь над нелепостью этой мысли, Александр просил передать Тургеневу свое чувство восхищения этими бескорыстными словами.

В столовой Александра Ивановича в восемь часов вечера собрались к чаю все три брата по случаю приезда из деревни Катерины Семеновны. С матерью не виделись давно, и встреча была не из приятных. Катерина Семеновна стала стареть. Она ласково посматривала только на одного Сергея, без умолку болтавшего о парижских приключениях воронцовского корпуса, при котором он состоял штатским секретарем, вернее комиссаром по гражданским делам. Катерина Семеновна, перебивая его неоднократно, говорила, что жалеет о прихоти покойного Ивана Петровича, давшего всем троим своим детям заграничное образование.

— Вы и сейчас геттингенские студенты, а не российские дворяне; подождите, скоро будет конец вашему либеральному душку. За вас примутся, как и за других.

Николай хмурился, не произнося ни слова. Катерина Семеновна делала все, чтобы отравить встречу с сыновьями сварливым тоном и брюзжанием. Она обвиняла их во всех политических горестях Европы и во всех собственных помещичьих неудачах.

— Жаль, что не могу вас ни выпороть, как прежде, ни надрать вам уши,— с Волги до вас не достанешь; хоть уши у вас выросли ослиные — через стол рукой достать можно.

Николай Тургенев сделал вид, что он не слышал материнского обращения. К тому представился хороший предлог. Пришел почтальон с рекомендованным письмом на имя Николая Ивановича. Прочел, порвал письмо. Лоскутки бумаги положил в карман.

«Надо ехать в Москву. Подпись на вызове С и Б — Союз благоденствия созывается для обсуждения вопроса о закрытии, о прекращении своих действий. На душе тревожно».

С ловкостью опытного дипломата перевел разговор на тему о симбирской ткацкой фабрике, и через десять минут Катерина Семеновна, сама того не зная, с головой выдала себя как виновницу всех неполадок и неурядиц на фабрике.

«Так, матушка,— подумал Тургенев,— придется завтра же мне выехать в Москву, а оттуда поневоле съездить в Тургенево».

В Москву запоздал на три дня и едва успел переговорить с возвращающимся обратно Трубецким. Вечер провели вместе, твердо порешив на обломках развалившегося московского общества устроить новое в Петербурге Северное общество.

В Симбирске картину застал ужасающую. На тургеневской фабрике крестьяне работали посменно — как фабричные и как отбывающие барщину в поле. Катерина Семеновна, казалось, нарочно сделала все, чтобы создать нечеловеческую жизнь своим крестьянам. При громадном напряжении труда, при разбросанности сил на полевых работах и на ткацкой фабрике, имение не давало прибыли, а фабрика работала в убыток. Катерина Семеновна во всем обвиняла «проклятых мужиков». «Проклятые мужики» стонали и гнулись, но поправить хозяйского дела не могли, несмотря на сложную табель взысканий, которые все состояли из разных видов порки. В первый день неожиданного приезда первое впечатление — четырнадцать человек по очереди под розгой на фабричном дворе. Крестьяне со страхом ожидали новых распоряжений приехавшего барина. Но барин никого не взыскал, ни на кого не накричал, никого не поставил в рекруты не в зачет. Тогда испуг крестьян сделался всеобщим. Они привыкли к тому, что барыня распалялась яростью и гневом, и обильные связки лозинок расходовались после этих вспышек гнева в непомерном количестве. Если в данном случае приезд барина сопровождался перерывом наказаний обычного свойства, то, значит, он выдумал нечто такое, от чего волосы должны стать дыбом.

Зловещий барин, хмурый, хромой на левую ногу, с недовольным видом ежедневно выезжал в поле, ходил по деревне и по двенадцати часов сряду не выходил из помещения фабрики. Наконец роковой день наступил. Приказано было в воскресенье, после полудня, собраться всем мужи-

кам на фабричном дворе. Надели чистые рубахи, поплакали по домам и, почти прощаясь с семьями, пошли. Прождали недолго. Барин пришел, опираясь на трость, положил ее на некрашеный деревянный стол, вынесенный из фабричного корпуса, взглянул спокойными глазами на собравшуюся толпу и сказал:

— Фабрика у вас идет плохо. Работы кладете много, а толку получается мало.

— Батюшка, прости! — раздалось с разных концов.— Животы положим, лишь бы тебя не гневить.

Тургенев поднял руку. Лицо его болезненно искривилось. Он покачал головой и с глубокой горечью в голосе сказал:

— Я не о том говорю. С нонешнего дня у вас будет другой управитель, поставленный от меня, как от хозяина. Сегодня же выбирайте трех старост, по одному от цеха, и все непорядки, какие заметите, этим старикам докладывайте. Управитель фабрики есть доверенный от хозяина, а ваши три старика суть ваши защитники. Полевую барщину запрещаю назначать более трех дней в неделю. Ткачи и ткачихи барщину отбывают на фабрике два дня в неделю за жалованье. Понятно ли я говорю?

Никто не ответил. Шепот недоверия и удивления пробежал в толпе. Наконец вышел старик ткач Анисим, работавший на парусных фабриках князя Шаховского, и сказал:

— Ваше превосходительство, премного будем довольны, лучше пять дней работать будем, только не велите пороть.

Краска ударила в лицо Тургеневу.

— Кто приказал? — спросил он.

Молчание крестьян было настолько красноречиво, что Тургенев не переспрашивал.

— Телесных наказаний не будет,— сказал он.— Но не бывает так, чтобы виновных не было. На виновных придется налагать штраф, а размеры его определит ваш выборный фабричный суд. Выбирайте по цехам доверенных людей, поручите им сбор денег на случай чьего-либо несчастья. Я вам помогу как умею.

Гул одобрения пронесся в толпе. Крестьяне зашевелились. Тургенев предложил тут же в его присутствии произвести выборы. Два часа гуторила крестьянская толпа. Через два часа к Тургеневу подошли восемь человек — пять для суда и кассы взаимного вспоможения и трое «стариков», выбранных для защиты крестьянских интересов.

Вечером Тургенев был в Симбирске и из разговора с губернатором с удивлением заметил, что ему, губернатору, известно все до мелочей из происшествия этого знаменательного для Тургеневки дня.

— Опасное вы дело затеяли, Николай Иванович,— сказал старик, проходя мимо Тургенева.— Смотрите, как бы не взбунтовалась вся губерния!

Месяц прошел со дня введения нового управления фабрикой, когда в одно прекрасное утро бубенцы, глухари и поддужный колокольчик возвестили Николаю Тургеневу, сидевшему в старой детской комнате, откуда были видны заволжские леса и степи, что приехала Катерина Семеновна. Гнев ее был безграничен. Она решительно потребовала отмены всех разорительных новшеств, хотя не могла не отметить чрезвычайную чистоту фабричного двора, налаженность в работе и какой-то здоровый и спокойный дух ее крепостных. Эти явления скорее подействовали на нее отрицательно, но решительности ее тона был сразу же дан отпор. «Нашла коса на камень»,— говорили мужики, проходя мимо окон и слушая, как из столовой несутся крики и брань Катерины Семеновны и непреклонный, сурово-почтительный, твердый голос ее сына. Николай Тургенев говорил в ответ на бранчливые крики своей матери:

— Матушка, опасайтесь меркантильной заразы. Фабричная затея на принудительной барщине есть дворянская химера.

— Ах ты! — восклицала Катерина Семеновна.

Тургенев, вежливо поднимая руку, говорил:

— Дайте мне кончить, матушка! Я изучил экономику. Я знаю, что купец, устроивший свою фабрику по коммерческому порядку, следственно платящий своим работникам по вольной цене, получает и всегда получать будет более дохода, нежели помещик, у которого на фабрике работают его крепостные люди, без вольной платы.

— Тогда лучше я фабрику закрою.

— Да, лучше закрыть, чтоб не разориться, матушка,— говорил Тургенев.— Но помните, что я уже дал распоряжение о полной отмене полевой барщины. Земледелие в России не делает почти никаких успехов, а состояние наших земледельцев едва ли не то же самое, каково оно было при царе Алексее Михайловиче.

Как ни кипятилась Катерина Семеновна, но повернуть по-своему решение сына не могла. Закрыв фабрику и отпустив ткачей в деревню, выдав им отпуски на оброк в чужие промыслы, он выехал в Петербург. Сергея уже не было. Александр Иванович отнесся к операциям брата в

деревне сочувственно, но без горячности. Да ее и не ожидал Николай от старшего брата. Гораздо более близким ему оказался Сергей. Ему-то он и написал двенадцатого сентября из Петербурга о результатах симбирской поездки:

«Вот тебе отчет о моем путешествии в нескольких словах. Я нашел, что работа крестьян на господина посредством барщины есть почти то же самое, что работа негров на плантациях, с тою только разницею, что негры работают, вероятно, каждый день, а крестьяне наши — только три дня в неделю, хотя, впрочем, есть и такие помещики, которые заставляют мужиков работать 4, 5 и даже 6 дней в неделю. Увидев барщину и в нашем Тургеневе, после многих опытов и перемарав несколько листов бумаги, я решился барщину уничтожить и сделать с крестьянами условие, вследствие коего они обязываются платить нам 10 000 в год (прежде мы получали от 10 до 15 и 16 тысяч). Сверх того, они платят 1000 на содержание дворовых людей, попа и лекаря, с которым я заключил контракт на 2 года... Сверх того, я стараюсь теперь сколь возможно скорее уничтожить существующую у нас там фабрику, на что и матушка согласна. Оброк матушке не нравится».

Глава двадцать четвертая

— Пока солнце взойдет, ночная роса глаза выест,— проговорил молодой офицер, сидя за столом и попивая небольшими глотками красное вино.

— А что б ты предложил, Каховский? — спросил его собеседник Якубович.

— Что я предложил бы? Спрошу тебя, как бы ты назвал тесное содружество людей, вознамерившихся спасти человеческое общество?

— Я назвал бы его Союзом спасения.

— Вот об нем-то я тебе и говорю. Не желаешь ли быть членом оного?

— Всеми помыслами желаю,— отвечал Якубович.— Но что для этого сделать надо?

— Протянуть мне руку в знак согласия.

Якубович положил правую руку на стол ладонью вверх. Каховский пожал эту руку со словами:

— Разве можно обещания улучшенных правлений и чуть ли не республики нарушать так, как сделал это царь? За девятнадцать лет правления его изменились только формы мундиров гражданских. Но посмотри, что происходит! Со дня вооруженного истребления крестьян помещи-

цей Анненковой в Курской губернии недели не проходит без деревенских пожаров. Красный петух гуляет по России. Ни осенний дождь, ни зимний холод остановить его не могут, ибо вместо уничтожения рабства мы видим рабство еще более тяжкое — крестьянин из подневольного холопа превратился в машину. Он свой досуг, свое скудное время отдыха обязан строить по аракчеевскому ранжиру в военных поселениях. Тяжкая работа с плугом и сохою вместо отдыха чередуется с муштрою военною, но, значит, силен гнет, если три года не можем усмирить бунта военных поселенцев Новгородской губернии. На землях Буга вся уланская военная дивизия восстала, а почти на наших глазах военнопоселенцы чугуевских и таганрогских полков прямо пошли на смерть, не смогли вынести тягчайшего ига, о коем не ведали рабы древнего Рима и Египта.

— От красного вина ты красно говоришь,— сказал Якубович.

— А ты для красного словца не пожалеешь родного отца,— возразил Каховский.— Что я сказал неверного? Не от красного вина, а от красных кровавых луж, затопляющих деревни военнопоселенцев, болит мое сердце. Смотри, близок час, когда красный фригийский колпак покажется на площадях Петербурга. По Чугуевскому и Таганрогскому делу схвачены и брошены в тюрьмы две тысячи человек, и среди них не только холопы, а пятьдесят шесть офицеров, пошедших рука об руку с угнетенными. Разве это спокойная страна, разве можно задавить миллионы живых людей без того, чтобы они не закричали? А кто главный советчик царский? Образина, нетопырь Аракчеев, нонешний единственный докладчик по делам Комитета министров. Знаешь ты Ждановское дело, как в Комитете министров гладко сначала шла жалоба ждановских мужиков на продажу с раздроблением? Там ведь такое творилось, что волосы дыбом станут. Подумать страшно, что год тому назад это дело начато и еще не кончено до сегодня. Ты поставь себя в позицию мужа, от которого продают жену в другую деревню, в неволю, во время рекрутчины. Что бы ты стал делать? А вот курский помещик это делал и сейчас делает, хотя жалоба на него и лежит в Комитете министров. Хуже всего, что по указу Петра, напечатанному ровно сто лет тому назад, продажа крестьян не только без земли, но и порознь из одной семьи почиталась преступлением, а вот теперь спаситель Европы от варваров сам не может остановить варварских деяний своих разгулявшихся помещиков. Аракчеев даже не докладывает. Царь хмурится при слове «крестьяне».

— Что же, по-твоему, делать надо? — спрашивал его Якубович.— И не пошатнется ли государство от поспешного освобождения крестьян?

Каховский желчно усмехнулся.

— Вопрос твой подобен ребячеству. Не будет ли мне хуже оттого, что мне будет лучше? Прочти «Опыт теории налогов» Николая Тургенева и увидишь, из чего слагается богатство государства. Освободить крестьян выгодно, не только что человечно.

— Тургенев это почти что вельможа? — спросил Якубович.— Будущий министр, как о нем говорят. Знать его не хочу!

— Жаль,— сказал Каховский. — Ты и брата его не любишь?

— А брата терпеть не могу. Он задавил католиков. Правда, хорошо, что выгнал иезуитов, но уж очень он какой-то... не поймешь его, весь чужой, не русский. Тоже, кажется, обременен государственными делами по горло.

— Не русские-то они, пожалуй, все не русские, кроме разве умершего Андрея. Учились они в немецких землях, но знаешь, Якубович, ежели, чтоб быть русским, надо быть хамом, не хочу быть русским.

— Ну, допили вино, я пойду.

— Хорошо, брат, ты ради вина ко мне пришел — мог бы в трактире у Демута напиться.

— Я трактиры получше Демута знаю. Пойдем со мной! Или сыграем партию в шашки.

— А я советую,— сказал Каховский,— в другое пройти место.

Вышли на берег Невы. Неуклюжий широкий пароход Бердовской компании «Елизавета» пыхтел, пробираясь от Биржи к Балтийскому порту. Яркое солнце светило. Нева была спокойна и отражала белесоватое небо. Ярко горел шпиль Петропавловской колокольни, и адмиралтейский корабль на острой золотой игле купался в синем майском воздухе. Шли молча, каждый неся свои думы. Около Миллионной взвод Семеновского полка, сверкая на солнце гигантскими киверами, прошел словно призрак из племени сказочных гигантов.

Дворцы, немые и таинственные, огромные, как сооружения египетских времен, молчаливо смотрели на Неву, люди казались маленькими, у подъездов и вестибюлей, под колоннами и кариатидами, несущими балконы дворцов, человеческая порода мельчала, и, торжествующе попирая ногой отдельные личности, надо всем Санкт-Петербургом осуществляла свою власть идея императорской России.

— Знаешь, Якубович,— сказал Каховский,— мне недавно шведский адмирал за пуншем сказал, что «Нева» не русское слово: Нью — значит новая, молодая река. Знаешь, конечно, я офицер, мне можно не заниматься науками, однако ж я был у Николая Петровича Румянцева. Старик говорит: «Васильев остров и Петербургская сторона были известны еще старинным новгородцам и псковская летопись упоминает остров святого Василия и Фомин остров». Я кричал на ухо бывшему канцлеру: «Там, говорю, еще упоминается финский остров Саидуй». А он мне с трубкой около уха, щуря глаз, говорит: «Санкт-Петербург, знаешь, что такое Санкт-Петербург? Город святого Петра, апостола, отверзающего двери ада и рая...»

Александр Иванович Тургенев пробудился от послеобеденного сна. Встал, надел шлафор и мягкие туфли. В устах его звучали слова:

Отуманилася Ида,
Омрачился Пелион.
Спит во мраке стан Атрида,
На равнинах битвы — сон.

Прошел по комнате раза три, подумал: «Что за чудо этот Жуковский? Ведь эти строчки о похоронах Ахилла способны довести до самозабвения».

Где стадятся робки лани
Вкруг оставленных могил.
. . . .
. . . .
Ты не жди, Менетий, сына —
Не вернется твой Ахилл...
. . . .

Раздался стук в дверь. Прихрамывая, вошел Николай Иванович.

— Ecoutez, mon cher,— сказал он по-французски,— je connaissais votre ami Pouchkine, qui vient de disparaitre[1].

Александр Иванович оступился, скинув туфлю и оттопырив большой палец левой ноги, сел, опустив руки по налокотникам большого кресла.

— Как? что? — спросил он.

— Да, да,— сказал Николай Иванович, переходя на русский язык.— В нашей трактирной империи все идет вверх дном: только что успокоились оттого, что хамы и

[1] Послушайте, мой дорогой, я был знаком с вашим другом Пушкиным, который недавно исчез (*франц.*).

канальи отправили моего единокровного брата и лучшего друга Сережу в Константинополь, где свирепствует чума, а тут еще этого весельчака арапа, не то Ганнибала, не то Пушкина, черт его знаёт кто... отправили в ссылку на юг. Все для того, чтобы лучшие люди подохли позорной смертью. Объясните мне, пожалуйста, Александр Иванович, что это все значит? Неужели за те стихи, что спрятаны у вас в бюваре?

Александр Иванович ничего не мог объяснить. Он сидел в кресле желтый, с повисшими руками, с отвисшей нижней губой и говорил:

— Сверчок, Сверчок, что с тобой сталось? Как я тебя торопил, чтобы ты кончил поскорее «Руслана». О каналья, о сокрушитель сердец, Сашка, Сашка, негодяй, не я ли выполнял все твои прихоти, дарил мои последние деньги всем, кому ты укажешь.

— Ну, положим, Alexandre, деньги у вас далеко не последние!

Александр Иванович успокоился, подошел к письменному столу, вынул листок желтой бумаги и стал читать, пользуясь терпеливым слушанием брата:

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глупцов,
И лености моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благодатных снов!
К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
По лире с трепетом вожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?
Душой предавшись наслажденью,
Я сладко-сладко задремал...

Один лишь ты с глубокой ленью
К трудам охоту сочетал;
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской и креста,
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот;
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль.

Нося мучительное бремя
Пустых и тяжких должностей,
Один лишь ты находишь время
Смеяться лености моей.

Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам.
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд — и холоден, и пуст:
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст!

Глава двадцать пятая

Неподалеку от Неаполя есть маленький городок Нола. В городе были казармы драгунского полка. Старые драгуны помнили далекую северную страну, с которой пришлось столкнуться дважды: за Альпами в качестве побежденных, в московских снегах в качестве победителей. Испытав в жизни много, эти люди сами были готовы на многое, а самое заветное их желание — это было увидеть Италию свободной страной. Люди, жившие на Апеннинском полуострове, говорили одним языком, но делились на десятки государств, враждовавших друг с другом, благодаря искусственно подогретой вражде. Австрия была главной владетельницей Италии. Она диктовала мир и войну, она брала налоги, она под разными предлогами заставляла мирных крестьян в долинах и пастухов в горах работать на себя. Австрия в Италии все разъединяла и надо всем властвовала. Для борьбы с этой политикой поработительницы Италия пошла на организацию тайного общества. Оно было названо союзом угольщиков, по-итальянски «карбонарии». Эти угольщики повсюду имели свои организации — венты, баракки, форесты, мелкие и крупные объединения. Вента состояла из двадцати человек, и только один из них был связан с вентой другого места. В глухих лесах, где жгли уголь, устраивались сходки, сговаривались о сроках и способах связи. Так постепенно разъединенная сверху Италия объединялась в низах и подпольях. Самое большое и самое тесное объединение представляли собою войска. Ненавистные для Италии имена полков не делали солдат враждебными своей стране. Поэтому в тот день, когда драгуны получили известие об испанской революции, о том, что «Риего и Квирога подняли восстание во имя

свободы своей страны», офицеры и солдаты Бурбонского драгунского полка в ноланских казармах не выдержали и, быстро поседлав лошадей, полетели в Неаполь. Они выстроились перед дворцом короля; во мгновение ока по сигналу присоединились к ним восемь тысяч карбонариев. Криками они вызвали Фердинанда на балкон и потребовали от него отречения или признания прав народа. С этого дня началась итальянская революция. Движение перекинулось на север, перевороты совершались повсюду, и эти события вызвали тревогу в сердцах самодержавных государей севера.

В Царском Селе, в маленькой комнатке, обитой палевым штофом, с светло-голубыми, почти стальными карнизами из шелка и панелями серого цвета, на маленьких, почти игрушечных креслах, за маленьким столом из серого полированного мрамора сидели друг против друга Александр и Аракчеев. Серые фарфоровые чашки с густым переваренным чаем стояли перед ними. Александр любил этот напиток, отбивающий сон. Аракчеев делал вид, что тоже любит, хотя в своем Грузине, новгородском имении, в такие вечера предпочитал выпить с любовницей Настасьей Минкиной стакан анисовой водки, укрепляющей мужественность.

Нервы русского самодержца расходились; он был то очень грустен, то возбужден, на Аракчеева смотрел с надеждой. Аракчеев чувствовал это и хотел поломаться.

— Да, государь,— говорил он,— кабы я тогда был в Питербурге, твоего дражайшего родителя не тронула бы святотатственная рука заговорщиков, а сейчас я уж никуда от тебя не поеду.

Александр опустил руки и поник головой. Рядом, по дивану, были разбросаны депеши и синяя папка с запиской Каразина о дворянской конституции. Александр смотрел на эту папку с выражением какого-то ужаса, и взгляд его переходил от иностранных депеш, сообщавших о ходе европейских революций, на эту каразинскую папку, казавшуюся все более и более страшной.

— Где он? — спросил Александр, кивком головы указывая на папку.

— В Шлиссельбурге, государь. Стриженая девка косы не заплетет, как он ладожской воды нахлебается. Знаю, что и не попытаются они его спасать.

— Кто они? — спросил Александр.

— До времени не тревожься, государь. Сам веду дело и сам все узнаю. Карбонарии есть повсеместно, я всех их

знаю в Питербурге. Об одном прошу, как о милости: пятеро их вскоре повергнут к высочайшему престолу ходатайство об учреждении добровольного общества в пользу освобождения холопей,— отвергни их, государь, отвергни, ваше величество, ради незабвенной памяти покойного твоего родителя, дабы они не положили начало новому якобинству в Питербурге.

Александр ничего не ответил и закрыл лицо руками. Аракчеев ехидно улыбнулся, зная, что Александр его не видит.

Чаепитие продолжалось еще около часу. Александр с восторгом говорил об организации на Карлсбадской конференции держав международной следственной комиссии по ликвидации революционного движения Европы. Ему нравилась мысль конференции об организации инквизиции в Майнце, и его в восторг приводила мысль о возникновении новой «христианской Европы, белой и чистой». Он сам считал целесообразным «жесткой метлой и стальною щеткой смывать кровавый позор европейских революций». В глубине души он был убежден, что его детские увлечения либерализмом никак не отразились на состоянии умов людей, его окружающих, и что они, эти люди, всегда готовы считаться лишь с мыслями его теперешнего дня.

По уходе Аракчеева он стал на колени в моленной комнате и, перебирая четки, клал положенные две тысячи поклонов. Огромные залысины на лбу от висков покрылись потом и красными пятнами, а царь все еще молился. Аракчеев в пять часов утра приехал в Петербург. На Кирочной, в канцелярии, явился к нему невзрачный человек с подслеповатыми, слезящимися глазами и бородой, похожей на банную мочалку в мыле. Аракчеев шепотом начал говорить с ним.

— Ну, где ж они хотят встретиться?

— В английском портовом трактире, ваше сиятельство.

— Встречи не допускай! А ежели на улице захочет подойти, то прямо хватайте — и в воду. С полицией устрой драку, ежели вмешается. Побег — знаешь куда. Пусть туды хоть сам полицмейстер приедет, там тебе крысиная нора — катайся, как сыр в масле.

— Слушаю, ваше сиятельство. Я боюсь только, что к господину Николаю Ивановичу Тургеневу и другой посланный есть.

— А ты узнай! Что мне до твоих боязней — «боюсь», «боюсь». Экий хам, рыжий дурак, ты эти штуки мне оставь. Пошел!

В широкой шляпе, закутавшись клетчатым пледом, раскуривая толстую трубку и закрываясь клубами дыма, уже два часа сидел после обеда Николай Тургенев в английской таверне. Никто не приходил, а между тем именно в этом костюме обещал он встретиться с незнакомцем, которого ни разу не видел и который был к нему послан.

Тургенев «следственно, не мог бы его узнать», но тот узнать его мог. Вышел. Отправился пешком. Шел долго, инстинктивно выбирая не прямую дорогу. Ветер едва не срывал шляпу. Косой дождь засекал и крупными каплями бежал за шею. Края пледа щелкали, как бичи, намокшие и все же поддававшиеся капризному, рвущему ветру. Так дошел до дому, все надеясь, что по клетчатому пледу нужный человек узнает в нем Николая Тургенева. У самых ворот увидел толпу народа, человек шестьдесят стояли неподвижно. Дурное предчувствие кольнуло сердце. Тургенев ускорил шаги.

Что бы могло случиться, что привлекло эти десятки людей к воротам жилища?! С тревогой подошел он к набережной. Матрос и городовой обшаривали утопленника, положенного на куске парусины. Грязная, мутная, черная Фонтанка не успела еще закоченить выловленного из нее человека. Пока полицейский выворачивал ему карманы, отжимая одежду и расстегивая грудь, Тургенев успел рассмотреть утопленника. Маленькая фигурка, тщедушное тело, борода рыжая с клоками, веки, покрытые треснувшими жилками, руки скрюченные, как петушиные лапы, маленькие, костлявые, желтые — типичный писарек из канцелярии. А из кармана достали документ потрясающего значения. Только Тургеневу и решился показать городовой этот документ. Агент тайной полиции Полбин, имевший право без доклада входить к всесильному Аракчееву. Повернули Полбина спиной кверху. Матрос выругался:

— Черта мы с ним возились! Ведь он убитый, а мы добрый час его качали. И как это кровь не пошла?

Череп был проломлен.

— Это работала железная рукавица,— сказал городовой,— с одного разу. А кровь вся в воде вытекла.

Вернувшись домой, Тургенев писал в дневнике; на полях против места:

«29 марта. Вчера получили известие, что король гишпанский объявил конституцию кортесов. Слава тебе, славная армия гишпанская! Слава гишпанскому народу! Во второй раз Гишпания доказывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству. Бывшие нынешние инсургенты (как теперь назовут их? надобно спросить у

Фуше), сколько можно судить по газетам, вели себя весьма благородно. Объявили народу, что они хотят конституции, без которой Гишпания не может быть благополучна; объявили, что, может быть, предприятие их не удастся, они погибнут все жертвами за свою любовь к отечеству; но что память о сем предприятии, память о конституции, о свободе будет жить, останется в сердце гишпанского народа».

Поперек текста на поле: «Вторник, 30 марта, 3/4 11 ночи. Сегодня поутру занимался устройством библиотеки. Обедал в английской таверне. Возвращаясь домой, видел, как против наших окошек откачивали утопшего в Фонтанке. Качали долго, но без пользы. Наконец унесли. Странны люди! Стараются воззвать к жизни умершего, а о живых мало думают...»

Через минуту перевернул страничку назад. Там написано было: *«Теперь я слышал, что приехавший некто из Берлина говорит, что сам видел на улицах знаки неудовольствия против короля. Требуют конституции. Гишпания! Гишпания! Без знаков неудовольствия — тут узнаю я народ истинный!»*

Задумался. Удивился, отчего этот приехавший некто не явился. Затем почти машинально, для того чтобы не забыть, зачеркнул слово «некто» и подписал: «полковник Базень».

Полковник Базень в штатском платье решил не идти в английскую таверну, а дожидаться Тургенева на набережной Фонтанки. Он простоял час, опершись на перила и смотря на грязную воду, как вдруг кто-то схватил его за ноги и сошвырнул через перила. Во мгновение ока вспомнилась кавалерийская вольтижировка. Левой рукой схватившись за якорное кольцо, Базень перекинул ногу через перила и секунду спустя стоял перед плюгавым человеком, едва его не утопившим. Прежде чем тот успел броситься на него с ножом, Базень успел стукнуть его германским кастетом. Спокойно сошвырнул в воду аракчеевского шпиона, потом быстрыми шагами ушел с набережной.

Аракчеев сидел и дремал в кресле в своей канцелярии. Железная банка с чернилами и гусиными перьями, бронзовая песочница и разбросанные документы лежали на столе. Проснувшись, Аракчеев запустил щепотку в табакерку, нюхнул два раза, чихнул в синий фуляровый платок и ответил самому себе вслух:

— Нет, арестовывать Базеня нельзя, этак можно весь выводок распугать.

— Николай, ты дома? — спросил Александр Иванович, входя к брату.

Тот быстро закрыл дневник, встал и подвинул второе кресло, приглашая Александра Ивановича сесть.

— Ну, я просьбу твою исполнил,— сказал Александр Иванович.— Вот как обстоит дело. Постарайся месяца за два закончить и юридически проработать устав нашего общества, а Воронцов, Меншиков, Потоцкий и Петруша Вяземский согласились стать учредителями. Название дадим «Общество содействия освобождению крестьян».

Николай Тургенев встал и с важностью пожал руку брату.

— Благодарю вас,— сказал он.— Все это будет сделано. Надо надеяться, что власть наша хоть и самодержавная, но примет во внимание голос благоразумия.

Разговор перевели на другие темы. Александр Иванович был в хорошем настроении, смеялся, рассказывая о назначении Пирха командиром Преображенского полка.

— Подумаешь, какая радость — назначение этого ультрачерного человека! Недаром офицеры, повидавшие Париж и Европу, говорят, что Преображенский полк «попирхнулся», как бы армия не подавилась от этакого попиршения.

— Считаю целесообразным сообщить вам, Александр Иванович, что без армии никакое освобождение страны невозможно.

Александр Иванович поднял глаза.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он.

— Хочу сказать, что в армии у нас сейчас самая образованная часть общества. Без образованности невозможно провести реформу, без оружия невозможно ее удержать.

— Значит, о чем же идет речь? Будем говорить без обиняков: о перевороте государственном?

— Да,— жестко ответил Тургенев.

Голос его прозвучал металлически. Сам он стал похож на стальную машину. Взяв трость, подошел к мраморному столику и со всего размаху ударил ею по мраморным плиткам. Обломки трости и осколки мрамора посыпались на паркет.

Александр Иванович смотрел спокойно и сказал:

— Привык тебе верить. Твоя дорога — моя дорога. В успехе сомневаюсь, идею одобряю.

— Александр Иванович,— возразил Николай,— здесь одобрения мало. Пора почувствовать, до какой степени, до какого градуса накален весь честный и думающий Петер-

бург, и если вы имеете в наследство от незабвенного родителя повеление истинной гуманности, то как можно тут раздумывать? Не сами ли вы оказываете покровительство лицам, гонимым от правительства. Кто изгнал вашего любимца Александра Пушкина? И кто его приютил, кто давал ему воспитание мыслям, кто воздухом свободы овеял молодую его музу, кто в «Арзамасе» произносил речи о свободе человеческих мнений, о свободе совести, о мире и братстве народов? Так что же нам теперь таиться друг от друга? Ежели азиатский деспот не идет на уступки, история кажет нам путь к его уничтожению.

— Нет, нет! — закричал Александр Иванович.— Только не это! Не вынесу крови! И моя рука ее не прольет!

— Хорошо,— сказал Николай,— тогда чужая рука прольет нашу кровь. И с этим можно помириться, если бы кровь наша могла растопить полюсы северные и южные, если бы льды деспотии, стесняющие прекрасную человеческую личность, могли растаять под горячим паром кровоточащего борца за идею. Но скудной крови нашей не хватит, и в той мере, в какой мы сами готовы пролить эту кровь, быть может, мы имеем право твердо сказать о пролитии крови враждебной.

Николай Тургенев представлял собою в момент произнесения этих слов картину исключительного спокойствия личности. Глаза его были ясны, фигура спокойна, и ничего в нем не осталось от вспышки бешенства человека, сломавшего трость о мозаичный стол.

Наступил июнь месяц. Восхитительные белые ночи царили над Петербургом. По Невскому из театра шел Николай Тургенев, празднуя тридцать лет своей жизни. Легкомыслие и веселость геттингенского студента чувствовались в его походке. Несмотря на хромоту, он не шел, а танцевал по тротуару. Широкие тротуары Невского проспекта, с огромными каменными плитами, казались ему бальными паркетами кассельского курзала. Не хватало только Лотты, чтобы покружиться в легких вальсах и вольтах под звуки Моцартовой музыки. В ушах пели восхитительные, победные, прекрасные мелодии Каталани, лучшей певицы в мире.

— Что это за голос! — говорил вслух Тургенев.— В нем и солнце Пиренеев и горное эхо Апеннин. То ли она испанка, то ли она итальянского племени, странная женщина с потоками восточного огня в голосе, загорелая, смуглая, с черными глазами. И звук голоса совершенно не

похож на человеческий голос. Это звук самой природы, дикой, необузданной и изощренной.

Около полночи пришел домой. Голова кружилась и пьянела от голоса Каталани. Спать не мог, до такой степени в крови звучали призывы к новым, небывалым ощущениям жизни. Чтобы хоть сколько-нибудь прийти в себя, открыл зеленую тетрадь и записал:

«Вторник. Три четверти двенадцатого ночи. Не Каталани привела меня к этой книге. Вчера я ее слышал: восхищался — забыл, что я в несчастном моем отечестве, посреди варваров, дураков, неприятелей его. Так! Люди благонамеренные везде здесь встречают недоброхотов, противников. В мае месяце вместе с весною расцвела было в сердце моем надежда на что-нибудь доброе, полезное в отношении к крепостным крестьянам. Воронцов, Меншиков вознамерились работать к освобождению своих крестьян. Воронцов предуведомил государя. Он согласился. Открылась подписка. Подписался Васильчиков и на другой день потребовал свое имя назад; но, получив бумагу, утратил честь. Открылась подписка. На этой и я подписался, после Воронцова, Меншикова, другого Воронцова, Потоцкого, брата и вместе с князем Вяземским. Кочубей, доложив по сей подписке государю, объявил, что общество и подписки не нужны, а каждый может свои намерения, в рассуждении крестьян, сообщать министру внутренних дел. Кажется, на этом все и остановилось. Вяземский завтра едет или уже уехал сегодня.

Нечего тут говорить, даже и мне самому с собою. Безнадежность моя достигла высочайшей степени. Пусть делают обстоятельства то, чего мы сделать и даже начать не можем. Что меня может привязать к теперешнему моему образу жизни и службы? Все для меня опостылело. Идея, бывшая у меня в голове прежде, очень меня занимает теперь: надобна помощь в жизни, и в жизни столь скучной, прозаической, безнадежной. Но идея эта, представляя много приятного, вместе и устрашает. Может быть, несбыточность желания будет полезна — но что еще может быть для меня полезно? Скучная, мрачная будущность, одинокая старость, морозы, эгоисты и бедствия непрерывные отечества — вот что для меня остается!»

— Как тебе понравилась Каталани? — спросил, входя, Александр Иванович.

— Восхитительна,— ответил Николай.— Но не Каталани привлекла меня к дневнику, а мысли о том, что до сих пор нет разрешения нашему обществу.

Александр Иванович подошел к столу и длительно, минут двадцать, объяснял брату причины неудачи проекта. Он изложил ему все петербургские сплетни последнего времени и сообщил, что, конечно, в Петербурге, за пределами небольшого круга военной молодежи, их имена становятся именами чужаков и людей небезопасных.

— Наше геттингенское образование, наши европейские идеи не вызывают ничего, кроме зависти глупцов и ненависти дураков. Невежественный разночинец и хам-помещик, встречающий пьяною икотою слово «свобода», одинаково суть наши враги. Невежественность и хамство завистливы к таланту и образованию,— вряд ли можем рассчитывать на сочувствие даже тех, за кого мы хлопочем. Лишь признательность будущих поколений может служить нам утешением. Государь под гнетом своей варварской страны стал склоняться к утешениям религии и к упованиям несбыточным. Хорошо ли, уповая на царство небесное, оставлять в небрежении миллионную участь подданных царства земного. Баронесса Крюденер и какие-то сомнительные, недоброкачественные персоны окружают сейчас российского венценосца, создавая при нем то дождь, то вёдро. Об нас с тобою говорят, что мы, как малоземельные помещики, выступили лишь потому, что мы бедны. Этим объясняли наш либерализм.— Николай Тургенев потерял равновесие, сдернул скатерть со стола. Посуда загремела об пол. Он закричал:

— Канальи, хамы, сукины дети, все в них измеряется корыстью и барышом. Проклятый торгашеский век! Людское качество стало низко с водворением в Европе торгового сословия, а у нас холопы обезумели от непосильного труда, а помещичье хамство ничего, кроме своей утробы, не видит. Наступающий ему на глотку новый хам — купец — не содержит в себе ни гуманности, ни образования —как есть толстосум, хам, попирающий ногою цивилизацию и гуманность.

Александр Тургенев, сжав руки, заходил по комнате.

— Думается мне, зря ты горячишься,— сказал он.— Васька каторжник, матушкин крепостной, говаривал: «Плетью обуха не перешибешь».

Николай Тургенев вздрогнул.

— В таком случае, не обух, а лезвие самодержавного топора скинет наши головы с шеи. Что делать, что делать?

— Что делать сейчас, я тебе скажу. Сейчас — лечь спать и успокоиться. Не думаю, чтобы все погибло. Не сам ли ты говорил мне неоднократно, что ни одна справедливая мысль не умирает...

— Вы правы, Александр Иванович. Простимся, я лягу.

Однако по уходе брата Николай Тургенев не лег. Он долго сидел, читал, потом стал заниматься деловыми бумагами и наконец снова, не могши одолеть искушения, раскрыл страницу дневника и записал:

«Половина девятого утра. Подписка наша стала известною. Она никому не понравилась, и государь признал ее ненужною. Публика восстает в особенности против наших имен; претекст ее — небогатство наше, малое число наших крестьян. Я предполагал, что этого претекста недостаточно: искал его в аристократическом образе мысли наших богатых или знатных людей — есть ли, впрочем, эти архихамы имеют что-нибудь общего с какими бы то ни было аристократами. Наконец, услышав и то и другое, я покуда уверился, что негодование против нас происходит оттого, что о нас разумеет эта публика как о людях опасных, о якобинцах. Вот, как мне теперь кажется, вся загадка. Гурьевы, и мне в особенности называли Ал. Гурьева, кричат против нас, и со всех сторон все на нас вооружились, одержимые хамобесием. Пусть их хорохорятся.

Ах вы хамы! Для моего самолюбия недостает только того, чтобы вы были несколько менее презрительны, дабы я мог гордиться вашим негодованием, вашею ненавистью!»

Глава двадцать шестая

Огромный стол, красная суконная скатерть с гербами, золотые кисти и золотая бахрома до самого паркета. Кресло близко придвинуто к столу. Чернильницы, карандаши, белые листы бумаги,— все говорит о том, что заседание готовится, но еще не началось. Гоффурьер в белых атласных чулках неслышными шагами, как мышь, шмыгнул из двери в дверь. Старый толстый дворцовый камердинер вошел в залу и положил огромный портфель из зеленой крокодиловой кожи с балтийским золотым гербом и с надписью латинскими буквами: «Барон Розенкампф — Государственный совет». В двух шагах через комнату у дверей стояли часовые Преображенского полка. Это были какие-то каменные изваяния, священнодействующие фигуры, уставившие глаза в одну точку, держащие ружье у ноги, абсолютно неподвижные, щеголеватые, совершенно одинаковые друг с другом настолько, что их можно было принять за восковые фигуры, нарочно сделанные по одному образцу причудливым скульптором. За дверьми был кабинет царя. Через комнату рядом красная скатерть и кресла ожидали заседание Государственного совета. Через за-

лу, гремя шпорами, прошел граф Уваров и скрылся в царском кабинете. Похожий на пятнадцатилетнего мальчишку, с оттопыренной верхней губой, щеками, как яблоки, он шел с видимым беспокойством, вид задорный и нахальный, всегда ему свойственный, на этот раз уступил выраженью неопределенной робости, даже на часовых посмотрел, словно по лицам хотел узнать, каково там настроение за дверями. Через минуту дверь отворилась скрипя, вошли департаментские служаки с огромными портфелями и заняли столы протоколистов. Едва успели они расположить материалы, как в комнате появился светлейший князь Лопухин — председатель Государственного совета. Описав носом полуокружность в воздухе, презрительно скользнув по фигурам вставших при его появлении людей, Лопухин в нос пропел скорее, чем проговорил, коротенькую фразу:

— Пора бы начинать, а в комнате ни одного человека.

Повернулся на каблуках и вышел.

Вставшие при появлении светлейшего князя люди сочли замечание его светлости чрезвычайно справедливым. Они снова сели, взглянув на часы и совершенно не обращая внимания на то, что восклицание светлейшего князя трактовало их не как людей. Вскоре появились люди. Прихрамывая, вошел Николай Тургенев, за ним его брат Александр. Через минуту появился барон Розенкампф, хмуро посмотрел на Николая Тургенева.

— Я слышал, Николай Иванович,— сказал он,— что ваш «Опыт теории налогов» продается в пользу крестьян-бунтовщиков. Весьма сожалею.

— Не сожалейте барон,— сказал Тургенев злобно,— доход от моей книги я могу тратить как угодно. Я трачу его на уплату недоимок, за которые беднейшие крестьяне сидят по тюрьмам,— вот и все.

Розенкампф осклабился.

— Жаль, что вы мало пишете,— едко отозвался он.— Ежели б было почаще, то, пожалуй, наше страдающее от злостных недоимщиков дворянство почитало бы вас спасителем.

Камердинер подошел к Розенкампфу и сообщил ему, что его требует к себе Лопухин. Розенкампф вышел. Зала постепенно стала наполняться людьми. Тургенев стоял у окна с братом Александром. Тот рассказывал Николаю о всех происках Розенкампфа, направленных против тургеневской семьи. Оленин, Милорадович, Данило Мороз, граф Кочубей жарко спорили между собой, постоянно переходя с русского языка на французский. Дверь отворилась, но вместо ожидаемого Розенкампфа все увидели Потоцкого,

Потоцкий быстро прошел к Николаю Тургеневу и с волнением протянул ему синюю тетрадь со стихами. Это была поэма Байрона «Бронзовый век». Тургенев подвинул кресло, сел и начал читать вслух:

— «Бронзовый век», или «Юбилейная песнь бесславной годины». Эпиграф: «Impar Gongressus Achilli».

— Однако,— сказал Николай Тургенев,— Байрон играет словом «конгресс». «Стадное скопище все же не равно одному Ахиллу».

Несколько человек сгруппировались вокруг читающего. Тургенев прозой переводил байроновские стихи [1].

За «добрым старым временем» вослед —
Вся быль — добро! Дела текущих лет
Пошли, в них все зависит лишь от нас;
Великое свершалось уж не раз,
И большего возможно в мире ждать.
Лишь стоит людям тверже пожелать;
Велик простор, безмерна даль полей
Для тех, кто полон замыслов, затей.
Не знаю, плачут ангелы иль нет,
Но человеку — так устроен свет —
Немало слез пришлось уже пролить.
Зачем? Чтоб снова плакать и тужить.

Звучные строчки английского текста, отчеканенные, четко произносимые Тургеневым, привлекли еще ряд слушателей. Тургенев дочитал до места, где говорится о греческом восстании. Греки подняли революцию против стамбульского монарха. И вдруг кто-то неосторожно произнес, прерывая Николая Тургенева:

— Ходят слухи, что Сергей Тургенев в Константинополе написал проект освобождения Греции от власти султана. Уж не этот ли проект в стихах вы читаете?

Увы, это не была шутка. Старый генерал — член Государственного совета — спрашивал совершенно искренне. Глупый генерал продолжал:

— Говорят, что в Константинополе вырезано четыреста тысяч христиан и что наша миссия пострадала.

Николай Тургенев слегка побледнел, но Александр Иванович перебил генерала:

— Слухи не подтвердились, ваше превосходительство. Я сегодня читал все официальные депеши. Однако продолжай,— обратился Александр Иванович к брату.

[1] Вместо английского текста мы приводим перевод Балтрушайтиса. Позволяем себе такую вольность, зная, что читатель не посетует на это. Поэт Балтрушайтис, ныне литовский посланник в Москве, естественно, современником Николая Тургенева быть не мог. (*Примеч. автора.*)

Тургенев читал дальше:

И Греция в свой трудный час поймет,
Что лучше *враг*, чем *друг, который лжет*.
Пусть так: лишь греки — Греции своей
Должны вернуть свободу прежних дней,
Не варвар в маске мира. Царь рабов —
Не может снять с народов гнет оков!
Не лучше ль иго гордых мусульман,
Чем плеть царя, казацкий караван!
Не лучше ль труд свободный отдавать,
Чем под ярмом у русской двери ждать,
В стране рабов, где весь «простой народ»
На рынках продается, словно скот,
И где цари свой подъяремный люд
По тысячам придворным раздают,
Его ж владельцам снится только ширь
Пустыни дальней — мрачная Сибирь;
Нет, лучше в мире бедствовать одним,
Лицом к лицу с отчаяньем своим,
И гнать верблюда в доле кочевой,
Чем быть медведю горестным слугой!

— Это про кого же он? — спросил все тот же генерал.

Потоцкий нервно протянул руку за книжкой. Тургенев отвел книжку, другой рукой опустил руку Потоцкого и читал дальше:

Кто это имя снова произнес,
Что, искупая горечь рабских слез,
Звучало там, где голос вечевой
Провозглашал свободным род людской?
Кто ныне призван в судьи дел чужих?
Святой союз, замкнувший все в тронх!
Но этой тройце чужд небесный лик,
Как гений с обезьяной не двойник!
«Святой союз», в котором здесь сложен
Из трех ослов — один Наполеон!
В Египте боги лучше: там быки,
Там псы по-скотски смирны и кротки:
На псариях, в стойлах, знают угол свой,
Там ждет их пойло, сложен корм дневной;
Скотам в коронах мало корм жевать —
Они хотят кусаться и бодать.

Дверь отворилась, и вошел Розенкампф, хмурый и злой. Положив кипу бумаг на стол и видя, что Тургенев не прерывает чтения, подошел и стал слушать. Тургенев читал:

Царь Александр! Вот щеголь-властелин,
Войны и вальсов верный паладин!
Его влекут: толпы подкупный крик,
Военный кивер и любовниц лик;
Умом — казак, с калмыцкой красотой,
Великодушный — только не зимой:
В тепле он мягок, полулиберал, —
Он жесток, если в зимний вихрь попал!

Ведь он не прочь «свободу уважать»
Там, где не нужно мир освобождать.
Как он красно о мире говорит!
Как он по-царски Греции сулит
Свободу, если греческий народ
Готов принять его державный гнет!

Тут уже всем стало ясно, и глупому генералу в том числе, что речь идет о русском самодержце. Прямо от перечисления трех «коронованных скотов», собравшихся на конгресс в Вероне, Байрон перешел к сатирической характеристике царя Александра. Розенкампф закряхтел, кашлянул и сказал:

— Прошу занять места, господа! Стихи довольно дерзкие. Как Европу ни благотвори, все равно она благодарности в сердце иметь не будет. Российский государь спас ее — и вот европейский ответ.

— Российский государь породил мысли о человеческой справедливости, он же мечтал об освобождении крестьян, барон,— ответил Тургенев.

— Прошу докладывать по очереди,— предложил Розенкампф.

В скором времени Тургенев не выдержал. Разбиралось скандальное воронцовское дело, в котором один из Воронцовых обманом завладел землею однодворцев и в ответ на их жалобы затеял огромную судебную волокиту. Мордвинов, прерывая чтение письмоводителя, закричал:

— Да ведь такие дела стыдно слушать в Совете, тем более что они уже решены,— и дал справку о приказе, буквально вырванном у Александра I.

— Мне стыдно,— сказал Мордвинов,— что от самого низу до самого верху дело справедливое и ясное ничего не создало, кроме кривых толкований. Люди, промучившись по судам четыре года, могли бы умереть, не дождавшись справедливого решения. Поистине несчастна страна, в которой возможен такой произвол в решениях одного класса по справедливым требованиям другого класса! Если бы не воля государя, сегодня и здесь бы правильного решения не получилось, ибо вижу, что нас меньшинство.

— К чему горячность? — возразил Розенкампф.— Если так, то слушать дальше нечего: воля императора — закон.

Николай Тургенев в негодовании разорвал сверху донизу лежавший перед ним лист бумаги.

— Ваше превосходительство, кажется, недовольны? — обратился к нему Розенкампф.

— Решением я доволен,— сказал Тургенев,— но способом сего решения человек, чтущий закон, доволен быть не может.

— Переходим к дальнейшим,— заявил Розенкампф.

Вечером, возвращаясь домой, братья взяли извозчика и молча ехали до Невского. При повороте от военного министерства Николай Тургенев спросил:

— Что это за дурак в мундире так неудачно предлагал вопросы по поводу байроновской поэмы?

— Разве ты его не знаешь? Это брат Аракчеева. Надо тебе сказать, что лучше было бы, конечно, эту поэму не читать. Посмотри, как Розенкампфа передернуло. Кстати, она с тобой?

— Со мной,— сказал Николай.

Проезжая мимо Михайловского замка, Александр Иванович Тургенев внимательно смотрел на покои Татариновой.

— Так поздно,— сказал он,— а в окнах всегда этот странный свет. Посмотри, не кажется ли тебе, что это свет семи восковых свечей. Что там, молитвы, что ли, какие-нибудь поют?

Николай Тургенев пропустил это замечание мимо ушей. Он с любопытством рассматривал извозчика, когда тот оборачивался и скалил зубы.

— Ты чей? — спросил он.

— Его сиятельства графа Разумовского.

— Откуда? — спросил Тургенев.

— Деревня наша в Рамбовском уезде.

— На оброке? — спросил Тургенев.

— Да, платим по тридцать два рубля с ривицкой души; прежде меньше платили, да недавно граф увеличил оброк. Брату еще хуже приходится. Он на четыре месяца в Петербурге нанимает за себя работника и платит ему восемьдесят рублей, а восемь месяцев, воротившись, опять по три недельных дня на барщине,— это чтобы старые долги за отца его сиятельству заплатить извозчичьей выручкой.

— Как же вы живете? — спросил Николай Тургенев.

— Вот сына отняли да продали господину Альбрехту.

— Слышал о таком,— сказал Николай Тургенев.

— Как мы живем, как не помираем, одному богу известно,— продолжал крестьянин.— Как продали моего парня — нет работника в доме. Прибежит в праздник от господина Альбрехта — его деревня в четырех верстах от графской усадьбы — и давай просить хлеба. Никогда у них своего хлеба нет.

Николай Тургенев обратился к брату по-французски:

— Как не противиться таким помещикам уничтожению рабства? Что такое Разумовский? Я часто вижу эту глупую и безобразную образину на набережной и на бульва-

ре: гуляет, ходит, чтобы с большею жадностью есть и лучше спать. В других государствах эти тунеядцы коптят небо без непосредственного вреда ближним — здесь они угнетают их, чтобы, чтобы... черт знает на что и для чего и в особенности почему. А этот Альбрехт, с пребольшим пузом, играет ежедневно в карты, в клобе, и фигура его цветет глупостию, скотским бесчувствием, эгоизмом!

Расплатились с извозчиком. Вошли к себе. Встретили Лунина и Чаадаева, расположившихся без хозяев. Лунин, молодой, блестящий, только что приехавший из Парижа, Чаадаев с оголившимся черепом и живыми, необычайно блестящими глазами, очевидно, беседовали уже долго и на Тургеневых посмотрели словно на какую-то помеху для разговора. Здоровались, приветствовали друг друга.

— Сенаторы! — кричал Лунин.— Прямо сенаторы! А я слышал, что сенаторская порода вымирает. Друзья, не миновать вам завести сенаторский завод — pour perpétuer la race[1].

— Перестань, Лунин,— говорил Чаадаев.— Хоть к этим-то не приставай — они не нынче-завтра поскользнутся на дворцовом паркете. Сенаторами им не быть.

Раздался звонок. Старуха Егоровна доложила, что пришли господин Муравьев, господин Яков Николаевич Толстой, господин Всеволожский и Пестель.

— Как это вы сошлись у двери? — спросил Александр Иванович.

— Вопрос негостеприимный,— ответил Всеволожский.

— Почему негостеприимный, — возразил Александр Иванович.— Напротив, я страшно рад видеть Павла Ивановича и...

— А нас он не рад видеть,— сказал Яков Толстой.

— Да нет, всех рад видеть. Придется иметь большой разговор о деле.

Яков Толстой подошел к Чаадаеву.

— Какие вести от Пушкина? — спросил он.

— Пишет редко,— ответил Чаадаев,— но написал кучу прелестей.

— Это вам он писал? — спросил Яков Толстой:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

— Да, мне,— ответил Чаадаев.— А что?

[1] Для того чтобы увековечить эту породу (*франц.*).

— Мне он написал другое,— ответил Яков Толстой:

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

— Меня это не удивляет,— сказал Чаадаев,— у Пушкина зоркий глаз, я ему верю: разным людям — разная судьба.

Подошел Лунин.

— Ну, так что это за случай в Семеновском полку? — спросил он, продолжая разговор.

— Да, я не кончил,— сказал Чаадаев.— Ведь командир полка Шварц — это совершенная скотина. Из-за его самодурства самый грамотный, самый скромный и, сказал бы я, самый гражданственный полк сейчас раскассирован.

— Правда ли, что там была читка запрещенных книг с офицерами? — спросил Яков Толстой.

— Не думаю,— сказал Чаадаев.—В солдатской лавочке, правда, продавали книги. Дело, конечно, в том, что Аракчееву не нравился товарищеский дух полка, тесная дружба с офицерством; на фоне событий в Неаполе и Пьемонте полк показался ему неблагонадежным. Они нарочно провокатировали движение возмущения вместо внесения спокойствия. А когда первую роту посадили в крепость, то весь полк отказался выходить из казарм до полного воссоединения с первой ротой. Солдат, голодных и измученных, отвезли в Финляндию и заключили в Свеаборгскую крепость.

Лунин покачал головой.

— Это уж серьезно, друзья.

— Да,— сказал Николай Тургенев.— Дисциплина имеет свои пределы, так как права природы и рассудок имеют свое необходимое пространство. Хоть семеновское дело прошедшее, а все-таки не могу без содрогания вспомнить тот день, восемнадцатого октября двадцатого года, когда поутру полк проходил по Фонтанке. Я еще не знал в чем дело и спрашивал: «Куда?» — «В крепость»,— отвечали солдаты. «Зачем?» — «Под арест».— «За что?» — «За Шварца». Тысячи людей, исполненных благородства, погибли за человека, которого человечество отвергло.

— И еще миллионы будут гибнуть,— сказал Лунин,— за человека, который является воплощением лжи.

— Что же делать будем? — спросил Пестель. — Вводить испанскую конституцию, ограничивающую само-

властие? Но, конечно, выведение рабов из крепостного состояния не может быть первою мерою правительства.

— Вот вы как смотрите, Павел Иванович,— сказал Николай Тургенев.

— Да, я так смотрю,— злобно возразил Пестель.— И вас мы заставим смотреть так же, если вы покоряетесь дисциплине общества.

— На будущее я смотрю иначе,— сказал Николай Тургенев.— Я изверился в самодержавии и не верю в конституционных монархов. *Почитаю необходимым волею народа учреждение республики и высылку за границу всех представителей нынешней династии.*

— Что, что, что?! — закричал Яков Толстой.— Это сильно, очень сильно. Но какой же вы молодец! Да, кстати, чтобы не забыть. Энгельгардт говаривал мне, что полицмейстер начал против нас дело о подкидывании каких-то вырезанных листков в казармы.

Николай Тургенев пожал плечами.

— Что делать? — сказал он.— Полицмейстер подкидывает клеветнические листки против меня. Ну, здесь все только свои. Откинемте шутки в сторону и вспомним, что вы послали меня в Москву для закрытия Союза благоденствия, что вы согласились со мною при самом учреждении союза выкинуть прусские параграфы о верности государю и династии. О чем тогда мы спорили? О том, чтобы члены Союза благоденствия, буде они помещики, обязывались содействовать освобождению крепостных. Вы этого не хотели. Вы настояли на своем. Этот пункт был выброшен. Неужели и теперь настаиваете на своем заблуждении, даже когда мы здесь организовали общество более стойкое, более крепкое, более решительное? В свое время ехал я в Москву, тая надежду на революционное решение Союза благоденствия Я был председателем последнего собрания, и я уверился, сколь ненадежны были многие члены оного. Я поспешил с закрытием и роспуском Союза благоденствия лишь для того, что надежнейшие и вернейшие стали учредителями нового общества. Всем же остальным сказано было, что императору известно существование Союза благоденствия и что гнев его может настигнуть каждого. Как тогда проклинали меня москвичи, как называли изменником делу свободы.

Чаадаев подошел к Николаю Тургеневу и шепнул ему:

— Прекрати, друг, остановись, пока не поздно.

— Ну, что же, Александр Иванович, давайте угощать гостей,— закончил неожиданно Николай Тургенев.

Глава двадцать седьмая

Николай Иванович Тургенев с пером в руке сидел над рукописью и записывал медленно, с перерывами:

Мысли о составлении общества, под названием . . .
Приняты: Николаем Тургеневым.
Профессором Ал. П. Куницыным.
Предлагаются: Никите Михайловичу Муравьеву,
Федору Николаевичу Глинке,
Грибовскому (и другим).

Карандашом он приписал:

Иван Григорьевич Бурцов.
Павел Иванович Колошин.
Князь Александр Александрович Шаховский.
Александр Сергеевич Пушкин.

Александр Иванович с печатным листком в руке вошел к нему в кабинет и с видом крайнего огорчения сказал:

— Силанум, силанум, молчание на много лет! Прочти!

Это был высочайший рескрипт о закрытии всех масонских лож и о запрещении всяких тайных обществ. Братья обнялись. Александр Иванович сказал:

— Повидайся с Кривцовым, ты давно у него не был, и посоветуйся о будущем. Кстати, отдай ему книжки об иллюминатстве и масонстве Вейсхаупта. О масонстве, конечно, многие жалеть будут.

Николай Тургенев сказал:

— О масонстве, конечно, жалеть будут, но я считаю, что упоминание тайных обществ есть упоминание глупое. В самом деле, ежели оно «тайное», то, следственно, правительство о нем знать не может. И оно с правительством успешно бороться будет; а ежели оно правительству известно, то оно уже не тайное... Как бы я хотел уехать из России,— вдруг неожиданно перевел он разговор на другую тему.

Прошло некоторое время. Николай Иванович не выходил из кабинета. День был воскресный. В Государственный совет ехать было не нужно. Александр Иванович в шлафоре сидел внизу и читал газету. Посмотрев на часы и видя накрытый стол, удивлялся, почему брат не идет завтракать. Пошел наверх, постучал; не получая ответа, толкнул дверь. Николай Тургенев лежал на полу, далеко закинув правую руку назад. В величайшем волнении Алек-

сандр Иванович приблизился к нему. Сердце почти не билось. Глаза были закрыты, веки и губы посинели. Быстро послал за доктором. Старичок Виллье — придворный врач — явился через час. Маленькая бричка, запряженная парой низкорослых лошадей (экипаж, известный всему Петербургу), долго стояла у подъезда на Фонтанке, прежде чем Виллье кончил свою операцию. Он выехал не раньше, чем Тургенев стал дышать полной грудью.

— У всех жестокая подагра, друг мой,— говорил он, поглаживая руку Николая Тургенева.— Вы много сидите — надо больше двигаться. Второй припадок может кончиться плохо, раньше чем успеют меня вызвать. Перемените образ жизни.

— Это очень трудно,— простонал Тургенев.

— Однако это необходимо,— ответил Виллье.

Александр Иванович с волнением всматривался в лицо брата. Виллье попрощался. Братья, оставшись наедине, долго молчали.

— Пойдите к Кривцову сами,— прошептал Николай Иванович.

Александр Тургенев, словно браня себя за забывчивость, ударил рукою по лбу и сказал:

— Пойду! Надо поскорее всех предупредить.

Прошла неделя, другая, а состояние здоровья Николая Тургенева не улучшалось. Временами он чувствовал себя еще хуже, но, сделав над собою большое усилие, он требовал от брата с настойчивостью здорового человека полного осведомления о всех происходящих в Петербурге событиях. Однажды Александр Иванович сидел у постели больного и в рассказе о состоянии «теперешнего Петербурга» вдруг неожиданно замялся и замолчал. Обостренная чувствительность брата Николая заставила его насторожиться. По интонации Александра Ивановича младший брат понял, что старший скрывает что-то. Николай приподнялся на локте, укоризненно посмотрел на брата и сказал:

— Во избежание ненужных моих догадок вы лучше говорите прямо то, что хотели от меня скрыть.

Александр встал и, отвернувшись к окну, сказал:

— Лабзин сослан.

— Куда?— спросил Николай.

— В Сенгилей.

— За что?

— По-разному говорят.

— Вот уже начались кары против масонов. Недалек день, когда нас, как покойного родителя, сошлют в синбир-

скую деревню, и будем ждать смены царства, которое опять-таки неизвестно что принесет.

— Я думаю, что не за масонство. Лабзин — старый, испытанный мастер ложи. «Сионский вестник» он прекратил еще задолго до рескрипта. Силанум объявил еще в прошлом году, после чего ни братья, ни товарищи, ни мастера не имеют права давать знаки, узнавать и нарушать молчание. Я думаю, что здесь другое.

Вдруг Александр Тургенев начал громко смеяться. Николай строго смотрел на него, силясь понять причину этого неуместного смеха.

— Видишь ли, месяц тому назад была конференция Академии художеств, где Александр Федорович Лабзин был вице-президентом. Президент Оленин предложил трех графов: Гурьева, Аракчеева и Кочубея — в кандидаты академии. Думается мне, что это было на конференции тринадцатого сентября. Лабзин с упорством воспротивился этим кандидатам и спросил, за какие художества президент хочет покарать академию этими тремя недостойными кандидатами, добавив к этому, что «все три графа суть правительственные чиновники и ничего более». Оленин обиделся смертельно и, взывая к конференции, заявил, что он предлагает сих заслуженных мужей в Академию художеств, так как *они близки к особе государя императора.* Лабзин не угомонился и громко заявил: «Тогда я предлагаю самую близкую персону в академики — царского кучера Илью Байкова: он особо близок к государю и даже спиною к царю сидеть может!» На конференции произошел шум и смятение, а Лабзин потребовал занесения своего предложения в протокол. Оленин конференцию закрыл. Три графа в академию не прошли, а протокол Аракчеев положил в докладную папку императору. Вот тебе и ссылка!

Николай Тургенев стал хохотать.

— Лабзин подписывается буквами У. М.,— сказал он,— «ученик мудрости», но поступок этот не весьма мудрый, а скорее ребячливый. В прежние годы государь не придал бы ему значения. Что произошло? Не понимаю. Мы все проглядели какой-то крутой поворот политики. Это наша вина. Очевидно, политика делает царя, а не царь — политику. Народы выросли и не хотят рабства. Цари умалились и лишились разума. Тяжелая судьба нашего отечества. Кривцов прав в своем свирепом республиканизме.

— Не верю я в русскую республику,— сказал Александр.— Из дела нашего ничего не выйдет, недаром Рылеев пишет:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

— Ничто справедливое не погибает,— сказал Николай Тургенев,— и Кондратий Федорович, конечно, прав, когда говорит:

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю.

В этой смерти больше смысла, чем в бессмысленной жизни всего Петербурга. Но чувствуете ли вы, как переменился характер самого Александра, не правы ли были те, кто, как Лунин, говорили о непостоянстве этого характера? По внешности поворот политики не так силен, как силен он по внутреннему смыслу, по секретным действиям царя. Когда угодливость и подлость царедворства доходила до такой степени, как ныне? Прав благородный Лабзин, представляя в академики Илью Байкова. Байков благороднее и честнее Аракчеева. Он просто кучер, не имеющий ни злости, ни человеконенавистничества, он любит и холит вверенных ему лошадей с бóльшим вниманием, нежели своекорыстная царская челядь заботится о врученных ей миллионах граждан. Честию клянусь, я подаю голос за Байкова.

Капли холодного пота проступили у Николая от негодующего волнения. Он откинулся на подушки и закрыл глаза. Александр с тревогою смотрел на это желтое лицо, синеватые веки и синие губы, покрытые белым налетом.

— Тебе плохо? — спросил он.

— Нет, не беспокойся, это лишь мгновенная слабость.

Немного полежав с закрытыми глазами, Николай Тургенев заговорил снова:

— Как много значат личные пристрастия в наше время! Кто мог бы сказать, что деловитая энергия Сперанского будет брошена в грязь из-за личной обиды царя на свободные суждения Сперанского? Кто мог бы сказать, что на весах государственности чашку перетянет не ум, способность и усердие, а покорность тупоумному распоряжению начальства, это подлое воспитание рабской страны? Боюсь, что оно скажется и тогда, когда века волею судеб сделают ее свободной.

— Ты все волнуешься,—сказал Александр Тургенев,— а тебе лучше заснуть.

— Не буду спать,— сказал Николай Тургенев.—Дай ты мне лучше послание североамериканского президента Монройэ Веронскому конгрессу. Странная эта вещь. Если мы станем в эту позицию, что, «Америка для американцев», «Франция для французов», «Англия для англичан», то будем иметь последствия печального национального эгоизма. Вместо помощи угнетенных народов друг другу мы будем свидетелями гнета больших над малыми.

— Ох, куда хватил!— сказал Александр Иванович.— Стало быть, ты стоишь за вмешательство одной страны в дела другой? В этом ты, пожалуй, сходишься с канцлером Меттернихом.

— Нет,— возразил Николай,— оставь, пожалуйста, это сравнение, громогласно от него отрекаюсь. Когда государственный канцлер монархии Габсбургов пишет русскому царю требование уничтожить Семеновский полк, якобы действовавший по поручению тайного революционного комитета карбонариев Европы, то согласись сам, что между мною и моим лозунгом солидарности больше внутренней гармонии, чем между Меттернихом, желающим отвести назад историю, и его стремлением навязать свою волю другим нациям и монархам.

У Трубецкого был бал. Сергей Петрович и Екатерина Ивановна Трубецкие созвали весь блистательный Петербург. Братья Тургеневы были в числе домашних друзей. Военные группы в пестрых и нарядных мундирах мешались с представителями штатской молодежи, архивных юношей и молодых последователей немецкой философии. Молодой человек в черном фраке, в белых атласных чулках и лакированных туфлях, смотря сквозь очки и не принимая участия в танцах, то молчал, то вдруг бросал едкое двустишье по адресу вальсирующей пары, а старшие представители ученой породы со смехом отзывались на эти колкие эпиграммы. Два человека, оба одинаково низкорослые, скромные и вкрадчивые,— Николай Греч и Фаддей Булгарин — хихикали по поводу каждой эпиграммы.

— А все-таки, Александр,— шепнул Булгарин своему соседу,— твоя комедия «Горе уму» не будет напечатана. Слишком шумный успех!

— Только ли потому?— спросил Грибоедов.— Не сами ли вы виноваты, пуская искаженные списки?

— Нет, душенька, нет,— говорил Булгарин,— я тут ни при чем. Я сегодня ценсора просил и умолял. Немыслимо, душенька, немыслимо! Ты знаешь, как я тебя люблю, по-

следнюю рубашку за тебя отдам, руку отрубить себе позволю, но ничего, душенька, не выйдет, ничегошеньки, ничегошеньки, ничегошеньки.

Двое Пушкиных и Чаадаев проходили мимо. Василий Львович и Левушка ругались, отпуская друг другу нецензурные французские каламбуры. Очевидно, оба говорили еще недавно с Чаадаевым, который машинально шел за собеседниками, бросив глаза поверх нарядной толпы.

— Петр Яковлевич,— спросил Грибоедов,— что это у вас за поперечные полосы на эполетах?

— Отставка, голубчик, отставка,— ответил Чаадаев.

— Скажите, какая новость! — произнес Грибоедов.

— Для меня эта новость уже земскую давность получила.

— Я в столице недавно,— сказал Грибоедов,— простите.

Николай Тургенев и Сергей Петрович Трубецкой шептались друг с другом.

— Когда же кончишь замечания на «Русскую правду» Пестеля? — спросил Трубецкой.

— И не начинал,— ответил Тургенев.— Муравьевская «Конституция» мне кажется замыслом гораздо более важным. В Петербурге мы все прохлаждаемся; как штатские люди, посматриваем на нынешнюю погоду, а в Тульчине куют железо, пока горячо; там дело делают. Впрочем, полагаю необходимым рано или поздно произвести объединение всех тайных обществ. Нельзя, чтобы юг и север были так разобщены.

Яков Толстой танцевал с Екатериной Ивановной Трубецкой. Аксельбант и шнур лихо крутились в воздухе. Шпоры кругом звенели. Гремела музыка, угашая шарканье лакированных туфель и башмаков.

— Пишете еще какую-нибудь пьесу?— спросила Трубецкая.

— Как же, «Нетерпеливый» поставлен на театрах. Дозвольте прислать билет, княгиня?

— Обяжите,— ответила Екатерина Ивановна, вальсируя мимо группы, в которой стоял ее муж с Тургеневыми.

— Однако вы не праздно проводите ваше «праздное время»,— сказала Екатерина Ивановна, намекая на сборник Якова Толстого «Мое праздное время».

— О нет, это сущие пустяки, а не занятия.

— Смотри, Сергей, как твоя супруга закружилась со старшим адъютантом штаба,— говорил Александр Тургенев Сергею Трубецкому.

— Этот старший адъютант штаба скоро, вероятно, станет нашим старшим адъютантом общества. Удивительно сильный политический темперамент.

— А по-моему, он пустомеля и человек ненадежный,— сказал Николай Тургенев.—А вот и «Полярная звезда»,— добавил он и, прихрамывая, направился в сторону вошедших в залу Бестужева и Рылеева.

— Это черт знает что,— говорил Бестужев,— сначала сидел в негласном комитете, расписывал лазоревые потолки и розовые стены у царя-либерала, а сейчас едет громить Польшу и вести следствие об обществе филаретов. Лучшие люди братского племени будут раздавлены царским сапогом.

— О ком речь? — спросил Николай Тургенев.

— О Новосильцеве,— ответил Бестужев.— Как переменились времена и люди! Кто бы сказал после разных прекрасных слов на Варшавском сейме, что венценосный краснобай пошлет своего холопа Новосильцева разрушать то, что сам воздвиг.

Николай Тургенев махнул рукой.

— Писали русскую конституцию, а теперь польскую конституцию развалим, самодержавие загоняет нас в тупик. Нечем дышать, воздуха нет.

— Воздуха нет, так приезжайте на Урал,— вдруг раздался голос рядом.—Там, словно альпийские долины, горы ласкают глаза...

Тургенев замолк, здороваясь с подошедшим. Это был огромного роста красавец, элегантно одетый, в костюме, только что присланном из Парижа, миллионер, уральский купец Собакин, переменивший фамилию на Яковлева, владелец рудников и заводов на Урале и в Сибири.

— Хорошо хвалить уральский воздух, живя всю жизнь в Париже,—сказал Тургенев.

— Завтра опять уезжаю,— смеясь, сказал Яковлев.

— Почему у вас было следствие на заводе? — спросил Тургенев.

— Да сам не знаю,— пожал плечами Яковлев.— На Верхне-Исетском заводе обнаружили какую-то карбонаду— глупость какая! На Урале— неаполитанский карбонарий!

— Однако, я слышал, есть арестованные? — спросил Николай Тургенев.

— Есть даже без вести пропавшие! Но что из того? Зачем вы об этом говорите?— с досадой спросил Яковлев Тургенева.

Пятнадцатого мая 1823 года Александр I царапал гусиным пером по синей бумаге с золотым обрезом:

«Если тебе досужно, любезный Алексей Андреевич, то мне будет удобнее, чтобы ты у меня отобедал сегодня, вместо завтрашнего, и привез бы вместе и дела. Но не торопись к обеду, и не прежде уезжай, как по окончании Комитета. Ты мне привезешь уведомление о том, что происходить будет в заседании».

Скрипя вилкой по тарелке, Аракчеев медленно жевал куски жареного фазана, сопел и попивал легкое французское вино из стакана со штандартом и двуглавым орлом. Александр ел вяло и неохотно. Аракчеев — обильно и жадно. В промежутках между двумя глотками он, не прожевывая пищу, жаловался Александру на братьев Тургеневых, особенно на Николая.

— Либерал, государь, он — якобинец, не токмо что либерал, и настроение умственное у него вредное.

— Не обижай меня, Алексей Андреевич, не отнимай уверенности в последних мне верных людях. После измены Сперанского, коему все-таки пришлось поручить дело, не вижу возможным обойтись без Тургенева хотя бы в ведомстве финансов. Людей с образованностью, пылкостью и усердием не так уж много, дорогой друг. А если ты, бесценное мое сокровище, всех начнешь с собой сравнивать, то, пожалуй, что мы только вдвоем и останемся.

Аракчеев засиял. Он начал излагать множество личных просьб, замаскированных благотворительностью, назидательной строгостью, любовью к точности закона и бескорыстием. Через минуту он уже забыл Тургеневых.

Глава двадцать восьмая

На квартире у Пущина собрались Якушкин, Никита Муравьев, Митьков, Яков Толстой, Миклашевский, Лунин, Рылеев, Семенов. Прихрамывая, вошел Тургенев вместе с Грибовским. Грибовский говорил ему еще на лестнице:

— Николай Иванович, поверьте прямоте моего характера, не рассказывайте вашему брату о делах общества. Он из-за стремления спасти вас от возможной беды может решиться на поступок неблагоразумный.

Пущин курил длинную трубку. Тургенев подошел, снял со стены чубук, и так как прислуга была отпущена нарочно, то Тургенев, как и прочие гости, сам набивал английским табаком чашечку длинного чубука, выстукивал кремневую искру, раздувал трут и раскуривал чубук. Разговор был оживленный и посторонним людям непонятный. Об-

суждали брошюру Бенжамена Констана «Комментарий на труд Филанджиери».

Пущин читал:

— «Прошло время речей о том, что все должно быть сделано для народа, но не через народ...»

— У нас еще, кажется, это время не прошло,— сказал Николай Тургенев.—Попробуйте втолкуйте это нашим дворянам.

Пущин посмотрел на него строго и продолжал:

— «Представительное правление есть не что иное, как допущение народа к участию в общественных делах».

— Конечно,— сказал Тургенев,— не от власти должна исходить начальная идея улучшения гражданственности, а от общественного мнения.

— «Однако,— продолжал Пущин,— если интерес не может быть двигателем всех индивидов, так как есть лица, благородная натура которых стоит выше узких стремлений эгоизма, интерес есть двигатель всех классов, и нельзя ожидать ни от какого класса серьезных действий против его собственных интересов».

Как обычно, очередное чтение сопровождалось короткими заметками и разъяснительными толкованиями Тургенева. Затем шли вопросы практического свойства о средствах общества, о принятии новых членов, о тактике и стратегии. Рылеев с горячностью и настойчивостью кричал о неминуемой неудаче всякой тактики и стратегии, Тургенев пожимал плечами и говорил:

— Я не понимаю вас. Тогда к чему весь этот эшафодаж?

— Ты бы хоть русское слово сказал,— возразил ему Лунин,— эшафодаж значит сооружение, а по-русски твое французское слово звучит так же, как эшафот.

Тургенев вздрогнул, лицо его пожелтело, глаза потухли.

— Мне страшно,— закричал Рылеев,— мне страшно!

Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься,
Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

— Это ты написал?— спросил Лунин.

— Нет, это юнец Веневитинов.

— Должно быть, хороший поэт,— сказал Лунин.— Однако ж что же мы стишки-то будем читать, Кондратий Федорович? Ты свой замысел объясни.

— Замысел мой такой: что не бывает бесплодных

жертв. Согласен я, чтобы вся кровь моя, пролитая, задымилась бы на льду,— лед не растает от нее, но дым пойдет к небесам, и потомство услышит о том, что нашлись люди, не смирившиеся перед деспотом.

— А если будет удача?— спросил Грибовский.

— В чем удача? — спросил Пущин Грибовского.

— Если совершится государственный переворот? — отчетливо произнес Грибовский. — Он должен совершиться. Смотрите, какая блестящая военная сила.—Он указал на Якова Толстого.— Вы думаете, старший адъютант штаба плохой вербовщик? Сколь много наша юная армия насчитывает вольнолюбивых сердец!

Чаадаев, прищурившись и разглядывая свои ногти, произнес:

— Кстати, Грибоедов откуда-то слышал о возможности военного заговора в империи и весьма скептично заметил: «Сто человек прапорщиков хотят перевернуть Россию». Не правда ли — широкие у нас возможности?

— Я не прапорщик,— ответил Яков Толстой.— А Грибоедов говорит это от зависти, comme un pêquin[1]. Да и Михаил Сергеевич тоже не прапорщик,— кивнул он в сторону Лунина. — А кроме того, какое значение имеет военный чин либо гражданский титул для долга и чести? Патриотом можно быть во всех чинах и званиях. Республики уважают равенства.

— Друзья, не забывайте, что я Грибовский, а не Грибоедов, и потому я иначе смотрю на дело государственного переворота.

— Ну, как ты иначе смотришь? — спросил Якушкин.— Мы уже давно порешили, что после свержения династии и изгнания царской семьи Николай Тургенев будет формировать временное правительство. А дальше — история подскажет нам необходимые шаги. Из твоей книжки, Михаил Кириллыч, не поймешь, как ты на дело смотришь, да и написал ты ее, черт подери, по-латыни — «De servorum herilium in Russia statu vetere»[2]. Писал бы, Грибовский, ты по-русски — «о рабах»!

— Вот это правильно, вот это решение чудесное! — закричал Грибовский.— Я так тосковал, слыша еще в Москве слова безнадежности от дорогого Тургенева на съезде Союза благоденствия. А по-латыни писал, дабы обмануть бдительность цензуры. Радуюсь вашему решению, Николай Иванович!

---

[1] Как штатский (*франц.*).

[2] «О старинном положении господских рабов в России» (*лат.*).

— Рано радуетесь, Грибовский, я согласия на этот прожект не давал и осуществимым его не считаю. Могу только одно сказать, что естественные способы обуздания воли деспота исчерпаны до конца и без пользы. Остается другой путь.

Чаадаев сделался грустен, посмотрел кругом и, не видя желающих ответить что-либо Тургеневу, произнес вполголоса:

— Мы идем по пути времен так странно, что каждый пройденный шаг исчезает для нас безвозвратно. Вот было Общество русских рыцарей, вот был Союз военных друзей, вот был Союз спасения, вот был Союз благоденствия. Все они прошли, не оставив ни следа в сердце, ни опыта в умах. А между тем простое наблюдение могло бы подсказать обществу, соединенному единством мысли, что во Франции феодальные привилегии исстари окружили дворянство непроницаемой стеной и связали волю монарха. Там иначе как революционным взрывом и не могла пойти история. У нас же возможна была бы другая картина. Благая воля самодержавного монарха могла бы заставить невольническую страну мановением пера перейти из рабства в состояние свободы, минуя организацию невежественного купечества и низменного класса торговцев. Но, очевидно, не такова воля провидения. Это жаль! Это грустно, как грустно всякое кровопролитие, как опасен всякий крутой поворот дороги.

Разошлись поздно ночью. Грибовский предложил расходиться поодиночке, заявив, что Аракчеев всюду разослал шпионов, что в столице неблагополучно, и советуя друзьям большую осторожность.

— Славный парень этот Грибовский,— сказал Лунин, прощаясь.

— А черт его знает,— сказал Пущин,— переводил «Военное искусство» Жомини, писал по-латыни о крестьянах, но черт его ведает, что у него в мыслях!

Тургенев шел с Грибовским, ища извозчика. Он прихрамывал. Идти было трудно, ноги разъезжались. Грибовский как бы невзначай взял его под руку и говорил:

— Я почитаю вас, Николай Иванович, первым по уму и образованности из всех членов нашего общества. Я думаю, что вы были бы первым министром республики Российской.

Тургенев молчал. Ноги его скользили, хотелось выругаться по поводу петербургской темноты и отсутствия извозчиков. Наконец появилась частная повозка. Седок узнал прихрамывающую фигуру Тургенева и крикнул:

— От девочек идешь, Николай?

Это был Вяземский. Он остановил экипаж и сказал:

— К сожалению, только одно место.

Грибовский поспешно простился. Николай Иванович Тургенев и Петр Андреевич Вяземский уехали.

С минуту простояв в раздумье, Грибовский быстрыми шагами пошел на Петербургскую сторону. Там, в небольшом особняке, жил его приятель, толстый весельчак, немецкий ученый — географ Шиллинг фон Конштадт. Подходя к подъезду, Грибовский нос к носу столкнулся с выходившим из дверей человеком. Тот быстро опустил шляпу, поднял ворот, так что Грибовский не мог рассмотреть лица. Однако Грибовский успел просунуть руку в дверь, чтобы старуха Варвара — прислуга Шиллинга — не успела дверь захлопнуть. Как старый знакомый, он вошел на антресоли. Шиллинг не спал. Два подсвечника по четыре свечи горели у него на столе. Черная штора закрывала окно. В печке потрескивали дрова. Крепкий кофе и трубка лежали на столе. Шиллинг встретил его весело. День был удачный: первая в России Петербургская литография при министерстве иностранных дел, заведенная Шиллингом для копировки секретных документов, праздновала пятилетие. Директор Шиллинг получил орден! А давно ли еще над ним смеялись, когда он корпел по ночам, снимая от руки по двадцати копий наспех с выкраденных и подлежащих возврату иностранных писем! Давно ли сановники царя высмеивали его план похищения из Мюнхена немецкого «секрета литографического копирования». Аракчеев «на ура» послал Шиллинга в Баварию, и тот, чтоб обеспечить успех в петербургских кругах, сделал литографскую копию «Опасного соседа» В. Л. Пушкина: сановники и скоростью копирования и текстом Пушкина остались много довольны. Так упрочились «основания жизни» господина Шиллинга. Теперь уже его не пошатнешь, теперь он человек нужный, теперь он сила, он политически «опасный сосед».

— Ну, фот, Аракчееф волнуеться, фы давно были должны дать список и протоколы заседаний фаших друзей.

— Скажите его сиятельству, что все готово,— произнес Грибовский.

— Пишй! — сказал Шиллинг. — Откуда сегодня и что было? И чтоб больше ни одного дня пропуску. Три дня без штоффа. Генерал требует, чтоб был штофф на каждый день.

Перо заскрипело. Грибовский описывал все: и управление тайным обществом в Петербурге, и намерения Тургенева издавать журнал вместе с профессором Куницыным,

и выписку из-за границы «предосудительных карикатур». Закончил Грибовский рекомендацией правительству обратить особое внимание на Николая Тургенева, как на кандидата в революционные правители, ибо Тургенев «нимало не скрывает своих правил, гордится названием якобинца, грозит гильотиною и, не имея ничего святого, готов всем пожертвовать в надежде все выиграть при перевороте. Именно тургеневскими наставлениями и побуждениями многим молодым людям вселен пагубный образ мыслей».

Утром очередное донесение Грибовского читал Аракчеев. Хихикая, с ехидной радостью, с замаслившимися глазами, Аракчеев потирал руки. Потом открыл тайничок письменного стола, положил туда в запечатанном конверте донос Грибовского, запер стол и похлопал по нему рукою.

«Этого его величество знать не должен. Без него сделаем все, когда будет нужно. Еще, пожалуй, меня обвинит. Где мне тягаться с ними, с заграничными птицами. Я ведь простой русский неученый дворянин».

Тургенев писал в дневнике: «Будучи исполнен горячего желания и силы стремления к общему благу отечества, я по сию пору часто погружаюсь в мечтания и *устаю* от негодования, видя, как далеко всё и *все наши* от того порядка, который я почитаю лучшим и отчасти возможным. Здешний порядок вещей час от часу делается для меня более тягостным. Все, что вижу, печалит и бесит. Грабительство, подлость, эгоизм, как и куда все это идет? Кто думает о всем этом?»

Кончив эти строчки, Тургенев стал искать в старых записях свои мнения о Союзе благоденствия. Не нашел и страшно взволновался. Потом, ходя взад и вперед по комнате, спрашивал себя о причине этого внезапного волнения. Неожиданно перед глазами встал образ Грибовского, разговор на квартире Пущина и опять досадное волнение. Снова стал перерывать тетрадь. Записи о московском заседании Союза благоденствия не нашел. Зато попалась интересная запись 1822 года: «2 февраля. Министр финансов представил Сенату об отнятии у нас почти всей земли нашей. Хотя наша собственность кажется мне по возможности твердою, но чего здесь не может случиться? Увидим!» С раздражением перечеркнул эту запись. На полях было написано карандашом: «Вот ответ на первую попытку мою, как помещика, освобождать крестьян семьями и деревнями». Перечеркнул и эти слова.

«Идея о выезде из России беспрестанно у меня в голове»,— думал Николай Тургенев. Потом стал думать о судьбе Сергея: «Турки, негодуя на греческое движение, режут

кого ни попало. Что делается с нашим посольством в дни, когда старика патриарха Григория, коему семьдесят четыре года, в самый день пасхи схватили у алтаря и повесили в полном облачении у самого входа в церковь!»

«Положительно неудачный день,— думал Тургенев.— Что-то делается у меня с нервами? Почему-то не могу собрать мыслей?»

Машинально перелистывал итальянские альбомы. Попалась маленькая флорентийская улица, где когда-то жил.

«Вот,— сказал Тургенев,— самое лучшее в жизни уехать во Флоренцию и сделаться там содержателем трактира».

Потом, иронизируя над собою, добавил: «Без занятий жить скучно, а это занятие с хозяйством, с семьей хорошо. Над всем смеяться, есть, пить, гулять и отдыхать под лимонными деревьями».

Посмотрел на себя в зеркало и, обращаясь к себе же, добавил: «Хорошо, Николай Иванович, право, славно! Пора тебе на что-нибудь решиться. Да, пора решиться»,— повторил он еще раз. При слове «решиться» подошел к секретеру и нажал пружинку жестом вполне решительным; твердо и уверенно, не глядя в тайничок, он вынул двумя пальцами за угол бумаги два письма Александра I к Лагарпу и его же письмо к Ланжерону. Свинцовым карандашом были отчеркнуты строчки: «Дав свободу и конституцию стране своей, сделав Россию свободной и счастливой, я своей первой заботой поставлю отречение от престола и удалюсь в потаенный угол Европы, радуясь, что этим я доставил истинное благо своему отечеству». В письме к Ланжерону мальчик, будущий Александр I, тогда великий князь, пишет, до какой степени тяжела ему жизнь в Павловске, и в России вообще, ибо «здесь капралы предпочитаются людям образованным. Я пишу вам мало и пишу редко, ибо моя голова положена уже под топор». Тургенев швырнул оба письма в тайничок и с тяжелым, щемящим чувством заходил из угла в угол. Думал о ссылке Пушкина. Вспоминал слова этого юноши: «Холопом и шутом не хочу быть даже у царя небесного...»

«А ведь нынешний царь земной всю свою молодость провел в мечтах о республике и в ненависти к холопству. Что сейчас? Холопы помещичьи более на людей похожи, нежели холопы дворянские вокруг императорского престола. Однако что-то нехорошее делается с моим здоровьем. Надо переменить мысли, надо думать о другом».

Снова раскрыл «Рассуждения о французской революции» г-жи Сталь. Дочь того самого министра казненного

французского короля Людовика XVI, дочь Неккера, давшего первый толчок волнениям, предшествовавшим революциям, писала о России строки, глубоко возмущавшие Тургенева.

«Опять не удалось уйти от своих мыслей. Сталь сказала где-то на обеде в Петербурге о русском крестьянине: «Народ, сумевший отстоять свою бороду, сумеет отстоять и свою голову». Это она хорошо сказала,— подумал Тургенев.— Но дальше Сталь писала, что император Александр при всем желании лишен возможности дать России конституцию, ибо в этой стране для народного представительства нет промежуточного класса между боярами и холопами, нет свободного третьего сословия. Значит, народное представительство лишь усилит аристократию и этим отодвинет Россию назад, ибо в нынешней стадии русского развития самодержавная власть одна может сдерживать власть дворян над народом. Совершенный вздор,— думал Тургенев,— и как это Сталь может верить в то, что буржуазия окажется милостивее крестьянина, чем представитель дворянства после освобождения крестьян и после всенародного избрания Думы».

Закрыл книгу. Оделся и вышел на берег Фонтанки. Встретил старшего брата.

— Ты опять поссорился с министром Гурьевым? — спросил тот Николая с опечаленным видом.

— Да ведь он же совершенный дурак. Даже говоря о новой форме гербовой бумаги, министр финансов не может не риторствовать и не витийствовать о карбонариях. При этом смотрит на меня в упор, бьет себя в грудь и кричит, что всякое русское сердце должно содрогаться при имени сих злодеев.

Александр Иванович улыбнулся и сказал:

— Сейчас встретил Аракчеева, что-то уж очень любезен. Говорит: «Рад бы познакомиться с вашим братом поближе, еще более рад тому, что он совсем не тот, как о нем говорят клевещущие».

— Фразы графа Аракчеева меня прельстить не могут,— возразил Николай,— а что касается Гурьева, то припомните, как он выдумал лишить нас всего за попытку освобождения крестьян.

— Ты куда идешь? — спросил его Александр Иванович.

— Хочу устроить променаду в оранжерею на Елагином острове. Там выращивают деревья южных пород. Хоть в оранжерее посмотреть на то, что растет в теплом климате.

— Ну вот,— прервал его Александр Иванович,— вот

тебе новость. Тебе везет: вместо Гурьева будет министром финансов Канкрин.

Николай Тургенев пожал плечами молча. Простился с братом, прошел к Трубецкому. Надел костюм для верховой езды. Конюх вывел ему оседланную лошадь, и минуту спустя легкой рысью кавалерийский конь понес Тургенева по петербургским улицам к Елагину острову. После осмотра оранжереи Николай Иванович сидел в трактире на Выборгском тракте, ел яичницу и пил чай, разложив перед собою дорожную карту Германии, с которой уже несколько дней не расставался. Карандашом вымерял дороги. Перед глазами неотступно вставали горы и замки за Геттингеном, старые поездки в Кассель, наполеоновские офицеры. Мысли бежали с невероятной быстротой.

«Совсем недавно Бонапарт умер на острове св. Елены. Газеты исказили его последние слова о сыне. Смешное это правительство Франции, если боится напечатать последние слова умершего человека о своем ребенке».

Карандаш остановился машинально. Тургенев глянул в карту. Кружочек под карандашом носил название «Карлсбад».

«Старик Вилльe посылает меня именно в этот город,— подумал он.— Недостает только, чтобы я, как цыганка, стал гадать на карандаше!»

Вечером за ужином с Александром Ивановичем твердо решил, что поедет лечиться в Карлсбад, а потом, может быть, пробудет часть времени в Италии.

Получено письмо от Сергея: «Жив».

— Хорошо, пусть едет с нами,— сказал Александр Иванович,— поживем втроем под лазоревым небом.

Подали французское вино, чокались, пили весело, говорили, восстановив давно утраченную доверчивость. Вспоминали отца, масонских друзей. Вспоминали масонский праздник — Иванов день — двадцать четвертого июня 1817 года, когда Сергей принял посвящение. Александр Иванович, педагогически поглядывая на брата, говорил:

— Кончились вольнокаменщицкие дела, но не могу тебя одобрить: оставляешь ты свои дневники открытыми и незапертыми. Когда ты на Елагин ездил, я обратил внимание: старый твой дневник открыт на словах Вейсхаупта. Ты пишешь: «В Вейсхаупте также ярко доказывается польза и необходимость обществ тайных для успешности действий важных и полезных. Пусть действуют некоторые, но пусть все наслаждаются плодами сих действий». Ты пишешь это, да еще делаешь приписку: «Вот девиз всех людей, стремящихся к добру. Девиз следующий необходим

из непременного порядка вещей, основанного на характере человеческом».

— Я не настаиваю на правильности этого суждения,— уклончиво сказал Николай.

Уже давно прошло то время, когда Александр Иванович знал или мог представлять себе тайную жизнь брата. В качестве члена Коренной думы Северного общества Николай Тургенев, быть может, и сам не представлял себе всей своей роли. Его чрезвычайная занятость, его вечная озабоченность количеством дел, непосильных даже для целого ученого общества, заставляли его приуменьшать свою роль в качестве руководителя большой петербургской конспирации. Холодная замкнутость его, молчаливость и выдержка как нельзя лучше подходили к роли конспиратора. Он сам искренне удивился бы, если бы ему представили мнение будущих повстанцев о нем. Разработка проектов будущих законов, подготовка войскового мнения, вербовка надежных сторонников в войсках прежде всего — это были дела, которые он осуществлял, работая с точностью часового механизма, не произнося при этом ни одного лишнего, неосторожного слова. То, что пылкий Рылеев считал возможным выразить в качестве невзвешенного чувства, Тургенев осуществлял методически, с той разумной холодностью, которая зачастую одна может спасти положение, давая человеку зоркость, недоступную затуманенному взору.

Продолжая разговор, Николай Тургенев все время думал про себя о верности своих слов. Ему казалось бесспорным, что достаточно доброкачественного усилия небольшой группы самоотверженных граждан, располагающих доброй волей и обширными познаниями, чтобы по образцу испанских и итальянских карбонариев из офицерской среды преобразовать порабощенное отечество и превратить его в страну свободы.

Глава двадцать девятая

Наступил 1824 год. Казалось, какое-то омертвение овладело петербургской Россией. Но повсюду учащились бунты в военных поселениях, хотя и становились все короче и короче. Стояли часовые у подъездов дворцов. Проходили взводы и отделения войск по Петербургу. Шептались офицеры, собираясь в небольшие группы. Помещики — «владельцы огромного числа душ» — проигрывали крестьян в клубах оптом и в розницу. Всем казалось, что наступил какой-то длительный «мир, который *много хуже* до-

брой ссоры», что повисло над Россией кладбищенское молчание, прерываемое только стоном военнопоселенцев и свистом шпицрутенов. Александр I путешествовал из города в город, нигде не находя себе покоя. До его слуха уже донеслись нашептывания о военных заговорах. Он, как мертвец, пустыми глазами смотрел на любимое свое развлечение: воинские парады перед Зимним дворцом становились для солдат так же мучительны, как во времена Павла. Сам царь, казалось, приобретал черты все большего и большего сходства со своим убитым отцом.

К тому времени, когда обострилась болезнь Николая Ивановича Тургенева и выяснилась необходимость длительного лечения, в Петербург приехал Павел Иванович Пестель, председатель Коренной думы Южного тайного общества. Северное общество зашевелилось. Пестель прямо предложил объединение работы. На квартире у Тургенева в отсутствие Александра Ивановича собрались двадцать четыре человека и долго спорили по вопросу о том, действительно ли у них есть общий путь, или, быть может, северянам и южанам нужно идти врозь.

Павел Иванович Пестель стальною холодностью движений, отчетливостью, быстротой и сухостью вызывал в каждом собеседнике невольное воспоминание о недавно умершем Бонапарте. Он начал с изложения своего мнения о тяжести предстоящего пути, он намеренно набросал картину возможной гибели тайного общества и после каждой произносимой фразы оглядывал присутствующих, словно ожидая, что объявятся малодушные, сомневающиеся, неуверенные в себе. После этого опыта испытания членов Северного общества Пестель перешел к изложению порядка действий, и когда речь зашла о России как стране рабовладельческой, когда Пестель заговорил об упразднении права собственности на землю, Николай Иванович Тургенев, резко перебивая его, выступил в качестве защитника земельной собственности. Пестель настаивал на полном перераспределении земельных имуществ. «Земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает,— говорил он,— и только на тот срок, когда это возделывание продолжается».

Николай Тургенев кричал:

— Вы хотите ввести закон английской королевы Елизаветы о содержании нетрудоспособных бедняков церковными приходами. Вы хотите ввести налог на состоятельных граждан в пользу несостоятельных.

— Да,— закричал Пестель,— хочу!

— Так вы хотите деспотически вторгаться в частные дела государственной силой?

— Да, хочу! — кричал Пестель. — Не думайте испугать меня словами: я — сторонник диктатуры, государственная власть не есть карамзинская идиллия.

— Обратите ваши взоры в Америку: там нашелся чудак, который создал общину «Новая гармония» — это Роберт Оуэн, предоставьте ему государственной властью решать дела партикулярные.

— И это меня не пугает,— сказал Пестель.

Спорили долго. Наконец сошлись на единстве действий ради республиканского строя, изгнания династии «даже при возможности цареубийства». Заговорщики разошлись. Пестель остался. Он словно застыл, сидя на углу стола и подперев голову руками. Николай Тургенев сидел за столом с бумагами в руках и записывал карандашом, совершенно забыв о госте. Наконец Пестель спросил:

— Верите вы в успех нашего дела? Я что-то сомневаюсь.

— И я не найду средств бороться с этими сомнениями,— ответил Тургенев.

Разговор был совершенно дружеским. Пестель был жесток в суждениях о деле и мягок по отношению к друзьям. Эти черты сближали и отталкивали его и Тургенева. При полном расхождении Тургенев чувствовал потребность пожать руку этому человеку, при наибольшем совпадении взглядов он испытывал чувство досады, похожее на ненависть. Расстались, условившись встретиться на следующий день, но Пестель неожиданно уехал в Тульчин.

Наступил апрель месяц. Состояние здоровья Николая Ивановича настолько ухудшилось, что пришлось ускоренно просить отпуск. Дела старшего брата не позволили ему выехать вместе с Николаем, и вот он отправился один по дороге на Карлсбад. Долгие перегоны в распутицу по литовским лесам, белорусским болотам и польским каменистым дорогам он провел как во сне. Только сев в почтовую карету, почувствовал, как тяжело он болен. У него не сгибались колени, болели плечи, хрустели суставы. Наконец на заре пересадка из русской кареты в немецкий синий эльваген. Опять знакомым воздухом Европы повеяло на него, и только русский пограничник у полосатого столба с двуглавым орлом говорил ему о том, что двести — триста сажен он еще едет по русской земле.

В Карлсбад приехал совсем больной. Слег и чувствовал себя настолько плохо, что не мог даже вести дневника. Медленно поправлялось здоровье. Письма приходили ред-

ко. Сергей сообщил, что скоро приедет, что в Дрездене есть человек, с которым он переписывается, и что от этого человека многое зависит в его судьбе. Потом наступили длительные пустые дни без писем и без связи с внешним миром на больничной койке, куда однажды после ванны принесли толстый пакет из серой бумаги с сургучными печатями.

Странная вещь! Неожиданное письмо от Аракчеева!

«Государь поручил мне передать вам, чтобы вы последовали его совету держаться осторожнее в чужих краях. Он преподает вам этот совет не как ваш государь, а как христианин. Вас вскоре окружат люди, помышляющие о переворотах, и они постараются привлечь вас к себе. Не верьте этим людям».

«Чем вызвано это письмо?» — думал Тургенев и распечатал второе письмо. Там было сообщение о страшном наводнении в Петербурге, о массовой высылке поляков в Россию по обвинению в принадлежности к тайным обществам и о приезде молодого польского поэта Мицкевича в Москву в жандармской кибитке. Это было письмо от Вяземского. Вяземский сообщал, что вышел манифест «об устройстве гильдий и о торговых правах прочих сословий». В конце стояло короткое сообщение: начальник штаба Волконский, более всего протестовавший против военных поселений, свален Аракчеевым, причем Аракчеев заявил: «Как государя можно оставлять без игрушек?» Но сделал это очень хорошо, совсем ни с кем не ссорясь. Государь предложил Волконскому уменьшить смету военного министерства. Волконский сделал, списав со сметы восемьсот тысяч рублей. Аракчеев на другой же день представил другой план, по которому скидывал со сметы восемнадцать миллионов. Видя такую разницу, государь объявил Волконскому негодование, и тот ушел в отставку. Через неделю обсуждение министерских смет показало *невозможность* аракчеевского плана, но уже дело было сделано: Волконского к должности не вернули. Далее корреспондент описывает историю наказания военнопоселенческих бунтарей. Сквозь строй в тысячу человек, стоящих друг против друга со шпицрутенами, провинившихся прогоняли двенадцать раз. Большинство из них не дожило и до одиннадцати тысяч ударов, тут же с кровоточащими и вспухшими спинами покойников вытаскивали из строя и зарывали в землю. Аракчеев хвастал ласковым письмом Александра I. Царь писал: «Искренне, от чистого сердца благодарю за понесенные тобою труды при столь тяжелых происшествиях. Мог я в надлежащей силе оценить все, что твоя чувст-

вительная душа должна была терпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился». Это в ответ на письмо Аракчеева о том, что «многие преступники, наказанные по силе закона, во время наказания померли».

Тургенев, прочтя это, вскочил на койке. Россия с улыбающимся царем и «чувствительной душой» Аракчеева показалась ему таким ужасным призраком, что он содрогнулся при мысли о возвращении.

Прошел месяц. Здоровье поправилось, но появилась какая-то ломота во всем теле. Захотелось горячего солнца. И вот южный мальпост повез его через Восточные Альпы на Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь. Просыпался под звуки почтового рожка, ждал перепряжки или нанимал веттурино до почтовой станции, ехал все дальше и дальше. Ночуя в местечках, в маленьких гостиницах больших городов, давал себе отдых от дороги на час, на два, до тех пор, пока синий Неаполитанский залив с Везувием и островами, с кипарисами, обвитыми розами, с миртами и лаврами Поццуоли не сказали ему, что он приехал. Грустил и радовался странному ощущению. Не осталось ничего русского в душе. С наслаждением читал «Вильгельма Мейстера», перечитывал «Фауста», чувствовал себя благоговейным сыном культуры. Европа многовековых накоплений сокровищ духа, Европа больших умов, Европа гениев и друзей человечества — эта первая обретенная родина — вновь приняла своего блудного сына. Не хотелось думать о том, что здесь есть свои горя, что рыбацкие семьи живут не лучше русских крестьян, что если здесь тепло, то бывает голодно итальянским нищим, исхудалым и в лохмотьях, перегнувшимся во сне на камнях набережной, свесив голову в сторону моря и сбросив ноги на горячие камни. Первые дни в опьянении солнцем и воздухом Тургенев ничего этого не видел, не хотел видеть, не мог видеть, если бы даже захотел.

Прошла неделя. Изъезжены все места от Мизенского мыса до Сорренто. Вечерами, когда солнце садилось и наступали быстрые сумерки, возвращался в маленькую рощу на окраине города, где жил у неаполитанского сапожника, смотрел, как потемневшее небо вспыхивало красноватой тревогой над конусом далекой горы, как облака отражали свет этого красного факела, стоящего недремлющим часовым над темным морским заливом. Когда пригляделись все картины, когда примелькались люди, когда некоторые лица стали казаться знакомыми, уехал дальше на юг. На

пустынных скалах Сицилии, над заливом старого Акраганта вспоминал пленение Платона, причал кораблей Алкивиада, прибывшего сюда с греческой экспедицией и получившего вслед приказ никогда не возвращаться на родину. Бурная память ученого, осложненная, загроможденная образами прошлого, на каждом шагу находила вещи, знакомые со школьных лет: акрагантские храмы, огромные, давящие своей невероятной архитектурной мощью, по-прежнему царили над местностью, мраморные колонны превратились в столбы золотистого цвета, вокруг них африканское солнце выгоняло из каменистой почвы кактусы-гиганты и буйную растительность, способную своим сонным, стихийным ростом задушить города и доверху покрыть приморские башни. Вокруг царила полная тишина. Невероятным казалось это безлюдие древних городов. Серые, зеленоватые, лиловые тени плыли по далекой Этне, и впечатление тишины и непробудного сна природы только усиливалось пением цикад и потрескиванием отсыхающей листвы. Пастухи в огромных войлочных шляпах, с ружьями за плечами, верхом на некованых лошадях объезжали стада. Местные жители в полдень боялись показаться под лучами этого адского, палящего солнца. Они с суеверным ужасом смотрели, как хромой человек в белой хламиде и белой шляпе, с тростью в руках, поднимается по склону Этны, и вспоминали древний миф о хромом Гефесте-Вулкане, выброшенном разгневанным богом из жерла Этны. Николай Тургенев не чувствовал на себе этих взоров, он не чувствовал жары, и солнце, сжигавшее травы, казалось ему единственной силой, способной растопить леденящую зиму его русского сердца. Каждый раз с наступлением вечера он чувствовал, как подкрадывается незнакомая тоска. В сердце щемило от инстинктивной боязни, что солнце не взойдет. Он кутался во все одежды — и дрожал от ночного холода. Но утром быстрые золотые лучи сжигали капли ночной росы, слетавшие с листьев без малейшего признака тумана, и солнце вновь торжествовало над землей. Море, посеребренное пеной, казалось синим до черноты, валы подкатывались к берегу, разбивались о камни и шурша пробегали по пескам и водорослям синего залива.

Так шли недели, казавшиеся годами, и дни, казавшиеся месяцами. Ни писем, ни знакомых голосов.

В Мариенбаде лечился водами Николай Иванович Тургенев уже целую неделю, когда утром на восьмой день,

вернувшись к себе в отель, нашел там старшего брата. Обнялись и поцеловались. Начались расспросы.

— Ну, каков ты? Давно ни строчки от тебя не было. Жаль, что не скоро кончается срок твоего отпуска. Государь перед отъездом в Таганрог говорил: *«Сперанский далеко и уже обленился. Некому заменить его, кроме Тургенева»*.

— Ох, лишь бы мне подальше от дел,— сказал Николай Иванович. — Ни в законные, ни в беззаконные пути нашего отечества не верю.

— Вижу, что ты еще нездоров, ибо ответ желчный,— сказал Александр Тургенев, внимательно глядя на брата.— Но подожди. Мы с Сергеем тебя приведем в свою веру.

— Кто у Сергея в Дрездене? — спросил Николай.

— Это его секрет,— ответил Александр Иванович.— Пусть сам, если захочет, скажет, а я не могу.

Пришло письмо от Канкрина Николаю Тургеневу. Министр финансов писал, что образуется новая министерская работа: «фабрики растут; департамент мануфактур требует образованного представителя наук экономических. Не может ли Николай Иванович согласиться на должность директора департамента мануфактур?»

Поспешно, пока не вернулся Александр Иванович, Николай Тургенев набросал официальный ответ, в котором не отказывался, но просто сообщал, что срок отпуска для него не кончился, здоровье еще слабо и потому, прежде чем дать ответ, надо подумать. К вечеру приехал неожиданно Сергей. Ужинали втроем в маленькой комнате гостиницы. Пили шампанское. Сергей с блестящими глазами бегал по комнате и говорил, что завтра же едет в Дрезден.

— Женюсь на Пушкиной,— кричал он брату.— Право же, Николенька, женюсь, она отличная девица — и красавица, и умница. Мы с ней давно переписываемся. Читает Шекспира. Мы с ней условились в один и тот же день, в один и тот же час прочитывать одни и те же строчки.

— Что ж ты мне раньше не написал? — говорил Николай.

— Я еще не имел разрешения старшего,— сказал Сергей, указывая на Александра Ивановича.

— Значит, оба вы затаили свое решение? Что ж? Я среди вас лишний?

Потом все трое смеялись.

— Год перелома,— говорил Сергей.— Байрон умер — свободолюбец Европы. Людовик Бурбонский недавно скончал свои дни, а граф д'Артуа короновался в Реймсе по

образцу старинных королей Франции, серебряные деньги сыпал по дороге и в день миропомазания исцелял золотушных наложением рук. Как сам не заразился?

Разговор перевели на константинопольские темы. Оба брата говорили о своих тогдашних тревогах. Сергей поставил стакан с вином на стол и начал рассказывать о резне в Стамбуле.

— Одного англичанина настиг турок сзади и ударил ножом в шею, и, можете себе представить, пока меня кто-то вталкивал в ближайший дворик, чтобы спасти, я смотрел, что сделали с англичанином. Нож остался в шее, а кровь фонтаном забила из уха и лилась! лилась! лилась!

Сергей качал головой и продолжал повторять одно и то же слово.

Братья переглянулись. Александр Иванович смотрел испуганно. У Николая морщина залегла между бровями. Сергей продолжал без смысла продолжать одно и то же.

— Сережа, что с тобой? — спросил Александр.

Легкая пена появилась на губах Сергея. Он упал на кресло. Николай Тургенев, быстро намочив салфетку, повязал ему голову, и оба брата уложили Сергея на диван.

— Бедный мальчик,— говорил Александр,— он страшно впечатлительный. Константинопольские дела не дались ему даром.

Утром Сергей проснулся как ни в чем не бывало. Он был весел и совершенно спокоен. Втроем съездили в Дрезден. Провели чудесные вечера. Сговорились о свадьбе. Через год решено было венчаться в Москве, потом съездить в Тургеневку и спокойно пожить год. Обсуждали, следует ли Николаю принять предложение Канкрина, что делать Александру Ивановичу в правительстве, и после обсуждения прямо из Дрездена, не сообщая никому своего маршрута, решили ехать во Францию. На самой границе, пересаживаясь во французский мальпост, узнали обогнавшую их весть: восемнадцатого ноября на берегу Азовского моря в Таганроге умер Александр I.

Глава тридцатая

Держали совет, как быть и что принесет царствование Константина Павловича — польского наместника, самого неудачного из сыновей Павла I.

Маленькая немецкая почтовая станция, аккуратная, чисто прибранная, цветочные горшки в плетеных корзинках на высокой скамье перед самым окном. На столе окорок и яичница, кружки недопитого легкого пива; комната

для знатных гостей. По этому тракту неоднократно стремительно проносились маршалы Наполеона; в этой комнате немецкие князья принимали французских шпионов; тяжеловесные бюргеры с толстыми бумажниками приезжали сюда потолковать со своими французскими агентами.

Николай Тургенев говорил:

— Я думаю, что начнется совершенный ужас. Константин — сумасшедший, хотя есть, конечно, и добрые задатки в этом странном человеке.

— Все-таки он привык управлять страной конституционной,— сказал Сергей.

Александр Иванович насупился. Николай перебил младшего брата:

— Эти свои детские мечты оставь! Ты прожил в Цареграде и ничего не знаешь. Польская конституция есть Александрова гипокризия. Для Европы Польша — страна с конституционным королем Александром Первым, а для деспотической России она просто царство, как царство Астраханское, царство Казанское — ни в чем нет отличия! Не знаю, чего ждать от России с Константином! Я *не поеду!* — сказал он с расстановкой, решительно.— А вам ехать надо!

— Да, я поеду,— сказал Александр Иванович,— дела у нас запутаны, хозяйство из рук вон; матушка стала стара и в дело не вникает. Не могу уезжать надолго. А Сергею, как опекун, приказываю ехать со мною.

Решили. Александр Иванович пошел в соседнюю комнату, вызвал начальника и спросил, когда обратная почта на Берлин. «Меньше чем через полчаса».— «Хорошо!»

Николай Тургенев, оставив Сергея в комнате, вышел к своему слуге дать распоряжение о разделении багажа. Возвращаясь, застал в комнате шум. Он видел ясно, как Сергей с блестящими, острыми глазами впился в цветочную банку и ударом кулака сковырнул ее на пол, потом отошел к окну как ни в чем не бывало. Николай остановился в дверях и стал смотреть. Сергей по-прежнему стоял у окна, слегка насвистывая, и был совершенно спокоен. Прошло пять минут, не более. Александр и Николай вошли в комнату.

— Как это случилось? — спросил Александр Иванович.

— Что это? — спросил Сергей и с совершенно искренним удивлением смотрел на разбитый цветочный горшок.

Николай покачал головой и, словно отгоняя навязчивую мысль, сказал:

— Это я уронил нечаянно.

Прощание было короткое. Николай обнял Сергея и молча протянул руку Александру Ивановичу.

— Разрешите мне,— сказал он,— в полном спокойствии провести остаток разрешенного мне отпуска. Мне очень не хочется заболевать снова.

Александр Иванович нахмурился и вышел из комнаты. Сергей последовал за ним, весело напевая: «Домой, домой, домой!»

Вечером четырнадцатого декабря 1825 года в Петербурге опустели улицы после дневной стрельбы. У Зимнего дворца горели костры. На улицах было тихо и безлюдно. Извозчики показывались редко. Одинокие пешеходы крались как тени и прятались за углы домов. Страшный день миновал. Еще трудно было подсчитать потери, но одна потеря была ясна: четырнадцатого декабря оказалась потерянной лучшая часть петербургской военной молодежи. Вместо Константина, прямого наследника Александра I, на престоле был Николай Павлович, исполнительный командир бригады, бесталанный, тупоголовый офицер, совершенно растерявшийся в этот день и сбежавший с площади, занятой *декабристами*, так как рабочие Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в него поленьями. Начались жуткие розыскные дни. Николай I с Левашовым в Зимнем дворце вели допросы. Арестованных было множество.

Через две недели Николай I писал отрекшемуся брату:

«В том состоянии, в каком теперь моя голова и ум, я должен раз навсегда вас просить, дорогой и бесценный Константин, заранее извинить меня за бесконечную забывчивость и за всю беспорядочность того, что я вам пишу. Пишу вам, когда урываю секунду свободного времени, и то, что у меня на сердце; поэтому прошу милости и снисхождения за все; пожалейте бедного малого — вашего брата.

Ваш курьер 22 декабря/3 января прибыл вчера утром; Михаил был у меня, и вы можете себе представить, что заставило нас обоих почувствовать чтение вашего письма. Только бы мне быть достойным вас! Вы знаете, я всегда этого просил у провидения. Можете себе представить, что происходит во мне в этот момент.

Здесь все, слава богу, благополучно, наше дело тоже подвигается, насколько то возможно, успешно. Я получил донесение Чернышева и Витгенштейна, что Пестель ими арестован, равно как и кое-кто из других вожаков; а так

как после здешнего происшествия я уже дал приказ об аресте последних и о присылке первого, то я и жду их каждую минуту. В 4-м, 5-м и 2-м корпусах все благополучно; я не получал официального рапорта из 3-го корпуса и из второй армии, но меня уверяют, что там тоже все благополучно. Здесь я велел арестовать обер-прокурора Сената Краснокутского, отставного семеновского полковника, а Михаил Орлов, который был по моему распоряжению арестован в Москве, только что привезен ко мне. *Я приказал написать Меттерниху, чтоб он распорядился арестовать и прислать Николая Тургенева — секретаря Государственного совета, путешествующего с двумя братьями в Италии.* Остальные замешанные лица или уже взяты, или с часу на час будут арестованы.

Я счастлив, что предугадал ваше намерение дать возможно большую гласность делу; я думаю, что это *и долг, и хорошая и мудрая политика.* Счастлив я также, что оказался одного с вами мнения, что все арестованные в первый день, кроме *Трубецкого,* только застрельщики. Факты не выяснены, но подозрение падает на *Мордвинова* из Совета, поведение которого в эти печальные дни было примечательно, а также на двух сенаторов — *Баранова и Муравьева-Апостола*; но это пока только подозрения, которые выясняются с помощью и документов и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках.

Посылаю вам показание полковника *Комарова,* который несомненно очень правдив и, кажется, человек прямой и действительно почтенный; показание его даст вам ясное понятие о всем ходе заговора во 2-й армии.

Здесь все благополучно. Я очень недоволен здешней полицией, которая ничего не делает, ничего не знает и ничего не понимает. Шульгин начинает пить, и я не думаю, чтобы он мог оставаться с пользою на этом посту; еще не знаю, кем его заменить.

...Посылаю вам еще *список масонской ложи в Дубно,* найденный у кого-то из умерших тут; быть может, эти бумаги и не имеют значения, но, пожалуй, лучше, чтобы вы знали имена этих личностей в настоящий момент. Посылаю также и польский перевод манифеста по поводу событий 14-го; думаю, что он у вас уже есть, но на всякий случай посылаю. Там вы найдете выражение чувств, которые одушевляют меня, и официальное провозглашение того образа действий, какого я предполагаю держаться в этом важном деле.

Я был очень счастлив, что мог сам исполнить поручение, касающееся Насакина и Мещерского; это поручения,

которыми позволено *гордиться* и которые неохотно уступаются другим. Они приняли это со слезами благодарности и счастия.

По известиям, дошедшим до меня сегодня, оказывается, *что во вчерашней почте есть сообщение о приезде 84 иностранцев — французов, швейцарцев и немцев. Так как у нас достаточно нашей собственной сволочи, я полагаю, было бы полезно и сообразно с условиями настоящего времени отменить эту легкость въезда в страну;* я думаю предложить Совету министров восстановить тот порядок вещей, который существовал до последнего разрешения свободного въезда».

Новый царь, не довольствуясь этим, дополнительно извещал своего брата Константина в Варшаве о том, что он послал *письмо к старику, королю саксонскому, с просьбой о выдаче всех троих Тургеневых.*

Моросил дождь. Дилижанс опрокинулся. В разбитые окна кареты засекали холодные струи. Окоченелые руки и посиневшие лица пассажиров говорили о ненастье. Николай Тургенев подъезжал к Парижу. Сырое и туманное, как никогда, утро встретило его там. С почтового двора «Восточного Мессажера» он пересел на извозчика и велел везти себя в «Луврскую гостиницу». В коляску, стоявшую неподалеку, грузили вещи и усаживали двух детей. Черноглазые, остролицые, смуглые дети напомнили Тургеневу Восток. И вдруг показались родители. Человек в высокой барашковой шапке, пестром халате, с длинной, иссиня-черной бородой стрельнул в него глазами. Две женщины, совершенно закутанные в пестрые шали, сели на передние места коляски, после того как чернобородый пассажир водворился первым. Это впечатление Азии в Париже кольнуло сердце Тургенева. Он сам не мог понять почему, но чувство смутной тревоги не дало ему ни минуты покоя. Расставание с братьями было странно коротким, и хотя он приучал себя к сдержанности и внезапным обрывам готового разрастись чувства, но в этот раз покоя в себе не находил.

Через день он явился к друзьям масонской ложи, провел с ними несколько часов в обычной беседе, в пении гимнов, а потом направился к Лагарпу. Высокий старик с горбатым носом, в длинном черном сюртуке встретил его словами соболезнования.

— Умер мой ученик,— сказал он.— Я не знаю его преемника, меня и без того тревожит судьба вашей страны.

Тургенев молча пожал ему руку.

— Что делается в Париже? — спросил он.

— Прежде чем ответить на этот вопрос,— сказал Лагарп,— чтобы не забыть, я попрошу вас: верните мне письма покойного Александра, взятые десять лет тому назад. Сейчас мне они особенно дороги. Ни один король Франции не мог написать бы теперь так, как писал тогда мой воспитанник.

— Приму меры к тому, чтобы это исполнить,— сказал Тургенев,— но скажите же мне все-таки, что же делается в Париже?

— В Париже? — переспросил его Лагарп.— Карл Десятый поднимает руку на права третьего сословия, забывая, что, подняв руку, он может потерять голову. Я живу в Париже последний месяц и скоро уезжаю в Швейцарию. Там, среди вольных кантонов, на озерах, я позабуду отвратительное впечатление Парижа, я буду вспоминать письма покойного Алекса́ндра, перечитывать их как мысли и замыслы благороднейшего монарха Европы.

Николай Тургенев увидел невозможность продолжения беседы.

Лагарп продолжал, однако, не обращая внимания на молчание Тургенева:

— Кажется, Константин является его наследником. Сумеет ли он хоть сколько-нибудь продвинуть вашу страну по пути эмансипации?

В Берлине, в русском посольстве, Александр Иванович сидел у секретаря, белый как полотно, и руки его тряслись. Потрясающие вести пришли из Петербурга. Пакет секретный. «Но это секрет всему свету,— говорил секретарь.— Будьте уверены, что через неделю это шило вылезет из мешка. Император Константин отказался от престола. Бригадный генерал, великий князь Николай Павлович уже четыре дня как император, но благодаря тому, что отречение Константина Павловича не было никому известно, произошла заминка в присяге и было несколько залпов по войскам на Сенатской площади. Все это благополучно обошлось, но советую вам немедленно возвращаться в Россию».

«Великий князь Николай,— думал Тургенев,— ведь это же тупица, совершенно не подготовленный к управлению огромной страной. Простой фронтовик, от которого ничего ждать не можем, кроме новых петличек и застежек на военных мундирах. Однако ехать надо».

— Но что же произошло на Сенатской площади? — спросил он.

— Да ничего особенного,— ответил секретарь,— часть полков требовала Константина, а другая часть провозглашала императрицей его жену «конституцию».

— Ах вот как? — спросил Александр Иванович.— Были, значит, политические требования?

— Да, очевидно, кто-то внушил солдатам этот крик под видом защиты прав Константина.

— Тревожно,— сказал Тургенев.

— Тревожиться нечего,— ответил секретарь.— Поезжайте-ка, батюшка, поезжайте-ка в Петербург.

С очень тяжелым чувством Александр Иванович выходил из посольства. Дорогой во мгновение ока решил твердо и бесповоротно оставить Сергея в Германии, не сообщать ему никаких новостей.

Дальнейший путь держали на Мариенбад, где, несмотря на протесты, Сергей остался ждать. Ослушаться старшего брата было невозможно. Оставив Сергея в счастливом неведении, Александр Иванович доехал до русской границы и, пересев в русскую коляску, двинулся по Ковенскому шоссе. Его поражала молчаливость начальников станций, его удивляли хмурые лица. Офицер в маленьком местечке к северу от Ковны, швырнув на стол подорожную, сел против него и уставился безумными глазами. Кивер съехал набок. Пятнистая барсова шкура, украшавшая ворот, была разорвана в нескольких местах. Тургенев с тревогой смотрел на своего нежданного соседа. Офицер спросил себе обед, но, почти не притронувшись к пище, огромными глотками пил из стакана водку, потом, сошвырнув кивер на пол, лег локтями на стол и положил голову на руки. Все это молча, без единого слова. Тургенев встал, расплатился, сунул в карман подорожную и хотел выйти, чтобы сесть в экипаж, пистолетный выстрел раздался в комнате. Офицер с раздробленным черепом распластался на полу.

— Что это? Что делается?! — закричал начальник станции.— Батюшки, что делается которую неделю с господами офицерами?!

— Что делается? — спросил Тургенев тихо, в то время как пассажиры и кучер суетились вокруг самоубийцы.

— Эх, батюшка! — сказал смотритель.— Не могу вашему превосходительству словами передать! Помните двадцатый год? У меня ведь сын в Семеновском полку, пропал без вести — сказывали, что из-за зверства полковника Шварца. Так и не знаю, где он. Бабу его с ребенком высе-

лили в тот же день из Петербурга, как его из Петербурга гнали. В холод и в стужу, одеться не дали. Выгнали с ребенком за город: иди куда хочешь. Так и пришла в двадцать лет седая баба с обмерзшими ногами на восьмую неделю ко мне в домишко! И тут опять какой-нибудь генерал виноват в смерти господина офицера! Смотрите, ведь какой молодой, а не выдержал жизни! Что это? Что это?

— Да ты же мудрец! — сказал Тургенев.— Ну, не мудри, а давай скорее лошадей!

Боль железными щипцами стискивала виски.

Глава тридцать первая

Генерал Лафайет — герой великой революции, герой американской войны за независимость, седой, голубоглазый, живой, диктовал своему секретарю Лавассеру письма, в то же время осторожно рассматривая тонкие листки папиросной бумаги, на которых Базар и Манюэль сообщали ему сведения о деятельности южно-французской карбонады. Лафайет входил в состав секретного комитета вместе с Буонарроти, Манюэлем, Базаром и четырьмя другими представителями не угасшего, но тлеющего европейского карбонаризма. Манюэль сообщал Лафайету: «Наши друзья потерпели поражение в Петербурге. Дымящаяся кровь русских героев поднимается к небу».

Раздался стук в дверь.

— Разве никого нет в вестибюле? — спросил Лафайет.

— Кажется, я забыл запереть входную дверь,— сказал Лавассер и распахнул кабинет Лафайета.

У входа стоял человек с желтым лицом, измученный, с воспаленными глазами, с кольцами седых волос на висках. В руках был синий лист бумаги — только что вышедший «Монитер универсаль».

— Что вам угодно? — спросил Лавассер.

Вошедший смотрел мимо него. Он видел перед собой только Лафайета и по глазам стремился определить, узнает он его или нет. Наконец он переступил порог и, в полном изнеможении бросившись на ближайшее кресло, прохрипел:

— Генерал, я — Николай Тургенев!

Лафайет быстро встал, бросил взгляд, мгновенно понятый Лавассером, и подошел к Тургеневу. Подошел близко-близко, положил ладонь на подлокотник кресла и взял Тургенева за руку.

Лавассер удалился, плотно закрыв дверь.

— Ну, ваши друзья погибли! — сказал Лафайет.— И

едва ли скоро можно будет начать снова,— добавил он шепотом.

Тургенев дышал с трудом. Лафайет отшвырнул его руку и сказал:

— Ну, успокойтесь, и поговорим о деле.

— Мне нельзя оставаться в Париже,— сказал Тургенев.

— Конечно, нельзя,— ответил Лафайет.— Вы должны уехать сегодня. Знает ли русский посланник о вашем прибытии?

— Нигде по пути я не оставил никаких адресов. Никто мною не интересовался.

— Посмотрим,— сказал Лафайет и развернул трубку из папиросной бумаги.— Вас ищут по Италии по распоряжению австрийского канцлера — князя Меттерниха; от Неаполя до Белинцоны подняты на ноги все жандармы и вся полиция. Вашим братьям угрожает смерть.

Этого Тургенев не мог вынести. Он закрыл глаза и впал в беспамятство. Лафайет молча ходил по комнате, потом сел за стол и стал писать. Он писал быстро на больших листах почтовой бумаги один и тот же текст. Он просил принять Тургенева, оказать ему гостеприимство «как человеку, заслуживающему всякого внимания». Четырнадцать писем стопкой лежали на столе. Написав адреса, Лафайет вышел в другую комнату и пригласил Лавассера.

— Будьте добры, друг мой, запечатайте эти письма. Я не решаюсь звать врача. Никто не должен знать об этом визите. Предоставим природе северного гражданина самой прийти себе на помощь.

Цветной сургуч запечатал четырнадцать писем. Семь писем — масонским друзьям в Америке и семь — мастерам ордена вольных каменщиков в Лондоне. Вынув из галстука золотую иглу, Лафайет поднял левую руку Тургенева и без церемонии вонзил ему иглу в ладонь. Тургенев поднял глаза с выражением боли.

— Простите, друг,— сказал Лафайет,— не время дремать. Вы должны сегодня же выехать из Парижа. Вот вам письма. Вы поедете в Лондон, предъявите вот эти семь, но начнете действовать не раньше, чем вами будет вручено седьмое письмо. Если положение ваше на Британских островах будет безнадежным, друзья переправят вас в Америку, и там вы предъявите вот эти семь писем. Уверяю вас, вы в безопасности, если сами не захотите себе зла.

Тургенев провел рукою по лбу. Лафайет его обнял.

— Доброго пути! Ничего мне не пишите. Мне напишут другие. Я буду знать о каждом вашем шаге.

Дилижанс Лафита и Кальяра приехал в Кале, когда было уже поздно. Дождь хлестал как из ведра. Протянутые по берегу канаты и проволоки, державшие вывески на кровлях, бешено выли под ветром. Был дикий свист, гудение и жуткое завывание бури. Ночь на взморье, казалось, стонала. Остервеневший прибой налезал на берег, и в те часы, когда утомленный, измученный Тургенев в бессоннице или в бреду ворочался в грязной гостинице, ожидая утренней отправки с пароходом в Англию, другая воля привела другую разбушевавшуюся стихию в действие. Закрытая карета стояла у дверей «Луврской гостиницы» в Париже. Человек в серых очках с беспокойством смотрел на подъезд. Другой, от угла здания доходя до вестибюля, подходил к нему и успокоительно говорил:

— Скоро выйдет, скоро выйдет. Ты прямо его хватай и швыряй в карету. Постарайся, чтоб не закричал.

Но проходил час. В гостиницу входили и выходили. И вот наконец желанная минута настала. Портье вежливо отворил дверь человеку в низком цилиндре и, когда тот зашагал по тротуару, быстро махнул рукой человеку в серых очках. Через секунду двое схватили вышедшего за руки. Вышедший оказался силачом. Он сбил с ног одного и ударил ногою в живот другого. Портье быстро запер входную дверь. На улице продолжалась драка. И вдруг человек в серых очках заговорил:

— Лучше сдайтесь, господин Тургенев.

Богатырь оцепенел от удивления, от русской речи в Париже и самой отборной русской руганью ответил нападавшим.

— Что вы, канальи! Сукины дети! Какой я Тургенев? Моя фамилия Туркин!

— Есть ли при вас документы?

— Да пойдемте в гостиницу. Я — нижегородский купец четвертой гильдии Никита Туркин.

Портье долго не соглашался отпирать. Наконец по книге посетителей установили, что Николай Тургенев выехал полуторы суток тому назад. Портье покраснел.

— Извините, господа. Ведь русские фамилии такие трудные, что боишься сломать себе зубы, когда говоришь.

— Куда же выехал господин Тургенев?

— Выехал в дилижансе господина Лафита и Кальяра на север.

Стояло засушливое лето. В Петербурге ночью было не темнее, чем днем. В вестибюле Верховного уголовного суда, несмотря на жару, не мог согреться Александр Ивано-

вич Тургенев. Он то выходил на улицу, плотно надев шляпу и кутаясь, то опять входил в помещение и ждал. Вот наконец раздался звонок. Часовые, стуча прикладами, стали у дверей. Где-то по лестнице слышались десятки шагов и звенели шпоры. Боковая дверь открылась. Вышел тот, с чьим именем были связаны лучшие надежды, кого Александр Иванович ждал восемь часов подряд: член Верховного уголовного суда, старый друг тургеневской семьи Блудов.

Тургенев бросился к нему. На лице Блудова он прочел усталость и безразличие.

— Ну, что же, что? — спрашивал Тургенев.

— Ах, как я устал! — говорил Блудов.— Ты представить себе не можешь, как устал!

Ординарец великого князя Михаила быстрыми шагами подошел к Блудову и вручил ему пакет. Блудов сломал печать и читал долго, словно нарочно стараясь не смотреть на Тургенева. Швейцар накинул ему на плечи одежду и вручил трость. Блудов, словно не замечая Тургенева, пошел по лестнице вниз. Ноги подкашивались у Александра Ивановича. Он делал над собой страшные усилия, чтобы не закричать, ему хотелось схватить Блудова за плечи. Он боялся, что еще одно движение — и он потеряет власть над собою. Блудов торопливо шел по Невскому проспекту; задыхаясь и глотая воздух, как утка, Тургенев бежал за ним. Наконец, напрягшись до последней степени, он сказал со спокойным видом:

— Ты так бежишь, что мне!..— Тут он остановился, просунул руку под руку Блудова и, стараясь попасть с ним в ногу, добавил: — Что мне не хватает воздуха!

— Ах, это ты! — сказал Блудов, будто видя его в первый раз.— Прости, братец, ничего не поделаешь — *смертная казнь!*

— Ну, подумай,— закричал Тургенев,— ведь это же безумие! Казнить неповинного человека! Как у тебя повернулся язык? Как ты не закричал на всю залу суда?!

Блудов повторил:

— Через отсечение головы.

— И ты можешь это спокойно произносить? Ты, знающий брата?!

— Да что ж, братец,— сказал Блудов,— такова служба. По долгу и по присяге поступили.

— Да ведь ты же знаешь, что он никакого отношения не имел к делу на Сенатской площади! Если бы он был в Петербурге, то ничего бы этого и не было!

Держа друг друга под руку, оба шли пешком и жестикулировали. На фоне лиловатых ночных облаков белела адмиралтейская игла. Ленивая извозчичья лошадь цокала по камням Невского проспекта. Ровный мягкий свет царил над ночным Петербургом, разливая кругом необычайный мир, спокойствие и тишину прекраснейшей петербургской ночи. А эти двое ничего не замечали. Блудову не казался его поступок ужасным. Эгоистический чиновник царской России, мечтающий о большой карьере, был готов любой продажностью и жестокостью купить себе восхождение на новую ступень бюрократической лестницы. Его спокойствие и законченная бессердечность, его черствость были до такой степени непроходимы, что Александр Иванович окончательно потерял чувство действительности. Глядя в это спокойное и сытое лицо, говоря с товарищем, от которого никак не мог ожидать ничего плохого, Тургенев напряженно думал, считая, что это не более как недоразумение, которое вот-вот рассеется. «Смертный приговор через отсечение головы» казался ему такой ужасающей нелепостью, что он ни минуты не сомневался в его невыполнимости. И, только простившись с Блудовым на углу Фонтанки, он вдруг понял всю чрезвычайную серьезность положения. Его давило удушье. Ставши у фонаря, он обеими руками схватился за ворот. Машинально, почти не сознавая, что делает, резким и сильным движением рванул воротник. Затрещали пуговицы. Разорвалась рубашка, жабо и жилет. Тургенев тяжело рухнул на гранитную набережную Фонтанки, в том самом месте, где когда-то полковник Базень, защищаясь, убил аракчеевского шпиона.

Очнулся Александр Иванович на лестнице у собственной двери. Стряпуха Варвара с корзинкой в руках поддерживала его под руку и, всхлипывая, говорила:

— Батюшка, Александр Иванович, да что же это с вами? У вас волосы-то... седые!

Василий Андреевич Жуковский просыпался рано. Он стоял без шляпы в маленьком садике, надев утренний германский светло-серый редингот. Томик «Ундины» Ламотт-Фуке в кожаном переплете с золотым тиснением торчал у него из кармана. В левой руке он держал тарелку. Правой брал с тарелки пригоршни крупы и бросал белым голубям, воркующим у его ног.

Александр Иванович Тургенев вошел в сад, не говоря ни слова, сел на скамейку. Жуковский подошел к нему, положил ему руку на голову и сказал:

— Приговор еще не конфирмован. Уверяю тебя, что Николаю будет дарована жизнь. Однако на тебе лица нет. Ты вряд ли пил кофе? Пойдем ко мне!

Тургенев хотел что-то сказать и... не мог. Рука после бессильного жеста упала как мертвая и разбилась о скамейку.

— Я должен выехать,— сказал он наконец.

— Это тебе разрешат,— сказал Жуковский.— Знаешь, что самое трудное: то, что Пестель и Рылеев показали против Николая. Они прямо назвали его диктатором, республиканцем и истребителем царской фамилии.

Александр Иванович развел руками.

— Когда хочешь ехать? — спросил Жуковский.

— Как можно скорее.

Прошло три дня. Николай I возился над проектом Третьего отделения в собственной его величества канцелярии. Бенкендорф сделался его правой рукой.

Жуковский с большим трудом добился разрешения говорить о Тургеневе. Николай I посмотрел на него в упор и сказал:

— Непричастность Александра Тургенева установлена. Мальчишка Сергей, к радости моей, тоже невинен. Но если Николай Тургенев действительно чувствует себя невинным, то передай ему через брата, чтобы он явился на суд, как человек честный. Может рассчитывать на царскую справедливость.

Александру Ивановичу был разрешен выезд за границу.

На кронверке, близ крепостного вала Петропавловской крепости, против небольшой и ветхой церкви Троицы, в два часа ночи тринадцатого июля 1826 года из отдельных деревянных частей собрали виселицу. Двенадцать солдат Павловского полка с заряженными ружьями и со штыками стали вокруг эшафота. Пять человек со связанными руками и ногами, перетянутыми выше колен, едва переступая, взошли на помост. Сто двадцать человек приговоренных к Сибири и каторге были поставлены вокруг эшафота как свидетели поучительного царского зрелища. Рылеев, Каховский, Пестель, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин в последний раз вскинули глаза на небо. Десять полицейских и два палача накинули на них мешки. В мешках они еще двигались. Потом намыленные петли надели им на головы. Бесформенные и страшные фигуры под одной перекладиной вдруг повисли, потому что эшафот, двинутый рычагом палача, быстро опустился. Но страшный произошел случай! Меньше чем через минуту трое оборвались.

Раздался стон. Два мешка — один с кожаной нашивкой, на которой было написано «Пестель», и другой с такой же нашивкой и меловой надписью «Каховский» — судорожно извивались под перекладиной. Трое других стонали. На мешке с надписью «Рылеев» показалась кровь.

— Подлецы, даже не умеете делать своего дела! — закричал Рылеев.

Петербургский генерал-губернатор Кутузов подбежал к виселице, ударил кулаком в зубы полицейскому и выхватил у него веревку. Матерно ругаясь, генерал собственноручно надел всем троим веревки. Отбежал и махнул рукой. Помост снова опустился, и через минуту все было кончено.

На берегу Темзы, озираясь, ходит человек, не находя себе пристанища. Он ел и пил в матросском трактире, несколько раз подходил к дверям неизвестного ему человека, вынимая письмо, брался за молоток и каждый раз не мог ударить — рука коченела, не в силах был ее разогнуть. Это было последнее письмо, которое должен был вручить Николай Тургенев. Но, бродя, словно в бреду, по берегам туманной реки, вдыхая тяжелые испарения от гниющей рыбы, от дыма, от несвежей речной воды в затоне, он никак не мог справиться с собой. Он ловил себя на мысли, что боится каждого прохожего, что город с кишащими улицами, с беспорядочным огромным движением — ему страшен. Тоуэр, Вестминстер казались ему грозными призраками. Башенные часы его пугали, и, однако, он больше всего боялся пустынных и маленьких переулков. Не потому ли рука бросала молоток без стука, что эта маленькая дверь вела в низенький дом в глухом переулке, выходящем к берегу Темзы. Он выбегал из этого переулка, чтобы снова попасть на людные улицы, чтобы чувствовать вокруг себя толпу, чтобы затеряться среди людей. В третий раз выбежав из этого переулка, он дрожал как в ознобе, слыша цокание копыт по мостовой. Это был бред наяву. Николай Тургенев бредил преследованиями. В полном изнеможении в два часа дня он сел в карету, едущую на север, и почти безостановочно, без еды и без питья, не щадя сил, ехал до самой шотландской границы. В лесах, горах и долинах Шотландии он вдруг почувствовал отдых. Он вдруг яснее стал смотреть на вещи. Незнакомые, великолепные картины, связанные с лучшими романами Вальтера Скотта, вдруг напомнили ему беспечные, почти счастливые дни, когда он, отдыхая от работ, мог с наслаждением перечитывать старинные были этой чудесной страны.

Наконец еще один переезд, и он сможет отдохнуть в Эдинбурге. Заняв комнату в придорожной таверне, Тургенев в первый раз ел и пил, не оглядываясь и не чувствуя испуга. Кружка вина оказалась для него роковой. Вытянувшись на скамье и положив под голову баул, он вдруг заснул крепким и глубоким сном. Спал он долго. Проснулся оттого, что его расталкивали чьи-то сильные руки.

— Два дня вы спите, господин! — говорил силач, встряхивая Тургенева за плечи.— Ни отец, ни я не можем вас растолкать.

Перед Тургеневым вдруг встала действительность, позабытая во сне. Безумно захотелось жить. Твердая решимость во что бы то ни стало избежать опасности им овладела после отдыха и сна. Расплатившись и взяв носильщика из трактирной прислуги, Тургенев пошел пешком на почтовую станцию.

Путь до Эдинбурга не был ничем примечателен. В городе он остановился в гостинице «Цветок и корона». Ему отвели маленькую комнату во втором этаже. Из окон открывался чудесный вид на горы, на дымчатые леса, на серые, быстро бегущие облака. Вздыхая полной грудью, Тургенев не мог оторваться от этого зрелища. Раздался осторожный стук в дверь. Тургенев сказал по-английски: «Войдите». И вдруг отступил с широко раскрытыми глазами в самый угол комнаты. Перед ним с холодным спокойствием стоял секретарь русского посольства в Лондоне князь Горчаков.

«Все погибло»,— думал Тургенев.

Горчаков поклонился с дружелюбной и даже почтительной улыбкой, спокойно подошел к нему и спросил:

— Как это случилось, Николай Иванович, что я, выехав на день позже вас из Лондона, оказался на день раньше вас в Эдинбурге?

— Чего вы хотите? — спросил Тургенев.— Каким ужасом хотите вы овеять мою душу?

— Ничего нет страшного. Все просто, Николай Иванович! Правительство его величества предлагает вам явиться в Петербург для того, чтобы предстать перед судом, милостивым и справедливым.

— Да, но я нездоров и мой отпуск еще не кончился,— слабо заговорил Тургенев.

— Я буду говорить, как друг,— сказал Горчаков.— Император вас простит. Только не делайте европейского скандала. Вернитесь добровольно, иначе придется прибегнуть к дипломатической переписке. Это для вас хуже, а

для нас невыгодно. Я лично убежден в вашей невинности. Вам так легко будет доказать ее на суде.

— Говорите ли вы это лично от себя, или посланник, граф Ливен, уполномочил вас дать мне гарантию моей безопасности?

— Поверьте моей дружбе. Я вас очень люблю, и ваш государственный ум необходим России. Неужели вы думаете, что император без вас обойдется? Уверяю вас, что даже если бы вы были виновны, он так к вам расположен, что будет искать смягчающие обстоятельства, дабы восстановить ваши нарушенные права.

— Был ли уже суд над несчастными, выступавшими на Сенатской площади?

— Честью клянусь, что нет,— сказал Горчаков.— Нет смысла раздувать эту маленькую историю. Послушайтесь моего совета. Мой экипаж к вашим услугам. Мы приедем в Лондон. Граф вас обласкает. Поживете у нас, а потом мы вместе поедем на родину.

Тургенев молчал. Вдруг бешенство исказило его лицо. Он подошел к Горчакову со сжатыми кулаками и сказал:

— Во избежание несчастия, в целях вашей собственной безопасности, чтобы я вас не оскорбил...— и, закидывая руки назад, подходя почти вплотную к испуганному Горчакову, продолжал: — чтобы я не спустил вас, как негодяя, с лестницы, немедленно выйдите вон. Я не вернусь!

Глава тридцать вторая

В Москве на Собачьей площадке в доме Ренкевича был полный содом, человек пятнадцать сидели за столом, на самом столе, на подоконниках и на постели. Бутылки катались по полу. Густой табачный дым висел в воздухе. Молодой человек с бакенбардами, курчавыми волосами, в красной рубашке и плисовых шароварах, с поднятым стаканом в руке кричал:

— Так и спросил: что бы со мною было, будь я тогда в Петербурге? «Был бы с ними»,— ответил я. Да, да, друзья, был бы с ними! Да! Да!!!

— Хорош бы ты был,— отозвался другой.

— Да уж нечего говорить — хорош,— ответил рассказчик.

Эх, был бы я такой же шут,
И я б тогда болтался тут.

Говоривший начертил в воздухе виселицу.

— Пушкин, это безобразие! —закричал хозяин.

— Безобразие, Соболевский, то, что делаешь ты! Калибан! Фальстаф! Обжора! Кюхельбекера не мог спасти!

— А я при чем? — говорил, отступая, Соболевский.

— Хуже всего, — продолжал Пушкин, — что нет у меня ни в чем уверенности. Меня, как Беранжера, хотят сделать ручным домашним животным. Беранжер отказался взять от правительства деньги. Да ведь я-то не Беранжер! Привезли меня прямо из Михайловского! Умыться с дороги не дали! Прийти в себя от удивления не дали! А когда я, уставши, облокотился на стол, государь повернулся на каблуках и сказал самому себе: «Нет, с этим человеком нельзя быть милостивым». Ну, довольно об этом! Я возвращен, я на свободе, я живу и дышу! Но бедный Пущин! Не могу без него жить. Недавно ведь приезжал. Я ему «Бориса» дочитывал, я ему Калашникову показывал.

— А ты что, ее в Болдино отправил? — спросил Соболевский.

В углу Погодин шептал на ухо Ражалину:

— Жаль, что наш талантливый поэт предстал перед нами в развратном виде. Это все свинья Соболевский делает. Пушкин у него на квартире сопьется.

— И Тургеневых жаль, — закричал Пушкин, — Петруша Вяземский живет в Ревеле и воспевает море. Друзья, по этому морю, раздувая паруса, мчится корабль и несет Николая Тургенева в кандалах. Что делать?

В наш гнусный век
Седой Нептун — земли союзник,
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник!

Александр Тургенев подъезжал к Варшаве. Туманное утро вполне отвечало его настроению. Сидя в кофейне «Кристаль» через какой-нибудь час после въезда в Варшаву, разглядывая тарелку с варшавским гербом, изображавшим сирену, посматривая на тусклое, серое небо, плачущее над варшавской аллеей Вздохов, Тургенев раздумывал о том, как судьба разметала всех его братьев по свету.

Молодая полька с заостренным овалом лица, с большими голубыми глазами, белокурая, улыбающаяся, села против него за столик.

«Сиди, сиди, голубушка, — думал Тургенев, — мне сейчас не до тебя. Знает ли Сережа о петербургских ужасах?..»

И вдруг кровь ударила ему в голову. А что, если его, Александра Тургенева, сейчас нарочно с такой поспешностью выпустили за границу? Что, если Николай где-нибудь перехвачен? в закрытой карете доставлен в посольст-

во? и дальше, под видом умалишенного? с чужой фамилией? и ложным паспортом? отправлен жандармами в Петербург?! Александр Тургенев почувствовал такой озноб, какого не знал со времени симбирской лихорадки. Зубы застучали. Стакан с крепким кофе задрожал в руке.

«Боже мой, как ужасна жизнь! — подумал он.— Как страшно жить!»

В Мариенбаде не застал Сергея. Бросился в Берлин. В посольстве ничего не знали. Поехал в Дрезден. Старуха Пушкина через дверь, не пуская Александра Ивановича к себе, сказала ему грубо, что брак расстроился и что она просит ни Сергея Ивановича, ни Александра Ивановича не беспокоить ее бесполезными визитами.

«Начинается! — думал Тургенев.— Жизнь кончилась, начинается житие! Еще неизвестно, как все повернется! Я забываю, что я зачумленный, что меня не пустят ни в один дом. Но бедный Сережа! Как он перенесет этот удар? При его впечатлительности, после всех потрясений константинопольской резни, что с ним теперь и где он?»

Лихорадка продолжалась. Тургенев трясся не от холода, и эта тряска гнала его по улицам, заставляла бешено кричать на извозчиков. Как безумный, он вскакивал на ходу в городские омнибусы, сбивал с ног шуцманов, выпрыгивая с империала, словно ему было пятнадцать лет, а он не был директором департамента в отставке, с пенсией и чинами, словно он был мальчишка-циркач, привыкший соскакивать с лошади на галопе, словно он был вольтижировщик в манеже аракчеевских казарм. Эта дьявольская легкость стоила ему очень дорого. Доктор Альтшулер на улице Унтер ден Линден прописал ему успокоительные пилюли, но, к ужасу, они дали обратное действие. Пропал сон. Наступило страшное возбуждение. Уже третьи сутки он гнал собственную коляску, запряженную немецкими почтовыми лошадьми. Старый лакей Николая Ивановича — Ламберт — сопровождал его всюду. Равнодушный и холодный человек, он не выказывал ни малейшего удивления, когда Александр Иванович по ночам в экипаже произносил вслух какую-нибудь фразу, выкрикивая строчку из трагедии, или заламывал руки.

Кальяровские лошади привезли его в Париж. Побежал сразу в посольство. На лестнице увидел Лабенского, секретаря. Тот встретил Тургенева приветливо.

— Где Сергей, где Николай? — спросил Александр Иванович.

— Как! Ты ничего не знаешь? Сергей в «Луврской гостинице» в состоянии полного отчаяния, а Николай, по-

моему, в Лондоне. Хочешь послушать совета? Сделай, чтобы он вернулся скорее в Россию.

— Я за этим приехал,— сказал Александр Иванович,— я имею повеление государя императора.

Лабенский участливо посмотрел на него.

— Ну, эти шутки ты оставь.

Простясь с Лабенским, Александр Иванович поехал в «Луврскую гостиницу». Радость Сергея при виде старшего брата была огромна. Но Сергей перешел какую-то границу и напугал Александра бурным проявлением своей восторженности. Он пел и приплясывал, бросался на шею брата, говорил ему, что еще одни сутки ожиданий — и он бы не вытерпел. Потом, наклоняясь совсем близко к Александру Ивановичу, шептал:

— Знаешь, по-моему, они уже убили Николая.

— Да что ты, Сережа, опомнись,— говорил ему Александр Иванович.— Николай благополучен в Лондоне.

— Нет, нет, они смотрят совсем не так, чтоб он был благополучен.

— Кто они? — спросил Александр Иванович.

Сергей встал и, обводя комнату блуждающим взором, говорил:

...Умереть, уснуть.
А если сон видения посетят?
Что за мечты на смертный сон слетят,
Когда покинем суету земную?

Это она читала в Дрездене.

— Кто она? — спросил Александр Иванович.— Пушкина, твоя невеста?

— Да, да,— сказал Сергей.

— Вы что же — вместе разучивали «Гамлета»? — спросил Александр Иванович.

Сергей не ответил. Он тихо взял Александра Ивановича за руку, подвел его к шкафу и сказал, отворяя дверку, покачивая головой:

— Вот посмотри, братец, что они сделали.

Александр Иванович отшатнулся. Пальто, сюртуки, жилеты, вся одежда была разрезана на тонкие ленты и висела лохмотьями на держателях. Сергей развел руками с видом страшного огорчения и, положив голову на плечо Александру Ивановичу, горько заплакал.

— Сережа, что же это, что с тобой? — закричал Александр Иванович.

Он подвел брата к дивану, усадил его, быстро налил стакан воды, но зубы Сергея стучали о край стакана, он расплескивал воду, трясясь всем телом, и наконец громкие,

безудержные рыдания огласили комнату. Чувство ужаса охватило Александра Ивановича. Безнадежная тоска защемила сердце.

Что делать, к кому обратиться?

Он выбежал в коридор. Он хотел звать. Звать было некого.

«Бедный брат! — подумал он.— Что пережил он в последние дни!»

Он побежал в контору гостиницы.

— Умоляю вас,— кричал он,— ради бога! Врача! Как можно скорее врача!

В конторе гостиницы засуетились. Мальчик в зеленой куртке с синими лентами и шнурами побежал за врачом. Александр Иванович возвратился к себе наверх. Сергей спал, свесив голову с дивана. Александр Иванович боялся его пошевелить и в то же время видел, как эта беспомощно повисшая кудрявая белокурая голова синеет и наполняется кровью.

За круглым столом в приемной гостиницы доктор Корэф, коротенький курчавый человек, с короткой толстой тростью, украшенной громадным хризолитом, говорил Александру Ивановичу после осмотра Сергея:

— Только великий Пинель знал секреты излечения этих странных явлений. Тут происходит утрата какого-то летучего вещества мозга. Как восстановить его? Я склонен был бы вернуться к временам гениального Парацельса — знатока таинственных веществ, движущих силами мозга. Но скажу вам откровенно: тут я беспомощен. Я недавно в Париже, я не в хороших отношениях со здешним медицинским миром. Я не люблю французских врачей. Никого не могу вам посоветовать. Меня здесь не любят. Ясно, конечно, что доктор прусского короля не может найти гостеприимства в медицинском мире Парижа. Кстати, в Москве живут родственники моей жены — Матьясы. Не можете ли вы мне оказать содействие в том, чтобы им облегчили переход из одной гильдии в другую?

Тургенев с трудом дышал. Он думал о том, когда кончится эта несносная болтовня великосветской парижской знаменитости, он думал о том, что с этим человеком интересно было бы встретиться где-нибудь в салоне, но что помощи Сереже от Корэфа добиться невозможно.

— Вы, конечно, не сомневаетесь,— сказал Корэф,— что одежду изрезал он сам и что у него все-таки бредовая идея преследования?

Прошло два дня. К великой радости Александра Тургенева пришло письмо из Лондона от брата Николая.

«Значит, жив, здоров и, пожалуй, невредим. Хоть тут какой-то просвет в жизни. Николай просит приехать в Лондон. Говорит, что получил письмо от Сергея, которое поразило его своей восторженностью, доходящей до нелепости. Ни слова о семейных несчастиях, но безумные реплики о Шекспире и бесконечные цитаты из «Гамлета».

«Я прошу вас,— кончал Николай Тургенев,— обратить самое серьезное внимание на младшего брата. Состояние его духа серьезно меня беспокоит».

«Откуда он знает, что я уже в Париже?» — думал Александр Иванович. И как бы в ответ на это, читая мельчайший бисерный почерк брата, он нашел следующие строчки — уже поперек основного текста письма: *«Не знаю, куда вам писать. Нет уверенности ни в чем. Пишу в Париж на адрес Лабенского, а уж он вас разыщет. Ваш приезд ко мне необходим».*

Утром следующего дня Александр Иванович был в посольстве. Ему категорически запретили выезжать в Лондон. Новый удар. С понурой головой пошел он домой. И тут ужасающая картина застала его. Сергей пел, плакал и без умолку говорил, возбуждаясь все больше и больше. Он жестикулировал, кричал и, раньше чем успели вызвать врача и сделать с ним что-либо, разорвал на себе платье и в страшных конвульсиях повалился на пол. Через полчаса, не приходя в сознание, он судорожно вздрогнул, вытянул ноги, и по прошествии второго получаса холодные руки и ноги и чистое зеркало, отнятое от губ, показали, что наступила смерть.

Александр Тургенев безмолвно просидел всю ночь перед телом брата. Под утро высокая, стройная женщина с большими глазами, с седыми висками на белокурой голове помогала ему устроить погребение Сергея. Эта женщина была брошенная мужем графиня Генриетта Разумовская. Услышав от Лабенского о запрещении выезда Александра Ивановича и о смерти Сергея Тургенева, она пришла так же, как приходила всюду, где горе и страдания были чрезмерны. Она сама после погребения Сергея на Père la Chaise предложила Александру Ивановичу отвезти его письма в Лондон. К вечеру она выехала из Парижа.

Она не явилась в русское посольство. Она не стала тратить времени на розыски Николая Тургенева. Она решила применить то средство, на которое может пойти один раз в жизни безумная фанатичка, решившаяся любою ценою

добиться совершения крайнего подвига, пожертвовать своим спасением ради спасения другого. Графиня Генриетта Разумовская после всех несчастий с безумным мужем — сыном гетмана — выехала из России в 1817 году вместе с целой женской свитой великого иезуитского агитатора графа Жозефа де Местра. Александр Тургенев был одним из тех, кто содействовал высылке представителей иезуитского ордена из России. Орден окружил себя густой и непроницаемой сетью интриг, в центре которой стоял Жозеф де Местр, писатель, считавший революцию проявлением небесной кары, защищавший палача, как «белого ангела», несущего земле очищение. Это был страстный защитник светской власти папы, обладавший способностью завлекать слушателей своим религиозным краснобайством. За ним потянулись из Петербурга в Париж вереницы обращенных в католичество женщин, потерпевших те или иные личные неудачи и вывозивших теперь в Париж из Петербурга остатки когда-то больших наследств, предварительно подписав завещание на имя католической церкви.

Генриетта Разумовская была поражена софистическими рассуждениями иезуитов о том, что «цель оправдывает средства». Еще более ее поразило странное противоречие в суждениях хитроумного наставника, когда тот доказывал, что спасение души зачастую состоит именно в том, что человек всеми силами стремится потерять эту душу. Случая не представлялось, говоря просто, и поэтому измученная жизнью графиня Генриетта, услышав о горе Александра Тургенева, решила пойти навстречу именно ему, как главному врагу ордена иезуитов. Она не видела противоречия в этом странном голосе долга, который велел ей помочь уцелевшим представителям тургеневской семьи.

«Вот уже их осталось только двое,— говорила она,— еще немного, и, быть может, зов смерти услышит Николай Тургенев. Надо вовремя ему помочь; быть может, погубив себя этой помощью, я добьюсь того, что Николай Тургенев станет сыном католической церкви: в несчастьях человек податлив на религиозные утешения. Православные попы сейчас не окажут ему никакой помощи. Русская церковь слишком боится царя».

Вот почему розыски Тургенева, не удавшиеся агентам русского посла после внезапного отъезда Николая Тургенева из Эдинбурга, с легкостью удались католичке, приехавшей в Лондон и обратившейся к скромному преподавателю французского языка Шастелю, сильнейшему иезуитскому агенту в Лондоне.

— Попытайте счастье,— говорил ей Шастель.— Поездка неутомительна. Николай Тургенев живет в Чельтенгаме. Но, само собою разумеется, не в наших интересах сообщать его адрес кому-либо.

Деревенский дом на берегу ручья. Огромные дубы, вязы и поросли низкого кустарника кругом. Сквозь зелень виднеются черепичные крыши. Деревянный молоток у двери, наглухо запертой.

Генриетта Разумовская, выйдя из экипажа, долго стучит. На вопрос, кто стучит, отвечает:

— Мне нужно мисс Хаг.

Выходит женщина с волосами соломенного цвета, с засученными рукавами и горстью салата.

— Я имею письмо к вашему квартиранту,— говорит Разумовская.

— Присядьте,— говорит мисс Хаг.

Проходит десять минут, пятнадцать минут. Графиня Генриетта вынимает четки и в молитве проводит еще полчаса. Тяжелые, неровные шаги прихрамывающего человека раздаются за стеною, большой ключ поворачивается со звоном и пением, как в старом сундуке, в двери. Опираясь на палку, входит огромный человек с желтым лицом и воспаленными веками.

«Вот этот гигант,— думает Генриетта,— недаром его прозвали Варвиком. Но какое злое и неприветливое лицо!»

Прямо направляясь к ней, Тургенев жутким, стальным голосом говорит:

— Какую еще неприятность готовит мне жизнь? Что вы мне привезли? На какую еще плаху прикажете мне положить голову?

— Я хотела предуведомить вас о новом горе,— сказала Разумовская, протягивая ему письмо.

Тургенев пристально посмотрел на нее и ни о чем не спросил, взял письмо совершенно молча и медленно вышел из комнаты.

Через два часа мисс Хаг предложила Генриетте Разумовской обедать с нею. После обеда Тургенев снова вышел. Лицо его еще более пожелтело, глаза плохо видели, лоб был нахмурен. Он передал ей запечатанный сургучом пакет, благодарил ее рукопожатием за заботы и *начисто отказался говорить о религии.*

Графиня Генриетта уехала ни с чем. Последними словами Тургенева была просьба, адресованная к брату, что-

бы он не слишком много тратил сил на хлопоты об его положении в Лондоне.

Письмо Н. И. Тургенева к брату Александру Ивановичу:

«14 июня (1827). Вчера приехала сюда графиня Разумовская. Я провел с нею весь день. Получил ваше письмо. Горе не помешало мне и радоваться вашей твердости и глубоко чувствовать и ценить неоцененную вашу ко мне любовь и дружбу. *Но я никогда не заменю для вас Сергея!* Пусть он будет навсегда для нас и незаменяемым, и незабвенным, и всем! Мы обязаны решиться переносить эту величайшую беду твердо. После сего и что иное может быть для нас трудно? Вы не можете теперь приехать ко мне. Трудно ли перенести эту временную разлуку? Надеюсь, что вы согласитесь со мною, что эта неудача не должна сильно вас беспокоить. Я грущу не столько об этой неудаче, сколько о том, что вас ожидает в исполнении предприятий, кои вы намереваетесь исполнить касательно моего положения. Я уже вчера много говорил об этом с графиней. Результат моего мнения вот: что *на успех вы считать не должны, то есть на успех касательно меня.*

Из письма, которое я писал к Жуковскому третьего дня (адресуя на вашу старую квартиру), вы увидите, что я угадал причину вашего неприезда сюда и угадать было не трудно: ибо Сергей писал ко мне, что, когда он собирался из Вены ехать в Париж, а оттуда сюда, Татищев сказал ему, что посол в Париже не даст ему сюда паспорта. Вы очень хорошо сделали, что послушались Жуковского и остались в Париже. Я знаю, что, пробыв здесь несколько времени, вы захотели бы ехать в Россию хлопотать обо мне. *Но тогда хлопоты были бы еще затруднительнее.* Я думаю даже, что свидание наше через год будет сладостнее, нежели могло бы быть свидание теперь. Обо мне судите и теперь и после по собственному вашему положению. Не думайте, чтобы я имел нужду в какой-либо особой помощи или необходимости быть с людьми, принимающими в нас участие, подобными графине Разумовской. *Я чувствую, что мог бы жить и посреди равнодушных.* Мне утешительно было видеть из письма вашего, что между сими хлопотами *вы не забыли о наших мужиках. И я думал о них. Эта обязанность лежит на нас тяжелее теперь, нежели когда-либо.* Я могу только содействовать исполнению оной одними советами; на вас обращается весь труд действовать. Вот совет мой: *будущая участь крестьян дол-*

жна быть обеспечена. И мы умрем. Моя жизнь или смерть не может иметь никакого влияния на их участь; *но смерть ваша может лишить их возможности улучшения их бытия.* Надобно предупредить такому случаю. Надобно исполнить обязанности совести. Ближайшее средство есть: заключить с крестьянами условие сообразно закону о вольных хлебопашцах. Предоставив им свободу и землю, можно условиться на платеж вам оброка по вашу смерть; а после вас какой-либо суммы для содержания училища.

Графиня дала мне вчера вексель. Это мне не очень понравилось. Вы знаете, что у меня теперь много денег. Вам могли бы они пригодиться для дороги. Я могу не только обойтись без них, но совершенно не знаю, на что они мне нужны. Я писал вам прежде о деньгах, потому что видел замедление в присылке; а в самой присылке видел возможность совершенной независимости для предприятия путешествия дальнего и продолжительного в Америку. *Теперь я об Америке не думаю.* Остаюсь здесь».

Генриетта Разумовская умерла. Поездка была последним стремлением осуществить своеобразно понимаемый христианский долг. Николай Тургенев оказался неисправимым. Парижские иллюзии голландской католички, бывшей жены русского титулованного авантюриста, рассеялись, как дым, перед натиском нового времени. Париж тех дней представлял собой картину борьбы двух миров. Революционный призрак девяносто третьего года бродил, как тень, по узким переулкам и рабочим пригородам Парижа. Католические салоны последних аристократов превращались в конспиративные квартиры, где, как в загнившем болоте, вспыхивали Эльмовы огни контрреволюционных замыслов, имевших целью вернуть Францию к временам феодализма. Царствовал Карл X. Люди в черных плащах с кусками высохшего пергамента в руках стучались в ворота старинных замков Франции и выгоняли оттуда новых владельцев, ставших во имя революции на место уехавших за границу дворян. Теперь эти люди в черных плащах волею Карла X возвращали свои дома и поместья. Теперь эти люди получили миллиард золотых франков в качестве «дворян, пострадавших от революции». Откуда было взять эти деньги? Можно было обложить пошлиной или акцизом продукты французских фабрикантов, а те в свою очередь могли снизить рабочим заработную плату. Так началось высасывание из Франции живых соков для кормления сословия, как будто уже сметенного с исторической арены.

Но французские буржуа, отвоевавшие себе львиную долю успеха в жизни, знали, что если внесешь этот золотой миллиард дворянам, то не скоро получишь его обратно от безработных пролетариев Парижа. Операция была им невыгодна.

В отличие от России, где дворянин только что поссорился с царем, во Франции между королем и аристократией был полный мир. Там выступали другие силы. *Новая огромная армия людей, стоящих у ткацкого станка, людей, стоящих у машин, появилась во французских городах. Эти люди жили в ужасающей нищете; разоренные в деревне, они наводняли города, они кишмя кишели в подвалах Парижа, Лиона, Орлеана, Бордо и Тулузы, они голодали при всяком новом улучшении машин, так как хозяева выбрасывали их после этого на улицу, они голодали, как только молодежь из разоренных деревень приходила и сбивала цены на рабочие руки, они продавали свои рабочие сутки, свою рабочую силу, свои руки — все, что у них осталось. И жизнь зачастую отказывалась покупать. Наступала смерть.*

За год перед теми событиями, которые мы описываем, на пятом этаже, где между двумя коридорами помещался холодный чулан, в одном из рабочих предместий Парижа умер Сен-Симон. В дни революции, когда-то, отказавшись от титула и имущества, Сен-Симон кинулся в кипящую лаву революционной борьбы, но, не довольствуясь завоеванием свободы третьему сословию, он первый заговорил о новом устройстве человеческого общества, в котором главную массу составляет пролетариат как четвертое сословие.

В этом Париже надолго остался Александр Тургенев для того, чтобы продолжать «дело спасения брата».

Николай I дал приказ сообщить английскому министерству о том, что «укрывательство Тургенева позорит Англию». Царская записка долго ходила по министерским столам в Лондоне. И семь друзей Лафайета нашли способ сделать это хождение бесконечным. Разъяренный русский царь не получил никакого ответа из Англии.

Глава тридцать третья

Наступил 1829 год. Давно были позабыты пятеро казненных, давно были только во сне видены родные места, с которыми оба брата расстались не добровольно. Новая жизнь вошла в них и затянула их в свой оборот. Один продолжал жизнь изгнанника, почти не покидая своего чельтенгамского уединения, редко выезжая в Лондон, ма-

ло общался с людьми, и лишь изредка итальянские карбонарии поэты Берше или Россетти, отец замечательного мальчика-художника, потерпевшего когда-то судьбу русских военных заговорщиков от других монархов, на других площадях, заходили к Тургеневу, прослышав о его судьбе. Однажды, обедая в маленькой таверне, совсем близ гавани, Тургенев увидел рыжеволосого гиганта с орлиным профилем. Это был Фосколо, автор прославленных «Последних писем Якопо Ортиса». Прошли годы, как его уже нет. Его друзья, Россетти и Берше — «итальянские декабристы»,— как их называл Тургенев, приезжали навещать синьора Николая в чельтенгамском доме. Тургенев зажигал свечи. Все трое усаживались за стол, и начиналось чтение «Божественной комедии» Данте, причем оба, не перебивая друг друга, в полном согласии давали толкование текста. В каждой картине они находили особый смысл, скрытый от непосвященных, они указывали на то, что Данте является первым автором картин гражданской войны в Италии, что он принадлежал к таинственной политической секте, отстаивавшей права народа и писавшей статуты свободных городских коммун старинной Италии. Берше говорил:

— Искра свободы, пламя революций тлеет в сердцах людей. В чем состоит счастье человечества? В преемстве, передаче неугасимого огня. Очаг свободы никогда не потухает. Вспомните обычай при переходе на новое жилище, в новые страны, брать с собою незатухающую уголинку с родного алтаря. *Уголь* зажигается от *угля*, один сжигается временем дотла, другой возгорается от него до пламени. Не так ли мы — итальянские *угольщики* — передали наш затухающий уголь на льдистые равнины вашего гиперборейского царства? Не у вас ли вспыхнули огни *карбонаризма*, и не вспыхнут ли они вскоре во Франции?

Тургенев слушал. Зеленоватые лучи зашедшего солнца золотили высокие, перистые облака. Зеленые долины покрывались сумерками. Наступала вечерняя тишина. Пастухи пригоняли овец. Старая служанка вносила кувшины с парным молоком. Среди этих мирных картин, между холмами, покрытыми лесом, странно звучали голоса трех людей, лишившихся родины.

Друзья уходили. Наступало утро с обычными занятиями — чтение философских книг и экономических трактатов.

Потом, после ухода друзей, тоска и по настоянию брата Александра составление докладной «записки о неправильности приговора».

«Был ли я участником событий 14 декабря? Нет. А если бы я был тогда в Петербурге? — поправлял себя Тургенев и отвечал: — *Тогда этих событий или не было бы, или бы...*»

Тургенев заходил по комнате и наконец с усилием ответил сам себе: *«или бы они имели другой исход»*.

Эти размышления он положил в основу своей записки. Третье, пришедшее ему в голову во время чтения обвинительного заключения, это было то, что недовольство военной молодежи могло иметь источником вовсе не деятельность тайных обществ, а просто фигуру Николая Павловича, который, по словам Петра Каховского, был знаком «офицерству лишь перед фрунтом и вызывал в русских умах размышление». Лестно ли видеть на троне верховного правителя России человека, ограниченного кругозором «фрунтового солдата»?

«Писать это неудобно,— думал Тургенев.— Но ведь в самом деле, какие враждебные чувства мог питать я к Николаю I лично, когда я даже не предполагал, что в руки этого заурядного офицера попадет судьба многомиллионного населения отечества нашего?»

«Оправдательную записку» пришлось много раз перебелять. Три черновика были посланы Александру Ивановичу на прочтение, и все три одинаково были забракованы.

«Я затруднен вопросом,— писал Николай Тургенев брату,— следует ли мне вообще оправдываться, раз дело решено бесповоротно. Я никогда не предполагаю вернуться в Россию. Жизнь моя и там была прежде цепью неприятностей при виде крепостных мужиков, бутошников и таких дворян, как Есиповы, Альбрехты и проч. Я жил в России только потому, что думал, что я должен сам жить для возможности быть полезным делу уничтожения рабства. Меня теперь лишили сей возможности. Не я отказался от исполнения своего долга. Меня почитают несчастливым. Я таковым себя не почитаю. Почему? Потому что я привык видеть вещи в настоящем виде».

Александр Иванович был в ужасе от этих писем. Ему, человеку, легально проживающему в Париже, было не только трудно, но невозможно понять, как его брат отказывается восстановить себя в правах гражданина царской России. Наступил момент решительной борьбы, когда необходимо во что бы то ни стало спасти заблуждающегося, и Александр Иванович нашел в себе необходимое красноречие, чтобы убедить чиновников посольства в неизбежности посылки его в Англию. Чиновники убедились.

Двадцать девятого декабря 1829 года братья встрети-

лись в Лондоне. В маленькой гостинице на Варвик-стрит обнялись и поцеловались после долгой разлуки. День прошел в бесполезных спорах. Наступил еще день, и наконец вместе с итальянцами решили встретить Новый год. Александр Иванович выпил лишнее. Николай Тургенев тоже. Встреча Нового года неожиданно сделалась каким-то буйным пиршеством. Рокетти, племянник библиотекаря Британского музея Паницци, предложил совершить круговую поездку по Лондону для встречи Нового года. О, это была сумасшедшая ночь! Попали где-то, около Виндзора, в маленький матросский притон, две негритянки танцевали в зале, матросы пели и кричали несвязные вещи. Молодой матрос говорил:

— Англичане торгуют неграми, русские торгуют русскими.

Николай Иванович подошел к брату и сказал:

— Знаете, я больше слышать этого не могу. Мне стыдно, что я русский.

Александр Иванович пожал плечами и сказал:

— А мне не стыдно.

— Я уеду,— говорил Николай.

— А я останусь,— говорил Александр Иванович.

— Как хотите, друзья! — кричал Рокетти.— По-моему, здесь очень весело.

Подняв ворот пальто, Николай большими шагами направился к выходу.

«Между мною и братьями лежит пропасть,— подумал он.— Очевидно, я в мире один! Неужели брату в Париже мало этих дешевых развлечений?»

Вернувшись к себе, Николай Тургенев перечислял события, характеризующие первые годы николаевского царствования. Первое, после казни декабристов, манифест двенадцатого мая 1826 года о незыблемости крепостного права. Жестокий устав о печати, так называемый «чугунный устав» десятого июня. Выселение евреев из столиц. Просьба к дворянству о «христианском обращении с крестьянами». Учреждение жандармских округов. *Восемьдесят пять кровавых крестьянских восстаний за четыре года.* И лицемерная присяга на верность польской конституции.

«Без здравого ума может ли быть что-нибудь ужаснее, нежели такое начало царствования?» — спрашивал Тургенев, расхаживая большими шагами по комнате.

Беспокойство им овладело страшное. Чувство тоски и одиночества сменялось отвращением при мысли о возможности вернуться в Россию.

Через два дня Александр Иванович уехал в Париж. Встряхнув дневную усталость, вечером он был на обычном четверговом собрании у Кювье. Французский академик водил его по комнатам своей квартиры в Ботаническом саду, показывая устройство своих ученых кабинетов. Широкий охват интересов сказывался в этом распределении. Каждый кабинет Кювье был посвящен отдельной науке. Ботаническая лаборатория сменялась физическим кабинетом, из которого можно было прямо перейти в геологический и палеонтологический кабинеты; химическая лаборатория примыкала к обширной библиотеке, увешанной географическими картами, таблицами и картинами животных исчезнувшего допотопного мира. Кювье показывал куски ископаемых костей, подносил эти куски к стене, на которой был большой чертеж скелета, и говорил группе гостей:

— Вот изгиб, наиболее показательный для направления роста скелета этого странного животного. По этому изгибу вы путем комбинированной формулы органического роста ткани, путем вычисления давления костной тяжести на скелет можете определить строение всего скелета. Вот мой рисунок.

Он указывал на небольшой зарисованный киноварью угол чертежа и говорил:

— Вот место, занимаемое на скелете костью, которую я держу в руке. А вот, по моему скромному мнению, каков должен быть скелет этого вымершего чудовища. Мы можем определять возраст земли, мы можем многие тайны природы открыть этим способом. Мы должны заставить ее заговорить с нами понятным языком, а содействовать этому может только тесное содружество наук, стремящихся к одной цели. Я смотрю на общество ученых как на тесное содружество человеческого общества, разделяющего трудовые процессы на группы. По типу солидарности наук должна строиться и солидарность человеческих обществ. Между наукой и творческим трудом не вижу разницы.

Группа молодых ученых, литераторов и артистов не без удивления слушала эти странные и небывалые слова. Тургенев обратил внимание на скуластого человека с черной шапкой волос, маленькими глазами, короткими бровями, с губами, слегка поднятыми вверх по углам, с кабаньим оскалом зубов с большими клыками. Этот человек с бесконечной пытливостью впивался в каждое слово Кювье.

— Согласны ли вы со мною, господин Бальзак? — сказал Кювье, обращаясь к этому человеку.

— Не только согласен,— сказал молодой человек,— но

я склонен включить всю литературу в тот оборот содружества, о котором говорите вы. Пора уничтожить грань между литературой и наукой. Будем в литературе воссоздавать ту бурно кипящую жизнь, которая безумствует и плодотворит из хаоса космос в микрокосме и макрокосме.

— Что за дьявольский язык! — шепотом произнес сосед Тургенева.— Это какой-то мастеровой, начитавшийся ученых словарей.

Тургенев наклонился к Лабенскому, стоявшему рядом с ним, и спросил:

— Кто это так язвительно отозвался о Бальзаке?

— Это Мериме,— ответил Лабенский,— автор «Хроники времен Карла Девятого».

— Значит, писатель? — спрашивает Тургенев.— Очевидно, их судьба дурно говорить друг о друге.

— Ну, Мериме имеет право так говорить о Бальзаке. Бальзак — писатель вздорный,— заявил Лабенский.

— Ничего не читал,— сказал Тургенев.

— Могу дать тебе «Шуана» — очень плохая вещь.

Разговор был прерван племянницей Кювье. Стройная, высокая девушка с очень добрым и спокойным лицом вошла в библиотеку и пригласила всех ужинать.

— Здравствуйте, дорогая Дювоссель,— произнес Мериме.— Не видел вас весь вечер и спрашивал господина Кювье, куда исчез *лучший цветок Ботанического сада.*

— Цветок вчера попал под дождь и сегодня кашляет с головной болью.

— Вам не нужно так рисковать собою,— говорил Мериме.— У вас слабая грудь, вам нельзя простужаться.

За ужином Дювоссель сидела между Тургеневым и Мериме. Она была очень непринужденна, очень весела, и какое-то доброе, совершенно не светское внимание светилось в каждом ее слове и в каждом обращении к людям. Она производила впечатление монастырки, давшей тайный обет и остающейся по-прежнему в светской обстановке. Большими голубыми глазами она внимательно смотрела на Александра Тургенева с таким видом, как будто она знала о его горе, но не хотела и не собиралась заговаривать о нем. Только когда Мериме осторожно и деликатно спросил Тургенева, улучшилось ли состояние брата-изгнанника, София Дювоссель, оживившись и словно обрадовавшись возможности выразить Александру Ивановичу свое сочувствие, произнесла:

— Мы так боимся жестокости царя и так радуемся возможности помочь изгнанникам, что я была бы рада,

если б вы мне разрешили хоть чем-нибудь быть вам полезной.

Александр Иванович был удивлен и тронут. Он не предполагал, что брат Николай станет предметом внимания и такого большого сочувствия в доме сухого и строгого Кювье. Он решил обратиться к Дювоссель с просьбой указать, кто мог бы исправить французский язык оправдательной записки брата. Пока Дювоссель собиралась ответить, Мериме осторожно обратился к Александру Ивановичу:

— Если б вы разрешили мне быть вам полезным, я немного знаю французский язык.

Сухое и холодное лицо Мериме вдруг оживилось внезапной улыбкой. Тургенев поблагодарил. Он с удивлением взглянул на это преображение. Большой, чрезвычайно уродливый нос, глаза свинцового цвета, огромный лоб с большими выпуклостями — все было чрезвычайно некрасиво, но улыбка сделала лицо почти привлекательным.

«Он любезен, этот француз,— думал Тургенев,— но черт его знает, какие у него политические взгляды».

— Благодарю вас,— еще раз повторил он, обращаясь к Мериме.— Тут ведь нужен знаток юридических терминов.

— Но ведь я юрист, я окончил юридический факультет,— сказал Мериме.

Кювье через стол спросил:

— Почему литератор Мериме рекомендуется в качестве юриста?

Тургеневу не хотелось, чтобы Лабенский слышал его ответ. Он сказал:

— Мне нужен редактор юридического документа.

Кювье кивнул головой, казалось, понял, в чем дело, и, выннув из жилетного кармана маленькую визитную карточку, написал на обороте несколько слов и через соседа передал Тургеневу.

Академик Кювье просил адвоката Ренуара оказать всяческое содействие господину Тургеневу.

Пробило двенадцать часов. Ночной Париж только что начинал жить. У Кювье за столом сменили свечи. Слуга в зеленой ливрее со знаками Ботанического сада в петлицах внес шампанское. Под громкое хлопанье пробок в комнату вошел новый гость, встреченный восклицаниями и насмешками. Это был довольно грузный высокий человек с круглым, красным лицом, темно-каштановыми, почти черными, волосами и такими же бакенбардами.

— Господин Бейль всегда является перед зарей,— воскликнул один из гостей.

— Это хорошо,— ответил вошедший.— Самые лучшие звезды появляются на небе перед зарей. Но, по-моему, сейчас всего только полночь. У кого-то часы идут слишком вперед.

— Это лучше, чем отставать,— заявил Мериме.

— Верно! — ответил Бейль, садясь и сразу беря большой бокал шампанского.— Но уже давно французские часы показывают четыре, когда на небе восемь. Я только что от госпожи Ансло. Ее супруг защищает классический театр, так что остается пожалеть о неудаче его рождения. Он опоздал родиться ровно на сто лет... Клара, по вашему адресу там были колкие замечания.

— Какие, барон Стендаль? — спросил Мериме, к которому относились последние слова Бейля.

— Вам не могут простить «Театра Клары Гасуль». Ваши испанские комедии разрушают чинное спокойствие благонравного французского театра. А тут еще господин Гюго написал драму, в которой герои перескакивают из эпохи в эпоху, в которой ничего не осталось ни от единства действия, ни от единства времени, ни от единства места. Аристотель и Буало отправлены к черту. Корнель и Расин ворочаются в гробу. Но, увы... и Шекспир не торжествует.

— На вас трудно угодить, дорогой Бейль,— сказал Мериме,— вы, автор «Романтического манифеста», наносите ущерб репутации лучшего романтика — Гюго.

— В спорах Гюго и классиков я на стороне Армана Кареля. Когда газета «Националь» ругательски разругивает господина Гюго с компанией неудачных школьников, я на стороне Кареля. Редактор «Националя» лучше вздорного литератора с трескучими фразами. Нам нужны не стихи, а драма с прозаическим диалогом, драма, способная разбудить общество, испорченное героями прилавка и биржи.

Лабенский подошел к Тургеневу и сунул ему маленькую книжку Кампера о тайных обществах.

— Тебе полезно будет это прочесть,— сказал Лабенский.— Ты не веришь в виновность брата, а между тем Кампер прямо доказывает, что петербургские события четырнадцатого декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года были прямым следствием общего карбонарского плана.

Тургенев покачал головой и сказал:

— Не верю. Я покажу тебе дневник моего брата. Ты увидишь его отношение к тайным обществам. Он писал, что тайные общества невозможны в России.

— Покажи, покажи,— сказал Лабенский и отошел от Тургенева, ворча: — Ну что ломается? Известно, что Николай Тургенев в Эдинбурге сжег все свои дневники!

Александр Иванович задумался, повторяя про себя: «Хорошо, что я не дал брату сжечь свои дневники двадцать пятого года. *Все у меня. Сейчас из Николая не выжмешь ни строчки. А оставшихся бумаг я ему не отдам!»*

Разошлись под утро, Бейль шумел по лестнице настолько, что Кювье, провожая гостей со свечкой, просил не будить соседей. Бейль кричал, обращаясь к Мериме:

— Король Карл Десятый объявил смертную казнь за святотатство. Он предписал смещать с должностей всех некатоликов, занимающих ответственные посты. Начинается «новая борьба с гугенотами». Ждите Варфоломеевской ночи!

Он стучал тростниковой тростью по перилам и, весело хлопая Мериме по плечу, говорил:

— Молодец, Клара! Но не слишком ли много риска? В наши дни, когда Карл Десятый готовит Варфоломеевскую ночь ради восстановления феодальных прав дворянства, писать такие книжки, как «Хроника времен Карла Девятого», опасно, дружок!

— Тише, тише, господа,— говорил Тургенев.— Господин Кювье просил не шуметь.

Но дверь захлопнулась, шестеро гостей-попутчиков оказались на улице, и Бейль без стеснения продолжал:

— Вы уверены, конечно, что Мармон и Полиньяк дураки. Мармон герцог Рагузский, отупевший маршал, полоумный губернатор Парижа, он вам покровительствует, но Полиньяк вряд ли вас помилует, если иезуиты шепнут ему одно лишь словечко. В самом деле, вы не довольствуетесь тем, что при Карле Десятом пишете *«Хронику времен Карла Девятого»,* вы жонглируете именем Карла, вы помещаете в «Парижском обозрении» короткую новеллу «Видения Карла Одиннадцатого»! Как это любезно, изобразить Карла Одиннадцатого галлюцинирующим в ужасе, видящим самого себя с отрубленной головой! Согласитесь сами, что между Карлом Девятым и Карлом Одиннадцатым находится как раз Карл Десятый. Попробуйте втолковать, что «Хроника» относится к тысяча пятьсот девяносто второму году, а Карл Одиннадцатый всего лишь *шведский,* а не *французский король,*— все равно, Клара, ваш безумный замысел очевиден!!!

— Да нет же, это случайное совпадение! — говорил Мериме.— Я не Бейль, я никакого отношения не имел к итальянскому карбонарию, я не проводил в палату гре-

ноблыского депутата Грегуара, который первый подал голос за арест Людовика Шестнадцатого! На мне нет ни одного политического преступления барона Стендаля!

— Вы парируете ловко,— сказал Бейль.— Кстати, когда увидите Мармона, порасспросите его о русских событиях двадцать пятого года. Я представить себе не мог, будучи с Наполеоном в Москве, что эта страна политически созреет так скоро.

— Вы были в Москве? — спросил Тургенев.

— Да, господин Тургенев. Я вздрагиваю каждый раз, когда вспоминаю виленские морозы. Между прочим, супруги Ансло недавно вернулись из России, где пробыли шесть месяцев на коронации царя.

— Да, я вчера читал брошюру такого же изгнанника, как и мой брат, Якова Толстого «Можно ли узнать страну в шесть месяцев». Написано в ответ на книжку Поликарпа Ансло.

— И я читал Якова Толстого,— сказал Бейль.— Простите неприятный отзыв о вашем соотечественнике. Господин Яков Толстой очень резко отозвался о прекрасной книжке Рабба «Краткий очерк истории России». Русский барин, выросший на крепостных хлебах, не стыдящийся быть рабовладельцем, осмеливается издеваться над Раббом, играя русским значением этой фамилии, раб все-таки не «Рабб»! Не правда ли?

— Рабство — это, конечно, позорная вещь для нашей страны,— сказал А. И. Тургенев.— Изгнание моего брата может вам свидетельствовать, что многие не снесли этого позора.

Бейль кивнул головой.

— Я видел господина Николя Тургенева в прошлом году, когда был в Виндзоре.

— Как, вы видели моего брата в Англии?

— Да, мне указали на него мои итальянские друзья, когда он был на прогулке.

Глава тридцать четвертая

Бывший главный адъютант штаба, вовремя уехавший из России «декабрист» Яков Николаевич Толстой, с беспокойством поглядывал на вошедшего гостя. Рваное полотенце валялось на полу, медный тазик с мыльной водой, зеркало и бритва, сапог на диване и вороха документов на столе.

«Плохая обстановка для приема гостей»,— думал Толстой.

И, не зная, с чего начать разговор с неожиданным и крайне неприятным гостем, Яков Толстой прямо начал с этой фразы:

— Прости, Александр Иванович, плохая обстановка для приема гостей. Но...

И запнулся.

— У тебя там, внизу, мальчишка, сын портье, распевает чудесные стихи.

— Ах, это маленький Мюрже! Да, подает большие надежды! — вдруг обрадовавшись возможности сдвинуть с мертвой точки разговор, произнес Толстой и добавил, стремясь раскидать книги и газеты так, чтобы прикрыть документы: — Баальшие надежды!

— Ну, а как твои надежды? — спросил Тургенев.

— Да, знаешь, ведь я же ни в чем не виноват! Кстати, я просил у тебя взаймы и до сих пор не отдал. Сейчас еще хочу попросить. Туго, брат, живется в этом проклятом Париже русскому офицеру.

— Да ведь ты теперь писатель! Разве тебе не платят за защиту царской России? Ты ведь поешь такие панегирики!

— Ну! Ну! — остановил Толстой.— «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». Говори прямо, что тебе нужно. Тургеневы зря не приходят!

Этот тон разозлил Александра Ивановича, но он обрадовался возможности прямо приступить к делу.

— Мне нужно добиться единства действия. Оправдываешься ты, оправдывается и мой брат. Надо, чтобы не получилось разнобоя. Покажи текст твоей записки царю.

— Текст? Текст! Текст! — защелкал Яков Толстой.— Да я тебе на словах скажу. Ну, вот. Как же? Ну! Сообщил в следственную комиссию, что «к тайному обществу действительно принадлежал, но за деяния оного в мое отсутствие ответственности принимать не могу».

— Да ты покажи, что написал! Не таись!

Толстой стал рыться на столе. Но Тургеневу показалось, что роется он больше для виду, так были странно неудачны движения Якова Толстого. Вот он вытянул вчетверо сложенный лист бумаги и показал несколько строк.

«Документ незначительный»,— думал Тургенев. С удовлетворением прочел строчки: «В тайное общество введен был Семеновым». От сердца отлегло. «Слава богу,— подумал Александр Иванович,— что не назвал брата, пригласившего в общество Якова Толстого».

Он хотел перевернуть страницу, и вдруг изнутри выпал казенный бланк, исписанный мелким почерком. Этот клочок бумаги косым движением полетел под диван. Яков

Толстой торопливо бросился его поднимать. Когда он выпрямился, лицо его было красно, глаза потемнели. Казалось, наклонение головы сопровождалось для него невыносимым напряжением. Александр Иванович машинально протянул руку к документу. Толстой, словно не замечая этого жеста, положил документ в толстую книгу с самым небрежным видом и спросил:

— Ну, так как же? Дашь денег?

«Свинья,— подумал Тургенев,— ты что-то таишь, ты что-то виляешь». И молча покачал головой в знак отказа.

С чувством беспокойства Александр Тургенев пошел домой по Итальянскому бульвару. День казался бесконечно большим. Светило яркое солнце. И, вероятно, у многих людей было счастливо и весело на душе. Вот молодая бедно одетая парижанка идет по бульвару со студентом в берете. Тот вертит в руках тремя пальцами тросточку. Лучи солнца искрятся в кружащемся набалдашнике. Оба веселы, оба молоды и, вероятно, не думают о завтрашнем дне.

Когда пришел к себе, то комната гостиницы показалась погребом. За перегородкой слышались голоса, спорившие на тему о безработице. «Ворота фабрик охраняются конницей. Переодетые полицейские агенты делают провокационные выстрелы в часовых. Часовые отвечают залпами в сторону рабочих». Тургенев уже не слушал. Он писал письмо за письмом: 1) Василию Андреевичу Жуковскому с просьбой просить царя о помиловании брата, 2) брату о своих хлопотах и о парижских впечатлениях. Кончив письма, шел обедать в ресторане Пале-Рояля, предварительно сдав пакеты на почту.

«Проклятое время,— думал Тургенев.— Русских в Париже считают политической заразой. Брату нечего и думать появляться на континенте. Приходится писать обиняками. Недаром Николай в ответ на мои восторги по адресу английского парламентаризма и свободы отвечает сдержанным предупреждением о том, что в Англии тайный кабинет вскрывает письма. Письма молодого Маццини, изгнанного из Италии и приговоренного к смерти, были перехвачены. Но все-таки об этом был запрос в парламенте. Долго идут что-то письма».

Черноглазый курчавый мальчишка протянул через дверь Якову Николаевичу Толстому записку.

— Послушай, Мюрже,— закричал Толстой,— отнеси ответ.

Мальчишка смотрел острыми, понимающими глазами.

— Также чтобы никто не видал? — спросил мальчик, кивнув головой.

— Также чтоб никто не видал,— сказал сердито Толстой.

— Вы не думайте, что я маленький,— сказал Мюрже.— На улице лучше видно, чем в комнате, а мы вчетвером спим под лестницей. Все видим, все слышим, все понимаем. Мы знаем, что мсьё важный человек. *Вас любит русский царь.*

— Не говори глупостей, щенок,— закричал Толстой.

Через два часа из коляски прыжком тигра выскочил молодой человек в сером цилиндре и в рединготе оливкового цвета. Щеголеватый, надушенный, словно только что вышедший из парикмахерской, он имел беспечный и несколько наглый вид. Он постучался к Толстому. Дверь закрылась, и маленький Мюрже внизу уже знал, что́ нужно отвечать, если кто-нибудь в эти часы будет спрашивать господина *«Жакоб Тольстой».*

Каждый раз после ухода человека в сером цилиндре маленький Мюрже получал целый франк, а мсье Жакоб возвращался поздно ночью навеселе с девушкой под руку. Девушки все были разные. Мюрже предвкушал удовольствие. Холодная серебряная монета падает в руку, а потом думал, какая сегодня будет, блондинка или брюнетка, а быть может рыжая, с красными губами, как прошлый раз.

В верхнем этаже проживал господин Этьен Жуи, академик, важная персона, автор «Шоссеदантенского отшельника». Отец Мюрже получал от него жалованье. Господин Жуи был, говорят, когда-то таким же бедняком, как маленький Мюрже. Он любит рассказывать о своих приключениях жизни, а господин Толстой говорит, что господин Жуи в Индии отличился в скверном приключении. Он хотел совершить насилие над девушкой в индийском храме, а когда та закричала, то господин Жуи убежал, бросив на произвол судьбы своего спутника офицера. Этого офицера индусы изрезали в куски, в то время как господин Жуи на лошади своего товарища ускакал во французский лагерь.

«Говорят, что господин Жуи использовал деньги убитого. Деньги — самое главное в жизни,— думал маленький Мюрже.— Чтобы быть счастливым, надо иметь деньги. Вот мой отец — всю жизнь нищий и всю жизнь работает. Есть ли в этом смысл?»

Мечты маленького Мюрже о деньгах сбылись только много лет спустя, когда он вырос и сделался секретарем Якова Толстого. Он доносил ему о всяком слове, сказанном русскими людьми в Париже, о литературных кружках

французской молодежи, стремящейся к революции. В эти годы Яков Толстой уже был прощен за грехи своего раннего декабризма. Но об этом в конце.

Пробило одиннадцать ночи. Александр Иванович запечатал последний пакет, записал несколько строк в дневнике и стал переодеваться. Нанял извозчика на улицу Жубер. В гостиной Виргинии Ансло было уже много народа. На голубом диване сидели, рассказывая друг другу непристойности, Сергей Соболевский и Проспер Мериме. Хозяйка поодаль сидела с господином Бейлем, держа в руках «Прогулки по Риму», преподнесенные автором.

— Почему вы избрали такой странный псевдоним? — спрашивала Ансло Бейля.— *Стендаль* ведь даже не французское слово?

— Тем лучше, что не французское,— возразил Бейль.

— Нет, в самом деле, что это значит?

— О, это многое значит, сударыня. Во-первых, *Стендаль* — это маленький саксонский городок с тринадцатью башнями. Во-вторых, в этом маленьком саксонском городке родился величайший знаток искусств Винкельман. В-третьих, отдыхая после неприятностей военной жизни в Брауншвейге, я приехал в этот маленький саксонский городок как раз в тот день, когда немецкие крестьяне и пастухи с гор, под предводительством Катта, пытались изгнать французов из Саксонии. Для меня этот город богат воспоминаниями, а потом *французом не обязательно быть для человека.*

— Смотрите, как Мериме и Соболевский подружились,— сказала Ансло, здороваясь с Тургеневым.

— Они, кажется, сверстники,— сказал Бейль.

— Да,— ответил Тургенев,— так же, как и мы с вами. Мериме и Соболевский родились оба в тысяча восемьсот третьем году. Тургенев и Бейль родились оба в тысяча семьсот восемьдесят третьем году. Не правда ли, странное совпадение?

— Да,— сказал Бейль, внимательно посмотрев на Тургенева.— Все четверо холостяки и все четверо бродяги. Я люблю скитальческую жизнь. А где же господин Ансло? — спросил вдруг Бейль.

— Сегодня ставят его пьесу. Главную роль играет его любовница. О! Как вы счастливы, обходясь без семейной жизни.

— Но ведь театры уже, по-видимому, кончились? — спросил Тургенев и, взглянув на часы, сказал: — Да, уже за полночь, конечно, кончились.

Госпожа Ансло надулась.

— Вы хотите сказать, что мой супруг не в театре. Я это знаю.

Вошел доктор Корэф. Неловкий разговор был прерван. Но судьба положительно издевалась над Виргинией Ансло. Когда Тургенев спросил доктора, какой самый здоровый образ жизни, тот ответил:

— Образ жизни эгоиста,— и, развивая свою мысль, сказал: — Почему Талейран чувствует себя хорошо? Только потому, что он никогда ни о ком не жалеет, иначе как для вида. Он бережет свои чувства и расходует их раз в столетие.

— Ну, кажется, он моложе вас, доктор? — спросила Ансло.

— Не перебивайте, сударыня, иначе я забуду, о чем говорил. Я хочу рассказать вам, как в Вене, на обеде у императора Франца, сосед Талейрана умер за столом, повалившись на плечо Талейрану. Тот спокойно допил глоток вина, поставил стакан на стол и, обратившись к слуге, сказал: «Уберите с моего плеча эту голову, мне достаточно своей». Потом, как ни в чем не бывало, продолжал есть. Второй случай эгоизма очень характеризует женщину. Супруга, увидев, что ее муж умер в постели после супружеской ласки, зовет лакея и просит унести господина.

— Ну и что же? — спросил Тургенев.

— Потом она отвернулась к стене и заснула.

— Хорошо, что слуга не занял его места,— сказала г-жа Ансло.

— Сударыня, мы примем вашу поправку,— заявил Корэф и, обратившись к Мериме, продолжал: — Сударь, что вы сделали с ученым Кювье? Вас чествовали, вами восхищались, а вы?..

Корэф остановился, все, заинтригованные его словами, ждали, что он будет продолжать.

Мериме закончил сам:

— Кювье давно искал автограф Робеспьера и, зная мои дружеские связи с Лабордом, директором архива, просил оказать ему содействие в поисках. Я нашел *автограф*. Кювье и ученые академики признали его подлинность. Устроили обед в мою честь, а я, когда подали шампанское, предложил просмотреть письмо Робеспьера на свет. Обнаружилось клеймо Лионской бумажной фабрики — увы! — тысяча восемьсот двадцать девятого года. Ученые архивисты были смущены! Кювье чуть не заплакал!

— О мастер подделок! О великий фальсификатор чувств! О мистификатор людей! Вот что значит пройти школу журналиста Лингаи, умевшего одновременно пи-

сать в двух газетах диаметрально противоположные статьи с одинаковой убежденностью! — воскликнул Корэф.

«О французы! — думал про себя Тургенев.— О пустые сердца и острые умы! Если бы среди вас я мог бы хоть на минуту забыть муку предстоящей казни брата! Несмотря ни на какие обещания и посулы, я навсегда ушел со службы. Доколе ж я буду скитаться? Как и с чем появлюсь я в России? Чтобы влачить там жалкое существование? *Екатерина Лаваль, ставшая женою Трубецкого, не будучи родной ему по крови, не могла его оставить и поехала за ним в Сибирь. Неужели я предам брата, неужели окажусь эгоистом?»*

Александр Тургенев до такой степени задумался и загрустил, что не заметил обращенного к нему вопроса. Мадам Ансло третий раз спрашивала его о причине задумчивости. Тургенев нашелся, что ответить, но настоящей причины не сказал. Он думал о неверности друзей, о Блудове, который, несмотря на дружбу, вынес брату Николаю смертный приговор, отмененный царем, о Жихареве, которому братья Тургеневы поручили управление домами и который эти дома делает все менее и менее доходными. Жихарев — лучший друг! Жихарев — вор! Жихарев — мошенник! О Кайсаровых, которые разбрелись неизвестно куда, о Жуковском, который до сих пор не может выхлопотать гарантию безопасности для брата Николая.

Мериме рассказывал о доктринерских спорах, о политическом беспокойстве Парижа, о том, что *«поговаривают о смене династии»*. Тургенев пересел поближе и стал слушать рассказы Бейля об Италии, о тамошних жарах, о времени года, наиболее удобном для путешествия.

— Я во всяком случае не останусь в Париже, дорогой наставник,— заявил внезапно Мериме, обращаясь к Бейлю с неожиданной нежностью.— Тут беспокойно — нужно собираться в Испанию. А если полиция не пустит, то я увяжусь за старшим другом и вместе с Бейлем поеду в Италию,— произнес он, поворачивая голову к Тургеневу.

— Чтобы потом,— перебил один из гостей,— появились новые двенадцать томов записок Джакомо Казановы?

Предлагавший вопрос с лукавым видом смотрел на Бейля.

— Бюш до такой степени привык издавать фальшивые хроники,— ответил Мериме спросившему,— что, конечно, он не верит в подлинность записок Казановы.

— Не я один,— сказал Бюш.— Возьмите Лакруа, который пишет под псевдонимом *«Яков-библиофил»,— он тоже категорически отрицает существование какого бы то ни*

было Казановы. Казанова ни слова не понимал по-французски, однако его авантюры описаны таким прекрасным французским языком, какой отличает только автора «Прогулок по Риму», «Ванины Ванини» и «Воспоминания итальянского дворянина». Да, да, — повторил Бюш, упорно глядя на Бейля.— Я не принадлежу к числу наивных людей, допускающих, что анонимный рассказ итальянского беглеца, напечатанный в «Британском обозрении», есть действительно итальянское произведение. Это ваша новелла, дорогой Бейль.

Бейль хотел возражать, но неугомонный собеседник говорил, не давая ему ответить:

— Сошлюсь на другой авторитет. *Итальянский карбонарий, изгнанник Уго Фосколо — лучший поэт Италии — прямо говорил мне, что эти записки представляют собою сплетение вымыслов, встречающихся в брошюрах и журналах, вышедших непосредственно после падения Венецианской республики. Именно Фосколо сказал мне, что господин Бейль, вернее барон Стендаль, приложил руку к этому вымыслу.*

На этот раз Бейль молчал. Мериме тихо и беззвучно смеялся. Виргиния Ансло встала и через минуту принесла из библиотеки двенадцать томиков брюссельского издания 1828 года с надписью Бейля.

— Вот вам,— сказала она,— недостает только подписи: «Искренне преданный автор».

Бейль рассмеялся.

— У вас на книжной полке, рядом с Казановой, стоит маленькая книжка «Мертвый осел, или Обезглавленная женщина», тоже с моей надписью. Не станете же вы обижать бедного Жюль Жанена, который является несомненным автором этой книги. У вас там маленькое издание «Ромео и Джульетты», тоже с моей дарственной надписью. Не станете же вы приписывать мне эту изящную пьесу!

— И все-таки,— сказал Бюш,— Казанова никогда не существовал. Его «Приключения» — ваша выдумка!

Пришли письма из России. Жихарев воспользовался генеральной доверенностью Тургенева и заложил все недвижимые его имущества. *«О деньгах не пишет ничего. Странно!» Пришло письмо от Жуковского. В неопределенных выражениях сообщает, что господь милостив и что если Николай Тургенев считает себя невинным, то пусть явится «для предания себя великодушию императора».*

«Странная неопределенность письма»,— думал Тургенев.

Было два часа пополудни, время, когда мадам Рекамье принимала дневные визиты очень небольшого, очень избранного круга друзей. Александр Тургенев принадлежал к этому кругу. Издали увидел у подъезда карету Шатобриана. Христианнейший писатель в чине римского посланника, Шатобриан уже беседовал с г-жой Рекамье около получаса, в то время как в карете, внизу у подъезда, его ожидала супруга. Г-жа Шатобриан с любопытством поглядела вслед Тургеневу, поднимавшемуся по лестнице. Тургенев машинально оглянулся и посмотрел в окно кареты. Чувство внезапной неловкости охватило его, когда он входил в гостиную и целовал руку мадам Рекамье. Лавр и белая роза кокетливо стояли на мраморном камине. Силуэты мадам де Сталь, черные на золотом фоне, лежали на мозаичном столике. Книги, гравюры и маленький сад перед окнами, распятие из слоновой кости в углу рядом с изображением мадонны. Семь белоснежных восковых свечей и четки, два тома Шатобриана в зеленом сафьяновом переплете «Гений христианства». Разговор вели о политике, о значении христианства в политическом строе государств. Шатобриан с жаром говорил о том, как печальна смерть Байрона, *«первого сатаниста Европы, умершего на греческих полях без надежды и веры в сердце»*. Потом вдруг благодаря какому-то нечаянному повороту Шатобриан заговорил о своем пребывании в Америке, внезапно оживился, и Тургенев почувствовал, что этого человека можно заслушаться, когда он, как богатый колорист, стал набрасывать картины бесконечных американских степей, непроходимых лесов и полноводных, глубоких рек.

«А все-таки у него байроническое ощущение природы»,— думал Тургенев.

Рекамье смотрела на Тургенева все время с таким многозначительным видом, что Тургеневу стало неловко. Минутами ему казалось, что у него есть какая-то небрежность в одежде, но вскоре все разъяснилось. Г-жа Рекамье взяла со стола небольшой пакет и, обращаясь к Тургеневу, сказала:

— Сегодня прибыл господин Матусевич из Петербурга. Он привез мне очень милое письмо князя Вяземского, и в нем оказался, к моему удивлению, пакет на ваше имя.

Тургенев почувствовал большую неловкость: «Как могло произойти, чтобы человек такой вежливый, как Петр Андреевич, позволил себе обременить хлопотами по передаче знаменитую светскую красавицу французской столи-

цы!» Он попросил разрешения вскрыть пакет. Маленький том пушкинского «Онегина», и в нем короткая записка:

«Дорогой Тургенев, писать больше ничего не могу. Брат ни в коем случае не должен возвращаться в Россию.

Твой *Василий Жуковский*».

Сделав над собою усилие, чтобы не слишком взволноваться, Александр Иванович извинился перед г-жой Рекамье и показал ей новую книжку Пушкина. О записке Жуковского, конечно, промолчал.

«Ясность положения все-таки лучше,— думал он.— Но чего стоило Жуковскому написать эти строчки. С его характером, с его вечной боязливостью — это почти героизм».

Шатобриан еще сидел, продолжая высказывать свои опасения за судьбу французской монархии, если король Карл X еще дальше пойдет по пути восстановления старинной Франции.

Использовав первую минуту молчания, Тургенев откланялся и вышел. Г-жа Шатобриан все еще сидела в карете. Мальчишки-газетчики едва не сбили Тургенева с ног криками: «Новые ордонансы».

«С плеч свалилась гора,— писал Александр Иванович брату,— теперь по крайней мере все ясно».

Отослав письмо, стал раздумывать о том, куда и когда собраться из Парижа. Атмосфера слишком сгустилась. Дворяне и буржуа сцепились в парламенте. Одним хочется продавать хлеб подороже с полей дворянских имений, другим хочется иметь дешевые рабочие руки, но все тянут политику налогов в свою сторону. А в Париже растут безработица и нужда, о которой газеты не смеют писать. Того и жди — вспыхнет восстание фабрик и заводов.

Глава тридцать пятая

Утром седьмого июня 1830 года почтальон принес на улицу Ришелье, № 29, в отель Лиллуа, короткую записку.

«Мадам Ансло просит господина Тургенева не позабыть, что в ближайший вторник, 8 июня, мы должны устроить прощальные проводы господину Мериме. Вы должны утешить нас по случаю отъезда нашего общего друга, поэтому те, кто остаются с нами, должны быть в сборе».

Утром девятого июня Александр Иванович писал брату в Чельтенгам:

«Понедельник, Виргиния.

№ 20. Обедал в «Salon des étrangers» [1]. Там встретил Грушн, который был дипломатом в Гишпаннн, а теперь назначен секретарем посольства в Штокгольм. Он мне очень нравится и все расспрашивает о тебе с живым участием. Он дал мне охоту заглянуть в Гишпанию из Пиреней. И Мериме, коего отъезд в Гишпанию вчера праздновали мы у Ансло, приглашает меня, но боюсь жары и полнцни. Впрочем, до Барселоны можно и с одним паспортом французского пограничного префекта добраться. Я кончил вечер у Ансло. Это был прощальный для Мериме. Там слышал я, что политика австрийская изменилась в отношении к мнению о состоянии Франции и о политике внутренней здешнего кабинета. Сказывают, что Меттерних объявил разгневанно в Вене, что правительство губит себя, что Австрия никогда не думала, что должно волновать так умы для поддержания и утверждения королевской власти. То же граф Лансдорф объявил в Берлине прусскому министерству. Сказывают, что этот отзыв очень подействовал. Но Полиньяк все надеется на помощь свыше, ибо он, уверяют, почитает себя вдохновенным и недавно объявил это одной из родственниц своих, которая высказала опасение за монархию».

Перед отъездом Мериме посоветовал Тургеневу:

— Почаще бывайте на представлениях герцогу Орлеанскому.

— Да, мне говорили,— сказал Тургенев.— Двадцать шестого мая утром я был представлен герцогу, герцогине и mademoiselle d'Orléan. Кажется, мне надолго придется поселиться во Франции.

— Поезжайте на юг,— ответил Мериме,— вы ни разу не были в районе Пиренеев. Поедемте со мной в Испанию. Помните, как хорошо вы говорили об этой поездке, когда я познакомил вас с господином Гюго во время первого представления «Эрнани».

— Боюсь, что из поездки выйдет пародия на путешествие. Испания меня страшит!

— Не бойтесь пародий,— ответил Мериме.— Мы ведь с вами вместе смотрели «Эрнани» Гюго и «Ни-ни»...

Мериме уехал. Тургенев последовал за ним.

Двадцать девятого июля 1830 года Бейль возвращался извилистыми переулками по корявым и горбатым мостам

[1] Салон для иностранцев (*франц.*).

из Сент-Антуанского предместья на улицу Ришелье, № 71. Мостовые были выворочены, артиллерийский бой затихал, но выстрелы слышались и в восточной и в западной части Парижа. Третий день Париж сотрясали конвульсии и судороги революции. Сегодня уже было ясно, что никакая отмена диких распоряжений, «внушенных королю Карлу и министру Полиньяку самой богородицей», не поможет. Династия пала. Всюду рвали белые флаги с лилиями Бурбонов, на баррикадах зрелище, не виданное в Париже со времен 1650 года (ибо Великая революция 1789 года обошлась без баррикад), развевались красные знамена, но вместе с тем появился и третий цвет — появилось черное знамя на баррикаде Сент-Антуана с надписью: «Жить, работая, или умереть в бою». Это мрачное знамя с этой трагической надписью было ответом черного отчаяния на черную реакцию, наступившую в эти годы. Десятки тысяч рабочих голодали. Закрывались фабрики, распускались заводы, а двадцать седьмого июля к типографии на улице Ришелье явился полицейский комиссар с отрядом, чтобы сломать типографские машины. Манжен — префект полиции — уверял, что роспуск палаты депутатов не вызовет массового волнения. Он был прав. Рабочим не было никакого дела до расширения избирательных привилегий в среде полутораста — двухсот тысяч французских предпринимателей. Основной массе французского населения не было никакого дела до того, чем кончится налоговая война, объявленная буржуазией, сидевшей в палате, аристократам, сидевшим на скамьях пэров. Но когда стали ломать печатные станки, только что выпустившие прокламации о королевском произволе, как искры электрического тока пробежали от Политехнической школы к фабрикам и заводам. Десять тысяч студентов и рабочих высыпали на улицу. Загремели ломы о камни мостовой, коляски, омнибусы, винные бочки, кровати, двери магазинов, уличные столбы и тумбы, деревья великолепных бульваров,— все стало перегораживать улицы, и длинные проволоки потянулись с одного тротуара на другой, чтобы конница, налетавшая на толпу, остановилась и сразу отпрянула под выстрелами инсургентов. У губернатора Мармона была армия в четырнадцать тысяч. Ни конница, ни артиллерия не могли повернуться в Париже. Полки и батальоны отказывались стрелять, тем не менее по Парижу гудел набат, восток был охвачен заревом, и Карл X, играя в вист на балконе в Сен-Клу, не без тревоги спрашивал Полиньяка, что все это значит. Полиньяк отвечал: «Вспышка, простой бунт. Это скоро кончится». Но это не кончилось. Бои разгорались все

страшнее и ужаснее. На улицы вылились роты, батальоны и полки старой Национальной гвардии, которые откуда-то с чердаков и из укладок достали старые, помятые мундиры и нацепили трехцветную кокарду — белую, красную и синюю, так знакомую Парижу 1793 года,— появились всюду с ружьями, пистолетами, саблями и трехцветными знаменами. Движением нужно было руководить. Второй день оно носило стихийный характер. Годфруа Кавеньяк в рабочих кварталах поднял призыв к республике. Депутаты буржуазии собрались у банкира Лаффита и не знали, как быть, составляли вялые воззвания, выпускали их без подписи. Лаффит смеялся: «Если синяя блуза победит, сколько среди вас будет охотников объявить свою подпись; если она будет поражена, вы — чисты, никто не запачкал чернилами бумагу».

Не растерялся Тьер. Он выпустил громовую листовку с своей подписью. Ее мысль сводилась к следующему: «За республику нас растерзает Европа, Карл X пролил народную кровь. Он не может вернуться на престол. Да здравствует власть орлеанского герцога!»

— Как, неужели мы боролись за то, чтобы вместо дворянского короля посадить короля буржуазии? — кричал Кавеньяк.

— Да, вы боролись за это,— отвечал Лафайет, ставший во главе Национальной гвардии.— Луи Филипп — лучшая из республик.

Так совершилось это предательство. Так опять старое коалиционное знамя, синий цвет Парижа, белое королевское знамя и красный цвет штрафного Шатовьеского полка перепутали пути революции и движение революционной массы свели к достижению собственных выгод буржуазной верхушки. Депутаты, боявшиеся подписаться под актом низложения Карла X, теперь не испугались выступить против той самой массы, движением которой они воспользовались. Приехавший в Париж пятидесятисемилетний Луи Филипп держался очень скромно. В мундире национального гвардейца он пожелал видеть Лафайета, скромно прося аудиенции у своего командира. Он был назван королевским наместником. Он вежливо извинился перед Карлом X за то, что занял его место, и обещал ему всяческую помощь. Потом позвал к себе своих друзей генералов и сказал: «Поезжайте, припугните старика, пусть уезжает на все четыре стороны».

Карл уехал, но Людовику, когда-то вежливо подобравшему головной убор Карла X, захотелось теперь подобрать упавшую корону. Волна негодования прокатилась по Па-

рижу: Как может куцая палата, созванная прогнанным королем и пропускавшая депутатов через кордоны полицейских интриг, как может эта палата определить образ правления страны? Тем не менее собравшиеся в Париже банкиры потолковали с Луи Филиппом, предложили ему в точности соблюдать хартию и договорились о том, что тридцатилетние граждане, платящие не меньше двухсот франков налога, могут участвовать в выборах палаты. Если Карл X хлопотал о привилегиях восьмидесяти тысяч дворян-землевладельцев, то его преемник продал свободу Франции ради выгод двухсот тысяч крупнейших фабрикантов и торговцев. Тридцать четыре миллиона французских граждан были сделаны лишенцами.

Мы оставили Бейля среди улицы в раздумье стоящим перед затухающим пожаром и вспоминающим московские зрелища 1812 года. В течение двух дней он не выходил из дому с того момента, как ночью увидел огромные каменные плиты мостовой, сложенные в виде заграждения до второго этажа зданий. Двадцать девятого числа, выйдя рано утром и неоднократно попадая в поле обстрела, он с ужасом убедился, что не может вернуться прежней дорогой. Набат и стрельба не затихали. Но артиллерийская канонада кончилась. Пушки не достигали никакой цели, они портили дома на узких и кривых улицах Парижа и зачастую избирали мишенью свои собственные воинские части.

Пятнадцатого августа Бейль писал своему другу:

«Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромную радость. Извинением моему запозданию с ответом может служить только то, что я в течение десяти дней вообще не написал ни строчки.

Для того чтобы вполне отдаться замечательнейшему зрелищу этой великой революции, надо было все эти дни не сходить с французских бульваров. (Кстати сказать, от самой улицы Шуазель почти до отеля Сен-Фар, где мы поселились на несколько дней, вернувшись из Лондона в 1826 году, все деревья порублены на баррикады, загородившие мостовые и бульвары. Парижские купцы с радостью отделались от этих деревьев. Не знаете ли вы средство, как пересаживать толстые деревья с одной почвы на другую? Посоветуйте нам средство восстановить украшение наших бульваров.)

Чем более мы отходим от потрясающего зрелища *великой недели*, как назвал ее господин Лафайет, тем более кажется она удивительной. Ее впечатления аналогичны

впечатлению от колоссальной статуи, впечатлению от Монблана, если смотреть на него со склона Русса в двадцати лье от Женевы.

Все, что сейчас написано было наспех в газетах о героизме парижской толпы, совершенно верно. Появились интриганы, которые все испортили. Король, конечно, великолепен: он сразу выбрал себе двух дрянных советников: господина Дюпена — адвоката, заявившего 27 июля, после чтения ордонансов Карла X, что он не считает себя депутатом, и второго... Простите, меня прервали, и я должен поспешно отправить вам этот клочок бумаги. Я вам допишу его завтра. Сто тысяч человек вошли в Национальную гвардию Парижа. Наш восхитительный Лафайет стал истинным якорем нашей свободы. Триста тысяч человек в возрасте двадцати пяти лет готовы воевать. Но, кроме шуток, Париж способен отстоять себя, если действительно на него навалятся двести тысяч русских солдат. Простите мои каракули. Меня ждут. Чувствуем мы себя хорошо, но, к несчастью, наш Мериме в Мадриде и не видел этого незабываемого зрелища: на сто человек героев-оборванцев во время боя двадцать восьмого июля можно было встретить не более одного хорошо одетого человека. Последняя парижская сволочь оказалась настоящими героями революции и проявляла действительно благородное великодушие после битвы.

Ваш . . . . . »

Каковы бы ни были результаты июльских событий в Париже, тревога охватила монархическую Европу. Николай I не признал Людовика Филиппа законным королем, и в дипломатическую скважину, образовавшуюся в эти месяцы, проскочило разрешение Николаю Тургеневу приехать на континент. К тому времени, когда состоялась эта поездка, появились баррикады в Брюсселе, а еще немного времени спустя репрессии Николая I довели до открытой гражданской войны угнетенную им Польшу. Николай Тургенев выехал в Швейцарию и поселился в Женеве. Русский царь, поглощенный тревожными вестями с Запада, не делал никаких шагов и попыток вернуть Тургенева для суда и наказания. Окончательно потеряв признаки русского помещика, Николай Тургенев вращался в среде старых французских карбонариев и дописывал огромную, начатую им еще в Лондоне работу *«Россия и русские»*.

Наступил 1832 год. Александр Иванович странствовал по Италии вместе со своим новым другом Анри Бейлем,

которого он просто называл *Стендаль-Бель*. Неопределенность будущего тревожила его и не давала ему покоя. Он писал в дневнике:

«С тревогою смотрю на будущее. В нем нет отечества, в нем только судьба брата и тревога за него».

В декабре, по мере приближения рокового четырнадцатого числа, всегда внушавшего Тургеневым чувство непобедимой тоски, Александр Иванович и его французский друг были в Венеции. Оба вспоминали — один своих итальянских друзей-карбонариев, другой — ссыльных декабристов.

Дневник А. И. Тургенева.

«Колокольня (кампаниле) св. Марка стоит особо на площади, и вид с оной на всю Венецию, на ее лагуны и острова, на тысячи каналов и мостиков, их пересекающих, на громады, воздвигнутые веками и брошенные разрушению, очарователен.

Вдали синеют горы и бесконечное море... Я вышел раз взглянуть на стены Арсенала — надгробный памятник Венеции. Глядя на него, венецианцы, прохаживавшиеся в зеленеющем саду Наполеона, могут со вздохом говорить друг другу: — Et nos quidam floremus [1].

Один из колодников, скованных по двое одною цепью, работавший в сарае, где готовят корабельные мачты, упал затылком на бревно, и товарищи вынесли его при мне из сарая. Я был до слез тронут попечениями их о собрате; не один тот, который был скован с ним одною цепью, но и другие обступили его, начав обливать водою и положив на солнце. На лицах каждого изображалась горесть, беспокойство и какая-то нежная заботливость, между тем как австрийский чиновник и надсмотрщики смотрели на эту сцену без участия. Некоторые из колодников говорили понемецки, и я понял, что им хотелось помочь страдающему собрату, все еще без чувств лежащему на солнце, но что они не знали, чем и как помочь ему, и эта досада выражалась на их лицах. В эту минуту я как-то с ними побратался. Чувствовалось, что преступление, что горе сковало и привело их сюда, не пошатнув в них человеческого сострадания к товарищу, коему чужды были другие свидетели, равнодушные к страданию.

Они с благодарностью приняли подаяние для их собрата, все еще без чувств лежащего. *Настоящей помощи я не мог подать ему...* ...мне пришло на мысль другое... и это

[1] И некоторые из нас процветают (*лат.*).

воспоминание еще более отравило мою душу, мое *русское* сердце; смотря на этих колодников, гремевших цепями вокруг своего страждущего товарища, я вспомнил, что наши сестры и дочери *плясали под звук цепей, в коих шли их друзья и братья в Сибирь!!!..* Но другое воспоминание усталого сердца... молодые супруги летели туда же к супругам зарыться с ними во вьюжных снегах до... радостного утра!!!

Сел у первой пристани в гондолу...»

По пути в Рим, расставшись с Бейлем, А. И. Тургенев задержался большими остановками и проживанием во Флоренции. Отмечая везде в дневнике отсутствие книжных магазинов в итальянских городах, он с радостью, как исключение, подчеркивает Флоренцию. Там женевский гражданин, книгопродавец Вьессе, открыл читальню (gabinetto di lettura), вскоре ставшую местом собрания флорентийской молодежи и изгнанников из Милана и Неаполя. Правитель Тосканы старался править просвещенно и по внешности чуждался австрийских порядков. Вот почему Вьессе получил разрешение.

Александр Иванович пошел осматривать кабинет для чтения. Там он встретил руководителя молодого итальянского кружка Каппони, познакомился с самим Вьессе и в кабинете, обогащенном всеми новинками европейской литературы, увидел согнувшегося над книгами Анри Бейля. После первых приветствий начались переговоры о Париже.

— Я все еще получаю проколотые и окуренные письма,— сказал Бейль.— Неужели холера еще не затихла?

— В России она в полном разгаре, особенно в летние месяцы; что касается Парижа, то она там незаметна, но мои письма к брату подвергают двойному окуриванию, и в результате полицейского окуривания зачастую приходит совсем не то, что я писал. Говорят, и в Англии такие же порядки. Брат писал, что в парламенте был запрос о вскрытии писем карбонария Мацци́ни.

— Мацци́ни уже не карбонарий,— сказал Бейль.— Но ведь ваш брат, по-видимому, сейчас далек от движения?

— В Париже я не любил об этом откровенно говорить, дорогой друг.

— Ну, а здесь? У меня такое впечатление, что он все-таки гораздо более политически значил и потому гораздо опаснее для царя, чем, например, Корэф, тоже несомненный либерал, участник конституционных проектов Гарденберга.

— Но мы сейчас прилагаем все усилия к тому, чтобы предать эту молву забвению.

— Понимаю,— сказал Бейль.— На меня вы можете вполне положиться, но скажу вам откровенно: чужеземный, австрийский режим менее разлагает Италию, чем режим Луи Филиппа — Францию. Это я вам говорю совершенно доверительно. Здесь всякое движение достигает точки кипения, вследствие чего человеческий характер закаляется и энергия крепнет в борьбе. Когда вы будете в итальянских семьях, вы это заметите по лицам говорящих.

— Буду ли я допущен в семьи? — спросил Тургенев.

— Будете, но чем открытее живет семья, тем более советую вам быть осторожным. Никому не говорите о брате,— впрочем, я уверен, что некоторые семьи в Риме вас примут особенно хорошо именно в целях выведать настроение господина Николая Тургенева.

— Меня стесняют сомнения,— сказал Тургенев,— ехать ли дальше. Говорят, дороги небезопасны.

— Сейчас значительно тише, но прошлый год Болонья, Парма, Модена, Романья, а в нынешнем году Папская область и Пьемонт ходят, как горячая лава. Было не мало стрельбы и виселиц. Святейший отец набил руку на ремесле палача, но дороги сейчас действительно опасны только на юге. Все-таки терпение итальянцев неистощимо! Еще год такого режима и обнищания — и по северным дорогам невозможно будет ездить от бандитов. Все молодое и сильное провоцируется австрийцами на преступления.

— Да, забыл сказать вам новость. Во Франции начали настилать дороги из железа. Паровик ходит между Сент-Этьеном и Руаном на потеху окрестным деревням.

— Да, я убежден, что в недалеком будущем паровые кареты исколесят всю Францию.

— Не думаю,— возразил Тургенев.— Парижане относятся к этим опытам, как к игрушке, но если бы проложить железный путь до Сибири, сколько русских сердец ликовало бы!

Бейль посмотрел на Тургенева и заметил:

— К моим сосланным друзьям, к нашему миланскому кружку не проложишь никакой железной дороги, как не проложить ее к молодости и к Милану шестнадцатого года. Но расскажите мне подробно о Париже. При всей моей ненависти к этому городу я все-таки хотел бы знать, как себя чувствует, ну... хотя бы Клара?

— Откуда вы ее знаете? — спросил Александр Ивано-

вич, стараясь скрыть удивление, словно услышав шутку дурного тона.

Бейль тоже смотрел на Тургенева, потом с видом застенчивым и неловким он произнес:

— Простите мою шутку, я совсем забыл, что вы не привыкли к этому прозвищу Мериме.

— Боже мой,— вспыхнул Тургенев,— мне показалось, что вы спрашиваете так о невесте моего брата.

— Тем лучше, если у каждого есть своя Клара,— сказал Бейль.— Но я уверен, что мне реже пишут, чем вам.

— Да, я регулярно пишу и регулярно получаю ответы. Увижу ли я вас в Риме?

— Да,— ответил Бейль,— если вы будете там в октябре.

— Я буду там в декабре,— сказал Александр Иванович.

Дневник А. И. Тургенева.

«...Флоренция, 26 ноября 1832 года.
Ливорно — Пиза. 2 декабря.
Перуджия

5 декабря. В пятом часу вечера выехали мы из Неппи, своротив уже прежде при Чивита-Кастеллана с дороги Фламиния при Монтероссп на новую дорогу, которая ныне называется Виа-Кассия. В девять часов увидел я с пригорка... Рим!

В десять с половиной мы приехали ко второму завтраку. Тут встретил я Беля-Стендаля и показал ему его книгу. Он посоветовал заехать к Чези и дал мне записку к нему. В двенадцать с половиной мы опять пустились в путь.

6 декабря. Бель прислал мне Мишелотову «Римскую историю» при умной записи и остерегал чичероне, коих имя начинается на «В»,— вероятно, *Висконти.* Спасибо! День достаточный для меня по папе, по Ватикану».

Французская приписка Бейля: «Несмотря на величие и поэзию Ватикана и св. Петра, мое воображение не воспламенилось. Дух итальянских изгнанников наводит меня на прозаические и печальные мысли. Процессии священников и папская служба не могут отогнать мыслей о другой прекрасной и бедной Италии, которую ясно видит мой разум».

Седьмого декабря по дороге на Корсо Александр Иванович увидел идущего навстречу стройного и высокого человека в широкополой шляпе, с великолепными вьющимися волосами, русой бородой и голубыми глазами. Встречные итальянцы почтительно обнажали перед ним головы. Можно было думать, что это наследный принц или исклю-

чительно знатная особа по тому энтузиазму и восхищенным взглядам, какими этого юношу провожали встречные и идущие за ним.

Поравнявшись с Тургеневым, он остановился и вскинул обе руки к небу, потом поздоровался с Александром Ивановичем двумя руками. Это был художник Карл Павлович Брюллов, выставивший в Риме только что законченную картину «Последний день Помпеи». Ему было тридцать два года. Он был беспечен, полон сил, ему покровительствовал Анатолий Демидов, совершенно отняв от Брюллова материальные заботы. Слушая оперу Пуччини 1829 года «Последние дни Помпеи», он задумал написать на эту тему картину. Город, засыпанный лавой, только что начал появляться перед взорами удивленной Европы. Бейль писал в Париж некоему ди Фиоре в январе тридцать второго года: «Мозаики, открытые в Помпеях всего лишь два месяца тому назад, дают картину самого лучшего, что было в античной живописи».

Седьмого декабря Александр Иванович, Брюллов, Соболевский, Кипренский обедали вместе в римской траттории, а на следующий день Александр Иванович сделал короткую запись:

«8 декабря. Обедал у Зинаиды Волконской. После с Белем пошел к Сент-Олеру и графам Циркур на вечер».

По дороге шел разговор о картине Брюллова. Белю не нравилась.

— Посоветуйте вашему другу,— сказал он,— не выставлять своей картины за пределами Италии. Я имею сведения, что французская молодежь из артистических и художнических кругов сейчас плохо настроена ко всему русскому. Расправа царя с поляками отвратительна, а картина плохая.

Почему она сейчас подействовала на впечатлительность итальянцев? Только потому, что в Италии давно уже нет настоящей живописи. Это отсутствие живописи вовсе не обусловлено отсутствием «великого дыханья средневековья», как сказал бы какой-нибудь господин Гюго. Это вздор, гений всегда живет в среде народа, как искра в кремне. Необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы искра вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало потому, что нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала на путь творческой работы прежних художников. Детали формы и мелочи сюжета, как бы художественны они ни были, еще не составляют искусства, подобно тому, как идеи, хотя бы и гениальные, еще не дают писателю права на титул гения или таланта. Чтобы ими стать,

надо свести круг воззрений, который захватил бы и координировал весь мир современных идей и подчинил бы их одной живой господствующей мысли. Только тогда овладевает мыслителем фанатизм идеи, то есть та яркая определенная вера в свое дело, без которой ни в искусстве, ни в науке нет истинной жизни. У старых итальянских художников эта вера была, и потому они были действительными творцами, а не копировщиками, не жалкими подражателями уже отживших образцов. Кроме того, я никогда не отделял художника от мыслителя, как не могу отделить художественной формы от художественной мысли. Я не могу представить себе искусства вне социальных условий, в которых находится народ. В них, и только в них, оно черпало свои силу и слабость, приобретает значение великого произведения или становится пошлостью. Я не хочу сказать, что произведение Брюллова относится к последнему разряду, но ведь это сплошь академическая, сухая надуманность, это чистый классицизм, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу. Это полное отсутствие той *политики*, которая составляет сущность исторической живописи.

Так как почти каждое утверждение Бейля встречало возражение Тургенева, то спор был очень жаркий. Подходя к французскому посольству, Бейль вдруг спохватился и спросил:

— Вы идете к Циркур после Сент-Олера?

— Да,— ответил Александр Иванович.

— Я очень люблю его русскую жену, хотя никогда не могу произнести ее девической фамилии, но я боюсь, не осталось ли в самом старике Циркур каких-либо замашек Полиньяка после долгого секретарства у этого министра.

В эту минуту прошел молодой черноволосый человек с очень красными губами и глазами как вишни. Холодно и церемонно поздоровался с Бейлем. Все трое поднялись по посольской лестнице.

— Я вам как-нибудь расскажу, что это за человек,— сказал Бейль на ухо Тургеневу.— Это тот самый «В», о котором я вам писал.

«9 декабря. В десятом часу отправился к Белю. Застал его еще в постели. Условились на завтра начать прогулки по Риму. *Висконти... шпион* папского правительства.

Циркур заехала, и вместе отправились на дачу французского посла Сент-Олера.

10 декабря. Продолжаю читать Тасса с большим наслаждением. Был у Брюллова, видел поэму его картины «Последний день Помпеи». Он основал главные черты на тексте Плиния и на сохранившихся предметах в Помпее,

которую видел два раза... В двенадцать часов зашел за мной Бель-Стендаль, и мы отправились осматривать Рим — прежде всего к церкви св. Петра в Монторио, ибо, по мнению его, ниоткуда Рим так хорошо не виден, как с этой горы. Дорогой указывал он мне некоторые дворцы и церкви: древнюю статую Паскини у дворца Браски: этот Браски был последним племянником папы, который умел грабежом воздвигнуть себе дворец. Папа долго не знал о богатстве своего племянника. Уверяют, что когда он в первый раз увидел его, то заплакал и велел поворотить в Ватикан, не навестив племянника в его пышном дворце».

Два дня подряд, расставаясь только после ужина для короткого освежающего сна, ходили по Риму в какой-то лихорадке брат русского изгнанника Александр Тургенев и бывший миланский карбонарий, теперь знаменитый писатель, автор нашумевшего романа «Красное и черное», французский консул в итальянских владениях милостью Июльской революции Анри Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль. Этому человеку предписано было безвыездно жить в маленьком приморском городе, в тридцати километрах от Рима, но он, пренебрегая строгим приказом властей, продолжал странствовать по любимым местам центральной и южной Италии.

— Я только что приехал из Романьи,— говорил Бейль,—это маленькая таможня, составляющая границы Романьи, производит странное впечатление. Можно подумать, что не нынче-завтра буря разразится и сметет не только австрийское иго в Италии, но и ватиканского владыку. Знаете ли вы, что такое «красные пояса»?

— Кажется, это самые страшные бандиты, каких только выдумывала южная страна?

— Ответ, достойный австрийского цензора,— едко заметил Бейль.— Имейте в виду, что эти фантазеры, назвавшие себя «красными поясами», являются серьезнейшей политической партией Италии. Во всяком случае, доставка оружия, вооружение молодежи — дело их рук. А пламенная ненависть к врагам Италии, к какой бы национальности они ни принадлежали,— это, конечно, дело рук Австрии: ее режим создал революционные настроения.

— Мой брат думает, что национальное чувство является серьезным препятствием к цивилизации.

— Он прав,— сказал Бейль,— свободолюбивое человечество давно заменило мне родину. Я презираю Францию. Кстати, одна моя знакомая, венгерка родом, приходится двоюродной сестрой Генцу — секретарю австрийского канцлера Меттерниха. Она знает вас и вашего брата. Сла-

ва господина Николая Тургенева гораздо больше, чем он сам это думает, недаром австрийский диктатор без всяких обиняков заявляет, по словам Генца, что «Николай Тургенев является истинным нарушителем общественного спокойствия Германии и Европы, что он принадлежит к тайному революционному штабу, к европейскому карбонарскому комитету». Меттерних писал даже царю Николаю в ответ на требование ареста вашего брата, что он, Меттерних, невиновен в том, что поимка Тургенева не удалась. «Такой человек, как Николай Тургенев, может найти, к сожалению, приют у любого немецкого сапожника, французского столяра или итальянского угольщика. Я убеждал покойного брата вашего императорского величества в том, что Николай Тургенев бросил в Германии бродильные дрожжи, что с тех пор вся страна забродила. Мне не верили, надо мной смеялись, меня сочли фантазером. Попробуйте, ваше величество, изловить теперь этого опасного человека!»

Александру Ивановичу было не по себе. «Это сущий дьявол — этот француз,— думал он.— Хорошо, что он не болтлив, но как много он знает такого, чего мы в семье и не подозревали».

— Я поражен вашей осведомленностью, хотя не уверен в точности сообщенных вам сведений. До какой степени господин Бейль изменился со времени наших парижских встреч, не узнаю анекдотиста и веселого рассказчика. Консульский ли мундир делает вас политиком, то ли воздух Италии располагает к либерализму?

Тургенев и Бейль расстались.

Глава тридцать шестая

Итак, друзья расстались — один в Риме искал прибежище на пятиугольной, странной по причудливости архитектуры зданий площади и, вспомнив, что наступило полстолетия скитальчества в этом мире, писал с невероятной быстротой и скоростью воспоминания о лучших мгновениях жизни, другой, русский скиталец, проводил свой именинный день в Чивита-Веккия, в маленьком доме на высоком холме над морем, где, в сущности говоря, «сам господин Бейль должен был бы жить безвыездно». Но господин Бейль дал господину Тургеневу письмо к греку Лизимаку Тавернье, тщетно ожидающему возврата имений, реквизированных турками. Господин Лизимак Тавернье, секретарь французского консула, получив распоряжение консула Бейля, был очень любезен. Он поморщился только по од-

ному поводу. Бейль пишет: *«Предоставьте моему другу, г-ну Тургеневу, мои книги...»*

— О, конечно, господин Тургенев...

Еще три-четыре секунды молчания. Последние три строчки письма Бейля: *«Сделайте так, чтобы русскому изгнаннику было так же хорошо в моей квартире, как изгнаннику Греции в любом жилище Франции. Прошу вас, позаботьтесь о г-не Тургеневе, познакомьте его с господами Манци и Донатто Буччи. Предоставьте в его распоряжение винный погреб».*

Черные, чрезвычайно густые брови г-на Лизимака приподнимаются, лоб морщится. «Все дело в том,— думает Лизимак,— что этот проклятый Бейль не запирает погреба. Он думает, что там бесконечно много вина, а ведь уже три года прошло с тех пор, как консул Дево, на смену которому прислали проклятого Бейля, продал этому дьяволу оставшиеся тринадцать тысяч бутылок орвиетто и других хороших итальянских вин».

Лизимак осклабился и стал похож на африканских обезьян, которых римские писатели принимали за сильванов, лесных сатиров и фавнов.

Господин Тургенев имел к обеду плоховатое вино, купленное в ближайшей траттории, и мелкую рыбешку, спешно зажаренную в консульской кухне.

Александр Иванович Тургенев, выспавшись после пыльной дороги под зноем, пронизывающим мальпост от Рима до Чивита-Веккия, после плохого обеда расхаживал вместе с Лизимаком по полям Корнето, любовался этрусскими вазами, вырытыми из этих самых древних гробниц Европы, и, встречая на каждом шагу признаки необычайной пытливости своего отсутствующего хозяина, чередовал свои мысли об этом странном французском писателе Стендале с мыслями о скором приезде важной русской персоны. Ждали парохода «Сюлли».

Водоросли покрывали берега. Подземные ручьи с сернистой, железистой водой окрашивали прибрежный песок в темно-коричневый и ярко-желтый цвет. Томительное и знойное солнце выгоняло буйную растительность прибрежной полосы. Коричневые черепицы зданий и серые могильные плиты надгробий раскалялись до такой степени, что рукой нельзя было прикоснуться. За оградой, обнесенной вокруг громадной пристани, сидели тысячи каторжан, работавших на галерах, и среди них, в отличие от ранних карбонариев Европы, в отличие от блестящих гвардейских офицеров царской армии, в отличие от французов, сидевших в революционных трибуналах Парижа, теперь, по про-

шествии пятидесяти лет со дня страшной революционной грозы, потрясшей Европу, сидел столяр Феоли и угольщик Гаспарони. Их обоих приравняли к простым бандитам. Политическое значение Союза красных поясов было совершенно стерто в папских судебных процессах. В минуты отдыха, когда, несмотря на зной, Александр Тургенев ходил по городу, он подошел и к этому месту заключения провинившихся итальянцев. Любопытный русский путешественник, забыв о дворянских приличиях, приник к тонкой щели в папской ограде. Веселый, но спокойный глаз заключенного в ограде ответил ему тем же.

— Кто ты? — спросил Тургенев.

— Гаспарони,— ответил тот звонким, каким-то особенным, молодым, бронзовым голосом.— А зачем синьор спрашивает?

— А я думал,— сказал злобно Тургенев,— что ты случайно попавший сюда Сперанский.

— Не понимаю вас, синьор,— ответил резко бандит.

— Трудно понять,— сказал Тургенев злобно.— Это русский вельможа, предавший своих единомышленников и моего брата. У него лицо точь-в-точь такое, как у тебя.

— Отверстие слишком мало, чтобы я плюнул вам в лицо,— сказал Гаспарони.— Я никого не предавал, а тот, кто предал всех нас, двадцать восемь, сейчас в руках вентикватро.

Тургенев обернулся к Лизимаку.

— Вентикватро,— сказал Лизимак,— это сыскная полиция в Риме. «Двадцать восемь» — это название шайки Гаспарони. Однако — вы слышите? — сирена! Это наш пароход из Марселя.

Лизимак выбрал короткую дорогу. Несмотря на пятьдесят лет, Тургенев бежал сокращенной дорогой через кладбище, где была папская усыпальница. Урбаны, Иннокентии, Пии, трехсотлетние, полутысячелетние трупы лежали под камнями с гербами в виде свирелей, лилий, пчелы,— все с ключами от ада и от рая и с трехъярусной тиарой — принадлежностью римского первосвященника, возрождавшей в христианском Риме культы кровавого Митры и любвеобильной богини сладострастия Астарты.

Свидание не состоялось. Лишь через день Лизимак обеспечил возможность Тургеневу взойти на борт французского парохода. Остроносый, с небритыми, седыми волосами, меланхолический и добрый Жуковский с видом усталого вельможи протянул ему руку. Потом, не выдержав, как старые друзья, обнялись. Синий редингот Жуков-

ского на правом плече украсился серебристыми слезинками масона Тургенева. Зеленый редингот Тургенева получил те же самые признаки расчувствованной дружбы и нарочитой нежности.

Василий Андреевич Жуковский, стряхивая слезинки Тургенева с плеча, по дороге к себе в каюту думал: «Так блестели диаманты, рубины и смарагды на чеканных латах крестоносцев освобожденного Иерусалима». Александр Иванович, скидывая платочком легонькие капельки слез Жуковского, думал: «Этак вот еще недавно свер[illegible]али эполеты на плечах блестящих офицеров, сосланн[illegible]им покровителем в Сибирь». Пять столетий раздел[illegible] эти мысли и образы.

Шел уже 1836 год. Жуковский говорил:

— Что Пушкин женился, это ты знаешь; что Гоголь выпустил пиесы, полные гумора, это ты тоже знаешь; что возник неплохой поэт Лермонтов, к сожалению развращенный вольнолюбием и постоянно навлекающий на себя гнев,— это тебе все известно. Что сообщить тебе?..— И, помолчав, Жуковский прибавил, качаясь в кресле в каюте и попивая крепкий кофе: — Был я в Лувре, видел это величайшее в мире здание, в нем художественные ценности французского народа. Это целый город — двести тысяч квадратных метров. Три века обрастает и крепнет, как брильянт в земле, меняются десятилетия, сверкают взоры новых людей, а этот колоссальный дом человеческого гения растет и ширится, земля из-под земли родит убежища тончайших мыслей. Я ходил там вместе с Тюфякиным и господином Мериме — инспектором всех памятников и всех искусств во Франции. Холодный человек, но великий мастер. Да, чтоб не забыть, в Польше опять неблагополучно, поэтому, прости... его величество не разрешил мне видеться с твоим братом. Я видел его на улице Гомартен, он шел с известным карбонарием Гаэтаном Виарисом, прихрамывал, описывал в воздухе тростью круги и меня не узнал. Милый друг, должен я тебя огорчить. Я рад, что свидание не состоялось. Мне было тяжко подумать о том, что Николай в компании этого старого бунтовщика, Бонапартова спутника в Москве.

Александр Иванович встал с ужасом.

— Послушай... ну, как же, Василий, и ты ничего не спросил, и ты его не окликнул, и ты удержался, чтобы его не обнять после скольких лет муки, не ты ли, пренебрегая своей безопасностью, с Матусевичем к Рекамье прислал...

— Тс...

Жуковский подошел и осторожно положил большую ладонь на рот Тургенева:

— Что ж ты, несчастный, о двух головах? Не знаешь, какое теперь время?

— Какое бы то ни было, но обязан был бы повидать брата, а касательно Гаэтана тебе скажу, что прекрасный это старик. У него семнадцать ран, многажды он видел перед собою смерть. Чем ты его испугаешь теперь? И что он, как ветеран, живет на покое в Женеве и что Клара, его дочь, стала женою моего брата, не должно тебе служить препятствием к свиданию с дорогими друзьями, со сверстниками твоих лучших лет.

Жуковский развел руками.

— Я шел с Яковом Толстым. Согласись сам — не до того было. Много было у меня горя, дружище. Одна грибоедовская смерть чего стоит! А вы все какие-то сумасшедшие. Вот Пушкин года три как женился и уже нынче пустился в ревности, оберегая Гончарову.

— Слушай, Василий, в Европе клеветников порядочно, ведь все до единого говорят о том, что Николай Павлович пользуется старинным правом первой ночи.

Жуковский вспыхнул и с негодованием, поднимая ладонь перед самым лицом Тургенева, сказал:

— Лакей уберет чашки, кофе кончен, пойдем на палубу, посмотрим острова.

Тринадцатого октября 1836 года, воскресенье, Женева. Николай и Клара Тургеневы уезжают после совместной жизни с Александром Ивановичем.

«Я велел остановиться у пограничного камня: увидев его, вышли из кареты. Брат с нежностью подошел ко мне, взял меня за руку и с каким-то дотоле неясным чувством сказал мне несколько слов: «Что же мы не вместе? Ведь, однако, и я вам все это...— вы все это сделали!..» Что-то подобное. Я замял речь; он хотел говорить о моей поездке в Россию, которая беспокоит его. Ощущения мои были неизъяснимы. Мы поцеловались, сильно пожали друг другу руки и еще раз взглянули на разлучающий нас камень. Он сел в коляску. Пешком за колесами — и... разлука».

Разлука надолго. Прошли годы и годы. Наступали тяжелые дни. Зимы сменялись веснами. Рождались новые люди и умирали старые. Приближался перелом столетия. Парижские салоны то пустели, то наполнялись. Король баррикад Луи Филипп, прозванный так Николаем I, по-

слушно выполнял веления банкирских домов Парижа, не признанный по-прежнему «северным медведем».

Судьба занесла Александра Ивановича Тургенева в Симбирск, и, не зная, что он совершает последний свой путь из Симбирска, Тургенев гнал ямщиков, напаивал их водкой на каждой станции, колотя их в загривок, позабыв свои европейские привычки. Тяжкое у него было состояние. Он сам даже не знал, почему спешил. На сорок восьмые сутки попал в Петербург. Остановился у Свербеевой и всю ночь напролет слушал от приезжей компании петербургские сплетни. Больше всего сплетничал Николай Иванович Греч.

— Что же вы удивляетесь, Александр Иванович? — кричал Греч петушиным голосом.— Господин Жуковский — персона официальная, воспитатель царского сына, а я — простой смертный, не терпящий сопротивления натуральным чувствам. Едва я увидел вашего брата, как принял с наслаждением его в объятия. Подумать... друг детства, Николай, замечательный...— Греч остановился, подбирая слово.— Ну, одним словом, мы облобызались, и Николай...

— Да про кого вы говорите? — спросил резко Александр Иванович.

— Да про тезку моего, про Николая Ивановича, не про Николая Ивановича Греча, а про Николая Ивановича Тургенева, конечно. Так вот-с, ваш братец спросил: «Как это вы со мною здороваетесь, а Жуковский, с высочайшего соизволения, не решился на этот поступок?» Знаете ли, Александр Иванович, знаете ли, дорогой, оно, конечно, долг гражданина—одно, но, согласитесь сами, встреча с изгнанником... долг, благородство и чувство чести... Какое сердце выдержит! Мое забилось трепетной радостью — я не выдержал.

— Могло ли быть иначе,— говорил Александр Тургенев, уставший от дневной сутолоки и не понимавший, что нужно делать,— удивляться ли, или пугаться.

Говорили, что Николай Иванович Греч — человек довольно страшный. Но в чем его «страшность» — никто объяснить не мог.

«Этот озорной француз Бель говорит: «То, чего никто в человеческом обществе объяснить не может, то просто не существует в качестве авторитета». Так для меня и Греч не существует в качестве пугала». Но Николай Иванович Греч «пел, как соловей».

Накрыли ужин. Во фраке, в белых чулках и туфлях в залу вошел молодой человек с курчавыми волосами и

бакенбардами — секретарь французского посольства виконт д'Аршиак. Он спокойно обвел глазами присутствующих, исполнил все положенные церемонии, и, когда легкое движение, вызванное его приходом, успокоилось, он подошел к Александру Ивановичу Тургеневу, придавая оттенок легкости начатой беседе, передал ему вчетверо сложенный лист бумаги за подписями Данзаса и д'Аршиака. Тургенев прочитал и откинулся головой на спинку стула. Потом покачал головой и вернул документ д'Аршиаку. «Дуэль! Опять дуэль Сверчка! Саши Пушкина! Когда же прекратится его бретёрство?»

— Неужели это неизбежно? — спросил Тургенев д'Аршиака.— Ведь эти условия верная смерть! Или Пушкин, или этот молодой пустомеля, но один из двух неизбежно погибнет при таких жестких условиях. Неужели христианские чувства исчезли в сердцах настолько, что мертвый эгоизм может толкнуть людей на убийство, неужели нельзя простить?

Д'Аршиак покачал головой.

— Жорж совершенно взбешен. Я должен признаться вам открыто, мсье Тургенёфф, что страна, давшая приют потомку французских дворян, делает несчастного Жоржа ответственным за повинности русского феодального права. *Я — юрист и французский офицер, я совсем не вникаю в то, может ли первый сеньор страны покушаться на жен своих вассалов, но я вообще против того, чтобы из малых поводов возникали большие последствия.* Вы больше европеец, чем все, находящиеся здесь. Обратитесь к Пушкину, убедите его в том, что Жорж является игрушкой в руках вашего монарха, что время и терпение могут сгладить все, что во всяком случае вина Жоржа не такова, чтобы, например, во Франции придали ей серьезное значение.

— Путята рассказывал мне,— возразил Тургенев,— что ваш предшественник Теодоз Лагрене стал уже однажды жертвой вспыльчивости нашего несчастного Пушкина, однако ваш предшественник нашел в себе силы и смелость отказаться от дуэли, явно безрассудной и бессмысленной.

— Все меры исчерпаны! — жестко, не без некоторой наглости сказал д'Аршиак.— И меры терпения также.

Александр Иванович писал в дневнике 18 ноября 1836 года:

«Чай два фунта отдал Аделунгу. После зашел к Пушкину. Говорил о Шатобриане и Гете, о моем письме из Симбирска, о пароходе, коего дым приятен глазам нашим».

Итак, страшное событие произошло. *Пушкина не стало.*

«31 января. Воскресенье. Зашел к Пушкиным. Первые слова, кои поразили меня в чтении Псалтири: «Правду не скрыл в сердце твоем». Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причину оной к антагонизму, он не скрыл, не угомонил в сердце своем и погиб.

6 февраля. В шесть часов утра отправились мы — я и жандарм!.. Опять монастырь. Все еще рыли могилу.

19 марта. Встретил Дантеса в санях и с жандармами. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу».

Глава тридцать седьмая

Двадцать седьмого декабря 1837 года Александр Иванович был снова в Париже. Николай Тургенев приезжал редко. Он жил под Парижем, на вилле Вербуа, и вел очень замкнутый образ жизни. Два тома книги *«О России и русских»* были закончены. Он дописывал третий, читая из первых двух отрывки старшему брату. Русская колония в Париже была полна рассказами и россказнями об этом новом труде Николая Тургенева. Одни говорили, что это чудовищное, дикое искажение исторической правды, что это *клевета* на современную Россию, другие говорили, что это *лучшее* вообще когда бы то ни было написанное о России. Ожесточенные споры велись в салонах, и Яков Толстой, никому не уступавший в осведомленности, на этот раз в оценках оказался до странности скромным. Он неоднократно пытался, как он сам говорил, возобновить дружбу с Николаем Тургеневым, писал к нему письма с просьбой *«ознакомить старого друга с замечательным произведением о России»,* но не получал ответа. Александр Иванович был очень сдержан в суждениях о новом произведении брата. Сам Николай Иванович ни разу не поднимал вопроса о печатании своего труда. Наконец, когда толки стали слишком навязчивы и громки, когда молву нельзя было уже остановить, Александр Иванович решил переговорить с братом вплотную. Разговор дал ему полное удовлетворение. Тема была щекотливая. Несомненное чувство гордости охватывало Александра Ивановича всякий раз, когда он слышал отрывки из книги *«Россия и русские».* Тут были старые, общие, геттингенские мечтания, дававшие обоим братьям неизъяснимое наслаждение. Но тут даже для Александра Ивановича были неожиданные повороты мысли, ослеплявшие его и беспокоившие главным образом потому, что публичное высказывание этих мыс-

лей, по мнению Александра Ивановича, навсегда закрывало дорогу младшему брату в Россию. Делясь этими впечатлениями с Николаем Тургеневым, Александр Иванович однажды услышал реплику, одновременно и трогательную, и волнующую.

— Знаете ли, дорогой брат,— сказал Николай Иванович,— до каких-либо весьма серьезных перемен я и думать не хочу о возврате в Россию. Меня в моих «Записках» беспокоит совсем не то. Меня беспокоит отношение царя к вам лично. С этой стороны вы можете быть мною успокоены. *Книга «О России и русских» не будет предана тиснению при нашей жизни.*

Александр Иванович хотел броситься на шею брата, но тот, произнесши эту деликатную и умно построенную фразу, уже сделал несколько шагов к двери, впуская царапавшегося английского дога, любимца Клары Тургеневой. Жест с выражением благодарности Александру Ивановичу не удался. Он обнял пустое пространство и в смущении сел обратно в кресло. Огромная собака лизнула ему ботинки и улеглась у его ног.

— Что касается до моих слушателей и до слухов, якобы ими пущенных, то усердно прошу вас — не верьте никаким слухам. Кроме вас и Клары, я читал отрывки из моей книги только одному человеку, за честность и бескорыстие которого я готов parier [1] и даже ручаться.

— Кто же это? — спросил Александр Иванович.

— Адам де Кюстин — сын казненного Астольфа.

— Странно,— сказал Александр Иванович.— Отец сложил голову на плахе Робеспьера, а сын слушает записки d'un réfugié politique [2].

— Да еще как слушает! — сказал Николай Иванович.— Он легитимист, конечно, однако между легитимистами встречаются люди разного склада. Не забудьте, что именно Адам де Кюстин ездил к герцогу Брауншвейгскому с предложением отказаться от вмешательства во французские дела.

— Ты, кажется, заблуждаешься. Поездка Кюстина в Брауншвейг была вызвана вовсе не стремлениями либерального свойства. Французские дворяне кюстиновского складу уверены были, что революция сама себя съест. Им не хотелось получать свое добро из чужих рук.

— Не будем говорить об этом,— сказал Николай Иванович.— Кюстин не любопытен, не праздное любопытство

[1] Биться об заклад (*франц.*).

[2] Политического эмигранта (*франц.*).

привело его ко мне. Он — путешественник, изучающий нравы, но в отличие от вашего друга Беля-Стендаля Кюстин отнюдь не является якобинцем. *Бель-Стендаль тоже путешествует, тоже выпускает книги, но его поездки — это поездки эпикурейца и скептика, взрывателя всех фундаментов старого мира.* В самом деле, что такое его «Прогулки по Риму», в которых он неожиданно, без всякого отношения к Риму, начинает выхвалять контрабандистов, пишет целый «Manuel»[1], обучая читателя тысяче способов обмана папской полиции и таможенников, восхищается рабочим Лафаргом, произнесшим перед судом речь о ниспровержении политических и социальных систем Европы. *Я очень ценю в вашем друге остроумие анекдотиста, с наслаждением перечитываю умнейший роман «Красное и черное», но считаю его философию весьма опасной. Это подкладка пороха под все столицы Европы. Кюстин не таков.* Я с интересом жду его впечатлений от поездки в Россию.

— Я думаю, он будет принят хорошо,— сказал Александр Иванович.— Что касается Стендаля-Беля, то ты совершенно прав. Только в Италии я понял, насколько он серьезен и насколько он связан с итальянской чернью какими-то непонятными мне узами.

Николай Тургенев пристально посмотрел на брата и хотел что-то сказать. В это время собака насторожилась, подняла морду и радостно залаяла. Стукнула садовая калитка. Братья, стоя у окна, увидели шедшую по песчаной дорожке женщину.

— Редко имена даются так удачно,— сказал Александр Иванович.— Она вся необычайно светла. Это не женщина, а какое-то тихое, лучистое сияние.

— Наследство отца,— сказал Николай Иванович.— Это чудесная жизнь без единого пятнышка. Будучи солдатом, сподвижником Наполеона, Виарис проявил себя героем в боях и прекрасным товарищем своих раненых однополчан; будучи карбонарием, он проявил себя пламенным сторонником свободы Италии и героем в борьбе с австрийскими жандармами. А в частной жизни это человек необычайно веселый, спокойный, ясный и участливый.

Оба брата приветствовали вошедшую Клару Тургеневу.

Завтракали. Николай Иванович говорил мало, ел мало и большими глотками пил бургундское вино. Александр Иванович ел много, пил еще больше и без конца рассказы-

[1] Учебник (*франц.*).

вал о предшествующем вечере. У Софии Петровны Свечиной собрались: Соболевский, польский изгнанник Адам Мицкевич, сухой, высокий человек с горбатым носом, острыми глазами, с печатью тягчайшей внутренней борьбы и несчастий на лице, лишенный сана священник Ламенне, его ученик, с лицом Люцифера и ангельской улыбкой, отец Лакордер в доминиканской рясе, экзальтированный автор «Жития св. Терезы», переводчик и почитатель Мицкевича граф Монталамбер и толстый, добродушный суфраган архиепископа парижского Аффра.

— Не помню его фамилии,— сказал Александр Иванович.— Но мне он больше всего понравился. Софья Петровна Свечина обожает Сережу Соболевского, не зная, что этот беспутный ее племянник — сам атеист и дружит с атеистом Мериме, шляется вместе по всем кабакам и притонам Парижа. У Софии Петровны Соболевский ведет себя скромненько, как мудрец и пифагореец, пьющий чистую воду, никогда не знавши вина. Софья Петровна озабочена спасением души двух блуждающих звезд католической церкви. Отцы Ламенне и Лакордер являются падшими ангелами. Римский папа в последней булле назвал их стремления сочетать католичество с либерализмом «порочным и опасным злодеянием мысли». Софья Петровна — самая опытная и последовательная ученица иезуита де Местра. Эта самоотверженная душа имеет тайное поручение архиепископа парижского, а может быть, кого-нибудь и выше, возвратить Ламенне и Лакордера в лоно правоверия.

— Простите, я вас прерву,— сказал Николай Тургенев,— я терпеть не могу католического бреда. Вы сами мне описывали комическими красками римского папу в золотой карете, окруженного жандармами. Вы мне приводили даже слова вашего зубоскала Беля: «Так ныне ездят только уголовные преступники во всех странах, кроме Рима». Кстати, что за нелепость: маркиз де Ноайль, почитатель вашей Софии Петровны, дал ей совсем смехотворную характеристику. Он дурак, ваш Ноайль! В передовице католической газеты он величает нашу соотечественницу с нарочитой любезностью этаким совсем русским комплиментом: французскими буквами он называет ее *«клюква подснежная»*... Вот так клюква!!!

Клара Тургенева проснла перевести. Разговор шел по-французски, и только последние слова были произнесены Николаем Тургеневым по-русски.

— Это одна из французских нелепостей в суждении о России,— сказал Александр Иванович.— Проспер Мериме передавал мне суждение на смерть Пушкина, бывшее в

салоне Виргинии Ансло. Вся эта компания убеждена, что смерть Пушкина есть подготовление интригой уничтожение противника. Мадам Ансло говорит даже, повторяя слова Беля-Стендаля, что если бы «северный поэт не был убит на дуэли», а, положим, ранил бы Дантеса, то, несомненно, десяток-другой подставных гвардейских офицеров в какие-нибудь две недели нашли бы двенадцать случаев вызвать его на дуэль, наступая ему на ногу или толкая его локтем ради политического бретёрства».

Николай Тургенев пожал плечами.

— Это уж не такое глупое мнение,— сказал он.— Царь Николай, как главный помещик, пользуется феодальными правами, давно отошедшими из частного обихода. Что же делать, если иногда женихи и мужья вскидываются на дыбы! Нельзя целую страну вести на мундштуке, как безумную лошадь! Иногда это плохо кончается для всадника!

Николай Тургенев сверкнул глазами.

Клара Тургенева не понимала разговора.

— Вот вам еще иллюстрация ужасов русского крепостничества. Могу вас уверить, что Пушкин погиб, как погибали только крепостные актеры, у которых помещики крали жен. Но вернемтесь к вашим католикам. Revenons à nos moutons[1]. В самом деле, не знаю более стадных баранов! Скажите, каковы же успехи Софии Петровны со злополучными неокатоликами?

— У Софии Петровны не очень удачный союзник: суфраган архиепископа парижского — это веселый толстяк, имеющий лучший винный погреб в Париже, краснощекий, в веснушках, рыжеволосый, с тонзурой, над которой всегда дымятся винные пары; он управляет лучшими виноградниками, принадлежащими отцам Шартрезы и святого Бенедикта, он знает лучшие рецепты зеленых ликеров, крепчайших бенедиктинов,— это он вырастил самый пьяный виноград юга Франции и окрестил его Lacrima Christi — *«слеза Христова»*. Он полчаса с самым серьезным видом убеждал, что ничто не в состоянии так ублажить человечество в горях и несчастиях, как эти сладчайшие слезы Христовы. Он пламенно говорил о том, что ему удалось добиться сложения акциза со всех винных заводов католической Франции. Его речь в защиту водочных изделий была совершенно восхитительна по цинизму и безобразию. Лакордер и один уродливый, горбоносый, бронзоволикий миссионер из Африки с негодованием слушали эту речь. Обращаясь к ним, церковный винодел ска-

[1] Вернемся к делу (дословно: вернемся к нашим баранам) (*франц.*).

зал: *«Братья, бросьте ваши либеральные бредни, почувствуйте хоть раз всем сердцем, что это измышление сатаны, пейте вино, оно поощряет малые человеческие слабости, делает мирянина блаженным и послушным, малые слабости лучше больших умничаний. Пройдет сто лет, и от ваших либеральных бредней у несчастного человечества останется память как о чуме и холере, а церковь... вечна, и если все демоны якобинства, как врата адовы, воздвигнутся на нее в попытке уничтожить церковь, то страждущее человечество снова ее воссоздаст, по слову Спасителя: «Созижду церковь мою и врата адовы не одолеют ю». Пейте ликеры! Пейте вина во славу господа!»* Вот, Николай, я точно передаю эту тираду, но, несмотря на смесь цинизма и глупости, несмотря на пародию этих слов, все присутствовавшие, не исключая Лакордера, Ламенне и Монталамбера, не исключая свирепого африканца, обожженного солнцем Сахары и знавшего пытки дикарей, все до единого на слова этого суфрагана ответили: «Аминь».

— А что Мицкевич? — спросил Николай.

— Ты читал статью в «Глобе», подписанную «друг Пушкина», так вот это — статья Мицкевича. Правда, половина написана Соболевским...

— Какой поворот, какой поворот! — воскликнул Николай Иванович.— Вот никогда не думал!

— Я передал Мицкевичу стихи Пушкина, к нему относящиеся,— сказал Александр Иванович.

— Ну, что же сказал польский Пушкин о русском Мицкевиче?

— Что же? — повторил Александр Иванович.— Он прочитал сравнение медного всадника с памятником Марку Аврелию[1].

Сгущалась ночь над Петроградом.
Под острым ветром и дождем
Два юноши стояли рядом,
Одним окутаны плащом
И взявшись за руки. Безвестен
Был первый, с Запада пришлец —
Глухая жертва царской мощи.
Другой по странам полунощи
Гремел гармониею песен —
Народа русского певец.
Они недавно подружились,
Но быстро души их сроднились,
Как две альпийские скалы,
Что дружно вознесли вершины,
Не внемля, как средь душной мглы,

[1] Цитируется по переводу С. М. Соловьева. (*Примеч. автора.*)

Грозя, шумят на дне долины
Реки враждебные валы.

Скиталец молча и сурово
Задумался, вперяя зрак
На бронзу статуи Петровой.
Певец же русский молвил так:
«Сей памятник сооружала
Царица первому царю.
Родной земли казалось мало
Огромному богатырю,
Что создал город чудотворный.
Уж на спине у Буцефала
Вознесся медный великан,
Но конь вздымался непокорный,
Ища гранита дальних стран,
Чтоб водрузить на нем копыта.
Помчались за море суда,
И холм финляндского гранита
Отломан, привезен сюда
Из мрака родины дубравной, —
Приказ царицы так велел,
И медный царь кнутодержавный
Верхом над бездной полетел,
В венке лавровом, в римской тоге,
Грозя незримому врагу.
Рванулся конь, вздыбивши ноги,
И стал на снежном берегу».

Не так сияет в древнем Риме
Великий оный Марк Аврелий,
Герой возлюбленный племен.
Он тем свое прославил имя,
Что от престола удален
Был и доносчик, и шпион.
Когда ж злодеи присмирели,
Когда при Рейне, при Пактоле
Сломил он силу диких орд,
То тихо въехал в Капитолий,
Спокоен, величав и горд,
Челом сияя благородным.
Он думает лишь об одном:
О благоденствии народном.
Владея резвым скакуном,
Он повод сжал одной рукою,
Другую же слегка поднял,
Как бы народ благословлял
И призывал его к покою.
И мнится, слышен крик сердец
Толпы восторженной, счастливой:
«Вернулся цезарь, наш отец!»
И едет он неторопливо,
Желая каждого дарить
Своей отеческой улыбкой.
Под ним, свою смиряя прыть,
Потряхивая шеей гибкой,
Ступает благородный конь.

В его глазах горит огонь,
Как будто бы он понимает,
Какой желанный гость въезжает,
Мильонов подданных отец!
К отцу бегут без страха дети...
Так едет он во мглу столетий,
Стяжав бессмертия венец.

Но конь Петра безумно несся,
Все сокрушая на лету,
И вдруг вскочил на край утеса,
Подняв копыта в пустоту.
Царь бросил повод, конь несется,
Закусывая удила...
Вот упадет и разобьется...
Но все незыблема скала,
И медный всадник, яр и мрачен,
Все так же скачет наугад.
Так, зимним холодом охвачен,
Висит над бездной водопад.
Но в эти мертвые пространства
Лишь ветер Запада дохнет,
Свободы солнце всем блеснет,
И рухнет водопад тиранства!

— Довольно! — сказал Николай Тургенев, поднимая бокал бургундского.— За здоровье литовского Пушкина!

— Для меня петербургский Пушкин дороже,— слабо сопротивляется Александр Иванович.

Входит Ламберт, бальзаковский любимец, остроумный, едкий, насмешливый лакей Николая Ивановича Тургенева, и произносит, глядя в упор на Николая Ивановича (шепотом):

— Генерал контрреволюции...

И потом (громко):

— Маркиз Адам де Кюстин.

Александр Иванович поднимается с некоторой тревогой.

— Может, вы останетесь? — говорит младший брат.— Это, право же, интересно!

ЭПИЛОГ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Дорогой родственник, chère cousin[1],— говорил Николай Иванович Тургенев по-французски,— вот на этом месте перед роковыми днями сидел наш с вами соотечественник Михаил Бакунин, займите его место, пожалуйста! Вы — молодой романист! Вам-то не страшно! Вы не были участником Дрезденской осады, вы не советовали пруссакам выставить на крепостную стену Сикстинскую мадонну, вы не кричали: «Пруссаки — народ образованный, по Рафаэлю стрелять не станут!»

Старик Николай Тургенев смеялся.

— Я сейчас это повторить готов,— произнес молодой человек со светло-русыми волосами, похожий на фидиевского Юпитера Олимпийского, Иван Сергеевич Тургенев, автор только что вышедших «Записок охотника».— Что касается Бакунина, то царь, проговорив с ним полчаса, произнес: «Человек на редкость умный, посадить его в Петропавловку!» Надеюсь, дорогой Николай Иванович, вы не желаете мне такой участи!

— Не желаю,— ответил Николай Иванович.— Но расскажите, что было в Париже.

— В Париже... в Париже...— повторил Иван Сергеевич.— Были баррикады... были неприятности. Но все кончилось. Король баррикад — Луи Филипп — вывел вооруженные отряды за пределы Парижа, а сам удрал в Лондон, и теперь благополучно преподает французский язык в английских школах.

— Интересна судьба Европы,— сказал Николай Иванович, пристально посмотрев на молодого писателя из тургеневского рода, в то время как Клара Тургенева подлива-

[1] Дорогой кузен (*франц.*).

ла ему в бокал бургундское вино.— Учителя словесности становятся королями, а короли становятся учителями словесности. Скажите, какой смысл для народов иметь каких бы то ни было королей и самодержцев? И когда только этот балаган кончится?!

Иван Сергеевич слегка побледнел.

«Вот начинается»,— подумал он.

— Я давно не был в Париже,— продолжал Николай Иванович,— я вообще сделался домоседом, я скоро превращусь в тех москвичей, которые не ходят далее своего переулка, а выезжая на прогулку в Кунцево, навеки прощаются с родителями. Расскажите, пожалуйста, подробности того, как закатилось солнце Кавеньяка и как взошла звезда нового Бонапарта на французском небосклоне.

Иван Сергеевич не без некоторого смущения рассказал историю занятия президентского кресла второй французской республики принцем Шарлем Луи Бонапартом.

Николай Иванович слушал его внимательно и потом, вежливо останавливая Тургенева, сказал:

— Президентом он будет недолго. Это фигура сложная и весьма авантюристическая. Покойный Александр Иванович девять лет тому назад рассказывал мне о том, что этот молодец был участником заговора Чиро Менотти, что он прославился своими республиканскими убеждениями, что он сейчас едва ли не социалист, а между тем все, начиная с ношения фальшивого имени и кончая фанатической приверженностью к чужим убеждениям, говорит о лживости этого человека. Прежде всего, он, конечно, не Бонапарт. Его мать странствовала по Европе и вдруг сообщила своему супругу — голландскому королю — о том, что она *«не может без него жить»*. Говорят, супруг мало обрадовался. Прочтя письмо, он прямо заявил министрам: *«Клянусь вам, она беременна»*. Тем не менее мадам Гортензия приехала в Гаагу и, прежде чем ее супруг успел опомниться, произвела на свет младенца, ныне ставшего президентом Французской республики. Были пушечные выстрелы, были торжественные крестины, были столяры и каменщики, которые поставили перегородку, отделившую наглухо покои королевы. Это не помешало родиться второму ребенку, которого голландский король уже никак не хотел признать своим. Дали ему титул графа Морни; вот он теперь взял в аренду лучшие французские рудники. Когда его старший брат Шарль Луи Бонапарт скитался с матерью по Европе

и Америке, Луи Филипп делал все, чтобы молодец не проник во Францию. Однако ручной орел, секретари, любовницы и генералы были погружены на английский корабль и высадились в Булони. Организовано это было недостаточно хорошо, вот почему *все*, начиная с орла, который вовсе не садился на голову претендента, а спустился на матросскую кухню, кончая генералами, которые вовсе не располагали войсками и не получили обещанных отрядов, *потерпело крушение*. Ручной орел был зарезан матросами, генералы были посажены в тюрьмы, а сам нынешний президент сел в тюрьму Гамм и, как вы знаете, просидел там шесть лет. Он вышел оттуда, переодевшись рабочим, с доской на плече прошел мимо зевающих часовых, и вот теперь, не угодно ли, будет представителем Французской республики. Уверяю вас, что республика скоро превратится в империю.

— Почему? — спросил Иван Сергеевич.

— Как почему? — удивленно вскинул глазами Николай Иванович.— Поверьте моему стариковскому опыту, Франции нет другого пути. Она или будет социалистической республикой, или империей. Две силы противоборствуют. Сословий нет, население делится по-другому.

Николай Иванович вышел из комнаты и минуту спустя вернулся с тоненькой книжечкой, напечатанной в Лондоне.

— Вот вам документ, свидетельствующий о человеческих заблуждениях, равно как и больших исканиях страдающих человеческих умов.

Иван Сергеевич прочел: *«Коммунистический манифест», Лондон, 1848 г.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Прошло девятнадцать лет. Давно по железным дорогам Европы дважды проехал седой, хромающий старик, допущенный снова к себе на родину, Николай Тургенев. С оглядкой давали ему лошадей от Варшавы до Твери. Люди неопределенных профессий ласково заговаривали с ним, когда он завтракал на почтовых станциях. В паспорте Николая Тургенева значилось, что «высочайшим повелением императора Александра II допущен ко въезду в империю Российскую, но без права появления в обеих столицах». Это было уже давно. Пребывание в России было коротко и вспоминается, словно какой-то безотрадный сон.

«До чего чужая эта страна! До чего чужими стали все страны старику, вступившему в девятый десяток жизни!»

Была парижская осень. По бульварам крутились листья. По улицам поднималась пыль. Серые облака, разорванные и туманистые, отражались в Сене. Ее вода стального цвета подергивалась зыбкой рябью. Набережные были полны странной и непривычной для Парижа тишиной. Эту тишину прерывали изредка гулкие, ухающие выстрелы германских пушек. Париж был в осаде.

Клара Тургенева с молодым сыном сидела на улице Риволи в комнате и заботливо посматривала на дверь. Сквозь створки она видела закутанного пледом человека у камина. Он был в полудремоте.

Дверной молоток стукнул три раза. Клара Тургенева поспешно подошла к двери, открыла. Вошли двое. Один — высокий старик, голубоглазый, с лицом, обрамленным седой бородой, крепкий, сильный, как старый дуб, другой — худощавый, знакомый сосед по деревенскому дому, крестьянин Планшон из Вербуа. Оба поздоровались. Оба вошли в комнату. Планшон потирал руки, закоченевшие от холода, и говорил:

— Плохие времена, плохие вести! Пруссаки вчера заняли ваш дом в Вербуа и бушевали страшно до поздней ночи.

Клара Тургенева приложила палец к губам.

— Планшон, не будите господина Тургенева,— сказала она.— Не говорите ему ничего.

Затем, обращаясь быстрым движением к другому посетителю, сказала:

— Раздевайтесь, дорогой господин Гюго, муж скоро проснется. Он всю ночь не спал, делал вид, что работает, забыв волнения, но мне кажется, что он волновался, забыв работу.

Гюго сел молча. Планшон вышел из комнаты вместе с молодым Петром Тургеневым.

— Я давно у вас не был,— сказал Гюго.—Но с тех пор, как я вернулся в Париж, после захвата пруссаками коронованного авантюриста, мне столько приходится проводить времени вне дома, что вы меня простите.

— Помилуйте, господин Гюго,— ответила Тургенева,— разве мы с мужем можем быть требовательны. Кто первый посетил русского изгнанника после возврата во Францию? *Изгнанник Гюго.* Кто первый теплыми словами напомнил Николаю об умершем Александре Тургеневе? *Господин Гюго*!

Старик у камина зашевелился. Проснувшись, он раскутал ноги и, опираясь на палку, вошел в комнату, увидел Гюго, и глаза его вспыхнули молодым огнем.

— Говорите, говорите все парижские новости, дорогой Гюго,— начал Николай Тургенев.

— Извольте,— ответил Гюго.— Вчера наша старуха, простояв два часа в хвосте, купила трех прекрасных фазанов, они еще недавно каркали на монастырском заборе. Их сбили выстрелами бургундские мобили. Сегодня мы ели рагу из картофеля и по горсточке сушеного винограда. Но Париж веселится! Республика вскружила всем головы! Разоблаченный Бонапарт в прусском плену! Пруссаки осаждают Париж! Гамбетта пал! Тьер ведет переговоры, и не нынче-завтра вспыхнут огнями баррикады! Единая Франция сейчас представила в Париже все оттенки своих национальностей. Взгляните! Вот проходят *бретонские мобили*, у них длинные волосы, большие круглые шляпы, удивленные лица; свежесть лесов, воздух диких холмов наполняет их легкие под проливным дождем осеннего Парижа. Эти *французы* не умеют говорить *по-французски*. Смотрите, как, получив квитанцию на занятие квартиры, группа бретонских мобилей идет по незнакомым мостовым и странным улицам, не похожим на село их родных, вечно шумящих лесов. Смотрите, сечет проливной дождь, косой, безумный ливень, а они проходят с ружьями, опущенными дулом в землю, с таким видом, как будто на небе светит солнце. А вот смотрите, *беришонцы, шампанцы, пикардийцы, оверньяки* — какая пестрота этот Париж! Как не похожи друг на друга! Сравните бретонца — задумчивого, сосредоточенного, с неистощимым запасом девственной энергии — с бургундцем. Леса и граниты, песчаные дюны и думы, навеянные постоянным видом морской беспредельности. Что это за люди, что могут они сделать?!

— Много хорошего и очень много разрушений,— ответил Николай Тургенев.

Гюго его не слышал. Все трое — Николай Тургенев, Клара Тургенева и Виктор Гюго — смотрели в окна на проходящих под дождем людей.

— А вот узнаете бургундцев? Смотрите! Яркий румянец, веселое лицо, звонкая речь и гордая поступь, широкие жесты, открытый характер и безумное воображение. Неистощимо веселые люди! Крестьяне с поступью принцев и с горячим вином в сердце и крови. Вот идет семюрский батальон. Стоит услышать его историю. Его оставили до-

ма, в родных деревнях Бургундии. Они достали прошлогодние бочки, выбили донья под гром барабанов и ружейных затворов, потом, напившись, пришли в Дижон, на вокзал, вызвали начальника станции и потребовали поезд. «Никакого поезда нет,— ответил тот.— Пруссаки отрезали все пути».— «Тогда мы тебя расстреляем»,— сказали бургундцы. И поезд появился. Пыхтящий локомотив с одним кочегаром покрыл дымом перрон.— «Нет машиниста!» — с ужасом закричал начальник станции. «Тогда лезь сам на эту проклятую машину,— закричали бургундцы,— или мы пристрелим тебя, как перепела в винограднике!»

И вот начальник станции сам повел последний поезд из Дижона. Эти бургундцы, опьяненные солнцем, вином и радостью, бушевали, как море, они стреляли из окон в проходивших коров, в стада баранов, они шумели, пили, пели, заставляли локомотив свистеть на каждом шагу. Красное вино их родины бурно клокотало в молодых жилах; когда они с пением прикатили на северный вокзал — их песен не понимали парижане, их странный нежный язык, совсем не похожий на татарскую речь бретонцев, был так же дик и непонятен парижанам, как и их бурная веселость в тоскливом, угнетенном Париже... *Вот вам единство нации! Вот вам тот французский народ,* который хотел обуздать железной уздой деспотизма и биржевых спекуляций авантюрист, похитивший свободу Франции! Не пора ли всем нам понять, что *нет единства нации, что каждая деревня дышит своим воздухом и что истинная родина человека есть человечество!* Священные идеи человечества попирает прусский сапог, все, кто борется сейчас за Францию, борется за человеческую свободу! Я пришел это сказать вам, Тургенев, только потому, что вы, имея все возможности, не покинули Францию в трудную минуту. Вы — старый борец за свободу! Приветствую вас!

— Благодарю вас,— сказал слабеющим голосом Тургенев.— Меня интересует вопрос о том, что думает обо всех этих делах князь Бисмарк.

Гюго нахмурился. Огромные брови, как крылья седой птицы, сдвинулись и загнулись, как стальная проволока. Голубые глаза мгновенно загорелись бешенством.

«Вот оно,— подумал Тургенев,— недаром Мериме говорил, что это бешеный человек». И, словно продолжая свою мысль, Тургенев без всякой осторожности спросил:

— А что думает обо всем этом господин Проспер Мериме?

— Господин Проспер Мериме! — закричал Гюго.— Да разве он жив? Я думаю, что он умер двадцать лет тому назад. Я помню в роковые дни измены французской республике президента Бонапарта, когда я пробирался на конспиративную квартиру десятого округа с воззваниями против узурпатора, мне встретился этот щелкопёр Мериме — автор повести о цыганке Кармен и о многих других столь же восхитительных героинях. Он сказал мне: «Я вас ищу». Я ответил: «Кажется, вы меня не найдете», и повернулся к нему спиной. Так вел я себя в отношении ко всем из шайки Бонапарта.

— Я слышал, что Мериме жив. Я получил от него письмо из Ниццы. Он уезжает в Канны, он рассчитывает на то, что министр Тьер спасет династию во имя мальчика Луи.

— Никаких Луи! — закричал Гюго.— Этот мальчик Луи недавно подобрал прусскую пулю, упавшую на форпосте. С тех пор парижане прозвали его «ребенок с пулей». Какое счастье, что он пулей вылетел из Парижа в Лондон со своей мамашей, распутной испанской танцовщицей!

Клара Тургенева рассмеялась.

— Я думаю, Евгения Монтихо переживет нас с вами, господин Гюго. Она может прожить дольше, чем новая Французская республика.

— Однако мне пора,— сказал Гюго.— Желаю вам здоровья, дорогой единомышленник!

Живой, совершенно не старческой походкой Гюго вышел из дому, а Николай Тургенев сел завтракать с Планшоном и слушал его рассказы о том, что делали пруссаки в его кабинете в Вербуа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Миновала тяжелая зима. Наступила весна, несшая людям надежды. Был март. Над парижскими домами в синем воздухе реяли красные знамена. Ветер трепал флаги, развевал волосы, срывал шляпы. Новый ветер небывалой человеческой весны! И, врываясь диссонансом в эту красную пляску знамен и флагов, щелкавших и свистевших над домами в синем небе, черные люди в цилиндрах с серебряным галуном вели под уздцы черных коней. За гробом на катафалке идет седой старик, волосы, поднявшиеся кверху, овевает ветер, обжигает старое французское солнце. Виктор Гюго хоронит своего сына. Рабочие в синих

блузах с коммунарскими значками попадаются ему навстречу. Кепки взлетают на воздух, толпы присоединяются к шествию. Старый Гюго с красным бантом в петлице протягивает им руки и говорит:

— *Вы правы, товарищи! Закон Коммуны, закон Парижа... станет законом всего мира.*

На улице Риволи полк национальных гвардейцев с оркестром играет «Марсельезу». Смешанный батальон, пересекающий дорогу похоронной процессии, поет «Марсельезу». Бургундцы узнают старика и с оркестром становятся за катафалком. Тысячные толпы наполняют улицу Риволи, когда восьмидесятилетний старик Тургенев подходит к окну. Он смотрит, узнает Гюго. Клара Тургенева говорит мужу:

— У него умер сын.

Николай Тургенев смотрит на нее потухшими глазами и говорит:

— Я ничего, ничего не понимаю... Я все позабыл... Скажи, Клара, вернулся ли Кюстин из России?

— О, давно вернулся. Он уехал в путешествие, из которого не возвращаются. Его книгу «О России» проклял царь Николай.

К вечеру Клара Тургенева послала сына к своей сестре. Прислуга осторожно ввела человека в котелке с небольшим саквояжем. Николай Иванович лежал на постели без подушки. Глаза были закрыты. Седые волосы стальной щеткой вышли на подбородке. Желтые руки тихо собирали и отпускали одеяло. Ему снилась многоводная Волга, крепостной Вася с тенетами, и смертельная жалость сжимала сердце при виде пойманных птиц. Дым у костра и бурлаки на берегу. Потом Галерная гавань и Каховский с безумными глазами, который просит: *«Николай Иванович, взойди ты в мешок вместо меня».* Потом в глазах стало темнеть, и вдруг яркое солнце осветило каменную тумбу на повороте около Sacré-Coeur de Monmartre, и *маленькая золотая пчелка села на белый камень.* В ушах звучали слова: «Жизнь дается только раз, каждая минута — счастье». Вот смотреть на эту пчелу на белой уличной тумбе, впивать всем телом лучи горячего солнца — вот это настоящее счастье. Сознание этого счастья было настолько велико, что сердце не выдержало и остановилось.

Доктор отнял зеркало от губ Николая Ивановича и, молча разведя руками, показал: поверхность была совершенно гладкая, сухие губы не затуманили его никаким дуновением.

Знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев в некрологе о последнем из четырех братьев Тургеневых написал прекрасные слова: «Из возможных благ, доступных людям, многие достались на его долю: он вкусил вполне счастье семейной жизни, преданной дружбы; он узрел, он осязал исполнение своих заветнейших дум. Будем надеяться, что и для тех из них, которые еще не исполнились и которым он посвятил свой последний труд — со временем также настанет черед».

1932 г.

Осуждение Паганини

Глава первая
ГОРОД ДВУЛИКОГО БОГА

Когда время прокладывает новую дорогу, когда новая морщина ложится на лицо земли, то старые дороги, как старые складки на лице, теряют свои прежние очертания. Пути, проложенные историей между странами земли, подвергаются причудливым изменениям. Одни поражают своею свежестью, шириной, полнозвучной наполненностью, движением, другие, еще надолго сохраняющие свою величавость, глохнут, погружаются в тишину. Трава пробивается между каменными плитами, и наконец деревья могучим потоком живой ткани выламывают камни. На этих дорогах птицы и звери забывают, что здесь когда-то шли колесницы и ступала нога человека. Пути, рассчитанные на века, сохранили свою старинную прочность, но остались без применения.

Города, лежащие на больших исторических путях, несут на себе следы всех этих перемен. Одни замирают, другие наполняются неслыханным и небывалым шумом. Одни поглощают свои пригороды, выбрасывая улицы далеко за пределы старых застав, рогаток и околиц, другие принимают в себя, на развалившуюся мостовую, семена соседних рощ и полей. Брошенные церкви окраин обрастают деревьями, колокола покрываются пылью, и от языка к стенке колокола тянется блестящая на солнце паутина.

Имена городов не случайны. Так и город, родивший Паганини, осужденного на гениальность и проклятого за талант, носит не случайно название Генуя. В средние века этот город назывался Janua. Латинское слово janua значит *дверь*. Не только такая створчатая дверь, которая ходит на петлях, а дверь в смысле порога и выхода, отделяющего весь открытый поднебесный мир от замкнутого жилища человека. Janua — это и не только дверь — это выход в новый день, порог к завтрашнему от вчерашнего, это взор, вперенный в будущее, и оглядка на прошлое. Janua —

римский бог, охраняющий пороги домов и входы в города, какое-то воплощение геометрической химеры, определяющей черту между прошлым и будущим, там, где настоящее становится тоньше тени от паутины.

Этот римский бог нашел свое олицетворение в виде двуликого существа. Одно лицо смотрит вперед, другое — назад, хотя они являются частями одной и той же головы.

Первый месяц года назывался Януарий. Он запирал собой последние мгновения старого года, когда в зимнюю стужу, в вихрь и вьюгу уже слышались голоса наступающей весны.

Когда-то Средиземье, замкнутое в гигантский эллипс, было увенчано короной драгоценных городов. На дальнем Западе, за Столбами Геракла, открывался Атлантический океан. Старинные периплы греков рассказывают о путешествии финикиян за Геркулесовы Столбы, о походе Язона за золотым руном. Платон в «Тимее» и в «Критии» повествует о том, что за Геркулесовыми Столбами когда-то была дорога в Атлантиду. Страна ушла под море. Остатки древних народов еще встречаются на лице теперешней земли. Как Архимед о песчинках, так Платон говорит о древних мирах, об их кончине и о возникновении новых. Столбами Геракла кончились достижения старинного человечества. Отважные мореплаватели, пролагавшие пути на Восток, туда, где встает солнце, на Левант, имели гораздо больший успех, чем путники, уходившие на Запад. На Восток устремлялись сердца искателей индийского золота и помыслы тех, в ком пламенело желание видеть неугасимые лампады Иерусалима. Вот венцом к этому венцу городов Средиземья, ключом к вратам земли была в те века Генуя.

Из Генуи вышел человек, пожелавший запереть двери старого мира и открыть выход в Новый Свет. В Генуе родился Колумб.

Когда американское золото наводнило Европу и Новая Индия вытеснила Старую Индию Леванта, замерли громадные дороги, выводившие Европу через генуэзские двери на старинный Восток.

В XIV столетии Генуя потеряла Кипр. Прошло четыре века, она потеряла Корсику. Корсика — генуэзский остров. Ее захватили французы. И вот теперь корсиканский офицер с севера двигался в Италию. Бонапарт и Массена шли походом на Геную. Город пытался сохранить свою вольность. Генуэзская республика в дни Бонапарта еще избирала дожа, при нем существовали еще двенадцать губернаторий и восемь префектур. Генуэзская аристократия

в Малом совете управляла городом, богатые горожане и дворяне составляли Большой городской совет из трехсот человек...

Глава вторая
ЛЕГЕНДА О РОЖДЕНИИ

Три грязные, обвалившиеся ступеньки сквозного — из улицы в улицу через дома — коридора вели в серый дом в Пассо ди Гатта Мора. На этих ступеньках, по преданию, поскользнулась повивальная бабка. Споткнувшись, старуха упомянула черта, и в это время открылась дверь и послышался сиплый мяукающий плач новорожденного Паганини.

Ребенок кричал всю ночь, ребенок кричал утром. Он плакал, словно жалуясь на произвол родителей, призвавших его к жизни в эту дождливую и бурную ночь, когда в оба генуэзских мола, как пушечные выстрелы, хлопали волны прибоя.

Паганини родился в ночь на 27 октября 1782 года.

Глава третья
НИЩЕТА

Неподалеку от Пассо ди Гатта Мора в те годы стояло длинное стро́ение, обращавшее на себя внимание черными рамами окон, пятнами сырости, дырами в старой, позеленевшей штукатурке. Это было убежище для бедных — «Albergo dei poveri».

В гурьбе оборванных ребятишек, высыпающих из этого здания пускать бумажные и деревянные кораблики в лужах или с гамом и криком бросающихся в уличные бои, можно было заметить маленькую обезьянку с выдающейся челюстью, широким лбом, курчавыми черными волосами и очень длинным носом. На этом уродливом лице странно выделялись огромные агатовые глаза. Необычайно красивые глаза поражали своим несоответствием всему облику длиннорукого, кривоногого ребенка с громадными ступнями, с длинными пальцами на длинных кистях. Когда эти глаза загорались любопытством, лицо выравнивалось и внезапно теряло свою уродливость. Но это мимолетное облако мгновенно таяло, и, скаля зубы, маленький человек испускал вопли и дикие ругательства, налетал вместе с товарищами на соседей, отбивал у них кораблики и лодки, быстро мчавшиеся по уличным потокам...

В узких и темных коридорах «Убежища» они играли в прятки. По воскресеньям они наблюдали, как старый инвалид, напившись после полудня, бил костылями свою старуху. Ребятишки взбирались на верхнюю площадку лестницы: стекло над дверью позволяло любоваться семейными сценами. Они осторожно подходили к дверям каморки, где нищие играли в кости, и терпеливо дожидались того момента, когда проигравшие вступят в драку с выигравшими. Под стук кулаков и грохот падающих стульев они разбегались, насладившись зрелищем и унося с собой тревожное чувство свободы от родительского авторитета.

Одно из первых потрясений — долгая и страшная болезнь. Три недели Никколо бредил, соскакивая с кровати; ему связывали руки и ноги, на голову клали полотенце, смоченное холодной водой. Болезнь совершенно истощила его. Он долгое время был оторван от компании своих сверстников. Целыми часами играл он на лютне, пока мать шила, стирала, гладила, готовила скудный обед. Он уже играл на отцовской гитаре.

Никколо рос на попечении матери. Старшего брата, Франческо, почти никогда не бывало дома, он постоянно вел какие-то таинственные переговоры со стариками, приходившими к синьору Антонио. Это был для Никколо чужой и даже неприятный человек. Синьор Антонио тоже все чаще и чаще отлучался из дому.

Однажды, проснувшись ночью, Никколо увидел мать перед распятием, она усердно молилась. Отца не было дома. Взглянув на сына, мать подошла к постели и сказала:

— Спи, спи, он еще вернется, он недалеко. Он играет и проигрывает: в надежде принести нам счастье, приносит горе...

К полудню следующего дня Антонио Паганини вернулся. Мальчик играл на лютне. Он так увлекся, что не заметил вошедшего отца. Антонио Паганини стоял с улыбающимся лицом и слушал. Позади него в дверях остановилась мать. Когда ребенок кончил играть, отец захлопал в ладоши и, подойдя к сыну, положил,— быть может, впервые,— свою большую ладонь на его чернокудрую голову. Маленькая обезьянка, открыв широко челюсти с желтыми зубками, заискивающе и трусливо поглядела вверх, на суровое лицо отца.

— Фу, какой ты урод! — сказал вдруг синьор Антонио. Ласковое выражение исчезло с его лица, он обернулся к жене.— Тереза, ну пойди купи всего, что нужно к обеду. Я голоден. Давайте сегодня повеселимся немножко.

Он взял гитару, сел против сына, кивнул ему головой:

— «Карманьолу»!

Отец играл хорошо, сын робко старался вторить. Потом, вдруг ударив по струнам, Антонио Паганини положил гитару и резкими и большими шагами вышел в соседнюю комнату. Он принес оттуда старую скрипку и объявил:

— Никколо, ты будешь учиться играть на скрипке. Я сделаю из тебя чудо, ты будешь зарабатывать деньги. Знаешь, что это такое? Эта скрипка принадлежала нашему предку, похороненному в Капуе в Аннинской церкви. То, что я проиграл на бирже, ты должен выиграть на скрипке. Сегодня хороший день. Видишь эту машину? — отец показал на картонные таблицы, лежавшие на письменном столе.— Это мое изобретение, это мое открытие. Тайна успехов в моих руках. Простые кружочки картона ворочаются и раскрывают мне тайну выигрыша...

В это время вошла синьора Паганини с корзинкой.

— Ну что ж, идти, Антонио?

— Иди, иди.— Он вынул из камзола пачку кредитных билетов, выбрал билет наименьшего достоинства и вручил жене.— Вот видишь, Тереза,— сказал он,— мои дела поправились, отгадывающая машина не врет, я теперь знаю наверняка, какие номера лотереи покупать, чтобы выиграть!..

— Ну, ну! — перебила жена.— Не нужно меня обманывать, я знаю, что ты играешь в карты...

— Не лги!..— закричал старик.— Ступай, ступай отсюда! Иди, куда тебе надо...

Начался первый урок скрипичной игры. Маленький человек с трудом понимал отца. Отец раздражался и на каждый промах сына отвечал подзатыльником. Потом взял со стола длинную квадратную линейку и стал ею пользоваться во всех случаях, когда сын делал ошибку. Он легкими и почти незаметными ударами бил его по кисти до кровоподтеков. К тому времени, когда вернулась с покупками Тереза Паганини, синьор Антонио был уже в полной ярости. Он запер мальчика в чулан и велел ему играть первое упражнение.

Дикие, раздирающие уши звуки слышались из чулана в течение целого часа, пока Антонио Паганини сидел с женой за бутылкой вина. Он хвастливо рассказывал о своих выигрышах, проклинал синьора Лоу, который разорил французские банки и наводнил всю Францию кредитными билетами вместо хорошей, добротной звонкой монеты. Он проклинал итальянских акционеров, которые вошли в соглашение с французскими купцами: в те дни, когда «эти проклятые французы захватили главную крепость Пари-

жа, посадили в тюрьму короля, отменили бога и святую церковь»,— по морям прошли ураганы, совсем не похожие на прежние бури... Но ни одна буря не нанесла столько ущерба морской торговле, сколько бунт французской черни. Англичане перехватывают французские торговые суда. Французские купцы прекратили платежи по итальянским обязательствам, биржа заглохла. За какие грехи честный старый маклер Антонио Паганини должен страдать, когда французская чернь бунтует?

— И эта проклятая чернь поет нашу генуэзскую «Карманьолу», когда идет по улицам в красных колпаках и с человеческими головами на пиках! Как им не стыдно порочить наши хорошие генуэзские песни!..

Язык старого Паганини все больше и больше заплетался. Антонио все чаще прибегал к крепким выражениям. Он бранил всех, рассказывая о бесчестиом дворянстве, о разорении купечества. Внезапно принимался восхвалять свою лотерейную машину. Он уже не обращал внимания на то, что его собеседница молчит. Он уже не видел страдальческого выражения ее лица. Расхваставшись, он ударил кулаком по столу:

— Тысяча дьяволов! Слышишь, как играет мальчишка? Из него выйдет толк!..

Тогда Тереза решилась напомнить о том, что мальчик был недавно болен, что ему опасно так долго и так сильно напрягаться, что ему пора обедать. Синьор Антонио резко перебил ее:

— Не будет есть, пока без ошибки не сыграет первого упражнения...

Глава четвертая
ВОЙНА

В «Убежище» рассказывали странные вещи. Французы в городе Париже на большой площади поставили помост, на помост поставили стойки, между стойками укрепили в пазах большой стальной треугольник, который опускался в пазах и сваливался острым концом вниз. Одним словом, французы сделали миланскую машину, которой старые миланские мясники убивали быков на бойне. На этот раз они сделали машину для человеческих голов. Они вывели короля из башни, в которой держали его в плену, положили его под эту машину и опустили тяжелый стальной треугольник, а потом подняли за волосы голову, отделенную от тела, и показали собравшемуся парижскому люду со словами: «Вот истинный король Франции».

Никколо с удивлением слушал эти разговоры, передаваемые из уст в уста. Говорили, что король этот был злодеем и предателем своего народа, что казнь его — справедливое воздаяние за преступление, совершенное им перед своей страной. Говорили, что он позвал иноземные войска для того, чтобы опустошить Францию огнем и мечом. Говорили о страшных пожарах французских сел, о голоде французского простолюдина, о том, что соседние монархии объединились для спасения Людовика XVI и что они теперь ведут войну с восставшим французским народом.

— ...А вы слышали? Французы поют нашу «Карманьолу»...

...Маленький Паганини играл уже хорошо. Он научился играть по нотам. А когда уходил старик, принимался сочинять сам короткие музыкальные пьесы. Он представлял себе, как французы со знаменами, в красных шапках идут на парижскую крепость. «Бастия, Бастилло»,— старался вспомнить маленький Паганини, и звуки, рождавшиеся в нем внезапно, он передавал в игре на своей старой, непомерно большой скрипке. «Карманьола» выходила живая, звучная. Но это была уже другая «Карманьола», другая песня. С этой песней, воспользовавшись отъездом отца, маленький Паганини впервые вышел из дома, и с этой песней, как со своей добычей, он вошел в полутемный коридор «Убежища». Впервые играл он при большом скоплении слушавших его людей. Он испытывал особую гордость, когда к звукам его скрипки вдруг присоединились голоса поющих взрослых людей. Мужчины и женщины, обступившие его в «Убежище», пели «Карманьолу» на новый лад, с тем богатством оттенков, которое придавала ей скрипка Никколо.

Над Генуей по-прежнему сверкало яркое солнце. По-прежнему ласково пела, набегая на мол в Дарсена Реале, морская волна, по-прежнему мерно качались цветущие деревья в городском саду и гигантские мраморные памятники на кладбище белели под лучами солнца, неизменно спокойные, величавые, охраняя старинные могилы генуэзской знати.

Никто не знал, кроме городского совета, о том, что ураган, срывающий кровли дворцов, несется с севера на юг, с запада на восток и что не нынче-завтра ясное небо Генуи покроется тучами. Носились темные слухи о том, что где-то в горах, в Западных Альпах, в горных проходах, появились красно-сине-белые мундиры, трехцветные знамена развевались перед конницей, шедшей на Кастель Франко,

на крепость Бард. Но это были только слухи. Называли итальянскую фамилию, говорившую об удачливом и счастливом жребии, о хорошей участи того, кто носит эту фамилию. Буонапарте — счастливая доля,— так называли человека, шедшего с целой армией бунтовщиков с севера на юг.

— Кто он? — так рассуждал старик Паганини за столом.— Он — сын простого корсиканского синдика. Как же эта сволочь смеет носить генеральский мундир, когда он даже не дворянин Франции?! Разве они могут устоять против регулярных войск австрийского короля?..

— Близок конец мира,— говорил он, однако допивая четвертую бутылку.— Скоро некуда будет бежать.

Два раза открывалась генуэзская биржа. Два раза синьор Паганини получал огромные выигрыши. Ему везло в карты, везло в темных лотерейных делах. Соседи шептались о том, что дело не чисто с лотерейными номерами, что колеса лотерейной машины смазаны золотым маслом... Старику сказочно везло.

Когда повеяло зимой, на улицах Генуи родилась тревога, заговорили открыто о движении с запада — от Ниццы — французских войск. Паганини, казалось, не слышал и не видел ничего вокруг себя. Он весь ушел в сложнейшие операции лотерейной игры. Счетная машина, со всеми ее картонными кругами, деревянными планшетками, стальными иглами, стрелками и указателем, уже не пользовалась прежним его вниманием. Запыленная, она валялась в углу, и кошка обращалась с ней до крайности непочтительно. Теперь уже не нужно было прибегать к этим безумным ночным подсчетам. Мышиное шарканье стальных стрелок по картону прекратилось. Часовые стрелки работали на синьора Паганини,— время работало на него.

Паганини плыл по течению. Река времени его несла. Воды этой реки замутились, и в мутной воде бывший маклер города Генуи ловил крупную рыбу.

На севере было неблагополучно. Пошатнулись устойчивые и солидные предприятия городов. Корабли не выходили в море. Английские «военные пираты» сделались владыками Средиземья. Романелли и Спиро, владельцы одного из банкирских домов Генуи, вызвали маклера Антонио Паганини ранним утром к себе. Они читали прокламации генерала Бонапарта:

«Солдаты, вы плохо кормились, вы ходите почти голыми. Правительство Республики обязано вам всем, но не может сделать для вас ничего. Вам делает честь ваше терпение, ваше геройское мужество, но из этих свойств вы не

сошьете себе ни славы, ни выгоды. Поэтому я принял решение вывести вас из гор в самую плодоносную долину мира. Перед вами расстилаются широкие дороги с большими городами, вы увидите прекрасную провинцию, новую страну, там вас ждет честь, слава, богатство».

— Что же! — восклицал банкир Спиро, размахивая перед носом Паганини листом синей бумаги.— Что же, этот грубый солдат осуществляет все свои обещания армии разбойников, которую он ведет из Ниццы? — И сам отвечал:— Да! Он начисто грабит города и облагает население такой контрибуцией, которая хуже смерти!

— Мы решили закрыть банк,— продолжал компаньон, обращаясь к Антонио Паганини.— И тебе, нашему верному помощнику, делаем мы почетное предложение: ты поедешь на север и повезешь кое-какую поклажу. Это мешки с нашими бумагами, закладными, векселями, расписками, акциями, облигациями. Наличность мы вывозить не будем. Мы закроем банк и сами на время уедем из Генуи подальше. А ты отвезешь в город Кремону душу и сердце нашего предприятия.

Антонио долго молчал. Лицо его делалось все печальней и печальней. Не поднимая век, он в зеркало наблюдал за выражением лиц своих собеседников и наконец снова поднял глаза. Они были полны напускного страха. На лицах банкиров появилась растерянность.

— Мы тебе доверяли крупные сделки, ты был нашим посредником во всех морских делах банка. Скажи, как могли бы мы вознаградить тебя заранее?

Романелли сказал слишком много. Спиро вдруг нахмурился и заявил:

— Я могу договориться с моим братом — он собирается выехать на север,— если тебе трудно сделать это самому, синьор Паганини.

Тогда старый маклер решил нанести удар. Он знал, каковы отношения между братьями. Он был осведомлен о темном деле, после которого братья разошлись. Он знал, что синьор Спиро вовсе не из родственных чувств отказался от вмешательства австрийской полиции в отношения его с родным братом, и быстро замял дело.

Паганини посмотрел на них, сделал еще более страдальческое лицо и сказал:

— Достопочтенные синьоры, у меня жена и дети, я не могу оставить их на произвол судьбы. Покидая родной город, я должен выехать вместе с ними. Я должен купить хороший экипаж, я должен платить дороже других путешественников, чтобы беспрепятственно получать лошадей,

а в то же время я должен сделать все, чтобы меня принимали за путешествующего бедняка. Вы должны согласиться со мной ради справедливости, что поручение ваше равносильно приказу прыгнуть в пасть дракона.

Наступило молчание.

Три раза повторялась эта сцена, после чего сам синьор Спиро скрепя сердце назвал сумму в пять тысяч лир. Паганини встал, держа шапку в руках, и сказал:

— Синьоры, меня ждет семья, разрешите мне уйти и поверьте, что всем сердцем...

Но тут Романелли остановил его резким движением:

— Да что ты в самом деле, ну, назови цифру, которая вполне соответствует выгодам твоей семьи. Зачем тебе брать жену и детей?

— Нет, синьоры, увольте...

Паганини направился к выходу. Синьор Спиро быстро загородил ему дорогу, подойдя к полке с банковскими книгами. Достав толстую книгу, он стал, расставив ноги, в дверях и сказал:

— Ты вот посмотри, упрямый человек, что мы можем сделать, когда мы почти разорены?

— Я не хочу вас еще больше разорять, синьоры,— сказал Паганини,— я сам живу на несчастные гроши, заработанные мною непосильным трудом в последнее время.

— Ну, скажи, что мы должны сделать для тебя?

Тогда Паганини, потупив голову, произнес:

— Проценты с морских операций банка, как только благородные синьоры возобновят эти операции. В число документов, которые я повезу в Кремону, благородные синьоры благоволят включить обязательство, делающее меня участником банковских прибылей, и двадцать тысяч лир наличными в день отъезда.

Глава пятая

ПУТЬ ПО ЗЕМЛЕ

В городе Кремоне, на севере Италии, жил синьор Паоло Страдивари. В те дни, к которым относится наш рассказ, он вел свои записи почти ежедневно и отмечал:

«Савойя, Ницца, крепости Алессандрия, Кони, укрепления Сузы, Бунетты, Экзилья захвачены и разрушены. Какой-то безвестный французский генерал, проходимец и негодяй, обложил со всех сторон Мантую, сильнейшую крепость... Город Милан занят французскими войсками. На воротах города красуется надпись: «Слава доблестно-

му французскому оружию!» Женщины в цветных платьях и мужчины в праздничных камзолах встречают французов криками и песнями. Офицеров забрасывают цветами, пушки обвивают цветами и виноградными листьями. Жандармы Австрийской империи бежали на север, духовенство в страхе покидает города, и все это — под грубым напором корсиканского бандита, отменяющего католическую религию, закрывающего монастыри. Герцог Пармский за одно перемирие заплатил два миллиона. Он отдал 20 лучших картин своей галереи, лучших коней пармской конюшни и оставил Парму без провианта. Герцог Моденский отдал 10 миллионов, все картины и статуи своего дворца. Король Неаполитанский в страхе отозвал свои войска, и даже первосвященник римский заплатил 21 миллион этому бандиту. Он выдал 100 прекраснейших картин Ватикана, он выехал из Болоньи в Феррару, из Феррары уехал дальше, малодушно благословив город Анкону на принятие французского гарнизона. Даже наша Ломбардия заплатила контрибуцию в 20 миллионов. Что будет дальше? Кто сопровождает этого страшного злодея? Какой-то Мюрат, сын кабатчика, какой-то безвестный Массена, какой-то безвестный Ожеро. Ни одного имени с титулом, ни одного дворянина. Впрочем, есть разбойник с баронским титулом, полковник Марбо».

27 декабря 1797 года французский генерал Дюфо вмешался в уличную стычку между жителями Рима и солдатами и был смертельно ранен. 10 февраля 1798 года под стенами Рима появился Бертье с армией в восемнадцать тысяч человек. Пять дней спустя Вечный город, столица мира, где имел пребывание наместник Христов, вдруг провозгласил себя Римской республикой, и французская армия с музыкой и знаменами вошла в Рим. Останки французского генерала Дюфо были погребены в Капитолии, где погребали величайших мужей мировой истории, а римский первосвященник, папа Пий VIII, в качестве пленника был увезен в Валанс, в простой карете, под конвоем французских офицеров Миолиса и Раде.

Генуя голодала. Генерал Массена и верный его помощник Марбо кормили солдат клейким тестом из овса. Крахмал и бобы выдавались по воскресеньям в качестве лакомой пищи. Похлебку заправляли кожаной резкой из старых ранцев. Так жили день за днем, и так проходили месяцы. Французы голодали. С севера провиант приходил плохо. Французские транспорты, отправленные из Марселя, были перехвачены. А на горизонте появлялись все новые и новые белые точки. Громадные паруса гигантских

кораблей белели на закате. Корабли бросали якоря, и длинная ограда, замыкая весь горизонт, обрамляла морскую даль. Французские пикеты проходили по берегу, сверкая киверами и касками. Уличные мальчишки посмеивались, видя, как болтается на похудевших и тощих телах оборванное обмундирование, сборная одежда, в которой монашеские рясы, перешитые в походные плащи, сочетались с мундирами национальной гвардии парижской милиции, с мундирами конвента.

Французские пикеты не пропускали жителей к берегам. На оконечности мола стояли сторожевые посты. Реквизированные корабли генуэзских торговцев были приспособлены для французской военной службы. Французское командование с тревогой наблюдало за горизонтом. Лес корабельных мачт, легкие и сторожевые суда сменились огромными линейными кораблями. Это накоплялась могучая сила, эскадра английского адмирала Кейса. На мраморе набережных были укреплены батареи; длинные медные пушки, снятые с колес, и перевернутые лафеты лежали неподалеку. Ядра, бомбарды, мортиры, пороховые ящики — все это в большом беспорядке покрывало берег.

Генерал Массена должен был бы давно уйти на север, но боязнь английского десанта заставляла его держаться в этом городе, где голодающее население уже съело последних голубей и ворон, где собакам и кошкам давно стало опасно появляться на улицах, где французским солдатам приходилось превращаться в рыбаков и, отняв сети у окрестных поселян, в сумерки выплывать на лодках за пределы последних ограждений мола...

В эти дни, когда издалека доносился гул канонады, когда рвались паруса на море у Лигурийского побережья, горели палубы, валились расщепленные мачты, где-то на горных снегах горели костры, а по склонам перебегали группы кричащих людей с поднятыми вверх ружьями,— в эти дни через Комо, Бергамо, Пескьеро двигалась старая, изношенная карета, с облезлыми дверцами и разбитыми стеклами. Закутавшись от ветра, сидели в ней мужчина, женщина и мальчик. Огромные тюки были привязаны на крыше. Форейтор и кучера посвистывали и хлопали бичом, погоняя тощих кляч. Карета ежеминутно останавливалась при встрече с людьми, шедшими пешком по дороге. От встречных узнали, что дорога на Павию и Пьяченцу занята французскими отрядами. Круто повернули на юг. Путь на Кремону был тяжелый, приходилось сворачивать на кружные дороги. Пушки французской армии разбили до-

роги, глубокие колеи остались повсюду, где проходили французские батареи.

Путешествовавшие не называли себя синьорами Паганини. Это была простая семья бедного, напуганного войной парикмахера, который переселялся с побережья в родной город на севере Италии. Ночевали в маленьких, грязных гостиницах. Спали в них не раздеваясь, и старый Паганини все время ворчал, упрекая жену за ее настойчивое желание бежать из Лигурии. Первоначально он делал это, как актер, ради того, чтобы скрыть истинную цель поездки. Потом он вошел во вкус.

Все выше и выше поднималась дорога. Роскошь тенистых, густо-зеленых парков; низкие поросли виноградников, золотистая зелень которых покрывала склоны; освещенные солнцем апельсинные, лимонные деревья все чаще и чаще сменялись полями тюльпанов, серыми безлюдными рощами олив, на огромном пространстве разливался зеленый свет прозрачной, напитанной солнцем листвы. При въезде в город сломалась ось кареты. Пришлось прожить здесь лишних три дня в ожидании, пока починят экипаж. Это был первый большой привал. Отягощенный трудностями пути и целой фьяской выпитого вина, синьор Паганини заснул и проспал непробудным сном двадцать восемь часов.

...Забравшись на голубятню, маленький Паганини вынул скрипку из футляра. Не раскрывая нот, он взял смычок. Мать охраняла имущество, пьяный отец спал. Внизу, под горой, кузнец раздувал горн. Еще минуту назад, корча невероятные гримасы перед зеркалом и показывая себе язык, Никколо был далек от мыслей о своей скрипке. А тут вдруг ему захотелось поведать самому себе в звуках впечатления пути, передать свое детское ощущение всего этого зеленого, буйно растущего мира.

Рыбаки, возвращавшиеся с озера, остановились и слушали скрипку. Прошел час, мальчик все играл, до тех пор пока не увидал в окно толпу горожан, рыбаков с сетями, охотника с ружьем. Он остановился, положил скрипку и осторожно спустился по лестнице...

...Дорога поднималась все выше и выше. Все хуже и хуже давали лошадей. Клячи едва тянули большую, широкую карету. Зачастую приходилось останавливаться, чтобы дать передышку лошадям, не перепрягая, в первом попавшемся поселке. И эти остановки были большим несчастьем для Никколо. Старый Паганини вдруг, словно одержимый бешенством, стал требовать, чтобы сын играл на каждой

остановке. Он будил его по ночам, он заставлял его играть часами. Когда усталый, обессиленный скрипач ронял смычок, отец ударом ноги возвращал сына к действительности.

Так прошли четыре недели пути. Мальчик едва держался на ногах. Под дождем, на сквозном ветру он простудился и стал кашлять кровью. Но, невзирая на это, отец не скупился на побои. Ошибка в пассаже, плохо сыгранный такт, вялость в игре — все влекло за собой наказание. Виноград с вареным рисом отодвигался в дальний угол стола. Мальчик мог издали любоваться лакомым блюдом. Он водил смычком по струнам до полного изнеможения. Блюдо вареного риса превращалось в высокую снежную гору. Колени подгибались, подбородок тяжелее ложился на скрипку, мальчика начинало лихорадить, пальцы быстрее бегали по грифу. Как не похоже здесь на теплую, яркую, освещенную солнцем долину Ломбардии! Там теплые басовые звуки рассказывали его впечатления от теплой могучей зелени, а здесь — снежные поляны, высокая гора и бледные пятна лесов на вечных снегах. И вот снег, холодные искры голубого фирна передавались взлетами к тонкой, серебром звенящей шантрели. Шантрель пела, чистым высоким голосом выводила она мелодию снежных высот...

Отец уходил, и маленький Паганини осторожно расстегивал ремень, которым была перетянута корзина с едой. Потом, крадучись, убегал из дому. Он бегал по склонам гор, выпрашивая у старух кусок овечьего сыра или чашку козьего молока. Усталый, исцарапавшись об острые камни, он забирался в самые глухие места, где отец не мог его отыскать. Засыпал на ветвях деревьев, пригретый лучами солнца, проклиная скрипку, которая превращалась для него в орудие пытки.

В Генуе в старинном застенке мальчику случалось видеть деревянные голенища и колодки, напоминающие по форме деку скрипки. Это были части так называемого испанского сапога, которым стискивали ногу преступника во время пытки. Скрипка стала таким же орудием пытки для рук, сердца и мозга ребенка. Локти и плечи болели, пальцы не держали смычка, левая рука выпускала гриф, и скрипка падала на циновку. Но, помимо того, неделями не проходили кровоподтеки, синяки от умелых щипков родной отцовской руки. Руки, ноги, лицо, шея — все было в синяках. Мать бросалась в ноги, упрашивая отца щадить ребенка, но ее заступничество лишь ожесточало отца. Ничто не могло сломить настойчивости старого Паганини.

— Я сделаю из тебя чудо, проклятая обезьяна!.. Ты все равно продан черту,— так ты или погибнешь, или обеспечишь мою старость. Я выпущу тебя, мальчишка, перед большой толпой знатных и богатых господ, когда мир опять станет на место, после ухода проклятых французских бродяг. Ты будешь вызывать восторг и умиленье богатых людей, ты вызовешь у них умиленье, которое заставит их забыть свою скупость...

Наступили тревожные дни. Беглецы из южных викариатов спешили покинуть Ломбардию. Говорили, что весь север Италии находится во власти Франции. Старик решил укрыться в Швейцарии. Начались скитания вдоль берегов Тичино. От самого Прато, через Дацию Гранде и Киоту — извилистыми путями на Бруньяско, Альтанну и Ронно. Приехали в район озера Ритом и там остановились.

Вечером, когда семья Паганини села ужинать, послышался стук колес. К маленькой гостинице подкатил в коляске русский генерал с двумя офицерами. Четыре конных ординарца сопровождали коляску. Антонио вскочил и подбежал к окну. Значит, и тут нет покоя! Русские войска, пришедшие на помощь Австрии, идут против французской революции, быть может они свернут шею генералу Бонапарту,— но кто знает, как они отнесутся к мирным путешественникам!

Русский генерал занял весь нижний этаж. Паганини с вещами выкинули в конюшню. В селении громко поговаривали о том, что неподалеку на горах расставлены русские пушки и скоро весь берег озера Ритом превратится в яму, изрытую ядрами. Перед наступлением ночи русские солдаты пели песни, пили огромными ковшами противное кислое вино, смотрели в окна, ждали кого-то.

Под утро внезапно все переменилось. На заре старый Паганини высунул голову из ворот конюшни и увидел во дворе хозяина гостиницы. Тот весело мигнул синьору Антонио и сказал:

— Господин парикмахер, медведи и казаки уехали, за ними приезжал верховой.

Снова дорога замелькала снежными склонами, поющими под ветром соснами и елями. Застывали руки, зябли ноги, лицо обдавал суровый ветер. Коляска тряслась по ухабам. Вязкий снег сменялся каменистым грунтом, цоканье двадцати четырех подков сразу пробуждало старика Паганини,— который, как нахохлившаяся птица, сидел в углу кареты,— и он сбрасывал рукавом каплю, подмерзшую на кончике красного носа.

Глава шестая

КРЕМОНА

После страшной недели в горах — опять зелень, опять дорога, где склоны и долины чередуются с ледяным простором горных озер и необозримыми пастбищами. Воздух режут звуки пастушьего рога, доносятся звоны колоколов, вся природа наполняется огромным количеством звуков.

Наконец показались старые крепостные стены Кремоны. Две речки и одна река. Маленькая Адда, маленькая Оглио и огромная, полноводно текущая По. Крепость с замком необычайной красоты. Вот застава. Синьору Антонио приходится, разминая затекшие ноги, сутулясь вылезти из кареты, войти в маленький дом из серого камня и предъявить придирчивому вахмистру документы, удостоверяющие законность поездки синьора Антонио Паганини — теперь уже не безвестного парикмахера, возвращающегося в родной город, а человека вполне достойного и почтенного, благородной профессии, бывшего посредника Антонио Паганини, с супругой Терезой и сыном Никколо.

Потом опять удар бича, лошади рвутся вправо, в переулок, где виднеется двор мессаджера, привычное место стоянки. Несколько порывистых движений вожжами, выкриков, несколько ударов бича, и, переминаясь с ноги на ногу, усталые клячи поворачивают в противоположную сторону.

Вот уже городская площадь. Германо-ломбардские старинные дома XII столетия. Красный и розовый мрамор, высокий шпиль собора. Вот дом с островерхой крышей из красной черепицы. Низкие, но широкие двери гостеприимно открываются перед гостями. Старший брат отца, Витторио Паганини, стоит на пороге. Седой парик из собственных волос, красный нос, оловянные глаза, грубый, сухой, покрытый тончайшими морщинами подбородок с черной ямкой посредине, будто следом воткнутого гвоздя, уши маленькие, серые, как будто давно не мытые.

Глаза производят неприятное впечатление на мальчика. После взаимных приветствий дядя откидывает полу камзола, достает из кармана табакерку, нюхает табак и чихает. Слезы льются из глаз. Дядя смахивает слезы платком из зеленого шелка с вышитыми крест-накрест большими ключами. Такие платки имели только лица духовного звания или те, кто внес богатый вклад на церковь.

Прошло утро. Никколо вместе с матерью отправляется в церковь. Мать жарко молится перед фреской, на которой изображен ангел, играющий на скрипке...

Ночью у матери лихорадка. В пути держалась крепко,— вечный страх за Никколо, боязнь, что побои отца сведут ребенка в могилу, постоянное стремление сберечь лишний кусок для сына заставляли перемогаться, скрывать свои страдания. А здесь, в Кремоне, в первый же день пошла на исповедь. Внезапный обморок сломил ее силы.

Под утро, разметавшись в жару, она позвала сына. Долго смотрела на него молча, потом слабым голосом проговорила:

— Мальчик, нынче ночью ангел, тот самый, которого мы видели на святой картине в соборе, сказал мне, что ты будешь первым скрипачом мира. Недаром мы приехали в этот город. Тут жили лучшие скрипичные мастера — Амати, Гварнери и Страдивари. Я чувствую, что здесь ты похоронишь свою мать. Обещай мне никогда не расставаться со скрипкой.

Мальчик был испуган, он бросился на колени и заплакал. Лицо стало еще более уродливым, когда по выдающимся скулам к треугольному подбородку побежали слезы. Никколо обещал матери исполнить все, что она просит. Он обещал бы в тысячу раз больше, лишь бы не слышать ее жалоб и не испытывать этого ужаса, который охватил его при мысли о том, что мать может уйти от него навеки.

Проходили дни. Никого хоронить не пришлось. Мать выздоровела.

Дядя со дня на день становился все веселей и ласковей, он все чаще заговаривал с Никколо, и легкое подозрение закралось в сердце мальчика, приобретшего первый жизненный опыт в «Убежище». Маленький Паганини насторожился, как взрослый, он почувствовал, что отец недоговаривает чего-то в беседах с дядей и дядя намеревается через него, Никколо, выведать то, что прячет так старательно отец. Но мальчик сам ничего не знал и первый раз пожалел о том, что он плохо осведомлен в делах отца. На всякий случай он делал, однако, вид, что ему кое-что известно, но что он должен молчать. Маневр удался. С этого дня дядя был почти в его руках.

— Ты раздираешь мне уши своей игрой, у тебя ужасная скрипка!— заметил однажды дядя.

Маленький Паганини чувствовал, что это только начало большого разговора, и приготовился. Он опять принял вид человека, затаившего какой-то секрет, и перешел в контратаку. Он спросил, правда ли все, что рассказывают о кремонских скрипках, о скрипичных мастерах, прославивших этот город, и наконец о Паоло Страдивари, который живет неподалеку от соборной площади. Дядя смот-

рел на него внимательно и, казалось, не понимал. Наконец старик ответил:

— Дурачок, наш славный город всему миру известен шелковыми фабриками. Правда, сюда приезжал в прошлом году какой-то сумасшедший английский лорд и все выспрашивал и записывал сведения о синьорах Страдивари. Синьоры Страдивари — почтенные дворяне в нашем городе. Они были сенаторами и никогда не занимались ремеслом. Их отдаленный предок, правда, делал скрипки, но это был дворянин, он делал их между прочим и никогда не торговал своими изделиями.

Мальчик слушал его недоверчиво.

— Послушай,— попытался старик свернуть на интересовавшую его тему,— вы перед отъездом из Генуи как будто жили бедно?

— Нет, дядя,— коротко ответил мальчик.

— Вот как! Вы, значит, бедствовали?

— Нет, дядя,— тем же тоном ответил Никколо.

— Так что же, вы были нищими?

— Нет, дядя.

Тогда дядюшка решил сделать передышку.

— Знаешь ли,— сказал он,— синьор Паоло Страдивари жив до сих пор. Он рассказывал мне, как этот сумасшедший английский лорд осаждал его расспросами о предках синьора Паоло, делавших когда-то скрипки. Так вот я хочу тебе сказать: если дела у отца поправились и он сейчас с деньгами, то попроси его купить тебе скрипку лучше у графа Козио. Этот чудак собрал коллекцию, целых шестьсот скрипок. Синьор Паоло всегда направляет людей к нему, если кто-нибудь, как этот сумасшедший лорд, начинает надоедать ему. Сам синьор Паоло ненавидит скрипку.

Мальчика не удовлетворили эти сведения.

И вот однажды синьор Паоло Страдивари был сильно испуган, видя, что к нему в окно с дерева спрыгнул похожий на обезьяну черноволосый чертенок.

— Синьор, во имя бога, простите! — крикнул мальчик.— Уже три часа я стучу, и никто не отпирает ваших ворот.

Синьор Паоло, прихрамывая, подбежал к окну и схватил трость, намереваясь ударить мальчика, которого он принял за вора. Но маленький Паганини стал на колени.

— Умоляю, синьор, не бейте меня! Меня достаточно бьет отец, не бейте меня! Я хотел только узнать у вас, как делают скрипки господа Страдивари...

Синьор Паоло нахмурился.

— Откуда ты, безумная обезьянка, и кто тебе рассказал небылицу о скрипках? Мои предки были сенаторы, они носили красные плащи и красные шапки. Мне никакого дела нет до сплетен, которые сочиняют о нашем славном роде... Постой...— И тут синьор Страдивари схватил мальчика за шиворот.— Ты просто вор! Ты в сотый раз повторил мне вопросы, на которых помешались теперь англичане. Когда я был молод, ни один дурак не интересовался скрипичным старьем и хламом. А теперь мне прохода не дают эти английские сумасброды. Кто тебя подослал? — спросил он грубо.

— Никто, синьор! Никто меня не подсылал, я сам пришел, по собственной воле. Я играю на скрипке, которая...

— В этом городе воздух становится отравленным! — воскликнул синьор Паоло.— Это какое-то безумие! Весь город наполнен сплетнями о скрипках Страдивари. Что же, выходит, я потомок ремесленников?— Потом он смягчился.— Ну, а кто ты? — спросил он, обращаясь к мальчику.— Сколько тебе лет? Ты лжешь, что ты играешь на скрипке в твоем возрасте!

— Я из Генуи,— ответил мальчик.— Я сын синьора Антонио Паганини. Отец учил меня играть на скрипке, я люблю скрипку, хотя отец делает все, чтобы я ее разлюбил.

— А я думал, что ты воришка,— сказал синьор Паоло.— Я живу в Кремоне и записываю события. Страшные вещи надвигаются на нашу Италию...— Старик говорил иногда как будто сам с собой.— За год произошло столько вещей в мире, сколько не было за сто лет перед этим. Так ты думал, что никого нет дома,— снова обратился он к мальчику,— и хотел украсть что-нибудь?

Он снова поднял трость и снова ее опустил. Тут мальчик заметил, что синьор Паоло — совсем дряхлый старик. Моментами у старого Страдивари отваливалась челюсть. Какие-то странные знаки отличия, плохо прикрепленные к камзолу, болтались на его высохшей груди...

— По всей Европе идет какое-то сумасшествие! То свергают королей, то вдруг начинают скрипичное старье ценить дороже нынешних хороших скрипок. Это еще надо доказать, что старые скрипки лучше новых... Надо доказать, что новая политика лучше старой,— добавил он. Старческое лицо вдруг исказила свирепая гримаса.— Еще надо доказать,— закричал он,— что французская республика чего-нибудь стоит по сравнению с хорошими древними монархиями!

Веки старика закрылись, потом он вдруг, как бы насильно заставляя себя проснуться, обратился к Никколо:

— Итак, мальчик, иди к графу Козно. Этот самый дурак помешался на скрипках. Это он пускает сплетни о том, что в доме Страдивари занимались ремеслами. Не верь тому, что граф Козно будет говорить про нашу семью, он старый маньяк и выдумщик, но скрипок у него много и человек он неплохой.

Синьор Паоло взял колокольчик со стола и позвонил. Вошла женщина лет сорока, румяная, крепкая, сильная. Она недовольно посмотрела на старого синьора, с негодованием оглядела маленького Паганини и, обращаясь к синьору Паоло, резко спросила:

— Что вы тут шумите?

— Катарина,— сказал Страдивари,— проводи мальчика к выходу и готовь завтрак.

— Нет вина,— ответила Катарина.— Как этот маленький негодяй попал сюда?

Она говорила резко, с таким видом, словно желала подчеркнуть, что она хозяйка в доме и синьор Страдивари находится у нее в подчинении.

— Ключи у тебя, Катарина,— возразил Страдивари с досадой.

— А деньги у вас,— грубо отрезала Катарина.

— Деньги у тебя,— пробовал спорить старик.

— Деньги вышли все.

Синьор Страдивари зашевелил губами, хотел что-то возразить, сделал неопределенный жест и стал шарить рукой в кармане камзола, пытаясь достать ключи. Он долго искал деньги в стенном шкафу. Наконец Катарина вырвала у него из рук мешок с серебряными монетами и, быстро обернувшись к маленькому Паганини, воскликнула:

— Идем!

— Иди на площадь святого Доминика! — крикнул вдогонку Страдивари.

— Кто тебя впустил в дом, чертенок? — грозно спросила Катарина, открывая перед Никколо дверь.

Чтобы не осложнять положения, мальчик поспешно юркнул в открытую дверь и прыгнул на мостовую...

...Он уже приближался к двухэтажному дому графа Козно, как вдруг его чуть не свалил удар в ухо. Кто-то схватил его за плечи и стал нещадно трясти. Вскинув глаза, через плечо, мальчик увидел разъяренное лицо синьора Антонио.

— Вот ты где, дьяволенок! Вот ты где, вор семейного благополучия! Какой черт носит тебя по улицам, когда я два дня, заботясь о тебе, добиваюсь приема у графа Козно? Сегодня он согласился слушать твою игру, а тебя, как

на грех, унесло неведомо куда. Если будешь шляться без позволения по улицам...

— Да пустите же, отец! — закричал мальчик.—Я иду к графу Козио, я все знаю!

Синьор Антонио выпустил его, с недоумением посмотрел на свою руку, только что державшую сына за шиворот, и проговорил:

— Как? Что? Что ты сказал?

— Ну да, отец,— быстро заговорил Никколо, наспех придумывая изворотливую фразу,— ну да, я иду к графу Козио, потому что... потому что... мне передали, что...

— Ты лжешь! — завопил старик.— У тебя заплетается язык.

— Это потому, что вы сдавили мне горло,— нашелся мальчик.

— Нет, совсем не потому, а потому, что ты лжешь!

Время было выиграно. Они стояли у решетчатой ограды. Синьор Антонио постучал. Привратник открыл дверь. Старик Паганини, слегка подпрыгивая и танцуя, поклонился привратнику с такой почтительностью, словно от этого человека зависело очень многое, и попросил доложить господину графу о приходе его нижайшего слуги Паганини с мальчиком, чудесным скрипачом.

Никколо вздрогнул и, как зверек, сверкнул глазами, глядя исподлобья на отца. Чудесный скрипач! Ему вдруг показалось, что забыты отцовские побои, забыты обиды, захотелось броситься к отцу, сказать, что бить его вовсе не нужно, что он сам сделает все необходимое, он сам любит музыку и скрипку, а после побоев, наоборот, каждый раз он уже совершенно не может играть... Но, увидев подобострастную и жалкую улыбку старика, мальчик понял, что для этого человека его, Никколо, страдания не существуют, старик считает сына вещью, инструментом для наживы, машиной, которая должна обеспечить безошибочный выигрыш. Сердце маленького Паганини сжалось. Никогда раньше он не видел у отца этой хитрой и подленькой улыбки.

Отец не стеснялся перед сыном. Старик даже не заметил внимательного взгляда стоящего рядом с ним маленького человека. Никколо значил для него меньше, чем попугай для шарманщика или обезьянка для савояра. Этот попугай должен был в скором времени вытянуть шарманщику самый счастливый билет.

Через минуту отец и сын были введены в большую пустынную залу, где за маленьким столом сидел старик с орлиным носом и круглыми и необычайно живыми глаза-

ми хищной птицы. На нем был белый парик с буклями и темно-малиновый камзол с очень грязным кружевным жабо. Пожелтевшие манжеты на камзоле, обрамлявшие тонкие, сухие руки, были похожи на старые тряпки. Внимательный взгляд мог заметить, что это тончайшие и прочнейшие северные кружева. Они не износились, несмотря на то что годами не снимались с рукавов камзола. Поникшие и смятые, они все еще сохраняли красоту своих узоров. Они как нельзя более соответствовали самому владельцу. Время изрыло его морщинами. Природные недостатки лица усугубились под давлением лет, рельефы заострились. Словно замша, без износу прочная, сохранилась кожа старческого лица. Все было потерто, все полиняло, но нисколько не ослабела прочность этого существа, при виде которого можно было спросить себя: сколько же столетий существует на свете, под дождем и солнцем итальянской погоды, этот человек?

Граф Козио осматривал своих посетителей с головы до ног, медленно переводя глаза с одного на другого. Потом он громко рассмеялся. Раскаты его сиплого хохота заполнили всю глубину и высоту огромной залы.

— Так об этом щенке мне говорил славный Менегетти? Да ведь он сам меньше ростом, чем любая из самых маленьких скрипок Амати! — Он развел руками.— Детский «Поншон» я продал на прошлой неделе сумасшедшему англичанину. Это была единственная, известная мне скрипка Страдивари, сделанная для ребенка. На чем же будет играть ваш сын, синьор Паганини?

— На чем прикажет синьор граф,— ответил мальчик, даже не взглянув на отца.

Козио подошел к стене и дернул шнур. Зашевелилась огромная малиновая занавеска, и под лучами солнца засветились в застекленных шкафах десятки желтых, зеленоватых, золотистых, коричневых, темно-вишневых скрипок со смычками, простыми и строгими, изысканными и приукрашенными, инкрустированными жемчугом и перламутром. Здесь висели толстые, пузатые виолончели, могучие, полнокровные альты, скрипки с короткими и длинными смычками, с грифами, на которых скрипичные мастера изображали причудливые группы, головки, львиные морды. И наконец Паганини увидел диковинную уродливую скрипку, короткую, толстую, с головой бульдога на грифе.

Маленький скрипач не отрывал взгляда от шкафов, стоявших вдоль всей громадной стены зала, как панно в полтора человеческих роста. А старый Козио глазами фа-

натика и влюбленного смотрел на это фантастическое собрание скрипок, на свою любимую коллекцию, сквозь золотистые потоки солнечных лучей, освещающих дымчатые и золотистые искры тончайшей комнатной пыли.

Козио подошел к маленькому Паганини. Откинул ему волосы со лба, внимательно посмотрел на брови, на лоб, на глаза и сказал:

— Мне девяносто семь лет, восемьдесят из них я потратил на собирание этих сокровищ. Мне осталось, по моему подсчету и по вычислениям моего астролога, два года жизни. Дом, в котором ты находишься, хранит первую в мире коллекцию музыкальных инструментов. Ради них существует земля, ради них творец вселенной вложил в человека безумную любовь к превращению плохой жизни в прекрасные звуки.

Произнеся эти высокопарные фразы, старик подошел вплотную к одному из шкафов. Он достал связку мельчайших ключиков и стал отпирать вереницу фигурных замочков. Когда он снял последний замок, створка с тихим пением открылась сама. Ясеневая рама отошла на шарнирах, и старик снял со стены золотистую старинную скрипку. Осторожно держа ее за гриф левой рукой и не стирая пыли, он протянул ее мальчику, потом так же осторожно, почти торжественно вручил ему смычок. Маленький скрипач заиграл.

Глава седьмая

ГРАФ КОЗИО

Синьор Паганини сообщил Терезе:

— Я получил от графа Козио вспомоществование десять луидоров.

— Разве у нас нет больше своих денег? — спросила взволнованно синьора Тереза.

— Ах, опять ты со своими причудами! — гневно отозвался старик.— Не могу же я тратить на щенка деньги, которые мне доверили мои хозяева. Еще не скоро выдавишь из него хотя бы чентезими. Но его надо учить и учить! Граф Козио говорит, что из мальчишки ничего не выйдет, если он немедленно не будет брать уроков у синьора Роллы. Но ты знаешь, как дорого Ролла берет за уроки. Я думаю, что лучше вовсе не учить мальчишку за деньги, а просто отправиться путешествовать с ним по Ломбардии, как только уйдут проклятые французы. А они уйдут, поверь мне, уйдут. Здесь вчера собрались священники, приехал жандарм из Вены под видом каноника, он

привез хорошие вести. Французов бьют повсюду, их скоро не будет.

С этими словами старик достал толстый зеленый бумажник и вынул оттуда кипу каких-то билетов.

— Вот,— сказал он,— с тысяча семьсот восемьдесят девятого года эти документы перестали иметь хождение во всем мире. А после смерти французского короля нашлись короли, которые стали мешками уничтожать французские акции, вышедшие при короле. Вот теперь я их скупил во всей Кремоне. Месяца не пройдет, как я буду самым богатым человеком в Ломбардии.

— А если французы не уйдут?

— Уйдут. Здешний астролог предрекает им полное поражение, звезды и планеты предсказывают им гибель. Марс вошел в созвездие Астреи, а Астрея — это Австрия, австрийская монархия Габсбургов. Ты знаешь, я после выигрыша пожертвовал деньги на церковь. Аббат Саганелли говорил мне: «Скупайте эти акции, скупайте». Я у него купил их на две тысячи лир...

...Старый Козио рассказывал маленькому Паганини историю скрипки.

— Слышишь, мальчик, — говорил старик, расхаживая по огромной пустынной зале своего дворца,— здесь родина самой великой скрипки в мире. Это произошло потому, что здесь растет азароль — одним нам известная порода деревьев, и здесь природа делает человека таким чувствительным к звукам и таким влюбленным в высокое мастерство. Три века тому назад в нашем городе жил некий Джованни Марко дель Буссетто. Он принял в свою семью некоего Андреа Амати. Буссетто был честным ремесленником, Андреа Амати был знатным синьором. Случилось так, что оба они сошлись на одном и том же любимом деле. Старый и молодой понимали друг друга так же хорошо, как мы с тобой сегодня. Андреа Амати так и не вернулся в свою знатную семью. Семья считала, что он опозорил родовой титул тем, что сделался ремесленником. До сих пор многие не понимают, что благородное искусство делать скрипки не относится к разряду черных ремесел. Вот поди к синьору Паоло Страдивари: он будет скрывать, что он происходит от скрипача, от скрипичных мастеров, хотя его купленный титул хуже, чем природный талант скрипичного мастера. Но не буду говорить о синьоре Паоло. Он хороший человек, он пишет свои хроники и летописи для отдаленных потомков, он не живет нашей жизнью... Почему Амати ушел из семьи? Смешно сказать — почему. Малень-

кий Аидреа Амати играл вместе с детьми Буссетто. Детям ремеслеиника позволяли играть в саду Амати. Амати бывал в мастерской у Буссетто. Аидреа Амати начал с игрушек. Он делал игрушечные скрипки, Буссетто ему помогал. Во время отлучки отца маленький Амати вырубил грушевые деревья в отцовском саду и подарил их Буссетто. Ты знаешь, что из груши делают деки аматиевских скрипок. Когда старик Амати вериулся домой и увидел, что делается в саду, ои, иесмотря иа уговоры стариков, не нашел ничего лучшего, как швыриуть своего ребенка в тюрьму. Вот с этого иачалось. Когда мальчика выпустили из тюрьмы, он остался в семье Буссетто, и иикакие уговоры отца не заставили его вернуться домой.

Старик подошел к шкафу и указал иа тонкие пластиики мелкослойного золотистого дерева:

— Вот это грушевое дерево, плоды которого оказались так горьки для маленького Амати и так сладки для нас... Старики умирают раиьше молодых. Отец почти всегда умирает раиьше сыиа. Андреа Амати сделался наследником большого состояиия. Но вот тебе пример благородного увлечения: он уже не мог бросить своего ремесла и сделался мастером скрипки. Может быть, правду говорят, что он получил в тюрьме повреждение ума. Он работал в каком-то лихорадочиом бреду. Он так спешил, так иапрягался из последиих сил, что ни днем, ии иочью не зиал покоя. Он ничем не заиимался, кроме изготовлеиия скрипок, и если жеиа забывала принести ему обед в мастерскую, ои мог, ие чувствуя голода, просидеть двое-трое суток, пока не кончит работы. Ему было предсказаио, что он получит бессмертие после изготовлеиия четырехсотой скрипки. Ои спешил, хотя прекрасио знал, что это бессмертие не будет бессмертием его телесной оболочки. Каждая иовая скрипка была лучше предыдущей. Поэтому ои знал, о каком бессмертии идет речь. Руки Амати были изрезаны, с двух пальцев сорваны иогти, и эти уродливые руки, в мозолях, порезах и кровоподтеках, обладали такой гибкостью, как твои детские пальцы.

Старый Козио взял руку Пагаиини и, высоко подняв ее, подиес к своим слабым глазам.

— У тебя каждый палец похож на утииый иос. Уродство, да и сам ты иекрасив. А такие пальцы лучше всего для игры.

Вскоре малеиький Паганиии иаучился различать породы скрипок. Ои смотрел иа высокие своды, иа вырезаиные эфы, изящные, стройиые, наклоиеиные друг к другу, словно ангелы на картииах фьезолаиского моиаха.

— Это не сильная скрипка. Князья и герцоги любили слушать скрипачей в маленьких комнатах, им нужны были сладкие, нежащие и тихие звуки. Поэтому никогда не играй на скрипке Амати в больших залах. Если ты будешь играть в этой зале в том углу, где стоит мой письменный стол, тебя трудно будет услышать в середине комнаты. Мягкие и приятные тона — это неплохая вещь. Но когда наша республика боролась с поработителями, когда свора Габсбургов кинулась на Северную Италию, другим людям понадобились другие звуки. Я был в Милане, когда давали концерт огромному собранию господ офицеров. По лицам этих людей можно было видеть, что новые кондотьеры хотят найти в звуках отклики своей боевой мощи. Рыцари новых войн, они ничего не поняли в мягкой и нежной игре скрипки Амати, а вот когда Серветто, скрипач из вашей Генуи, вышел на эстраду с громадной скрипкой Страдивари и стал резать воздух звуками, от которых могли бы погибнуть стаи перелетных птиц, тогда вдруг выпрямились фигуры этих людей, откинулись плечи, расправилась грудь, и глаза загорелись...— Козио остановился, потом, как бы в раздумье, продолжал: — В Версале, под Парижем, была самая лучшая в мире коллекция инструментов Амати. Она исчезла в тысяча семьсот девяностом году бесследно. Это были шесть альтов, две виолончели и восемнадцать скрипок. Вся коллекция была заказана для струнного оркестра французского короля Карла Девятого. Теперь говорят, что остатки этой коллекции за баснословные деньги скупили англичане в европейских городах.

Паганини слушал, боясь прервать рассказчика.. Козио переходил с одной темы на другую:

— У Андреа Амати было два сына, которые продолжали его дело,— Джеронимо и Антонио. Братья полюбили одну и ту же девушку. До этого несчастья они работали вместе, работали дружно, не делясь. Девушка вышла замуж за Джеронимо, и семья распалась. Братья стали работать порознь. Антонио навещал семью брата. Посещения становились все реже и реже, а потом однажды Антонио нашли повесившимся у входа в мастерскую. Джеронимо продолжал дело семьи. По его стопам пошел и его сын Никколо, самый талантливый из Амати. Никколо принимал к себе в мастерскую учеников со стороны. Так у него приютились и Андреа Гварнери и Антонио Страдивари. Оба стали знаменитыми скрипичными мастерами. Ты был у синьора Паоло, он врет, что Страдивари знатного рода, это все вздор и выдумки. Их знатность — в скрипке.

Козио показал маленькому Паганини старинный портрет Страдивари с тремя сыновьями и дочерью. Страдивари был изображен в мастерской. Он стоял в белом замшевом фартуке и в красном сафьяновом колпаке и держал кусок дерева и инструменты.

— Я сам раскрасил эту гравюру,— сказал Козио,— и, по-моему, цвета взяты верно. Я показываю тебе этот портрет, чтобы ты видел, что этот обыкновенный ремесленник — вовсе не сенатор и вовсе не патриций. Но знаешь ли, мальчик, я готов променять свой старинный графский титул на способность сделать хотя бы одну такую скрипку, какую сделал этот Страдивари, когда ему исполнилось сто шесть лет!

Старый граф повел мальчика к другому шкафу.

— Вот смотри: золотистый лак, он не закрывает ни одной черточки в рисунке древесного слоя. Смотри, дерево похоже на пятнистую шкуру леопарда, а верхняя дека — без единого сучка и пятнышка, она покрыта волосными линиями! Этому дереву не меньше трехсот пятидесяти лет. Рассказывали, что во время войны Венеции с турками Страдивари закупил огромное количество дерева, которое шло на постройку турецких кораблей. Это дерево сушили десятки лет. Потом, когда восточный берег Адриатики стал недоступным, никто уже не мог покупать этого дерева. Мелкослойная ель встречается кое-где на наших горах, но ее нужно долго выдерживать, чтобы она стала пригодной для этой тонкой и сложной работы. А за рубежом, за берегами Адриатики, на недоступной высоте растет балканская ель, как бы нарочно созданная творцом для скрипичных мастеров.

Козио показывал мальчику скрипку за скрипкой.

— Один и тот же мастер, посмотри, никогда не делал скрипок одной и той же формы. Они все разные, взгляни. Если ты возьмешь циркуль и измеришь расстояние между эфами, то заметишь, что все эфы во всех скрипках расставлены по-разному и наклон их к оси скрипки тоже разный. А что это значит? Это значит, что скрипичные мастера владели тайной дерева. Они знали, что разные породы дают разный звук, и вот по тому, как они вычерчивали эфы, ты видишь, как глубоко они проникли в тайны своего ремесла. Эфы дают у них в каждом случае особо высокое качество звука.— Он осторожно вынул еще одну скрипку.— Вот эту я снимаю очень редко. Это — «Лебединая песнь». Так называется она потому, что это — последняя скрипка, сделанная Страдивари перед смертью, на сто

седьмом году жизни. Старик работал лучше, чем в молодости.

Страдивариеву скрипку старый граф называл серебряной, звуки альтов сравнивал с золотом, виолончель, по его мнению, давала бронзовый тон, а контрабас звучал медью.

Однажды, в минуту откровенности, Козио признался мальчику, что он разломал четыре скрипки Страдивари. На цыпочках, говоря шепотом, словно боясь, что его услышат посторонние люди, граф подвел мальчика к низенькой двери. Зажег свет в полутемной комнате и с видом человека, совершающего неизбежное преступление, указал на четыре деревянные пластинки, привинченные к столу. Смахнув пыль со старинного камертона, Козио ударил им о стену.

— Слышишь? — шепотом спросил старик.

Мальчик ответил:

— Да.

— А это похоже?

— Да.

— Но ты понимаешь? Поет камертон, и одинаково поет деревянная пластинка, вырезанная из скрипки Страдивари. Этот звук дает пятьсот двенадцать колебаний... Ну, а это? — Старик тронул другую пластинку.

Мальчик кивнул головой.

Они перепробовали все пластинки, и каждый раз маленький Паганини кивал головой:

— Это тоже! И это тоже!

Звуки были равной высоты и частоты.

— Видишь,— сказал старик,— это все — пятьсот двенадцать колебаний в секунду. У тебя хороший слух, мальчик! Так вот, смотри: это — деревянная пластинка из скрипки Страдивари, сделанной им в тысяча семьсот восьмом году, а рядом я заставил звучать кусок дерева из скрипки, сделанной тем же мастером в тысяча семьсот семнадцатом году. Это волнистый клен. А вот рядом — пластинка из ели. Скрипка сделана в тысяча шестьсот девяностом году. А вот тут — последняя пластинка: тоже из ели. Скрипка сделана в тысяча семьсот тридцатом году. Приступим к опыту.

Глаза старика загорелись молодым огнем. От тихих, едва заметных ударов пластинка запела. Мальчик назвал:

— Ля диез!

— Хорошо! — сказал Козио.

Вторая пластинка дала ту же ноту. Третья и четвертая — то же. Под ударами опытной руки одновременно запели все четыре пластинки сразу.

Мальчик стоял молча и слушал, широко раскрыв глаза, не отрывая их от кусочков дерева. На лице его учителя застыла улыбка маньяка.

Наконец старик продолжал:

— Для того чтобы получить такой серебряный звук, нужно сочетать природные свойства клена и ели. Звуки всегда живут в природе, но звук надо поймать, его иадо приручить, как птицу, порхающую по этим деревьям в молчании. Ее надо приручить иастолько, чтобы оиа запела. Заметь, мальчик, верхняя дека скрипки всегда делается из ели, иижняя — всегда из клена. И еще я высчитал, что ель обладает способностью в шестнадцать раз быстрее порождать звук, чем воздух. Звук, рожденный в скрипке из сочетаний малой скорости колебаний клеиа и большей чувствительиости ели, получит соотношение двенадцать к шестнадцати. Но многие думают, что звук родится однотоиным в верхней и нижней деках. Это два различных звука. Благозвучность природы состоит в том, что они сливаются в единый, цельный, совершенный, нераздельный звук. Однажды я заказал скрипку сплошь из клена, с деками одинаковой толщины. Эту скрипку иельзя было слушать, у нее был отвратительный глухой тон. Природа не терпит однообразия, мальчик. Верхняя и нижняя деки должны звучать по-разному, и разница должиа равняться целому тону. Чистый и неделимый звук, рождающийся из этого, совершенно подобен сплаву двух благородных металлов, из которых каждый порознь слаб и мягок, а в сочетании с другим дает твердость и крепость. Из двух слабостей родится сила. Помни, что размеры скрипки нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Как только количество воздуха в скрипичной коробке увеличится, так шантрель начнет визжать, как собачонка, которой наступили на хвост, а звук басовых нот станет слабым, глухим и сиплым, как бред пьяного человека. Если умеиьшить коробку, получится обратное явление. Заглохнет четвертая струна, а бас закричит сипло. Но не думай, что все это остается неизменным. Меняется природа, меняются люди. У каждого поколения новые уши. Камертон нынешнего века звучит иначе, нежели камертон прошлых столетий. Когда будешь играть перед большим скопищем людей, настраивай скрипку иначе, чем настраивал бы ее, играя перед семьей в пять человек. Твои дед и прадед иначе слышали звуки природы, им нравилось слушать одно и закрывать уши на другое, и это делалось невольно, без всяких ухищрений с их стороны. В этих делах человек ие может лгать сам себе, нельзя уговорить нынешнее поколение настраивать музыкальные

инструменты по камертону прошлого столетия. Вот старый Тартини шестьдесят лет тому назад измерил давление натянутых струн на скрипичную коробку. Тогда он получил цифру шестьдесят три фунта. Но помни, что струны тогдашнего времени были тоньше, а подставка, держащая струны, была ниже, струны тесней прилегали к верхней деке. Поколение нынешних людей предъявляет другие требования, они не слышат старой скрипки, и вот пришлось повысить камертон, колебание струн тоже увеличилось, и подставка под струнами стала выше, струны натянулись горбылем на верхней деке. Подставка поддерживает струны так, что мышь может пробежать между шаитрелью и верхней декой. Знай, мальчик, что диапазон по сравнению с прошлым веком повысился на полтона, а давление струн на деку теперь не шестьдесят, а восемьдесят фунтов. Человек стал натягивать струны сильнее, и нервы людей напрягаются больше. Время летит быстро, дни сменяют другие, и непрестанно меняются люди. Что будет дальше, где остановится изменение человека? Уже теперь, я замечаю, мир меняет свои краски, ухо ловит иные звуки, и думается мне, что тускнеет солнечный свет...

Козио сел на маленький диван. Вынув платок, он порывисто вытер слезы. Потом поднялся и за руку вывел Паганини из комнаты.

— Пойдем, мальчик,— проговорил он.— Никому не рассказывай, что ты от меня слышал. Природа не любит выбалтывать свои тайны, она мстит любопытным.

Глава восьмая

ПУТЬ ПО ЗВЕЗДАМ

В Геную семья возвратилась в новом составе.

В Кремоне произошло неожиданное примирение синьора Антонио с дочерьми Лукрецией и Маргаритой, о существовании которых Никколо до этого даже не знал, так как в семье не принято было о них говорить. Семья Паганини увеличилась сразу вдвое, так как дочери синьора Антонио были уже замужем.

Муж старшей, Лукреции, оказался весьма беспокойным человеком. В первые же дни знакомства он успел чуть не до драки поссориться с синьором Антонио, а по приезде в Геную целые дни проводил за игрой в карты с незнакомыми людьми. Он много проигрывал, а когда ему везло, домой являлись люди, обыгранные им, и поднимался адский крик, тревоживший всю округу.

А тут еще сильно пошатнулись дела синьора Антонио. С маниакальной настойчивостью, уподобляясь средневековому астрологу, он вглядывался в вечернее небо, наблюдая перемещение планет, и бормотал себе под нос сложные астрофизические формулы; он говорил о влиянии звезд на движение человеческой крови, о влиянии планет на судьбу его семьи. В его словах странно смешивались поиски гороскопа с выкладками предстоящих барышей. В руках этого маклера счетная машина Паскаля и Лейбница превращалась в инструмент для бухгалтерских подсчетов, логическая машина Раймунда Луллия, искавшая философскую истину, становилась лотерейным колесом, которое должно было обеспечить покупку выигрывающих номеров. Астрологические, алхимические поиски жизненного эликсира и философского камня, которые у средневековых безумцев связывались с мечтами о человеческом счастье, об устройстве человеческого общества, у старого Паганини превращались в искание средств для биржевого обмана природы, для маклерских сделок с темными силами.

Но все оказывалось напрасным.

Обязательства перед банкирами не были выполнены. Старый Паганини ссылался на кражу в дороге, на кражу в Кремоне, на неудачи вследствие военных затруднений и на многое другое, но синьоры директоры, старые банкиры, видали виды. Начался длинный судебный процесс.

Синьора Антонио стали избегать прежние друзья. Если раньше он важно восседал за своим маклерским столом, то теперь сам бегал в поисках матросов, разузнавал, какие товары прибыли в порт, да и то, когда он являлся, чтобы заключить сделку, он заставал недовольных, замолкавших при его появлении купцов; сделка состоялась помимо него. Каждый день биржевой неудачи удвоенной тяжестью ложился на семью.

Вернулся после долгой отлучки старший брат. Он пришел в ужас, когда увидел маленького скрипача.

— Что все это значит? Как держится душа в этом щенке? — грубым, осиплым голосом спросил он у отца: костлявый мальчик, кашлявший кровью, едва держался на ногах.

После ужасающей сцены между Франческо и синьором Антонио, когда Франческо едва не ударил отца, мать всю ночь плакала, стоя на коленях перед маленькой постелькой Никколо. Она говорила, что все надежды семьи связаны с его прилежанием,— он должен во что бы то ни стало добиться успеха.

Отец не дал ни байокко для платежа Джованни Серветто, с которым по совету Козио, Никколо занимался, вернувшись в Геную.

— Синьор Серветто уже дал лучшие указания, какие только можно было получить в этом мире юдоли и печали,— сказал синьор Антонио.

Серветто обиделся, и уроки пришлось прекратить. Правда, к тому времени основные трудности владения инструментом были уже преодолены, а vista[1] мальчик играл уже гораздо лучше самого Серветто,— но впереди было еще столько работы!

Соседние кумушки принялись усиленно шептаться с синьорой Терезой. Откуда-то синьора Тереза раздобыла деньги. Воспользовавшись днем, когда синьор Антонио должен был задержаться в суде, она повела сына к синьору Джакомо Коста. Синьор Джакомо Коста был преподавателем генуэзской капеллы и играл первую скрипку во всех церковных оркестрах Генуи.

На следующий день Паганини играл в соборе. По окончании службы синьор Коста подозвал мальчика и приказал ему приходить пять раз в месяц к нему на дом.

После первых же занятий синьор Коста был совершенно поражен отчетливостью звука, чрезвычайной восприимчивостью своего ученика и быстротой его работы. А через полгода, когда Тереза Паганини тайком от мужа принесла деньги за тридцать уроков, синьор Коста уже прикидывал с довольной улыбкой, в каком соотношении находятся эти деньги и его выручка от церковных концертов, в которых участвовал Паганини.

Синьора Тереза удостоилась расположения высшего духовенства Генуи и перемену, происшедшую в делах семьи, приписала божественному произволению.

Синьор Антонио перестал пить. Глядя на сына, он ласково посмеивался. Особенно он был обрадован, когда при встрече с синьором Коста узнал, что синьор Джакомо не желает брать с него денег. Оба остались довольны: синьор Джакомо — своим учеником и доходами, которые давал этот ученик, синьор Антонио Паганини — великодушием синьора Коста, великодушием, которое весьма ощутимо сказывалось на бюджете семьи Паганини.

Но вскоре внезапно обнаружилось корыстолюбие синьора Коста, и синьор Антонио почувствовал себя оскорбленным и обманутым. Выпив соответствующее количество вина для бодрости духа, он отправился для переговоров. Ру-

[1] с *листа* (*итал.*).

гань слышна была далеко за пределами скромного жилища мастера церковной капеллы. Разрыв был полный. Уроки у синьора Коста прекратились. Синьор Коста не согласился оплачивать концертные выступления своего ученика и не дал ни байокко разъяренному синьору Антонио. Дело приняло плохой оборот.

Синьор Коста собрал сведения о крещении, о детских годах своего ученика и пришел к заключению, что скрипичный талант мальчика, его необычайная музыкальная одаренность, невероятная для отрока музыкальная техника не могут быть объяснены божественным вмешательством. Тут несомненно вмешательство нечистой силы и несомненно демонское влияние. Проклятие повивальной бабки было причиной необыкновенных успехов маленького Паганини.

В день, когда произошел разрыв, Никколо Паганини еще не знал о разговоре своего отца с синьором Коста. Он, ничего не подозревая, взял скрипку и направился к учителю. Тихо и скромно постучал в дверь. Мощная оплеуха заставила его кубарем скатиться с лестницы.

Он едва не сшиб с ног высокого черноглазого человека, поднимавшегося к синьору Джакомо.

Испустив поток проклятий, незнакомец остановил мальчика.

— Откуда ты, что с тобой, куда ты летишь, чертенок?

Паганини махнул рукой, пытаясь что-то сказать,— слезы сдавили ему горло.

— Да что ты? В чем дело? — настаивал незнакомец...

— Подожди здесь,— сказал он, когда Паганини рассказал ему о своей беде.

Паганини ждал внизу все время, пока синьор Коста на верхней площадке лестницы говорил с гостем. Паганини слышал, как синьор Коста, обращаясь к незнакомцу, называл его «милый Ньекко». Из разговора было ясно, что незнакомец этот — знаменитый композитор Ньекко, оперы которого разыгрывались во всех театрах Северной Италии, в Неаполе, Венеции, Милане, Падуе, Ливорно. Паганини слышал отрывки из сочинений Ньекко в Генуе, он знал, что оперы Ньекко ставятся даже в Вечном городе.

Сладкое и томительное предчувствие охватило мальчика, когда он услышал, что разговор закончился и синьор Ньекко сходит вниз.

Синьор Ньекко прошел мимо мальчика, ничего ему не сказав. Паганини молча шел за ним. У двери старого дома на улице Архимеда синьор Ньекко заговорил:

— Я тебя слышал, дьяволенок со скрипкой. Я, конечно,

не верю всякому вздору о вмешательстве нечистой силы в твою судьбу: слишком много для тебя чести. Но ты действительно какое-то маленькое чудо. А тебя бьет отец? — вдруг, без всякого перехода, спросил он.

— Сильно,— ответил Паганини с большой выразительностью.

— И, должно быть, это идет на пользу? — насмешливо щурясь, спросил синьор Ньекко, открывая перед мальчиком дверь большой, красиво убранной комнаты.

Ноты, набросанные золотыми чернилами на красные линейки, поразили маленького Паганини. На всех вещах в этой комнате лежала печать изысканности и изощренности. Клавесин, арфа, красивые серебряные трубы, флейта, фагот, гобой и набор мелких колокольчиков из цветного металла, красных, белых, синеватых, желтых; пюпитры, пульты, палочка из слоновой кости с золотым наконечником; кресла, обитые тисненой испанской кожей, этажерка с книгами и партитурами в кожаных переплетах, горка из ярко-алого венецианского стекла; серебряный стакан с красным вином и большой восточный сосуд из какого-то белого металла на столе, украшенном флорентийской мозаикой. Паганини казалось, что все это во сне.

Синьор Ньекко открыл футляр, внимательно осмотрел скрипку маленького Паганини, отложил ее в сторону, подошел к застекленному резному шкафу, достал большую скрипку вишневого цвета, смычок и протянул Паганини. Потом подвинул к нему пюпитр и раскрыл маленькую тетрадку, мелко исписанную нотными знаками...

— Ну что же,— говорил Ньекко, когда Паганини кончил играть,— этот месяц я пробуду безвыездно здесь. Приходи каждый день. Если не застанешь меня, посиди, подожди, играй один. Впрочем, в этот час я всегда бываю дома.

Прошло всего четыре дня. Синьор Франческо Ньекко не пропустил ни одного урока. И всякий раз, с трепетом сердца приближаясь к улице Архимеда, мальчик испытывал горячее чувство благодарности судьбе, приведшей его в хоромы синьора Ньекко.

Гусиные перья, золотые чернила, красные линейки на толстой желтоватой бумаге, насмешливо прищуренные глаза, добрый голос...

— Я должен тебя поздравить,— говорил Ньекко,— я ни у кого не встречал такого слуха.— Как бы усиливая значение этих слов, синьор Ньекко кивнул головой.— Но я должен тебе сказать, что когда ты фантазировал прошлый раз, тебя было слушать приятнее, чем когда ты играл мои

вещи. Ты переделываешь мои вещи, а не играешь их так, как я сыграл бы сам. Ты всегда все будешь переделывать в жизни. Ты ни на чем не остановишься удовлетворенным до тех пор, пока не переделаешь по-своему. И мой совет тебе: когда будешь выступать перед публикой, не играй пьес ныне живущих композиторов: ты оскорбишь их своим исполнением, хотя, быть может, то, что ты придашь чужому творению, будет богаче, нежели замысел его создателя. Хорошо, что ты встретил композитора с моим характером,— другой влепил бы тебе хорошую затрещину за твои фантазии, за какую-то, даже не свойственную твоему возрасту, страстность, которую ты вливаешь в звуки чужой музыки... Ну, за дело! Не бойся испугать меня фантазией; ты должен не только играть чужое, но и творить свое... Что ты краснеешь, маленькая обезьяна? — вдруг нахмурясь, прервал Ньекко самого себя.— Я ничего не сказал тебе особенного, не вздумай задирать нос!

Тогда Паганини робко и неуверенно признался синьору Ньекко, что он никак не мог примириться с требованиями синьора Коста.

— У меня никакого желания не было,— говорил мальчик, прижимая руки к груди,— перенимать у синьора Коста его способ ведения смычка. Я считал, что он применяет какое-то насилие, занимаясь со мной. Я всегда выполнял его предписания против воли. Я даже рад, что от него перешел к вам...

— Хорошо, хорошо,— возразил синьор Франческо,— я не люблю лести. Когда ты перейдешь к следующему учителю, через какой-нибудь месяц ты, вероятно, будешь говорить ему то же самое обо мне.

— Никогда в жизни! — вспыхнув, воскликнул Паганини.

— Что делает твой отец? — спросил синьор Франческо.

— Заставляет меня играть в церкви.

Синьор Ньекко кашлянул.

— Набожные итальянцы охвачены сейчас скрипичным безумием. Мальчик со скрипкой, как тебя называют, ты привлекаешь в церковь много народу, это повышает доходы святых отцов. Смотри, из тебя сделают святошу.

— Нет,— сказал Паганини.— Я не люблю тягучей музыки.

— Я думаю, что игра в капелле может только испортить музыканта,— с расстановкой произнес Ньекко.

...Странная дружба установилась между оперным композитором и «дьяволенком со скрипкой», как называл Никколо синьор Ньекко.

Однажды, когда зашла речь о путешествии в Кремону и когда маленький Паганини старался выложить все свои знания по истории инструмента, Ньекко, с особым вниманием вслушивавшийся в рассказы мальчика о французских войсках, перейдя внезапно от разговора о музыке к политической теме, впервые познакомил маленького Паганини с историей порабощения Ломбардии австрийцами. Он говорил о значении французского нашествия на Италию, говорил быстро, как бы перебивая самого себя. Он сообщил мальчику, что сам он родом из Милана. В Милане, старом вольном городе Ломбардии, чувствуется острее всего недовольство австрийским гнетом. Каковы бы ни были средства, помогающие освободить Италию от варваров, как говорил Петрарка, все эти средства хороши. Французские войска гонят австрийских жандармов, они гонят немецких попов, приехавших из Вены, а прокламации Бонапарта несут с собой освобождение от религиозного и политического гнета, и поэтому — «да здравствует французское оружие!..»

После этого разговора Паганини почувствовал особенную привязанность к синьору Франческо. Доверчивость, с какой учитель относился к маленькому ученику, была вознаграждена.

Это чувствовал синьор Ньекко и нередко, указывая Никколо на черномазых людей на ярко освещенной мостовой, с осликами, запряженными в тележку, из которой горой поднимались кули древесного угля, осторожно кивал в их сторону, говорил:

— Погоди, дьяволенок, будет время, я расскажу тебе об иных угольщиках, несущих другой, более тяжелый груз.

Итальянское слово «карбонарии» — «угольщики» — Паганини уже слышал неоднократно в «Убежище». Раз как-то с таинственным видом сообщили ему ребята об аресте двух живших в «Убежище» карбонариев. Паганини знал этих людей. У них были бледные лица, тонкие длинные руки. Одежда не носила никаких следов угольной пыли. И когда маленький Паганини спросил, почему же они — угольщики, ребята ответили: «Не знаем».

Подводя мальчика к раскрытию тайны, Ньекко рассказал о том, что есть лесные братья, которые добывают уголь, сжигая старые деревья. Эти лесные братья выходят из леса на рынок. Таким образом, фореста, баракка и вента постепенно входили в ряд усвоенных и привычных понятий Никколо. Но как только мальчик просил объяснить то или другое слово, синьор Ньекко прикладывал палец к губам.

Маленький Паганини сделал новую вариацию итальянской «Карманьолы» и присочинил свою собственную музыкальную тему, ту зажигательную французскую песню, которую он слышал случайно от французских матросов на берегу моря в тот день, когда красивые молодые марсельцы распевали эту песню, поднимаясь на высокий берег. Эта песня звала к восстанию всех детей родины, она говорила о том, что поднято знамя, алое от крови народа, о том, что наступили дни славы. Каждый куплет заканчивался словами: «К оружию, граждане!»

Когда Паганини, непосредственно после «Карманьолы», заиграл эту песню марсельских моряков, как он ее назвал, Ньекко взволнованно вскочил с кресла и заходил большими шагами по комнате. Никколо впервые видел его таким. Синьор Ньекко достал из стенного шкафчика и показал мальчику серые клочки французских прокламаций генерала Бонапарта, разбросанных в Северной Италии. Тайна лесных братьев раскрылась. Тяжелый груз угля, таящего пламя, стал понятен маленькому Паганини.

Работа карбонарского братства захватила воображение мальчика, а налет тайны на всех этих разговорах с учителем имел к тому же особую прелесть. У Паганини началась своя, не мальчишеская жизнь. Ему стало даже легче сносить побои и попреки отца. Он спокойно присутствовал при долгих перебранках между сестрами, старшим братом, отцом и матерью. У него появилась своя жизнь, появились свои жизненные планы.

Носовой платок Паганини, покрытый красными пятнами, внушил синьору Ньекко первые подозрения о состоянии здоровья его ученика. Через посредство друзей синьор Ньекко навел справки о семье Никколо. Осторожно, чтобы не обидеть своего ученика, он приглашал его завтракать вместе с собой, задерживая на лишний час. Однако вскоре против этих задержек маленький Паганини решительно восстал. Синьор Ньекко убедился в его правоте, как только увидел кровоподтеки на лице своего ученика: отец не разрешал удлинять уроки.

Ученику хотелось изыскать способ хоть как-нибудь растягивать время пребывания у синьора Ньекко в предчувствии скорого отъезда своего любимца. Но для этого пришлось бы обманывать зорко следившего за ним отца.

Ньекко, сам участник карбонарской конспиративной работы, имел навыки внимательного и зоркого наблюдателя. В эти годы Ньекко был единственным, кто точно представлял себе все значение бурного вторжения легенды в жизнь маленького скрипача. В то время как синьор Анто-

нио Паганини, со всей толпой своих коммерческих друзей и врагов, и синьора Тереза, его супруга, со всей озлобленной сворой родных и двоюродных Боччарди, терялись в догадках о происхождении ранней одаренности Никколо и строили предположения о сверхъестественном вмешательстве, видя в этом вмешательстве то страшную демоническую, то благодатную ангельскую основу, Ньекко боялся за судьбу мальчика, хрупкость которого внушала ему самые серьезные опасения. Ньекко боялся, что могущество этого всеподавляющего таланта превратится в огонь, который сожжет и очаг и дом.

Временами же ему казалось, что этот мальчик, при всей своей хрупкости, обладает железным здоровьем, если выносит колоссальную тяжесть, взваленную синьором Антонио на его плечи.

У насмешливого, веселого Ньекко туманились глаза в минуты, когда, подняв брови, Паганини без всякой аффектации рассказывал ему о долгих упражнениях в семилетнем возрасте, когда, не будучи в силах держать скрипку в обычной позитуре, ребенок изучал игру на этом инструменте, ставя его, как виолончель, между маленькими угловатыми коленями. Слушая его, Ньекко не мог смотреть в глаза мальчику. Ему казалось, что перед ним раскрывается какая-то черная яма человеческих бед.

Синьор Ньекко вздрагивал, перечитывая страницы Миланской хроники, на которых старинный повествователь рассказывал о ломбардских крестьянах, намеренно уродовавших своих детей, чтобы потом продать их в качестве придворных шутов герцогу Сфорца. «Новые птицы, новые песни,— думал Ньекко.— Это удивительное творение находится в руках чудовища, которое может изуродовать его талант, сделав из мальчика дешевого ярмарочного жонглера...»

Была еще одна тема для размышлений синьора Ньекко о судьбе Никколо. Он убеждался, что церковная музыка чужда его маленькому ученику. Ньекко наблюдал, что, покрывая соборные хоралы могучими звуками своей скрипки, маленький Паганини оставался по-прежнему незатронутым, и все навязчивые, вкрадчивые притязания католической клики оставляли холодной душу ребенка нового века. Когда же синьор Ньекко говорил с ним о свободе Италии, о живой и яркой работе карбонариев, щеки мальчика покрывались румянцем возбуждения.

Эта холодность к церковной музыке была безотчетной, вражды и неприязни к церкви не было в маленьком Паганини. И, однако, синьор Ньекко ловил себя на мысли об

удобстве позднего католического причастия. Исповедь Никколо у священника в те дни могла бы принести большие неприятности синьору Ньекко. Местный кардинал-легат сурово требовал от священников, чтобы на исповеди они тщательно выпытывали образ мыслей сынов и дочерей церкви. Он сам еженедельно давал сведения представителю апостольской римской курии в городе Генуе. Оттуда эти сведения шли в Рим, а иногда и в Вену, где министр полиции его апостолического величества короля и императора делал соответствующие выводы и набрасывал на карту возможные очаги будущих восстаний.

Затаенность и молчание мальчика, его успокоенность возбудили подозрения синьора Антонио. Он переговорил об этом со своей супругой, супруга имела разговор с духовником. Но священник местной церкви благосклонно отнесся к маленькому Паганини. Он утешил синьору Терезу и сказал, что мальчик на хорошем пути, три раза в неделю он выступает в церковных концертах, его выступления привлекают толпу молящихся, молящиеся охотно отзываются на кружечный сбор,— таким образом, можно рассматривать Никколо Паганини с его скрипкой как явление, угодное богу.

После этого синьор Паганини успокоился. Он не стал возражать, когда, по инициативе синьора Ньекко, маленький скрипач был приглашен к участию в концерте светской музыки.

Италия тогдашнего времени еще увлекалась выступлениями сопранистов. Знаменитый кастрат Маркези, выступая в день своего бенефиса, в тысячный раз удивлял и восхищал простодушную генуэзскую публику серебряной чистотой своего тончайшего дисканта.

Паганини с любопытством маленького зверька украдкой смотрел на Маркези, когда тот выводил дискантовые рулады перед упоенным зрительным залом. Ни восхищения, ни удивления не вызвало у него искусство мужчины, поющего женским голосом.

Маленький Паганини играл после пения Маркези, после пения знаменитой певицы Альбертинетти. Часть публики, сидевшая в верхних ярусах, была наслышана о выступлениях маленького скрипача в церкви, но большинство собравшихся в этот день в огромном театре ничего не знало о чудесном ребенке.

Доброкачественные буржуа, офицеры, священники, жены биржевиков, купцы, нотариусы, маклеры, моряки старинных фамилий с одряхлевшими титулами, обедневшие дворяне, разорившиеся графы — все это зашумело, заки-

вало головами, когда на авансцене появился мальчик со скрипкой. Робкой походкой, с таким видом, будто у него на ногах деревянные башмаки, вышел хилый мальчик с впалой грудью, угловатыми плечами и руками, достававшими почти до вывороченных наружу коленных чашечек. Легкий шум досады прошел по рядам, замелькали улыбки. Никколо играл впервые перед такой большой аудиторией. И если дикая легенда о маленьком скрипаче не выходила до этого за пределы родного переулка, то теперь эта легенда раскинула свои крылья и полетела по городу, над морем, по всему Лигурийскому синему заливу.

Любопытство сменилось удивлением. Мальчик извлекал из огромной для его роста скрипки непомерной силы и поразительной красоты звуки. Вот вступает оркестр, вот волны хорала покрываются звучанием сотни инструментов, но над всеми этими звуками рассыпаются колокольчики, и кажется — запела не одна, а десять скрипок. Широкая волна кантилены покрыла хор и оркестр, и вот, заканчивая последние такты, певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе. Она висит и не обрывается минуту, две... Публика встает; шелест побежал по зале, головы качаются, как колосья. Зрительный зал не отрывает глаз от мальчика. Удивление уступает место восторгу, а на многих лицах можно видеть выражение, близкое к суеверному испугу.

Бледный молодой семинарист Нови, с горящими глазами, полными ненависти, шепчет что-то во втором ряду своему соседу. Это змеиное шипенье слышит синьор Ньекко. Нови говорит, что здесь сказалось проявление нечистой силы, ибо без помощи дьявола не может человек, да к тому же почти еще ребенок, одержать такую победу над куском мертвого дерева.

И буря аплодисментов не заглушает отдельных голосов.

— Даже я,— восклицает священник,— всегда обращенный к небу, даже я почувствовал трепетное волнение в крови и всю прелесть этой греховной земной жизни, когда слушал звуки, извлекаемые из скрипки смычком этого одержимого ребенка.

Иезуит переглядывается многозначительно с представителем святейшей инквизиции, одетым в светское платье. Тот отвечает равнодушным взглядом. Он смотрит рыбьими глазами на эстраду, качает головой и, подойдя к священнику, говорит:

— Отец и мать — верные слуги церкви, мальчик играет в храме. Эта музыка — от бога.

Ночью у маленького Паганини началась лихорадка. Утром он так и не мог вспомнить, снилась ему или на самом деле происходила ссора между отцом и матерью. Обрывки случайных фраз, долетевших до мальчика, мучили его. Отец говорил о необходимости «хорошо питать перед дальней дорогой». Мать часто повторяла слово «рано», отец бранился и говорил: «Пора». Сопоставляя отрывки фраз, Никколо понял, что речь шла о затее отца предпринять круговую поездку по городам Лигурийского побережья с концертами маленького скрипача.

Как только отец ушел на биржу, мальчик сорвался с места, быстро оделся и побежал к синьору Ньекко. Как раз в тот момент, когда он хотел взяться за ручку двери, он увидел, как синьор Ньекко отворяет эту дверь и под лучами солнца, падающими сквозь окна лестницы, из двери синьора Франческо со звонким смехом появляется девушка... Улыбка сбежала с ее лица, оно стало серьезным, как только она увидела маленького Паганини.

— Вот ваш маленький скрипач,— сказала она, оборачиваясь к синьору Ньекко.— Итак, я вас жду.

Стуча каблуками, она шла по лестнице, быстро, на ходу повязывая вуаль вокруг шеи. Не зная сам почему, Паганини почувствовал, как тонкая ледяная иголочка вошла к нему в сердце, сломалась и оставила в нем острие.

Синьор Ньекко поднял маленького Паганини на воздух, покружился с ним по комнате, поцеловал его в лоб и с размаху опустил на пол.

— Поздравляю! — сказал он.— Как жаль, что я не могу взять тебя с собой. Завтра я уезжаю.

Паганини бросился в кресло, слезы ручьем побежали из глаз. Весь успех вчерашнего концерта, все ликование мальчишеского самолюбия — все исчезло перед лицом огромного, неожиданного горя.

Глава девятая
ОТРОЧЕСТВО

Антонио Паганини был несколько встревожен тем шумом, который поднялся вокруг концерта маленького скрипача.

Однажды утром, когда Тереза Паганини мирно спала, когда лучи солнца только что начали золотить верхушки памятников на генуэзском кладбище, а песок на морском берегу был еще закрыт тонкой пеленой быстро убегающего под утренним ветром тумана, когда только чириканье птиц

оглашало одинокие генуэзские улицы, маленький Паганини, с тростью, перекинутой через плечо, и узелком за спиною, семенил ногами, стараясь поспеть за большими шагами отца. Старик суетливо перекладывал из кармана в карман бумажник, кошелек, билеты «Итальянского мессаджера». Через час уже были в Фоче, потом в Нерви, потом увидели на открытом морском берегу Рекко, потом ехали в гору и, когда солнце стояло уже высоко, по дороге, прибитой дождем, въехали в лес. Так доехали до Киавари. В Киавари остановились у дешевого трактира. Только здесь маленький скрипач узнал, что мать не будет тревожиться, ей оставлено письмо. Синьор Антонио был неожиданно ласков с Никколо. Он даже потрепал сына по щеке и сказал:

— Знаешь, я совсем разорен, теперь в твоих руках спасение семьи. Играй, играй всюду. Соберем деньги, тогда заживем хорошо.

Из Киавари, где Никколо впервые пришлось играть в трактире, выехали на юг. Два раза мальчик играл в Специи. Потом пошел концерт за концертом — в церквах, в трактирах, в гостиницах. Жажда наживы гнала старика из города в город. К Антонио Паганини как бы вернулись юношеские силы, бодрость; он не давал сыну ни минуты отдыха, не щадил и самого себя. Откуда-то взялась ловкость самого настоящего импрессарио. То, что не удавалось маклеру, вдруг удалось антрепренеру.

В маленькой типографии Массы, ради дешевизны работы, были заказаны афиши. Скрываясь под маской дальнего родственника, Антонио Паганини отчаянно рекламировал сына. Предметом наибольших надежд были Лукка, Пиза, Флоренция, потом он хотел ехать в Болонью, Модену, Реджио, Парму, Пьяченцу, Павию и Алессандрию, затем опять на юг, дать концерт в Нови и горной дорогой вернуться в Геную. Таким образом, все побережье Ривьеры ди Леванте сделалось ареной действий этого старого пирата.

Между выступлениями в больших городах старик не брезговал ничем, заставляя ребенка играть на постоялых дворах, выпрашивая байокки, чентезими и сольди у погонщиков мулов, у бродячих артистов, семинаристов, сидевших за кружкой вина и уничтожавших фрутти ди маре.

Так доехали до Ливорно. Перед первым концертом в этом городе старик раскрыл самый тяжелый сверток. Там лежали серая куртка, панталоны, новые чулки и туфли, серая огромная шляпа с перьями. Все это было неуклюже, не по росту, но сделано из дорогого материала. Белый кру-

жевной воротник стоил несколько лир, и маленький скрипач еще раз почувствовал, что для синьора Антонио его существование имеет новую, ранее неизвестную мальчику цену.

Пестрота ливорнской публики не помешала успеху концерта. Отец сам следил за выручкой и принял все меры к тому, чтобы его не обсчитали ни на один байокко. А вечером, после очень сытного ужина, старик позволил себе большую роскошь. Он поставил луидор в ливорнском ридотто и выиграл в этот же вечер тысячу франков. Выигрыш ударил ему в голову, как хмель. Старик подошел к стойке, залпом выпил бокал можжевеловой водки и вновь вернулся к игре, ни на секунду не отпуская от себя сына, словно боясь, что мальчик может выдать какой-то секрет, если останется один. А быть может, он смутно почувствовал, как тяжело переживает Никколо страшную тоску по дому, о которой намекнул отцу маленький Паганини после успешного концерта.

Через три часа все, что было выручено на концерте, и весь выигрыш этого удачного вечера — все было проиграно, и последнюю двадцатипятифранковую кредитку старик снес в морской притон на берегу.

Под утро вернулись в гостиницу. Старый Паганини брюзжал и ругался. Ложась спать, заявил, что завтра будет повторение концерта.

Утром, проснувшись, маленький скрипач заметил, что рукав новой серой куртки разорван. Он не помнил, как это случилось, но знал, что ему не миновать побоев, да и выступать вечером будет не в чем.

Отец спал. Мальчик глядел на рваную куртку с таким ощущением, как будто это была рана, разорвавшая его собственную кожу. Держа куртку в руках, он осторожно вышел из комнаты. У дверей он застал служанку и коридорного лакея. Служанка локтем отталкивала пристающего к ней усатого лакея, но как только тот заметил, что отворилась дверь, он сам отскочил в сторону. Горничная хотела убежать. Мальчик остановил ее, попросив иголку с ниткой. Заливаясь слезами, он по совету служанки пошел на чердак. Ветер гулял на чердаке. Было холодно, сквозняк поднимал тонкую едкую пыль с деревянных балок и стропил. Маленький Паганини бранил себя за то, что не хватило мужества упросить служанку заштопать куртку. Но тотчас трезвое соображение, что за это пришлось бы платить деньги, удовлетворило его.

В это время Паганини услышал громкое пение продавца овощей. Голос чистый и отчетливо ясный прорезал воз-

дух улицы. Мальчик наклонился, опираясь на подоконник, и выглянул в окно. Порывом ветра у него вырвало куртку из рук, и пока он бежал по лестнице, куртку кто-то успел подобрать. Выбежав на улицу, Паганини встретил только удивленные взгляды.

Весь в слезах, он остановился у двери. Рука несколько раз ложилась на скобку двери, и каждый раз казалось, что руку обжигает, как огнем. Наконец, осушив слезы, вошел. Отец еще спал. Паганини осторожно, стараясь не шуметь, навесил крючок и лег на свою постель. Он хотел снять туфли и сделать вид, что он и не вставал, но вдруг увидел, что один глаз отца внимательно осматривает его с головы до ног из-под одеяла. «Видел или не видел?» — подумал мальчик и потом с внезапной решимостью сказал:

— Отец, разрешите мне признаться вам: украли куртку.

Старый Паганини вскочил, мгновенно прошли последние ощущения сна.

— Ты меня разоряешь! — завопил отец и заметался по комнате в бесплодных поисках.

«Слава мадонне,— подумал Паганини,— отец не видел». И с притворным усердием стал помогать отцу. Но искать было нетрудно,— в комнате, кроме жалкого имущества Паганини, ничего не было, меблировка была убогая, куртка завалиться никуда не могла. Через несколько минут старый Паганини уже кричал в коридоре, что он не заплатит ни копейки и сейчас же пойдет предупредить власти о том, что в этой гостинице грабят и убивают. Маленький Паганини притаился в номере. Кто-то, очевидно предполагая, что речь идет об одежде старика, принялся уговаривать синьора Антонио.

Тот окончательно разошелся и не желал ничего слушать. Он кричал:

— Мой сын, мой знаменитый сын сегодня дает концерт, и у него украли одежду!..

— Какой ваш сын? — спросил женский голос.

Синьор Антонио открыл дверь, и Никколо увидел ту самую горничную, которая давала ему иголку и нитку. Ложь мгновенно была изобличена.

— Вы говорите, синьор, знаменитый скрипач, а такой лгунишка не может быть знаменитым скрипачом!

Тогда отец накинулся на сына с кулаками:

— Ты дармоед, ты забываешь заповедь господню о почтении к родителям! Чтобы вывести тебя в люди, я, не щадя своих старых костей, мечусь по каменистым дорогам... Где куртка?

Маленький Паганини, стоя на коленях, протягивая к отцу руки, сбивчиво и бестолково рассказывал о случившемся.

— Лжешь! — кричал отец.— Ты ее продал! Боже мой, боже мой, такой концерт, и ни байокко денег. Ты продал! — снова закричал он, наступая на сына.— Чтобы сегодня к вечеру куртка была!

Маленький Паганини надел старую, подаренную матерью куртку и вышел на улицу. Сначала он шел медленно, думая, что отец окликнет его, но старик был, очевидно, совершенно вне себя. Он не вернул сына.

Выйдя за черту города, Никколо сел на придорожный камень, потом, почувствовав усталость, снял куртку, подложил ее под голову и прилег на траву. Заснуть ему не удалось: под щеку попал твердый кружок. Паганини вскочил от радости. Это была пятифранковая монета. Тереза Паганини была суеверна — в каждый новый костюм детям она зашивала деньги.

Первой мыслью Паганини было вернуться, но тут же он принял другое решение. Пробродив до вечера по окраинам Ливорно, голодный, он вошел, когда стало смеркаться, в морской притон близ гавани, тот самый, где вчера потерпел поражение отец. По следам старого Антонио Паганини мальчик второй раз в жизни вошел в игорный дом.

Спустившись в полутемный коридор и отсчитав ровно восемь ступенек, Паганини нащупал дверь, знакомую со вчерашнего дня, открыл ее и, не обращая внимания на то, что матросы и проститутки загораживали дорогу, потихоньку по стенке прошел в комнату.

Здесь были неудачливые капитаны, не в меру ловкие боцманы, неизвестные люди в поношенных камзолах, в долгополых сюртуках, какой-то старичок с беспокойной ласковостью взгляда, а дальше, в полутемной комнате, вповалку спали на скамьях портовые грузчики и матросы, окончательно отяжелевшие от можжевеловой водки. Там пьяный негр яростно спорил и ругался с вербовщиком рабочих для кораблей дальнего плаванья. Свинцовая кружка мерно ударяла по деревянной стойке, и каждый раз со дна выбрызгивались капли желтоватой жидкости на руки вербовщика. Негр плевался, харкал и ругался на всех известных ему языках. За столом шла игра. Ставки были мелкие. Маленький Паганини, подойдя к столу, поставил на карту свою пятифранковую монету — благословенные деньги, подаренные матерью.

Десятки глаз устремились на мальчика. Кто-то хотел что-то сказать, но запнулся. Игра шла. Кто-то спросил:

— Больше нет ставок?

К мальчику подошел старичок.

— Ну? — спросил Никколо грубо.

Сзади матрос схватил Паганини за шиворот. Мальчик огрызнулся, как собачонка, схваченная за ошейник, бессильно стремящаяся укусить схватившую ее руку.

— Что тебе нужно? Пусти! — кричал он.

— Вот я тебе сейчас покажу игру,— заговорил загорелый боцман.— У кого украл деньги?

— Свои,— ответил мальчик.— Мне надо купить одежду, без одежды я не могу вернуться к отцу.

И он показал рваную нижнюю рубашку, пожаловался на пестроту своей одежды.

— Смотри, дьяволенок, не пришлось бы тебе купить сегодня каменную одежду!

Но распорядитель игры, очевидно, иначе посмотрел на дело. Он только метнул взгляд в сторону мальчика и продолжал игру.

Поздно ночью, выходя из притона вместе с маленьким Паганини, боцман говорил:

— Тебе везет, маленькая обезьяна. Да уж если говорить прямо, то никогда и мне не везло, как сегодня. Ты родился под счастливой звездой. Но вот что я тебе скажу. Я видел, ты выиграл восемьдесят луидоров. Ты богат. У тебя столько денег, сколько у меня не было за год. Дай мне пять луидоров, я провожу тебя до дому, а то тебя зарежут в каком-нибудь переулке.

Действительно, по пятам шли двое. Боцман подтянул ремень, достал из-за пазухи тяжелый пистолет с чеканкой, изображавшей корабль, поправил пояс, на котором в ножнах висел тесак. Все это было сделано с таким внушительным видом, как будто боцман готовился отразить нападение дюжины бандитов. Но никто никого не пытался ограбить. Мальчик дошел благополучно до дому. Боцман благополучно получил пять луидоров.

Отец спал. Огромная разбитая фьяска лежала у кровати, лужа вина алела на полу. Башмаки старика плавали в вине.

Маленький Паганини всю ночь не сомкнул глаз. У него стучали зубы, бешено колотилось сердце. Старик не проснулся. Совсем под утро тихонько, чтобы не разбудить старика, мальчик, никем не замеченный, вышел из гостиницы со скрипкой под мышкой, неся в руках узелок, в котором было все его имущество: молитвенник, подарок матери, и бантик из лент — красной, зеленой и черной, который ему подарил как-то синьор Ньекко.

Впервые за все свое детство Никколо Паганини чувствовал себя легко и спокойно. Хотелось есть. Он не ел два дня. Мимо большой каменной ограды, за которой виднелась зелень и щебетали птицы, он прошел по всему побережью. Девушка звонко пела на берегу, одеваясь после купанья. Медленно просыпался город. Приморская кофейня была первым местом, куда вошел скрипач-оборванец. Человек, стоявший у двери и протиравший окна, подозрительно посмотрел на маленького Паганини.

— Можешь ты заплатить? — спросил он, когда Паганини заказал себе не по возрасту обильный завтрак.

Забыв осторожность, Паганини встряхнул на ладони горсть пятифранковых монет и покосился на свои чулки, в которых были спрятаны остальные деньги. Потягивая густой горячий кофе и с жадностью уничтожая вареные яйца, мальчик вдруг вспомнил ночную игру. В конце концов чувство азарта побороло страх, внушенный притоном. Голова кружилась, с какой-то сладкой тошнотой думалось о минутах неслыханного успеха, когда золото хлынуло потоком.

Внезапно его охватил животный страх перед ворами. Поспешно выйдя из кофейни, мальчик зашагал по спокойным утренним улицам. На площади он очутился как раз в тот момент, когда магазин с красивой вывеской «Венское платье» открылся и человек высокого роста принялся перетаскивать из экипажа узлы и пакеты.

Мальчик купил себе сразу два костюма. Он не узнал себя в щеголе, которого увидел в зеркале. Боязнь того, что он один ходит по магазинам в чужом и незнакомом городе, исчезла. Выйдя из магазина и стоя на углу, он, забыв, где он находится, вынул скрипку из чехла. Взял несколько аккордов, и звуки полились сами собой. Охватившие его чувства, все пережитое в этом году внезапно вылилось в урагане звуков, сбивающих все на своем пути, все покрывающих собой, рвущих нить, связывающую его с домом, с семьей. Он шатался, его бросало в жар и озноб, он играл, как одержимый, как безумный, и не понимал, где он и сколько времени он играет. Он не замечал собравшейся вокруг него толпы, не видел, как прохожий снял с него шляпу и положил ему под ноги, как в эту шляпу со всех сторон посыпались деньги. Он не чувствовал, что слезы застилают ему глаза, и только когда зашатался — опустил смычок. У него тряслись колени, плечи казались ему обремененными свинцовой тяжестью. Тут он увидел людей и услышал, как вся площадь ему рукоплескала. Извозчик,

привставший на козлах, кричал и махал шляпой, приказчики в магазинах бросили свои прилавки, покупатели остановились у входа, его узнавали, о нем говорили.

Паганини с удивлением посмотрел на деньги, поднял шляпу, неуклюже набил карманы монетами и бумажками. Спрятал скрипку в чехол и пошел один, не зная куда идти. Ноги едва повиновались ему. Постепенно таяла за ним толпа зевак и прохожих. Никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, видя изможденное лицо, заплаканные глаза, огромные мокрые ресницы. Мальчик все время думал, что он должен что-то сделать, и не мог ответить себе на вопрос, что именно сейчас нужно сделать. Наконец догадался. Имея деньги, можно нанять извозчика. Когда сел в экипаж, он почувствовал, что бороться со сном стало не под силу. Держа под мышкой скрипку, он освободил правую руку и щипал себя за ухо. Доехали до почтового двора. Там он узнал, что через час отправляется поздний мальпост, и взял билет до Милана. Поздней ночью выехал из Ливорно при звуках рожка по большой старинной дороге на север. Там когда-то проходили римские войска. На мостовой древние камни, истертые колесами римских повозок, чередовались с прокладками новой мостовой.

Старая жизнь кончилась. Первая игра в притоне оказалась куда интересней, чем игра на скрипке. «Впрочем, что я думаю,— соображал Паганини, засыпая, качая головой при каждом толчке мальпоста,— еще такая игра на площади, и я снова богат. Зачем мне возвращаться к отцу, который сосет мою кровь?»

Выехали из старинных Пизанских ворот по северной дороге.

«Хорошо сидеть в мальпосте в хорошую погоду,— пишут старые путешественники и добавляют: — Хорошо сидеть в мальпосте в декабрьский дождь, спрятавшись глубоко внутри кареты, если нет щелей в полу и в окнах, если есть крепкая смена одежды и хорошо наполненный желудок, если неподалеку из свертка торчит серебряная фляжка с крепким тягучим золотистым напитком». Но плохо оказалось путешествовать в мальпосте по северным итальянским дорогам одинокому мальчику.

Едва почтовая карета въехала в ворота мессаджера в Лукке, как два жандарма арестовали маленького Паганини. Старик Антонио занял денег и, не поскупившись на расходы и обещания, поднял на ноги всю полицию Ливорно, а последняя гелиограммой предупредила о приезде мальчика в Лукку.

Двое суток просидел Паганини в префектуре. Его не переводили ни в тюрьму, ни в камеру, за решетки, он пользовался почти полной свободой. Ему запрещалось только выходить за пределы здания префектуры. Над ним посмеивались полицейские чиновники, его почти не опрашивали, предполагая, очевидно, что это сын богатого человека, что все решится само собой, не надо только торопиться и обострять положение. И так как полицейские чиновники не знали, как себя вести с мальчиком, который не является преступником, а может быть, даже принадлежит к хорошей фамилии, то гостить в луккской префектуре Паганини было не так уж плохо. Он выспался, был сыт.

Он несколько раз спрашивал, когда приезжает южный мальпост, и каждый раз забывал час, который ему называли. Наконец, когда он открыл двери и, обращаясь к стоящему внизу полицейскому, еще раз спросил о южном мальпосте, он услышал голос отца:

— Здесь уже, здесь.

Ни побоев, ни одного грубого слова за всю дорогу домой. Наоборот, отец проявил даже признаки несвойственной ему нежности. Мальчик украдкой смотрел на отца, когда тот засыпал в мальпосте; настороженность не покидала Никколо ни на минуту. Но, вопреки ожиданиям, старый Антонио держался ровно и спокойно, говорил мало, был задумчив. Чем дальше продвигались они на север, чем ближе они были к Левантинской Ривьере, тем быстрее работал мозг маленького Паганини. Никколо вдруг почувствовал, какое огромное значение в его детской жизни имел этот побег от отца. Он почувствовал себя отрезанным от семьи. Даже обостренная боль разлуки с матерью исчезла по мере приближения дилижанса к родному городу. Если бы Паганини был старше, он сумел бы формулировать свое отношение к отцу как ощущение удачливого педагога, ловко исправившего поведение своего воспитанника. Роли переменились. Паганини чувствовал, что отец находится у него в руках. И в то же время он боялся его.

По молчаливому уговору, отец и сын вернулись домой, как богатые и счастливые путешественники. О тяжелом происшествии они не вспоминали.

В Генуе царило веселье.

Кто-то привез слухи об успехах маленького Паганини, и маркиз ди Негро прислал письмо с приглашением выступить на вечере с знаменитейшей певицей Северной Италии Терезой Бертинотти. На этом же концерте Крейцер-старший играл на клавесине свои сочинения.

Паганини успешно выступил у ди Негро с тем спокойствием и уверенностью в себе, которые дало ему первое большое жизненное испытание.

Со своим новым положением Паганини быстро освоился. Несмотря на бранные клички, которыми награждали его сестры, на завистливые и почти ненавидящие взгляды, которые бросал на него брат, Паганини чувствовал себя центром семьи.

Старик Паганини напустил на себя удвоенную важность: чудо-ребенок, выращенный любящим отцом и самоотверженной матерью, которые все сделали для того, чтобы развернуть талант сына,— вот новая вариация, избранная старым Паганини.

Мать Никколо радовалась этой перемене, принимая все за чистую монету. Она боготворила сына за его благотворное влияние на отца.

Однажды господин Крейцер остановил свой экипаж около мрачных дверей дома в Пассо ди Гатта Мора. Богатый музыкант, артист с аристократическими манерами и внешностью французского маркиза, Крейцер зажал нос шелковым платком, когда шел по лестнице.

Господин Крейцер долго внушал синьору Антонио от имени маркиза ди Негро, что мальчика необходимо отправить в Парму, ибо в Парме живет единственный скрипач, который может завершить музыкальное образование маленького Паганини. Мальчик слышал это имя. Ди Негро и Крейцер уговаривали отца поехать к Алессандро Ролла.

Прошла неделя. Снова легкий запах горных цветов врывается в окна открытой кареты. Старик и мальчик со скрипкой едут в мальпосте по дороге на Парму.

Приехали в полдень.

Их проводят в комнату, несущую на себе отпечаток величавости и запущенности. Это — комната самозабвенного человека, заболевшего тяжелой и неизлечимой болезнью.

У окна, под горячими лучами полдня, на столе белеет большая нотная тетрадь. Свинцовым карандашом набросаны сорок восемь строк новой музыкальной пьесы.

Ролла болен. Старый Паганини упрашивает его жену показать Никколо великому Ролла «хоть на минутку».

Пока синьора Ролла в дальней комнате справляется у мужа, сможет ли он принять маленького скрипача, мальчик вынимает скрипку и уверенно с первых тактов начинает разыгрывать a vista новую пьесу Ролла. Это скрипичный концерт, еще нигде, никем, даже самим автором, не

сыгранный. Не зная этого, Паганини играет; играет, увлекшись первыми фразами концерта.

Вот пройдены первые двадцать семь строчек, вот наступает адажио, и в эту минуту распахивается дверь, и на пороге останавливается желтый, изможденный человек в голубом халате, распахнутом на груди. Седые волосы на голове и на груди, глубокие морщины, больные глаза. Не говоря ни слова, махнув длинным желтым пальцем, повелительным жестом приказав продолжать игру, Ролла подходит, еле волоча ноги, к креслу, садится, роняет голову на ладони, опершись локтями в колени, и с закрытыми глазами слушает собственный концерт.

Вот кончается кантилена. Быстрое, как искры, пиццикато, потом фермата, и мальчик кладет скрипку. Не отнимая рук от лица, Ролла откидывает голову на спинку кресла. Плечи старика вздрагивают, но слез не видно, и мальчик не понимает, что это — сдавленное рыданье старого композитора или приступ кашля, который тот хочет подавить усилием воли.

Скрипач смущен, он переводит глаза с отца на старого Ролла, от композитора к его жене. Вскинув в каком-то всплеске ладони, эта женщина стоит с выражением не то ужаса, не то восторга. Старый Паганини растерянно мнет шляпу в руках. Чтобы прервать это неловкое молчание, Никколо подходит к синьору Ролла.

— Маэстро!..

Но Ролла прерывает его:

— Я никогда не буду твоим учителем, мальчик. Как быстро шла жизнь, если дети теперь достигают того, к чему мы подходили, только истощив свои силы! Что сделалось с миром, как быстро улетает жизнь!

Старый скрипач внимательно, с ног до головы, оглядывает маленького Паганини. Выражение все большего и большего удовлетворения разливается по лицу старика, выровнялись морщины, улеглось волнение, и твердым голосом он говорит:

— Я стар, мне нечему тебя учить. Но есть в Парме человек молодой и полный сил, он может быть тебе полезным. Ты выйдешь из дверей на Виале Ментана, там ворота из серого камня, войдешь в них, найдешь широкий внутренний двор с цветами и колоннадой,— там музыкальная школа. Ее директор — синьор Паер, к нему обратишься, и да благословит тебя бог.

Старик подобрал полы халата, быстро встал, плечи его вздрогнули, словно от озноба; не прощаясь, он ушел к себе.

Глава десятая

КАРТЫ, КОСТИ И СКРИПКА

Полгода жизни в Парме пролетели как один день. Паер сам руководил музыкальными занятиями маленького синьора Никколо Паганини. Теория музыки давалась легко.

Облик Паера ассоциировался у мальчика со ртутью. Походка у синьора Паера была такая тяжелая, словно действительно в жилах его текла ртуть. Но эта тяжесть сочеталась со странной подвижностью его манер, с быстротой и блеском. И в то же время Паганини всегда чувствовал холодность этой крови. Ртуть похожа на расплавленный металл, но она холодна. Мальчика поражал этот странный человек, поражали холод и мертвящая тяжесть его зрачков, словно не видящих, с каким-то лиловым оттенком, глаз; этот фиолетовый тон и легкая лиловость, сиреневость одежды, галстука, перчаток — все это странно действовало на Паганини. Он сам удивлялся, что так часто видел его во сне. Синьор директор консерватории, важный господин Паер, всегда фигурировал в этих снах в качестве какого-то чудесного гения в лиловом хитоне; он махал рукой перед оркестром таких же, как он, лиловых людей — фиолетовых гениев,— и с каждого пальца сбрасывал не то серебряные капли, не то брызги ртути, которые, дробясь, со звоном падали на оконные стекла, и этот звон превращался в звон миллионов колокольчиков. Сыпалось разбитое стекло, звенело, превращаясь в кристаллики, искры, звездочки, градинки и снежинки, которые осыпали деревья. Вдруг становилось холодно, зима покрывала мир, как на высоких горах за Кремоной, там, где в июле месяце ребята бегают на коньках на горных озерах, а внизу пасутся стада и золотой звон пастушеского рожка собирает овец и гонит их в узкие проходы между высокими ажурными оградами зеленых виноградников, залитых солнечным светом. Вот эти капли ртути попадают на деревья, мгновенно загораются тысячами белых огней по ночным аллеям парка. А потом ночь сменяется днем, и пармские фиалковые поля еще ярче горят от магического влияния лилового и фиалкового цветов на господине директоре консерватории города Пармы.

Проходили дни. Гарди и Нови, ученики пармской консерватории, были соперниками Паганини. Им не удалось одержать победу над ним ни по скрипичной игре, ни по классу теории, но в области композиции они оспаривали у Паганини подступы к сердцу учителя. Гарди и Нови

ненавидели друг друга. Вначале каждый из этих консерваторских семинаристов стремился привлечь Паганини на свою сторону. Но Паганини не воспользовался этими предложениями дружбы с одним, для того чтобы вредить другому. Тогда оба врага объединились в общей ненависти к Паганини.

Нови был братом каноника старинной генуэзской церкви. Братья Нови писали друг другу сладкоречивые письма, исполненные взаимных уверений в преданности делам церкви. Старший передавал младшему сведения о семье и детских годах Паганини. Младший поручал старшему распространение сплетен о молодом скрипаче. И в то время как Паганини, увлеченный работой, не щадя сил и здоровья, занимался по четырнадцати часов в сутки, в другом городе готовилось ему большое и суровое испытание.

Паганини жил в каморке у синьоры Августины. Каморка запиралась плохо. Паганини уже не удивлялся, когда, возвратясь из консерватории, замечал следы пребывания чужих людей в своей комнате. Перерыты все его вещи, не исключая белья, распорота и неряшливо зашита подушка, в беспорядке сложены и связаны письма от матери и сестер. Зачастую Паганини, открывая дверь, видел, как, в довершение всего, обычная посетительница его комнаты, большая крыса, сидит на письменном столе и грызет оставленную кем-то корку хлеба. Паганини вздрагивал и останавливался. И каждый раз, презрительно глядя на музыканта, крыса медленно, не торопясь, шлепалась со стола и убегала под пол.

Правоверные католические газеты доносили о больших событиях. Но эти отголоски не колебали воздуха Пармы. В Парме тихо позванивали колокола, и толстые, заплывшие жиром аббаты гнусавили мессу. Молодые скрипачи по обязанности бывали в церкви. Совершеннолетний Гарди исповедовался и приобщался. После исповеди всякий раз он подолгу запирался с Нови для каких-то особых обсуждений. Они хвастливо заверяли товарищей по консерватории, что им поручено наблюдение за правильностью образа мыслей консерваторских студентов.

Паганини целыми часами бился над почти неразрешимыми скрипичными пассажами. Потом, измученный работой, которая все больше и больше связывалась для него с огромным физическим утомлением, он шел на другой конец города, где жил Гиретти, старый неаполитанский дирижер. Гиретти был учителем Паера. Именно ему синьор Паер поручил теоретические занятия с Паганини. Гиретти относился к ученикам с необычайной строгостью, и Пага-

нини знал, что малейшая ошибка, малейшее ослабление внимания скажутся немедленно на отношении к нему синьора Гиретти и синьора Паера. Гиретти был простым преподавателем консерватории, его ученик был директор. Синьор Паер был учеником Гиретти и его начальником. Но, как это часто случается в мире высокого и большого искусства, фактически положение было таково, что синьор Паер не выходил из подчинения у синьора Гиретти во всех вопросах музыкальной теории. В делах административных синьор Паер был полным господином. Синьор Гиретти просто отрицал существование каких бы то ни было административных задач и административных работ синьора Паера. Казалось, что для Гиретти не существовало вовсе практической жизни. В противоположность синьору Ньекко этот высокий, худой старик с красивым лицом в ореоле седых волос был как бы не связан с явлениями обыденной жизни. Внутреннее убранство комнат нисколько его не занимало. Беспорядок господствовал повсюду — и на полках, и на столе, и на диване, который служил синьору Гиретти одновременно и постелью. Связывала этих двух, совершенно не похожих друг на друга, дирижеров только преданность одинаково почитаемой обоими эмблеме. Паганини заметил среди вещей, разбросанных на письменном столе в комнате, куда Гиретти не впускал никого, кроме Никколо и синьора Паера, маленький черно-красно-зеленый бантик, такой же, какой однажды подарил Никколо синьор Ньекко. Это был значок лесных братьев. В полудетском сознании Никколо три цвета этого значка обозначали леса, в которых эти люди среди зелени раздувают красное пламя подземных костров и целыми курганами жгут черный уголь. Вот откуда сочетание красного, черного и зеленого. Политическое значение слов «фореста», «баракка» и «вента» Паганини почти забыл, вся эта система символов была под запретом.

Если теоретические занятия Паганини проходили под руководством Гиретти, то все очередные практические упражнения и работа по композиции велись под непосредственным руководством Паера. Другие преподаватели смотрели на маленького Паганини скорей как на младшего товарища. Паганини знал о том, как относятся к нему консерваторские педагоги. Это наполняло его мальчишеской гордостью. Но, к сожалению, это не сделало его более осторожным в отношении со студентами. Поглощенный работой, он продолжал держаться особняком. Возвращаясь от Гиретти, он, вместо того чтобы в свободный вечер веселиться с девушками Пармы, как это делали товарищи

его по консерватории, снова запирался в комнате и снова играл. Он довел себя до такого истощения, что нередко скрипка падала у него из рук. Но он уже достиг той степени фанатического напряжения, когда не замечал, как тают силы, не ощущал ничего, кроме своего продвижения к поставленной им себе цели. Лишь страшные приступы кашля на целые часы выводили его из строя. В такие промежутки Паганини оставлял скрипку и садился за стол. Мельчайшим почерком он исписывал листы графленой нотной бумаги. Это были задачи, заданные ему Паером. И к концу шести месяцев пребывания в Парме были готовы двадцать четыре фуги в четыре руки, написанные без инструмента. Паер играл их вместе с Паганини. Это был единственный ученик, которого допустили играть с директором консерватории. Невероятно трудная музыкальная форма, приданная маленьким композитором своим произведениям, исключала возможность исполнения его композиций кем-либо из шести учеников, допущенных к занятиям с синьором Паером.

По истечении четырех месяцев совместной работы с Паером Паганини получил приказание написать дуэт для скрипки и с головой ушел в разрешение этой задачи.

Пока вынашивалась эта сложная и трудная композиция, Паганини разыгрывал произведения других учеников. Он делал это с добрым чувством, а вызывало это тяжелые последствия. Его исполнение, помимо его воли, озлобляло соперников, так как он на лету, в процессе исполнения, исправлял смычком дефекты их произведений. Бездарную вещь он умел так изменить, что в его исполнении она не вызывала возмущения Паера. Но эта маленькая помощь соперникам вместо чувства признательности вызывала еще большую их ярость. Товарищи Паганини в присутствии Паера молчали, зная, что Паганини исправил их вещи, выручил их, но набрасывались на него, как только учитель уходил. Гарди гневно кричал Паганини, что тот произвольно переделал его произведение; двое других угрожали Паганини жестокими побоями за то, что он будто бы крадет целые фразы из их произведений и вставляет в свои фуги.

Паганини прекрасно знал, в чем дело. Играя пьесы своих товарищей, он облекал их в форму, в которой многое было продуктом его вдохновения. Естественно, что отдельные элементы повторялись в его собственных произведениях. И когда первая фуга была сыграна в консерваторском зале, шестеро студентов набросились на Паганини с криками: «Вор!»

Однажды вечером, когда Паганини вышел из своей

комнаты отдохнуть и сидел около Пармского замка, внезапно его внимание привлек валяющийся на дорожке листок с нотами. Паганини поднял его. Это были ноты с французским текстом, с длинным витиеватым названием, с виньетками по углам,— военная песня рейнской армии, исполняемая на сценах разных театров, сочиненная инженерным офицером Руже де Лилем.

Паганини вернулся домой, зажег свечу, снова перечитал ноты. Потом, слушая, как в тишине наступающих сумерек прозвенел на отдаленной колокольне «ангелюс», он с последними звуками затихающего колокола провел смычком по струнам. Скрипка запела первые три такта «Марсельезы». В тоне колоколов, в замедленном темпе эта песнь звучала странно.

Широкий, спокойный поток церковного хорала сменился целым морем органных звуков, которые только одному Паганини удавалось воспроизвести на скрипке. Потом послышалось журчание, словно побежала по камням многоструйная речка. Сначала тихая, она становилась все более стремительной, все более мощной, и, наконец, ее шум слился с шумом рокочущего бурного прилива, многоголосого говора толпы, который приближается по отдельным улицам и выливается на площадь. Цоканье копыт, звон оружия — и только в этот момент Паганини выпустил «Марсельезу» на свободу, как птицу. Французская боевая песня, горячий призыв к борьбе захватили и самого скрипача настолько, что он не заметил, как собралась около дома толпа, не понимал, почему раздаются рукоплескания и крики, и, только окончив игру, положив скрипку, он увидел в маленькое окошко, что улица полна народа.

Утром Паганини проснулся под ворохом одежды, которую он ночью, пытаясь согреться, набрасывал на себя. Его била лихорадка.

Десять дней Паганини провел в постели. Он не спускался со своего чердака. Старая привратница консерватории пришла навестить его, передала привет от синьора Паера и принесла записку:

«На тебя гневаются, ты не знаешь, безумец, как опасно смешивать церковные гимны с безбожными песнями французов. Я случайно узнал о твоей болезни. Нови явился ко мне с докладом и сообщил, что ангел явился к тебе и теперь ты лежишь с разбитой рукой, храня на себе печать божественного гнева. Я не верю этому вздору, но будь осторожен. Сожги эту записку, дорогой глупец. Барбара позаботится о том, чтобы ты скорей выздоравливал и чтобы тебя как следует кормили. Я лишен возможности наве-

щать тебя. Приходи, я расскажу тебе о приглашении, которое я получил от венецианцев, так как не в Парме, а именно в Венеции принята к постановке написанная мною опера. Не забудь наглухо закрывать окна с вечера. Начались холодные ночи, и много людей болеют лихорадкой».

Письмо было без подписи. Старая служанка молча ждала, пока Паганини читал записку. Потом зажгла свечку и на ней предала уничтожению письмо Паера. Суровый взгляд старухи и выражение лица ее говорили, что она знает о молодом скрипаче гораздо больше, нежели он сам.

На следующий день Паганини отправился в консерваторию, чтобы сдать учителю дописанный дуэт. Выходя, он с досадой увидел, что дверь открыта, по-видимому, всю ночь после ухода служанки она оставалась незапертой.

Когда он сыграл первую строку, жгучая боль в левом глазу и виске едва не лишила его сознания. Лопнула басовая струна. Конец ее ударил скрипача в левое веко. Приобретенная выдержка не позволила в присутствии учителя обнаружить боль. Собрав все свое мужество, Паганини решил продолжать игру на трех струнах. Руки дрожали, голова кружилась, тяжесть давила руки и плечи.

«Опять лихорадка»,— подумал Паганини, боясь взглянуть в сторону Паера. Краска заливала ему щеки, казалось — песком засыпаны глаза. И вдруг учитель положил ему руку на плечо.

— Откуда ты взял эту ночную посудину? — грубо спросил Паер.— Ведь это не твоя скрипка, Паганини.

Действительно, это была грубая деревенская скрипка, неизменный гость сельских свадебных пирушек и танцевальных вечеринок. И в довершение всего, на внутренней стороне грифа были привязаны кусочки свинца. Паер зажег канделябр и принялся рассматривать со всех сторон это грубое изделие плохого мастера. Подтащив Паганини за локоть, он молча, тонким пинцетом показал ему, что все струны надрезаны. Он бросил скрипку на стол. С жалобным звоном полопались оставшиеся струны. Паер большими шагами заходил по комнате.

Паганини стал смеяться, сначала тихо, потом смех этот перешел в хохот. Он упал на диван и, почти катаясь по дивану, смеялся. Угнетавшее его чувство неуверенности в себе, страх, что болезнь убила в нем скрипача, сменились страстным, непобедимым сознанием того, что нет на нем никакой вины перед великим искусством и что виновника сегодняшней неудачи нужно искать не в себе, а в других.

От болезни не осталось н следа. Та робость, которая мгновенно охватила Паганини в присутствии Паера, вдруг исчезла.

— Ну, а где же твоя скрипка? — спросил Паер.

Паганини смолк.

— Я знаю, кто это сделал,— как бы про себя задумчиво сказал Паер.

Потом, машнинально перевернув страницу нотной тетради, восклнкнул:

— А! Дуэт готов, это хорошо.

Он достал нз шкафа скрнпку для Паганинн, взял свой ннструмент.

После того как дуэт был сыгран, с улыбкой большого удовлетворения Паер сдержанно сказал:

— Ни одной ошибки против требований чистого и строгого стиля. Что же? Я считаю, что ты сдал экзамен. Теперь поговорим о нашем расставанни.

Глава одиннадцатая

КРЫСЫ

Пармская полиция отказалась предпрннимать какие бы то ни было поиски пропавшей скрипки.

После двух платных концертов, данных на скрипке, принадлежавшей Паеру, Паганини оплатил стоимость нового инструмента. Остаток денег он отослал отцу.

Странно складывалась его жнзнь. В размышлениях о ней он провел немало часов, сидя у окна своей комнаты, из которого видна была вся юго-западная часть города.

Однажды его размышления были прерваны появлением в переулке двух странных людей. Вот они стоят под окнами чердака, на углу, против входа в большое здание. Они умолкают, когда мимо них проходит кто-то, и возобновляют разговор, опаслнво глядя проходящему вслед. Потом однн быстрымн шагами уходит в переулок. Паганнни смотрит на них с чердака, и, хотя его каморка возвышается над тремя этажами старого пармского дома, он слышнт весь разговор от слова до слова.

Так было всегда. Часто в ночном безмолвии Паганини ловил едва долетающие звуки: то отдаленный звон нз селений к северу от Пармы, льющийся между холмамн по долине, то скрип одноколок и крики погонщиков за городским валом на старинной рнмской дороге, то голоса пешеходов, проходящих по площади за два квартала от дома, то крики и плач больных детей, доносящиеся из подваль-

ных помещений соседних переулков, и даже легкую перебранку хозяек у вечернего колодца за дальним переулком у городской стены. Эта необыкновенная изощренность слуха казалась Паганини естественной.

Человек, оставшийся в переулке, быстрыми шагами направился к лестнице. Прошло несколько секунд, раздались шаги по лестнице и стук в дверь. Вошел учитель.

— Вот,— сказал Паер.— Я пришел с тобой проститься. Пришел проститься только с одним учеником.

Паганини подвинул ему стул. Взволнованный и расстроенный, он смотрел на синьора Паера. На лице его учителя тревога и грусть сменились улыбкой.

— Я хочу предупредить тебя,— заговорил Паер, не садясь,— не ходи в консерваторию, уезжай как можно скорей из Пармы. Я жалею, что мне приходится бросать город, в котором я провел столько лет, но венецианцы упорны, условия, которые они предлагают, лучше, чем условия других городов.

Паер словно запнулся, он провел рукой по волосам, посмотрел на Паганини и спросил:

— Ну, ты огорчен? Ты как будто смущен чем-то?

Взяв Паганини за плечи, он повернул его лицом к окну. Паганини отвел глаза, на желтых щеках его появились красные пятна. Потом Паганини посмотрел Паеру прямо в глаза и сказал:

— Я очень виноват перед вами, я уже слышал все, что вы говорили с вашим спутником. Я знаю, что вы — карбонарий, и я знаю имя этого человека — Уго Фосколо.

Паер вздрогнул и отскочил.

— Вот за что я не люблю тебя,— сказал Паер быстро и отвернулся.

— Но я не разделяю вашей нелюбви,— ответил Паганини.— Разве я виноват, что меня не любят? Я ко всем отношусь, как к друзьям, и не виню никого за недостатки, в то время как меня бранят за мои достоинства.

— Что же ты слышал из нашего разговора? — спросил Паер.

— Очевидно, расставаясь, вы спрашивали синьора Фосколо о венецианской жизни. Синьор Фосколо рассказывал вам о постановке своей трагедии «Тиесте». Он говорил о своей ссоре с Бонапартом, говорил о том, что он никогда не увидит родной Венеции после гибели цизальпинской республики. А вы, вы говорили ему, что постараетесь связать его с Венецией снова, вы говорили, что будете жить в Венеции на острове Мурано, будете ставить там свою оперу, между вами и Фосколо будет посредник —

поэт Буратти. Учитель, учитель, зачем вы говорите так громко на улицах! Если это все...

Паганини остановился. Негодование и смех душили Паера.

— Черт побери тебя с твоим слухом! Можно было бы подумать, что ты стоял за углом. Но я не сомневаюсь в честности твоего сердца. Ну, прощай, у меня нет лишней минуты. Постарайся сегодня же выехать из Пармы, в Генуе тебе будет безопасней. Не вмешивайся в политику, если играешь на скрипке...

Паер ушел. Ночью он выехал по дороге на Гвасталлу, Мантую, Леньяно и Падую. Приехав в Венецию, он через неделю забыл своего ученика. Паер остался верным себе. Холодность, которую отметил Паганини в характере своего учителя, позволяла ему,— после того как внушенное ему чувством долга по отношению к человеку было исполнено до конца,— полностью забыть об этом человеке.

В течение последних трех дней перед отъездом в Венецию Паер разослал по городам и музыкальным центрам Италии серьезные рекомендации, где восторженно и в то же время строго сообщал о появлении Паганини как чуда в истории музыкального мастерства. Паер холодно и спокойно заявлял, что в мире музыкальных чудес Паганини открывает собой новую страницу и что жизнь и история человечества не знали таланта подобного объема и мощи.

Но втихомолку уже работали другие силы. Клевета, как подземные ручьи, по темным каналам струилась во все концы и прежде всего в родной город Паганини, куда возвращался молодой музыкант. Паганини еще не знал об этом, а Паер уже забыл. Переселившись в Венецию, он начисто выбросил из головы и из сердца мысли и воспоминания о своем ученике.

...Усталый от горной дороги, сидел Паганини за столом в маленькой комнате. Ничего неприятного сказано при встрече не было, но Паганини чувствовал себя так, словно он попал в чужую семью. Весь первый день с затаенным вниманием приглядывались родные к Никколо, словно ожидая какого-то взрыва. Но никакого взрыва не произошло.

Полная тишина и усталость были в душе молодого скрипача. Три дня он не брал в руки скрипки. Как фланер, обходил побережье. Он ступал по сырым камням ветхого мола; взяв лодку, переправлялся на Моло Дука и слушал там пение морских валов. Целыми часами он сидел на камне или стоял, скрестив руки, и смотрел, как ветер вырывает из синих валов белый пух и перья пены.

Ночами забвение не приходило. Он не разговаривал ни с кем из семьи. Незначащие вопросы, односложные ответы, скучные дни.

И только однажды вечером, вернувшись позже обыкновенного, он встретил такой грустный взгляд заплаканных глаз, увидел на лице матери выражение такой тоски, что это его испугало. Он спросил ее о причине ее слез. Мать молча покачала головой и хотела уйти. Он осторожно взял ее за руку. Она присела и указала ему место рядом с собой.

— Зачем ты погубил себя? Неужели ты думаешь, что нам неизвестно, какой образ жизни ты вел в Парме? Отец знает, кто был развратителем, кто отнял тебя у семьи, у бога, у святой церкви...

Никколо хотел перебить ее, но мать махнула рукой и продолжала:

— Твои друзья, которые любят тебя больше жизни, писали нам о тебе письма, полные горя. Я едва не умерла от этих писем. Тебе писал отец, я тебе писала, умоляла тебя, но ты был настолько жесток, что не ответил ни на одно наше письмо. Ты сразу приехал в родной дом как человек, имеющий право попирать порог семьи, и, приехав, ты не только не раскаялся, но даже не попросил прощенья за пренебреженье своими обязанностями.

Никколо вскочил.

— Так вот чем объясняется ваш странный прием! — крикнул он.

В соседней комнате раздался шум. Отец проснулся и, шаркая туфлями, появился на пороге. Он щурился от света канделябра, дрожавшего в его руке. Хмурая улыбка изуродовала и без того некрасивое лицо. Старческие губы жевали.

— Стоит ли говорить с негодяем? — обратился он к жене.— В этом черством сердце мы не найдем ни одного светлого и чистого чувства. Предоставим этой собаке издыхать в одиночестве.

Старик тяжело дышал. Никколо молчал, не мог выйти из какого-то остолбенения. Отец, приняв молчание сына за вызов, закричал с негодованием:

— Мы знаем все: знаем и то, с каким позором ты растратил здоровье в кутежах, провалился на экзаменах, как у тебя лопались струны и скрипка выпадала из рук. Помни, что все это — воздаяние господне за пренебрежение его заповедями. Мы со смирением приняли эту тяжкую кару, но не добивай свою мать упорством, нераскаявшийся негодяй! Покинь нашу семью, а если не хочешь, то согла-

сись снова взять себя в руки, и отправимся в путешествие по Ломбардии.

Никколо отрицательно покачал головой.

— Покуда вы не скажете мне, кто клеветник, кто посеял эти чудовищные сплетни, кто очернил меня в ваших глазах, до тех пор я сам буду отвечать молчанием на все ваши обвинения. Я еще выясню, кто лжет! Вы говорите, что не получали моих писем, но ведь и я не получил ни одного вашего письма!

Он припоминал все то, что было за месяц перед этим. Он всегда отдавал письма консерваторскому привратнику; письма, которые он получал, тоже шли по адресу консерватории. Но даже при всей чудовищности отношения австрийской жандармерии к переписке итальянских граждан не было случаев, чтобы пропадали все письма, посылаемые в обе стороны. Очевидно, помимо полицейского сыска и перлюстрации, был какой-то добровольный охотник за письмами.

Паганини стал на колени перед матерью и, целуя ее руки, проговорил:

— Скажите, матушка, кто этот человек, кто писал вам обо мне! Клянусь вам жизнью, что я не получил ни одного вашего письма. Я писал вам очень аккуратно каждое воскресенье. Все остальные дни недели я проводил в большой работе, я затратил много сил, но я надеюсь вернуть эти силы и обеспечить вашу старость.

Синьор Антонио закашлялся, потом, отхаркиваясь, сплюнул на пол, пренебрежительно растер туфлей и, хлопнув дверью, скрылся в соседней комнате. Тогда синьора Тереза принесла связку писем и положила на стол перед сыном. Паганини стал читать. Почерк был ему совершенно незнаком. Письма были написаны на розовой бумаге, они начинались с изъявлений любви к нему, Никколо Паганини. Они начинались с выражений безудержного восторга перед ним, как перед гением музыки, скрипачом, которого не видел свет. Они все начинались заверениями в глубочайшей и почтительнейшей любви, которые постепенно сменялись плачем и грустными сожалениями о том, что этот замечательный скрипач погибает в грязной луже разврата, что он проводит ночи в притонах, играя в азартные игры и напиваясь пьяным, с веселыми девушками и парнями. Что он, отпав от святой матери церкви, не посещает мессы и что, хотя наступило уже время, он ни разу не был на исповеди и ни разу уста его не принимали святой облатки. В этом теле, не посещаемом огнем святого причастия, огонь демонской похоти и мерзостных желаний сжигает не

только великую, божественную одаренность музыкальным талантом, но и остатки простых, естественных, человеческих чувств.

Неизвестный друг писал:

«Мой лучший друг, любимый мною человек, Никколо запирается на целые сутки, связавшись с компанией злодеев и карбонариев, имеющих явное намерение отравить колодец светлой истины, действующих заодно с нечистыми франкмасонами и якобинцами, пришедшими с севера».

Письма все как одно заканчивались мольбами о божьем милосердии: оно должно снизойти на голову страшного грешника. И вот наконец последнее письмо. Оно ярко живописует печальную картину окончательного падения Никколо Паганини. Растратив себя в разврате, этот скрипач не может держать скрипку в руках. Его руки дрожат, дрожит смычок, и, силясь передать смычком нездоровое напряжение своих душевных сил, этот несчастный скрипач перепиливает смычком струну за струной.

«Дражайшая и благочестивая синьора, горькими слезами плакала вся консерватория; даже синьор Паер, наш уважаемый директор, не мог не прослезиться при виде того, как варварским движением смычка ваш сын стремится извлечь глухие и сиплые звуки из запущенной, залитой вином, отсыревшей в подвалах и погребах скрипки. Синьор директор, уезжая в город Венецию, единственное место, куда не проник пока нечестивый бонапартистский атеизм, заявил на прощальном консерваторском ужине педагогам, семинаристам и студентам, что он, возлагавший большие надежды на господина Никколо Паганини, теперь окончательно в нем разочаровался и должен предать его своему учительскому проклятью».

Паганини не мог опомниться. Он перелистывал, перечитывал письма, вглядывался в отдельные строчки. Он вспоминал, как, играя по двенадцати часов подряд, он намыливал смычок, чтобы, водя по струнам своей, обреченной на эту черную работу, второй скрипки, не извлекая никаких звуков, преодолевать трудности, казавшиеся непреодолимыми. Этот намыленный смычок давал ему напряжение, которого требовали упражнения, заданные ему Паером. От этой игры у него затекали ноги, деревенели локти и плечи.

Он хотел рассказать это отцу, открыл дверь, но встретил окрик:

— Молчи, ничто не может тебя оправдать! Где деньги, которые ты заработал на своих пятидесяти концертах? Где успехи, которыми ты должен был похвастаться после полу-

годового проедания отцовского хлеба в Парме? Разве я думал, производя тебя на свет, что в моей семье, благочестивой, испытанной и верной, родится безбожник, развратник, карбонарий, ниспровергатель законной власти, установленной господом богом и наместником Христа в Риме! Ты бесчестный, презренный негодяй, тебе судьба послала такого друга, который, заботясь о тебе, оберегал твою подлую душу каждую минуту... и все оказалось напрасным! Даже имея такого друга и попечителя, ты остался грязным животным!

Старик захлопнул дверь. Никколо едва успел откинуть голову назад. И все-таки он снова стал объяснять матери и условия своей жизни в Парме, и напряженность своей работы в консерватории. Но каждый раз, как только он заговаривал о том, что человек, написавший эти письма, клеветник и негодяй, который намеренно прикрывается дружелюбным тоном, чтобы вкрасться к ней в доверие, она качала головой и говорила:

— Я вполне понимаю твою досаду. Всякий человек, который говорит о тебе правду, кажется тебе негодяем.

Они проговорили всю ночь. Настало утро. Никколо в возбуждении ходил по комнате. Синьора Тереза не отрываясь смотрела на него, словно стремясь перелить всю силу, весь огонь материнской любви и нежности в недостойного сына.

Тяжелый храп за дверью прервался. Синьор Антонио проснулся. Мать мгновенно погасила свечу и открыла шторы. Ясное, хорошее генуэзское утро смотрело в окна.

В дверь постучали.

— Здесь живет скрипач Никколо Паганини?

— Я, синьор.

— Однако вы недаром сидели под крылышком у такого орла, как синьор Паер!

В комнату вошел незнакомый Никколо старик. Внезапно выглянула бритая физиономия синьора Антонио.

— Садитесь, синьор, садитесь,— угодливо пригласил он и снова скрылся за дверью.

Пришелец оказался антрепренером большого генуэзского театра. Он пришел с предложением выступить на вечере в доме синьора Браски, а потом дать в Генуе большой скрипичный концерт. Когда синьор Антонио, приодевшись, вышел к гостю, Никколо намеренно громко произнес:

— Так, значит, синьор Фернандо Паер писал вам обо мне?

— Еще бы! — ответил импрессарио.— Он писал два раза. Он считает вас лучшим своим учеником.
— Как, как? — переспрашивал синьор Антонио.
Никколо торжествовал.

Глава двенадцатая

ЛЬВИНАЯ ЛАПА ПЕРЕВЕРНУЛА СТРАНИЦУ

Первые прокламации Бонапарта в Италии устанавливали равенство сословий, объединение людей, говорящих на одном и том же языке, свободу от австрийского гнета, свободу от жандармского и помещичьего произвола. Итальянская молодежь трепетным восторгом ответила на эти слова, и под штандарты наполеоновских легионов шли десятки тысяч молодых итальянских граждан.

Год за годом уносила из Италии молодые жизни воля Бонапарта, и не сразу эта воля стала понятна тем, кто отдавал ей эти жизни.

Вначале появились французские пушки, потом офицеры и солдаты, потом купцы с обозами товаров, потом аудиторы государственного совета, комиссар и интендант, налагавшие неслыханные контрибуции и обворовывавшие дворцы искусств. Во Францию увозили драгоценнейшие картины, рукописи и книги, обогатившие Париж.

Это еще можно было стерпеть, но невозможно было примириться с тем, что, сперва разорив Италию, ее предавали потом в руки прежних поработителей.

К числу тех, кто больше всего был возмущен Бонапартом, принадлежали представители итальянского карбонаризма. В ломбардо-венецианской организации первенствующую роль играл Уго Фосколо. Это был огромный рыжеволосый человек с львиной головой, автор звучных и прекрасных итальянских стихов. Венецианец, офицер бонапартовской армии, страстный почитатель французской революции, он кинулся очертя голову за французским полководцем. Вместе с Бонапартом он пошел на родной город, всей душой сочувствуя стремлениям Наполеона «разбудить старинную доблесть венецианцев». Но, увидя Венецию преданной и проданной, он возненавидел своего кумира.

На площади, около высокой колокольни, с которой видно чуть ли не оба берега Адриатического моря, высится розовая колонна, и на ней причудливый скульптор поставил на плоском помосте символ покровителя Венецианской республики, евангелиста Марка. На этой высокой колонне

крылатый лев мохнатой лапой с когтями придерживает страницу бронзовой книги.

Бонапарт в Модене 18 апреля 1797 года заявил:

«Дряхлый лев святого Марка не может ожидать пощады от моих революционных солдат. Пусть я буду Атиллой для Венеции, но я всюду уничтожу гнусность инквизиции. Я не хочу ваших сенаторских тайн, и если я дал свободу друзьям народа, то сумею разбить те цепи, которые венецианский сенат сковал для своего народа и сейчас тайно выковывает в союзе с другими правительствами для народа Франции».

12 мая Большой совет Венеции собрался в последний раз, чтобы обсудить предложение о сдаче столицы. На берегу вдалеке разъезжали французские кавалеристы. Маленький генерал с бронзовым лицом и длинными волосами, в треуголке, готовился форсировать переправу. Сенаторы воздержались от голосования, разошлись молча. Дож старинной Венеции вернулся домой, вошел в свои покои, снял шапочку дожа и, вручая ее своему лакею, сказал: «Убери, она мне больше не понадобится».

Четыре дня спустя французы вошли в Венецию. Разбивая старые плиты на островах и на самой площади, венецианские кузнецы, портные, парикмахеры и рыбаки сажали тонкие деревца миндаля и лимона. Это были деревья свободы. Перед одним из таких деревьев сожгли золотую книгу венецианской знати и шапочку дожа, а на бронзовой книге, на которую опиралась лапа льва св. Марка, на месте надписи: «Мир тебе, Марк, мой благовестник», отчеканили новые слова, начинавшие собой «Декларацию прав человека и гражданина». Прекрасный, полнозвучный первый параграф «Декларации прав» высказывал лучшие чаяния многих столетий, от него веяло воздухом фернейских гор и садами Монморанси и Эрменонвиля. Мудрость Вольтера и Руссо создала эту замечательную первую страницу новой истории Франции.

Опьяненный мечтами о человеческом счастье и свободе Венецианской республики, карбонарий Уго Фосколо воскликнул: «Наконец лев перевернул страницу бронзовой книги!»

Прошло немного времени, и Фосколо понял огромную ложь Бонапарта. Страница оказалась перевернутой не вперед, а назад. 18 января 1798 года Наполеон продал венецианскую свободу австрийцам. Белые мундиры австрийцев появились на площади св. Марка. Канаты подтянули литейщиков и слесарей на колонну св. Марка, и снова

старая церковная надпись водворилась на бронзовой книге, под лапами евангельского крылатого льва.

Фосколо бежал в Парму. Вскоре в печати появились его орационы, дерзкое собрание прокламаций и речей против Бонапарта. Фосколо поднял против него всю карбонарскую Италию.

Фердинанд Паер, приехавший в Венецию, так и не смог выехать оттуда в течение всех этих бурных месяцев. А его друг Уго Фосколо начал скитальческую жизнь и все свои дни посвятил борьбе с Бонапартом.

Встречая утреннюю зарю звуками скрипки, Никколо только поздно вечером клал смычок.

Отец с настойчивой грубостью требовал денег. С той же просьбой обращалась мать, когда муж Лукреции проигрывал в карты слишком много.

Чтобы откупиться, Паганини с вечера отдавал все деньги, какие у него были, отцу и матери. Утром он запирался в комнате, которую вытребовал для себя, и не впускал никого. Но чем больше он получал денег от концертов, тем быстрее таяли эти деньги в руках семьи.

Первое время он воздерживался и не ссорился ни с кем из домашних; не потому, что нрав его был кротким и спокойным, а потому, что никогда прежде он не испытывал такого увлечения работой, никогда не был так поглощен страстным исканием новых путей скрипичной техники. То, о чем раньше он только догадывался, то, что раньше ощупью намечал как возможное, теперь он брал как достижимое, с жадностью и порывистостью, незнакомыми ему до сих пор. Он приблизился к тому состоянию упоительной дерзости поисков, той внутренней дрожи, которая всегда предвещает для ученого, для художника, для артиста момент зарождения нового открытия. В дни, когда новое столетие стучалось властно в двери старинной Европы, Паганини ощущал на себе освежающее веяние бурных ветров и весь отдавался поискам нового музыкального мира.

Он чувствовал, что ему может открыться мир неслыханный и невиданный. Он с жадностью рылся в книжных магазинах, он перечитывал горы старых и новых книг. Он тщательно изучал скрипичное мастерство и законы звука. Вместе с тем он почти судорожно схватывал суть старинной итальянской музыки, она перед ним оживляла элегические пьесы Корелли, эпику Вивальди, сладкую лирику Пуньяни и Виотти и, наконец, чарующую фантастическую

музыку авантюриста и монаха, скитальца и безумца Тартини. Все это оживало под его смычком, приобретало новый смысл и значение, словно доказывало, что неумирающее большое искусство для каждого поколения несет новые, только этого поколения достойные откровения.

Когда однажды, слишком туго натянув струну, Паганини оборвал ее, он в рассеянной поспешности натянул альтовые и виолончельные струны. Заметив ошибку, он, вместо того чтобы ее исправить, вдруг улыбнулся той таинственной и загадочной улыбкой, которая бывает у безумцев, у алхимиков, у ученых, открывающих после долгих поисков новое сочетание свойств в старых, давно известных веществах. Паганини решил испытать новые струны, и скрипка заиграла неизмеримо разнообразней и богаче.

С этого дня испытания скрипки продолжались без конца.

И, однако, пришлось такие усиленные занятия внезапно приостановить.

Отец и мать стали жить слишком широко в надежде на заработки сына.

Готовить большие концерты! Не к этому стремился Паганини. Оплачивать проигрыши шурина и биржевые спекуляции отца деньгами, получаемыми за выступления, вдруг показалось молодому скрипачу до того унизительным и опасным, что он стал выискивать повод к разрыву. Повод нашелся.

Прошли слухи, что город Лукка готовился к праздничной встрече нового столетия. Празднества начнутся в день святого Мартина и продлятся до 1 января.

Вот прекрасный предлог! С этого дня начались разговоры о Лукке в семье Паганини. Как бы нечаянно друзья сообщали, что в Лукку съедутся музыканты всего мира, что будет ярмарка, откроются громадные торги и что в это время Никколо может много заработать концертами именно в Лукке.

Ввиду того, что Никколо настойчиво твердил только о своей поездке, отец боязливо прислушивался к этим разговорам.

— Вы будете мною довольны,— говорил сын отцу.

Отец вставал из-за стола, ронял тарелки на пол и бокалы с вином.

Но сын был упорен, и для старика каждый следующий день не приносил ничего нового. Ноябрь месяц быстро приближался. День святого Мартина стал сниться Никколо. Скрипач решил пойти на сделку со старшим братом. План удался блестяще. При условии передачи всех денег стар-

шему брату, который должен был выступать в качестве импрессарио, отец согласился отпустить Никколо в город Лукку на праздник нового века.

Глава тринадцатая
CARMEN SAECULARE

Белесоватая каменная дорога была сплошь покрыта экипажами и пешеходами. Ломбардские паломники, праздношатающиеся туристы, любители развлечений и многочисленные представители разных ярмарочных профессий, законных и незаконных, кто пешком, кто на осле, кто в многоместном экипаже, направлялись по пути в Лукку.

Если для одних это была ярмарка в день святого Мартина, а для других — празднование наступления нового века, то для Паганини к этим двум праздникам присоединялся праздник собственной свободы, праздник полного освобождения от ига отца. Голова кружилась, билось сердце, и если ничего не было сказано отцу, то самому себе была дана клятва во что бы то ни стало не возвращаться домой никогда. Побег был решен, окончательный разрыв с семьей внутренне осознан.

С одной стороны, тут были минуты тревоги неокрепшего отроческого сознания юного человека, горящего любопытством к жизни, с другой — было стремление большого, вполне созревшего артиста к освобождению от той коммерческой сделки с искусством, на которую влекла его своекорыстная воля отца. Все сильней и сильней чувствовал Паганини невозможность под родным кровом расширять свой музыкальный кругозор. И если прежде маленький Паганини страдал от побоев, от непосильной работы, то теперь это сменилось еще более острым страданием, так как оскорбляли его отношение к музыке, его чувство артиста.

Ему давно не хватало воздуха, и не будь этого путешествия в Лукку, он бежал бы юнгой на корабле, он сделался бы поваренком в английском ресторане, он на что угодно променял бы семейные будни. В минуты конфликта с самим собой, с отцом, в минуты колебаний в выборе жизненного пути Паганини чаще всего бросал скрипку и занимался гитарой. В игре на этом инструменте он достиг высокого мастерства. Это было новое чудо виртуозной техники. Но если в скрипке он облагораживал технику и заставлял ее служить себе так, чтобы она давала возмож-

ность раскрыть всю полноту переживаний большого артиста, то гитара выполняла иное назначение: здесь он выливал новое для себя озлобление. Поэтому какой-нибудь банальный танец, сыгранный на гитаре, превращался в сатирическую пародию, намеренно вульгаризованную пальцами Паганини. И чем меньше люди понимали пародийный стиль молодого гитариста, тем больше злорадствовал Паганини. Гитара все чаще и чаще становилась для него средством издевательства над своим душевным состоянием, из которого он не находил выхода,— издевательства над людьми, которым он мстил за охватывавшее его временами недоверие к своему духовному подвигу.

Скрипка и маленький дорожный мешок. Ветер, солнце и пыль. Что может быть лучше ощущения полной свободы, когда вся жизнь впереди!

Праздники итальянских городов — едва ли не самое очаровательное зрелище в мире. Все население принимает в них участие. По воскресеньям итальянские улицы объединяются в общем веселье. Устраиваются процессии, толпы идут с оркестром, нечаянно и внезапно образовавшимся из группы соседей, владеющих разными инструментами. Идут мужчины, женщины, дети, украшенные лентами и цветами, иные — с благопристойным пением, иные — с хлопушками, с фейерверками. Крики звучат тем громче, чем южнее город. В Неаполе сотни хлопушек надевают на огромную металлическую раму, и усталый путник, приехавший в этот день и заснувший в гостинице, бывает разбужен громом и стрельбой и вскакивает, с недоумением открывая жалюзи, думая, что в городе восстание и канонада свергает представителей старой власти. В Венеции — серенады, на каналах лодки с цветными фонариками, певцы и певицы, танцы на берегу и прогулки в море. Все это всегда сопровождается непременной спутницей итальянской радости — музыкой.

Директор луккской капеллы был предупрежден письмом Паера, и Лукка приняла Паганини хорошо. Первое выступление было приурочено к ночной праздничной процессии, вечером второго дня он снова давал концерт. Это был первый успех молодого скрипача. После концерта был устроен вечер в магистрате, и столько было выпито вина с неожиданными и незнакомыми друзьями, что Паганини не помнил, как попал в гостиницу. Это была не та гостиница, где он остановился, но такая мелочь не смутила музыканта: все равно.

Вечером — новый концерт. Первый раз Паганини не готовился к концерту. Он вышел на эстраду с непонятным

чувством победной уверенности, и это чувство было похоже на огонь, пробегающий по жилам новобранца, вдруг, после первых колебаний, бросившегося в атаку.

Под обстрелом сотен глаз Паганини поднял смычок. Мелодии ушедшего столетия, мелодии Люлли и Рамо, чарующие такты менуэтов и гавота сменялись звуками охотничьего рога. Торжественное звучание церковных колоколов, похоронные песни и голоса гневных псалмов постепенно уступали место вторгающимся нечаянно стеклянным перезвонам колокольчиков. Раздавалась музыка того странного десятилетия, когда в церковные хоралы вливались звуки веселых и непристойных танцев. Колокольный звон благословения переходил в набат, набат сменялся простыми солдатскими и крестьянскими песнями Франции. Опять «Dies irae»[1], и, как из пропасти, раздаются глухие удары, топот конницы и вой бури врезаются в зал, наполненный праздничной, нарядной толпой. Все ускоряя всплески аккордов, Паганини рисует звуками, музыкальным вихрем колоссальную картину событий, потрясающих Европу. В финальных тактах раздаются звуки итальянской «Карманьолы» и «Марсельезы». Это была поступь нового столетия. Это была «Юбилейная песня».

Когда прошла неделя святого Мартина, миновали праздники, были выметены затоптанные букеты, конфетти, серпантин и обрывки лент, за опьянением первой недели свободы наступило отрезвление. Возникло стремление осмыслить пройденный путь. Но это стремление не увенчалось успехом. Строй, лад, ритм в музыке и в жизни — все казалось подчиненным какому-то целесообразному большому закону, управляющему всеми явлениями в мире. Паганини подходил к этому наивно, с бережливостью неофита и застенчивостью неопытного мыслителя. Он совершенно отчетливо ощущал, почти осязал значение самого себя как существа, воплощающего музыку. Паганини чувствовал себя современником нового века.

Он воспринимал всю церковную музыку как нечто враждебное тем звукам, форма которых звучала для него в «Карманьоле» и «Марсельезе». Огонь новой эпохи, пожары восстаний, их уничтожающее пламя, вихрем набегавшее на образы старого мира,— все это враждовало со спокойными церковными напевами, с гимнами католической церкви, с тем музыкальным предписанием смирения и покорности, которое было похоже на укрощение человеческого зверинца мелодиями Орфея.

---

[1] «День гнева» (*лат.*) — церковное песнопение.

Паганини любил сыпать в стакан горячей воды полные ложки соли. Он смотрел затем, как маленький сухой кристаллик, брошенный в этот перенасыщенный раствор, мгновенно вызывает бурную кристаллизацию в тяжелой, не имевшей самостоятельной формы, массе.

Паганини усматривал в этом процессе, преобразующем мертвое вещество, те же самые явления, какие он наблюдал в концертном зале, когда раздробленные, бесформенные части человеческого сознания и воли вдруг кристаллизуются и приобретают необыкновенную стройность под влиянием музыки. Он улавливал раздражение, являющееся результатом дерзкого сочетания необычных аккордов и звуков, когда человек старается освободиться от внезапно налетающих чувств и не может, потому что дерзновенное сочетание звуков и чувств облечено в такую гармоническую форму, которая неотступно преследует человеческое сознание. И тот, кто услышал это сочетание звуков, оказывается им порабощенным, хотя знает о запретности этого сочетания.

Засыпая после концертов, Паганини просыпался внезапно как бы в бреду или в лихорадке. Ему казалось, что музыка должна перестроить весь мир вещей и строй человеческих отношений. Но какая это должна быть музыка? В поисках этой музыки он чувствовал себя все более и более утомленным, а впечатления Лукки усиливали это утомление.

Паганини устремился к другой игре. Зеленые столы, куски мела, таблички из слоновой кости, свинцовый карандаш, лопаточка крупье и горсти червонцев — все это заставило бросить скрипку надолго. Все это изменило дни и ночи, часы и минуты, мысли и чувства Паганини.

Под утро, с распухшими веками, с пожелтевшим лицом, с большими синими кругами под глазами, юноша выходил из игорного дома. Усталый, заспанный лакей подавал ему шляпу и трость. Сырой туман встречал его на пустынных улицах Лукки. Торговец овощами презрительно глядел в его сторону, девушки ночной профессии окликали его насмешливыми голосами и предлагали пройти с ними целую школу удовольствий. Паганини был утомлен и проигрышем и усиленным прохождением курса этой школы. У него появилось то отвращение к жизни, которое раньше было незнакомо мальчику, изнуренному только тяжелой работой, только той растратой сил, в которой он *сам* не был виновен.

Как это *все* случилось, Паганини не помнил. Он поклялся, что никогда *этого* не забудет и никогда *это* не

повторится. Он лежал в ливорнском госпитале. Давно ли он был в Ливорно? Как он попал в Ливорно?

Его окружают люди в больничных халатах, доктор в красной шапочке, с молоточком и со стетоскопом в руках. Паганини слышит: *«...был бред».*

«Быть может, *все это* — только страшный сон,— думает он.— Лучше никому не говорить *об этом».*

Что он вспомнил? Крик женщины и зарезанного ребенка!.. Идиотическую болтовню пьяных людей у костра. Темный овраг, огромные деревья где-то очень высоко. Он словно на дне колодца. Люди за кустами у костра. Страшные лица, гримасы пьяного хохота. И вот человек с огромной бородой, с синим носом, с воспаленными веками держит в руках его скрипку и словно перепиливает ее смычком. Отвратительные, чудовищные, жалкие звуки. Потом опять бессознательное состояние.

— ...Да, вспомнил! — вдруг громко произнес Паганини. Он скинул одеяло и сел на постели.

Последний концерт он давал в Ливорно.

И, как бы отвечая ему в тон, доктор сказал:

— Да, я был на вашем концерте. А после концерта, на следующий день, вас нашли неподалеку от южных ливорнских ворот. Вас ограбили начисто, очевидно: у вас не было даже вашей скрипки. Вы метались в сильном жару, а теперь, чтобы выздороветь, вам необходим полный покой.

— Сколько времени я здесь, в Ливорно? — тревожно спросил Паганини.

— Не могу вам сказать. На моем попечении вы три дня. За это время дважды к вам приходил господин Ливрон.

— Не знаю его,— сказал Паганини.

— Вот как! Это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата.

— Зачем я ему нужен?

— Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично,— заметил доктор, недоверчиво глядя на Паганини.

К вечеру действительно пришел высокий, весьма благообразный человек и попросил разрешения говорить с синьором Паганини. Осторожно, в очень деликатной форме, Ливрон просил синьора Паганини «оказать ему высокую честь», испытать достоинства скрипки Гварнери, принадлежащей ему, Ливрону. Паганини не знал, что ответить, но быстро нашелся, поблагодарил Ливрона и сказал, что надеется испытать эту скрипку в первом концерте, который даст по выздоровлении.

Познакомившись ближе с господином Ливроном, Паганини переехал к нему. Член ливорнского магистрата оказался весьма гостеприимным хозяином. Он предоставил в полное распоряжение музыканта комнаты, настолько спокойные и удобные для работы, и сам так мало напоминал гостю о своем существовании, что Паганини чувствовал огромную благодарность к этому человеку. Но все эти дни были наполнены для Паганини тревогой, отравлены непонятной встречей с той страшной половиной жизни, которая существует бок о бок с обычными, светлыми и ясными днями человеческого сознания. Теперь, во время игры, Паганини чувствовал необходимость сорвать голубую пелену с черного, нависающего над миром неба. Он говорил себе, что кошмар за воротами города раскрыл для него незнакомый ему доселе ужас.

Это чувство прорывалось у него потоком демонических, разорванных, уничтожающих друг друга мелодий. Он видел, как дрожь пробегает по рядам концертной залы, когда эти ноющие, меланхолические и страшные звуки врываются в кантилену. Он видел страдание на человеческих лицах, он чувствовал мольбу о прекращении этих страданий. Он наблюдал то неосознанное чувство самосохранения, которое вдруг заставляет человека мгновенно накинуть покрывало на тайну смерти, тайну несчастия, тайну уничтожения и страдания. И Паганини чувствовал себя на огромной высоте, когда ему удавалось касаться этого покрова лишь настолько, чтобы придать ему, этому покрову, этому миражу благополучия, спасительное значение реальности, гораздо большей, чем реальность человеческих мук и страданий. Жизнь торжествовала над этим случайно приоткрытым, страшным и близким миром.

Скрипка Гварнери была настолько звучным, настолько послушным инструментом, что она вполне заменяла ему прежнюю. Он помнил эту скрипку по литомонографии, виденной у графа Козио. Она значилась под номером триста и называлась «Гварнери дель Джезу».

После концерта Паганини, рассыпаясь в похвалах этому инструменту, бережно вручил его Ливрону, пришедшему за кулисы. Ливрон покачал головой.

— Не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный Паганини,— произнес он, очевидно, давно приготовленную фразу.

Мечта Паганини осуществилась — «Дель Джезу» принадлежала ему.

Широкая, с эфами, слегка выщербленными временем, с потеками полустертого лака, с квадратным надрезом на

верхней деке над левым эфом, эта скрипка носила следы принадлежности многим владельцам. Но ее звуки поражали Паганини.

— Это звуки самой природы, это живые голоса! — восторгался он.

На третий день после первого концерта Паганини сделал опыт. Он натянул на эту скрипку виолончельные струны и дал заказ мастерской Рокеджани из двух смычков Турта сделать смычок необыкновенной длины.

— Козио,— говорил Паганини,— с ужасом относится к надвигающемуся времени, а я его приветствую. Я с ужасом отношусь к тому прошлому, которое вторгается в нынешний день, но я прав, натягивая новые струны на старинную скрипку и беззаконно удлиняя смычок великого мастера Турта. Во Франции новые люди открывают новые законы устройства человеческого общества. Кто запретит человеку открывать новые свойства в мире звуков? Вот виолончельные струны на скрипке открывают бесчисленные возможности и увеличивают диапазон, а удлинение смычка — такая простая вещь — наилучшее средство дать звук необходимой протяженности.

Как-то случилось, что никто не заметил внешних перемен в инструменте синьора Паганини. Четыре концерта прошли блестяще. Это был успех, какого Паганини не мог ожидать, фанатическое ликование огромной массы людей.

И, однако, Паганини ждал беды. Самый успех концертов был преодолением того сопротивления, той враждебной настроенности, которые все чаще ощущались музыкантом. Огромное количество сплетен ходило по городу. Они доползали до слуха Паганини.

«Паганини проиграл скрипку в карты и потому не дает концерта. Паганини заразился дурной болезнью, потому он лежит в госпитале». Толстый каноник соборной церкви говорил купцам, собравшимся на крещение новорожденного в семье ливорнского портового маклера:

— Я знаю этого скрипача. Это дьявольская скрипка, это проклятые богом звуки, это нечистая музыка, которую не должны слушать верные сыны церкви.

На седьмой концерт съехались музыканты со всех концов Северной Италии. Одни слушали Паганини с ненавистью и завистью, другие — с религиозным благоговением и энтузиазмом. Сливаясь, их голоса возглашали ему неслыханную славу.

В это время Паганини впервые пришлось узнать, что такое анонимные письма.

Ему прислали по почте пасквиль, в котором называли

его исчадием дьявола, грозили ему вечными муками, издевались над ним, говоря, что он натянул воловьи жилы на скрипку, украденную у купца Ливрона, и что стыдно итальянскому скрипачу в почтенном концертном зале честного города шарлатанить и издеваться над публикой, играя смычком, равным по длине мосту через реку Арно.

В одном анонимном письме автор усердно расхваливал свой рогатый скот, как наиболее жилистый, и предлагал Паганини купить целое стадо волов для изготовления струн. Письмо кончалось выражением уверенности, что самая большая, самая рогатая скотина есть сам скрипач Паганини.

Другое письмо, по-видимому согласованное с первым, предлагало самые высокие деревья ливорнского парка для изготовления смычка. К письму был приложен рисунок, изображавший артель Паганини: Паганини руками и ногами давит на струны, в то время как десять здоровенных молодцов на каждом конце смычка тянут этот необычной длины инструмент, как пилу на лесопилке.

Первые щипки и укусы не произвели на Паганини никакого впечатления.

— Я становлюсь знаменит,— говорит он Ливрону,— а если так, то по пятам за мной будут бегать собаки и кусать за пятки.

Ливрон, которому Паганини показал эти письма, качал головой с выражением досады и недоумения.

Венеция была отдана Австрии, а в 1798 году римский папа внезапно оказался лишенным светской власти. Из старой Романьи была выкроена Римская республика. 15 декабря 1798 года Рим был занят французами. Не выступая против Франции открыто, римская церковь, в лице сотен тысяч попов, начала свою деятельность тайно и придала ей характер широкого народного движения. Как только попы увидели, что французская армия намеревается посягнуть на благосостояние церкви, так по всем церквам статуи и изображения святых, богоматери и Христа стали источать слезы. В Риме Христос, полагаемый в плащаницу, за ночь раскрыл глаза и смотрел широкими зрачками на бесчинства французской армии. По городу двигались процессии босых людей, намеренно одетых в рубища. Как искры, пробегали в толпе слухи о том, что какая-то статуя дважды открывала глаза и гневно исказила свой лик. На площади Поларола икона мадонны делье Сапонаро стала «источать молоко». Этим молоком налили двести

лампад, которые «зажглись сами собой». Священники в облачениях, орарях и ризах за недорогую плату окунали четки, приносимые простонародьем, в эту маслянистую беловатую жидкость.

Однако находилась молодежь, которая шла во французскую национальную гвардию, и в день празднования федерации было немало людей, нарядившихся в античные костюмы и с венками на головах прошедших в республиканской процессии, чтобы потом на площади святого Петра принять участие в большом торжественном обеде, где римское население браталось с французской гвардией. Были пущены слухи о том, что этот «праздник привлек тысячи демонов, которые отомстят нечестивому Риму за участие в празднике федерации».

И вот, когда римской курии казалось, что новое столетие принесет для римской церкви неисчислимые беды, все изменилось.

Бонапарт чувствовал необходимость замирения с римским папой. Но в это время умер Пий VI. Рим был занят, но заключать какое бы то ни было соглашение было не с кем. Тайком, в чужих одеждах, пробравшись по северным дорогам, кардиналы римской апостольской курии собрались в Санто-Джорджо, близ Венеции, под крылом австрийских жандармов, и тринадцатого числа третьего месяца нового столетия собрали тайный конклав и приступили к избранию нового папы. Так возник Пий VII, первоначально в роли активного врага Франции.

Однако Пий VII решился на все, для того чтобы удержать могущество римской церкви. Потеря Франции очень чувствительно пошатнула доходы римской церкви. Он признал отчуждение духовных имений. Это стоило ему четырехсот миллионов франков. Он согласился на новую организацию французского духовенства, с тем чтобы правительство имело право назначать на должности и платить жалованье; он выговорил себе только одну уступку — римскому папе по-прежнему предоставлялось право канонического утверждения.

Расчет был верен: личный состав католической армии папы решал огромное большинство вопросов. Римская церковь могла торжествовать победу в том отношении, что во Франции она считалась церковью государственной. И в 1802 году, без всякого торжества, ночью, выехал в Париж римский кардинал, который вез с собой подписанный папой Пием VII конкордат, соглашение между французским республиканским генералом и римским первосвященником, в силу которого воспитание огромной массы французского

населения снова отдавалось в руки католической церкви, а католическая церковь из врага, изрыгающего проклятия на голову французского командования, превращалась в друга и союзника.

Так, начав с прокламаций, объявляющих отмену религии, равенство и братство во всей Италии, Наполеон кончил отдачей Франции в руки католической церкви. Оба невольные друга, Пий VII и генерал Бонапарт, чувствовали себя несколько неловко.

Слушая унылый звон Nôtre-Dame de Paris[1], соратники Бонапарта спрашивали, стоило ли вешать столько попов на парижских фонарях, для того чтобы снова пустить этого козла в огород. Бывший революционный генерал, мечтавший теперь о том дне, когда глава католической церкви возложит корону на его голову, ответил насмешливо, что водворение католических попов в Париже и по французским селам и деревням не делает обязательным культ католической церкви для него, Бонапарта, и для его генералов.

Следующим шагом Бонапарта было предложение папе избрать столицей католического мира Париж или Авиньон.

На это папа Пий VII ответил, что в городе Палермо уже заготовлена грамота с отречением от папства, и эта грамота аннулирует все договоры с Францией, если папа Пий VII будет задержан французами по дороге в Рим. В тот же вечер римский папа принял адмирала английской эскадры, который обещал ему всяческое содействие в случае необходимости побега.

Католическая церковь становилась орудием в руках недавних врагов. Англичане хотели использовать вражду римского папы и Франции, ненавидя Бонапарта и стремясь всяческими средствами парализовать все его начинания на территории Апеннинского полуострова. Католическая церковь снова чувствовала себя господствующей властью в Италии.

Ливрон, у которого жил Паганини, был французом, и французские симпатии Паганини сближали гостя с хозяином. Но Паганини сделал неосторожный шаг. Не посоветовавшись с другом, он ответил на приглашение английского консула в Ливорно и провел у него целый вечер. Он играл у английского консула на скрипке, подаренной Ливроном, он воспользовался предложением английского консула и командования английской эскадры и согласился на орга-

[1] Собор Парижской богоматери (*франц.*).

низацию огромного концерта в Ливорно, написав для него обширную программу. После этого неизбежной была ссора с Ливроном. Ливрон дал понять, что его тяготит присутствие Паганини. Скрипач в тот же день переехал в гостиницу «Черного коня».

Наступил день концерта. Огромное количество публики наполнило зал и коридоры ливорнского театра. Почетный караул английских моряков стоял у входа, сдерживая натиск толпы.

Однако, несмотря на огромное скопление публики, нетерпеливо ожидавшей начала, синьор Паганини отсутствовал.

Незадолго до начала концерта Паганини обнаружил, что ботфорты, выставленные за дверь номера, исчезли. На звонок сонетки, на крики никто не отозвался. Пьяные лакей и привратники спали на лавке при входе в гостиницу. В комнатных туфлях пошел Паганини через улицу в магазин обуви и вдруг заметил, что за ним следят. Два человека не спускали с него глаз.

Мальчишки, бегавшие по улице, громко выкрикивали его фамилию. Вокруг Паганини быстро выросла толпа. Его узнали, его разглядывали с удивлением. Смотрели на его мягкие туфли, на штрипки, на чулки. Раздались свистки, в него швырнули камнем. К счастью, Паганини уже добрался до магазина.

Приказчик предложил Паганини примерить ботфорты. Они очень жали. Десять минут осталось до начала концерта. Паганини попросил дать другую пару. Приказчик отрицательно покачал головой. Единственная пара предлагалась синьору Паганини. Это имя приказчик произнес не то с насмешкой, не то с неуклюжим выражением низкопоклонства.

Бросив деньги на прилавок, Паганини, с ботфортами в руках, вышел из магазина. Опять началась пытка преследования. У входа в магазин дожидалась толпа. Зеваки, заглядывающие прямо в глаза, мальчишки, обгоняющие его и дергающие за ботфорты,— все это провожало его до гостиницы.

В концертном зале публика громко выражала свое нетерпение. Никогда Паганини так не опаздывал.

Свист и рукоплескания раздались одновременно, когда Паганини, отпустив веттурино, соскочил с подножки и быстро побежал по лестнице. Вот Паганини ступил на верхнюю площадку и вдруг почувствовал, что в левом сапоге — острый гвоздь. Неужели улыбка приказчика говорила о том, что обувь заготовлена с умыслом?

Чувствуя, как кровь смачивает чулок, Паганини вышел на ярко освещенную эстраду. Подходя к авансцене, Паганини вздрогнул: осколки стекла и гвозди впились ему в ногу.

Он начал концерт.

Первым номером шли вариации на тему «Карманьолы».

После этого он должен был играть с оркестром. Сидя в актерской комнате, он слушал, как шумит зал. Оркестрантов почему-то не было видно. Но вот мимо прошел высокий человек с барабаном, за ним бледный юноша с фаготом. Оба растерянно озирались по сторонам и, увидя Паганини, подошли к нему:

— Маэстро инсуперато, неужели только мы из всего оркестра?

Кровь ударила в голову Паганини: действительно, коридор, и актерская комната, и место обычного сбора оркестрантов были пусты. Да, действительно, только фагот и барабан были на месте. А публика волновалась и ждала. Насмешливая лисья мордочка какой-то женщины появилась из-за портьеры и исчезла, в коридоре послышалось хихиканье. Паганини громко позвал:

— Импрессарио!

Молчание было ответом. Второй раз, более почтительно окликнул:

— Синьор импрессарио!

Никакого ответа.

Паганини бегал по коридору, из комнаты в комнату. Он слышал, как убегают на цыпочках какие-то люди, кто-то скрывался при его появлении, и всюду встречали его тишина и пустота.

Паганини коснулся ладонями лба. Нет, это не во сне.

За кулисами появился синьор английский консул с супругой и адмиралом Кейсом. Поздоровались. Обменялись короткими замечаниями. Консул вышел из комнаты. Его жена, ударяя веером по ладони, с волнением убеждала Паганини, что необходимо, невзирая на отсутствие оркестра, выступить, лишь изменив программу. Быстро вооружившись карандашом, она попросила Паганини назвать пьесы, которые он мог бы сыграть без оркестра. Поднимая указательный палец, она говорила:

— Я вполне понимаю, в чем тут дело, я вполне понимаю, кто это сделал. Это местные аматеры.

Она произнесла это слово с выражением легкого презрения, не уничтожавшего улыбки, обращенной к Паганини.

И вдруг, отодвинув портьеру, вошел человек. Приблизившись смиренной и тяжеловесной походкой, улыбаясь исподлобья, он кивнул скрипачу и протянул ему обе руки. Это был каноник Нови. Он обнял Паганини, и посыпался целый поток ласковых и милостивых слов.

— Да, у тебя сегодня неудача, но бог милостив. Да как же ты оставил семью! Да, ты знаешь, твой отец болен! Да, ты знаешь, бог наказывает дурных сыновей! Да, ты знаешь, семья в нищете! Да, ты прославленный скрипач, да, мой брат говорил...

— Ну вот, программа готова,— сказала англичанка.— Я буду все время здесь, я буду вам помогать.

— А, что... не пришел оркестр? — заговорил Нови.— Да, да, ты обидел, ты обидел многих. Нельзя же! У них свой музыкальный круг в Ливорно. Хорошие скрипачи, ты никого из них не пригласил, вот теперь кайся. Нельзя быть таким бессердечным к своему ближнему. Христос и церковь...

— Подожди! — прервал его Паганини.— Так это — сознательная гадость, так это нарочно подговорили оркестр, чтобы он сорвал концерт?!

Не дослушав Нови, он кивнул головой англичанке и, преодолевая сильную боль в ступнях, выбежал на эстраду.

Зал мгновенно затих. Вслед за этим раздался взрыв рукоплесканий. Это был громкий и грозный ответ публики на демонстрацию оркестрантов. Паганини чувствовал, что он уже победил. Но на первых тактах сонаты Тартини лопнула струна: пока скрипач искал импрессарио, кто-то успел надрезать струны. Тогда Паганини внезапно перешел к вариациям на темы Тартини. Он рискнул на отчаянный прыжок. Лопнула вторая струна! Не дрогнув, не потеряв темпа, Паганини на двух струнах закончил неслыханно трудную, недавно написанную им вещь.

Карета английского консула остановилась около гостиницы «Черного коня» поздно ночью. А на следующее утро явился Гаррис, клерк английского консульства. Патрон предоставил его в полное распоряжение синьора Паганини. Гаррис должен был оказывать всяческое содействие синьору при организации концертов не только в Ливорно, но и повсюду в Италии. Это был остробородый человек маленького роста, изящно одетый, с морщинистым, очень напудренным лицом, с необыкновенной пестротою шевелюры: черные и белые пряди чередовались в странной последовательности, как на боках зебры. Усмешка, относящаяся

скорей к внутренним размышлениям самого Гарриса, чем к словам собеседника, понравилась Паганини. Он просил передать благодарность английскому консулу и услуги принял.

Синьор Паганини был приглашен отобедать у консула.

В тот же день Паганини посетили восемь ливорнских скрипачей. Они начали со сбивчивых объяснений, уверяли, что они были введены в заблуждение целым рядом писем, в которых «участники ливорнского театрального оркестра обращались к ним за советом». Они говорили быстро и перебивая друг друга, но так и не дали сколько-нибудь осязательного доказательства своей невиновности. Только один из них очень мрачно заявил, что они привыкли уважать традиции старого скрипичного искусства и боялись, как бы такой молодой скрипач, как Паганини, не скомпрометировал игры на скрипке и не испортил вкуса здешней публики.

Паганини почувствовал, что он никогда не будет в состоянии преодолеть глухое и тайное враждебное сопротивление этих своих «ливорнских друзей».

Наконец его вниманию было предложено коллективное заявление оркестра, говорящее о том, что только на условиях вполне определенного — и, как увидел Паганини, совершенно непосильного для него — гонорара ливорнский оркестр соглашается брать на себя устройство следующих концертов. Ему было заявлено, что оркестр в Ливорно обычно насчитывает в своем составе сто двадцать человек, а к следующему выступлению должен быть увеличен на сорок семь единиц. На этом Паганини перебил их и сказал, что он подумает, прежде чем дать согласие, но во всяком случае ему самому лучше известно, какой состав оркестра нужен для следующих концертов.

С любезными фразами и приятными улыбками скрипачи откланялись.

Ответного визита Паганини не сделал. Он не вступил с жизнью в сделку. Ньекко, Паер, Гиретти всегда внушали ему преклонение перед высоким авторитетом искусства, свободного от расчетов. Этому помогала молодость.

И вот люди, никогда особенно не интересовавшиеся делами церкви, сделались чрезвычайно благочестивыми.

Паганини ничего об этом не знал. Он не замечал шуршания двуногих крыс в соседних номерах гостиницы «Черного коня», он не чувствовал, что воздух отравлен клеветой и завистью, он не видел, что десятки глаз следят за каждым его шагом из-под портьер, из-за занавесок, сквозь стекла окон.

Гаррис сделал доклад своему патрону о судьбе Паганини. Афиши возвестили о трех концертах подряд.

Но первый концерт не смог состояться из-за того, что в этот день были объявлены похороны супруги ливорнского префекта.

На следующий день, когда Паганини вместе с Гаррисом подъехал к театру, он застал дверь запертой. Огромная афиша уведомляла публику, что концерты, назначенные на последующие дни, отменяются.

— Кто это сделал? — воскликнул Паганини.

Гаррис пожимал плечами.

Не добившись нигде толку, Паганини вернулся в гостиницу. Через час приехал Гаррис. Его удивлению не было границ. Разводя руками, он вбежал по лестнице и молча вручил Паганини письмо. Письмо было от имени самого Паганини, он заявлял, что по болезни не будет давать концертов и собирается уехать из Ливорно. Письмо было адресовано на имя капельмейстера ливорнского театра, синьора Бальди, и подписано со всей изысканностью обращения самим синьором Никколо Паганини.

— Я теряюсь в догадках,— сказал наконец Гаррис,— с кем вы поссорились.

— Не может ли господин консул...— начал было Паганини, но остановился, видя, что Гаррис качает головой.

— Господин консул решил не вмешиваться больше в это, у него сейчас в руках дело о последствиях римской резни.

— Что такое? — спросил Паганини.

— Видите ли,— начал Гаррис издалека,— во время пребывания генерала Массена в Риме в прошлом году, когда французы вели себя как разбойники, были нанесены оскорбления не только папе, у которого французский адъютант сорвал перстень, не только области, с которой были собраны пятнадцать миллионов золотом контрибуции, но французские солдаты и офицеры целыми улицами выселяли жителей, выгоняли женщин в одном белье из квартир, грабили и убивали. Вам известна причина смерти папы Пия Шестого?

Паганини наклонил голову.

— Вы знаете также, что наш славный адмирал Нельсон разбил французский флот, вы знаете также, что кардинал Фабрицио Руффо со своей армией веры сумел заставить население позабыть о жестокости французских солдат, вы знаете, что сейчас действует римская инквизиция. Так вот, вчера в Ливорно прибыли английские граж-

дане, принятые инквизицией за французов, и господину консулу по горло дел. Нам придется подождать несколько дней.

Вскоре Гаррис получил возможность вновь обратить внимание консула на дела Паганини. Было рассказано все, вплоть до последней истории с письмом. Гаррис подробно описывал состояние Паганини. В комнате беспорядок. Скрипки, и даже драгоценная скрипка Гварнери, остаются в незапертом номере, когда Паганини уходит. Часы, кольца, золотые цепочки — все это остается без всякого надзора. Юноша живет в каком-то лихорадочном возбуждении, исписывает огромные листы нотной бумаги и, по-видимому, не чувствует той обстановки, которая его окружает: он, по-видимому, не видит тех туч, которые собираются над его головой.

Эсквайр Сидней зевнул, выслушав этот рассказ, поднялся, захватил перчатки со стола и, уходя, молча вручил Гаррису краткое донесение одного из агентов.

Секретный кабинет английского короля интересовался решительно всем, что происходило в итальянских городах, и консулы, помимо прямой обязанности защищать великобританских граждан, выполняли тысячу весьма сложных поручений, результаты которых обсуждались потом за большим столом сен-джемского кабинета. Из отдельных отрывков составлялась полная политическая карта Италии, в которой были особо отмечены «Очаги, зараженные французским якобинством и ядом бонапартовского влияния».

Гаррис прочел короткое сообщение о том, что в течение ближайшей недели свечи не будут отпущены ни для одного большого зала в городе Ливорно, если в этих залах будет выступать скрипач Паганини.

Гаррис вздрогнул. Видимо, Паганини растревожил какого-то очень серьезного врага.

Проходил день за днем. В гостинице «Черного коня» были исписаны новые тетради нотной бумаги. Возникли три новые пьесы. Это были его первые каприччио. За это время пришлось продать часы, цепочки и кольца. Хозяин гостиницы получил по счетам. Некоторая сумма была отправлена через ливорнский банк в город Геную, синьоре Терезе Паганини. Паганини беззаботно рассчитывал на то, что следующие концерты поправят его денежные дела. Но время шло, а синьору Гаррису все не удавалось добиться чего-нибудь определенного. У Паганини осталось всего тридцать франков.

Глава четырнадцатая

НА ТРИ ФРАНКА

В тот день, когда обнаружилось, что затронут основной капитал в тридцать франков, Паганини впервые почувствовал, что попал в затруднительное положение. Без концерта в Ливорно он не мог выехать никуда. Мальпост до ближайшего города стоил двадцать семь лир. Не идти же ему с инструментами и нотами, со всем багажом, пешком по горным дорогам. Денег оставалось самое большое на два дня. А дальше — счета в гостинице, счета в ресторане, счета прачки. Чувство страшной неловкости при мысли о разговоре с Гаррисом на эту тему отнимало у него какую бы то ни было возможность обратиться за помощью к консулу. Да к тому же Гаррис исчез. Идти к консулу или к Ливрону, самому заговорить о двухстах франках было просто невозможно. Разложив стопками чентезими и сольди, Паганини точно рассчитал, сколько нужно тратить на обед, на кофе, на ужин.

Наконец осталось три франка.

На вершине славы Паганини чувствовал себя глубоко несчастным и завидовал убогим нищим, которые могут просить милостыню. Он, победитель ливорнских музыкантов, не мог попросить пятифранковой монеты без того, чтобы не вызвать улыбки презрения у человека, рукоплескавшего ему в лихорадочном восторге на концерте.

И как нарочно, в один из тех часов, когда Паганини, раздумывая о своем невеселом положении, шагал из угла в угол по неубранной комнате, явился к нему человек, посланный князем Боргезе. Племянник кардинала желал купить знаменитую скрипку «Дель Джезу».

Юноша горько усмехнулся:

— Скажите князю, что я не торговец скрипками.

— О, что вы, синьор Паганини! — подняв руки, взмолился секретарь. Но потом, хитро улыбаясь, снова повел настойчивую атаку: — Но, синьор, вам будет обеспечена возможность прожить многие годы, не заботясь о заработке.

— Итак, вы думаете,— грубо оборвал его Паганини,— что ваш князь даст мне полмиллиона франков?

— Полмиллиона? — удивленно переспросил тихим голосом секретарь.— Эччеленца дает вам две тысячи франков.

На следующее утро консул, недовольно поморщившись, протянул Гаррису ливорнскую газету. На первой странице

траурной каймой была выделена заметка о том, что синьор Паганини продает свою скрипку, но пришедший по объявлению покупатель был поражен его жадностью: очевидно, дела синьора Паганини чрезвычайно плохи.

Не теряя времени, на следующий же день Гаррис, веселый и смеющийся, улыбаясь всеми морщинами своего не по возрасту старческого лица, пригласил Паганини быть его спутником до города Лукки. Паганини, комически разведя руками, возразил:

— Дорогой Гаррис, у меня в Ливорно долги.

— О, не беспокойтесь! — сказал Гаррис.— Только не откажите мне в дружеской просьбе, поедемте в Лукку. А через два дня вернемся обратно.

— Нет, только не обратно! — закричал Паганини.— Что я буду делать в Ливорно?

— Побеждать,— ответил Гаррис с такой спокойной уверенностью в голосе, что Паганини дружески протянул ему обе руки.

Лукка сразу поправила дела.

Концерты Паганини следовали один за другим через каждые три дня.

Во время одного из этих концертов за кулисы пришли Ньекко и его молодая жена, в которой Паганини сразу узнал девушку, встреченную когда-то у синьора Ньекко. Был праздник «святого креста», и, воспользовавшись праздником, Ньекко и его друг Пазини вместе с оркестром и луккской капеллой устроили Паганини торжественную встречу. Паганини сам говорил, что это было одновременно и экзаменом и триумфом. Синьор Ньекко выступил перед публикой с небольшой речью, сказав, что Паганини обладает музыкальным секретом, который они, музыканты, вполне одобряют (действительно, музыканты города Лукки вынесли одобрение тем изменениям в скрипке, которые допустил с такой дерзостью синьор Паганини: новые виолончельные струны и длинный смычок — все было одобрено), и пользуется этим своим секретом с виртуозным мастерством подлинного артиста.

Началась как будто спокойная и счастливая жизнь в Лукке. Ежедневные свидания с Ньекко и его подругой обеспечили Паганини то счастливое наполнение времени, которое необходимо артисту в часы, свободные от творческого напряжения.

Ньекко рассказывал Паганини о событиях в Венеции, о встрече с Паером, о том огромном потрясении, которое

прошло по всей стране. День за днем вводил его в круг интересов карбонаризма.

Паганини охотно пошел навстречу предложению вступить в североитальянское объединение и сделаться рядовым участником подпольной работы луккской венты.

От Ньекко Паганини узнал в числе прочих новостей, что Паер написал оперу «Камилла», что он собирается ехать на север с женой, певицей Риккарди, что Ролла переехал в Милан и не нынче-завтра будет дирижером миланского театра «Ла Скала».

Гаррис вернулся в Лукку. Трудно было понять Паганини, что делает его друг, но Гаррис великолепно понимал, что делает Паганини. Ньекко узнал от Гарриса о жизни Паганини в Ливорно, Гаррис сообщил ему о попытках вырвать из рук Паганини драгоценную скрипку Гварнери. Он сообщил и о другом, весьма таинственном предложении, которое не дошло до Паганини и было вовремя перехвачено его другом. В последние дни пребывания Паганини в Ливорно мистер Гаррис имел возможность убедиться, что человек, достаточно могущественный, был заинтересован в том, чтобы синьор Паганини как можно скорей уехал из Ливорно, и даже из Италии, и даже, как казалось Гаррису, исчез бы из жизни.

— Князь Боргезе,— говорил Гаррис,— первоначально соблазнял синьора Паганини предложением купить скрипку, а следующим планом его было предложить Паганини выгодный ангажемент в Петербург. Там, при дворе русского царя, некий граф Жозеф де Местр устроил бы его дела.

Ньекко хорошо знал, о каком Боргезе идет речь. Этот добродушный князь был страшным врагом французов и французской политики. Ньекко много слышал об этом человеке. Осколки огромного сосуда всевозможных ядов, именуемого обществом Иисуса, были разбросаны по Италии, и вот одним из очень крупных осколков иезуитского ордена, упраздненного папой Климентом XIV, был князь Боргезе, полный, кривоногий, веселый и добродушный человек. Ньекко знал этого старика с его обаятельным добродушием, всепрощением, чрезвычайной снисходительностью к человеческим грехам, с пристрастием к употреблению зеленых, лиловых и красных ликеров в неимоверных количествах, с его проповедью большого снисхождения к человеческим слабостям. Князь Боргезе любил говорить, обращаясь главным образом к семинаристам, что человек, допускающий культ Вакха и Венеры, всегда доступен раскаянию и божье милосердие всегда может вернуться к нему. Но человек, погрязший в гордыне трезвости, шепе-

тильности и порядочности, является очень опасным для церкви, так как имеет склонность к свободе ума, к вольномыслию и ко всем опасным соблазнам разума. От них все несчастия нынешнего века.

Ньекко знал, что под маской добродушия и смирения князь Боргезе, никогда не носивший никакой культовой одежды, таит в себе опасного иезуита, очень жестокого инквизитора, будучи одной из тех ищеек святой апостольской курии, которые везде проникают и все вынюхивают. По внешности спокойный, приветливый толстяк, снисходительный старый греховодник, а по внутренней сущности — достойный представитель того страшного ордена, члены которого назывались доминиканцами, по имени святого Доминика, а писали свое наименование двумя латинскими словами: Domini canes — собаки господа. Эти псы господни вынюхивали следы новых сынов итальянской свободы, карбонариев, и те кончали жизнь в подземных колодцах Мантуи, под свинцовой крышей венецианского Дворца дожей, под капелью сырых подвалов венецианских тюрем, расположенных уже гораздо ниже уровня дна лагун и каналов, в круглых котлах, где едва помещался сидя человек, в глухих страшных каменных ямах, которые теперь еще показывают в Замке святого ангела. Вот этот князь Боргезе чрезвычайно интересовался синьором Паганини.

Однажды Паганини, встревоженный, прибежал к синьору Ньекко и сообщил ему, что местный комиссар полиции только что был в гостинице и справлялся о том, когда синьор Паганини намерен выехать в город Геную по требованию своего отца.

— Я только что послал деньги старику,— месяца не прошло с тех пор, как моя семья получила деньги. И вот на эти деньги организованы поиски меня с полицией. Что мне делать?

Ньекко задумался.

— Ты не хочешь возвращаться в Геную?

— Ни за что в жизни!

Паганини показал Ньекко письмо, полученное в луккской полиции и оставленное для него в гостинице.

Синьор Антонио Паганини категорически приказывает сыну выехать немедленно в Геную, вернуться в отчий дом под угрозой отцовского проклятья и привлечения к суду святой инквизиции.

— Надо бежать,— сказал Паганини.— Но куда?

Синьор Ньекко с видом опытного человека сказал:

— От полиции надо скрываться туда, где она не станет тебя искать.

К вечеру синьор Паганини был в небольшом горном монастыре. При нем были документы, удостоверяющие, что он является семинаристом, преподавателем латинского языка в городе Турине, и зовут его Джузеппе Пазиэлло. Паганини вскоре заметил свою оплошность: ни слова не говоря по-латыни, он каждую минуту рисковал быть раскрытым. Но монашеская братия была сама настолько невежественна, что не обратила ровно никакого внимания на нечесаного семинариста, которому приказано было пожить некоторое время в монастыре для приведения в порядок своей совести, отягченной незначительным прегрешением, связанным с забавами Вакха и Венеры. Плохо было то, что Паганини почти забыл правила покаяния. Но самое худшее случилось с ним утром следующего дня, когда, выйдя в сад и присев на скамейку среди маслин, он заметил, как приоткрылась калитка и показалась косматая голова человека с красными веками и сизым носом. У Паганини застучали зубы и кровь застыла в жилах при воспоминании о тех минутах, когда он видел этого человека впервые. Это был бродяга, игравший на его скрипке где-то в овраге за стенами Ливорио. Этот человек отворил калитку и вошел в монастырский сад. Монастырский привратник махнул ему рукой, и оба скрылись в погребе.

Паганини всю ночь не сомкнул глаз в своей маленькой комнатке, выходившей единственным окошком — вровень с землею — на дорожку монастырского сада. Он ворочался с боку на бок и не спал. К утру молодость взяла, однако, свое. Тяжелый сон внезапно сковал веки Паганини. Проснулся внезапно, обливаясь холодным потом. Зубы у него стучали: по коридору ясно раздались тихие, неуверенные шаги, и вот за дверью стал кто-то.

Задыхаясь, Паганини схватился за ворот рубахи, ему хотелось закричать, и в то же время он чувствовал, что его сковывает полное оцепенение. В этом состоянии он проснулся. Это был сон во сне. Яркое солнце заглядывало в келью. Первое, что пришло в голову,— взять скрипку и передать смычком, в звуках, ужас этого сна, но он вспомнил, что нет скрипки, что все имущество осталось у Ньекко, в маленьком домике при выезде из Лукки на юг.

Очевидно, было очень рано, роса еще не сошла с деревьев, и на мягкой траве в саду остались большие ярко-зеленые полосы от шагов Паганини, когда он подошел к садовому колодцу умыться. Между фруктовыми деревьями в конце сада виднелась маленькая низкая калитка, в которую вчера вошел испугавший Паганини человек. Калитка

была снова открыта. Неудержимое желание бежать из монастыря внезапно охватило Паганини, и он, рискуя встретиться со сторожем или — еще хуже — с тем страшным человеком, осторожно подошел к калитке. Колебания длились секунду. Ньекко, очевидно, предупредил своих людей за монастырской оградой, и пребывание Паганини в монастыре было вполне безопасным, но все ли знал Ньекко о монастырском привратнике?

Переступив порог, тревожно оглядевшись по сторонам, Паганини с радостью увидел себя на одинокой тропинке, ведущей в горы. Он решил пойти по этой тропинке и потом без дороги свернуть на восток и выйти на большой просторный путь в Лукку. С горы он вскоре увидел белесоватую каменистую дорогу. Нагруженные ослики медленно двигались по ней. Почтовая карета, поднимая пыль, скрылась за поворотом, оглашая воздух звуками рога.

Изголодавшийся и усталый, едва волоча ноги, пришел Паганини в Лукку. Никто не обратил на него внимания, так как пыльная одежда, запыленные волосы, покрасневшие веки — все это сделало его до такой степени похожим на бродячего монаха, нищего, ничем не выделяющегося из двухсот тысяч таких же бродяг Северной Италии, что Паганини искренне подивился мастерству синьора Ньекко в маскировке тех, кому нужно было укрыться от полиции.

Паганини постучал в дверь. Отперла старуха. Ворча и ругаясь, она прогнала Паганини от двери. Паганини настойчиво снова попросил вызвать синьора Ньекко и успокоил ее, заявив, что не нуждается в милостыне. Послышались знакомые шаги. Ньекко, улыбаясь каким-то своим мыслям, с удивлением смотрел на нищего. Лицо его сделалось озабоченным, он взял Паганини за руку, провел в коридор. Когда они очутились в маленькой комнате, отведенной, очевидно, для прислуги, он сказал:

— Ну, говори, в чем дело.

Паганини устало опустился на скамейку. Кружка с козьим молоком привлекла его внимание, и, не ответив Ньекко, он с жадностью стал пить.

— Боже мой, случилось что-нибудь?

— Ровно ничего. Где моя скрипка? — спросил Паганини.

— Что-нибудь одно,— ответил Ньекко,— или скрываться серьезно, или ехать в Геную. А впрочем...— тут Ньекко погладил себе ладонью лоб.— У меня есть еще один план. Оставайся у меня. Но только ты должен немедленно переодеться.

Глава пятнадцатая

ТЮЛЬПАНЫ И ГИТАРА

В день, когда полиция предложила Паганини вернуться к отцу, Ньекко не решался передать своему молодому другу письмо, присланное на имя Паганини, с приглашением провести вечер за пределами Лукки. Веселый проницательный ум синьора Франческо подсказал ему, что здесь готовится какая-то не совсем простая любовная интрига. Почерк был известен синьору Франческо. Ньекко счел необходимым ознакомиться с содержанием письма. Вот об этом письме и вспомнил он, как только увидел, что Паганини не выдержал даже одного дня в монастыре.

Ньекко нашел посланного в условленном месте и сообщил, что лошади за его молодым другом могут быть присланы в любой час. Перед наступлением вечерней зари следующего дня пара красивых вороных лошадей подъехала к дому синьора Ньекко. Паганини, расфранченный и смеющийся, махая рукою, прощался со своим другом.

Прекрасные лошади, черный лакированный экипаж. Красивая дорога, вьющаяся по горному склону, потом лес, потом опять склоны гор, и на следующем подъеме — старый, прекрасно расположенный дом. Двое слуг, любезных и предупредительных, канделябры, на столе три прибора. Каково было удивление Паганини, когда вместо почтенного седого владельца замка, которого он ожидал увидеть, появилась черноглазая девушка лет восемнадцати и направилась прямо к тому месту, где сидел он. Через секунду к ней присоединилась женщина лет сорока пяти, отнюдь не похожая на мать или родственницу девушки. Молодая хозяйка приветствовала Паганини с той большой смелостью существа, привыкшего распоряжаться собой, которая отличала в эти годы представительниц знатных итальянских семей, рано предоставленных самим себе и в эти бурные годы оценивших всю прелесть ранней самостоятельности.

Эта черноглазая молодая женщина легкой походкой подошла к Паганини, смело посмотрела на него, не дерзко, но почти насмешливо протянула ему руку для поцелуя.

— Я слышала вас три раза,— сказала она.— Я хотела вас поблагодарить.

Потом, не представив гостю своей спутницы, она предложила им занять места. Был легкий ужин, было веселое, легкое, пенящееся вино, была та счастливая легкость в беседе, которую старые итальянцы называли desinvoltu-

га — непринужденность, не переходящая границ. Но Паганини чувствовал себя неловко, прятал руки, смущенно улыбался и был взволнован.

Молодая, рано осиротевшая хозяйка, очевидно вела свободный и открытый образ жизни. Когда убрали со стола, она села на большой, широкий диван, взяла гитару. Она хорошо пела. Голос был мягкий, но небольшой. Она хорошо играла на гитаре, но Паганини почувствовал, что она не обладает ни большим вкусом, ни пониманием музыки.

Самое странное для Паганини во всем этом вечере было то, что эта девушка — или молодая женщина — ни разу не спросила его о нем самом. Она очень много говорила о себе, о своем обширном поместье. Когда она смотрела на Паганини, глаза ее загорались, и яркий, неожиданно вспыхивающий румянец выдавал бесповоротную решимость отдаться охватившему ее чувству. Та легкость, с какой она овладела вниманием взволнованного Паганини, та простота, с которой она, даже не думая об этом, как будто это было вполне естественно, завладела его временем, то обращение, которое возможно было, по мнению Паганини, только после длительного знакомства,— все это вначале вызывало в Паганини большое удивление, но удивление не неприятное,— наоборот, он сам охотно, не без порывистости, шел навстречу желаниям хозяйки. Он делал вид, что ничуть не смущен этой непривычной для него непринужденностью обращения.

Паганини привык к приглашениям на концерты в кругу небольшого количества друзей какой-либо знатной и богатой семьи. Здесь этого не было, здесь не было и намека на приглашение с оплатой, это не было похоже на «наем» знаменитого скрипача богатым человеком на целый вечер. Какова была природа увлечения этой женщины, Паганини не мог разгадать, в то же время эта луккская аристократка не производила впечатления женщины, ищущей легкой связи.

Спутница молодой красавицы тихо и незаметно исчезла из комнаты. Хозяйка встала, взяла с этажерки коробочку из красного сафьяна и, достав оттуда записку, внимательно прочитала ее и положила обратно. Потом вдруг, обращаясь к Паганини и прерывая начатую беседу, произнесла как бы в забытьи:

— Уже поздно. Синьор Ньекко пишет, что вам опасно оставаться в Лукке. Я не спрашивала вас ни о чем, потому что я не любопытна. А потом — к чему вас спрашивать, когда судьба ваша уже решена.

Брови ее сдвинулись, на лице появилось выражение гнева, как будто, произнося эти фразы, женщина хотела побороть свою беспомощность. Паганини смотрел и слушал с удивлением, все больше и больше возраставшим. И выражение лица, и построение фраз — все свидетельствовало о том, что его собеседница не теряет рассудка ни на мгновение, а *спокойствие,* с которым она произносила самые *беспокойные* фразы, и та уверенность, с которой она обращалась к Паганини, были полны для молодого музыканта загадочности, словно они говорили о какой-то странной обреченности этой женщины. На мгновение ему показалось, что все действительно давным-давно решено и что эта женщина — исполнительница какой-то чужой воли, которой она сама не знает. Ему казалось, что это состояние зачарованности, это сомнамбулическое внушение себе какого-то чувства должно прерваться, и он уже боялся этой минуты.

С каждой улыбкой, каждой новой фразой обаяние этой женщины становилось все неотразимее.

— Я думала, что вы поживете у меня три дня, но так как вам нельзя возвращаться в Лукку...— женщина остановилась, причем не было и намека на то, что она ищет продолжение фразы и не находит подходящих слов. Она так и не кончила фразы. Смотря куда-то в сторону, она сказала: — Я больше всего люблю свои сады, свои гряды с тюльпанами. Я считаю, что вы поступите очень благоразумно, если, полюбив меня, вы полюбите все эти вещи вместе со мною.

Потом, звонким смехом прерывая самое себя и словно пробуждая Паганини от сна, проговорила:

— Как хорошо, что вы забыли вашу скрипку! Вы найдете здесь отдых, вы найдете покой. Но я не хочу вас видеть с вашей скрипкой.

Никто не спрашивал в течение целого года синьору графиню о длинноволосом, загорелом и черноглазом садоводе в коричневом камзоле, черных чулках и черных туфлях, поливающем тюльпаны в замке. По утрам, после кофе с бисквитами, синьор Паганини, огородник и садовник, вооруженный ножницами, пилой или садовым ножом, боролся с засохшими сучьями, с древесными наплывами, с болезнями фруктовых деревьев, с гусеницами, нападающими на тюльпановые листья.

Давно была забыта скрипка, и никто не узнал бы в этом высоком поздоровевшем человеке знаменитого скри-

пача, в таком раннем возрасте сумевшего свести с ума требовательную толпу североитальянских городов. Паганини засыпал в объятиях своей подруги, играл на гитаре, сочинял небольшие музыкальные пьесы в честь возлюбленной. Он старался забыть свое прошлое, не прикасаться к нему. Первые ли удары жизни были тому виной, или искалеченное детство давало себя знать, но сон, овладевший его душой становился все крепче. По мере того как укреплялось здоровье Паганини, движения становились медленней и размеренней, дни стали похожими друг на друга.

Четыре раза в год срезал он цветы, дважды в год, осенью и весной, собирал урожай ранних фруктов.

Тем временем поиски Паганини продолжались по всей Ломбардии. После того как Лукка была занята французами, прошел слух, что Паганини уехал в Америку, говорили, что он сделался контрабандистом и возглавляет шайку разбойников в Калабрии. И вот однажды в маленькой итальянской газетке появилось долгожданное сообщение, причем газета заявляла, что убитый горем отец признает справедливость этих сведений. Генуэзские парикмахеры, приказчики, бухгалтеры, счетоводы, клерки и переписчики, продавцы духов, содержатели маленьких притонов, хозяева гостиниц для постояльцев, приходящих с девушками на два часа, обсуждали шумно и весело последнюю новость за столами кофеен, перебивая друг друга, стуча ложками о тарелки.

Заметка сводилась к тому, что на почтовой станции в Ферраре был арестован синьор Никколо Паганини по обвинению в убийстве своей любовницы, что при аресте он оказал сопротивление и разбил свою скрипку, ударив жандарма по каске, после чего посажен благополучно в тюрьму, где ныне и находится. Сострадательный тюремщик дал ему скрипку, Паганини играет целыми днями. Но так как Паганини играет на скрипке, натянутой струнами из воловьих жил, то он нашел новое применение этим струнам: скрутив их однажды, он захотел повеситься, ибо господь бог покинул эту несчастную душу на произвол сатанинской злобы. После этого случая сострадательный тюремщик не дает больше Паганини четырех струн. Он играет на одной дискантовой струне и, оказывается, играет не хуже, чем обычный скрипач на всех четырех.

Газетку привез с собой французский офицер. Он оставил ее тому садоводу, который встретил его при въезде в имение. Хозяйка разрешила господам французским офицерам провести день в замке. Паганини нарезал цветов, молодая женщина принимала гостей, как хорошая хозяй-

ка. Паганини чувствовал на себе ее благородный и спокойный взгляд. Она смеялась в ответ на остроумные шутки французского генерала, а молодые офицеры с удивлением следили за выражением лица этой женщины, у которой каждая улыбка была полна безотчетного счастья.

В этот день Паганини читал «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и, видя этих «крестоносцев свободы», представителей французской гвардии, говоривших так серьезно и не похоже на тех, кого он слышал прежде, думал о самом себе как о крестоносце, заснувшем в павильоне чародейки Армиды, на пути к осажденному Иерусалиму. Но странно, в этот вечер, чокаясь с французскими офицерами и встречаясь глазами со своей подругой, он не чувствовал ни малейшего раскаяния при мысли о своей измене искусству. Так бывает во сне — напряженное и в то же время приятное чувство от сознания, что это сон, очень крепкий сон. И само это сознание говорит о пробуждении.

Паганини в первый раз после побега приехал со своей Армидой в Лукку, празднично разукрашенную в честь французов. Шумный, веселый разговор за столом, насмешки над религией и философская беседа со старым, утомленным французским генералом вдруг показали Паганини, что существует какой-то другой, не итальянский мир, мир свободных умов, веселых характеров, не скованных ни церковью, ни австрийскими жандармами. Простота отношений между офицерами, их веселость, так не похожая на сдержанность старых ханжей, занимающих большие должности в итальянских городах, пленили Паганини. Едкие замечания по поводу истории догматов, насмешки над римским папой, над суровостью итальянских женщин, рассказы о поливке огородов святой водой и устройстве водопоев в святых колодцах — все это восхищало Паганини. Рассказы о революционном Париже еще больше разожгли его чувства.

На следующий день Паганини получил в подарок кожаный томик антирелигиозных памфлетов Гольбаха. После отъезда французов он прочитал несколько страниц своей подруге. Разговор об атеизме ночью на общем ложе раздосадовал синьору.

— Наказанье и грех должны существовать в мире,— сказала она ему, слегка сдвинув брови.— Религия необходима,— шепнула она ему на ухо уже более легким тоном. А потом сверкнула глазами и, пряча лицо у него на плече, добавила: — Ибо если то, что мы с вами делаем, не является грехом, то вся прелесть моей жизни исчезнет.

Паганини рассмеялся, приняв эти слова за шутку. Но

тут же увидел, что в словах его подруги не было и тени шутки. Молодая женщина открыто призналась ему, что любит его за ненасытность его жажды и что если бы товарищ ее ночных забав был бы хотя немного красивей, она не чувствовала бы всей упоительной сладости любви.

— Вы уродливы, синьор Никколо,— говорила она,— и это делает вас таким же для меня желанным, какой представляется большая чашка мороженого в жаркий вечер или горячее вино в декабре, после охоты в горах.

Паганини в луккском замке делал открытие за открытием. Церковная музыка стала для него привлекательной. Образы ада, рая и чистилища держали в плену мысли и чувства Паганини. Фриделло, играющий на скрипке, с головой, склоненной набок, с полузакрытыми глазами, образ ангела со скрипкой, такого, каким его изображала фреска тринадцатого столетия в Кремоне, неотступным видением стали преследовать Паганини во сне. Но к этому видению постоянно примешивалась дерзкая мысль, настойчиво толкавшая Паганини к осуществлению властного желания влить магические демонские звуки в разрушающуюся праведность и нетерпимость церковных мелодий, усладив душу двоякого рода соблазнами: соблазнами самого счастия, как недоступного и недозволенного, и саркастической усмешкой освобожденного человека, ниспровергающего власть религии.

Меланхолическая и нежная скрипка Корелли, демонические пассажи Тартини — все это после борьбы примирялось странным примирением в душе Паганини. Это было примирение где-то на высотах искусства. Это было заполнение всей духовной организации скрипача: совершенно так же две враждующие армии овладевают одним и тем же селением и одной и той же долиной для того, чтобы дать там решительную битву, сопровождающуюся потоками крови, криками, взаимным уничтожением, оглушительным грохотом орудий и свистом пуль. Все меньше и меньше оставалось места в душе Паганини спокойным лучам той вечерней зари, которой встретила его первая неделя счастливой любви в луккском замке.

Биография Тартини особенно привлекла его внимание. О Тартини — скрипаче, фехтовальщике, монахе, юристе, человеке, говорившем о себе, что он — искушаемый Иосиф, и уподоблявшем музыку соблазнительной супруге Пентефрия,— ходило много легенд. Паганини с огромным любопытством и прежде разглядывал скрипки, принадлежавшие этому скрипачу. Инструменты, на которых играл Тартини, были сплошь исписаны стихами Петрарки и вульгар-

ными народными речениями. Ругань черни чередовалась в этих надписях с божественными строчками дантовой «Новой жизни».

Тартини похитил племянницу кардинала Корнаро. Уголовная полиция Рима настигла их в дороге. Ради спасения жены Тартини пришлось ее покинуть. Злосчастный супруг под страхом смерти пробирался к ней на свидания. Они виделись тайком, раз или два в год. Он жил в Ассизи, в монастыре, под чужим именем, проводя время в игре на скрипке, под руководством наивного и простодушного монаха. Тартини исполнилось двадцать четыре года, когда отважный фехтовальщик, удачливый любовник и супруг сделался первым скрипачом Италии XVIII столетия. Под чужим именем явился он в свой родной город и завоевал себе славу. Славой вернул себе жену. Открыл свое имя, получил прощение, и началась долгая славная жизнь скрипача, окруженного почитателями и учениками из беднейших семей. Скитальческая жизнь среди итальянского простонародья странно подействовала на Тартини: он сделался проповедником великого скрипичного мастерства среди ливорнских простолюдинов. Он целые недели проводил в кварталах портовых грузчиков, он играл на кораблестроительных верфях, охотно посещал тюрьмы и давал там концерты, он ходил всюду, водя с собой любимого ученика Нардини. На руках Нардини он и умер в глубокой старости.

Вот рукопись самого Тартини, она перед глазами нового скрипача нового столетия. Тартини писал:

«Сны исправляют действительность. Однажды ночью, это было в 1713 году, мне снилось, что я совершал торговую сделку и продавал свою душу черному ангелу с улыбкой, пленительностью похожей на улыбку египтянки. Я спросил его: «Как ты вошел в монастырь святого Франциска?» На что ответил мне египтянин: «Успокойся, друг мой, ведь я злой дух! Пей чашу со мной, как пьют вино, ты насладишься обманчивым видом вещей и все вещи, цвета и краски видимого мира научишься превращать в звуки».— «Хорошо,— согласился я,— но ты должен стать моим слугой». Сделки нашей мы не записывали, но я твердо помню, что она состоялась.

Он дал мне познание вещей и пробудил меня, а я за всю эту силу и гибель любил его все больше и больше и знал, что уже все это непоправимо: я не мог и не желал жить, ибо в этой гибели было больше жизней, чем в жизни без гибели. И вот наступил час самого сладкого сна, когда я приказал моему слуге египтянину взять скрипку

и играть. И играл он так хорошо, с такой незабываемой прелестью, с таким мудрым очарованием, что навсегда я стал прикован к счастью земного мира, и его прелестям, и его соблазнам, забывая о поисках небесного рая и спасении души. Так я увлекся, и так был я восхищен, воображение мое заиграло, как тысячи алмазов на солнце, отражая своими гранями всю красоту и прелесть прошлого, все очарование настоящего и всю манящую игру будущего. Дух мой возликовал от этого чувства, и я пробудился. Тотчас же схватил я скрипку и смычок, разбудил спавшего в келье монаха, и он восхитился вместе со мной, и он вместе со мной устремился запечатлеть чудные звуки, слышанные мною во сне. И вот лучшее, что я написал в жизни,— это соната той ночи, хотя я знаю, что это лунное отражение истинного солнца, осветившего мою душу, и вот теперь я разбил бы скрипку, если бы мог отказаться от сладости этих звуков. Но всегда останется у меня ощущение разницы между тем, что слышал я у демона, и между тем, что сумел записать».

Глава шестнадцатая
В СТРАНЕ ОТЦОВ

Как это случилось, как тонкая, тоньше волоса грань отделила сон от пробуждения? Как только скрипка Гварнери была вынута из чехла, как только смычок коснулся струн, так и Паганини и его подруга поняли, что дни плена окончились. Каждый новый день приносил новые признаки пробуждения, и казалось, что это — пробуждение не одного только Паганини. Армида, пленительница Танкреда, сама пробуждалась с новыми звуками скрипки Паганини. Он становился ей чужим, он становился только интересным скрипачом, только гением. Уродливого любовника с необыкновенной горячностью крови она теряла и даже не стремилась удержать. Как-то раз случилось, что Паганини целый день провел в Лукке, а потом и заночевал в городе, в маленьком домике, где Ньекко оставил свои книги.

После месяца блестящих концертных выступлений в Лукке Паганини выехал из Лукки на север. У него снова появился вкус к скитальческой жизни, и так как не было никаких оснований задерживаться в Лукке, то, взяв направление на Пистойю, Болонью, Модену, Парму, Пьяченцу, Павию, он отправился дальше. Всюду с огромным

успехом проходили его концерты. Наконец он прибыл в Милан.

Из газет Паганини узнал, что человек, арестованный в Ферраре и умерший в тюрьме, назывался его именем. Это был польский скрипач Дурановский. Но молва о гибели Паганини уже облетела Северную Италию. Паганини знал, что семья давным-давно считает его умершим. И при воспоминании о времени, когда он был выключен из общей жизни, у него возникло странное чувство, рождавшееся из соединения нового, необычного для него, мужественного восприятия жизни с горячим чувством благодарности к волшебнице, державшей его в Лукке.

Паганини чувствовал себя независимым и свободным. Теперь уж не могла повториться история с ливорнскими оркестрантами. Теперь не нужно было покровительство английского консула.

Случайная встреча в Милане с певицей из Ливорно неожиданно вызвала в нем жажду легкого и веселого сближения с этой девушкой. Вот он узнает охотно сообщенный адрес, вот с наступлением вечера идет к ней, но путает фамилию владельца дома. На полутемной широкой лестнице он ощупью находит ручку двери и толкает ее. Большой вестибюль, громадное зеркало, круглый стол. Никого нет. Открывает следующую дверь. На огромной постели молодая женщина под розовым одеялом с испугом смотрит на открывающуюся дверь. Потом, протягивая руки, с улыбкой говорит:

— А, это вы, доктор! Я думала, что вы придете позже.

Что толкнуло Паганини, он сам не знал, но он с важностью врача сел около постели больной. Она положительно ему нравилась. Сумасбродные мысли завертелись в голове Паганини с невероятной быстротой. Дремавшие в нем веселость и живость характера пробудились с неожиданной для него самого силой. Он взял руку больной, внимательно посмотрел в глаза и заявил:

— Вам, вероятно, сегодня лучше, чем вчера.

— Да,— ответила молодая женщина.

Он внимательно нащупал пульс, но при этом с неосторожной нежностью пожал руку.

Тут неудержимый смех одолел Паганини. Никогда не был он в таком забавном положении. Все попытки сделать серьезное лицо ни к чему не привели. Женщина с удивлением смотрела на него, словно вспоминая что-то. И вдруг, вырвав руку, с негодованием сказала:

— Послушайте, да вы ведь — синьор Паганини, скрипач, вы вовсе не доктор.

Тогда Паганини дал волю своему смеху. Чем больше он смеялся и чем больше стремился подавить этот смех, тем больше негодовала больная. В это время за дверью послышались шаги. Вошел старик. Выражение лица больной мгновенно переменилось. С живостью обращаясь к старику, она произнесла:

— Вот, отец, доктор находит, что мое состояние...

— Да, да,— с важностью подтвердил Паганини,— еще несколько дней, и больная может встать.

Старик с благодарностью посмотрел на Паганини и начал с ним длинный ученый разговор на медицинские темы. Он говорил о невежественности нынешних врачей, о том, что наступает новая эпоха, что синьор Вольта делает опыты с применением новой силы природы, что синьор Гальвани нашел ту силу, которая, вероятно, способна будет через несколько лет оживлять мертвых, так как достаточно провести металлическую проволоку от серной кислоты и цинка к ноге лягушки, отрезанной от туловища, чтобы эта нога задвигалась, как живая.

Паганини кивал головой с видом ученого человека. Разговор затянулся. Паганини не знал, как ему быть. Наконец его выручила молодая женщина, прервав беседу в опасный момент.

— Вы мне напишете рецепт, доктор? — спросила она.

Гусиное перо, бронзовая чернильница и листки бумаги с золотым обрезом были предоставлены в его распоряжение. С важным видом обмакнув перо, Паганини задумался.

— Знаете ли что,— сказал он,— болезнь не такова, чтобы следовало применять латинскую кухню. Обойдемся без лекарства. Природа настолько щедра и богата, что синьора, ваша дочь, может положиться на нее. Посмотрим, что будет дальше.

— Да, да, доктор,— вдруг вмешалась молодая женщина, стараясь любезностью замаскировать веселую улыбку.— Я надеюсь, что вы завтра придете и увидите, что мне стало гораздо лучше.

— Как, вы хотите, чтобы я завтра пришел? — спросил Паганини, чуть не выдав себя этим неуместным удивлением.

— Да, непременно, доктор: иначе мне станет хуже.

— Вот как! — сказал старый отец.

В голубом конверте с гербом миланского дворянина Романьези Паганини получил билет в десять лир. Это был первый медицинский гонорар.

Вдыхая полной грудью воздух улицы, Паганини размышлял о происшедшем. Его напугало это неожиданное приключение. Он удивился, что в Милане его лицо знают по портретам, что подтверждало его славу и давало возможность надеяться на успех концертов, но, с другой стороны, он боялся, что на концерт может прийти синьор Романьези.

Ближайший концерт был отменен.

На следующий день Паганини опять надел на себя личину эскулапа. Два часа сидел он, разговаривая с любезным стариком и бросая пламенные взгляды на девушку. Больная с трудом выдержала роль, но играла хорошо. Когда Паганини встал, чтобы проститься, она настойчиво потребовала визита назавтра. Отец развел руками и сказал:

— Тереза откроет доктору, так как я завтра должен присутствовать в магистрате.

Ничто так не устраивало Паганини, как это присутствие старика в магистрате.

Визиты продолжались довольно долго и всегда совпадали с отсутствием почтенного Романьези. Кончилось тем, что в день возобновления концертов в большом зале миланской консерватории Паганини должен был заехать за синьорой Романьези, опять в отсутствие отца.

Увлечение не зашло слишком далеко. В один прекрасный день Паганини почувствовал необходимость вернуться в отчий дом. Он сам не понимал причины этого стремления, но оно было настолько неодолимо, что он в тот же вечер южным мальпостом выехал из Милана.

В кармане камзола лежала чековая книжка генуэзского банка: на имя отца было вложено двадцать тысяч франков. Мысль о том, что он не разучился играть только благодаря тому, что жестокая настойчивость отца превратила для него скрипку в инструмент, самой природой связанный с ним, с молодым Паганини, приводила его теперь в восхищение. Он прощал отца, он прощал матери ее католическую набожность и неумение владеть собой под натиском любопытства какого-нибудь аббата. Все резкие черты и контуры детства смягчились, приобрели мягкий розовый отсвет. «Это признак наступления преждевременной зрелости характера»,— думал Паганини.

Какие-то внезапно возникшие мысли заставили его рассмеяться. Молодой человек, незнакомый Паганини, черноволосый и голубоглазый, пристально посмотрел на него. Паганини ответил не менее пристальным взглядом.

— Чему вы смеетесь? — спросил молодой человек.

— Вы любопытны. Я смеюсь собственным мыслям, которые затрудняюсь вам передать.

— Если бы вы знали, что произошло час тому назад, вы не стали бы смеяться так легко!

Тон был зловещий.

— Ну, что же произошло? — спросил Паганини довольно невежливо.

— Генерал Бонапарт стал императором французов.

— Как, и уже в течение часа эта весть донеслась до вас? Кто же вы такой?

— Я граф Федериго Конфалоньери, миланец. А вы можете не называть своей фамилии, так как я сразу узнал почитаемого скрипача. Признаться, я думал, что перемена французской политики пугает вас и заставляет уехать из Милана.

— О нет,— сказал Паганини.— Политика и скрипка далеко стоят друг от друга.

Конфалоньери сострадательно улыбнулся.

— Вы думаете? — спросил он с сомнением в голосе.

Паганини вдруг оживился, прежние мысли зашевелились у него в голове.

— Да, в самом деле, я иногда думаю иначе. Но в наши дни... Где говорят пушки, там должны молчать искусства.

Конфалоньери покачал головой.

— Вы сами знаете, какое громадное значение имеет музыка в формировании духа.

— Верно,— сказал Паганини,— но я ни разу не слышал, чтобы люди на голодный желудок ходили на концерты.

Беседа вскоре исчерпалась.

На маленькой отвратительной станции веттурино разбудил его криком: «Si cambia!» — пересадка. Паганини проснулся и вдруг вспомнил страшный сон. Ему снилась огромная белая лестница над черным прогалом. Какой-то голос говорил ему, что необходимо подняться по этой лестнице, но что по пути будут три ступеньки, сделанные из полотняных полос, выкрашенных под камень, и, конечно, ступив на одну из этих полотняных полос, он провалится в пропасть и, ударившись об острые камни на дне, превратится в куски разорванного мяса и раздробленных костей. И снилось ему, что уже нельзя отступить, и дух захватывало от ужаса. Кругом — безлюдное и страшное молчание. Горы давят сознание. Но вот, как стальная пружина, воля заставила взбежать, и пока, весь во власти стремительного порыва, он летел, перескакивая через три ступени, вверх, вдруг простая мысль готова его остановить. А что,

если, стремясь перескочить через три ступени, он устанет и от усталости свалится с лестницы без перил? А что, если, вынуждая себя перескакивать через три ступени сразу, он просчитался и, не зная, где ловушка, поставит ногу на полотняную ступень? Гибель тогда неизбежна. И так, не зная, в конце или начале пути эти предательские три полоски ткани вместо камня, он достиг двухсотой, трехсотой ступени и почувствовал себя безнадежно обреченным на страшную смерть и нестерпимые муки. И вдруг, вот уже совсем близко от вершины, он почувствовал, что нога его провалилась и он висит в пустом пространстве, вцепившись в каменную ступень, эту твердую, надежную и верную ступеньку. Он спасся. Одно колено на каменной ступени, плечи и голова на другой, вот еще минута над пропастью, и он снова твердой и уверенной поступью взбирается по ступеням, зная, что опасность позади. А над головой разгорается яркий день, солнце поднимается на синем-синем, почти черном небе, дышать становится легко и жить становится радостно. Горячие струи теплого синего воздуха заливают щеки, и раздается словно крик петуха: «Si cambia!» Это кричит веттурино над ухом.

Пока пассажиры завтракали и отдыхали от толчков и ударов почтовой кареты, пока французский гвардеец проверял паспорта, а трактирщик разливал красное кислое вино, Паганини высчитывал часы и минуты, которые оставались до Генуи.

Но вот наконец Генуя.

Паганини ловил себя на чувстве большого волнения, он думал, что сейчас наконец наступит минута полного примирения с семьей. Он был уверен в том, что мать тоскует без него. Он знал, что отец перестанет сердиться на него за бесплодные поиски, что, быть может, даже применение полицейских мер воздействия вызовет в старике некоторое угрызение, когда шуршащая бумажка просто и легко доказывающая, что старый Антонио Паганини является обладателем двадцати тысяч франков, появится перед глазами старика.

Он готовил слова, которые надо было сказать. Надо было сказать только, что ради семьи, ради успеха дальнейшей музыкальной карьеры он должен был вырваться на широкую дорогу, быть может, несколько непозволительным способом осуществляя отрыв от родной семьи. И то, что не приходило в голову дорогой, то, что казалось естественным, простым, вдруг теперь, у дверей родного дома, приобрело какое-то пугающее значение, и Паганини, прославленный скрипач, имя которого было уже известно

во всех городах Северной Италии, вдруг почувствовал себя жалким, провинившимся школьником, вдруг почувствовал себя просто сыном Терезы Паганини, мальчишкой из «Убежища», с замазанными рукавами, с заплатами на панталонах. Он готовил слова, которые должны были сразу расположить к нему сердца родителей.

На стук никто не отпирал. Все слова, которые хотел сказать Паганини, вдруг вылетели из головы. Необъяснимая тревога закралась в сердце, и, не сдерживая своего волнения, Паганини стал стучать кулаками в дверь с бешенством взволнованного до отчаяния человека.

В ответ на этот стук раздался сердитый и резкий окрик. Он узнал голос матери. Но до какой степени он не похож на прежний голос! Почему она пришла в такое негодование? Она не знает, что стучит родной сын, ее маленький Ник, как она называла его в детстве.

— Какой негодяй ломает двери? — повторил голос совсем над ухом Паганини.

В полутемном коридоре он увидел лицо старшей сестры: это она говорила голосом, до такой степени похожим на голос матери. А в глубине комнаты, при входе в столовую, он увидел старую женщину, перебирающую четки и держащую молитвенник в руках.

Сестра мгновенно узнала Паганини, мать выронила книгу, увидав вошедшего, и, привстав, слегка отступила, роняя кресло. Сестра молчала. Паганини бросился к матери, она отступила от него, как от призрака. На шум вышли остальные члены семьи. Вышел брат с незнакомой женщиной. Поздоровался, шумно и бурно приветствуя Никколо, нарушая странное молчание. Вошедшая с ним женщина острыми и злыми глазами смотрела на Паганини. Мать все еще молчала, устремив на него печальные голубые глаза. Паганини едва успевал отвечать на быстрые вопросы брата, которые сыпались, как горох из прорванного мешка. Наконец Паганини перебил его и сказал, как бы для того, чтобы прервать молчание матери:

— Матушка, быть может, я могу остановиться у вас на некоторое время?

Первые слова матери поразили его, как громом:

— Продукты очень вздорожали. Где ты у нас остановишься? Каэтана поселилась у нас в доме с ребенком, у Целестины тоже родился ребенок, у Фабричо не нынче-завтра будет новая жена. Куда же мы тебя денем? Может быть, ты остановишься в гостинице? Продукты очень вздорожали, приходится высчитывать каждый байокко, а кроме того...

Тут она остановилась, и крупные слезы потекли у нее по щекам.

В это время вошел старик Антонио, сплевывая мокроту в зеленый платок, прихрамывая и чихая. Он увидел сына, казалось, без всякого удивления. Он смотрел на Никколо, не скрывая презрительного выражения лица.

— Молва о тебе самая плохая. Если не хочешь принести несчастия дому, то лучше было бы тебе жить на отдельной квартире. Семья для человека — это лучший друг, а что ты сделал для семьи?

Паганини подумал мгновенно: «В евангелии, которое они так любят, говорится: «Враг человека — домашние его». Я к этому добавлю, что нет большего счастья на свете, нежели потеря лучшего друга».

Подавив в себе чувство негодования, он встал с покорным видом, подошел к отцу и, распахнув камзол, поспешным и торопливым движением вынул бумажник, наклонился над столом и выложил перед стариком чек на двадцать тысяч франков. Лицо старого Паганини внезапно просветлело.

— Так,— сказал он.— Ну, давай отпразднуем твое возвращение. Тереза, что же ты сидишь? Целестина, Фабричо, что же вы стали? Он вернулся: Никколо вернулся. Живи с нами.

Казалось, какая-то ледяная стенка растаяла внезапно. Все бросились обнимать Паганини, и вдруг не выдержало его сердце. Выросший до неузнаваемости, окрепший и возмужавший, этот человек, бросившись на шею к матери, зарыдал горьким рыданьем, как после перенесенных в детстве побоев. Он плакал долго, и казалось, что он никогда не сможет утешиться. Он сам не понимал значения этого порыва. Но каждый член семьи по-своему истолковал это проявление необычайной слабости.

В то время как он оплакивал горестную картину полного распада материнского чувства в этой одряхлевшей, но еще нестарой женщине, по-видимому потерявшей ясность ума,— она, глядя на сына, испытывала совсем другое. Она думала, что вот он раскаивается, что он много согрешил в жизни, что из всех ее детей это самый неудачный ребенок. В то время, когда Паганини, плача на ее плече, оплакивал свое детство и свое теперешнее сиротство, так как перед ним стояли люди, не имевшие по существу никакого к нему отношения, старик думал, что если сын вернулся в отчий дом, как блудный сын Ветхого завета, то он напрасно думает отделаться выкупом того теленка, которого приказал подать к столу папаша. «Не беспокойся, сы-

нок,— думал старый маклер, глядя на плачущего Паганини,— мой теленок стоит больше двадцати тысяч франков. И уж ежели я принял под отчий кров блудного сына, я заставлю его раскошелиться».

Но блудный сын никак не мог успокоиться. Тогда у Паганини-старшего закралось в душу тяжелое сомнение: «А в самом деле, черт его подери, должно быть, уж очень большая жизненная неудача: или он вывихнул руку и не может больше играть на скрипке, или у него случилось что-то нехорошее с полицией, он возвращается к нам, плача и рыдая, как будто некуда ему деться».

Старший брат радовался совершенно искренне возможности поправить свои денежные дела, если он сразу станет на дружескую ногу с Никколо. Лукреция обдумывала, как ей устроить, чтобы из этих денег получить кое-что для покрытия карточного долга мужа.

Паганини оплакивал себя со своими ребячьими представлениями о жизни, и постепенно чувства и мысли, свойственные большим душам, вытеснили у него эгоистическую жалость к самому себе.

Он перестал думать о своем сиротстве, ему были бесконечно жалки эти люди с искривленными душами и искаженными чувствами.

Годы потрясений, перенесенных Северной Италией, все эти постоянные изменения биржевой погоды, от которой зависели благосостояние семьи и настроение отца,— все это, очевидно, надломило стариков. В их жизни тоже произошло много изменений одновременно с теми колоссальными переменами, которые совершились в самом Никколо. Он чувствовал себя очень твердо стоящим на ногах, он прекрасно знал, что то высокое совершенство скрипичной техники, которым он овладел, является теперь его свойством, что он, даже если бы захотел забыть что-либо, не смог бы: потерять талант скрипача он мог, только потеряв руку. Он был воплощением гения скрипки. Но перед ним стояли его отец и мать, его брат и сестры — люди более чем обыкновенные, и Паганини чувствовал, что из ощущения контраста между его внутренним миром и миром этой зауряднейшей североитальянской семьи сейчас же возникнут такие настроения и чувства, которые отравят окружающих его людей чувством зависти, переходящим в ненависть. И все же, в силу какого-то инстинкта, он не мог избавиться и от чувства острой боли, и от чувства жалости, и от чувства бескорыстной любви.

Банкир, у которого был реализован чек на имя Антонио Паганини, был удивлен расспросами старика, который, бледнея и краснея, допытывался, сколько денег у его сына, где они вложены. Старые секреты итальянских банков впервые казались опытному биржевому маклеру досадным и ненужным затруднением.

В разговорах с сыном старик твердил о бессонных ночах матери, о том, что он, старый человек, нищенствовал, чтобы дать музыкальное образование сыну. Он стремился раскрыть перед сыном все величие своего отцовского замысла, дать ему почувствовать всю тяжесть своих забот, направленных на то, чтобы побоями выколотить из непокорного мальчишки прилежание и крупицы скрипичного таланта превратить в настоящий и полный талант скрипача. По странной игре случая Паганини не видел всех этих ухищрений старика. Он во всем с ним соглашался, охотно шел навстречу матери и первые накопленные им деньги, переведенные на генуэзский банк, охотно отдавал в распоряжение семьи. Но эта податливость лишь еще более подзадоривала старика.

Отношения в семье превратились в игру двух враждебных станов. Мать, отец, брат и сестры в отсутствие Паганини вели непрерывные совещания. Были дни, когда Никколо чувствовал себя любимцем и покровителем семьи, и были дни, когда отец набрасывался на него с криками и проклятиями, а мать со слезами глубокого горя выпрашивала сто или двести франков на покрытие неожиданного расхода, возникшего против воли старика Паганини.

Хотя Паганини не предполагал давать концертов в Генуе, он вдруг оказался вынужденным выступить. Он думал побыть в семье месяц и потом выехать для концертов на север. Его тянуло в Милан, в Турин и Венецию. Он представлял себе, как он снова появится в Ливорно и Лукке. В Генуе ему хотелось быть только сыном своей матери, быть только братом своих сестер, быть только обыкновенным Никколо Паганини.

Но, отдав в конце концов все деньги, которые были, скрипач попал в прежнюю зависимость от старика. Отец согласился выдавать ему не более двадцати франков на суточные расходы, и Паганини вдруг почувствовал, что скупость старика граничит с помешательством.

Первые попытки заговорить с властями о концерте не увенчались успехом. Католическая церковь города Генуи воспротивилась тому, чтобы непокорный сын церкви, изобличенный собственным отцом, выступал на концертной эстраде. Это не было прямым запрещением, но это было то

неодобрение, которого было достаточно для гражданских властей Генуи.

После больших хлопот Паганини получил странное извещение: епископ разрешил Никколо Паганини, в виде исключения и в награду за участие в благотворительном церковном концерте, выступить в храме с концертом светской музыки. Но когда пришло время использовать это разрешение, обнаружилось новое, неожиданное препятствие.

. В Генуе, в отличие от ряда других итальянских городов, был создан Высший музыкальный совет, председателем которого состоял синьор Нови, тот самый Нови, который учился с Паганини у Паера. Теперь он носил титул первого скрипача города Генуи. Надо было идти к нему, ибо все концерты, осуществляемые в городе, ради «чистоты нравов и красоты искусства» должны были иметь санкцию этого совета. Вначале все пошло как нельзя лучше. Нови принял Паганини, как родного. Поддерживая его за локти, он радушно усадил Паганини в кресло. Расспросив подробно обо всех горестях и радостях жизни, Нови с улыбкой сообщил о смерти одного из товарищей по консерватории. Их бывший соученик утонул в венецианской лагуне, и святая церковь не считает возможным возносить о нем молитвы, ибо этот человек умер без покаяния, а при жизни поддерживал связи с безбожным корсиканцем.

Паганини с некоторой досадой остановил этот поток красноречия и заговорил о своем предстоящем концерте. Лицо Нови вдруг сделалось сухим и холодным.

— Знаешь ли ты, друг мой,— сказал он в ответ,— что наши правила требуют предварительно подвергнуть тебя испытанию в нашем совете? Я знаю твое мастерство, но ведь не станешь же ты, гражданин города Генуи, нарушать ее старинные правила и законы, ее порядки. Ты отвык от нас. Поживи с нами, пока не устраивая концерта, сделайся нашим вполне, а потом обсудим твое предложение.

Паганини привстал:

— Меня экзаменовать, как мальчишку? Сколько же времени я должен ждать?

Нови ласково погладил его по руке.

— Ну, зачем же так волноваться! Ждать придется совсем немного. Что касается экзамена, то это только пустая формальность... Ну, поживи с нами... год или два.

— Что?! — закричал Паганини.— Ты смеешься надо мной!

— Успокойся,— ответил Нови.— Святая церковь не запрещает музыки. Наоборот, нигде музыка не достигает та-

кого высокого совершенства, как в религиозных произведениях Палестрины, которыми гордится вселенская церковь. Ты должен знать, что все лучшие музыканты всех времен писали свои композиции для церкви. Скрипач, не пишущий для церкви ничего, тем самым отвергает себя от воздействия ее благодати. Ты будешь, конечно, играть собственные сочинения, написанные в стиле церковной музыки?

Тут Нови сделал суровое лицо и подошел к этажерке из красного дерева. Он взял оттуда красный сафьяновый портфель и, порывшись в нем, достал австрийскую газетку, издававшуюся в Ломбардии. Маленькая листовка сообщала о том, что Паганини проиграл все свое состояние в карты и продал скрипку для того, чтобы заплатить карточный долг.

Прочитав это, Нови с горечью и состраданием продолжал:

— Я вполне понимаю, что после этих потрясений ты долго не можешь оправиться и поэтому живешь в Генуе. Твоя бабка умерла с голоду, так как ты не высылал денег семье. Старик отец голодал, старая мать проливала по тебе слезы и молила бога о возвращении тебя в лоно святой церкви. Ты хочешь создать себе славу знаменитого скрипача и прибегаешь для этого к нечестным приемам, но помни,— внезапно повысив голос, грозно предупредил Нови,— я вижу тебя насквозь. Истина все равно восторжествует. Я помню твою неудачу, когда ты после ночных кутежей не мог удержать скрипку в руках, когда у тебя лопались струны. Помнишь, тогда Паер сказал, что ты не выдержал экзамена. Допустим, что это была случайность, я тебя люблю, рассчитывай на мою дружбу, я никому не скажу об этом...

Паганини чувствовал, как его кулаки сжимаются сами собой... Этот негодяй предлагал ему свое покровительство, очевидно подводя его к какой-то сделке. Но от Нови в Генуе зависела судьба Паганини. Нови обещал ему свою грязную дружбу, осмелился вмешиваться в его семейные дела, быть его судьей,— однако выхода не было. Надо было испить чашу до дна.

— Так вот,— сказал Нови,— я не одобряю суровости моих товарищей по отношению к тебе. Они советовали твоему старику обратиться в трибунал святейшей инквизиции. Я сделаю все, чтобы преодолеть нежелание моих товарищей видеть тебя на эстраде. Но против тебя, не хочу тебя обижать, но против тебя выдвигают обвинение, и ты должен оправдаться прежде, нежели я подниму вопрос.

Паганини чувствовал, что Нови готовит крепкий удар

и только тешится, оттягивая решительную минуту. Но он ошибался. Нови был действительно смущен и в самом деле боялся произнести то, что выпалил почти залпом:

— Ты должен оправдаться, ты должен представить инструмент, на котором ты играешь, для предварительного просмотра в музыкальный совет.

Сказав это и сразу ощутив облегчение, Нови вдруг заливисто засмеялся.

Тут Паганини почувствовал, как трудно ему сдержаться. С каждым словом Нови бешенство Паганини росло. А тот решил, что Паганини безопасен, если после первых же слов не перешел к действию.

— Про тебя говорят ужасные вещи,— продолжал он и снова остановился.— Но я, конечно, не верю, ты мой старый друг.

Паганини почувствовал себя раздавленным и спокойно направился к выходу. Нови увидел, что Паганини признал свое поражение и хочет уйти от последних оскорблений.

— Про тебя говорят,— заторопился он,— что ты сделал смычок Турта в полтора раза длиннее и натянул на прекрасный старинный инструмент синьора Гварнери виолончельные струны. Конечно, ты их уберешь, конечно, ты дашь смычок нормальной длины. Но так как про тебя говорят, что твоя скрипка исписана магическими формулами и заклинаниями, то мы должны, прежде чем ты выйдешь на эстраду, сами осмотреть твою скрипку.

— Почему? — с негодованием закричал Паганини.— Я могу натянуть какие угодно струны. Французы превратили клавесин в рояль, они сделали из старого инструмента новый, в тысячу раз более звучный и красивый!

— Французы?! — внезапно побледнев, переспросил Нови.— Ты говоришь — французы?! Ты говоришь о людях, которые отрубили голову своему королю? Ты здесь, в этой комнате, осмеливаешься произносить это слово? Ты знаешь, что делают французы?.. Ты знаешь, что дети мрут от оспы, что эти негодяи привили чешуйку оспы теленку и после этого телячьей оспой заражают десятки тысяч детей?! Знаешь ли ты, что, прививая телячью оспу детям, они прививают телячьи мысли божьему созданию, человеку?!

— Ты прикидываешься! — кричал Паганини.— Ты говоришь дикие, невежественные вещи, ты знаешь, что этим они спасают детей от черной оспы. Дети, которым привита телячья оспа, не умирают и навсегда остаются обеззараженными...

— Это против правил церкви! — Нови в негодовании затопал ногами. Взгляд его был полон уже открытой нена-

висти.— Знай, что мы и римская католическая церковь запретили повсеместно в Италии прививку оспы.

Паганини повернулся и, не сказав больше ни слова, вышел.

Генуэзская газета сообщила об исчезновении скрипача Паганини.

Первые три месяца синьор Антонио делал все для розысков сына, но поиски оказались тщетными. Нигде никаких следов его не было. Австрийские жандармы и шпионы папской полиции принялись обшаривать игорные дома Ливорно.

Глава семнадцатая

ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Сестра Бонапарта, княгиня Элиза Баччокки, сделала Паганини дирижером своего оркестра в Лукке. Уступая новым настояниям жизни, Паганини впервые согласился несколько ограничить свою независимость. Это давало ему какое-то положение, избавляло от ненужных вопросов и на некоторое время упорядочивало его жизнь, слишком насыщенную беспокойством.

В Генуе была начата большая работа, в Лукке Паганини ее закончил. Как это ни странно, все эти новые его произведения были написаны для скрипки с аккомпанементом гитары. Он порывисто и напряженно писал, один за другим, шесть квартетов для скрипки, альта, гитары и виолончели.

Маленькие луккские музыканты, уличные мальчишки, устраивавшие празднества и исполнявшие на гитаре заказные пьесы, прибегали к нему с просьбой дать им какие-нибудь ноты, и Паганини откликался на эти просьбы, быстро набрасывая небольшие гитарные пьески, не отказывая никому в исполнении заказов.

Так из Лукки в разные города Италии попали бесчисленные мелкие вещи, написанные для гитары. Их продавали, печатали, распространяли, вульгаризировали, изменяли и толковали по-своему, и в конце концов из этих композиторских забав возникла большая и сложная нотная литература, наполовину не принадлежащая Паганини. В основной своей массе эти произведения портили репутацию Паганини, но он так мало внимания обращал на пересуды о его композиционном искусстве, что никогда не опровергал слухов, связанных с той или иной пьесой. Беднейшие музыканты Лукки рассказывали, что в трудные дни они получали от Паганини в порядке вспомоществова-

ния листки нотной бумаги, испещренные набросками пьесы для гитары, и эти листки спасали иногда целую семью. Работая в Лукке и продолжая усердно заниматься разучиванием выполняемых с виртуозным мастерством «modulazione» Локателли, Паганини не оставлял гитары. И даже достигнув совершенства в игре на скрипке, когда он перестал готовиться к концертам, перестал играть дома и брал смычок только перед выходом на эстраду, он продолжал по-прежнему развлекать самого себя игрой на гитаре, ни разу, впрочем, не выступив с публичным исполнением.

Итак, клятва, данная самому себе в молодости, была нарушена. Паганини стал придворным скрипачом, если можно назвать двором небольшую свиту сестры французского императора, довольствовавшейся пока скромным титулом итальянской княгини. Сам князь Баччокки учился у него игре на скрипке. Таким образом, Паганини сделался постоянным посетителем княжеского дворца и вместе с другим учителем, профессором Галли, пользовался неизменной благосклонностью семьи, занимавшей в Лукке первенствующее место.

Луккская музыкальная молодежь очень охотно пошла на формирование большого оркестра в этом городе. К ней присоединились французы, оставшиеся после ухода из города кавалерийского оркестра генерала Массена. Они с восторгом приняли известие о том, что Паганини будет дирижировать их оркестром.

Когда Паганини вошел в высокий зал, примыкавший к сцене луккского театра, вся огромная толпа молодежи, в рваных мундирах, серых и черных камзолах, громко и весело разговаривала, и он с наслаждением прислушивался к смешанному шуму человеческих голосов и беспорядочному гулу настраиваемых инструментов. Его заметили не сразу. Его ждали, его знали в лицо, и тем не менее он должен был дойти до пульта, для того чтобы голоса внезапно умолкли и все взоры обратились к нему.

Паганини сел на огромный барабан, и это простое движение, показавшее, что он прежде всего желает говорить с оркестром, как друг, запросто, сразу расположило к нему весь зал. Стены, увешанные декорациями, проходы между стульями, заполненные экранами, балками, бревнами, предметами бутафории, люди, стоящие у своих инструментов и просто остановившиеся в случайных позах во время разговора с соседом,— все это мгновенно обежал быстрый взгляд нового дирижера.

Паганини никогда не был оратором, он говорил тихо, неотчетливо отделяя слова. Оркестранты толпой подвинулись к нему ближе. После кратких приветственных слов Паганини раздались бурные аплодисменты его оркестра.

Паганини поднял руку:

— Вы должны обещать мне полную искренность и полное согласие со мной в понимании музыкальных задач. Вы должны помнить, что музыка не терпит снисхождения, что не может быть посредственной игры.

Кто-то крикнул:

— Мы не можем все быть такими, как Паганини!

Паганини быстро повернулся к говорящему и остановился. Подумал мгновение и сказал:

— Ошибка: нет имен и нет второстепенных вещей в музыке. Вы все — артисты. Пусть наш оркестр будет оркестром высокого мастерства.

Летописцы тогдашней музыкальной жизни в Италии говорят, что не было в мире оркестра более согласного, более сыгравшегося, нежели луккский оркестр этих лет. Лукка зажила напряженной музыкальной жизнью. Паганини выступал в качестве дирижера в луккском театре во всех оперных постановках, играл во дворце и через каждые пятнадцать дней давал большие концерты.

Два события ознаменовали собой первые полгода пребывания Паганини в Лукке.

Паганини хорошо знал, что вниманием, которое оказывала ему княгиня, он обязан какому-то неизвестному другу. Однажды он увидел этого друга. Это была прежняя Армида. Он сразу узнал ее, хотя красота ее необычайно расцвела. Она села в первом ряду. Видя, как она шепотом разговаривает с княгиней, Паганини понял, что это близкие подруги, не связанные придворным этикетом. Он хотел в антракте непременно увидеть женщину, которая способствовала его спасению. Паганини не испытывал никакого волнения, он сам с удивлением взглянул на себя в зеркало, когда в антракте вошел в актерскую уборную и, сняв перчатки, стоял около маленького стола. Поправил жабо, откинул волосы, упавшие на лоб, взял свежую пару перчаток и вышел. Он пошел в зрительный зал, прошел между рядами, но в первом ряду не было ни княгини, ни ее подруги. Княгиня сослалась на головную боль и уехала, не дождавшись окончания оперы.

Волшебница, так долго отсутствовавшая, снова появилась. Паганини поймал себя на мысли, что он слишком редко вспоминал то счастливое время, которое провел с ней. Лукка в этот приезд была для него другим городом.

Вторым важным событием в жизни Паганини в этот период было появление австрийской газеты, вызвавшей целый ряд сплетен и пересудов. Газета появилась в Лукке первоначально у духовенства, а потом попала и к музыкантам. Паганини стал замечать на себе любопытные пристальные взгляды. Часто, оборачиваясь к тому или иному из своих друзей, он вдруг замечал, что человек, внимательно смотревший на него, старается погасить в глазах беспокойный огонек любопытства. Прошло немало времени, прежде чем Паганини понял, в чем тут дело.

Все североитальянские газеты были полны сообщениями одного венского корреспондента, писавшего о том, что в Италии появился замечательный скрипач, способный удивить весь мир, скрипач, которого не знала земля. Этот скрипач — Паганини, опасный преступник, бежавший с каторги и до сих пор не схваченный властями, несмотря на то что на нем тяготеет проступок против совести, религии и даже человеческих законов, так как этот скрипач является женоубийцей.

Никто не обращался за разъяснениями к самому скрипачу. Паганини не тревожили докучными расспросами. Только княгиня стала несколько суше и строже в своем отношении к нему. Князь, по-прежнему плохо игравший на скрипке, продолжал усердно посещать уроки.

По знакомой горной дороге коляска луккского веттурино везла Паганини в то место, где проходили часы счастливого плена у Армиды. На стук в ворота ему ответил грубый голос. Паганини увидел нового садовода, бородатого, сгорбленного старика с сердитым, пронизывающим взглядом. Старик заявил, что синьора давно не живет здесь. Он указал рукою на заколоченную дверь, на зеленые ставни и жалюзи. Дом, в котором протекали такие счастливые дни, теперь действительно был необитаем.

Значит, Армида жила в городе. Но почему он ни разу за все это время, после того дня, когда она появилась в луккском театре, не встретил ее?

Вернувшись в Лукку, Паганини нашел у себя письмо, написанное знакомым почерком. «Не ищите встречи со мной. Я по-прежнему вас люблю, но мы не должны видеться вовсе». Был ли это ответ на его попытку посетить ее в замке?

Вечером, в концерте, опять в первом ряду он увидел свою подругу. Она осталась после первого скрипичного концерта, несмотря на то что княгиня встала и вышла.

Княгиня Баччокки отличалась чрезвычайной нервностью в восприятии музыки. Она хорошо переносила музыку Чимарозы и Моцарта, она слушала оркестр, которым управлял Паганини, но, без всякого желания обидеть великого скрипача, заявляла, что только очень немногие вещи она может слушать в его непосредственном исполнении. Она говорила искренне, и Паганини был настолько уверен в ее правдивости, что между ними постепенно установились теплые отношения дружбы, хотя придворная публика склонна была шептаться о том, что княгиня охладела к таланту первого скрипача луккского оркестра.

Паганини исполнил желание своей подруги. Он не искал с нею встречи.

Прошло две недели. Мысль об этой женщине не покидала его и возвращалась все чаще и чаще, все с большим и большим напряжением. Чтобы избавиться от мучительного чувства, Паганини сделал то, что делал всегда в критические минуты жизни. Он дал музыкальное воплощение своему чувству. Он быстро набросал музыкальный диалог и разыграл его на следующем концерте на двух струнах. Он назвал эту пьесу «Венера и Адонис». С огромным музыкальным тактом было осуществлено музыкальное выражение счастья и горя любви в форме разговора двух струн.

Пораженные слушатели требовали повторения. Паганини отказался. Он близко подошел к авансцене, он кланялся, опуская скрипку почти на самый ковер, и всматривался в лицо женщины, сидящей перед ним в десяти шагах: он еще во время игры с наслаждением видел, как постепенно улыбка сходила с ее губ, как глаза становились огромными, он видел все движения этого лица.

Княгиня была далека от ревности, она испытывала некоторую дрожь негодования при виде такого фантастического, изощренного уродства, каким природа наградила великого скрипача. Но она была оскорблена бестактным жестом Паганини, который осмелился в ее присутствии выказать непреодолимое влечение к какой-то даме в зрительном зале, хотя бы эта дама была ее лучшей подругой. Когда на следующий день Паганини приехал во дворец заниматься с князем, княгиня не сдержалась. Ответив небрежным кивком на придворный поклон скрипача, она сказала ему:

— Вы превзошли самого себя, играя на двух струнах. Говорят, тюрьма научила вас этому искусству?

— Ваша светлость, я никогда не был в тюрьме,— ответил Паганини.

— Но я полагаю, что одной струны будет вполне достаточно для такого гениального музыканта, как Паганини.

Кровь ударила ему в голову. Легенда об одной струне, очевидно, долетела до дворца Баччокки. Скрипач принял вызов.

— Желание вашей светлости будет исполнено в следующий вечер.

— Вы можете не спешить,— сказала княгиня.— Я уезжаю. Но когда я приеду, я желаю слышать игру Паганини на одной струне.

15 августа праздновался день рождения императора Франции.

Утром княгиня получила пакет из императорской почты. Это было официальное утверждение ее герцогиней Тосканской и приказание родного брата, Наполеона Первого, покинуть Лукку и переехать во Флоренцию. В это же утро Паганини получил пакет с герцогской короной на конверте.

Это был патент на звание капитана гвардии герцогини Тосканской.

К вечеру луккский военный портной уже облачил его в мундир, шитый золотом, и вот в одиннадцать часов ночи, после официального праздника в честь того, что император французов вступил в свою тридцать четвертую осень, на эстраде появился худой человек в мундире с золотыми пчелами на обшлагах и воротнике, с огромной шапкой черных волос и костлявыми, длинными руками, узловатыми в суставах, словно сучья деревьев. Он держал в руках скрипку, на которой была натянута только одна струна.

Героическая соната «Наполеон», широкая, огромная и победная, захватила дыхание слушателей. Им слышались голоса многих скрипок, в то время как скрипач водил смычком всего лишь по одной басовой виолончельной струне.

И в этот вечер не было ни одного приверженца старой власти, ни одной набожной католички в городе Лукке, которые не говорили бы в один голос, с испугом, негодованием или яростью, о дьявольском искушении жителей Лукки, о том, что этот черный гвардейский капитан, игравший на одной струне,— сам дьявол, воплотившийся в адъютанта княгини, чтобы искусить человечество неслыханным соблазном, так же как и тот, кто ведет победные войска, шумит знаменами и маршами миллионных армий затаптывает европейские поля.

Княгиня аплодировала. Она разорвала перчатку и бросила на пол, продолжая аплодировать обнаженной рукой.

Ее супруг наклонился, чтобы поднять перчатку, и услышал негодующий шепот:

— Сейчас же выгоните вон этого лакея. Я послала ему патент на чин капитана гвардии только для того, чтобы показать свою милость, а он уже успел надеть этот мундир, он не знает этикета, этот выскочка.

И как бы в ответ на эту мысль вместе с новым появлением Паганини на сцене раздался крик:

— *Маэстро, снимите лакейскую ливрею!*

Паганини слегка пошатнулся. Неосторожно зацепив смычком за пульт, он уронил ноты, и они полетели в зал, упав перед креслами первого ряда. Вторую пьесу Паганини играл без нот, но — опять неосторожное движение во время игры, падает пюпитр и с треском гаснут свечи, но — что за чудо! — скрипка мгновенно воспроизводит и эти звуки с таким волшебством, что все движения Паганини кажутся преднамеренными и исполненными по программе. Публика, испуганная и завороженная, подавила свое негодование. Зал был покорен искусством скрипача и примирился с его выходкой.

После окончания программы княгиня продолжала аплодировать. Ее адъютант взбежал на эстраду, подошел к Паганини и произнес:

— Ее светлость приказывает вам немедленно покинуть зал, переодеться в черный гражданский фрак и вернуться.

Паганини, откинув голову назад, с гордостью сказал:

— У меня есть патент, мне присвоена эта форма.

Гвардейский полковник, обращаясь к нему, не назвал его капитаном, это тоже бесило Паганини. Он смеялся над самим собой, но, бросая какой-то вызов судьбе, дерзко глядя в глаза полковнику, говорил:

— Как вы смеете не называть меня капитаном?

Паганини поручил охрану своей скрипки молодому музыканту из оркестра; спустившись с эстрады, большими шагами прошел в зал и, беря то одного, то другого из своих друзей под руку, кивками головы отвечал на поклоны и рукоплескания. Худой, с выдающимися лопатками, острыми плечами, он ходил, плавно покачиваясь, словно бросая вызов княгине, которая старалась замаскировать свое волнение разговором с окружавшими ее дамами.

Фрейлина подняла руку. Французский офицер, стоявший рядом с княгиней, торжественно возгласил:

— Его величество император Наполеон в день своего рождения провозглашает княгиню Баччокки великой герцогиней великого герцогства Тосканского. Ее высочество будет иметь пребывание в городе Флоренции.

Оркестр покрыл последние слова. Громкие крики приветствий раздались в зале. Паганини ощутил около своего уха легкое движение и оглянулся. Фрейлина насмешливо и лукаво шепнула ему:

— Синьор Паганини, ее светлость приказала вам немедленно удалиться.

Паганини низко поклонился и протянул руку фрейлине. Взяв ее левую руку, он одновременно взял и правую, поднес обе ее руки к губам и долго не отпускал.

Начался бал. Герцогиня Тосканская с негодованием смотрела на Паганини, танцевавшего в третьей паре с фрейлиной, но ни одним резким движением не выдала себя, боясь уронить свое достоинство.

Весь вечер Паганини был чрезвычайно весел. К герцогине он не подошел ни разу.

За несколько минут до того, как по придворному этикету герцогиня должна была сделать последний поклон гостям и удалиться, Паганини исчез из зала.

Прошло три часа, по северной дороге катилась карета. «Жаль, что нет Гарриса,— думал Паганини,— не с кем посмеяться в дороге». Гаррис не отвечал на письма. Какой политический ветер и в какую сторону уносил Гарриса?

Как ни старался Паганини закутаться в дорожный плащ и сесть поглубже в угол кареты, старания остаться неузнанным оказались напрасными: на станции Брешиа к путешествующим присоединился Луиджи Таризио, который сразу узнал Паганини и выдал его инкогнито всей восьмерке пассажиров мальпоста.

Синьор Таризио производил впечатление опытного путешественника, человека, родившегося и живущего в мальпосте. Плоские полированные ящики, исцарапанные, поношенные, с тяжелыми замками, заполняли весь империал кареты. Дорожный костюм синьора дополняли пистолет за поясом, фляга с вином на ремне, большой клетчатый шарф и широкая шляпа. Трудно было понять, кто это — Жан Барт, или флибустьер времен «Короля-Солнца», или итальянский скрипичный барышник, каким на самом деле был синьор Луиджи Таризио. Таризио совершал свою шестьдесят пятую поездку из Италии во Францию. Его целью был Париж. Этот приветливый человек с тихим голосом оказался очень милым попутчиком. Он знал по имени всех веттурино, он знал клички всех лошадей, знал, когда, в какой кузнице производилась починка кареты,— не говоря уж о том, что ему были наизусть известны города, станции, деревни, имена святых — покровителей той или другой местности. Ему достаточно было услышать звон коло-

колов какой-либо церкви, чтобы тотчас же сказать, как эта церковь называется.

Таризио объезжал итальянские монастыри, заводил знакомства с дирижерами оркестров в городах, с регентами, руководителями церковных хоров в деревнях, селах, местечках, осматривал и скупал оставшееся от упраздненных монастырей имущество, и так как всюду у него были агенты и друзья, то ему в назначенный срок уже выносили на остановку мальпоста интересовавшие его вещи. Он тут же, в ожидании, пока перепрягут лошадей, торговался с продавцом. Сразу чувствовались в нем острый глаз, ловкие руки, здоровье человека, всегда находящегося на воздухе. Ясные голубые глаза, ловкие заученные обороты речи человека, которому необходимо со всеми быть в дружбе, помогали ему покупать скрипки за бесценок.

Ночью ли, днем ли синьор Таризио во время перепряжек и пересадок всегда сам переносил все свое имущество, сам покрывал промасленной тканью верх кареты, завязывал узлы джутовых бечевок. В тех местах, где нарочито придирчивые доганьеры осматривали багаж путешественников, он выходил из мальпоста. «В Италии таможенные границы почти на каждом шагу»,— говорили тогда французские офицеры. Во всяком случае каждое мелкое владение этой страны, превращенное в имущество безработных принцев Европы, непременно имело свою таможню. И синьор Таризио прекрасно знал имя, фамилию, родственные связи каждого доганьера.

Если большие фьяски красного или белого дженцано попадали на пограничную таможню транспаданской жандармерии, то владельцу лучше было просто разбить бутыль или выпить ее со случайными попутчиками в дилижансе. Недаром тысячи бочек наилучшего кьянти были вылиты тосканскими виноделами в силу того, что торговать вином с соседями было невозможно, а выпить такое громадное количество вина было не под силу тосканскому населению. Враждующие между собой мелкие государства, княжества, герцогства, графства отгораживались друг от друга щетиной жандармских штыков, над всем тяготела австрийская паспортная система, и, однако, все оказывалось бессильным, когда дилижанс синьора Таризио переходил через границу.

Честный коммерсант ухитрялся не только проезжать сам со своими скрипками, но и провозить добрых друзей, которые иногда переправляли совсем предосудительные вещи за границу Тосканского герцогства. Самым страшным грузом были мешочки с частной корреспонденцией, попав-

шей в руки конспираторов почтовых контор. Тысяча или две запечатанных писем могли обеспечить такому путешественнику конец жизни в глубоком мантуанском колодце или в секретной камере далекого моравского замка Шпильберг.

Опытные путешественники знали, что в дилижансе, который занял синьор Таризио, можно ехать спокойно. Как это ни странно, торговец скрипками не был занесен в таможенные списки австрийскими властями: быть может потому, что единственный на всю Италию комиссионер европейских оркестров, опер, придворных капелл, синьор Таризио еще не попал в поле зрения австрийской жандармерии. А может быть, какая-нибудь другая бабушка тогдашней истории ворожила своему почтительному внуку. Но так или иначе, синьор Таризио беспрепятственно проезжал все доганы. Доганьеры были довольны уже тем, что скрипки, не являвшиеся запрещенным товаром, оплачивались синьором Таризио при переезде границы гораздо лучше, чем оплачивали свое дрянное кислое вино итальянские купцы, переезжающие через мостик на свадебную пирушку к своему соседу за рекой.

Синьор Таризио покупал в Тироле скрипки старинных немецких мастеров, и сейчас Тироль был главным этапным пунктом его пути на Париж. Синьор Таризио с величайшей болтливостью рассказывал своим спутникам о жизни Парижа. Он рассказывал о Крейцере, о замечательном человеке, господине Байо:

— Это — властитель современного скрипичного мастерства. Это человек, обладающий всеми тайнами скрипичного искусства.

— Байо? — переспросил Паганини.— Мне говорили, что в Париже находится лучшая коллекция скрипок в мире и что Байо начал свою музыкальную жизнь придворным скрипачом Людовика Шестнадцатого, казненного французского короля, а теперь — первый придворный скрипач императора Наполеона.

Таризио кивал головой.

— Коллекция скрипок исчезла,— сказал он.— И если бы не воля нынешнего императора Франции, который прикинулся революционером, в то время как был послушным орудием божественного провидения, то, конечно, погибли бы великие искусства Франции.

Таризио говорил гладко, закругленными, красивыми фразами. Паганини с любопытством и интересом наблюдал за речью и движениями этого человека.

В промежутке между Пизой и Флоренцией, когда утомление после качки на горных дорогах дало себя чувствовать, пассажиров стало клонить ко сну. Синьор Таризио закрыл было глаза, но потом, по-видимому, привычка воздерживаться днем от сна взяла свое. Паганини заметил, как внимательно он выглянул в верхнее окошечко дилижанса, посмотрел в лицо заднему форейтору и потом, словно успокоившись, достал книгу в кожаном переплете, с золотым обрезом и медными застежками. Паганини прочёл заглавие, украшенное киноварью и золотом. Это была *«Книга Сивиллы о переменах земли, пополненная Цигеновыми известиями о предстоящих великих переменах на земном круге».*

«Этот синьор,— подумал Паганини,— не так прост, как он это хочет показать!»

И действительно, сумев поддержать беседу с синьором Таризио, Паганини убедился, что это далеко не простой комиссионер. Синьор Таризио ставил все события европейской истории в связь с переменами, происходящими под корой земного шара, и с движением планет и созвездий. Заметив интерес Паганини к тому, что он читает, он отметил ногтем страницу и передал ему книгу.

— Обратите внимание, синьор,— говорил он,— что за последние три столетия великие наводнения посетили Рим, Тибр вылился из берегов и уничтожил домовладения на всем своем пути. Обратите внимание на то, что в тысяча семьсот семьдесят втором году дождь шел без перерыва хотя бы на минуту в течение целых пяти месяцев. А особенно обратите внимание на то, что в наших апеннинских странах великие землетрясения предшествуют потрясениям политическим. Ежели вчера вы были на вершине, то завтра вы можете оказаться в пропасти. Ведь самые поверхности гор и морей меняются. Одни становятся выше, другие ниже. Морское дно внезапно поднимается на высоту величайших вершин, и морские чудовища, внезапно обнаруженные волею божественного произволения, делаются видимыми. Правда, они умирают, но души их вселяются во властителей. Вот почему на таких местах, осушенных и происшедших из дна морского, бывают наиболее тиранические и преступные правители. Они как будто являются на смену высокогорному населению, которое в душе своей взрастило дьявольскую гордыню и забыло о смирении перед божественным милосердием. Припомните, что двадцать лет тому назад по всей Италии, от Сицилии до Истрии и даже до Триеста, гибли целые города, сотни жителей были убиты разрушением домов при землетрясении.

Погибла Мессина, от этого великого и прекрасного города ничего не осталось,— все погибло в течение шести минут. Из трехсот семидесяти пяти городов и деревень, составляющих Калабрию, погибло триста двадцать, причем сто тридцать селений просто исчезли под землей. Что же говорить нам, простым людям, которые бывают уносимы вихрями истории и исчезают безвозвратно, когда целые царства и города ниспровергаются, гибнут короли, возносятся ничтожества! Недаром в писании сказано: «Низвергнутся сильные с престолов, и смиренные будут превознесены».

«Не похоже на то, чтобы синьор Бонапарт был смиренным»,— подумал Паганини.

Подъезжали к воротам Флоренции. Наступал вечер, нежные голоса колоколов разливались по долине. Скрипя и переваливаясь, двигались по пыльной дороге повозки на огромных колесах.

Внезапно внимание Паганини привлек громкий звук рожка настигающей их кареты.

Маленький элегантный экипаж английского образца, запряженный четверкой, обогнал неуклюжий мальпост и, словно нарочно, перед самой заставой, расположенной внизу, на склоне горы, остановился поперек дороги, загородив путь. Этот маневр мгновенно вызвал у Паганини мысль о погоне. Действительно, мальпосту пришлось остановиться. Паганини закутался в плащ, надвинул шляпу на самые брови и попросил синьора Таризио сказать, если будут спрашивать синьора Паганини, что такого здесь нет. Но все предосторожности оказались тщетными.

Синьора Бельджойозо сумела так повести атаку, что не было никакой возможности сопротивляться. Чтобы не попасть в смешное положение, надо было скинуть плащ и снять шляпу.

Синьора заявила, что ее высочество герцогиня Тосканская согласна простить синьора Паганини и никогда не напоминать ему о совершенном им дерзком поступке, но...

Паганини при виде дамы, которая сделала непозволительный с точки зрения этикета жест, сама выйдя из кареты и подойдя к мальпосту, должен был выйти к ней и объясниться. Он чувствовал себя очень неловко. Синьора была умной женщиной, она понимала всю трудность положения, в которое поставлен Паганини, и смеялась над ним звонким и беспощадным смехом. Паганини отвечал ей в тон, сам шутил над собой. Однако он убедился, что с этой женщиной нельзя быть откровенным, и поэтому заявил, что он, конечно, вернется, но ему нужно оправиться от испуга, вызванного внезапным гневом герцогини. Пагани-

ни остановился на минуту, чтобы посмотреть на эффект своих слов. Видя недоверчивый взгляд синьоры, он заговорил мягко и вкрадчиво.

— Служить ее высочеству для меня, конечно, высшее счастье из всех возможных на земле,— сказал Паганини.— Но я дам во Флоренции десять концертов и после этого — вернусь. Согласитесь сами, что нужен некоторый промежуток времени, чтобы мне загладить свой проступок перед ее высочеством.

Слова синьора Таризио о переменах на земном шаре, о возвышениях и понижениях морского дна и горных вершин не выходили из головы Паганини. Возвращение в Лукку его отнюдь не привлекало. Но, с другой стороны, великая герцогиня несомненно в ближайшее время прибудет во Флоренцию. И внезапно голову Паганини озарила блестящая мысль. Он сказал посланнице герцогини:

— Передайте ее высочеству, что я покорным слугою жду ее прибытия во Флоренцию.

Паганини вынул записную книжку, конверт.

Вырвав листок, он написал несколько строчек и, не запечатывая конверта, вручил письмо синьоре. Мир был заключен.

Мальпост вновь двинулся вперед. Синьор Таризио сладко зевнул, предчувствуя возможность тихого и спокойного отдыха в гостинице.

Решив из осторожности прочесть письмо, синьора Бельджойозо пришла в ярость. Паганини писал: «Я счастлив служить вашему высочеству до гробовой доски, но происшедшее настолько меня потрясло, что самый меньший срок, необходимый для забвения, я определяю в восемьдесят или девяносто лет. В течение этого времени я не буду иметь великого счастия видеть ваше высочество». Синьора Бельджойозо немедленно уничтожила эту записку. Она знала, что Паганини сдержит свое обещание, что Флоренция будет для него случайным местом перепряжки лошадей и что новоиспеченная герцогиня никогда больше не увидит своего дирижера. «Соловья не нужно держать в клетке,— подумала синьора Бельджойозо.— Жаль, это было настоящим украшением нашего города. Что сделается с бедной...» Она вспомнила тайную подругу Паганини, о связи которой со знаменитым скрипачом внезапно заговорила вся Лукка.

Паганини не знал, куда направить свой путь из Флоренции. После долгих колебаний он решил двинуться на север. Он еле боролся с подавившей его усталостью, просыпаясь и вновь задремывая в карете.

Проснувшись поздно ночью перед подъездом маленькой прибрежной гостиницы, он услышал шум моря и свист морского ветра, залетевшего в открытое окно.

Звезды и луна освещали седые гребни волн.

Следующее ясное воспоминание: перед ним совершенно незнакомые люди, один держит мокрое полотенце, пропитанное уксусом, другой, очевидно, считает удары пульса.

— Ну как, вам лучше? — слышит Паганини голос склонившегося над ним человека.— Вы вне всякой опасности, но вам нужен полный покой, у вас нервическая лихорадка.

— Кто вы? — спросил Паганини.— Где мы находимся?

— Я — доктор и такой же путешественник, как вы. Гостиница эта носит название «Гостиницы четырех ветров», мальпост идет через десять часов. Постарайтесь к этому времени собраться с силами.

Стакан крепкого виноградного вина помог Паганини осуществить предписание врача. Через час он был вполне здоров.

Вглядываясь в лицо рыжеволосого спутника врача, Паганини все более убеждался, что он где-то уже видел этого человека. Но, по-видимому, произошли какие-то большие перемены во внешности этого незнакомца. Попутчики были нелюбопытны, это не располагало и Паганини к расспросам. В разговоре они по имени друг друга не называли. Говорили же они о вещах, которые, по-видимому, чрезвычайно интересовали обоих — о Лионском съезде нотаблей, который они называли то съездом нотаблей, то Лионской консультой; о том, что Италия вновь почувствовала на себе всю тяжесть лжи Бонапарта, этого похитителя французской свободы, который стремился теперь установить рабство в Италии; о провозглашении Евгения Богарне, пасынка Наполеона, вице-королем Италии.

Они говорили так, как будто Паганини вовсе не было в комнате. Было похоже, словно эти два человека съехались из разных мест и торопятся сообщить друг другу все сведения, которые им удалось собрать.

С утренней зарей раздался звук почтового рожка, и миланский мальпост, запыленный и грязный, вкатился во двор.

Когда незнакомцы узнали, что Паганини решил ехать в Милан, они выразили свое удовольствие по поводу того, что «величайший скрипач мира», как они называли Паганини, будет их попутчиком.

Паганини объявил в Милане о концерте. Вторично ему пришлось пожалеть об отсутствии Гарриса, так умело помогавшего ему в этих делах.

За два дня до концерта он снова встретился с случайными попутчиками. Они пригласили его отправиться с ними в деревню Бинасио. Выехав из Милана верхом, в Бинасио они отдали лошадей огромному чернобородому крестьянину с физиономией разбойника и отправились пешком по маленькой тропинке, ведущей в близлежащую деревню.

Паганини наконец узнал имя рыжего гиганта. Это был старый приятель его учителя Фердинанда Паера, Уго Фосколо. Доктор оказался знаменитым миланским врачом Джузеппе Паскарелли.

На зов колокола в лесу собралось несколько человек. Отвалили большой камень, нашли яму. Разрыли на дне ее свежую, очевидно недавно заваленную, листву. Подняли железную дверь. Зажгли восковую свечу, закрученную спиралью на металлической трости (Паганини впервые видел это старинное осветительное приспособление). В подземелье десятки таких жезлов лежали на полке вместе с небольшими сетчатыми колпачками, которые предохраняли пламя от случайных порывов воздуха и от соприкосновения с легко загорающимися предметами — занавесками, портьерами, украшавшими, как это ни странно, своеобразное подземное жилище этих людей.

Значок, подаренный когда-то Паганини синьором Франческо Ньекко, вдруг приобрел новую цену. По правилам секретного братства, этот значок, преподнесенный братом старшей степени, через известный промежуток времени давал обладателю его право перешагнуть одну ступень посвящения.

Так вот они, лесные братья, так вот эта удивительная организация. Вот куда ведут рассказы о подземном Риме, о колодцах и кровлях, о тайных ходах, о лесных жилищах на мысе Моргана, об ущельях Калабрии, о сицилийских пещерах, заливаемых морским приливом и совершенно недоступных, об исчезновении у берегов подозрительных лодок, за которыми гнались быстроходные боты англичан, австрийские полицейские лодки и кораблики папских жандармов!

Ветка белой акации, лежавшая на столе в полутемном коридоре, между двумя разветвлениями подземного хода, была вручена одному из присутствующих. Паганини узнал тут же, что вручение белой ветки акации у карбонариев имело значение особого доверия. Брат карбонарий, получивший такой знак отличия, был связан тайным поручением, находился под особым надзором братства. Знак белой акации поручал ему осуществление в условленное время казни коронованного тирана. С того момента, как он при-

касался рукой к ветке белой акации, человек не принадлежал себе и терял возможность выйти из карбонарского братства. Да и вообще, войдя в узкие двери лачуги угольщиков, выйти оттуда было уже невозможно. Жизнь человека, вступившего в это братство, становилась необычайно яркой, если он находил здесь свое призвание. Но, как говорил старший венерабль, «легко поднять, но тяжело нести». Гибель поклажи была гибелью носильщика.

Кардинал Руффо вырезал тринадцать тысяч карбонариев, тысячи республиканцев южных городов были брошены в тюрьмы, где священнослужители заботливо приближали смертный час заключенных.

— ...Наполеоновский кодекс с первого января переведен на итальянский язык и применяется теперь в качестве основных законов нашей Италии. Делегация миланских ослов, отобранных лакеем Бонапарта, Саличетти, выехала в Париж на коронацию корсиканского проходимца короной Италии. В состав этой делегации входит человек, служивший первоначально Австрии, шпион и тайный иезуит, некий Нови. Этот человек повез с собой протокол со списками новых организаций масонских лож Италии. Нови требует, чтобы правительство взяло под контроль тайные общества, но не разрушало бы организации карбонариев, а возглавило ее, чтобы в каждой секретной организации, в каждом тайном итальянском обществе главная роль принадлежала лицам, состоящим на службе у его величества. Этим лицам должна быть предоставлена широкая возможность организовывать новые масонские ложи и обеспечивать широкое развитие тайных организаций для уловления колеблющейся итальянской молодежи и для выяснения настоящего настроения ее, чтобы вовремя пресекать могущие возникнуть заговоры.

Говоривший сделал перерыв. Все переглянулись: весть была тревожная. Нови — каноник генуэзского собора, он переехал в Милан, говорили, что он тайный иезуит, но он выказал себя приверженцем французских властей...

— Как же это может быть,— заговорил кто-то,— чтобы человек, принадлежащий к иезуитскому ордену, представил такую записку императору французов? Да и примет ли Наполеон какого-то каноника из Генуи?

— Примет! — сказал докладчик.— К этому сейчас я и перехожу. Прежде всего обратите внимание на то, что наши главные враги, иезуиты, давно уже применяют гораздо более тонкие способы тайного соединения людей.

— Нет, Паскарелли, нет,— резко ответил молодой голос.— Наша организация гораздо более древняя, ее родоначальники ведут свое происхождение...

— Знаю,— перебил доктор Паскарелли.— Меня интересуют не ребяческие россказни, а серьезное дело. Я хочу сказать, что в ту пору, когда французские купцы начали торговлю с Китаем через Левант, французские миссионеры взялись за обращение в католичество наиболее знатного китайского населения и для этой цели до сотни старинных китайских обрядов было допущено в качестве законных и разрешенных католической церковью. Как вам известно, духовник Людовика Четырнадцатого, отец Мишель Телье, был автором знаменитой книги о культе Конфуция. Он причислил этого китайского философа к лику святых католической церкви и тем спас положение в городах, где иезуиты крепко запустили свои когти. Припомните, как эти люди печатали в наших типографиях портреты Игнатия Лойолы и изображения римского первосвященника. Оба портрета сделаны так, как будто их рисовали китайцы. У папы и у основателя ордена иезуитов — раскосые глаза и длинные свисающие усы. Теперь, после конкордата, может оказаться, что Наполеон будет причислен к лику святых и изображен в виде прямого ученика и даже родного брата Игнатия Лойолы. Я считаю положение серьезным.

К этому времени Италия насчитывала уже около трехсот тысяч карбонариев во всех слоях населения. Известие о готовящемся плане иезуитов крайне обеспокоило слушавших доклад доктора Паскарелли. Восемь человек, собравшихся здесь, уже прикидывали с тревогой, кто же явится к ним под видом добрых друзей и приверженцев масонского карбонаризма. Правда, еще не настало время, когда собравшиеся ради дела революции настороженно будут глядеть друг другу в глаза, каждый подозревая соседа в предательстве. Но огромного успеха иезуиты достигли уже и тем, что пущен слух о возможности предательства в организации. Это создает тревогу, и как бы ни была выкована железная воля подпольщика, эта тревога является лишним добавлением к тяжести его революционного долга.

Одним из этих восьми человек был скрипач Никколо Паганини. Что делать ему в этом странном обществе? Какое отношение его искусство имеет к искусству подпольной революционной борьбы? Но вот синьоры Буратти и Конфалоньери выступили с предложением, которое показало, что все было в достаточной степени обдумано и взвешено. Они обратились к венераблю, синьору Паскарелли, с указанием

на то, что синьор Фосколо недолго еще пробудет в Италии, что после этого года ему предстоит ряд лет прожить в Швейцарии, а быть может, судьба перекинет его еще дальше, ему придется жить на Британских островах, где он поможет итальянскому банкиру, являющемуся членом общества, сноситься с братьями на территории Апеннинского полуострова. Выбывает тот, кто отличался наибольшей подвижностью и чьи путешествия всегда оказывались так полезны. Кто из оставшихся может теперь путешествовать из города в город, не возбуждая подозрений, кому открыты двери дворцов и богатых домов, кому обеспечена возможность открыто выступать перед массой людей, выбрать трех-четырех собеседников, которые под видом делегации от города смогут легко установить связь с любой городской группой любого города Италии? Конечно, скрипач с знаменитым именем, профессия которого требует переездов из города в город, открытых выступлений и общения со множеством людей всякого сословия. Так как он сам захотел соединить два искусства в одном, так как он свое великое служение музыке посвятил итальянскому народу, то мы должны дать ему наше братское поручение в ответ на его братскую клятву. Когда понадобится, синьор Паганини может выступить под чужой фамилией. Там, где его не знают как скрипача, он будет иметь полную возможность и не быть синьором Паганини.

Глава восемнадцатая

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Прошел год со времени миланской встречи. По всей Италии гремело имя знаменитого скрипача. В Риме каждый концерт увеличивал число страстных почитателей его таланта.

И к чести карбонарской организации надо сказать, что никто из тысяч людей, отдававших дань восхищения ему как скрипачу и не посвященных в тайну его двойной жизни, не подозревал, что этого человека часто можно видеть пробирающимся вечерами к холму Пинчьо, месту, где происходили конспиративные встречи новых друзей Паганини.

Однажды он возвращался с очередного сборища. Речи товарищей еще звучали у него в ушах, их мысли еще возбуждали и волновали его мозг.

Тихо угасал день, и разгоралась над городом заря; был тот особый римский вечер, розовато-пурпурный и сизый,

когда поднимающаяся над городом вечерняя тончайшая пыль золотится под косыми лучами солнца. Паганини смотрел туда, где в сизой дымке возвышается Капитолий. Он увидел на дальней площадке красных драгун на белых лошадях, голубых гусар с золотыми киверами. Красные, голубые, зеленые, желтые пятна проходили в дымке римского вечера, словно нарисованные тончайшими водяными красками. Прозрачные, легкие, призрачные, как водоросли, эти цветные расплывчатые пятна двигались и проходили. Паганини любил, поднявшись на гребень крутой горы, смотреть на обломки древнего Рима. Три колонны на Форуме, развалины палатинских домов, дальше огромная триумфальная арка, сосна рядом с нею и позолоченные вечерним солнцем тяжелые очертания Колизея. Где-то совсем вдали, за грудами камней, к которым прилепились домишки римской бедноты, синели Сабинские горы. Рим — это слово всегда вызывало трепетное волнение в душе Паганини, а сейчас разговор с друзьями, проникновенные слова молодого карбонария Россетти наполнили его душу новым вдохновением.

Он шел, глядя на крыши домов, следя за полетом голубей в высоком и чистом небе. Слова Россетти о том, что они, карбонарии, образовали союз новых аргонавтов, что им предстоит большой и опасный путь, прежде чем они добудут золотое руно человеческого счастья и свободы Италии, рождали в нем целый ряд образов.

Конфалоньери и свирепый прямолинейный Конобьянко казались ему гениями новой эпохи, себя он видел Орфеем на борту таинственного корабля «Арго». Видение солнечной золотой Колхиды, новой свободной Италии, вдохновляло их на борьбу. Конфалоньери был Язоном. Италия в победах должна была вырвать у Наполеона драконовы зубы. Новый Язон рассеет их по всей Италии, и как в далекой Колхиде аргонавтов из этих посеянных в землю зубов дракона рождались воины, так и здесь возникнут новые и новые сонмы вооруженных борцов за счастье Италии.

Вечерняя роса блестела на траве, и внезапно Паганини охватило неприятное ощущение сырости воздуха. Заблестевшая роса показалась ему всходами стальных копий. Стальная щетина быстро покрыла поле, потом появились каски и шлемы, за ними поднялись из-под земли головы и плечи — и вот люди, вооруженные с головы до ног, с мечами, щитами и копьями, задвигались, загремели оружием так, что от грома их поступи застонала и закричала земля.

«Новый век родился в крови и железе»,— писал Уго Фосколо. Наступала эпоха больших боев.

Около гробницы Цецилии Метеллы Паганини свернул с дороги и направился к кустарникам. Наклонившись к земле, он топнул ногой и медленно стал отваливать каменную плиту. Заспанный черноволосый человек встретил его, спросил условный девиз и снова завалил ход.

Паганини, усталый от дневных тревог, лег на соломенный матрац, зажег старинный масляный ночник. Из ниши, украшенной изображением доброго пастыря с овцой на шее, он достал листки нотной бумаги. В эту ночь он кончил карбонарскую сюиту «Посев Язона».

В Риме, на карнавале, был единственный раз сыгран этот шедевр. В Риме, на карнавале, Паганини впервые понял, что он достиг совершенства. Каждое выступление до сих пор было ступенью исполинской лестницы. И вот наконец он стоит на вершине,— неслыханно трудный путь наконец позади.

Вся последующая жизнь рисовалась теперь Паганини как жизнь человека, высоко поднявшегося над обычным уровнем. Выступления становились для него жертвоприношениями жреца, постигшего отсутствие тайны в своей религии. Не было трудностей во всей мировой музыке, с которыми он не справился бы. Игра для него приобрела тот двойной смысл, который имеет это слово на языке детей и на языке взрослых, с той только разницей, что, помимо наслаждения от игры как высокого применения скрипичного мастерства перед публикой и помимо игры как легкого и счастливого овладения игрушкой, у него появилась забота, которой он раньше не знал. Он стал учитывать затрату жизненных сил. Выступления не отягощали его, но просто он стал как бы отсчитывать количество энергии, потраченной на каждый концерт. Он уходил с эстрады, не ощущая усталости, но и без того радостного возбуждения, которое всегда сопровождало его концерты в Лукке.

Последний концерт в Риме сопровождался новым триумфом. Он был дан в пятницу, в день, когда католическая церковь запрещает концертные выступления. Паганини пользовался такой благосклонностью людей, имеющих силу при дворе папы, что, как это ни странно, разрешение было дано и концерт состоялся. Достаточно оказалось простой просьбы Паганини, заявившего о том, что на следующий день он должен уехать.

Перед концертом у него собрались друзья, которые обыкновенно сопровождали его от гостиницы до зала. Один из его римских друзей говорил ему, что пора принять-

ся за создание большой оперы, такой оперы, в которой скрипка имела бы такое же значение, как человеческий голос, и что первую оперу Паганини должен написать, несомненно, в Риме. Паганини удивился: почему в Риме?

— Опера, которая пишется по заказу какого-нибудь города, должна быть написана в этом городе,— заявил собеседник.— Вспомните великого Чимароза: он всегда писал оперу в том городе, который эту оперу ставил.

— Да, но я собираюсь уезжать,— сказал Паганини,— и вряд ли когда-нибудь возьмусь за писание опер.

— Во всяком случае,— сказал собеседник,— вот вам наши пожелания: здесь и тема и заказ.

Он вручил Паганини несколько нотных листков. Паганини смотрел с удивлением на этого человека. Около канделябра стояли двое других собеседников и маленькими глотками пили кофе. Паганини взглянул на врученную ему бумагу и быстро закрыл листы. Его знакомый шепнул ему:

— За этим заказом придут на первом вашем концерте во Флоренции, не потеряйте.

Потом, как ни в чем не бывало, он продолжал разговор о Чимароза. Он говорил, что целиком подтвердились сведения об отравлении великого музыканта.

Создатель оперы «Тайный брак» принадлежал к карбонариям и в 1798 году поднял восстание против неаполитанского короля во имя свободы Италии. Ему было почти пятьдесят лет, когда он вступил на поприще ниспровергателя королей. Он был схвачен и посажен в тюрьму. Его казнь была бы неизбежна, если бы не пошатнулось в это время положение короля Фердинанда. Боясь огласки и молвы, король решил освободить Чимароза. В ожидании пересмотра своего дела Чимароза бежал в Россию. Жизнь там, в этой дикой стране, где нельзя появиться на улице без шубы, была для него очень тяжела. Чимароза вернулся в Италию. Королева Каролина решила во что бы то ни стало не допускать Чимароза в венецианские владения и прибегла к предательскому средству. Четыре капли венецианского яда покончили жизнь великого музыканта в Венеции в 1801 году.

— Так это правда? — воскликнул Паганини.

— Правда. Все лучшие люди Италии приняли участие в нашем движении. Сейчас нет ни одного полка, ни одной роты, ни одного эскадрона, в которых у нас не было бы своих людей.

В это время подошел молодой скрипач Паизьелло. Собеседник Паганини умолк. Паганини приготовил ноты,

взял скрипку и вместе с провожатым пошел в концертный зал. Успех был полный. Раскланиваясь, Паганини с ужасом увидел, что двое папских жандармов вошли в зрительный зал и схватили человека, провожавшего его на концерт. Паганини раскланивался, не выпуская из рук нотных тетрадей, свернутых в трубку.

Когда он вернулся домой, он увидел привратника, стоявшего у входа в гостиницу. Привратник стучал большим ключом по ладони и быстро поворачивал ее. Ключ ударял по костяшкам, но, казалось, человек не чувствовал боли. Пронизывающим взглядом он не отрываясь смотрел на Паганини.

В комнате все было в беспорядке. Кто-то рылся, кто-то перерыл все сверху донизу и напрасно пытался скрыть следы своего пребывания, стараясь расставить вещи по местам. Была поздняя ночь. Паганини вдруг почувствовал страх. Он зажег свечу, тщательно запер двери, раскрыл грязную нотную тетрадь и прочитал на листке нотной бумаги, которую вручили ему под видом заказа, список папских шпионов, посланных на работу в карбонарские венты. Документ вполне достаточный для того, чтобы Паганини очутился в Замке святого ангела.

Надо было бежать, но исчезновение ночью могло вызвать большие подозрения у полиции, и Паганини, взяв себя в руки, решил спокойно дожидаться утра. Однако лег он не раздеваясь. Под утро раздался стук. Паганини привскочил. Скрипнула кровать, и было уже слишком поздно притворяться спящим. Он бросил быстрый взгляд на окно. Оно было закрыто ставнями снаружи. Стук в дверь возобновился. Паганини поднялся, тихо подошел к двери и с бьющимся сердцем стал около нее. «Так кончилась моя музыкальная судьба»,— думал он. Он взял трость, с которой никогда не расставался, повернул головку ее в левую сторону и вынул тонкий длинный четырехгранный стилет. «Жаль, что придется оставить скрипку Гварнери!» Он решил отпереть дверь и быстрым ударом стилета проложить себе дорогу, потом бежать. Он не знал еще, куда бежать, но решил, что если он успеет добежать до Испанской лестницы, то звонарь Тринита деи Монти, несомненно, окажет ему приют и укроет его сначала в саду, потом где-нибудь еще. Все эти мысли промелькнули в одну секунду. Вдруг раздался звонкий и сильный голос:

— Синьор, лошади готовы.

Неведомый друг позаботился о скорейшем отъезде Паганини. Громко зевнув, Паганини сказал:

— Я еще не выспался.

Быстрым движением убрав стилет, он открыл дверь. Незнакомый человек предложил ему помочь вынести вещи. «Вот уже арест,— подумал Паганини.— Это, несомненно, шпион».

Скрипка и нотные тетради остались в руках у Паганини. Все остальные вещи были взяты этим непрошеным провожатым. Выйдя, Паганини увидел маленькую коляску, запряженную парой крепких и сильных лошадок.

— Как, мы едем вдвоем? — спросил Паганини.

— Да, синьор, так мне приказано.

Заспанный хозяин гостиницы получил деньги, пожелал Паганини доброго пути и, не тратя лишних слов, ушел к себе.

Во Флоренцию прибыли благополучно. При расставании спутник Паганини оставил ему свой адрес и сказал, что может сопровождать его дальше на север, так как, по-видимому, синьор надолго не задержится во Флоренции.

Великая герцогиня Тосканская была на вершине власти, но Паганини сделал новую бестактность: он не появился при дворе, а, как обычно, просто заявил властям о намерении дать в городе концерт. К большому его удивлению, предложение было встречено без энтузиазма, несмотря на то что во Флоренции Паганини всегда пользовался таким огромным успехом. Ему было указано, что он может рассчитывать на разрешение при условии, что останется на службе у ее высочества. Паганини ответил категорическим отказом. Тогда ему дали понять, что во владениях ее высочества устраивать его концерт неудобно.

Встретившись с друзьями, узнав все флорентийские новости, Паганини был поражен движением наполеоновской армии. До Рима не доходило никаких слухов, там запрещалось печатание газет, там так трепетали перед римским папой и перед французским императором, что трудно было разобрать, где кончается одна власть и где начинается другая.

— Мое положение было тем хуже, что я не признавал ни той, ни другой,— говорил друзьям Паганини.

— ...Однако мне трудно обойтись без концерта во Флоренции,— произнес он под конец, отвечая скорее на собственные мысли. Но эти мысли были поняты старым флорентийским художником Мишателли, который, подойдя к Паганини, в упор сказал ему:

— Я могу помочь вам и без концерта. Приходите ко мне спокойно.

— Как это сделать?

— Приходите ко мне вечером и дайте маленький концерт.

Паганини успел сыграть только сонату «Наполеон». Этого было достаточно, чтобы собрать огромную толпу народа под окнами Мишателли. Потом пришел капитан гвардии, как нарочно одетый точно так, как в свое время неосторожно оделся Паганини в тот злополучный вечер, когда он вызвал гнев княгини Баччокки. Капитан приказал синьору Паганини прекратить игру во владениях ее высочества.

Прощаясь с Мишателли, Паганини был остановлен у выхода. Сын Мишателли, офицер наполеоновской армии, лечившийся во Флоренции после ранения, подошел к скрипачу и тихо сказал ему:

— Известно ли вам, что месяц тому назад синьор Франческо Ньекко отравлен в Венеции?

— Как отравлен?! — У Паганини закружилась голова, он должен был схватиться за притолоку, чтобы не упасть.

— Да, есть подозрение в том, что смерть произошла от яда.

— Да расскажите же, как все это было! — воскликнул Паганини.

Но в эту минуту он в слуге синьора Мишателли узнал своего спутника, увезшего его из Рима. С навязчивостью, которая начала пугать Паганини, этот молодец подошел к нему и сказал:

— Синьор, ваши вещи погружены, вот ваш плащ, оденьтесь, иначе будет холодно.

— Я не собирался ехать...

— Надо, синьор,— резко возразил молодой человек.

Паганини быстро простился с молодым офицером.

Они выехали на север, по дороге на Парму. Но в Болонье пришлось изменить направление. Какая-то неудачная встреча расстроила до чрезвычайности его провожатого. Молодой человек, которого звали Лодовико, упорно делал вид, что чинит колесо экипажа. Только с наступлением сумерек выехали на Феррару, пропуская все назначенные для отъезда часы.

Около Поджо Ренатино, едва забрезжил рассвет, Лодовико остановил лошадей. Он сошел с козел, погасил свечи в фонарях, снял нагар, протер стекла, и в полутьме, спугнвая дремлющих птиц, путники двинулись дальше. Всю ночь Паганини не спал. Чувство невыносимой тоски охватило его при известии о смерти Ньекко. Так встретил он 1810 год.

В Ферраре Лодовико нашел прекрасное место для остановки. Но при переноске вещей оказалось, что, пока Паганини уходил от экипажа, а Лодовико готовил комнату, воры украли баул и кошелек; осталась только скрипка.

Из этого Паганини заключил, что воры мало понимают в музыке.

— О, быть может, слишком много,— возразил на это Лодовико.— По вашей скрипке легко было бы найти всю шайку.

После этого происшествия решено было дать в Ферраре концерт.

Концертный зал города Феррары был очень охотно предоставлен синьору Паганини. Его имя неоднократно повторялось феррарскими музыкантами и уполномоченными австрийского правительства. Начальник города Феррары, который предполагал, что Паганини — фамилия знаменитого врача, лечившего римского папу, быстро поправился и сказал, что имя синьора Паганини-скрипача ему известно как имя выдающегося музыканта.

Зал был поистине великолепен для музыканта. Паганини радовался возможности играть здесь. Пока он разглядывал устройство зала, внезапно явился импрессарио и заявил, что по распоряжению правителя города в концерте будет участвовать синьора Марколини.

За час до концерта Паганини заехал к певице, чтобы прорепетировать концерт. С первых тактов он почувствовал, что она фальшивит, хотя голос у нее хороший. Четыре раза принимается он играть, и четыре раза на одном и том же такте происходит заминка. Синьора Марколини с жестами торговки из бакалейной лавочки просит Паганини начать снова. Паганини терпеливо начинает сначала. На пятый раз препятствие преодолено. Наконец репетиция закончена.

Усталый, но успокоенный, Паганини уезжает.

Перед самым началом концерта ему передают, однако, записку от синьоры Марколини. Синьора пишет, что она «ни за что не будет выступать сегодня», причем Паганини узнает, что синьора Марколини — любовница правителя города и сопротивляться ее капризу бесполезно.

Публика уже наполнила зал. Нетерпеливый топот поднимает пыль, застилающую свет огромной люстры.

По совету Лодовико Паганини садится в экипаж, и они мчатся к синьоре Паллерини. Паганини просит великую мастерицу балета и обладательницу прекрасного голоса выступить в сегодняшнем концерте. Паллерини соглашает-

ся. Пока Паганини ждет в экипаже под ее окном, она переодевается, изредка поглядывая сквозь занавески на его сгорбленную птичью фигуру, на голову в большой шляпе, вращающуюся, словно голова хищной птицы. Она снимает с себя будничное платье и, раздевшись, потягивается перед зеркалом, любуется своим нагим телом, с озорной усмешкой думает о Паганини, одетом, закутанном, ожидающем ее у подъезда. Одевшись, она выходит к нему.

По дороге Паганини опьяняет внезапный прилив веселости при мысли о том, как синьора Марколини будет наказана за свой каприз. Он пожимает руку синьоре Паллерини, она отвечает рукопожатием, за которым следует поцелуй. Синьора Паллерини, артистка балета, глубоко взволнована. Знаменитый скрипач, с такой необыкновенно яркой, живой речью, с такими дьявольскими глазами, нравится ей. Она думает о том, как легко он воспламеняется, и с радостью ощущает пульсацию горячей неаполитанской крови в своих жилах. Только остановка экипажа у концертного зала спасает Паганини.

Синьора с ужасом чувствует, что концерт для нее уже не интересен. Она поет беззвучным, вялым голосом,— она не фальшивит, но поет, как бы превращаясь в слушателя, восхищенного неповторимыми звуками скрипки великого артиста. Она смотрит на Паганини, видит этот чужой взгляд музыканта, взгляд сфинкса и колдуна, и внезапно падает без сознания. Раздаются свистки, хохот, шиканье, и весь зал бурно выражает свое негодование.

Распорядитель концерта подходит к Паганини, поддерживающему на руках бесчувственную девушку, и шепчет ему на ухо, что правитель и городские власти чрезвычайно недовольны тем, что синьор Паганини так неучтиво обошелся с певицей Марколини; что необходимо было бы отменить концерт, если первая певица города отказалась в нем участвовать.

— Скажите, какая выручка? — грубо прерывает его Паганини.

Узнав цифру, прикинув, что денег вполне хватит до Венеции, кивает головой.

— Принесите мне деньги сейчас же, или я завтра подам на вас в суд.

Эти слова оказывают магическое действие. Распорядитель поднимает руки и громко объявляет:

— Концерт продолжается.

Паганини отводит синьору Паллерини в комнату, дает ей нюхательную соль, принесенную сердобольным врачом

из зала, и, гладя ей волосы, обдавая ее жарким дыханием, говорит ей на ухо:

— Успокойтесь, еще много времени впереди, а пока не наступила ночь, послушайте, что сейчас произойдет.

Схватив лежащий на столе дирижерский жезл, Паганини с бешенством стучит о спинку кресла, пока испуганный антрепренер не прибегает на этот стук.

— Где же деньги?

— Вот они, синьор. Потрудитесь расписаться.

Паганини быстро комкает кучу ассигнаций, сует их в карман, берет скрипку и со спокойным видом выходит на эстраду. Он поднимает смычок, но вдруг поворачивается к публике спиной и, обращаясь к синьоре Паллерини, говорит:

— Подойдите и будьте свидетельницей.

Потом заявляет публике:

— Не всегда же печалиться, надо позволить себе и шутку.

Полилась чудовищная река звуков, в которых сначала ничего нельзя было разобрать. Потом публика услышала скрип колес тележки водовоза и плеск воды из бочки, потом крики погонщика мула и рев осла, потом петушиный крик, громко сзывающий кур, дикий визг собаки, которой лошадь наступила на ногу, завывание кошек, сцепившихся на крыше в весенней битве. Ошеломленные феррарцы слушали эту неистовую композицию. Раздалось несколько смешков, передние ряды заливал хохот.

Но вдруг смычок взвился в воздухе, и последние звуки замерли где-то под сводами лепного потолка. Лишь треск горящих свечей нарушал глубокую тишину. Несколько шагов вперед, и, нагнувшись так, что слышно его свистящее дыхание, Паганини почти над головами первого ряда вскидывает смычок кверху, проводит им по шантрели и потом сразу переходит с шантрели на басок. Публика ясно слышит оскорбительный выкрик скрипки: «Хи-хан!», со всеми придыханиями человеческого голоса, со всей выразительностью человеческого презрения. Это повторяется два раза, потом еще три раза,— живой настоящий крик, тот самый оскорбительный возглас, который на всех дорогах Италии преследует феррарцев. «Хи-хан» значит болван, петух; это — старинное прозвище тупоумных, низколобых феррарских идиотов, скупых и скаредных кретинов, умеющих только считать деньги, полуживотных, полулюдей, ничего не знающих, кроме наживы, еды, питья и очередной исповеди у жирного священника. Так писали острые наблюдатели из «Британского обозрения».

Паганини еще стоял, держа смычок в воздухе, как вдруг налетел шквал, все вскочили со своих мест, негодующие крики, сломанные стулья, трости, афиши, шляпы — все полетело на сцену. Уходя неторопливой походкой, Паганини задержался у портьеры, отделявшей сцену от комнаты артистов, и смычок снова провизжал эту же самую оскорбительную кличку.

Долго бушевал покинутый зал.

Утром Паллерини, усталая и счастливая, последний раз прижала Паганини к своей груди. А в четыре часа он выехал на север.

Глава девятнадцатая
СКИТАНИЯ ОРФЕЯ

Паганини с успехом выступал в Милане. Первые шесть концертов привлекли в город путешественников по Италии, скрипачей из Вены. Они привезли известие о том, что Фердинанд Паер последовал за французским императором Наполеоном в Париж и занял там должность директора итальянского театра. В Милане произошла новая встреча. Ролла, поздоровевший и словно вернувший молодость, играл в миланском театре «Ла Скала» и дирижировал оркестром. Он занимал придворную должность, являясь солистом вице-короля Евгения. Ролла принял Паганини с видом человека, обрадованного тем, что его доверие оправдано. Старик смотрел на молодого Паганини как на чудо, как на величайшую драгоценность мира.

Миланские горожане в те дни обсуждали известие о прекращении деятельности всех карбонарских вент на неопределенный срок, до нового созыва. Центр движения ушел куда-то на юг, верховная вента исчезла. Провинциальные ложи приказано было распустить.

Пребывание французов в Милане направило жизнь города в иное русло. Не было и намека на религиозный гнет, но чувствовалась сильная, деспотическая власть Бонапарта.

Между Парижем и Миланом ходила французская почта, и Паганини с интересом следил за музыкальной жизнью французской столицы. Итальянцы Виотти и Керубини, вместе с французом Байо, насаждали итальянскую музыку в Париже. То предприятие, которое когда-то парикмахер Марии-Антуанетты Леонар затеял ради коммерческих целей, организуя приглашение итальянских певцов и музы-

кантов, теперь благодаря капиталам, внесенным господином Фейдо де Бру, расширилось и развернулось. Театр Фейдо превратился в арену, где состязались лучшие итальянские певцы и музыканты. Паганини ловил себя на мысли о путешествии во французскую столицу, но решил из осторожности ограничиться пока лишь мечтами об этом.

Паганини понравилась миланская жизнь, и он решил надолго остаться в этом городе. Здесь он не чувствовал той зависти судьбы, которая беспокоила его в Ливорно, в Лукке и во Флоренции. Он выступал, не вызывая вражды. Его концерты не приносили ему баснословных сборов, но и не сопровождались неожиданными сюрпризами. Художник Пазини подарил ему скрипку Страдивари. Таризио, снова приезжавший в Милан, продал ему скрипку Амати. Паганини стал счастливым обладателем трех скрипок величайших мастеров Кремоны. Он приобрел еще два альта, маленькую детскую скрипку работы Страдивари и на этом остановился.

Скульптор Бартолини сделал мраморный бюст скрипача. Бюст был выставлен в одной из зал галереи Брера, и здесь публика, смотревшая на него впервые, произнесла те слова, которые часто потом заменяли Паганини имя,— «Южный колдун». Колдун по-своему откликнулся на это прозвище. Он написал танец колдуньи, который исполнил в театре «Ла Скала» при многотысячном стечении слушателей. Фантастический успех концерта был обусловлен в большой мере магическим и колдовским характером музыки: это как нельзя более соответствовало настроению слушателей.

Растерянные души искали необычайного и стремились избежать столкновений с действительностью, запечатлевая ее образы языком старинных заклинаний, языком магии и вновь возрожденной веры в волшебство.

Это было время, когда неаполитанский король Иоахим Мюрат отправил последние тридцать пять тысяч неаполитанских юношей на север. В белых лосинах, в белых мундирах, в темно-малиновых плащах, эти юные кавалеристы армии Мюрата двинулись на Москву вместе с шурином неаполитанского короля — Наполеоном.

Внутри своего королевства Мюрат начал планомерное преследование организаций итальянской молодежи. Тайная организация при дворе римского первосвященника посылала своих шпионов в карбонарские венты, а Мюрат, разного рода посулами восстановив доверие к себе карбонарских организаций, выведал их состав. В 1811 году он

знал их списки, ему необходимо было вырвать сердце карбонарского юга, он искал Конобьянко, а с другими должен был расправиться на севере принц Евгений.

Таким образом, почитатели итальянской свободы оказались между двух огней. Все дальше и дальше на юг уходил Конобьянко в леса Апулии и горы Калабрии, пока наконец, найдя приют у сельского попа, которого рекомендовали ему мнимые друзья, не был застигнут там и убит пистолетным выстрелом в голову. Но Мюрат недолго торжествовал победу, принц Евгений недолго держался на троне. Летиция Бонапарт была права, когда сберегала каждую простыню, наволочку и каждый носовой платок, стремилась всегда поскорее выручить их даже от прачки. «Что я буду делать с моими детьми и внуками, когда всех этих королей погонят с престолов?» — говорила эта прямолинейная и простая корсиканская женщина, оказавшаяся внезапно матерью большинства королей и принцев Европы.

Выехав из Милана в Турин, Паганини удостоился чести посетить княгиню Полину Боргезе. Тут он встретился с тайным иезуитом князем Боргезе и его сыном, молодым красавцем, только что женившимся на Полине Бонапарт, сестре Наполеона, к которой император французов, говорят, питал совсем не братские чувства. У Полины Бонапарт была странная судьба. Страдая от преступной привязанности родного брата, она вышла замуж за французского генерала, оказавшего помощь Бонапарту в тяжелые дни, когда Бонапарт, тогда еще молодой генерал, должен был разогнать силой Совет пятисот и объявить свою собственную железную диктатуру, вернувшись в Париж после египетского похода и превратившись из коменданта города Парижа в директора, потом в первого консула, потом в императора. Леклерк, супруг Полины Бонапарт, был отправлен на далекие Антильские острова для подавления восстания черного консула, вождя гаитийских негров, Туссена Лувертюра. Там он со своим экспедиционным корпусом и погиб. Негритянская столица была сожжена самими неграми. Полина Бонапарт вернулась и, не желая оставаться в Париже, поселилась теперь в Турине, выйдя замуж за красивого молодого князя Боргезе. Она служила теперь для итальянцев живым напоминанием об экспедиционных неудачах Бонапарта.

Под зноем океанских островов погиб экспедиционный корпус Леклерка, теперь приходили темные слухи о том, что в снегах России погибает экспедиционная армия самого императора. И как на островах негры сожгли свою сто-

лицу, так и тут русские сожгли свою Москву. Эти слухи были упорны, и хотя не находили подтверждения, но Паганини видел беспокойство и печаль на лице этой второй сестры Бонапарта, встреченной им на жизненном пути. Однако гораздо больше привлекло внимание Паганини другое женское лицо. Вместе с Паганини выступала певица Антониа Бьянки, и Паганини ловил себя на том, что не может оторвать глаз от этой красавицы.

Когда концерт окончился, Паганини пригласил певицу в Милан для совместных концертных выступлений. Антониа, немного подумав, согласилась. Прикинув оставшееся время, она сказала просто:

— Ангажемент кончается через месяц! Через месяц ждите меня в Милане.

Из Милана в Турин почта шла неисправно. Паганини испытывал неведомое раньше нетерпение. Никогда не было случаев, чтобы так долго ждал он писем.

Он развивает в это время кипучую деятельность. Хотя общества и союзы запрещены, возникает, по инициативе Паганини, музыкальный кружок «Миланский Орфей».

Но происходят в мире очень странные вещи. Французская полиция не обращает никакого внимания на музыкальный кружок, она занята совершенно другим делом. Принц Евгений Богарне отдал распоряжение о прекращении доставки каких бы то ни было северных газет.

Совершенно случайно попал раз Паганини на почту: ноги каждый раз заносили его туда, когда он проходил неподалеку. Так уж устроен человек, что иногда он заходит совсем не туда, куда ему нужно. Он спросил опять почтового чиновника о письмах из Турина. Из Турина не было, но оказалось, его ожидало письмо из Англии. Удивительно! От кого бы? Писал Джордж Гаррис. Он выезжает из Лондона в Ганновер, чтобы вступить там в должность дипломатического атташе; он просит написать подробно, не согласится ли синьор Паганини на поездку по Европе и не может ли Гаррис встретиться с Южным колдуном, о котором трубят все газеты европейских столиц. Была приложена английская газета. Паганини не читал по-английски, но два слова он понял: падение Наполеона.

О, как злорадствовали англичане, с какой ненавистью к Бонапарту они сообщали о гибели, о полном крушении французского могущества! Как они описывали позорный побег Наполеона в Париж, его отвратительные слова, произнесенные им во дворце, у жарко горящего камина, когда, став сапогом на решетку, император французов сказал: «А все-таки это лучше московского мороза». Старая весе-

лая Англия ожила при этих известиях. Не было больше французской опасности; Англия, нанесшая удар французскому могуществу на море, теперь могла не беспокоиться и на суше.

Очевидно, не один Паганини получил это известие. Весь Милан был полон слухами. Шептались по углам и быстро старались разойтись, на улицах было заметно оживление. Но самое большое оживление вызвало это известие во дворце епископа, в монастырских канцеляриях и на улице, где помещался упраздненный монастырь святой Маргариты. Не нынче-завтра там ожидали восстановления жандармского управления губернатора его апостолического величества императора Франца. Гаррис делал тысячи намеков каждым словом. «А в самом деле, где теперь римский папа?» — думал Паганини.

Последнее время святой отец был вывезен в Савону. Его оставили одного, без советников, его заставили подписывать энциклики, буллы и послания, предлагавшие полное повиновение французской власти на всем огромном пространстве, где были верные сыны католической церкви. С нетерпеливой поспешностью, которая только увеличила телесные немощи святейшего отца, римского папу перевезли во Францию, в Фонтенбло, и там был заключен конкордат, который фактически превращал римского первосвященника в послушное орудие французского императора. Вот почему все иезуитские организации, все представители упраздненного ордена Иисуса злорадствовали при известии о злоключениях главы римской церкви. Ими пренебрегали, они влачили жалкое существование, без власти, без имущества, без конгрегации, без монастырей, и все-таки их тайная организация существовала, и скоро мог наступить час возмездия. Перед лицом испуганного, занятого тихой наживой мирянина они умело поставили призрак террора, перед лицом итальянских граждан они воздвигали призрак гильотины и усердно напоминали итальянцам об отрубленной голове короля. Но это не помогло. Бонапарт обманул их намерения, он сам сделался императором и нигде не думал водворять республиканский образ правления. Теперь час возмездия настал.

Падение Бонапарта знаменовало собой воскрешение ордена Иисуса. Прошло немного времени, и 24 мая 1814 года папа был снова в Риме. На торжественном молебствии 7 августа римский первосвященник возвестил, что он считал бы себя виновным перед господом в важном преступлении, если бы в это опасное для христианской общины время пренебрег помощью, которую дарует провиде-

ние; если бы, поставленный в ладью святого Петра, колеблемую и сотрясаемую постоянными бурями, он отказался воспользоваться сильным и опытным гребцом...

Сильные и опытные гребцы в это время были выгнаны из России, числом триста пятьдесят восемь. Это были самые закаленные в боях жизни иезуиты, во главе с генералом ордена Тадеушем Бжозовским. Они прибыли в Рим и сразу приступили к действию. По директивам генерала ордена они принялись за восстановление разрушенных хозяйств, за откапывание зарытых бочек с золотом, за разработку планов овладения школами и воспитанием детей во всех европейских государствах, за открытое проявление своего тайного могущества. С энергией, накопленной в иезуитском подполье, они решили ударить по обломкам наполеоновской власти в Италии и вместе с тем разрушить все очаги, где только могло бы возникнуть карбонарское движение.

Паганини знал только то, о чем сообщали газеты. Время от времени появлялись в газетах короткие, сухие извещения. Одно из них уведомляло гражданское население Милана о прибытии Наполеона в качестве губернатора на остров Эльбу. Второе больше испугало Паганини: оно сообщало о восстановлении иезуитского ордена. Причем Паганини никак не предполагал, что в числе суждений о влиянии науки и искусства на приверженность итальянского населения к римской церкви окажется и суждение о значении его имени.

Кановник Нови самым серьезным образом доказывал, во-первых, что имя Паганини происходит от слова «paganus» — язычник, или человек, приверженный к почитанию ложных богов; во-вторых, он клятвенно заверял, что настоящий Паганини погиб в тюрьме, а выступающий ныне на концертах в Милане человек — беглый каторжник, у которого все движения изобличают долговременное утомление от стальных цепей, сковывавших ноги. Он показывал портрет беглого, он говорил о том, что остров, где нашел первое прибежище этот человек, скрывшись с каторги, служил местопребыванием одного из сильных, наделенных большою властью уполномоченных ада, и клятвенно заверял, что Паганини за полученную свободу продал душу дьяволу.

Отцы-иезуиты закрыли все французские школы в Италии. Все общества, так или иначе соприкасавшиеся с французской молодежью, с французским искусством, были распущены, и в добавление к ранее осуществленному запрещению прививки оспы иезуиты под страхом тюрьмы запре-

тили такие нововведения в городах, как, например, газовое освещение в Риме, которое они немедленно уничтожили.

Римским королем был назван маленький сын Бонапарта; его увезли в Австрию и держали как в тюрьме при венском дворе. Дочь австрийского императора, Мария-Луиза, теперь соломенная вдова Бонапарта, получила в камергеры генерала Найпперга, которому сам отец безутешной Марии-Луизы приказал исполнять все желания своей овдовевшей дочери, даже такие, о каких ей трудно будет заговорить самой.

Бывший император, живя на Эльбе, перестал очень скоро получать письма от своей супруги. Еще раз была вспышка, окончившаяся битвой при Ватерлоо. Еще раз Иоахимом Мюратом, превратившимся в обыкновенного селянина, была сделана попытка высадиться с разбойничьей Корсики на берег Неаполитанского залива.

Кардинал Боргезе написал Мюрату письмо о том, что зашатался трон восстановленного во Франции Людовика XVIII Бурбона и что его, Мюрата, ждут друзья.

На берегу Мюрата ждали английский военный суд и представители римской церкви. Суд был короткий. Бывший неаполитанский король на неаполитанском берегу сам скомандовал солдатам стрелять и был застрелен и похоронен без воинских почестей.

Крутой поворот истории сопровождался в Италии хрустом человеческих костей в дни, когда Паганини собрался выехать из Милана на юг, вдогонку Антонии Бьянки, так и не приехавшей в Милан.

Его путь лежал на Болонью, так как добрые друзья из театра, где за год перед этим выступала синьора Антония, рассказали Паганини, что молодая красавица должна была ехать именно в Болонью. В городах таким крупным артистам встретиться и найти друг друга было легко.

Старик Пунтильо, баритон, старый исполнитель комических ролей в операх, пронзительным оком оглядывал Паганини. Фрукты, бокалы с недопитым вином, разбросанные вещи — все это свидетельствовало о беспокойстве, несколько большем, нежели полагалось при отъезде.

Старик отвел скрипача в сторону и сказал:

— Вы, по-видимому, ранены сильно. Смотрите, друг мой, когда будете в Неаполе, обратите внимание на спящее мраморное божество в одной из южных комнат княжеского музея. Разве голос вашей синьоры... вашей мадонны,— поправился Пунтильо,— не говорит вам о том, что она имеет все признаки этого двуполого божества?

Паганини стоило большого труда рассмеяться. Он посмотрел в глаза старику. Тот не шутил. Всю дорогу до Болоньи Паганини думал об этих словах. Странное чувство сопровождало эти мысли: это было не отвращение, не страх, это было в странной форме любопытство.

В Болонье синьоры Бьянки не оказалось. Второй неудачей, постигшей Паганини, было то, что опять у него пропал почти весь его багаж. Какое счастье, что, кроме скрипки Гварнери, которая и на этот раз уцелела, вся его коллекция скрипок была оставлена в Милане у синьора Роллы. Там же хранились первые наброски устава будущего «Союза Орфеев». Для того чтобы поправить дела, необходимо было концертировать в Болонье. Представился прекрасный случай. Очень молодой композитор, юноша красивый, изящный, по манерам слегка напоминающий француза, а быть может, сознательно подражавший французам, Джоаккино Россини, уроженец города Пезаро, выступил с ним в концерте.

Паганини было тридцать два года, Россини — двадцать два, когда они встретились впервые на концертной эстраде этого счастливого итальянского города, всему предпочитавшего веселье. Перед концертом завязался оживленный разговор во время чтения венецианских газет.

— Ах, Карпани! — воскликнул Паганини.— Вы знаете этого осла с титулом императорского поэта в Милане, почитателя австрийцев и римского папы, бездарного стихотворца, сочинителя опер, которых никто нигде никогда ставить не будет?

Оба, и Россини и Паганини, с наслаждением перечитывали перебранку Карпани с каким-то французом по поводу биографии умершего за шесть лет перед тем композитора Гайдна. Карпани заявлял: «...Это я присутствовал при болезни Гайдна, а вовсе не этот наглый француз».

— Кто же этот наглый француз? — спрашивает Паганини.

— Какой-то Луи Александр Сезар Бомбэ. Вот имя! В нем забавно соединяются имя представителя бурбонского дома, имя римского императора вместе с именем Александра Македонского. Очевидно, у господина Бомбэ крестные отец и мать обладали сильным монархическим чувством.

В маленькой комнате собрались болонские актеры, музыканты и меломаны. Среди них был француз с желтоватым лицом, офицер наполеоновской армии, господин Анри Бейль, или, как его звали в Милане, синьор Арриго Бейль. Он был в дружбе с Россини, был почитателем музыки и,

конечно, принял сторону Карпани. Легко и остроумно он доказал, что господин Бомбэ обворовал скромного лакея австрийского губернатора.

— Но вы говорите так, словно вы защищаете вора,— сказал Паганини.

Синьор Бейль пожал плечами. Разговор перешел на другую тему. Только синьор Бейль знал о своем тождестве с синьором Луи Александром Сезаром Бомбэ, только синьор Бейль, отдыхающий в Милане, Болонье и Венеции после ужасов московского похода и березинской переправы, знал о том, что книга об Иосифе Гайдне и венской музыке вышла из-под его пера и являлась его первым литературным произведением и что во всем, что касалось биографических данных, она целиком была списана с книжки Карпани. Вот почему он так предательски великодушно защищал синьора Карпани перед лицом двух музыкантов, которым гораздо больше нравилась редакция биографии Гайдна, сделанная господином Бомбэ.

Пока собирался оркестр, синьор Бейль прошел в партер. Он взял записную книжку из тончайшей барселонской голубой бумаги и записал наряду с мыслями о значении Средиземья, которое считал колыбелью мира, свои впечатления о Россини. «Какой удивительный музыкант Россини!.. Быть может, Россини будет новым Чимароза»,— писал Бейль-Стендаль.

Концерт прошел с огромным успехом. Болонцы были тонкими ценителями музыки, и этот день остался в их памяти как незабываемый праздник.

Прошло несколько вечеров в дружеских беседах, в прогулках. Артистка Герарди, высказывая суждение о музыке Россини, говорила, что Россини в наиболее красивых, лирических местах делает отступления от правил музыкального правописания. Синьор Бейль вставляет замечание, он вспоминает, что, когда графу Риваролю доказывали, что Вольтер делает погрешности против орфографии, Ривароль отвечал: «Тем хуже для орфографии».

— Вы все — якобинцы,— говорила Герарди, обращаясь к Россини, Бейлю и Паганини,— вас испортила революция.

На это не последовало ответа, каждый думал об этом по-своему. Меньше всего считал себя революционером Россини. Паганини вздрогнул и вспомнил о наступившем «силануме» — *о многолетнем молчании конспиративных организаций.*

Прошла неделя. Паганини получил возможность двигаться дальше. В Болонье было трудно наводить справки, необходимые для поисков беглянки.

Внезапно странная усталость охватила Паганини после болонских концертов. Он резко изменил намеченный маршрут и через неделю высадился на набережной Венеции.

Моросил дождь, легкой дымкой были покрыты дома, дворцы из розового, белого, голубого мрамора сливались в белесоватые пятна. Мелководная темная лагуна, плесень на фундаменте, запах водорослей и гнилой воды — все это неприятно поразило Паганини, как только большая черная ладья подплыла к гостинице «Луна». Старый нищий в лохмотьях крюком придержал борт гондолы и тотчас потребовал денег. Человек в кожаном фартуке внес вещи в нетопленный номер. На стенах были пятна сырости, штукатурка позолоченного потолка обвалилась, окно было разбито, громадный полог над кроватью был покрыт пылью и паутиной.

Плоские берега, на них — пережившие свое время необитаемые дома, скудная растительность, скорей похожая на пятна водорослей, на каменных фундаментах, уходящих под воду. Лица работниц со стекольных фабрик бледны, как воск, они кажутся лицами мумий.

В первый день — чувство невыносимой тяжести на душе, усталость и стремление к покою. Первоначальная потребность немедленно выехать обратно на юг, чтобы видеть солнце, сменилась желанием, предательским и тайным, просто отдохнуть, не глядя ни на что; закутавшись, уснуть под этим пологом, выпив фьяску красного ломбардского вина. После того как прошел сон, появилось желание увидеть Венецию при солнце. Дождь кончился, сквозь белые облака смотрело серебряное, как старинное зеркало, солнце. Спящие каналы отражали перевернутые в них дворцы, удивительные храмы и толпящиеся у берега здания, балюстрады и лестницы, спускающиеся в зелено-синюю глубину.

Первая бесцельная прогулка затянулась невероятно. Четыре раза миновав мост Фонтего, Паганини вышел на него в пятый раз в поисках дороги назад. Ни одного встречного, ни одного путника, мертвая тишина. И тем не менее уже на следующий день Паганини почувствовал притягательную силу этого города. Он ощутил ее еще больше, когда впервые давал концерт в больших залах синьора Пальфи, слабо освещенных канделябрами и, однако, пылающих светом, отраженным и сотнями зеркал, и белым полированным полом, и серебряными украшениями алебастрового потолка.

Год провел Паганини в Венеции. Медленно и не без боли возвращался он к действительности после этого похо-

жего на сновидение года. У него было странное увлечение: в библиотеке святого Марка он с наслаждением читал мифологические поэмы Палефата, «Сказание о необыкновенных событиях». Его поразили прочитанные впервые «Метаморфозы» Овидия; переход живых существ в новые формы, омертвление живого и оживление мертвого увлекли его фантазию в область особых восприятий действительности, когда вечерний венецианский туман казался ему принимающим формы и очертания городов, когда сама каменная Венеция над водами таяла, как облака, и становилась словно каким-то видением. Музыка, застывшая в странных ритмах, венецианская архитектура барокко, самая причудливая игра строительных стилей прошлого столетия — все это сопоставлялось фантазией скрипача с дивным творением Овидия.

Постепенно Венеция стала ощущаться как царство теней, и вода стала превращаться в воду забвения.

Миф о превращениях заставлял мысли Паганини скользить по какому-то краю фантастики, там, где она переходит в безумие. Он ловил себя на странной игре воображения, когда пропадала разница между голосом скрипичных струн и голосом синьоры Антонии, когда скрипка превращалась в женщину и женщина превращалась в скрипку. И он сам, основатель союза миланских Орфеев, во что превратился он здесь, в этом царстве теней — в человека, отдавшего свою душу поискам Эвридики в Аиде.

Глава двадцатая

В ПОИСКАХ ЭВРИДИКИ

Исходным пунктом в поисках утраченного счастья Паганини, как опытный стратег и военачальник, назначил Турин. На четвертый день после отъезда из Венеции все тайны и расплывчатые образы исчезли. Он искал совершенно реальную Антонию Бьянки и бранил себя за целый год, потраченный им в Венеции. Здоровье его окрепло, и чувствовал он себя прекрасно. В Турине он дал целый ряд блестящих концертов.

Снова друзья Антонии Бьянки говорили о ее выезде в Болонью.

Снова Болонья, и снова, как тогда, встреча с Россини. Россини написал сладкозвучную оперу «Армида», «Золушка» закончена им, «Матильда ди Шабран» будет ставиться в Риме. Вместе с Россини Паганини собирался ехать в Вечный город.

Вот уже поданы экипажи, вот уже в маленькой болонской кофейне последняя чашка кофе перед дорогой. И вдруг два усатых жандарма кладут руки на плечи Паганини и грубо надевают кандалы ему на руки. Посетители кофейни мгновенно разбегаются, в окна заглядывают любопытные. Паганини, онемевший от ужаса, переходит от ярости к недоумению, от недоумения к бешенству. Улица запружена народом. Жандармы показывают Россини портрет и приметы. С каторги бежал преступник,— вот он.

— Что вы лжете, негодяи! — кричит Россини.— Какой это каторжник! Это великий скрипач Паганини, слава нашего отечества!

— Вы говорите «отечества»,— прерывает музыканта жандармский офицер.— Ваше отечество — это монархия его величества императора Франца-Иосифа.

— Наше отечество — Италия! — кричит Россини и ударяет кулаком по столу.

Мгновение, и все успокаивается. Приходит подеста, недоразумение улаживается. Синьор Паганини получает свободу, жандармы извиняются.

— Но как он похож на этого каторжника! — говорят друг другу официанты в кофейне. — Ведь это же совершенно одно лицо.

Качая головами, обменялись взглядами содержатель кофейни со своей супругой.

В Риме Паганини с увлечением принял участие в постановке «Золушки». Необыкновенная сладость, насыщенность и стройность пенистых и искристых звуков Россини настолько подкупали Паганини, что он однажды, крепко обняв молодого друга, со смехом рассказал ему свою историю. Это тоже история «Золушки», история нелюбимого сына в семье, мальчика, пробившего себе дорогу к славе.

Гораздо сложнее пошло дело с постановкой в Риме «Севильского цирюльника». Бомарше был хорош в свое время, но он имел неосторожность осмеять представителей ордена Иисуса. Если во времена последнего версальского короля автор едва не попал в тюрьму вследствие того, что духовник Людовика XVI выпросил у короля, игравшего в карты, приказ об аресте Бомарше, то теперь в Риме едва не произошла подобная история с человеком, осмелившимся написать музыку на тему «Севильского цирюльника». Казалось, какой-то тайный приказ мобилизовал всех аббатов города Рима.

Началось с того, что маляр вылил на парадный камзол Россини ведро желтой краски. Перед поднятием занавеса Паганини вручил своему другу смешной вигоневый

костюм, висевший на композиторе, как на палке. Бежали минуты, оркестр был в сборе. Россини засучивал чрезмерно длинные рукава, а Паганини тем временем с ужасом наблюдал за переполненным партером Арджентинского театра. Казалось, весь театр был наполнен аббатами. Казалось, тесно сплоченная фаланга попов и монахов двигалась в атаку на несчастного композитора, не ожидавшего нападения.

Гарчиа, певший Альмавиву, легкомысленно пил вино прямо из горлышка бутылки. Замбони, певший Фигаро, не мог найти свою мандолину. Вот Россини показывается в театре, его первые движения не привлекают внимания публики, но он всходит, как на эшафот, по ступенькам дирижерского пульта, и дружный хохот всего театра встречает изуродованную костюмом фигуру композитора. Подняв руку, Россини приглашает оркестр начать, театр замолкает, звуки наполняют театр. Но вот появляется Гарчиа под окнами Розины, оркестр замолкает. Альмавива начинает петь, и после первого аккорда с жалобным зудящим звоном лопаются все струны гитары. Минутное молчание сменяется хриплым смехом и криком в партере. Иронические рукоплескания чередуются с бранью. Наконец чья-то милосердная рука из-за кулис протягивает растерянному Гарчиа новую гитару. В следующем акте та же история повторяется с мандолиной синьора Замбони. Та же рука подает ему новую мандолину.

В антракте Паганини едва успевает уговорить полумертвого Россини собраться с силами и довести спектакль до конца. Следующий акт начинается хорошо. Россини приходит в себя и весь отдается вдохновенной работе дирижера. Наступает момент, когда уродливый монах дон Базилио должен петь арию «Клевета». Певец отступает в угол сцены, не замечая, что коварные руки протянули тонкую бечеву на уровне его колен. Он спотыкается и падает носом на клавесин. Кровь льется ручьями по его белому воротнику. Несчастный актер вытирает лицо полою длинной рясы. Партер приходит в неистовство. Римское духовенство, как жрецы в цирке Нерона, поднимает грозный крик. Веселые уличные мальчишки внезапно врываются в театр со свистом и криком. Окровавленный монах, шатаясь, уходит со сцены, и, в ужасе спрыгнув с пульта, не помня себя, бежит домой автор сорванной оперы. Оркестр разбегается. Аббаты, дьяконы, каноники и церковные певчие с довольными лицами выходят из театра. Они отомстили Россини.

Проходит несколько дней. Паганини сидит у своего друга. Россини не хочет верить, что дирекция «Арджента-

ны» упорно продолжает ставить «Севильского цирюльника» ежедневно, что опера дает полные сборы. Он с повязанной головой лежит у себя в комнате.

Однажды в полночь Россини был разбужен шумом на улице. Шум все приближался к окнам его комнаты. Испуганный музыкант поднял голову и окликнул Паганини. Скрипач не отозвался. Россини с ужасом услышал, как шумящая толпа выкликает его имя: «Россини! Россини!» Музыкант поспешно оделся и открыл дверь в комнату друга. Паганини не было. Кровать стояла нераскрытой. Россини бросился к себе в комнату и спрятался под диван. «Это аббаты,— подумал он,— сейчас меня будут бить». В эту минуту раздались шаги по лестнице. Вот уже стучат в дверь. Вот уже грубые, веселые голоса требуют, чтобы он открыл. Россини молчит. Высунув голову из-под дивана, он с ужасом смотрит на дверь. Слабая дверь подается под ударами могучих кулаков, и внезапно в квадратное отверстие у самого пола, прорубленное для кошки, просовывается свирепая рыжая голова, и громкий голос произносит:

— Россини, проснись! Триумфатор, проснись!

Глаза говорящего внезапно останавливаются на голове Россини, торчащей из-под дивана. Рыжий человек отскакивает от двери. Раздается дружный хохот. Россини быстро вылезает из-под дивана, стряхивает с себя пыль и, приняв вид заспавшегося человека, отпирает дверь. Выходит в коридор. Толпа мгновенно затихает. Четыре человека отделяются от толпы, и один от лица всех произносит приветствие, поздравляя Россини с необыкновенным успехом его «Цирюльника». Россини овладел собой. Он поклонился со спокойным достоинством. Но у толпы неожиданных друзей была своя программа действий. Они пришли из театра прямо после спектакля. Они наполнили всю улицу светом горящих факелов. Они схватили Россини и на руках понесли его в тратторию с забавным названием «Est Est Est». Римское пиршество в честь Россини продолжалось три дня.

И когда это чествование кончилось, Паганини мог с легким сердцем оставить своего друга в Риме.

Перед его отъездом Россини молча протянул ему газетный листок.

В Венеции Паганини давал один из лучших своих концертов. Старый, почтенный скрипач Шпор гостил в Венеции. Газетная заметка содержала статью Шпора, посвященную скрипке Паганини.

— Да, я был у Шпора,— ответил Паганини на вопрос

Россини,— я провел у него целое утро. Мне казалось естественным завязывать связи с людьми музыкальной профессии. Я был у него после выезда в Триест. Мне хотелось отдохнуть от венецианских впечатлений и от того усыпляющего действия, которое оказывала на меня Венеция все время.

Паганини читал:

«Сегодня рано утром Паганини посетил меня, и таким образом я, наконец, имел случай познакомиться лично с этим легендарным человеком, о котором с тех пор, как я переехал границу Италии, мне рассказывают ежедневно невероятные истории. Им восхищается вся Италия. Несмотря на то что концерты такого порядка обычно у нас в Европе не привлекают большого количества публики, оказывается, Паганини слушают охотно, и даже дюжина его концертов дает полный сбор. Я осведомлялся подробно, чем же, собственно, такой скрипач, как Паганини, может очаровывать публику, и обычно получал ответы, изобличающие людей, невежественных в музыке. Начинаются восторги, его иначе не называют, как магом, волшебником, творцом звуков, которых будто бы никогда прежде не рождала скрипка. Вот буквально слова широкой публики об игре Паганини. Специалисты же, музыкально образованные, хотя и не отрицают ловкости рук этого скрипача, но свидетельствуют, что именно то, чем он взялся поразить публику, и должно унизить его, низведя синьора Паганини на степень заурядного шарлатана, и никоим образом не вознаграждает за его недостатки, а именно — отсутствие большого, широкого тона и музыкально развитого вкуса при передаче кантилены. Все это не больше, чем прелести старого провинциального фокусника Германии — Шелера. Паганини своим нелюбезным и грубым обращением превратил многих из здешних любителей музыки в своих личных врагов, и эти последние, после того как я сыграл коечто у себя на квартире, превозносят меня при каждом удобном случае, чтобы досадить этому самохвалу Паганини. Это несправедливо, нельзя даже сравнивать меня и Паганини. Да кроме того, мне это вредно, потому что все восторженные почитатели Паганини становятся моими врагами. Недоброжелатели Паганини выпустили в газетах заметку о том, что будто бы я воскресил у них в Италии чарующую, несравненную классическую игру старой школы, которую культивировали, в отличие от Паганини, подлинные, настоящие итальянские скрипачи Пуньяни, Тартини, Корелли и др. Эта статья, помещенная в газете без моего ведома, появившаяся в сегодняшнем номере, скорей

послужит мне во вред, а не на пользу, ибо венецианцы и широкая публика, к сожалению, тверды в своем мнении о недосягаемости Паганини».

Паганини опустил газету.

— Но ведь Шпор меня ни разу не слышал, он ведь не был ни на одном моем концерте!

— А ты был на его концертах? — спросил Россини.

— Нет, — ответил Паганини. — Германская музыкальная знаменитость, приехав в Венецию, не дала ни одного концерта.

— И ты не знаешь, почему? — спросил Россини.

Паганини пожал плечами.

— Да, — сказал Россини, — вид у тебя вполне искренний, но знаешь, что мне досадно: ты загородил дорогу Шпору, который лишь немного старше тебя годами. При тебе ему нельзя было выступить в Венеции: без тебя его покрыли бы лаврами и рукоплесканиями, при тебе он не мог даже появиться на эстраде. Маэстро, вы не знаете, до какой степени движение вашего таланта по нашей грешной земле сжигает все на своем пути.

— Но какие слова! — сказал Паганини. — Странно, все, что я слышал о Шпоре, говорило о нем как о человеке честном. У него была, правда, германская напыщенность, но это выступление в газете — поступок бесчестный и бессильный. Хорошо, что я не читал венецианских газет, я был погружен в чтение героических историков и мифографов. Я читал латинских поэтов. Ты знаешь, я вдруг сейчас вспомнил, что забыл тебе сказать о появлении одного замечательного поэта. Это — английский лорд, путешествовавший по Востоку...

— Байрон, — прервал его Россини. — Слышал. Он сейчас живет в Милане.

Внезапно лицо Паганини сделалось суровым.

— Меня тревожит случай в Болонье, — сказал он. — Ведь это действительно мой портрет.

Россини вздрогнул, пристально посмотрел в глаза своему другу. Он вспомнил все, что сам слышал о тайной жизни Паганини: Паганини называли человеком двойного бытия, о нем говорили как об опасном карбонарии, как о враге церкви. Россини всегда доверял только своим впечатлениям, но ведь жизнь полна сюрпризов.

Вскоре Паганини натолкнулся на новое проявление открытого недоброжелательства. Когда он снова приехал в Милан и был избран председателем «Союза Орфеев», французский скрипач Лафон выразил желание вступить в союз. Они познакомились. Французский скрипач был без

ума от Крейцера и в первой же беседе выразил свое восхищение этим музыкантом.

— Какого Крейцера вы любите? — спросил Паганини.— Ведь их два.

— Совершенно верно, оба родные братья, Родольф и Огюст, оба родились в Версале, оба сейчас в Париже. Моим учителем является скрипач Огюст Крейцер, а моим почитаемым композитором — Родольф Крейцер, тот самый, которому Бетховен посвятил свою скрипичную сонату.

Паганини кивнул головой.

...Вскоре в миланских газетах появилась анонимная заметка, говорящая о разительном превосходстве французского скрипача над прославленным председателем «Союза Орфеев». «...Несомненно, первые звуки скрипки господина Лафона прогонят, как ночного нетопыря, этого лемура со скрипкой, заразившего все наши города очарованием безумия»,— писала газета.

— Однако! Что вы на это скажете? — спросил Лафон при встрече.— Я готов принять этот вызов. Но скажите, кто из ваших друзей написал эту заметку?

Паганини нахмурился, лицо его стало грустным. Он остановил Лафона:

— Вы ставите дело так, что я начну подозревать ваших друзей... Итак, что же мы будем играть, если мы выступим вместе на концерте?

— Давайте играть сонату, которую сам Крейцер играл вместе со знаменитым Родэ.

Не откладывая приготовлений, назначили выступление через неделю.

Паганини вел себя легкомысленно. Он выезжал за город слушать в деревне «эхо Симонетты», наблюдал там за черноволосым, слегка прихрамывающим человеком с необыкновенно красивым лицом и черными огромными глазами, который с большим постоянством предавался странному развлечению. Лакей приносил на серебряном подносе пистолет, и его господин стрелял в воздух. Тысячекратное эхо повторяло эти выстрелы.

— Английский лорд забавляется,— сказал однажды какой-то незнакомец и указал в ту сторону, куда смотрел Паганини.— Это лорд Байрон.

Иначе проводил время господин Лафон. Куда исчезла французская легкость характера, обычно отличавшая этого исключительного скрипача и человека большой удачи! Он наводил справки у прислуги, он посылал в гостиницу кельнера-австрийца, который выведывал, сколько часов в день играет синьор Паганини. Нисколько, Паганини вовсе

не играет. Можно с уверенностью сказать, что местные миланские врачи нашли у синьора Паганини очень странную форму нервической лихорадки. Каждое выступление причиняет ему физическую боль, дома он никогда, никогда не берет в руки скрипки. Лафон начинал чувствовать робость.

Но вот наконец наступил день концерта.

Съехались самые крупные хроникеры европейских газет, антрепренеры венских театров, музыкальные комиссионеры, кормящиеся чужим талантом, и кучка любопытных паразитов, которым одинаково дороги и промахи и удачи гения, лишь бы кормиться крохами с его стола, лишь бы состряпать шестьдесят строчек хроники, лишь бы, нагло развязав галстук, с дерзким видом поговорить о том, что гений оказался не на высоте своего положения, и хоть в воображении, хоть на минуту почувствовать себя высоко стоящими над Паганини.

С тяжелым чувством Паганини вошел в комнату для актеров.

Веселый, чудаковатый скрипач, с длинными волосами, одетый в серый полукамзол, серые полосатые чулки и серые туфли, в красных панталонах и, как это ни странно, с орденом Почетного легиона в петлице, со словами приветствия пошел навстречу своему противнику.

Первым играл Паганини. Он забыл о состязании, играя, как всегда, с колоссальным напряжением сил и с той внешней легкостью, которая поражала и очаровывала слушателей. Но он играл элегическую, простую скрипичную пьесу Корелли. Выбор такой простой вещи для состязания оставил слушателей в недоумении, граничащем с равнодушием. Вышел Лафон. Паганини слушает его с восторгом. Глубина и изящество его исполнения все больше и больше завоевывают симпатии слушателей. Зал оглашается рукоплесканиями, публика, враждебно настроенная к Паганини, неистовствует. Весь зал насторожился, целые ряды публики встали. Следующая пьеса Паганини вызывает живую реакцию его итальянских почитателей; к ним присоединяются приехавшие венцы. Острая и едкая музыка Паганини сопровождается бурей аплодисментов одной партии и взрывом негодования другой. Зал превращается в поле сражения. Слышатся голоса: «Паганини сдается!»

Во втором отделении темпераментный француз начинает подавлять итальянского скрипача неожиданным проявлением виртуозности. На третьей пьесе француз почти торжествует, но приходит очередь четвертой, пятой и вот, наконец, шестая — соната Крейцера. Что сделалось с Лафо-

ном? Он играет вяло, публика почти не чувствует его игры, дружный смех раздается в райке. Но вот выходит Паганини и играет ту же сонату.

Наступает такая жуткая тишина, что удары сердца слышит каждый. Сердце мешает слушать скрипача, руки прижимаются к груди, дыхание останавливается, и вдруг после ферматы весь зал понимает этот ловкий маневр гимнаста, боксера, гладиатора, уступившего противнику все позиции перед наступлением решающего момента, и чем сильнее было первоначально кажущееся поражение Паганини, тем ярче выступило его полное превосходство. Паганини стоял молча, широко раскинув руки, держа скрипку и смычок в левой руке,— с таким видом, как будто отдавал себя на суд всех слушавших его.

Старая римская манера опускать большой палец и кричать «Долой!» внезапно нашла свое новое применение в этом состязании. К чистому наслаждению большим и высоким искусством вдруг примешался итальянский патриотизм. Забывая учтивость, итальянские граждане кричали: «Да здравствует Италия! Да здравствует Паганини! Да здравствует первая скрипка мира! Evviva Maestro insuperato!» [1]

Присутствовавший на концерте австрийский офицер хмурится. Он машет рукой капельдинеру, он вызывает наряд австрийской полиции и указывает на ложу, где сидят монсиньор Лодовико Брем, синьор Федериго Конфалоньери, с ним рядом его маленький секретарь Сильвио Пеллико и поэт Монти. Это оттуда раздался крик: «Да здравствует Италия!»

Сцена быстро меняется. Оба — и француз и итальянец — большими шагами направляются друг к другу с протянутыми руками. Француз протягивает руку Паганини. Противники обнимаются и под руку выходят на авансцену. Теперь трудно понять, к кому относятся овации. После десятого выхода на авансцену закрывается занавес.

Импрессарио бегает около Паганини, направляющегося с эстрады в глубь артистической комнаты, и что-то старается ему шепнуть. Паганини даже не замечает его, потом презрительно бросает: «Нет» — и исчезает.

Француз получает удвоенный гонорар, обеспечивающий ему годичное путешествие по Европе.

Поиски Эвридики были безуспешны. Ее не было ни в Турине, ни в Милане, ни в Болонье. Прошел месяц. Слу-

[1] Да здравствует непревзойденный маэстро! (*Итал.*)

чайно на улице в Милане двое прохожих в разговоре упомянули имя Бьянки и Флоренцию. Быть может, речь шла о синьоре Федериго Бьянки, быть может, речь шла о синьоре Альбертине Бьянки, быть может, речь шла о флорентийском торговце мясом на Via Ricasoli, толстом и краснощеком синьоре Бьянки. Паганини не спрашивал. Утром он отправился во Флоренцию.

Там в это время давал концерты польский скрипач Липинский. Два скрипача после дружеской встречи устроили два общих концерта. Потом Паганини уговорил Липинского поехать вместе в Пьяченцу и в Геную.

Разговаривая о музыке, о том, что тогда занимало музыкальный мир, они не раз касались спора, возникшего в Париже и взволновавшего всех европейских музыкантов, спора между двумя музыкальными мэтрами — глубокомысленным Глюком, автором «Орфея», и «легким мелодистом» Пиччини. Паганини не понимал спора. «Чистое служение красивому звуку и чистое служение музыкальной идее» он настолько хорошо сочетал в своем собственном исполнении, что для него одинаково понятна была музыка и Пиччини и Глюка. Это были «законные» произведения. Но незаконным и смешным казался ему спор глюкистов и пиччинистов. Он считал эти названия комическими терминами, пригодными для оперы-буфф.

В Неаполь африканский корабль завез холеру.

— Сатана приносит этих путешественников! — кричал квартирный хозяин Паганини, и как ни уверял знаменитый скрипач своего хозяина, что его вовсе нельзя считать морским путешественником,— он приехал с дилижансом из Рима,— хозяин оставался неумолим. Паганини решил быть твердым. Хозяин, старший сын хозяина, второй сын хозяина, дочь хозяина и хозяйка, вооруженные всем кухонным оружием, стояли у двери Паганини. Они вынесли на улицу его кровать, на нее положили все небольшое имущество скрипача, и поверх всего — знаменитую скрипку Гварнери. Стал накрапывать дождь. Паганини выбежал из комнаты, покрыл свое сокровище и вынужден был остаться на улице, так как командными высотами завладел противник. Дрожа от холодного, внезапно налетевшего осеннего дождя, в состоянии детской беспомощности, он стоял на улице, пока Липинский, пришедший его навестить, не перетащил его к себе на квартиру.

Паганини заболел. Во время болезни он узнал о страшных событиях, происшедших на севере. В Турине вспыхну-

ло восстание, подобное тому, какое было за год перед этим в Неаполе. Говорили об этом шепотом, точных сведений Паганини не получал.

Когда он приехал в Милан, расставшись со своим польским другом, он с ужасом увидел, что произошло. Неудачи карбонарских восстаний, вспыхивавших в разные сроки и без согласования действий южных и северных организаций, привели к многочисленным арестам. Арестованный карбонариями неаполитанский король, выпущенный после того, как дал клятву верности народу, теперь с помощью соединенных корпусов иностранных войск снова овладел престолом. Из-за излишней доверчивости карбонарских вождей были легко подавлены восстания в Турине и Милане.

Синьор Федериго Конфалоньери, Сильвио Пеллико, Марончелли и тысячи других были брошены в тюрьмы австрийскими властями.

На движение карбонариев римская церковь ответила созданием отрядов кальдерариев — котельщиков. Иезуитские агенты пригласили на службу римской церкви обыкновенных дорожных бандитов, мелких и крупных воров.

Получив благословение святейшего отца, отряды кальдерариев приступили к работе. Предварительная работа состояла в добывании сведений. На площадях ставились урны, в которые бросали списки. Священник тут же, около урны, давал доносчику отпущение грехов. Списки рассматривались в строжайшей тайне, потом, по прошествии более или менее короткого срока, заподозренные в причастности к карбонаризму исчезали.

Прочертив всю Италию колесами собственной кареты, которую ему в конце концов пришлось приобрести, Паганини снова остановился в Милане. Здесь Ролла передал ему дожидавшееся его письмо, и, торопясь разорвать конверт, Паганини почувствовал, как кровь ударила ему в голову.

Утром он мчался на юг и всю дорогу перечитывал строки потрясшего его письма.

«Неужели это любовь? Неужели она любит?» — с трепетом спрашивал он себя. Он уже не задавал себе вопроса, любит ли он ее.

С бьющимся сердцем подходит он к маленькому дому неподалеку от Испанской лестницы. На верхушке в лунном свете сияет церковь Тринита деи Монти, бродячий оркестр играет на волынках, девушка в белом платье и юноша в голубом сюртуке и голубой шляпе с кокардой штабного офицера крепко целуются, расставаясь на углу переулка.

Паганини стучит в дверь. Стучит второй раз. Слышится недовольный шамкающий голос:

— Что надо?

Паганини спрашивает, может ли он видеть синьору Бьянки. Дверь приоткрывается.

— Синьора Бьянки уже три дня как уехала.

— Что? — переспрашивает Паганини.

Старуха захлопывает дверь перед самым его носом. Паганини опускает маленький сверток своего багажа на землю и в изнеможении садится на него, закрыв лицо руками. Скрипят ворота, старуха выходит и подносит фонарь к самому его лицу.

— Как вас зовут?

Получив ответ, она вручает Паганини надушенный розовый конверт. Паганини дает ей лиру, на лице старухи появляется что-то вроде улыбки. Паганини просит посветить и читает письмо, держа его дрожащей рукой. Синьора Бьянки назначает ему свидание в Неаполе. Короткая записка: «Жду в Неаполе. В гостинице «Солнце».

Утром снова гонка, под вечер второго дня — опять при лунном свете — он у цели. Впускают в дом, просят подождать. В гостинице не оказывается синьоры Бьянки, она — в отдельном флигеле, который занимает хозяин. Сказали, что сейчас узнают. Паганини сидит в комнате неопределенного вида и убранства. Сердце бьется, отсчитывая последние секунды разлуки, словно хочет ускорить бег времени. И вдруг в комнату впархивает девушка в белом платье, веселая и смеющаяся, продолжая напевать в такт вальса: «Паганини, Паганини, Паганини!»

— Чудак! — Она повернулась перед ним еще раз и хлопнула в ладоши перед самым его носом.— Вы напрасно ждете, птичка упорхнула сегодня утром в Палермо.

...Вот поворот, огромная афиша с портретом Паганини. Надпись: «Новый Орфей, непревзойденный мастер — Maestro insuperato». «Да это прошлогодняя афиша»,— думает Паганини. Но нет, это афиша концерта, который состоялся три дня тому назад.

— Что это? — Паганини хочет остановить кучера, кивает головой.

— Да, да! — кричит он.— Хорошо, что вы возвращаетесь.

Паганини переспрашивает:

— Как, значит тот ехал на север?

— Кто тот?

Беспокойство охватило Паганини. Кто-то играл под его именем. Кто это, что это за странный самозванец?

...Чем ближе к Палермо, тем жарче. Злоба ожесточает сердце, когда смена лошадей отнимает то два, то три часа и наконец восемнадцать часов. Вот целая ночь напрасного ожидания, и вот море. Вот юг Италии, вот агавы величиной с человеческий рост.

Пастухи в гигантских шляпах, с ружьями за спиной, объезжают стада. Мрачные бронзовые лица. Перья в волосах. Горбоносые, с орлиными глазами, легкие, стройные люди. Священники, похожие на бандитов, и бандиты, похожие на попов. Вот на козлы садится специальный провожатый с мушкетом. За этого провожатого приходится доплачивать пятнадцать лир, это принудительная охрана. «Если не взять, будет хуже»,— сообщил Паганини какой-то человек в гостинице. И вот наконец короткая переправа по морю. Полное безветрие и огромные плоские зеленые валы.

Палермо. Дальше бежать некуда, дальше — море и африканский берег. Дальше — Тунис, и Алжир, и пустынные пески. «Если она бежит от себя,— думает Паганини,— то это будет продолжаться всю жизнь. А если от меня?..»

Как острие, пронизавшее мозг, возникает мысль, вернее — воспоминание, вернее — образ. Прямоугольный камень, как надгробие, и на нем лежит в маленькой комнате Неаполитанского музея белый мраморный, вытянувшись во весь рост, гермафродит.

Сицилийцы — не горячие поклонники музыки. На концерты в палермском театре приходили главным образом моряки английского флота, австрийские офицеры и случайные путешественники. Семейство Абд-ар-Рахмана, отец и четыре сына, постоянно занимало кресла первого ряда.

Афиши, возвещавшие о музыкально-вокальных выступлениях Антонии Бьянки и Никколо Паганини, появлялись все реже. Синьора Антониа была ревнива к музыкальной славе. После третьего концерта начались споры. Супруга считала, что скрипач должен только аккомпанировать певице. Паганини смеялся, убеждая ее, что в их отношениях вообще не может быть аккомпанемента; оба ведут самостоятельные партии. Но потом уступал охотно.

Особый блеск глаз и новый румянец на щеках Антонии вскоре были им замечены и правильно поняты. Антониа подтвердила. В деревне около Пестума, в горах, жила ее тетка. Женщине в таком состоянии необходима женская помощь.

Старая, ворчливая, горбоносая, с лицом сивиллы, с явными признаками греческой крови в жилах, тетка Антонии

подружилась с Паганини. Ей нравился человек, такой острый на язык, ей нравилось то, что он с нетерпением ждет ребенка, ей нравилось то, что он богат и независим, и она очень быстро успела поссориться с племянницей из-за своих постоянных и неумеренных похвал синьору Паганини. Единственная размолвка, по очень незначительному поводу, лишь однажды омрачила отношения ее с новым родственником. Тетка удивлялась, что синьора Антониа не капризничает: беременная женщина должна быть капризна. Паганини просил старуху не внушать Антонии этих опасных мыслей.

Однако внушение подействовало, синьора Антониа решила капризничать.

Первый спор возник в связи с известием о гибели на севере Италии многих из друзей Паганини. Ссора длилась два дня, супруги не разговаривали. Синьора Бьянки вдруг с негодованием стала осуждать сочувствие супруга повстанцам. Она твердо заявила, что «своими руками задушила бы каждого карбонария».

В Палермо синьор Паганини привязался к маленькому кругу знакомых. В группе рыбацких жилищ, неподалеку от города, он любил находить себе отдых. Там он получал, как говорил, самую великую награду за игру на скрипке, когда сотни сицилийских рыбаков съезжались и располагались полукругом в маленькой бухточке, слушая его игру. Это были концерты под открытым небом, в тихие, безветренные вечера, когда цветные паруса лодок, возвратившихся с улова, виснут, горя яркими пятнами в лучах заката.

23 июля 1825 года появился на свет Ахиллино Паганини. Из всего, что нам известно о жизни великого скрипача, только эта дата является абсолютно точной. Даже в определении даты рождения самого Никколо Паганини биографы расходятся. Панегирическое житие, написанное почитателем великого скрипача, Шоттки, собственные письма музыканта и позднейшие исследования и документы дают очень мало возможностей для установления точной хронологии трудов и дней Паганини. Но дата рождения ребенка совпадает решительно всюду: это было 23 июля 1825 года.

Глава двадцать первая
ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЭВРИДИКА

Появление первой улыбки у ребенка вызвало экстатическое, почти молитвенное состояние у Паганини. Казалось, весь мир отошел куда-то и вся жизнь сосредоточи-

лась в этих голубых глазах. Ослепление Паганини было так велико, что он совершенно не замечал некоторого недовольства жены, жаловавшейся на то, что пошатнулся ее голос, не замечал ревности женщины, у которой ребенок украл внимание супруга.

Еще задолго до рождения Ахиллино синьора Антониа мечтала о путешествии на север, о концертах в Европе. А теперь ей приходилось выслушивать слова супруга о том, что ему нравится жить в Палермо, что он с детства простудился в снегах альпийских озер, в холоде Кремоны и долго не может согреться, что ему нужен зной сицилийского солнца.

Паганини наслаждался спокойствием палермской жизни. Ему казалось, что он погружается снова в тот сон, который овладел им когда-то в Лукке.

Но на месте Армиды была Эвридика, постепенно преображающаяся в Медею, и это быстрое превращение заставляло Паганини замечать, как на огрубевшее от загара лицо его подруги ложатся тени зрелости и как появляются между щеками и верхней губой роковые тонкие складочки, угрожающие превратить гневную голову Медеи в голову Мегеры.

Вечерами Паганини выносил сына к морскому берегу. Дети рыбаков прибегали показывать оранжевых и яркозеленых рыбешек, причудливые водоросли и морские звезды. Ахиллино протягивал ручки, но стоило морскому цветку шевельнуть своими лепестками, чтобы ручки отпрядывали назад с шутливым испугом, и мальчик закатывался звонким ребяческим смехом.

Ахиллино пошел четвертый год, когда праздная жизнь начала надоедать располневшей синьоре Антонии. Она стала страдать от однообразия впечатлений. Письма, которые получал Паганини от неизвестных ей друзей с севера, приходили все реже. И все мрачнее становился Паганини, когда она поднимала разговор о поездке на север. Отношения настолько обострились к тому времени, что только страх перед разводом и боязнь лишиться ребенка заставили Паганини уступить.

Это была минута перелома. Внезапно ощутив прилив огромного творческого напряжения, Паганини в один день собрался и выехал на север, погрузив на корабль карету, лошадей, захватив тетку, няньку, теткину собачку и четырех зеленых канареек. Эти канарейки были любимыми игрушками маленького Ахиллино.

В Калабрийских горах их встретила неприятность, подстерегавшая Паганини каждый день. При прохождении

крестного хода Паганини не вышел из кареты. Он не осенил себя крестным знамением, не проявил достаточной почтительности к церкви. Деревенский жандарм, по знаку священника, остановил карету. Лошади ринулись в сторону, проснулся ребенок, защебетали птицы в клетках, и затявкала собачонка. Плач разбуженного ребенка вывел Паганини из себя.

— Что нужно этому попу? — спросил он громко.

Жандарм потребовал предъявления документов, записал фамилии путешествующих и в зловещем молчании вернул документы Паганини.

В Неаполь приехали вечером.

При въезде в город, на таможне, старый седоволосый доганьер удивился:

— Синьор, вы за неделю стали моложе! — Паганини посмотрел на него изумленными глазами. Доганьер, кланяясь, смущенно попятился, не решаясь повернуться к великому скрипачу спиной.

В гостинице «Солнце» на Константинопольской улице привратник, пропуская карету, воскликнул:

— Маэстро, эччеленца, до чего вы помолодели!

«Эти неаполитанцы сошли с ума»,— решил Паганини.

Но вот в общей столовой висит огромная афиша, извещающая, что великий скрипач Паганини, только что приехавший из Салерно, собирается дать концерт. Паганини хватает тарелку, бросает ее на пол, срывает скатерть и кричит:

— Да что же это такое с вашим Неаполем?!

Содержатель гостиницы растерянно вбегает в столовую:

— Что угодно синьору? В чем дело, синьор?

Синьор показывает на афишу, висящую на стене.

— Да, да,— говорит хозяин с таким видом, как будто он своим сообщением чрезвычайно обрадует Паганини.— Он арестован, три дня тому назад арестован. Он оказался бухгалтером из Салерно, игравшим на городских свадьбах в Амальфи, в Атрани, в Равелло.

Паганини стучит кулаком по столу.

— В Лакава, в Салерно, в Неаполе, в Песто, черт бы вас всех подрал!..— и добавляет несколько давно забытых выражений из обихода «Убежища»...

Первый концерт принес новую неожиданность. Паганини не узнал старых неаполитанцев, некогда таких безудержных поклонников его искусства. Часть публики аплодировала по-прежнему горячо, но Паганини заметил, что пер-

вые четыре ряда и несколько отдельных групп в зале хранили упорное и очень тяжелое молчание.

Высокий человек в черном сюртуке, с ядовитым и пронизывающим взглядом, сидел в первом ряду и все время смотрел куда-то мимо Паганини.

Сбор был полный. На утро следующего дня Паганини и Антониа отправились с визитами ко всем неаполитанским властям и музыкантам. Большинство дверей оказалось перед ними закрытыми. Мало ли какие бывают случайности! Паганини отнесся к этому спокойно. Но когда его карета в шестой раз должна была отъезжать от запертых дверей, Паганини посмотрел на Антонию и сказал, что он не хочет продолжать эти бесплодные попытки.

К обеду Антониа не вышла, у нее сидели две подруги, актрисы неаполитанского балета. Когда они ушли, Антониа сообщила, что в нравах Неаполя произошли огромные перемены и что необходимо как можно скорее уезжать из этого города. Суровые кары, предпринятые Бурбонами после возвращения из изгнания, сломили веселье этого города.

— Помните, синьор,— говорила Антониа,— это был город, где антихристово племя карбонариев свило себе гнездо. Музыканты Неаполя совершенно уверены, что ты находишься в сношениях с нечистой силой и только дьявольская помощь дала тебе твое ужасающее могущество. Кстати, синьор Паганини, скажите мне, вашей подруге жизни, откровенно: какие струны натянуты на вашей скрипке?

— О синьора! Во всяком случае, эти струны звучат не так, как ваш отзвучавший голос.

Он испытывал приступ удушья. Ему, человеку твердых убеждений, в котором любовь к искусству вытеснила все остальное, эти отголоски варварского средневековья и пыток инквизиции, мелкая подлость людей и изуверство католической церкви вдруг показались чудовищной нелепостью. Бешенство бессилия перед человеческой глупостью душило его.

Мать его чудесного ребенка, его жена, смотрела на него тихими, спокойными глазами. Казалось, она поняла муку, раздвоившую его сознание и на мгновение ошеломившую его. Она кивнула ему головой, ее изумительные ресницы закрылись, брови Медеи сдвинулись, на лицо легло выражение горя и раздумья. Тихим, ясным, до дна души проникающим взглядом отвечает ему его Эвридика.

— Если так будет идти дальше,— сказала она,— иссякнут наши доходы, концерты не принесут нам ни байокко...

Паганини не слушал.

Ранним утром, бросив ребенка и мужа, Антониа поспешила в почтовой карете в Рим. Всюду, где только было можно, куда пропускали ее старые артистические связи с административной и духовной знатью апостольской столицы, она подготавливала почву для приезда мужа.

Приехав в Рим, Паганини в гостинице, в комнате, отведенной для него, вдруг увидел старого друга, Россини. Они бросились друг другу навстречу. Выпустив Паганини из объятий, Россини сказал ему, что заболел дирижер и что он, Россини, пришел просить своего друга дирижировать оркестром. Разве могут быть какие-нибудь сомнения! Конечно, Паганини согласен. Друзья садятся. В это время вбегает мальчуган и подает Россини записку.

— Бедный Белло,— говорит Россини.— Умер. Сама судьба посылает вас на его место.

— Когда репетиция? — спрашивает Паганини.

— После захода солнца,— удивленно отвечает Россини.— Да... Позвольте, какой сегодня день?

— Сегодня пятница.

Лицо Россини становится мрачным:

— Пятница? Значит, я пропускаю еще один день. Уже целая неделя пропала из-за болезни Белло. Когда же я поставлю оперу?

Звон шпор и веселые голоса на лестнице. Смеющаяся, оживленная синьора Антониа поднимается по лестнице. Усатый австрийский офицер прощается с нею на площадке. Дверь открыта, все видно. Синьора Антониа улыбается, офицер целует ей руку, потом другую, правую, левую, потом снова правую. «Когда это кончится?» — думает Паганини. Россини молчит. Синьора Антониа входит в комнату, за ней по лестнице, догоняя ее, поднимаются два священника в лиловых сутанах и в коричневых рясах, подпоясанных веревками, потом юноша в военной форме и старик в черной одежде. Все они входят в комнату Паганини вслед за синьорой, а она, подхватывая последние слова, говорит:

— Ну так что же, что пятница, синьор Россини. Репетиция вам разрешена. Не далее как сегодня утром я из Трастевере ездила к монсиньору кардиналу-полицмейстеру, и он разрешил вам репетировать по пятницам. И даже тебе,— она подошла к Паганини и взяла его за подбородок,— он разрешил давать концерты.

Три дня идут репетиции. Россини бесконечно доволен. Оркестр, вначале негодовавший на придирчивость Паганини, превратился в прирученный и покорный зверинец. Однако этот Белло... «Говорят, что особенность итальян-

цев — прирожденная музыкальность. Откуда же эти варварские звуки?» — спрашивает себя Паганини.

Проходят еще два дня, и он не узнает оркестра. Люди, которые каждое движение его бровей считали личным для себя оскорблением, вдруг стали с напряженным вниманием всматриваться в его лицо, для них стало наслаждением видеть, как разглаживается это лицо, на которое давно усталость наложила морщины. «Экко! — кричал Паганини.— Брависсимо!» И эти чужие друг другу люди, по случайной прихоти судьбы соединенные у дирижерского пульта скрипача, о котором ходили разные темные слухи, вдруг загорались небывалой жаждой искусства как подвига, искусства как огромного дела жизни. Повинуясь жезлу из слоновой кости в руках этого странного человека, они все чувствовали себя большими артистами, виртуозами.

Наступил день публичного исполнения оперы Россини. Автор, синьор Иоахим, как его называли австрийские офицеры, бледный сидел за кулисами в отведенной ему комнатке. На столе перед ним стоял стакан оранжада со льдом и лежала книжка в красном переплете. Паганини запаздывал.

Когда он вошел, Россини схватил его за рукав сюртука и потянул к столу. Он показал книгу, на ней была надпись: «Don de l'auteur» — «От автора». Он нарочно открыл четыреста пятьдесят первую страницу. Это была «Жизнь Россини», написанная господином Стендалем, напечатанная в Париже на улице Бутуар в 1824 году.

— Ты помнишь его? Ты видел его в Болонье,— это самый скандальный офицер шестого драгунского полка. А улица Бутуар — ты знаешь, там живет самый озорной французский поэт — Беранже, вместе с автором «Марсельезы», Руже де Лилем. Руже де Лиля разбил паралич, он очень нуждается сейчас. Я был на этой улице, я там получил эту книгу.

Паганини читал строчки, посвященные ему господином Стендалем. Он читал о том, что он — первая скрипка Италии и, быть может, величайший скрипач за все время существования человечества; но что он достиг своего изумительного таланта не путем терпеливых занятий в стенах какой-нибудь консерватории, а в силу того, что заблуждения любви, как говорят, привели его в тюрьму на многие годы. Изолированный, покинутый людьми, в тюрьме, которая грозила ему эшафотом, он имел под рукой только одно занятие — игру на скрипке, и вот там он научился переводить язык своей души в звуки скрипки. Долгие вечера заключения обеспечили ему возможность в совершенстве

изучить этот новый, нечеловеческий язык. Недостаточно слышать Паганини в концертах, где он, как Геркулес, повергает в прах состязающихся с ним скрипачей северных стран. Надо слушать его, когда он играет свои каприччио в состоянии вдохновения, достигающем силы какой-то одержимости. Характеризуя эти каприччио, автор добавлял, что по трудности они совершенно невыполнимы и все труднейшие концерты перед ними — ничто.

Паганини хотел положить книгу на стол, но она упала на пол, листы смялись, и хуже всего было то, что, натягивая белую перчатку, Паганини наступил на чистенький переплет ногой.

Молодыми и быстрыми шагами он вышел в оркестр и взбежал на ступеньки дирижерского пульта. Он был бледен. Короткий и сухой стук палочки о пюпитр, минута настороженности, и зал огласился сладчайшими из всех звуков, которые слышала дотоле Италия,— звуками новой оперы Россини.

В перерыве после первого акта маленький усатый офицер, звеня огромными, не по росту, шпорами, вошел в комнату, где Паганини сидел с автором оперы. Оба молчали, и молчание было настолько тяжелым, что этот молодой человек в военной форме остановился в дверях, не решаясь переступить порог. Первый заметил его Россини. У него появилась шаловливая мысль: «Вот сейчас откашляется и тронет правой рукой усы». И когда действительно офицер, как по внушению, проделал все это, Россини не мог удержаться от хохота. Паганини поднял голову.

— Что вам нужно? — спросил он и встал.

Офицер отдал честь. «Слава Иисусу,— подумал Паганини,— черт бы тебя подрал, значит, это еще не арест!» Огромный пакет, вынутый из кожаной сумки, был передан Паганини. Красные сургучные печати в пяти местах пятнали конверт. Шелковый шнур торчал из угла. Офицер с поклоном вручил этот пакет Паганини и, ловким жестом откинув занавеску, вышел за дверь. Паганини увидел в коридоре толпящихся людей. Машинально он дернул за шнур. Пакет раскрылся. Грамота с тиарой и скрещенными ключами гласила, что святейший отец, наместник Христов, благословляет ангельское служение раба апостольской курии и верного сына вселенской церкви Никколо Паганини и делает его кавалером ордена Золотой шпоры, знаки коего при сем препровождаются. Лента и красивая ювелирная игрушка лежали на ладони у Паганини. Он, как ребенок, нашедший красивую раковину на морском берегу, смотрел и не понимал, в чем дело.

Вынесенный на руках на авансцену, с бриллиантами и золотом на раскрытой ладони, Паганини недоуменно кланялся публике. Он кланялся низко, сгорбясь в три погибели и прикладывая правую руку к сердцу в знак полного недоумения по поводу внимания римского первосвященника и в знак того, что он униженно просит римскую толпу простить ему его громадный, подавляющий ее талант. Он просил людей простить ему его гениальность, он просил у громадного театра извинить ему непревзойденную мощь его вдохновения. У подлецов и жандармов, у воров и чиновников, у парикмахеров и сводней, у римских банкиров он просил извинения за то, что он бесконечно выше их и благородней, за то, что он сжигает ежеминутно свою жизнь на огне огромного и неугасимого искусства. Он просил прощения за то, что никогда не станет ни подлецом, ни вором, ни серым чиновником из мелкой поповской канцелярии, и сидевшие в первом ряду прелаты и кардинал-губернатор благосклонно улыбались, рукоплеща пухлыми ладонями ничтожному скрипачу, обласканному его святейшеством. Они видели раболепство этого скрипача и не чувствовали, что *этот не понятый и только этим преступный гений* просит прощения за свой безудержный талант, думая только о том, как спит маленький ясноглазый человек, с улыбкой премудрой, как сама природа, с мальчишескими веселыми щечками, существо, жизнь которого всецело зависит от его отца.

Но аплодисменты раздавались громче и громче. Толпа гудела и ревела. И Паганини все острее начинал ощущать свое превосходство над всеми этими людьми. Это знакомое чувство опьяняло его. Старая генуэзская кровь отважных мореплавателей гордо стучала в висках. Потом его охватила страшная жалость к огромной толпе.

С тяжелым чувством одиночества садился Паганини в карету. Перед ним сидела Антониа; ее раскрасневшееся лицо, чересчур яркие губы и блестящие глаза показывали, что она как нельзя более довольна произведенным эффектом. Она ждала, что супруг заговорит. Он должен был рассыпаться в словах благодарности. Но Паганини, устало склонив голову на плечо, в рассеянности выронил пакет с папской печатью. Ярко-алый сургуч затрещал под лаковой черной туфлей.

Синьора Антониа вскинула на мужа глаза. Потрясенная таким пренебрежением к милостям святого отца, Антониа в ужасе закричала и ударила Паганини по щеке. Кучер не оглянулся, карета рванулась, испуганные лошади понесли. Паганини откинулся на подушки, закрыв глаза.

Ни слова не было сказано супругами до следующего дня.

Утром, достав «Поншон», Паганини приложил его к слабому плечу Ахиллино. Ребенок охотно взял смычок, он уже умел подражать отцу и машинально нажимал струны тонкими пальчиками, извлекая плачущие, смешные, детские звуки.

— Он — мой соперник! — смеясь, воскликнул Паганини.— Честное слово, он — мой соперник! Он во всяком случае играет лучше, чем я. Ты — мой рыцарь Золотой шпоры,— говорил он, кружа маленького Паганини по комнате.— Его святейшество одарило трех лиц этой высокой наградой — Моцарта, Глюка и меня. О мое сокровище, насколько ты достойнее своего отца!

Синьора Антониа вошла в комнату. Ни слова о вчерашнем происшествии.

Паганини просто и без любопытства смотрел на свою супругу. Он решил предать забвению вчерашнюю вспышку, не входя ни в какие расчеты самолюбия, просто ради нее самой, ради Антонии.

Но Антониа ничего не забыла, она помнила каждую секунду — и молчала она просто потому, что не надеялась на свое красноречие. Да и кроме того, она, как верная дочь католической церкви, считала, что малейшее сопротивление велениям религии является страшным грехом и не нужно убеждать доводами ясной логики человека, идущего против наместника Христова и его сподвижников. Ее затрудняло главным образом то, что в плане, который она предполагала осуществить, не все зависело от нее одной. Она почти не сомневалась, что Паганини откажется ехать вечером с визитом к монсиньору кардинал-полицмейстеру.

Когда она наконец приступила к атаке, Паганини, против ее ожидания, не оказал сопротивления. Он просто ничего не понял. И, сидя в карете, он беспокоился лишь по поводу того, что, засыпая, Ахиллино три раза кашлянул, он досадовал лишь на то, что никто не напомнил ему захватить скрипку.

На вечере у прелата к Паганини подошел маленький человек в пудреном парике, усыпанный звездами, орденами и разукрашенный лентами. Он интересовался игрой знаменитого скрипача, спрашивал о тайнах и секретах его мастерства. Откуда-то принесли скрипку. Это было дешевое изделие неталантливого мастера, поставщика инструментов для виртуозов, играющих на свадьбах. Но вот ее коснулся смычком Паганини, и она запела так, как не пела никогда под руками человека.

Когда Паганини опустил смычок, маленький человек в орденах милостиво произнес:

— Вы приезжайте к нам в Вену, всюду скажете, что герцог Портала пригласил вас. Вам всюду дорога открыта в теперешней Европе. Власть осуществлена полностью по заветам Христа и римского первосвященника, и, памятуя о том, что вы явились ко мне в Риме, будьте уверены в том, что вам всюду открыты дороги на север за Альпами.

На обратном пути, когда Антониа беспокойно спросила о встречах и впечатлениях, Паганини вдруг вспомнил, что должна была состояться беседа с синьором принчипе Меттерних.

— Но его не было,— оправдываясь, сказал Паганини.

— Как не было?! — вскричала синьора, и щеки ее залил румянец гнева. Глаза с яростью вперились в злосчастного супруга.

Он никогда не видел ее такой.

— Князь Меттерних стоял перед вами, милостиво с вами говорил, а вы играли на какой-то отвратительной скрипке.

— Как князь Меттерних? — мрачно сказал Паганини.— Это был герцог Портала.

— Ну да, герцог Портала и есть князь Меттерних...

Разговор был прерван звоном разбитого стекла. Парный дышловый экипаж на перекрестке двух дорог врезался в их карету. После криков, шума, ругани кучеров, вмешательства сбиров и совершенно неожиданного для Паганини оскорбительного допроса, которому подверг его молодой человек в черной одежде, все снова расселись по местам.

...В то время когда, вытянув усталое тело на маленьком диване, Паганини засыпал, полный мыслей о предстоящей поездке в Европу,— происходили события, о которых он не мог подозревать и которые имели для него немаловажное значение.

Жестокий, холодный взгляд остановился на протоколе, принесенном в двести сорок девятую комнату Ватикана.

Обстановка этой комнаты заслуживает внимания: маленькая белая койка, очень узкая, над койкой — крест из черного дерева с изображением распятого, вырезанным из слоновой кости; штофные обои содраны, пол застлан индийскими джутовыми циновками; два стула, деревянный непокрытый стол. Фарфоровый ковшик и стеклянная миска с чистой, прозрачной водой. На столе — перо и чернильни-

ца, стопка синей бумаги со знаком конгрегации и рядом маленькие светло-лазоревые листки со штампом генерала иезуитского ордена. Немного в стороне, у окна, потайной шкаф; дверцы его открыты...

Рука, начавшая писать адрес на большом синем конверте, не окончила первого слова. На длинных пальцах этой желтой прозрачной, как воск, руки не было никаких украшений. За столом сидел человек, облеченный огромной властью главы иезуитского ордена.

После смерти Тадеуша Бжозовского в 1820 году его место занял Алоиз Фортис. В данное время генерал ордена был в отъезде, и его замещал молодой голландец Питер Роотаан. Сдержанный, спокойный не по летам, этот человек своим бесстрастием, бесконечной суровостью к себе, презрением к человеческим страстям завоевал большое уважение ордена. Ясный аналитический ум давал ему возможность точно и отчетливо решать вопросы, как возникавшие из обыденной сутолоки, так и связанные с гигантским планом работы ордена во всех пяти частях света.

Синьор Роотаан получил сообщение о случае с каретой Паганини не непосредственно. Сбиры передавали сведения о происшествиях в городе Риме синьору кардинал-полицмейстеру.

— Арестован ли неосторожный кучер? — спросил Роотаан.

— Нет,— ответил докладчик,— ведь он же в темноте, нечаянно...

Роотаан сделал знак рукой, и докладчик замолчал.

— Итак, синьор Паганини доехал благополучно с женою и сейчас почивает?

Докладчик кивнул головой.

— Известно ли, что кучер пробил стекло кареты человека, к которому милостив святой отец и которого князь Меттерних приглашает в Вену?

— Известно.

— Что же говорит кучер?

Докладчик развел руками:

— Он говорит, что в следующий раз будет работать удачнее.

Роотаан отложил бумаги в сторону.

— Внезапная благосклонность австрийского министра вполне понятна, она никого ни к чему не обязывает,— тихо произнес Роотаан.— Награждение, данное святейшим отцом,— это неосторожность, которая не должна повторяться. Сколько лет сыну синьора Паганини? — Получив ответ, Роотаан задумался, потом сказал как бы про себя: — На-

до сделать так, чтобы воспитанием сына синьора Паганини руководили опытные люди.

При отъезде из Рима Паганини был удивлен сухостью обращения Россини. Последние дни Россини со всех сторон только и слышал восторженные, иногда даже преувеличенные похвалы Паганини, и хотя опера принадлежала перу Россини, но многие как бы намеренно в присутствии Россини подчеркивали свое восхищение дирижером. Иные прямо говорили, что опера значительно выиграла от того, что оркестром руководил такой опытный человек, как Паганини. В конце концов Россини задумался: если так упорно говорят о Паганини, и говорят одно и то же, то, значит, есть какие-то основания для такого рода суждений.

Паганини не знал ничего об этих разговорах.

Синьора Антониа запаслась дюжиной рекомендательных писем. Слава окрыляла Паганини. Ему грезился Париж. Паганини слышал, что Фердинанд Паер, великий маэстро, как его теперь называли, стал властителем дум музыкантов Франции.

Но как попасть во Францию, когда переезды до крайности осложнены тягчайшей паспортной системой, введенной австрийцами? Подданным какого итальянского государства вы являетесь, синьор Паганини? — Вы гражданин Италии, но Италия — это географическое понятие, на Апеннинском полуострове добрых два десятка государств. Если вас выпустили сейчас из Палермо, через Рим, на север, благодарите за это свою супругу. Остерегайтесь каждого шага. Звон каждого червонца, каждого дуката, попадающего в ваш карман, будет слышен в том кабинете, откуда следят за вами зоркие глаза, которые отыщут вас, даже если вы внезапно окажетесь на краю света. В ваших доходах заинтересованы, синьор Паганини, вы должны оставить большое наследство, а ваш сын должен стать благонамеренным сыном католической церкви.

Итак, дорога на север вам разрешена, монсиньор рыцарь Золотой шпоры, разрешена, несмотря на то что вы неучтивы: сами не догадываетесь писать церковные гимны и играть на скрипке в церкви. Божественный голос вашей супруги в этом случае помог вам, а благосклонность его светлости, герцога Портала, князя Меттерниха, и князя Кауница обеспечит вам почетную встречу в городе его апостолического величества императора Франца. Но бойтесь неосторожного шага, расстаньтесь с чтением опасных книг, выкиньте из головы опасные мысли о том, что музы-

кальный гений сделает вас гражданином вселенной. В Ломбардо-Венецианской области вы — только подданный его величества, а в городе Риме вы к тому же еще и поднадзорный кардинал-полицмейстера.

Из близких друзей Паганини уцелел один Пино. Оставив ему почти все свое имущество — книги, ноты и письма,— Паганини выехал на север.

В какой-то суете прошли концерты в Триесте, Венеции, Флоренции, Перуджии и Болонье.

Неделю провели супруги на берегу Комо. Северные итальянские озера были любимым местом Антонии. Впервые Паганини узнал, что его жена родилась здесь.

Но вот решительный поворот. Вот взяты паспорта, началась утомительная горная часть пути через Крайну, Каринтию, Штирию. Вот миновали Земмеринг. Вдалеке, на обломках скал, высятся развалины рыцарских замков.

По ночам форейторы затягивали старинные славянские песни. Лоренцино, один из них, полушепотом рассказывал на стоянках о том, что тут часто выходят из могилы мертвецы, питающиеся человеческой кровью. Он развертывал шелковый платок с грубо нашитыми большими папскими ключами и крестами. Вынимая из плетенки головку чеснока, он заявлял, что чеснок — лучшее средство спасения от вампиров.

На Паганини подействовали эти рассказы, в особенности история с похищением вампирами ребенка. Он ночами не смыкал глаз, тревожно вглядываясь в темноту, охраняя спящего Ахиллино.

Глава двадцать вторая
ПО ДОРОГЕ НА ВЕНУ

Газеты возвестили о приезде великого скрипача. Взору Паганини, остановившегося у подъезда одной из венских гостиниц, представилось странное объявление:

«Приговоренный к смерти и спасшийся из тюрьмы великий итальянский скрипач Никколо фон Паганини в скором времени приезжает в Вену и даст концерты.

Его святейшество простил ему многочисленные преступления и убийства.

Спешите, входная плата дукат, начало в двенадцать часов ночи. Большой венский театр».

Разъяренный Паганини приказал ехать дальше, но у следующей гостиницы висело то же объявление. Антониа пожимала плечами и что-то лепетала о неудачном импрес-

сарио. Она чувствовала себя смущенной. Артист молчал. Он понимал, что на новой почве Антониа не чувствует себя уверенной. У нее закружилась голова от успехов в Италии. Почувствовав себя руководительницей семьи, она зашла слишком далеко в своей самоуверенности и, очевидно, попала в лапы какого-нибудь антрепренера-шарлатана. Поправить дело было нельзя. На всех улицах висели портреты Паганини в тюрьме за решеткой. Он сидит с грустным красивым и молодым лицом на соломе и играет перед распятием, как бы вымаливая себе прощение.

Когда поздно ночью пришел слуга и спросил документы, Паганини, стуча кулаком по столу, потребовал содержателя гостиницы и полицейского офицера.

Оба не понимали, чего хочет от них приезжий артист. Когда Паганини потребовал сорвать афиши, которые его позорят и расславляют как преступника и убийцу, офицер развел руками и сказал, что если приезжий синьор итальяно недоволен венскими властями, то он может подать жалобу господину Седленицкому, министру полиции.

После ухода этих двух любезных людей Паганини решил серьезно поговорить с Антонией. Но он не застал ее в комнате. Паганини стал ждать. Он заснул в кресле. Проснулся ночью. Синьоры Антонии не было. Она пришла под утро, заявив, что ночевала у подруги, с которой когда-то пела в Венеции. Паганини как будто пропустил это сообщение мимо ушей.

— Но вы, кажется, не спали?— спросила Антониа.— Ложитесь.

Паганини ответил спокойно:

— Ухожу, но прежде вы дадите мне обещание прекратить вмешательство в организацию моих концертов.

Тогда произошло странное превращение Эвридики. Все мифологическое обаяние ее внезапно исчезло. Перед Паганини стояла дебелая торговка, круглоглазая, разъяренная, с красными пятнами на щеках. Положив руки на бедра, она осыпала супруга потоком площадной ругани, и то растущее чувство одиночества, которое овладевало синьором Паганини с момента первой супружеской ссоры, вдруг сразу подавило его. Оно перешло в ощущение брезгливости. Все повышая и повышая голос, Антониа, сжав кулаки, стала наступать на супруга. Паганини, сложив руки за спиной, молча смотрел, что будет. Но проснулся мальчик и, плача, потянулся ручонками к матери. Ответом ему была звонкая пощечина.

— Мне все говорят,— вопила эта женщина,— что вы безбожник, мне сказали, что вы карбонарий, мне сказали,

что вы не выполнили требования священника, предложившего вам окунуть скрипку в святую воду, чтобы доказать несправедливость обвинений в том, что ваша скрипка посвящена дьяволу. Вы — враг Христовой церкви!

— Еще бы! — закричал Паганини.— Разве для того божественный Гвариери делал эту скрипку, чтобы ваши попы размочили ее в воде? В покушениях на меня как музыканта компания святош готова пойти на любое предательство. Да, я действительно связан с дьяволом, да, я действительно нахожусь в руках нечистой силы, но эта грязная сила — попы, а дьявол — это вы, синьора!

И тут внезапно одним прыжком синьора Антонна оказалась у стены. Она сорвала с петли футляр и вцепилась в скрипку.

Ахиллино смотрел, широко раскрыв глаза, и, после детского сна не узнавая матери, закричал. Он упал из постельки. Паганини бросился к нему, сделав какое-то непонятное движение, словно выбирая, где более необходима его помощь. Подбежав к ребенку, он увидел, что у мальчика вывихнут плечевой сустав.

Синьоры Антонии нет дома, и синьора Никколо тоже нет дома. Скрипка с оборванными струнами лежит на полу. Нянька не решается поднять ее и переложить. Комната пуста.

Только к полудню возвращается синьор Никколо, неся ребенка на руках. Ребенок спит. Урсулинка, сестра милосердия, садится у его кроватки. Паганини с закрытыми глазами дремлет в кресле.

«Люди, отказавшиеся от ношения духовного сана, занимаются писанием стихов и сочинением музыкальных пьес,— писал государственный канцлер Меттерних в своих мемуарах.— Подозрительна мне карьера молодого Нея. Сын бонапартовского маршала, внук кузнеца, отказался от самых выгодных предложений и сделался простым скрипачом парижского оркестра. Это он мстит нам за смерть расстрелянного маршала».

Меттерних вспомнил слова фельдмаршала Суворова, сказанные представителям города Милана. В ответ на мнение, высказанное одним из австрийских офицеров, о вреде музыки царский фельдмаршал сказал:

— А я считаю музыку делом полезным, особливо музыку громкую, преимущественно барабан.

«Музыка дело полезное,— думал канцлер,— ежели музыкант знаменит и привлекает внимание иностранцев к

развлечениям столицы его величества». С этой точки зрения канцлер ничего не имел против того шума в Вене, который поднялся по случаю приезда итальянского скрипача.

Словно по капризу судьбы, Вена в этом году была местом съезда крупнейших музыкантов Европы. Таким образом, выступление Паганини в Вене обеспечило ему известность во всех городах Европы. И отзывы венской печати, вместе с письмами европейских скрипачей и композиторов, сделались достоянием не только всего тогдашнего музыкального мира, но, заняв все столбцы музыкальной критики, потоком ринулись по руслу общеевропейской печати, и в скором времени имя Паганини было у всех на устах.

Венский артист Майзедер был, пожалуй, самым верным, единственным другом Паганини, который действительно искренне оценил итальянского скрипача. Уже в Вене выявилось стремление завладеть скрипачом как притягательной силой, как некиим магнитом, обеспечивающим антрепренеру колоссальные барыши. Чисто официальные, внушенные правительственными кругами строчки встретили Паганини на страницах «Театральной газеты» 25 марта:

«Приезд знаменитого генуэзского скрипача Никколо Паганини в наш город является самой интересной новостью музыкального мира. Предприняв свою первую поездку за пределы родной страны, Паганини прежде всего посещает нашу славную столицу. Вена — это город искусств, и она, конечно, ответит должным признанием таланту итальянского скрипача на тот знак внимания, который он оказывает нашей столице».

В это время Паганини заканчивал очень крупную вещь, которую он сам назвал «La Mancanza delle corde». Это была музыка исчезающих струн. Это была странная смесь музыкальных тем, облеченных в столь сложную форму, что после смерти Паганини это произведение исполнить не мог уже никто. Интродукционная часть этой фантастически трудной вещи исполнялась на всех четырех струнах. Дальше вариации незаметно переходили в легкий польский танец, разыгрываемый на двух струнах. Наконец четвертая часть состояла из адажио на одной струне. Паганини сам был доволен новой вещью.

— Если бы можно было написать рондо и сыграть его без всяких струн, то это было бы чистейшим воплощением звуков, раздающихся у меня в душе,— говорил он.

Итак, в Вене первое впечатление от Паганини было впечатлением людей, совершенно растерявшихся перед не-

постижимым явлением природы. Первые венские концерты были полным триумфом.

«Летопись искусства и литературы» писала, что Паганини нельзя сравнить с кем бы то ни было, это — явление неповторимое. «Музыкальная мысль» писала, что «в своих адажио артист *перерождается* как бы по мановению волшебного жезла: чародей музыкальной техники уступает место вдохновенному певцу с необычайной простотой и величественной ясностью исполнения». Писали о нотах и аккордах, которые дают впечатление звучания десяти скрипок, целого скрипичного оркестра. Писали о замечательных звуках четырехголосового сложения, когда одновременно двухголосое пиццикато проходит на фоне мелодии и производит впечатление полного колдовства, когда публика в неистовстве встает и начинает искать за спиной Паганини тех оркестрантов, которые сопровождают на множестве скрипок его основную мелодию.

Когда Паганини выходил из театра и искал глазами свою карету, он встречал тысячи глаз, с любопытством устремленных на него. Были моменты, когда ему хотелось простого человеческого участия. Вот девушка в черном бархатном платье окидывает его любопытствующим взглядом. Она только что рукоплескала ему, она только что подносила платок к щекам, по которым текли слезы непонятного восторга и восхищения, она, не отрываясь, смотрит на скрипача,— и стоило только Паганини взглянуть на нее своими усталыми и бесконечно грустными глазами, как она ответила ему взглядом, полным ненависти и презрения. Здесь было все — и вульгарная пошлость венской аристократической модницы, и низкопробное чувство заурядного человека, который всегда боится и ненавидит того, кто хоть сколько-нибудь над ним возвышается, и подозрительность благовоспитанной католички, до которой донеслись какие-то смутные слухи.

— Волны маленького Дуная здесь грязны,— говорил Паганини.

Характерен спор, возникший между представителями венской музыкальной знати. Господин Шпор вначале считал возможным не удостаивать синьора Паганини внимания, а потом стал выражать свое мнение, которое должно было бы убить Паганини и сделать его ничтожным в глазах публики. Но произошло маленькое недоразумение: не было согласованности в отдельных отзывах, и поэтому, когда враги Паганини выступили по инициативе Шпора на страницах печати, разноголосица сильно повредила им.

Основной замысел был таков: доказать, что только пуб-

лика с низкопробным вкусом может восхищаться Паганини, но что синьор Паганини не только не является музыкантом высокого уровня, но больше всего напоминает заурядных цирковых фокусников, шарлатанов скрипичной игры. «Это — превращение чистого искусства в случайные упражнения корыстолюбца, каким является, по нашему мнению, этот итальянский выскочка. Ничего не осталось от великого и могучего скрипичного искусства, все сметено смычком этого дикаря с погремушками».

С другой стороны, Шпор, не вчитавшись в эти отзывы, выступил с совершенно иными заявлениями. Он писал:

«Под портретом Паганини есть подпись — «недосягаемый». Но то, что дало ему это название, есть ряд уже довольно устарелых прелестей. Паганини не внес ничего нового в великое искусство скрипичной игры. Наш соотечественник Шелер восхищал наших бабушек, разъезжая по провинциальным городам Германии. Эти дешевые ярмарочные прелести заключались в том, что скрипач играет, предварительно сняв со скрипки три струны, или выполняет пиццикато левой рукой, без помощи правой,— одним словом, во всех этих противоестественных и не свойственных природе скрипки фокусах. Что хорошего, если Паганини заставляет скрипку петь голосом фагота и умеет передавать на скрипке плач старой бабы? Провинциалки нашей родины говорили: «Один бог на небе, один Шелер на земле».

Впечатление, произведенное отзывом Шпора, было огромно. Но венские газеты справедливо спрашивали: «Кто же наконец прав? Одни критики говорят, что Паганини *не внес ничего нового,* другие говорят, что он *ниспроверг все старое,* что его игра настолько нова, что ее не в силах воспринимать музыканты старой школы».

Если мы раскроем дневник Шпора, мы прочтем там следующее:

«Сегодня рано утром Паганини зашел ко мне, с тем чтобы наговорить мне множество хороших вещей по поводу моей игры и данного мною концерта. Я в свою очередь попросил его сыграть что-нибудь, так как я до сих пор ни разу не слышал игры Паганини. У меня были в эту минуту мои ученики, они тоже присоединились к моим просьбам, но Паганини наотрез отказался играть, ссылаясь на то, что он при падении повредил себе руку. Таким образом, я уезжаю, не услышав этого мага и волшебника».

— У святой матери церкви бывают недостойные сыны. Одним из таких недостойных является тот, кто ввел в за-

блуждение капитулария римской апостолической курии и верховных носителей знаков ордена Золотой шпоры. Этот мздоимец принял большую сумму у синьоры Бьянки, которая сделалась несчастной жертвой грабителя Паганини. Она родила ему сына. Ребенок до сих пор не связан обрядами святой церкви и потому обречен аду. Теперь Никколо Паганини, этот слуга дьявола, выгнал жену из дому в награду за великое тщание в его же успехах. Вот почему я просил бы доложить обо мне его светлости, чтобы я мог пресечь великий соблазн, могущий произойти из-за ошибок светских властей. Паганини не является сыном церкви, игра его не благословенна.

Это говорил монах в канцелярии у секретаря государственного канцлера.

— Откуда вы все это знаете, святой отец? — воскликнул секретарь.

Иезуит сделал смиренное лицо и произнес:

— Имеющие уши да слышат.

Он положил большой синий конверт на стол перед секретарем и, шурша шелковой подкладкой одежды, быстро направился к двери.

Синий конверт — это очень опасный пакет, в нем иезуиты посылают короткие извещения об исключении из ордена. «Не слишком ли длинные уши у этих монахов?» — подумал секретарь и стал перебирать пергаментные листы бумаги, записки и письма в голубом сафьяновом портфеле с докладными бумагами. Синий пакет был адресован на имя маленького толстого патера, духовника государственного канцлера. Способ вручения говорил об исключительности события. Секретарь его светлости получил синий конверт для духовника его светлости: очевидно, негодование ордена было таково, что необходимо было довести дело до сведения его светлости немедленно.

Гоф-фурьер с императорским пакетом вошел без доклада. Секретарь принял пакет, пожал руку молодому дворянину и спросил, кто ждет во второй приемной.

— Ваше превосходительство,— ответил гоф-фурьер,— там сидит черный человек с огромной шапкой волос и лицом Вольтера. Я никогда не видел такого интересного уродства. Если вам не понадобится этот посетитель, пошлите его в зоологический сад Шенбрунна. Герцог Рейхштадтский скучает,— быть может, на его губах появится улыбка при виде этого урода.

Такие шутки были проявлением обычного пренебрежения со стороны австрийской дворянской челяди к сыну На-

полеона Первого, внуку императора Франца, находящемуся в почетном плену у австрийцев.

— Я еще не знаю, о ком вы говорите,— сказал секретарь Меттерниха.— Пригласите ко мне этого человека.

Через минуту Паганини стоял в кабинете. Он был желт, глаза его горели злобным огнем. Сухим, резким голосом обратился он к секретарю:

— Когда я могу видеть его светлость?

— Я, кажется, вижу перед собой великого Паганини? — спросил секретарь.

Скрипач молча наклонил голову.

— Его светлость,— заявил секретарь,— приказал мне вызвать вас и исполнить все, что будет вам угодно мне приказать.

Витиеватая формула отказа от приема, произнесенная на чистом итальянском языке, была настолько утонченна, что Паганини не заметил отказа. Он сразу ухватился за возможность высказать все накопившиеся чувства.

— Ваше превосходительство,— сказал он,— я въехал в Вену как преступник, освобожденный из тюрьмы. Дальше к этой молве прибавляется ворох вздора, который печатают здешние газеты. Я не решусь выступать на подмостках императорского города...

— Да, да,— сказал секретарь, перебивая его, и дернул *шелковый* шнур.

Вошел человек, секретарь наклонился над столом, быстро написал несколько строчек.

— Сейчас же вручите министру полиции для немедленного распоряжения по городу. Таков приказ его светлости.

Человек вышел. С самой очаровательной улыбкой секретарь обратился к Паганини и, подавив легкую усмешку, спросил:

— Это все, что вы хотели просить у его светлости?

— Я ничего не хотел просить, я требую, чтобы...

Секретарь снова перебил его:

— Но ведь не можете же вы считать виновным кого-либо из правительства его величества в том, что газеты пользуются случаем нажиться на сенсациях, а афиши бестактны. Я прикажу цензору тщательно просматривать заметки и статьи, касающиеся вас, господин Паганини. Мы дадим предписание цензору пропускать в газетах только то, что вам самому будет угодно. Кроме того, вам обеспечена самая широкая возможность пользоваться для концертных выступлений лучшими помещениями нашего маленького города.

Паганини внезапно забыл все, что хотел сказать. Перед ним стоял вылощенный человек, холодный, элегантный, черноглазый, остролицый, гладко выбритый, с чудесно завитыми волосами и напудренными щеками. Он смотрел на Паганини так ясно и просто, с такой ледяной благожелательностью и морозной любезностью в глазах, что Паганини чувствовал себя мальчишкой, попавшим в руки бессердечного тюремщика. С чувством досады на самого себя он неловко поклонился и, отвернувшись, чужим голосом произнес фразу, пришедшую откуда-то на язык:

— Я очень польщен вниманием его светлости.

— Да, да.— Секретарь закивал головой.— Мы знаем, где вы остановились, вас известят, когда его светлость пожелает слушать вашу игру.

Через три дня вся Вена была украшена афишами с надписью: «Неподражаемый, великий, мировой скрипач». Огромные плакаты изображали его напомаженным красавцем с орденом Золотой шпоры. У афиш и у касс собирались толпы. Лакеи, чиновники, горничные, услужливые кавалеры, берущие билеты для своих дам, офицеры, оглушительно звенящие шпорами и расталкивающие толпу, чтобы без очереди подойти к кассе, слуги, выскакивающие поспешно из гербовых карет и скупающие билеты первого ряда, камеристки венских графинь, спекулянты — все это шумело, взвизгивало, оглашало подъезд театра криками. Машина славы работала полным ходом.

Утренние газеты после концерта оповещали, что публика ожидала многого, ожидала неизведанных восторгов от чудесной игры, но все ожидания превзошла чарующая действительность. Никогда на берегах Дуная не раздавалось музыки слаще. В книжных магазинах висели портреты Паганини с овидиевыми стихами об Орфее. К стихам поэта, умершего на берегах Дуная, были присоединены вирши о новом Орфее, появившемся на верховьях этой древней реки.

Ахиллино поправлялся. Утром, скрываясь от всех, Паганини ходил по магазинам игрушек. Часами он просиживал у постели сына, слушая его лепет, рассказывая ему старые итальянские сказки.

Время до обеда он проводил в совершенном уединении.

Он читал и писал. После создания «La Mancanza delle corde» он совершенно не трогал дома скрипки. Он прикасался к инструменту только уже на подмостках концертного зала. Единственным человеком, получившим к нему доступ во всякое время, был скрипач Майзедер, сын старого

венского раввина. После первых официальных слов вдруг как будто сломался лед. Почувствовав в тоне юноши горячую искренность, Паганини неожиданно протянул ему руки и поцеловал его. Этот не свойственный ему сентиментальный жест был очень хорошо понят умным и слегка насмешливым Майзедером. С этого дня Паганини не чувствовал себя одиноким в Вене. Майзедер, проницательный и хорошо знавший венскую жизнь человек, быстро разобрался во всех явлениях, сопровождавших пребывание Паганини в Вене, и ему обязан Паганини тем, что не погиб в этом городе. Майзедер выводил его из того оцепенения, в которое повергали Паганини сплетни венской печати. Без назойливости, легко и спокойно Майзедер увозил Паганини с маленьким сыном во Флоридсдорф, они бродили по улицам, вместе отправлялись за покупками.

Однажды они покупали перчатки.

— Это кожа жирафа,— заметил Паганини, обращаясь к продавщице, предложившей им что-то невообразимо пятнистое.

— Нет, господин,— ответила торговка,— это самые модные перчатки: они называются «Паганини».

— Бедный скрипач! — воскликнул неузнанный покупатель.

— Он совсем не бедный,— ответила торговка, весело оскалив зубы.— Говорят, что он за большие деньги купил в Риме орден Золотой шпоры.

Майзедер и Паганини рассмеялись, выходя из магазина. Майзедер говорил:

— Сколько ослов поранила ваша Золотая шпора! Однако вы привлекаете покупателей в магазины.

Он указал на витрину другого галантерейного магазина, где выставлены были перчатки и галстуки а ля Паганини.

Паганини удавалось бродить по улицам неузнанным благодаря тому, что изображавшие его портреты не давали никакого представления о его внешности. Майзедер останавливал скрипача перед витринами гастрономических магазинов. Гигантский бюст из красного леденца с надписью голубыми чернилами: «Неподражаемый скрипач Паганини»; в другом месте — громадная сахарная голова, увенчанная бюстом Паганини; в третьем — огромный, во всю витрину портрет скрипача, сделанный из цветных шелковых платков. Майзедер смеялся над своим другом и однажды, для того чтобы поправить дело, привел к нему скульптора и гравера Ланга. За время короткой беседы, пока Паганини играл с маленьким сыном, Ланг сделал

несколько профильных зарисовок. Ему, пожалуй, больше, чем кому-либо, удалось схватить сходство.

Набрасывая профиль скрипача, Ланг говорил:

— Сегодня я был свидетелем истребления вашего масляного бюста в молочном магазине. А вечером в гвардейском клубе офицеры, игравшие на бильярде, изобрели особый удар и назвали его ударом Паганини. Это ли не слава! Что вам еще нужно от жизни?

Паганини нахмурился. В эти дни он больше всего думал о судьбе Ахиллино. Он впервые чувствовал необходимость добиваться самостоятельности для себя и Ахиллино, которую ему могли дать лишь большие сборы. Потом бросить этот проклятый город и — в Париж. Он мечтал об этом городе: там синьор Паер, туда теперь переехал Россини, там настоящая музыкальная жизнь, там скрипачи Байо, Крейцер, Лафон.

Прошла неделя. Паганини получил от Ланга бронзовую медаль с надписью: «Исчезнут звуки, но не исчезнет слава». На обороте было выгравировано несколько тактов его любимой мелодии и надпись: «Николаю Паганини, Вена, 1828».

В этот же день гоф-фурьер привез на квартиру Паганини маленький футляр и пакет. В футляре была та же медаль из золота, а в пакете было назначение Паганини солистом императорской капеллы. Все это было очень лестно. С этого дня пребывание в Вене было окружено тем опасным для артиста покоем, который заставляет настораживаться истинного гения и позволяет терять голову человеку среднего таланта.

Но этот покой был недолог. Вернувшись однажды после прогулки с Ахиллино, Паганини нашел на столе большой розовый конверт. Неведомый друг опять появился на сцене. Он писал из Берлина и предупреждал Паганини, что его слава недолговечна, что его «поступок с женой» известен в музыкальных кругах. «Это уже не первая жертва вашего корыстолюбия и алчности,— говорилось в письме,— и так как господь не оставляет без возмездия тяжелого преступления, совершенного втайне, то все тайное станет явным. В руках у нас имеются явные доказательства того, что вы были венераблем карбонарской венты и что первое ваше обогащение возникло от пользования деньгами, собранными в кассу политических убийц и воров. Нам известно, что вы сами были приговорены к смерти. Нам известно также, что вы с пятью преданными рыцарями большой дороги грабили путешественников. Вас искали в Болонье, вы отделались ссылкой на случайность сходства.

Но теперь мы доведем это до сведения венской охранной полиции, чтобы она была готова к аресту бандита, скрывающегося под видом скрипача».

Враг шел с открытым забралом и предупреждал письмом.

Паганини вызвал Майзедера.

— Не идти же вам с этим письмом в полицию,— насмешливо заметил тот.— Порвите и бросьте.

Однако уже в ближайшие дни появились в вечерних газетах строчки, похожие на искры, бегающие в пороховом шнуре. «Очевидно, где-то стоит пороховая бочка, и вскоре раздастся взрыв»,— подумал Паганини.

В маленькой хронике католическая газета писала, без упоминания имени Паганини, о пользе пятилетнего тюремного заключения для техники скрипичной игры и о том, что некоторые скрипичные аккорды свидетельствуют о неземной скорби великого грешника, утратившего душевный покой. Демонские звуки, взращенные в тюремном уединении,— это забава очень опасная для тех, кто предается употреблению этого яда.

Двадцать семь дней продолжался обстрел такими заметками, анонимными письмами. Это были мелкие уколы, но дело дошло до того, что слуги в гостинице отказались убирать комнаты безбожного синьора Паганини.

Наконец, вспомнив совет секретаря Меттерниха, Паганини направился в главную венскую цензурную камеру. Скрипучая деревянная лестница, грязная и запыленная, с паутиной по углам, привела его в маленькую, полутемную комнату, из которой он попал прямо в канцелярию страшного венского цензора, под наблюдением которого находились все газеты города. К великому удивлению Паганини, его встретил добродушный, старый монах.

— Что я могу сделать с моим глупым помощником! — сказал он с улыбкой возмущенному скрипачу.— Я сам, конечно, не верю всему вздору, который мне ежедневно приходится прочитывать о вас в тех статьях, которые я задерживаю, досточтимый синьор Паганини. Но молодые люди, окончившие семинарии в этом году, преисполнены особым рвением к церкви Христовой. Вы должны быть снисходительны к ним. Если бы ваш сын, чтобы порадовать отца, в чем-нибудь перестарался, ведь не стали бы вы его наказывать? Точно так же и я лишен возможности остановить рвение верных детей святой нашей матери церкви. Но я советую вам сделать одно: напишите в театральную газету опровержение всех ходящих о вас слухов, а я прикажу, если газета откажется, напечатать вашу статью.

Этим все будет кончено. Вы ведь правда не отравили вашу жену и не убили вашу любовницу? Я этому не верю.

Спокойный и вкрадчивый голос старого монаха, его вежливость и какая-то особая тишина, которой веяло от его слов, убедили Паганини. Придя домой, он несколько часов ходил по комнате. Он отказался от очередного концерта, сославшись на болезнь, и весь вечер писал. Корявые строчки становились дыбом, перо не повиновалось. Отвращение мешало ему расставить слова, как надо. Замаранные, перечеркнутые и надорванные листки лежали на столе, на полу, на подоконнике. Наконец он позвонил. Долгий плачущий звонок раздался по коридору. Ответа не было. Он дернул еще раз шнурок. Напрасно. Наконец, разъяренный, он рванул сонетку, и где-то в дальнем углу коридора на полу звякнул оборванный колокольчик. Заспанный слуга появился в комнате и молча остановился в дверях. Паганини запечатал конверт и надписал адрес.

— Отнесите это.

— Что вы, синьор! — произнес слуга в недоумении.— Кто же у меня примет ваше письмо в четыре часа утра! Да и ходить по городу сейчас небезопасно.

Паганини спохватился и взглянул на часы. Оказалось, что эти несколько коротких и напряженных строчек стоили ему почти двенадцати часов.

Он отпустил слугу и, не раздеваясь, лег спать.

Через два дня в газетах появилось следующее письмо, напечатанное жирным шрифтом:

«Паганини спешит изъявить свою признательность редактору статьи, помещенной в «Театральной газете» пятого числа этого месяца. Но, принося благодарность за лестный отзыв о последних концертах, данных перед лицом образованного и заслуживающего всяческого уважения общества города Вены, Паганини полагает, что некоторые выражения и фразы, допущенные в статье, не только являются излишними, но, намекая на темные слухи, пущенные среди разнообразных слоев венского населения, равно как и в среду граждан других городов Европы, требуют с его стороны самого полного и решительного опровержения как по форме, так и по существу. Паганини смеет уверить общество города Вены, ради защиты своего доброго имени и своей чести, а также ради восстановления беспристрастной истины, необходимой людям, что никогда, ни в какое время, ни в каком месте, никаким правительством и никакой властью и вообще никакими людьми, никакими общественными и частными организациями, ни по какому поводу он не был принужден вести образ жизни заключенного или

подвергнутого изоляции человека. Ему, Паганини, ни разу не пришлось вести жизнь, отличную от той, какая свойственна честному человеку и строгому исполнителю правил гражданского и человеческого общежития. Это может быть засвидетельствовано любыми властями, под покровительством которых Паганини находился в те или иные сроки, везде сохраняя свою свободу, честь и достоинство своей семьи и стремясь прежде всего к достижениям высокого искусства, того искусства, служению которому Паганини обязан высокой честью выступления перед тончайшими знатоками высокой музыки, какими являются для него, Паганини, благосклонные слушатели города Вены».

Под этой газетной заметкой еще более выделяющимся шрифтом была дана подпись: «Никколо Паганини».

С величайшим трудом сколотив эти деревянные фразы, Паганини ждал появления своего письма. Он испытал страшное волнение, когда вместо этого прочел нечто совершенно неожиданное. Окаймленные траурной рамкой короткие строки сообщали:

«Сегодня в полдень в Тиргартене умер от разрыва сердца величайший скрипач мира Николай Паганини, не вынесший страшных разоблачений своей биографии».

Паганини читал это объявление вместе с Майзедером. Оно появилось в газете непосредственно после посещения редакции самим «покойным» Паганини. Правда, в вечернем выпуске, специально посвященном вопросу о смерти Паганини, было дано опровержение, а в следующем утреннем выпуске «Театральной газеты» появилось его письмо, но Паганини испытал все, что в таких случаях испытывает человек, сделавшийся жертвой издевательства. К нему приходили неизвестные люди. Раза три ему приходилось отпирать дверь и отвечать на вопрос, кому поручено хлопотать о похоронах и каков порядок возложения венков. Никакие анонимные письма, никакие газетные сплетни не повредили Паганини так, как повредило ему это страстное заявление о своей невиновности. Оно вдруг показало венской публике разоблаченного Паганини, Паганини, уязвленного сплетней, Паганини боящегося, Паганини, попавшего в сети клеветы и подозрения.

«Объявление о смерти Паганини оказалось только преждевременным»,— писала маленькая газета, выходившая в Берлине и перепечатавшая письмо Паганини. Газета подвергла критическому разбору каждую строчку. Огульное отрицание какой бы то ни было вины было новым преступлением Паганини. Тон его письма был недопустим. Паганини просто увиливал от оправдания, не опровергая

по пунктам тех серьезных обвинений, которые на него возводились.

Майзедер в беседе со своим другом упрекал его:

— Ну отчего вы не посоветовались со мной? Я знаю венских скрипачей, знаю музыкантов Берлина, мне известна стоимость построчной платы венским журналистам. Неужели вы думаете, что им нужна какая-либо истина? Для их заработка самая грязная молва дороже всего. Безукоризненный Паганини, не приносящий дохода газете, ровно ничего не стоит, даже если он — гениальный скрипач. Паганини — содержатель притона, развратитель, злодей, зарезавший свою любовницу, в тысячу раз дороже. Как вы этого не понимаете! Неужели вы думаете, что кому-нибудь из этих людей интересны ваша живая личность, ваши действительные страдания? Неужели вы думаете, что кому-нибудь из музыкальных рецензентов города Вены интересно вас обелить? Неужели вы думаете, что ваши благородные стремления показать Шпору великодушие и признательность будут истолкованы правильно?

Паганини молчал, глядя куда-то в сторону, но при упоминании о Шпоре быстро повернул голову.

— Что вы знаете о моем визите к Шпору? — спросил он Майзедера.

— Я знаю, как к вам относится Шпор,— ответил молодой скрипач.— Я — ученик Шпора. Шпор находился в зените своей славы в те годы, когда впервые на севере появилось имя Паганини. Маленькая газетная заметка не могла напугать Шпора. Я глубоко убежден, что он слышал вас, и это его испугало. Имейте в виду, что Шпор теперь идет к закату, он играет плохо, он обрюзг, он стал отвратителен в своей папской непогрешимости, ему скучно быть музыкальным Иеговой. Он окружает себя молодыми учениками, которым он раздает патенты на гениальность при том условии, что они обещают ему травить вас. Почему Шпор повернулся ко мне спиной? У меня умирала мать в тот день, когда пятнадцать человек страстных почитателей своего учителя, ученики Шпора, должны были присутствовать на его чествовании. Мое отсутствие было истолковано соответствующим образом. Я написал учителю письмо, где объяснил причину моего отсутствия. Мне передали его слова: он сказал, что у всех людей бывают матери и что смерть — это обычная участь человека. Тут было, очевидно, какое-то недосказанное «но». Этот старик ожидал приезда на поклонение даже от постели умирающей матери. С этого дня я его не видел. Вы должны понять, что для этого человека дорог каждый ваш промах, и, чтобы навре-

дить вам, он готов отдать последние деньги... Впрочем, у вас есть друзья,— закончил Майзедер и показал Паганини поэму в двенадцати песнях, сочиненную поэтом Кастелли.

Поэма называлась «Паганиниада». В высокопарных фразах Кастелли рассыпал похвалы гению скрипки. Мертвые и сухие, как звуки кастаньет, трещали и стучали рифмы. Паганини прочел первую строчку и бросил поэму на стол.

— А вот еще,— сказал Майзедер,— Фридрих-Август Канне, тоже двенадцатипесенная поэма.

Паганини попросил оставить ему обе вещи.

— Нет, положительно жизнь становится невозможной! — закончил свои размышления Паганини и встал.

Майзедер не унимался. Из мягкой кожаной папки с нотами он достал пачку номеров французской газеты «Музыкальное обозрение».

— О Париж!— вскричал Паганини.— О Франция! Вот куда я стремлюсь всею душой.

— Не рано ли?— спросил Майзедер.

Паганини вспыхнул и отвернулся.

— Я хочу сказать,— быстро поправился Майзедер,— что при вашем неокрепшем впечатлительном характере Париж может оказаться для вас опасным.— Затем, взяв Паганини за руку, он пояснил: — Гений и талант нуждаются в такой крепкой скорлупе, которая защищает от перемены погоды. Я ничего не сказал бы вам против поездки в Париж, если бы не ваше оправдательное письмо. В Вене оно доставит вам еще немало хлопот, в Париже оно будет причиной вашей гибели, если появится на столбцах парижской прессы после первого вашего концерта.

— Нет,— сказал Паганини,— я научился понимать людей, и я знаю теперь, что такое машина славы. Оставьте мне газеты.

Майзедер ушел. Паганини расположился удобнее в кресле и стал читать номер за номером. Некий Фетис дает отчет о его концертах. Он обходится без восклицательных знаков. Он не говорит тех слов похвалы, за которыми скрывается полное непонимание музыки. Коротко и сухо один за другим описаны все концерты Паганини. Вот концерт в Редуте 23 марта. Вот описание собственных произведений Паганини, изложение темы военной сонаты, сыгранной на четвертой струне. Вот в правильной последовательности сказано, что следующая пьеса программы была заменена вариациями из «Золушки» Россини. Вот простое указание на то, что оркестранты присоединились к овациям публики. Вот указание на то, что 11 мая на концерте

Паганини присутствовали все члены императорской фамилии. Вот описание концертов в залах Меттерниха, отзыв о концерте Родэ, сыгранном Паганини. «Этот Фетис понимает музыку»,— думает Паганини.

Но вот строчки, упоминающие о Майзедере. Этот человек принес листы «Музыкального обозрения» с рецензиями Фетиса, невзирая на то, что, по обыкновению всех рецензентов, Фетис не мог обойтись без сравнения. Зачем ему понадобилось унижать Майзедера? Как плохо о Майзедере! И все-таки Майзедер принес как доказательство бескорыстной дружбы эти вырезки и целые статьи. А вот тонкая насмешка Фетиса, которая обнаруживает в нем ум и понимание обстановки. «Как это случилось,— пишет Фетис,— что венская публика сочла возможным свергнуть с трона предмет своего последнего восхищения? Паганини заставил Вену забыть гигантского жирафа, присланного египетским пашой в подарок австрийскому императору».

Паганини легко вздохнул. Жизнь готовила атаку, надо было ответить на вызов, и Паганини решил ответить полным забвением всех требований своего самолюбия.

Монах-цензор, сидящий в главной цензурной камере города Вены, вдруг встал перед глазами Паганини во весь исполинский рост россиниевского дона Базилио, клеветника из «Севильского цирюльника». Паганини рассмеялся. «Неужели может быть для меня неясен вопрос, почему католическая церковь враждебно относится к моему искусству! Я ставлю этот вопрос иначе. Католическая церковь спрашивает, почему я к ней равнодушен. Италия выросла из пеленок, и темные суеверия с фальшивыми чудесами ничего больше не смогут ей дать. Но великое искусство музыки, располагающее вещи этого мира в стройном порядке,— вот что может зародить в душе человека новую гармонию, новое ощущение мира. Музыка, освобождающая строй души от всего, что удерживает человека во вчерашнем дне, не может быть принята церковью. Значит, необходим окончательный вывод: церковь — враг человека».

Глава двадцать третья

ПРИЖИЗНЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

В один из тех дней, когда венские газеты устремились уже на поиски нового жирафа и занялись приключениями пропавшей дочери некиих богатых родителей, в один из последних дней августа месяца у почтовой станции, неподалеку от Пратера, высадился человек, ничем особенным

не выделяющийся, человек в одежде не то клерка, служащего у нотариуса, не то приказчика галантерейного магазина. Однако этот неопределенный человек быстро сбил спесь с извозчика, запросившего слишком дорого. Извозчик, поторговавшись, усадил в коляску этого ничем не примечательного человека и отвез его к подъезду дома, где жил каноник собора святого Стефана. Здесь ничем не примечательный человек должен был терпеливо ждать, хозяина не было дома. Часа через два раздался стук в дверь. Старая служанка, не спускавшая глаз с посетителя, кинулась к двери. Вошел старый человек в грязном, лоснящемся одеянии. При виде посетителя он изобразил на своем лице что-то вроде улыбки, потом, достав табакерку, запустил по две огромные понюшки в каждую ноздрю и произнес:

— Ну, что привело тебя, мой сын, в город его апостолического величества? Что-нибудь важное вызвало тебя? Как поживает прекрасная Генуя, лучший из городов мира? — Потом, как бы обращаясь к самому себе, старик добавил: — Под старость чувствуешь не столько тяжесть годов, сколько желание покоиться в той земле, которая тебя вскормила.

— Отец мой, мы встречались с вами в трудные годы: припомните, как французское правительство барона Марбо приказало вас повесить, а меня заставили тянуть веревку. Это было, когда сподвижники нечестивого Бонапарта...

Отец Павел поднял левую руку и, остановив говорящего, осенил себя крестом.

Приезжий заговорил снова:

— Генерал Массена, как тигр, бросился в равнину и овладел нашей любезной Генуей...

— Помню, помню, сынок,— перебил отец Павел.— Я прекрасно знаю, что, если бы не твоя смышленость, мне бы не уцелеть. Ты мне скажи, какие новые знаки моей благодарности тебе нужны? Или ты в чем-либо...

— Да, святой отец, провинился, и очень провинился. Я совершил грех. Перед вами—вор.

Глаза священника загорелись, он любил иметь дело с преступниками и вообще людьми, преступавшими пределы обычной морали. Душа потрясенная ищет примирения с миром и боится людей. Вот тут опытный слуга церкви и может найти настоящую жертву покаяния и, воспользовавшись моментом, сделать из человека фанатика, который всего себя отдаст служению церкви. Нет ничего хуже, нежели человек честный и уверенный в себе: он спокоен и равнодушен и не нуждается в помощи святой матери церк-

ви. Но эти размышления внезапно оборвались, старик нахмурился.

— Какой же храм,— спросил он,— какую монастырскую казну твоя святотатственная рука осмелилась оскорбить? За это нет прощения ни здесь, ни в вечности. Знай, несчастный, кесарево принадлежит кесарю, а божье принадлежит богу. Святой Фома Аквинат в своем божественном трактате говорит: «Кесарь, взимающий налоги в пользу церкви и дающий десятину, есть кесарь праведный». Как же ты смел посягнуть на серебро и золото церкви Христовой? Предам, предам тебя.

— Простите, святой отец, я не трогал ни храмового, ни монастырского имущества. Я ограбил только старуху, умершую, никому не нужную, подделав ее подпись.

Старый каноник успокоился сразу:

— С этого нужно было начинать, сын мой. Итак, ты был в бегах. Под какой же фамилией, сын мой, являешься ты к нам, на берега Дуная?

Нови выложил паспорт, опрятный документ, украшенный всеми подобающими печатями и визированный зеленым штампом пограничной австрийской жандармерии. Старик сложил это огромное полотнище и вернул его своему питомцу.

— Ну что же, добро пожаловать. Аз, грешный служитель Христов, прощаю и разрешаю. Кто дал тебе паспорт?

— Маркиз Помбаль, брат нашего страшного врага, врага ордена Иисуса,— сказал Нови.

— Так, так.— Старик закивал головой.— Где же и как ты видел маркиза?

— Встретил его случайно, святой отец, в Генуе, на набережной, и он меня окликнул.

— Как же был одет маркиз Помбаль?

— Одет он был в форму морского офицера, и так как я давно не видел маркиза, то принял его за светского человека.

— Ну, ты не мальчик,— сурово сказал старик и, подойдя к вделанному в стене шкафчику, вынул из выдвижного ящика печатный циркуляр.— Вот прочитай это секретное письмо генерала нашего ордена.

Нови прочел:

«Дорогие братья, я не могу достаточно выразить вам печаль и горечь, которыми я проникся, узнав о решении, принятом против ордена Иисуса парламентом и королем. Если король и парламент заставят нас при наступлении нового столетия невольно отдалиться от открытого обще-

ства, не позволяйте провести это отдаление, даже если придется пожертвовать одеждами нашего святого отца Игнатия: ибо, даже надев светскую одежду, мы можем оставаться объединенными святым обществом Иисуса. Тишина наступает после бури. Обречем себя на долгие годы лишений, чтобы соединиться при наступлении тишины. Постарайтесь соединиться теснее, чем в годы открытой связи. Помните, что нет власти, могущей отменить обеты нашего ордена. Страдайте и с терпением покоритесь всевышнему. Общество Иисуса да существует вовеки. Я охраняю вас, возглавляю ваше покорное стадо, я обречен переносить удары, на всех вас падающие. Со слезами даю вам благословение на проникновение всюду и всегда, во все светские союзы и общества, под всеми видами и одеждами, под всеми формулами открытых словес, сохраняя тайную формулу ордена Иисуса».

Нови не знал этого секретного циркуляра. Он прочел и умиленно прослезился.

— Тебе также предстоит это делать,— сказал каноник.— Есть два пути для тебя. Мы можем послать тебя в распоряжение отца Павловича в Моравскую тюрьму, где он исповедует карбонариев. Там попустительство светских властей привело к тому, что ослабла дисциплина надзирающих и окрепло упорство заключенных. Там карбонарии Конфалоньери, Марончелли, Пеллико и два десятка других, не менее зловредных умов отравляют мысли и чувства христианского населения всех столиц.

— Только не туда! — вскричал Нови.— Только не туда, святой отец! Там слишком хорошо меня знают! Я был участником допроса карбонариев в миланской Санта Маргарита.

— Ну, а чего бы ты хотел? — спросил старик.

— При въезде в город я видел афиши. Враг святой церкви, скрипач и карбонарий Паганини играет в Вене. Я имею точные сведения, собранные опросом верных сынов церкви в Генуе и Милане, которые я сюда привез. Ради накопления богатства этот проклятый продал дьяволу душу. В Лукке он любил некую богатую женщину. Из ревности он убил ее и в припадке безумия был пойман почти обнаженным на большой дороге в Ливорно. Он был осужден и приговорен к каторге. Посмотрите, как волочит он свои кривые ноги по полу. Он стремится скрыть слабость своих ног, таскавших в течение многих лет тяжелые кандалы. Однажды Паганини посетил дьявол, и свершился чудовищный торг: Паганини продал свою душу за миллион золота.

— Так, так,— говорил старик,— продолжай, я слушаю.

Нови почувствовал, что его наставник еще живее заинтересовался рассказом о Паганини, как только послышалось слово «миллион».

Он продолжал свой увлекательный рассказ.

— Что делал ты последнее время?— перебил тот наконец.

— Выполнял разные поручения маркиза Помбаля в Риме.

— Да, я слышал, ты служил у него кучером.

— Так, святой отец,— ответил Нови.

— Да, ну что же ты говоришь об этом скрипаче?

— Маркиз Помбаль получил из Рима предложение обратить на него внимание.

— Так, так,— опять зашамкал старик.— Ну, и что же, ты обратил внимание, да? И ты думаешь, что генерал ордена благословляет твое внимание?

Нови молчал.

Старик достал из шкафчика маленький сафьяновый мешок, вынул оттуда микроскопическую записную книжку и, поправив очки, внимательно перелистал несколько страниц. «Ну что же, с нынешнего дня я поручу братии узнавать точно все денежные дела этого музыканта. Отчисления в наших руках. Труднее обстоит дело с банковскими секретами. Ну, да и это преодолимо».

Старик быстро обдумывал, по каким каналам должна завтра устремиться волна его приказаний. Банковские чиновники, счетоводы, журналисты, собирающие сведения о гонорарах,— все были в его руках.

— Не станет же он возить с собой свободную наличность,— как бы подтверждая собственную мысль, произнес старик.— Кто из твоих помощников...— старик запнулся,— нет, мы дадим тебе своего. У меня есть певчий императорской капеллы Урбани, мы пустим его в качестве призрака, сопровождающего Паганини, это будет его карбонарская тень, его двойник.

— В лучах ясного света растет мрак, окружающий Паганини,— сказал Нови.— Паганини — это грязный козлоногий демон, идущий со свирелью эллинского дьявола по городам Европы. Снимите с него сюртук и штаны, и вы увидите, что это не человек; остригите его волосы, вы найдете рога; скиньте с него башмаки, вы увидите раздвоенные копыта.

Старик своими прозрачными глазами цвета бирюзы посматривал на вдохновенного клеветника.

— Ты все это видел сам? Так, так,— подтвердил он, не

дожидаясь ответа Нови.— Святой отец Пухальский, сидящий во главе цензурной конторы, рассказал мне об этом скрипаче.

Глаза его так насмешливо и понимающе взглянули на собеседника, что тот запнулся, и речь его пресеклась.

— Что же ты молчишь? — сказал старик.— Быть может, тебе неизвестно, что святой отец и первосвященник римской церкви благоволит к твоему скрипачу, к твоему козлоногому дьяволу, к твоему каторжнику! Может, ты хочешь знать, кто он? Он — кавалер папского ордена Золотой шпоры, вот кто он, а ты — щенок, и осмеливаешься...

— Боже мой, я не знал, я не знал, что святой отец...

— А! Ты не знал! — вдруг петушиным голосом пропел старик.— Так вот я тебе скажу, чтобы ты знал: ты неплохой малый, но если при буре ты будешь тверд, как льдина, то при дуновении теплого ветра ты можешь растаять. Если хоть один волос падет по твоей вине с головы кавалера ордена Золотой шпоры, великого музыканта императорской капеллы, синьора Никколо Паганини, раба божьего и верного сына церкви Христовой, то у тебя не только волосы спадут, но и голова скатится с плеч. Понял?

Нови побледнел, он чувствовал, что его одежда внезапно стала мокрой от испарины, у него дрожали руки и колени, он смотрел на страшного старика и, зная хорошо порядки ордена, уже чувствовал, что рука того тянется к синему конверту. Но, не видя синего конверта, окончательно упал духом. Значит, ему угрожает не простое исключение из ордена, а как только он выйдет из этой жарко натопленной комнаты, он будет схвачен на улице и брошен в тюрьму, как человек, подделавший подпись и получивший чужое наследство. А через месяц он сгниет в каком-нибудь тюремном колодце, как обыкновенный уголовный преступник, нарушивший светский закон. Ужас охватил Нови. В эту минуту он ненавидел Паганини гораздо больше, чем еще за час перед этим.

Старик смотрел на него и, казалось, его не видел. Старик давно знал, какова была судьба Паганини в Парме. Все рукописи Паганини и все его ноты, лежавшие в Парме на сохранении, украдены, а синьор Пино, генерал цизальпинского легиона и карбонарий, десять дней тому назад внезапно скончался. По приказанию министра полиции, графа Седленицкого, опечатана квартира генерала Пино в Милане. В его бумагах найдены ноты, письма и дневники синьора Паганини. Все нити, связывавшие внезапно умершего генерала с синьором Паганини, теперь в Вене, в руках полиции. Старик знал, что одиннадцать карбонарских

вент из Италии перекинули свою работу во Францию, но он знал также, что король Карл X с каждым днем все больше и больше подпадает под влияние ордена Иисуса и что не нынче-завтра Франция станет тем местом, откуда начнется полная реставрация господства церкви во всей Европе.

Если отец Лашез, духовник Людовика XIV, сходя в могилу, предупреждал короля о необходимости взять себе духовника иезуита, то этого короля не нужно ни о чем просить, он сам идет всему навстречу. Если там понадобилось напоминание отца Лашеза о том, что он не поручится за безопасность короля, буде его величество возьмет другого духовника, то здесь король сам хорошо знает, что бороться с орденом невозможно.

Наступает год решительной борьбы. Следует ли пренебрегать возможностью скопить большое богатство в руках человека, наследником которого является единственный хилый ребенок? Если Паганини станет несметно богатым сыном церкви, то это богатство будет уже богатством церкви.

Есть две возможности: или этот скрипач погибнет, или станет славой господней.

— Итак,— сказал старик, обращаясь к Нови,— отныне путь этого человека будет направлять рука всевышнего через посредство нашего святого ордена Иисуса. Поручаю тебе эту высокую и благочестивую задачу, но предупреждаю тебя, сын мой, что в тот день, когда ты уклонишься от пути и начнешь действовать по-своему, ты будешь выдан светским властям, как обыкновенный вор, и заслужишь казнь. Ныне имя маркиза Помбаля за тебя ручается. Но чтобы я мог тебе верить и дальше, скажи мне сейчас, назови мне только одно имя.

— О ком вы говорите? — Помертвевший Нови даже привстал от ужаса.— Не хотите ли вы сказать, что нашим истинным владыкой является не папа, а тот, кого молва ныне прозвала в силу могущества «черным папой»?..

Старик не смотрел на Нови, он, казалось, даже не слушал. Облокотившись на стол, он положил голову на ладони. Он был извещен и о том, что как раз в тот день, когда приехал Нови, в Риме произошли перемены. Ему необходимо было довести своего собеседника до состояния панического ужаса, а потом, ошеломив его внезапным ударом, узнать степень его осведомленности. Но хитрец Нови сам слишком хорошо знал приемы ордена. Произнеся последние слова, он остановился и не назвал имени. Случайно, в северном мальпосте, до него донеслась, как шелест ветра,

весть: генерал ордена иезуитов, отец Алоиз Фортис, скончался. Он умер странною смертью, и его место занял другой, тот, кого действительно называли «черным папой», тот, кто тайно возглавлял римскую церковь.

Молчание старого каноника не предвещало ничего доброго. Нови был раздавлен. Едва шевеля губами и чувствуя, что язык ему не повинуется, он продолжал свою фразу:

— ...Генерал ордена Иисуса, кардинал Роотаан.

Но старик как будто не слышал, он отрывисто кашлял и вдруг произнес:

— Так, так,— будем считать наш уговор состоявшимся. Итак, именем генерала нашего святейшего ордена я, раб рабов господних, предписываю тебе, сын мой, неуклонно и неукоснительно, ночью и днем иметь неусыпное, бдительное и строжайшее наблюдение за путями названного нами раба господня.

Затем перешел к делам практического свойства. Закрывая зевающий рот рукой, старик объяснил Нови, что с ним будут четыре фамильяра в разных городах. Для него будут заготовлены четыре пергамента — два с маленькой цифрой даяний и два с большой цифрой даяний.

— Сделаешь так, как положено в нашем обществе,— говорил старик.— Цифру даяний на церковь на верхнем листе ты отметишь малую, а на копии, засвидетельствованной фамильярами, большую. Цифру даяний, завещанных родным, ты отметишь на подлинном завещании большую, а на копии — малую. В случае успеха, когда завещатель подпишет, ты, взяв все четыре документа, два верхних передашь фамильярам на уничтожение. Ясно ли говорю я? — спросил старик Нови с обидным сомнением в голосе.

Нови произнес с упоением:

— Ясно, отец мой, ясно.

— Ясно, пока мы говорим с тобой здесь. Но смотри, чтобы не затемнили ум тебе последующие десять лет скитаний.

Нови тихонько поднялся с кресла. Он был бледен, опустился на колени и молитвенно сложил руки.

— Смотри, чтобы в одно прекрасное утро, проснувшись, ты не получил синего конверта с последующим страшным завершением.

— Только не это, святой отец, только не это! — молитвенно заговорил Нови.

— Нет, сын мой, именно это! — сказал старый иезуит и возложил руку на голову коленопреклоненного монаха.

Нови встал.

Утром следующего дня он узнал, что великий артист уехал в Прагу. «Какое счастье, что не в Париж»,— подумал Нови и облегченно вздохнул.

За несколько дней до отъезда Паганини из Вены в венском театре шла оперетка под названием «Фальшивый виртуоз». Мейзель написал стишки, едкие куплеты, ругающие Паганини последними словами. Паганини назван был там «солистом», потому что играл только на одной струне соль. Актер, игравший фальшивого виртуоза, был загримирован довольно удачно. Он делал невероятно скучные и томительные пассажи на скрипке, которую перепиливал деревянной пилой. Вместо скрипки ему подсовывали к подбородку гигантский контрабас, поддерживаемый двумя пильщиками в кожаных фартуках. Веселая музыка привлекла в венский театр огромную толпу народа.

Военный врач Маренцеллер нашел у Паганини все признаки чрезвычайного переутомления. Паганини стал крайне раздражителен. Чтобы успокоиться, он выехал на отдых в Карлсбад, сообщив в Вене представителям печати о предполагаемых концертах в Праге. Так как в последующую неделю Прага не увидела Паганини, то в газетах первоначально появились сведения о его полном исчезновении, потом о тяжелом заболевании, и, наконец, все пражские газеты поместили траурное объявление о его смерти. То, чего не решались говорить о человеке при жизни, заговорили громко после смерти. Объявилась синьора Бьянки. Редакция большой пражской газеты получила от нее депешу с просьбой сообщить, где умер ее супруг и в чьих руках находится ее сын.

Неизвестно, что ответила пражская газета синьоре Бьянки, но только в это время Паганини можно было видеть живым и здоровым, едущим по одной из горных дорог Австрии с маленьким Ахиллино, с няней и с синьором Урбани, итальянцем, встреченным им недавно и обнаружившим чрезвычайную преданность и бескорыстное желание помочь синьору Паганини.

Прошла еще неделя. Газеты, печатавшие объявления о концертах Паганини, выходили двойным и тройным тиражом. Паганини воскресший был гораздо интереснее. Но кто искренне сожалел о том, что Паганини не в гробу, это пражская консерватория, от всей души ненавидевшая венских музыкантов. Слава, созданная скрипачу в Вене, была уже достаточным поводом для того, чтобы в Праге вознегодовали. Однако ожесточенные нападки пражских рецензентов, начавших целую кампанию против Паганини, не

помешали публике ломиться на концерты так же, как и в Вене.

Нашлись у Паганини в Праге истинные друзья и почитатели. Молодой Макс-Юлиус Шоттки неотступно следовал за Паганини. Казалось, ему доставляло удовольствие дышать с ним одним воздухом. Он баловал маленького Ахиллино, он преследовал Урбани расспросами, он приносил Паганини газеты и кипы журналов, он сообщал ему все свои соображения по поводу критических выпадов. Не будучи удачливым в музыке, Шоттки захотел отличиться в литературе. Свое бескорыстное увлечение великим скрипачом он превратил в работу панегириста и захотел создать при жизни Паганини памятник ему и вместе с тем увенчать славой свое имя.

Когда Шоттки очень надоедал Паганини, тот вынимал два или три анонимных письма и читал ему вслух. Паганини любовался наивным ужасом этого неблестящего ума. С другой стороны, его радовала встреча с Шоттки как с благожелательно настроенным к нему человеком. Правда, в иных случаях скромность мешала ему говорить — о любовных связях, о вражде, еще не остывшей, о своих успехах и о человеческой ненависти,— но Паганини сам говорил, что иногда ему доставляло удовольствие разглаживать эти морщины времени, поднимать занавес прошлого и отодвигать ширмы своей памяти.

Шоттки стремился к установлению точной хронологии событий. Паганини путал годы, дни, числа. Он мог хорошо вспомнить свет зари, сияние облаков над морем, он мог вспомнить звон колоколов при крутом повороте горной дороги, но не помнил ни чисел, ни месяцев. Шоттки проставлял их от себя. Добросовестный биограф все настойчивее и настойчивее наступал на Паганини, вплотную подходя к тем годам, о которых Паганини не хотел говорить вовсе.

Перед ним сидел человек, отягченный лаврами и флоринами, как говорили о нем пражские газеты, этот богач, о несметном состоянии которого ходили в Праге легенды, богач, который расценивал свои концерты так дорого, что люди лишали себя удовольствий на целый год ради того, чтобы слушать его один вечер,— этот человек не хотел рассказывать о нищете, о побоях отца, о тяжелом и упорном труде. Шоттки принадлежал к числу тех, кто не верил в возможность выступать без постоянных упражнений перед концертами, а между тем Паганини ничего не читал, ничего не делал, он не касался скрипки, он не касался нот,— он брал инструмент, лишь выходя на эстраду. Шоттки был в недоумении. Он не мог разобраться не только в этом. Вот

почему многие записи о Паганини, которые мы находим в его прижизненной биографии, сданной в набор в 1829 году, подобны зарисовке, недостоверной и к тому же сильно пострадавшей от времени.

Глава двадцать четвертая
ОПЫТНЫЙ ВРАЧ

Урбани получил предписание вызвать врача. Паганини тяжело простудился с наступлением осени в Праге и лежал. Молодой остролицый человек через два часа постучал в комнату скрипача. После мучительной процедуры осмотра он выказал чрезвычайный интерес к тому, как проводит время синьор Паганини. Он с удивлением узнал, что скрипач никогда не бывает на исповеди, никогда не принимает святого причастия. Он покачал головой и сказал:

— От этого могут быть многие болезни. У вас болит горло, у вас белые налеты в глотке, это нехорошо.

Он достал пузырек с сильно пахнувшей жидкостью, кисточку и смазал этой жидкостью горло Паганини. За этим последовал тяжелый обморок больного. Всю ночь больной метался в испарине и в бреду.

На следующий день заболели челюсти, раздулась щека, заболели уши. Газеты известили публику о болезни синьора Паганини. Афиши были перечеркнуты ярко-синей полосой с надписью: «Отменяется».

Бред возобновился. Паганини вставал, звонил слуге, ему казалось, что Ахиллино выбрасывается из окна. Он дергал шнур, открывалась штора, перед ним сиял пражский день, а ему казалось, что все еще продолжается томительная, душная ночь. Чувство страшного одиночества и боязнь за ребенка овладели душой Паганини.

Шоттки спрашивал, кто лечит синьора Паганини. Но как раз в этот момент синьор Урбани исчезал из комнаты.

Однажды, когда Шоттки сидел у постели больного, послышались шаги по лестнице.

— Вот наконец идет врач,— сказал Паганини.

Молодой профессор поднялся. Дверь быстро захлопнулась, вошел Урбани.

— Мне казалось, что там доктор.

— Нет, синьор, это почта.

Он быстро порылся в боковом кармане и достал оттуда письмо, измятое письмо, лежавшее в кармане три дня. Паганини не обратил внимания на то, что штемпель на оборо-

те конверта неуклюже расползся под новым клеем. Писал Гаррис, предлагая встретиться в Берлине. Он оставил дипломатическое поприще, ему хотелось предпринять путешествие по Европе. По старой памяти он предлагал себя в спутники синьору Паганини.

— Какое счастье! — воскликнул Паганини.— Я напишу ему... Но мне казалось, что здесь доктор.

— Нет, нет.— Урбани отрицательно качал головой.

Зубная боль помешала писать. Три дня он не мог принимать пищу. Не выдержав, Паганини ночью послал за врачом.

Явился напомаженный, надушенный молодой человек: его коллега выехал за город к заболевшей венгерской графине. Врач осмотрел больного и сделал прижигание горла. Потом, смазав десны, он вырвал больной зуб. У Паганини закружилась голова. Он совершенно ясно слышал латинскую речь около себя. Рядом раздался голос: «Claude januam» [1] и ответ: «Clausa est» [2]. Кто это говорил, Паганини не помнил: он в этот момент потерял сознание.

Утром новый доктор, Меланхолер, присланный от медицинского факультета, установил, что у Паганини изъято восемь зубов нижней челюсти и два верхней.

— Кто проделал над вами эту чудовищную операцию?— спросил Меланхолер.

Язык не повиновался Паганини. Меланхолер пожал плечами.

— У него паралич гортани... У вас не было французской болезни?— спросил он грубо.

Паганини качал головой. Меланхолер сделал новое прижигание, грустно пожал плечами и ушел.

Паганини лежал тридцать семь дней. Тяжелые и тоскливые дни потянулись один за другим. В полусознательном состоянии, почти в бреду он проводил дни и ночи. Шоттки сделал все, что хотел больной, которого мучила тревога за ребенка. Сотни всевозможных игрушек были расставлены в большой соседней комнате, оглашавшейся рукоплесканиями и смехом ребенка. В минуты облегчения, приняв беззаботный и веселый вид, Паганини вызывал ребенка для короткого разговора и, не будучи в силах произнести больше пяти-шести слов, писал Шоттки программу следующего дня Ахиллино.

Потом в изнеможении выпускал карандаш из онемевших пальцев и закрывал глаза. Временами казалось, что

---

[1] Запри дверь (*лат.*).
[2] Заперта (*лат.*).

кончается жизнь. По утрам Ахиллино, приходя, смотрел на него большими, широко раскрытыми глазами.

По истечении месяца наступили часы благодетельного, счастливого сна. Перестало так давить грудь и горло, и голова освобождалась от странного ощущения, будто она оплетена паутиной, закрывающей глаза, рот, уши, липкой, но неуловимой. Эту паутину бессознательно стремились снять пальцы Паганини. Это были мучительные поиски тонких нитей, влезающих в уши, потом казалось, что эти нити висят на пальцах и их нужно стряхнуть, но они опутывали губы, глаза, попадали в рот, между зубами, дышать становилось все трудней и трудней.

В те часы, когда приходил сон, вдруг раздавались звонкие крики, и гора игрушек, падая, рассыпалась на полу. Паганини просыпался, ему казалось, что падала Пизанская башня под ударами молний. Вбегал маленький человек в белом костюме с серебряным шитьем. Красный венгерский кушак опоясывал бархатную куртку. Кивер с султаном покрывал белокурую головку, голубые глаза искрились. Ахиллино вынимал игрушечную саблю и нападал на отца, он ранил его в грудь. Паганини, забывая боль, улыбался. На тридцать пятый день вернулся голос. Первый раз Паганини почувствовал, что он не прошептал, а сказал полным голосом: «Ангел мой, ты видишь, я уже ранен!» Мальчик, слыша этот голос и видя отца, лежащего с закрытыми глазами, вскочил к нему на грудь, сел верхом и принялся открывать ему веки.

Наступил январь 1829 года. Паганини встал, ходил по комнате. Он исписывал огромные листы нотной бумаги, но потом опять его охватывало чувство неотвратимой тоски. Он переживал непонятное для самого себя состояние существа, стоящего на грани жизни и смерти.

И вот приехал Гаррис. Он привез с собою веселость и английский юмор. Озабоченно выспросив все, что было можно, у пражских докторов, он тщательно скрыл ужас, который вызвали возникшие у него подозрения.

Гаррис не терял времени даром. Он привез целую кипу газет, музыкальных журналов, бюллетеней. Он со смехом показывал Паганини вырезки из газет, аккуратно печатавших сведения о доходах Паганини.

— Вы будете скоро самым богатым человеком в Европе,— говорил Гаррис,— но вы знаете, забавное явление: в Гамбурге, в Лейпциге, в Берлине продаются ваши ноты с вашим портретом баснословно дорого. Издатели ссылаются на то, что гравировка ваших крючков-нот мельчайших длительностей с форшлагами и другими мелизмами, да

еще и с какими-то небывалыми знаками, стоит огромных денег.

«Что-нибудь тут не так,— писал Паганини на дощечке из слоновой кости,— я продал вариации на «Моисея» Россини, я подготовил, но не успел продать новое издание Локателли, я продал «Баркароллу» и двадцать четыре каприччио». Последовал длинный перечень того, что написано, но не продано.

— Что вы! — говорил Гаррис.— Я видел ваши «Падуанские очарования», сонаты кончертанте, «Два чуда», двадцать пять менуэтов, «Весну», «Наполеона», я видел ваших «Колдуний».

Паганини привстал на кровати, с испугом глядя на Гарриса.

— Откуда это? Все эти вещи были мною оставлены моему другу генералу Пино.

— Позвольте, генерал Пино... генерал Пино давно умер.

— Как давно умер, что вы говорите?

— Генерал Пино умер несколько месяцев тому назад.

— Боже мой! Мои ноты, мои письма, мои дневники, мои документы! — закричал Паганини.

Гаррис понял, что сделал большую ошибку.

С этого дня Паганини не покидала тревога.

— Неужели это все выкрадено? — иногда, прерывая разговор, восклицал Паганини.

— Успокойтесь,— говорил Гаррис,— не может этого быть.

Он через английские консульства в европейских столицах собрал все пьесы, вышедшие под фамилией Паганини. В скором времени великий скрипач убедился, что он обокраден европейскими издательствами. Все, что осталось в Италии, разметал ветер по европейским столицам. Но Гаррис очень быстро поправил дело. Судебные пружины, нажатые при посредстве английских связей, оказали свое действие. Двадцать тысяч флоринов получил Паганини, не выезжая из Праги. Урбани разъезжал по городам, собирал деньги, привозил чековые книжки, размещая, по указанию Гарриса, в банках крупные суммы, получаемые от издателей.

Из Праги было ближе всего ехать на юг, и так хотелось во что бы то ни стало двинуться через Альпы, увидеть Венецию на зеленой лагуне! Но Гаррис решительно запротестовал:

— Только не теперь. Ваше пребывание в Праге не внушает мне никаких опасений, а в Италии за последние ме-

сяцы пострадало слишком много ваших друзей. Родная почва будет сейчас питать вас ядовитыми соками.

— Сколько же времени это будет продолжаться?

— Не знаю,— сказал Гаррис и хитро наморщил лоб.— Думаю, что несколько лет.

Трудно было понять, в шутку говорил он или серьезно. Но Паганини решил следовать советам Гарриса: они выручали его неоднократно в трудных случаях жизни.

Первый концерт он дал в Дрездене. Саксонские газеты писали не столько о музыке, сколько о том, что Паганини получил сборов тысячу двести пятьдесят талеров, милостивую улыбку королевы и украшенную бриллиантами золотую табакерку с портретом короля.

В Лейпциге концерт внезапно сорвался. Газеты слишком много шумели о колоссальных гонорарах Паганини. Лейпциг был наэлектризован молвою о его сказочном богатстве.

Лейпциг встретил Паганини враждебно. Магистрат оказывал какое-то странное давление на программу концерта. Директор лейпцигской музыкальной школы поставил условием выступление в концерте своей дамы сердца. Сделано это было в очень грубой форме, совершенно открыто. Паганини развел руками и просил Гарриса передать, что он не может обеспечивать во всех своих европейских выступлениях любовниц и содержанок, предлагаемых бургомистрами под угрозой неблагоприятной встречи в городе, директорами театров — под угрозой отказа в помещении, редакторами газет — под угрозой клеветнических статей и ругательных рецензий. Гаррис пытался смягчить резкость этой отповеди, но Паганини не согласился ни на какие уговоры. И так как Гаррис спорил, то Паганини сделал все, чтобы еще более обострить положение. Он написал письмо администратору лейпцигского театра в таких выражениях, которые неминуемо должны были вызвать крупную ссору.

Результатом явилось то, что обычный состав оркестра был внезапно удвоен, и начавшиеся репетиции пришлось прекратить ввиду исключительной бездарности новых оркестрантов. Старички, игравшие по ресторанам и трактирам, свадебные скрипачи, органисты, вышедшие давно на пенсию и служившие уборщиками в католических учреждениях, тамбурмажоры и военные музыканты, служившие в полицейском оркестре,— все это было двинуто против Паганини и оглушило его отвратительным скрежетом, писком и визгом на первой же репетиции. Список вознаграждений этому новому набору напоминал список во-

енной контрибуции. Паганини поручил Гаррису уменьшить состав оркестра. Тогда первая половина — постоянный состав оркестрантов лейпцигского театра — отказалась участвовать в концерте.

Снова потеряв голос на репетиции, Паганини должен был обратиться к врачу. В присутствии Гарриса доктор, немецкий хирург, покачав головой, заявил синьору Паганини, что его, очевидно, лечил какой-то шарлатан. Гортань изъедена язвами, напоминающими французскую болезнь.

— Но это не то,— сказал немец.— Однако состояние во всяком случае очень серьезное. Кто вас лечил?

Паганини не мог ответить на этот вопрос. Обратились к Урбани. Урбани не было дома.

— Я могу вас вылечить,— сказал доктор и многозначительно взглянул на Гарриса.

Паганини вышел в соседнюю комнату. Доктор назвал колоссальную сумму денег, и Гаррис отказал ему. После ухода врача Гаррис уговорил Паганини начать лечение в Берлине.

Четвертого марта, забыв о лейпцигском приключении, забыв о нападках берлинских газет, возмущенных жадностью скрипача, не давшего ни одного концерта в Лейпциге, Паганини выступил в берлинском театре с концертом.

Этот концерт наделал много шуму. В Берлин приехал Шоттки. Он отправился к своему другу Людвигу Рельштабу, и они вдвоем подготовили ряд статей в «Vossische Zeitung», настолько удачных, что первое выступление Паганини было полным триумфом. Даже Шпор удостоил концерт своим посещением и сидел в первом ряду, закусив губы.

Рельштаб писал, что Паганини осуществил невероятное, переступил грани возможностей, данных человеку природой. Победа такого рода не обходится человеку даром. Скрипач производит впечатление существа нездешнего мира. Трудно понять, кто это — ангел или демон, воплотившийся в обыкновенную человеческую оболочку, но только — эта оболочка носит отпечаток того невероятного, гигантского труда, который скрипач вложил в свое искусство. Следы страшного, мучительного утомления легли на лицо Паганини. Нет скрипача, похожего на Паганини хоть сколько-нибудь внешностью, и нет музыканта, который смог бы превратить деревяшку в тот одухотворенный инструмент, каким оказывается скрипка в руках этого гения. Этот автор «Колдуньи» сам является чародеем. Кто пере-

ступит те грани человеческого мира, которые переступил Паганини, те грани человеческого мира, которые казались навсегда узаконенными природой? И есть ли какая-нибудь мера для определения силы этого гения?

Об этом говорили стихи Карла Холтея, об этом кричали берлинские газеты.

Весеннее половодье уничтожило многие прусские села и деревни. Сотни тысяч людей были разорены. 6 и 29 апреля, при громадном стечении народа, состоялись концерты по невероятно вздутым ценам. Берлинская публика ответила на это взрывом негодования, но по-прежнему ломилась в зал. Перегородки и турникеты опрокидывались толпой. Газеты выли от негодования. Паганини называли Гарпагоном, отвратительным скрягой, алчным и ненавистным итальянским драконом.

Увеселитель берлинской публики, пародист и куплетист Сафир дважды обращался к Паганини с просьбой о предоставлении ему дарового билета, но так как он имел неосторожность сопровождать свою просьбу угрозой публично высмеять Паганини, если ему откажут, то Гаррис ему отказал, в силу категорического требования Паганини высоко держать знамя мужества и достоинства. И вот появилась заметка под названием: «Паганини, два талера и я». Сафир написал ядовитую статью на тему о жадности Паганини, где ставил себя в пример великому скрипачу.

«Мы оба, быть может, в одинаковой мере стараемся заслужить внимание берлинской публики. Паганини на одной «Saite», а я — на нескольких «Seiten»...» Увлекшись игрой слов «струна» и «страница», Сафир не догадался только об одном,— что сбор с обоих этих концертов, данных Паганини по высоким ценам, был, по приказанию концертанта, отдан Гаррисом в комитет по оказанию помощи жертвам наводнения.

Кассель, Франкфурт, большие и малые города Германского союза слышали Паганини.

Шпор писал в 1830 году:

«Паганини только что дал два концерта в кассельском театре. Я следил за его игрой на этих концертах с исключительным вниманием. Его левая рука работает с безукоризненной точностью и внушает мне чувство самого настоящего восхищения. Но в его композициях, в его стиле я обнаружил странную смесь явной гениальности с детской грубостью и безвкусицей, в силу чего общее впечатление от игры Паганини было для меня далеко не удовлетворительным.

Дважды мы присутствовали с ним на обедах в Вильгельмсхое, он показался мне человеком чрезвычайно веселым, общительным, острым на язык. Мы сидели с ним рядом».

В это же время в других германских газетах появилась заметка Гура, который писал, что «Паганини, этот отвратительный человек с невозможным характером, в высшей степени неприятен в общении. Надо думать, что его разрушенное здоровье является причиной его вечно дурного расположения духа».

Урбани с настойчивостью доверенного слуги, ревнующего господина к новому любимцу, настаивал на необходимости ехать в Париж. Гаррис принес вырезки из парижских газет: там уже есть портрет Паганини — обычный рассказ об убийствах, о скрипке, проигранной в карты, о тюремном заключении и о предводительстве шайкой итальянских бандитов. Один журналист сообщал, что Паганини находится в Париже инкогнито — «присматривается и принюхивается», но что ему, этому журналисту, удалось иметь беседу с Паганини. Приводится беседа с Паганини, портрет Паганини, портрет синьоры Бьянки и маленького Ахиллино. Портрет Паганини был обычным, установленным для этого рода газетным клише, но синьора Бьянки оказалась невероятной красавицей: для нее просто была взята какая-то старая итальянская гравюра, изображавшая мадонну.

Что касается Ахиллино, то, очевидно, репортер воспользовался дагерротипом какого-нибудь циркового бульдога, вундеркинда с атлетическими мышцами и жесткими азиатскими скулами. «Рано ехать в Париж»,— хотел сказать Паганини. Но у него ничего не получилось. Гаррис с тревогой взглянул на своего друга. Паганини сипел, шипел сдавленной гортанью. Нервно схватил пластинку из слоновой кости и написал карандашом: «Не еду в Париж».

Он взял монету со стола, это был старинный саксонский дукат. На одной стороне был изображен портрет Августа Саксонского с гербом, а на другой — берег с пальмами и коленопреклоненный негр с гигантским блюдом сокровищ южных стран в высоко поднятых руках. Паганини написал на дощечке: «Если саксонский король шлепнется на пол, то негр укажет нам дорогу на восток. Если саксонский король откроет нам свое лицо, поедем на запад». Он высоко подбросил монету. Звонко ударился золотой дукат о каменный пол.

— Негр! — закричал Гаррис.

Утром стали собираться в Варшаву.

Глава двадцать пятая

ПИСЬМА И ПАССАЖИРЫ

Еще не было железных дорог. Наиболее организованное движение конной тягой было осуществлено господином Лаффитом во Франции. Не одну тысячу карет во все стороны рассылали его почтовые дворы, и одиннадцать миллионов франков чистого дохода получал ежегодно господин Лаффит. Старики Бонафус и Кальяр должны были уступить ему дорогу. Господин Лаффит имел банк в Париже. Отделения этого банка были в столицах европейских государств, в том числе и в Варшаве. Секретно скупая акции мессаджеров и эйльвагенов, господин Лаффит распространил свою агентуру от Парижа до самых границ Российской империи. Господин Лаффит был влиятельной персоной в Париже, и если бы не странное направление политики Карла X, то, конечно, господин Лаффит был бы членом правительства, более влиятельным, чем кто-либо из восседавших там дворян. Так по крайней мере рассуждали французские спутники Паганини, ехавшие с ним в большой почтовой карете по дороге на Калиш.

Паганини путешествовал опять в почтовой карете. Во Франкфурте-на-Майне остались Гаррис, Ахиллино и все движимое имущество великого скрипача.

В Варшаве предстояли важные концерты. Русский царь, раздавив своих врагов, расстреляв Сенатскую площадь, на которой собрались бунтующие офицеры и солдаты, ехал в Варшаву возложить на свою голову корону польского короля и, затаив ненависть в сердце, присягнуть польской конституции.

В Варшаве ожидались большие праздники, и вот Паганини решил именно там использовать несколько парадных вещей, написанных им в торжественном стиле. В их числе был английский гимн, переложенный им для скрипки, так как говорили, что этот гимн принят в России в качестве национального гимна.

...В той же карете ехали кожаные мешки с большими замками, с сургучными печатями и стальными цепями. Это была международная почта. В этом синем эйльвагене, направляющемся к русской границе, ехал скрипач Никколо Паганини, а наверху, на сетке, в кожаном мешке спокойно лежал толстый большой пакет из серой бумаги, адресованный к тому человеку, под надзор которого Паганини попадал в Варшаве. В пакете лежали листы, исписанные красивым английским почерком:

«В Варшаву, ксендзу о. Ксаверию Коженевскому.

Дорогой аббат, сообщаю Вам только то, что помню, и то, что недавно удалось услышать. Тороплюсь и поэтому пишу сбивчиво.

Мадемуазель Март вернулась в Париж только в тот момент, когда граф д'Артуа возложил на себя корону Франции в Реймсе и стал королем Карлом X. В тот день мадемуазель Март исполнилось восемьдесят девять лет. Она мало изменилась: превратившись из красивой когда-то женщины в маленькую старушку, она сохранила живость взгляда. Сросшиеся черные брови не поседели, глаза были по-прежнему круглы, огромны, черны и выразительны. У нее сохранился даже свежий цвет лица. Легкие морщинки появились только около глаз. Нос с горбинкой придавал ей еще большее сходство с миролюбивой домашней птицей. Она остановилась у двоюродной сестры в Малом Пикпюсе, но потом переехала в Тюильри и заняла комнату, принадлежавшую когда-то фрейлине — ее матери. Годы, проведенные в изгнании, нисколько не поколебали ее характера Она отличалась всегда чрезвычайной добротой и кротостью. Ее набожность стала беспредельной.

В свите принца Конде и при дворе герцога Брауншвейгского она пользовалась неоспоримым авторитетом и могла в любую минуту перевернуть решение двора одним простым и коротким словом. Не было случая, чтобы она воспользовалась этим для себя. Она кормила вдов и сирот, сама оставаясь голодной. Жертвы якобинского террора всегда могли найти у нее помощь и внимание. Казненного короля она считала святым и с разрешения отца Лакордера возносила ему молитвы, как ангелу, близко стоящему к престолу всевышнего.

Она тяжело болела дважды. Первый раз, после посещения своих монахинь, живших неподалеку от Брауншвейга, она, выходя из кареты, промочила ноги, пролежала шесть недель в жару и бреду, и предметом ее бреда был главным образом покинутый монастырь бернардинок. Второй раз снег застал ее в дороге; по обыкновению, она была плохо одета. Легкие ее наполнились кровью, она едва не умерла. Вдобавок она постилась и приобщалась. Но твердость ее характера и тут дала себя знать. Она заявила своему духовнику, что всевышний до тех пор не захочет ее смерти, пока она снова не приведет в порядок своей обители.

Она действительно выздоровела, но, несмотря на все уговоры друзей и почитателей, не соглашалась ехать в Париж при Людовике. Она поставила непременным условием своего возвращения выселение всех, кто по праву револю-

ции занял ее монастырь. Она потребовала возвращения всех бернардинских имуществ, так как в списках римской апостолической курии она по-прежнему числилась настоятельницей монастыря Визитации.

Что же Вам сказать, дорогой аббат? Вы сами в Вашей швейцарской глуши узнали превратности судьбы. Не сердитесь за светский тон моего письма Вам в Варшаву. Я так привык думать о Вас как об эскадронном командире, о своем начальнике, что не могу придерживаться церковных оборотов французской речи. В следующий раз буду писать Вам по-латыни, тогда, уверен, мой тон Вам понравится. Латинский язык не располагает к болтовне, а наша французская речь, пострадавшая от якобинства, так же, как и все в мире, в настоящее время засорена плебейскими оборотами и словами пьяного мастерового. Мир пошел вверх дном. Вот видите, тридцать лет тому назад я ни за что не написал бы этой фразы. Теперь я пишу ее смело и многое другое произношу без страха.

Дальнозоркость мадемуазель Март, ее твердость и честность вскоре стали предметом общего восхищения. Все, кто еще недавно советовал ей двинуться в Париж, приехать в Сен-Клу и лично просить короля, все увидели, что она была права, отказавшись от этой привилегии. Людовик XVIII приказал отвратительному интригану и либералу Монлозье ответить на письмо мадемуазель Март полным отказом. «Впрочем,— добавил Монлозье от себя,— ваш вопрос можно поставить в очередную сессию палаты депутатов».

Можете себе представить, дорогой аббат, каково было возмущение мадемуазель Март! Я видел ее как раз в ту минуту, когда она, прочитав письмо, сидела в кресле. Черные четки и письмо она держала в руке, опущенной на ручку кресла, правая рука с платком лежала на сердце. Глаза были черны, как бездонный колодезь, в них горел огонь бесконечной грусти и негодования на происки дьявола, негодования, не проявляющегося ни в словах, ни в жесте, в силу того что св. Бернард учил кротости и смирению.

Как мы были слепы, и как она была прозорлива! Девять лет ждала она минуты, когда просветление сойдет в душу короля, но, как теперь Вы знаете, это просветление не настало. Лакордер недаром говорит, что кара господня настигает тайно и явно. Король стал разлагаться при жизни. У него отходили ногти от мяса, кожа сползала, как грязная перчатка, трескались веки и распадались ноздри. Это была ужасная кара за пренебрежение к церкви. Маде-

муазель Март думала иначе. Она жалела короля и молилась о нем. Но слова «палата депутатов» вызывали в ней физическую боль, она осеняла себя крестом всякий раз, когда слышала эти слова. Давно это было. Но в 1825 году к ней каждый день являлись курьеры из Марсанского павильона. *Она ожила, она вся загорелась тихим светом*, и в этой вечерней лампаде появилась какая-то солнечная энергия юности. Вы видите, что я заговорил совсем светским языком. «Солнечная энергия» — это слово, недавно выдуманное нашими академиками. Оно бессмысленно и нелепо, ибо какая энергия может быть у солнца, кроме божественной? Без божьего благословения солнце перестанет светить в ту же минуту.

Итак, простите, дорогой аббат, продолжаю свое повествование об этой замечательной женщине и,— как это всегда бывает с беспамятными людьми,— сейчас только вспоминаю, что я ничего не рассказал Вам ни о детских годах, ни о молодости мадемуазель Март.

Племянница герцогини д'Абрантес, двоюродная сестра баронессы Жерар, графиня Декардон с детства отличалась ровным и спокойным характером. Судьба кидала ее отца — министра-резидента — в разные страны и города. Поэтому она плохо его помнит. Детство ее прошло около Шартрез де Гренобль, где она училась в монастырском пансионе. К чести ее надо отнести, что она никогда не читала недозволенных книг и, думается мне, лишь наслышкою знала, кто такие Вольтер или Гольбах. Я даже думаю (безбоязненно напишу это Вам, так как Вы не выдадите меня либералам), что она *ничего не читала, кроме священного писания* и книг, написанных для спасения души.

Характерная особенность мадемуазель Март — это ее полное равнодушие к нашему полу. Она ни разу не была влюблена и на все искания руки отвечала мягким, но категорическим отказом.

В девятнадцать лет она приняла первое посвящение, в двадцать четыре года, после побега краснощекой и веселой Франсуазы, любовницы архиепископа парижского, управлявшей монастырем бернардинок, она сделалась настоятельницей и с тех пор остается ею. Она одна из первых высказала ту мысль, что революция и якобинский террор — не простые случайности, а проявление божественного возмездия французскому дворянству за либерализм и невнимание к нуждам церкви. Революцию она приняла с кротостью горлинки и спокойствием мудреца. Она твердо верила в ее благодетельные последствия, хотя и скорбела

душой о сословии, когда-то близком богу, а ныне навлекшем на себя его праведный гнев.

Мадемуазель Март высоко ценила дворянскую кровь. Она считала, что рыцарственность и благородство суть качества, обязывающие к религиозному подвигу. Она говорила, что дворянство есть первый сан религиозного посвящения. Она признавала, что и простолюдин может быть угоден богу, недаром же сын божий призвал рыбаков в апостолы. Но случаи эти чрезвычайно редки, так как чернь есть лишь ступень для восхождения дворянина. Никто не помнит случая, чтобы она когда-нибудь произнесла имя Бонапарта или как-нибудь отозвалась на его существование. В годы военных гроз она вела себя так, как будто Наполеона не существует, и лишь едва заметное крестное знамение свидетельствовало о том, что она услышала это ужасное имя, произнесенное кем-либо.

В письме к покойному королю она давала ему мудрый совет запретить упоминание в школах всех событий, связанных с революцией, так как она глубоко верила в то, что слова, даже легкие, как дуновение ветра, имеют оболочку и немедленно воплощаются, вернее — порождают тысячи демонов. В этом она, конечно, права.

Маленькая подробность из ее жизни в 1793 году. Король еще не был казнен. Мадемуазель Март ежедневно возносила о нем молитвы, которые — увы! — не были услышаны. В эти тревожные для нее дни она превратилась в какое-то бесплотное существо; скрываясь от Секции, она со своим братом оставила Сен-Жермен и поселилась у Сент-Антуанских ворот в квартире булочника; все свободное время она уделяла заботам о маленькой племяннице (Антуанетта теперь красивая девушка, невеста виконта Крузоля).

Начальник Секции Леблан однажды ночью ворвался с отрядом и раскрыл их местопребывание. Обыск не дал никаких результатов, но нужно было взглянуть на то поистине ангельское спокойствие, которое проявила мадемуазель Март. Она не сказала ни одного обидного слова комиссарам, несмотря на то что эти люди в толстых ботфортах, стуча прикладами, становились ногами на стул и влезали на полки, сдергивая со стен священные изображения. Я не знаю человека более смиренного и более кроткого. В минуту, когда комиссар спросил: «А где же ваши бриллиантовые украшения, где ваше фамильное золото?» — она с улыбкой ответила, что ее мало интересуют эти вещи. И только маленькая Антуанетта, с улыбкой глядя на тетушку, произнесла: «Тетя Марта, разве вы забыли, что они

в углу под половицей»,— и сама поманила ручонкой *добрых дядей* в комнату, где под половицей ее отец сложил все имущество. Мадемуазель Март тихонько гладила Антуанетту по голове, когда племянница, в восторге от своей догадливости, указывала место, где ее отец спрятал золото и бриллианты.

Когда Леблен и национальные гвардейцы ушли, мадемуазель Март взяла брата за руку и тихо шепнула ему, чтобы он ни слова не говорил своей дочери. Антуанетта осталась в счастливом заблуждении, что она своей маленькой памятью помогла беспамятной тетушке. Скрестив ручки на груди, она заснула, а мадемуазель Март тихо напевала ей какую-то песню. Это был день полного разорения семьи. Оставались деньги, увезенные в Брауншвейг, но о получении их нечего было думать. Нужно было готовиться к эмиграции.

Мадемуазель Март выехала в почтовой карете на второй день после казни короля. Она была так тверда духом и так сильна, что брат ее не мог скрыть своего восхищения. Оба, одетые в крестьянское платье, с деревенскими корзинами, в сопровождении старого Антуана, бывшего на положении мажордома, благополучно достигли Вердена. Там произошла душераздирающая сцена. Граф Декардон, воодушевленный надеждами на скорый конец якобинства, выехал к ним навстречу. Дерзкий старик, растративший состояние на формирование немецкого отряда, принял в объятия сына в грязном трактире при выезде из Вердена. Оба были опознаны как лица, едущие под чужими именами, и тут же капитан пограничной стражи вместе с сапожником в красном колпаке учинили им допрос.

Мадемуазель Март, сохраняя по-прежнему спокойствие, заботилась о маленькой Антуанетте. Отец и сын разыгрывали сцену неузнавания друг друга, но было уже поздно. Отец стал слабеть. Он почти был склонен назвать себя. Глазами он умолял сына сделать то же. Молодой Декардон не выдержал и, бросившись на колени, закричал: «Да помолчите же, батюшка, в ваших руках спасение Франции!» — после чего оба были выведены на грязный конский двор, поставлены около кучи навоза и застрелены из пистолета.

В эти минуты мадемуазель Март в другой комнате, слыша выстрелы и зная, в чем дело, убеждала маленькую Антуанетту, что отец уехал вместе с дедушкой и что дальше им предстоит ехать вдвоем. О ней забыли. Антуан тихонько провел их к деревенскому кюре, оттуда через сутки они перешли границу. Мадемуазель Март даже не заболе-

ла. Ноги ее кровоточили, платье было разорвано, волосы спутаны, но в глазах по-прежнему светились ее необычайная кротость и смирение. Маленькая Антуанетта спала у нее на руках, когда она ехала в коляске кассельского князя по дороге на Брауншвейг. Так она спаслась от террора.

По дороге граф Анри Шуазель, виконт де Бурдонне и графиня Лаваль громко говорили о том, что французское дворянство виновато перед богом и перед людьми. На это мадемуазель Март им кротко ответила, что об угнетенных и невинно страдающих не следует говорить так, что она жалеет гораздо больше не тех, кого угнетают, а тех, кто, использовав кратковременное владычество на земле для их угнетения, безнадежно обрек себя тем на адские муки. Она считала, что тысячи демонов носятся над Парижем, что цвет проливаемой крови окрасил фригийские колпаки и что в кровавом океане, именуемом Революцией, гораздо лучше утонуть, чем плавать на поверхности.

На нее смотрели, как на святую, с ней не спорили и к ней обращались за советами. В Брауншвейге она присутствовала при всех религиозных церемониях, сопровождавших отправку иностранных отрядов на французскую границу. Она говорила, что Христос идет во главе эскадрона, что ангелы незримо защищают ротных командиров, лейтенантов и полковников в отрядах, идущих против якобинцев. Были случаи, когда она словами кроткого увещевания просила солдат жертвовать жизнью за своих офицеров, она говорила простые и убедительные слова о том, что крестьяне родятся десятками тысяч, в то время как благородная кровь их командиров, по воле божьей, дарится французской земле каплями. Тысячи солдат должны с радостью умереть за одного офицера. Никакой человеческий закон, никакая «Декларация прав» не заменят крестьянству милосердия сердца и отеческих попечений синьора. Детская покорность отцу есть удел любого крестьянина.

К словам манифеста герцога Брауншвейгского о сожжении и истреблении Парижа она относилась как к священному писанию.

— Огонь очищает все,— говорила она.— Когда наступит конец мира, тогда небесный огонь сожжет землю. Мир кончается, и прежде всего кончается Париж.

Она считала себя обязанной каждый день прочитывать главу апокалипсиса, и хотя с осторожностью относилась к экзальтированным и больным сестрам, пророчествовавшим в монастыре, однако не считала возможным возражать, когда кто-нибудь указывал на то, что свершаются сроки, назначенные апостолом Иоанном.

Теперь, дорогой аббат, расскажу Вам о последнем месяце ее жизни. Она с твердой настойчивостью добивалась королевского решения, и наш добрый Карл X не мог отказать мадемуазель Март, но, как Вы знаете, все вопросы, связанные с процветанием церкви, встречали какие-то неожиданные препятствия. Множество интриганов отравляло существование лучшим слугам невесты Христовой. Как громом поразило мадемуазель Март сообщение об отставке министра Полиньяка.

Золотой миллиард, розданный дворянам, пострадавшим от революции, сделал мадемуазель Март снова обладательницей огромного состояния. Она тратила его на поддержку семей, наиболее пострадавших от якобинского террора. Ее жизнь могла бы называться счастливой, если бы не вечная забота о том, что главная цель жизни еще далеко.

Она с грустью проходила мимо обители, в которой еще не раздавались тихие голоса сестер-монахинь, где еще не звучал старинный орган работы Жюнона, где под видом дисциплин педагогического института (подумайте, дорогой аббат, какая нелепость!) преподавались суетные светские науки, где раздавались крики школьников, дерзкие и нестройные голоса молодежи, испорченной революционным духом. Каждое воскресенье, после мессы, мадемуазель Март приказывала кучеру везти ее к большим железным воротам, сквозь которые виднелась каштановая роща с порталом монастырского храма. Она смотрела на гигантскую розетку и цветные витражи боковых башен, сдерживая больное, сильно стучащее сердце, и, роняя тихие слезы грусти, она молилась о даровании осуществления ее несбывшимся надеждам.

Король говорил ей, низко наклоняя голову, стоя перед ней, сидящей на табурете, что он отдал бы полжизни за возможность ускорить возвращение монастыря, что он сделает все ради прекращения комедии королевской власти; он показывал ей патенты, раздаваемые блестящим кавалерам самых древних, самых рыцарственных семей, он говорил ей, что пройдет еще год — и в его армии не останется ни одного демонского Бонапартова вскормленника (мадемуазель Март крестилась при этом имени). Он жаловался на то, что зачастую не может назначить даже начальника провинциальной почты, что слишком часто министры вместо исполнения воли короля подчиняются прихотям депутатов.

Мадемуазель Март, обласканная королем, садилась в коляску с сестрою Сульпицией, всюду ее сопровождавшей

после смерти Урсулы, смотрела на чужой, ставший незнакомым Париж, ехала к подруге детских лет, доживавшей на покое в монастыре Кларисс, любовалась цветниками, аллеями и дорожками прекрасной, благородной обители. На веранде маленького мещанского дома, выходившего на берег Сены, она провожала усталыми и грустными глазами заходящее солнце и отсчитывала часы и минуты, оставшиеся до бессонной ночи.

Спала она все меньше и меньше. Горничные раздевали ее и укладывали в постель. Канделябр в четыре свечи горел всю ночь. Сульпиция снимала нагар, поправляла подушки, в то время как мадемуазель Март с открытыми глазами, в жесткой льняной рубашке, сжимая четки пожелтевшей рукой, лежала почти неподвижно и ждала, когда старинные часы со стоном и хрипом возвестят наступление зари; тогда она вставала и выезжала в соседнюю церковь. Там, занимая старое место Декардонов в опустевшем и одиноком храме, она встречала утро.

Потом начинался ее день. Внутренний огонь, сжигавший ее, не угасал ни на минуту. Кожа на ее лице морщилась и обвисала складками под глазами, губы высохли, маленькие уши сделались прозрачны, как воск, но тонкие, сухие и изящные пальцы, когда-то восхитительно справлявшиеся с клавесином, по-прежнему быстро, в такт молитве, перебирали большие круглые зерна четок. Она испытывала чувство врача, который видит улицу, очищенную от трупов, но знает, что воздух еще насыщен чумной заразой. Мадемуазель Март боялась Парижа и не понимала новых людей. Минутами ей казалось, что бог окончательно покинул милую Францию, что виноградники меньше родят, что стада хуже плодятся, что цветущие деревни умирают и дворяне, водворившиеся в старых замках, чувствуют безысходную грусть.

Кому же хорошо, кто живет? На ком почила теперь божественная благодать? Кто чувствует на себе милосердие, не иссякающее на земле?

Граф Жозеф де Местр — прекрасный светский защитник церкви. Она провела с ним несколько часов непосредственно после приезда в Париж. Сульпиция рассказывала о молве, сопровождающей этого человека. Граф Жозеф де Местр — защитник старинной теократии, защитник светской власти папы и защитник должности палача, казнящего революцию. Он с упоением и с дрожью в голосе говорил об этом белом ангеле, поднимающем стальную секиру над головою дракона на эшафоте. Но вот какой-то Лувель, убивший наследника Франции, молодого герцога Беррий-

ского, ложится на эшафот, и вовсе не белый ангел, а самый обыкновенный, всегда нетрезвый весельчак Симон нажимает кнопку гильотины. В корзину падает нечесаная голова Лувеля, простого парижского столяра, нисколько не похожего на дракона. Террор продолжается. Революция не сломлена. Что же нужно этим людям, так охотно отдающим жизнь?

Господин Жозеф де Местр вовсе не понравился мадемуазель Март. Он говорил о церкви, о власти римского первосвященника такими словами, какие можно было услышать только в Якобинском клубе. Он говорил о безбожной науке как человек, всю жизнь просидевший в лаборатории. Где же здесь смирение ума, где простота сердца? Защитник святой церкви пишет языком еретического философа. Прощаясь с господином Жозефом де Местром, почтительно вставшим с наклоненной головой, мадемуазель Март сказала ему: «Вы на опасном пути, граф. Вы говорите о церкви языком Вольтера. Вот писатель, которого я сама не читала, но который может вам позавидовать. Вот что принесли нам новые времена!»

С тех пор она не принимала графа. На днях, совсем на днях, случилось происшествие, еще более омрачившее мадемуазель Март. Сестра Сульпиция, которая отлучается последнее время все чаще и чаще, сообщила ей, что пятисот тысяч франков на подкуп буржуазных депутатов будет вполне достаточно для того, чтобы монастырь бернардинок был восстановлен в прежних владениях. Мадемуазель Март с негодованием отвергла этот план. Она знала, что делала. Король на последней аудиенции сказал ей, что палата продержится недолго, что Франция изгнанная, что Франция небесная, Франция, виденная им в Реймсе в день, когда архиепископ парижский кистью с крестом начертал на королевском лбу такой же крест, помазав его миром из священного сосуда, десять веков хранившегося в Реймсе,— что эта Франция скоро снова сойдет на землю.

— Припомните, дорогая сестра,— говорил он,— что королевство испытало немало бед. Я — Карл Десятый, но вспомните, как женщина, столь же святая, как и вы, Жанна из Лотарингского Марша, привела Карла Седьмого короноваться в Реймс. Меня, так же как и Карла Седьмого, сопровождали видения, а когда архиепископ взял склянку священного мира, десять веков тому назад принесенного голубкой с небес для помазания на царство язычника Хлодвига, я вдруг почувствовал, что и я был язычником, усомнившись в божественной благодати, и тут мне предстал образ святой Франции. Я перестал грустить. Выйдя к

порталу собора, я увидел десять тысяч золотушных, ждавших от меня исцеления. Я понял великую силу благодати.

Мадемуазель Март грустно покачала головой и сказала:

— Земля Франции стала золотушной: как гнойные струпья, издают едкий запах фабрики и заводы, богохульно поднимающие трубы к небу. Там живут и плодятся черви вместо людей. Они подтачивают красоту деревень и счастье ваших городов, они подточат ножки вашего трона.

Вполне понимаю, дорогой аббат, ваш интерес к замечательной мадемуазель Март. Вы спрашиваете об ее внезапной смерти. Она произошла по совершенно незначительному поводу и, как это часто бывает, с человеческой точки зрения совершенно несвоевременно, хотя, конечно, пути господни неисповедимы. Проведя нашу святую мадемуазель Март по пути испытаний, очистив ее, как золото, в горниле страданий, господь не дал ей увидеть цели ее надежд. Можете себе представить, ровно восемнадцать дней тому назад, после многих лет разлуки, приехала Антуанетта — цветущая, красивая девушка, поразившая мадемуазель Март своей беспечностью. Богатая наследница, смело располагающая своим состоянием, она объявила тетке, что выходит замуж за виконта Крузоля, купившего самую большую лионскую фабрику. Мадемуазель Март вздрогнула при слове «фабрика» и кротко сказала, что дворянин не может быть владельцем фабрики, что земля, благословенная плодородием, врученная господом благородному синьору, есть единственный вид имущества, достойный дворянина, и что она советовала бы племяннице подумать, прежде чем дать согласие на брак.

Мадемуазель Антуанетта была весела, она щебетала, как птица, и, оскорбляя слух мадемуазель Март, напевала песенки в саду о каких-то фужерских пастушках. Потом сестра Сульпиция передала просьбу виконта принять его. Виконт Крузоль не был принят мадемуазель Март, но проговорил с сестрою Сульпицией полчаса.

После отъезда Антуанетты, вечером, мадемуазель Март сделалось плохо, она с трудом дышала и очень тихо умерла от слабости. Облатка, данная ей когда-то отцом Лакордером, с трудом была поднесена ею к холодеющим губам для последнего причастия. Она кашлянула и, уронив голову, выплюнула божье тело. Наутро газеты возвестили о том, что даже самые либеральные депутаты и те голосовали в палате за возвращение владений Бернардинского монастыря прежней настоятельнице. Газета «Котидьен» поместила портрет мадемуазель Март и назвала ее «Звездой

божественного милосердия, восходящей снова над Францией».

Увы! наша кроткая мадемуазель Март лежала на своей монашеской постели. Сестра Сульпиция обмывала ее девическое тело. Бог не дал ей последней радости и последнего разочарования. Представитель старинного дворянского дома, разорившийся виконт Крузоль, ставший лионским фабрикантом на деньги, полученные из золотого миллиарда эмигрантов, совершил поступок столь же безрассудный, сколь и неблагородный. Он подкупил либеральных буржуа, сидевших в палате, и вовсе не божественная благодать, а взятка в пятьсот тысяч франков послужила причиной их голосования за возвращение имуществ монастыря. Деньги были потрачены напрасно. Мадемуазель Март все равно не благословила бы брака господина Крузоля и Антуанетты, она, как рыцарь-крестоносец, умерла бы у ворот долгожданного Иерусалима. Гроб господень был бы осквернен прикосновением кощунственной руки, если бы был куплен на деньги буржуа.

Вчера я был на свадьбе. Антуанетта счастлива и беспечна. Молодой виконт был одет в сюртук, толстая золотая цепь висела у него на жилете. Четыре лионских богача сидели в числе гостей за столом. Господин виконт чокался с ними, всячески стремясь подражать их манерам. Сюртук, жилет и тосты лионских шелковиков, признаюсь Вам, меня покоробили.

Вот, дорогой аббат, ответ на те вопросы, которые Вас интересовали. Кажется, я написал слишком длинное письмо. Простите! Теперь очередь за Вами, дорогой аббат. Вести, которые приходят из Польши, очень меня тревожат. Быть может, Вы мне сообщите с такой же старательностью, какую я проявил в моем письме, Ваши впечатления, впечатления старого парижанина, проделавшего когда-то большой испанский поход бок о бок с вашим покорнейшим слугой и нижайшим послушником

Филибером де Гуж».

Паганини возвращался из Варшавы. Он сам не знал, что с ним сделалось. Снова наступил период полного упадка сил, опять пропал голос. Первый раз это произошло в тот день, когда он выступал вместе с Липинским на концерте.

Перед выступлением он выпил стакан прохладительного питья, от которого странно застучала кровь в висках и защипало горло. Молодой польский пианист Шопен, с немым восхищением слушавший игру великого скрипача.

после первой части концерта вошел под руку с Липинским в артистическую комнату и увидел Паганини, с закрытыми глазами полулежащего в кресле. Он подошел, спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Паганини окинул взглядом его и Липинского. Липинский с ненавистью отвернулся. Паганини хотел поблагодарить Шопена, и несколько сиплых звуков раздалось вместо слов благодарности. Красные пятна смущения и удивления появились на щеках Шопена...

Липинский был разбит и во второй части концерта. Несмотря на отдельные крики: «Да здравствует Липинский!» — огромный зал рукоплескал Паганини.

Газеты всячески раздували вражду между двумя скрипачами, когда-то выступавшими в Турине как друзья.

Эльзнер, директор варшавской консерватории, 19 июня устроил банкет в честь Паганини. Варшавские музыканты поднесли скрипачу небольшую памятку — золотой ларчик с надписью: «Кавалеру Паганини польские поклонники его таланта».

Наутро Паганини почувствовал себя хуже. Он начал думать о том, что Липинский сделал что-то, чтобы помешать ему играть на концерте,— но состояние было настолько плохо, что он не смог задержаться даже на этой мысли. Чтобы испортить впечатление от игры Паганини, было достаточно минимальных средств. Неужели Липинский пошел на преступление и решил его отравить?

В тяжелом состоянии был Паганини, когда генерал Зелынский явился к нему в отель «Люксембург» с приглашением в Петербург и Москву. Паганини решительно отклонил это приглашение. Тревога за Ахиллино и боязнь за свое внезапно ухудшившееся здоровье заставляли его спешно покинуть Варшаву. «На гербе Вашего города — изображение сирены,— писал Паганини на белой дощечке.— Ваш город меня пленил совершенно. Но я обещал возвратиться вовремя».

Опять почтовая карета, и опять, как на пути в Варшаву, на сетке лежит кожаный мешок со стальными цепями и с огромными, свисающими на дощечках сургучными подвесными печатями. Среди прочих писем едет толстый пакет из голубой бумаги, с печатями и гербами. Он содержит следующий ответ ксендза Ксаверия Кожевевского:

«Высокочтимый и преподобный брат!

Весьма благодарен за сообщение с исчерпывающей полнотой сведений о смерти мадемуазель Март. Судьба

недаром зачесла меня на родину моих отцов. Три поколения Коженевских воспитывались во Франции в недрах ордена Иисуса, и только последний отпрыск, я, сирота перед богом и людьми (говорю это без ропота), снова нахожусь на земле моих отцов. Но, увы, я вовсе не чувствую того патриотического трепета, которым полны мои родственники по крови, чужие мне теперь люди и зачастую люди, враждебные церкви Христовой.

Мой социус дьякон Кошерский сообщил мне целый ряд сведений, которые я Вам пересылаю, так как они для Вас скоро станут необходимыми. Польша, Литва и Петербург еще так недавно были местом наиболее удобного, наиболее легкого распространения деятельности нашего ордена. Увы, теперь наступили другие времена. Когда-то великая Екатерина в ответ на папское бреве 1773 года не дозволила публикацию уничтожения иезуитского ордена во владениях императрицы. Вот почему наша святая институция существовала в России беспрепятственно. Ее величеству угодно было не только не послушаться заблуждений Рима, но открыть новициаты нашего ордена.

Так все шло хорошо до 1815 года, когда Ваш неосторожный и слишком светский,— в этом отношении вы правы,— граф Жозеф де Местр стал вербовать на службу ордена старинных титулованных княгинь—Голицыну, Растопчину, Толстую и т. д. Разве можно было действовать так грубо!

Девять лет тому назад Александр I распорядился о высылке представителя нашего ордена. Много воды утекло за эти девять лет. Если бы орден наш существовал, то не было бы в Петербурге, почти перед самым дворцом, восстания дворянских полков, карбонарии, проклятые богом, не свили бы себе гнезда на севере. Теперешний царь вряд ли справляется с внутренней политикой. Ему не до нас. Но открытой работы в Польше мы предпринять не можем. Вот почему все мои надежды связаны сейчас с Францией. Так как я посылаю это письмо простой почтой, то имейте в виду, что я пишу настолько открыто, зная, что Вы обязательно уничтожите это письмо.

Вот каков ход событий. В 1825 году в Петербурге на Сенатской площади погибли последние карбонарии. Сейчас с нашей помощью начались облавы, уничтожающие в Польше масонские гнезда. Вчера нашим радением мятежные полки высланы в Сибирь. Так как в Польше существует проклятое конституционное правление, то Николай I, нынешний император, перед своей коронацией, прошедшей благополучно в мае месяце этого года, должен был обра-

титься к сеймовому польскому суду. Этот суд не удовлетворил царя, да и вряд ли кого бы то ни было он мог удовлетворить. Я, будучи поляком по происхождению, считаю русского императора более правым, чем всех польских мятежников, чем тех ксендзов, которые, не желая найти общий язык с русским правительством, становятся на сторону сатанинских бунтовщиков. В той мере, в какой русский царь содействует укреплению римской католической церкви, мы и наш орден поддержим царя.

Его величество приехал в Варшаву с супругою, с братом Михаилом и наследником Александром. В замке, в сенатской зале, окончив обряд коронования польским королем, император Николай присягнул на верность польской конституции, потом он вышел к польским офицерам, представил им одиннадцатилетнего наследника, великого князя Александра как их однополчанина. Маленький великий князь был одет в польский мундир стрелкового полка, быстро и неуклюже говорил по-польски. Я сам был свидетелем всех церемоний. Члены польского сейма подали королю Николаю петицию об уничтожении стеснительных статей конституции. Король Николай заявил, что он считает господствующий в Польше кодекс Наполеона сатанинским правом. Он прямо сказал,— этот Бонапартов закон основан на революции: он привел законного французского короля прямо на гильотину.

Так обстояло дело. Польский король Николай I выехал из Варшавы при полной холодности и даже враждебности большинства польских дворян. Сообщаю вам, что молодой профессор Викентий Смогловский задался целью воссоздания единого славянского государства во главе с Польшей. Он сформировал союз молодежи, который замыслил арестовать Николая I в дни коронационных торжеств в Варшаве. Смогловский сейчас выслан, равно как и многие другие. Часть этих высланных бежала и едет в Париж. Со следующей оказией сообщу Вам их списки.

Довожу до Вашего сведения все эти сообщения в силу того, что я точно осведомлен, вопреки Вашим плохим ожиданиям, что в Париже подготовляется истинное обновление Европы. Наш благочестивый король Карл X, коронованный в Реймсе, готовит, как мне известно, обновление Европы. Пройдет немного времени, и святая католическая церковь по молитвам святейшего кардинала Роотаана воздвигнет победоносный алтарь повсюду, где еще вчера революционное нечестие и якобинство имели свои гнезда. Лишь бы господь помиловал маркиза Полиньяка, ныне почетно сосланного в Лондон, лишь бы господь дал силы

королю Карлу X провести до конца закон о казни святотатцев, о восстановлении имущества, об организации новых коллегий, о полной передаче нам воспитания юного поколения французов.

В Вашем письме о кончине мадемуазель Март есть нотки глубокой печали чисто человеческого происхождения. Я советовал бы Вам побольше обращать внимания на исход борьбы, а не на собственные *личные* состояния.

У венского двора и французского двора есть общие задачи. Обратите внимание на следующее. В Париже и в Лионе существуют злочестивые гнезда, где якобинство и карбонарство заново выковывают гвозди для повторного распятия господа нашего Иисуса Христа. Вот почему наш святой, могущественный орден делится во Франции на две секции — парижскую и лионскую. На востоке мы делимся также на виленскую и варшавскую секции. Обращаю ваше внимание на то, что в Польше сейчас есть движение умов, оправдывающее крайности патриотизма. Польша разделена на две части и приравнивается к распятому Христу. Воскрешение Польши считается делом религиозным, и все это омрачает умы не только молодежи, но многих почтенных и старых дворян, представителей исконной польской знати. Все эти соображения, факты и планы я сообщил Вам только с той целью, чтобы вы знали местные настроения и своевременно могли сообщить мне о том, как и когда должен произойти французский переворот, возвращающий Европу ко времени Людовика Святого.

Я очень оценил последние строчки Вашего письма. Имейте в виду, что Польша с надеждой взирает на Францию, что только французский король в состоянии возродить в Польше ту незыблемую власть церковного авторитета, которая была эпохой наибольшего счастья для всего исстрадавшегося человечества. Помните, дорогой мой, что правительства и системы меняются, а церковь остается вечной.

Теперь одно маленькое дело. В Варшаву приехал с концертами некий Паганини. Я Вам писал уже о том, что двадцатилетний дворянин из Варшавы Фредерик Шопен собирается ехать во французский Вавилон. Отравленный музыкантом Цивней, одержимый дьяволом еврейским, этот блистательный юноша, с одной стороны, является истинным сыном церкви, с другой — одарен сатанинским талантом нынешнего века и бесконечной печалью о недостижимости земного счастия. Когда господин Шопен прибудет в Париж, обратите на него внимание и приставьте к нему хорошего духовника. Возможно, что мне удастся

удержать его в Польше, если только действительно божие произволение не сменит королей Европы в ближайшие шесть месяцев и не помешает королю Карлу X осуществить свой великий замысел — вернуть истерзанному якобинством человечеству времена Людовика Святого.

Я видел этих двух людей — господина Шопена и итальянского скрипача Паганини — вместе. Я случайно слышал их разговор. Как далеки их музыкальные стремления от величавой простоты и богоугодной музыки нашего органа! Воцаряется дух безбожной музыки, и сатанинский соблазн звучит в музыкальных инструментах и господина Шопена и господина Паганини. Оба они одержимы духом нынешнего века, князь тьмы простирает над ними свои крылья. Я сам видел, как набожные женщины, возвращаясь с этих нечестивых концертов, теряли присущую им простоту веры и были полны греховных волнений.

Все это наводит меня на серьезные размышления. Я пытался погасить впечатление от музыки этого страшного скрипача. Я выдвинул против него нашего представителя, члена нашего ордена, скрипача Липинского. Была ли то болезнь, или что-либо еще, но Липинский играл вяло, и землистый цвет его лица говорил о том, что он болен. И поэтому масоны и еврей Елеазар, по проискам якобинцев назначенный директором варшавской консерватории, вручили 19 июня «кавалеру Паганини» золотую табакерку с какой-то трогательной надписью и с нечестивым знаком.

Я имею сведения, что было сделано все, чтобы господин Паганини выехал в Москву и в Петербург. Он отказался, несмотря на выгоду этих предложений. Я имею сведения, что господин Паганини отправляется в Париж. Не упускайте из виду эту опасную гадину. В Париж его зовут недаром. Но кажется мне, что он в достаточной степени хитер и не поедет в город, где вы сумеете приготовить ему на веки вечные полный провал, если восторжествует план Марсанского павильона святых отцов, покровительствующих Франции, и святого короля Карла X.

Я имею сведения о некоторых замыслах этого человека. Письмо это к Вам привезет молодой приверженец нашего ордена, представивший прекрасные рекомендации из Вены, каноник Нови, к которому я направляю его как к первичному адресату. А там он лучше меня расскажет Вам, кто такой этот скрипач. Нови и Паганини оба родом из Генуи. Как Вам известно, этот приморский порт издавна славился тем, что люди, посаженные в Генуе на галеры, не возвращались больше на сушу, однако Нови утверждает, и я ему верю, что господин Паганини был на каторге, что его шея

до сих пор носит следы железной цепи и что в одну страшную ночь этот каторжник Паганини продал дьяволу свою душу. Таким образом, Вы видите, что земляк, хорошо знающий происхождение дьявольского таланта Паганини, свидетельствует против него.

Паганини, этот опасный каторжник, вернувшийся в святую католическую паству, внес страшное смятение в души и внушает людям безумные мысли, водя сатанинским смычком по скрипке, завороженной дьяволом. Его музыка в тысячу раз хуже сотни якобинских проповедей. Я слышал о том, что сатанинский дух появился в Париже, что сумасшедшие головы нескольких молодых литераторов подняли знамя так называемого романтизма. Помните, что вещь, называемая нынче романтизмом, завтра будет называться революцией. Таково мнение не только мое, но и всего капитула. Если Вы читали последнюю сигнатуру, то Вы знаете, что таково мнение святейшего отца Роотаана. Нови имеет приказ следить за каждым шагом этого скрипача. Он и доставит Вам это письмо, а я прошу Вас сделать все необходимое, чтобы в Вашем Новом Вавилоне, до превращения его в столицу вселенской церкви, пагубное влияние дьявольской скрипки было остановлено знаком креста, меча и секиры первосвященника.

Примите молодого и ревностного служителя нашего ордена — Нови, выслушайте и приютите его. Дайте ему полную возможность осуществлять при Вашей помощи все то, что было в Риме предписано ему.

Ксендз Ксаверий Коженевский, раб господний, коадъютор Св. Ордена Иисуса».

Глава двадцать шестая
НА БЕРЕГАХ БОЛЬШОЙ РЕКИ

Урбани и Гаррис сопровождали маэстро в его поездке в Бреславль.

В Бреславле опять начали завязываться старые итальянские связи.

В Неаполе — один из театральных друзей, Онорио де Вито. Урбани передает письмо и просит синьора Паганини ответить: «Это ведь старый итальянский друг и почитатель вашего таланта, маэстро». Начинается снова переписка с Италией. Через несколько границ перелетают письма. Конверты надписывает Урбани: у синьора Паганини плохой почерк.

Синьор Онорио собирает в Неаполе друзей. За кулисами Арджентинского театра читают письма синьора Паганини. Вот видите ли, простой итальянский скрипач становится славой своего отечества, императоры и короли приглашают его играть на своих празднествах и коронациях.

Синьор Нови получает копию этого письма. Его ненависть к Паганини растет по мере роста славы скрипача. Но за синьором Нови смотрит синьор Урбани. Синьору Урбани поручено охранять синьора Паганини от синьора Нови, как от чумы. Синьор Урбани не знает, кто такой синьор Нови. Синьор Нови прекрасно знает, кто такой Урбани. После пребывания Нови в столице Габсбургов синьор Нови только два раза виделся с Урбани. Существует какое-то третье лицо, направляющее помыслы и пути этих двух людей. Но и это третье лицо является исполнителем чьей-то воли. Синьору Нови поручено большое и сложное дело. Но он запуган, ему приказано беречь Паганини, в то время как ему хочется просто перерезать ему горло. Человек средних способностей, синьор Нови — воплощение органической ненависти бездарности к таланту. Урбани было поручено в надлежащий момент пресечь любой ценой движение Паганини по Европе. Но этот момент не наступает, и старая иезуитская дисциплина не позволяет Урбани делать ни одного самостоятельного жеста.

Когда Паганини мучило желание увидеться с друзьями, покинутыми в Италии, когда он вспоминал о людях, боровшихся за свободу Италии, заключенных в тюрьмы, он все чаще обращался к приветливому, всегда улыбающемуся Урбани. Паганини скучал по родине, а Урбани знал каждую семью в Генуе, каждый дом в Венеции, каждого друга синьора Паганини в Неаполе; он знал всех девушек, которых маэстро целовал в Милане; к тому же, как настоящий солдат, приближенный к семье полководца, он охранял и Ахиллино от всех случайностей судьбы. Паганини сжился с Урбани, он привык к совместным путешествиям с Гаррисом, с Урбани, Ахиллино, со старой няней.

Давным-давно, еще в Генуе, талантливый мальчик Камилл Сивори пришел к нему. В три дня Паганини исправил дефекты игры маленького скрипача. Он слышал теперь, что Камилл Сивори благоговейно хранит память о первых уроках, данных ему Паганини. Из Бреславля сопровождает путешественников виолончелист Гаэтано Джанделли. Он бросил Италию, где его отец, карбонарий, погиб в тюрьме; он обучался в Вене игре на виолончели, а теперь пустился в странствия за своим возлюбленным маэстро и, перебиваясь изо дня в день, голодный, усталый,

приходит к Паганини за указаниями. Тривелли, венецианец, справляется о молодом Гаэтано. Паганини отвечает ему, опять через синьора Урбани, что была большая поездка — в три месяца объездили двадцать городов. Дармштадт и Лейпциг (на этот раз не устоявший в битве), Маннхейм, Галле, Магдебург, Эрфурт, Гота, Гальберштадт, Дессау, Веймар, Вюрцбург, Рудольфштадт, Кобург, Бамберг, Аугсбург, Нюрнберг, Регенсбург, Штутгарт, Дюссельдорф и вот, наконец, Франкфурт. Франкфурт — надолго.

Молодой Джанделли не догадывается сказать Паганини о своей нищете. Урбани иногда снабжает его деньгами, но если почтовая карета оплачивалась из кошелька Урбани, который приписывал этот расход к прочим дорожным расходам маэстро, то во Франкфурте жить в гостинице целые месяцы Джанделли не может, а между тем синьор Паганини ясно сказал, что он выпустит Джанделли на концерт не прежде, чем тот сдаст трехмесячную работу. Выхода нет. Джанделли, краснея как девушка, рассказывает все это Гаррису. Гаррис с рассеянным видом слушает. Слышал ли он? Да, слышал, потому что в ответ он заявляет:

— Первый концерт во Франкфурте маэстро дает в вашу пользу.

— Как, без всякой моей просьбы?

— Да, это уже обдумано,— говорит Гаррис.— Уже снято помещение.

Гаррис показывает записную книжку, где записано собственноручно синьором Паганини: «Во Франкфурте не забыть: первый концерт в пользу Джанделли».

Проходит месяц. Джанделли — богач. Восемь тысяч флоринов — это обеспечение двух лет жизни.

Снова три недели болезни. Снова Паганини лежит.

В день, когда франкфуртская публика ждет очередного, обещанного наконец концерта, фрейлейн Вейсхаупт, почтенная дама в чепце, подводит к постели отца маленького человечка с солидной и серьезной походкой, глаза которого мечут веселые стрелы при взгляде на отца.

— Разбил,— говорит он,— разбил,— с выражением величайшего восторга, как будто исполнил труднейшую работу.

Паганини обращается к гувернантке с немым вопросом. Она не знает, как отнесется отец к поступку сына: подошел и лопаточкой разбил садовую вазу. И в восхищении рассказал ей, как о крупном достижении. Потом отец пишет, но он выводит тонкие узоры: очевидно, не умеет писать, как нужно. Он выводит крючки, кружки,— лучше

прямо окунуть палец в чернильницу и тыкать в бумагу, будет сразу густо, хорошо, красиво. И не успевает опомниться Паганини, как все его письма, лежащие на письменном столе, оказываются вымазанными чернилами, на важнейших документах, афишах и программах насажены кляксы. Мальчик хохочет и доказывает свою правоту и неумелость отца. «Так гораздо скорей достигаешь цели»,— хочет сказать этот веселый и озорной голос. Фрейлейн Вейсхаупт в ужасе не столько от поступка мальчика, сколько от того, что отец выражает полное согласие с сыном. Это заговор двух мужчин, большого и маленького, против благонравия в доме.

Но синьор Паганини жестоко наказан: наступает час концерта, а он не может найти ни одного необходимого предмета своей одежды. Наконец из-под подушки вылезает один чулок, панталоны спрятаны за гардеробом, их достают тростью Гарриса с большим трудом. Они в пыли, они измяты, их надеть нельзя. Уже начало концерта, уже надо выходить на эстраду, а поиски принадлежностей туалета продолжаются с чрезвычайно переменным успехом.

Маленький Ахиллино встревожен сам, он протягивает ручонки вперед и складывает ладони, вспоминая, где спрятаны вещи. Он помогает отцу с такой озабоченностью, что Паганини хохочет до приступа кашля и, покатываясь со смеху, бросается в кресло.

Благопристойная публика старинного Франкфурта удивлена невежливостью синьора Паганини. Но вот через час после назначенного срока он, наконец, появляется, в этот день румяный и оживленный. Концерт проходит чудесно: Паганини играет Моцарта, скрипичный концерт Родэ. Публика забывает свое нетерпение: ведь никто не ушел, все согласны были ждать хотя бы до утра, если нет отмены концерта.

До чего хорош этот Франкфурт! Ради него можно позволить себе маленькую скрипичную вольность! И Паганини, выполнив всю обещанную программу, в ответ на продолжительные овации выходит снова и играет совершенно неожиданную для публики вещь. В первый раз он увидел полное понимание, с волнением почувствовал, что зал достоин его. Франкфурт отличался редкой музыкальной культурой. Люди, наполнявшие зал, ощущали пребывание Паганини в городе как огромное свое счастье. Это было неким порогом в их жизни. Какое-то особое напряжение, передававшееся артисту, заставило его ощутить эту настроенность зала. И вот между музыкантом и слушателями возникает та неуловимая, но крепчайшая связь, кото-

рая превращает все их ощущения как бы в ощущения единого организма. Он не смотрел на кого-нибудь одного, он видел перед собой множество светящихся глаз, он скорее не видел, а воспринимал благородную напряженность всех этих лиц. Ему хотелось сделать для этих людей то, что он сделал бы для себя. И он сыграл им короткую неаполитанскую песенку, которую слышал на морском берегу, сидя вместе с Ахиллино на камне. Эта песенка — «Oh Mamma», это — песенка, которую лучше всего пел маленький Ахиллино, когда он, заложив руки за спину, расхаживал по комнатам, думая, что никто за ним не наблюдает. Ахиллино пел ее для себя. Паганини сыграл ее для других. Потом он почувствовал, что его взметнуло кверху, и, как бы очнувшись, увидел себя на руках оркестрантов, запрудивших эстраду. Весь оркестр, бросив свои инструменты, устремился к нему. Его несли на руках до кареты.

Только однажды выехал Паганини из Франкфурта в течение этого года. Он был в Баварии: его пригласила простым письмом дама, писавшая на листке темно-синей бумаги с баварской короной.

Он приехал с устроителем своих германских концертов, господином Гуриолем. Лейтенант Гуриоль заблаговременно дал редакциям мюнхенских газет краткое сообщение о приезде Паганини. Сдержанно и обстоятельно молодой лейтенант уведомлял столицу Баварии о том, что синьор Паганини напрасно является предметом каких-то странных подозрений: ни в его поведении, ни в манере играть нет ничего злоумышленного или носящего характер демонизма. Наоборот, Паганини не только великий музыкант, но и человек большого сердца, дающий образец наиболее чистой человечности.

Концерт в королевском замке Тегернзее, куда съехались после охоты представители военной молодежи, встретившиеся здесь с мюнхенскими ценителями искусства — художниками, музыкантами, поэтами и наконец хранителями любезной сердцу баварца мюнхенской пинакотеки,— был отмечен одним памятным случаем.

Огромные окна дворца были раскрыты. Дожидаясь приглашения на эстраду, Паганини услышал со стороны леса и озера взволнованные голоса, крики и шум. Потом он увидел, как к королеве подбежал мажордом. «Королева приказывает впустить!» — услышал он слова мажордома, обращенные к высокому человеку в тирольской шляпе и зеленой куртке.

В ту минуту, когда Паганини выходил на эстраду, огромный зал с нарядной публикой был полон, разговоры

затихли; и вот в наступившей тишине послышались гулкие шаги шестисот рослых людей — крестьян, рыбаков и охотников. Они волновались с утра, они слышали о приезде скрипача каждый день. Он странствовал едва ли не по всем германским дорогам, они видели его проезжающим по большим дорогам Баварии. Молва об этом человеке волновала их, и вот они потребовали у королевы, чтобы она допустила их видеть и слышать это чудо. Они стали у двери большого зала, и Паганини видел в открытые окна, что берег озера и опушка леса сплошь усеяны толпами людей...

27 ноября он уехал из Мюнхена. Какие-то тревожные вести докатывались из Польши. Во Франкфурте, во дворце генерала Зелыньского, поляка, ставшего немецким помещиком, он снова встретил русоволосого человека со светло-голубыми глазами. Он вспомнил, что видел его в Варшаве.

Это был польский пианист Фредерик Шопен. Он теперь ехал в Париж.

Гаррис с удивлением прочел забытые на столе записки: «Часто удавалось мне пленить моих слушателей, и, однако, я прихожу в смущение, я недоволен сам собою, ибо никакие рукоплескания не могут обмануть меня самого. И если публика принимает с восторгом мою игру, то я ею, больше чем когда-либо, недоволен. Если бы ко мне вернулся мой прежний голос, являющийся признаком здорового человека, я мог бы громко обратиться со словами недовольства собой к тем, кто меня слушает. То, что со мной происходит, страшно. Что сделали для потери моего человеческого голоса, тому нет имени. Я теряю силы после каждого концерта, и временами на сутки уходит у меня сознание после часа игры. Каждый концерт отнимает у меня год жизни, и все-таки — да будет щедрой ко мне природа! — ради своего искусства я готов отдать жизнь и здоровье. Но в столицу столиц я явлюсь, только исполнив свой замысел».

«Итак, Париж еще не скоро»,— подумал Гаррис.

Однако Франкфурт оставлен, опять три кареты пылят по дороге, все ближе и ближе граница Франции.

Франкфуртские газеты поместили короткую заметку: «Недавно разнесся слух, что Паганини приедет в Париж. Все любители музыки в этой столице, судя по французским газетам, ожидали его с нетерпением, но Паганини обманул их ожидания и внезапно повернул в Голландию».

«Говорят, он очень любит деньги и не мог сторговать-

ся,— писало «Музыкальное обозрение» в Париже.— Ему охотно прощается это корыстолюбие, ибо неожиданно мы получили сведения, что Паганини собирает деньги для своего четырехлетнего сына, которого он любит с нежностью».

Урбани отмечал:

«Когда заболел ребенок, маэстро сходил с ума. Казалось, он не выдержит этой тревоги. Он переплатил докторам безумные деньги и едва не испортил окончательно здоровье ребенка, потому что его стали окружать алчные шарлатаны, нарочно затягивающие болезнь.

Синьор Паганини ни разу не позвал священника, он ни разу не вспомнил имени божьего; приходя в отчаяние, не думал о молитве».

«Во Франкфурте, где синьорино пребывал без отца, горничная Грета простудила ребенка. Когда после приезда синьор Паганини узнал о его болезни, он вбежал по лестнице с таким видом, что я боялся за его разум. Оказалось, он узнал о болезни Ахиллино еще в Аахене. Он бросил концерт, загнал дюжину лошадей и так стучал в дверь, что сломал ручку и перебил стекла. Он увидел своего ангела среди кружевных подушек и розовых покрывал. Фрейлейн Вейсхаупт стала успокаивать маэстро: болезнь уже прошла. Синьор Паганини не успокоился, он сказал фрейлейн Вейсхаупт: «Синьора, ваш великий Гете, будучи министром Веймарского герцогства, подписал смертный приговор девушке, не уберегшей своего ребенка. Сам герцог сомневался в необходимости положить ее голову на плаху. В это время приехал с охоты в егерском костюме господин Гете. Прочитав мнение судей о смертной казни, подписал: «Auch ich»[1]. Девушке отрубили голову. Так вот я говорю вам: «Auch ich, фрейлейн». И показал жестом, очень грубо, что он намерен отрубить ей голову».

Урбани и Гаррис все меньше и меньше понимали друг друга. Гаррису казалось, что синьор Паганини больше доверяет Урбани. «Еще бы,— думал Гаррис,— он итальянец и, быть может, карбонарий».

Газеты приносили последние сведения о приезде неаполитанского короля в Париж. Сплетни, передаваемые на ухо, доносились до Гарриса. Он со смехом рассказывал Паганини за обедом, что в Париже, во время приема неаполитанской четы герцогом Филиппом Орлеанским, одним из гостей была произнесена острота, облетевшая весь город: «Вот подлинный неаполитанский вечер!» —

[1] Также я (*нем.*).

«Почему?» — спросил Карл X. «Потому что мы танцуем на вулкане».

Паганини не сказал ничего.

Давая концерты, Паганини выбирал самые маленькие немецкие города. Гаррис терялся в догадках. Он ревниво посматривал на Урбани, который как будто знал маршрут следующего дня. Приходили какие-то письма, их привозили случайные люди. Паганини совсем перестал вести переписку по почте. До Гарриса доходили слухи о том, что восстановлена деятельность карбонарских вент в Италии, но вместе с тем теперь уже открыто говорили о полной передаче власти иезуитам в Риме и всюду, где простиралась власть римского первосвященника. Страшное имя черного папы Роотаана было у всех на устах.

В Аахене синьор Паганини, остановившись в частном доме, приказал затопить камин. Гаррис видел, как маэстро, держа на коленях кожаный ящичек, бросал в камин кипы конвертов и писем.

Турин и Генуя были теперь гнездом самых страшных людей в мире, в Генуе была главная квартира иезуитов. Мощные ответвления по всей Италии шли от этих двух городов. Самой опасной была организация «невежествующих монахов», проповедовавшая насильственное закрытие школ, сожжение книг и истребление самых опасных ученых, несущих лозунги свободного знания.

Паганини знал, что подтвердились полностью сведения о пытках раскаленным железом, о колесовании, о публичном четвертовании.

Виктор-Эммануил I открыл собрание итальянских инженеров предложением взорвать великолепный мост через реку По ввиду того, что этот мост построен Наполеоном. Паганини перестал писать в Геную.

Тайно ехал из Италии на север Фонтана Пино, бежавший после смерти отца. Паганини долго беседовал с ним в маленькой гостинице. Пино направлялся в Париж; ему удалось перевести туда все свое состояние. Пино рассказывал, что в Генуе, около Новой площади, в громадном количестве собирались шпионы, огораживали площадь, открыто обсуждали работу предстоящего дня и расходились группами. Тайная полиция содержит дома терпимости и игорные притоны. За привоз из-за границы газет или книг виновный наказывается каторжными работами не меньше пяти лет, а если попадается французская книга против религии и монархии, дело кончается казнью. Синьор Антонио Паганини отдал комнату, в которой когда-то обучался игре на скрипке Никколо Паганини, австрийскому шпиону.

Во время этого рассказа маленький Ахиллино закричал:

— Крыса, крыса! — и, указывая отцу на шевелящуюся бахрому портьеры, схватил подсвечник и ударил по бахроме. Раздался крик; из-за портьеры, прихрамывая, выскочил Урбани.

— Что вы здесь делаете? — закричал Паганини.

— Искры летят из камина, а здесь отдушина,— спокойно ответил Урбани, грозя пальцем маленькому Ахиллино.

С этого дня Гаррис одержал победу. После ухода Пино Паганини осмотрел отдушину. Все было так, как сказал Урбани: сыпались искры, и дым наполнял комнату. Но почему Урбани выбрал такое время, когда шел разговор о Генуе, о родном доме?

Наступили дни томительных колебаний. Паганини не давал концертов. Внезапно прекратились посещения друзей и пресеклась переписка. Четыре дня не выходили газеты, и вдруг — короткое сообщение о том, что три недели тому назад король Карл X выехал из Парижа в неизвестном направлении, а герцог Орлеанский Луи-Филипп назначен временным правителем. Кто его назначил, что произошло во Франции? И только через несколько дней слухи прояснились. В июльские дни Париж покрылся баррикадами. Власть Карла X пала.

— Святые отцы просчитались,— сказал Паганини,— вместо абсолютной власти короля и священника они встретили артиллерийский огонь и баррикады. Теперь подумаем о поездке во Францию.

Но думать об этом было нельзя. Граница была закрыта.

Паганини отдыхал. Эмс, снова Франкфурт, потом Баден и опять Франкфурт. Здоровье внезапно улучшилось. На курорте легко видеться с соотечественниками, на людях менее опасна встреча с врагом.

Во Франкфурте — письмо от Фонтана Пино: «Необходимо ехать в Париж, чтобы рассеять слухи. Синьор Фернандо Паер был принят королем». Влияние Паера в Париже огромно, он был инспектором музыкальных учреждений Франции и придворным композитором. Новый правитель, Луи-Филипп Орлеанский, который уже называется королем, принял синьора Фернандо очень хорошо. Но синьор Паер имеет самые дурные сведения о скрипаче Паганини. Человек, проигравший скрипку в карты, не имеет права взять ее в руки вторично. Этот поступок заслуживает презрения. К письму Фонтана была приложена вырезка из «Музыкального обозрения», в которой говорилось, что синьор Паганини, путешествуя по германским городам, го-

товит для выступления в Париже разработку одной музыкальной темы Шпора. Шпор протестует, так как он не давал никакого права синьору Паганини пользоваться его темой. Если синьор Паганини занимается воровством, то против воровства есть определенные указания законов.

«Хорошая встреча готовится мне в Париже,— подумал Паганини.— Но как быть со стариком Паэром? Надо разуверить, иначе лучше не ездить в Париж». Он вспомнил, что у Шопена было рекомендательное письмо к Паеру.

Во Франкфурте произошло странное знакомство. Доктор Кореф. Визитная карточка личного врача его величества короля Пруссии. Друг недавно умершего неудачливого композитора Амедея Гофмана. Рассказывает, что Гофман, автор «Серапионовых братьев», изобразил его, Корефа, в качестве одного из рассказчиков под именем Винцента. В фантастических новеллах этого писателя выведен также соотечественник Паганини, граф Козио, о котором говорят, что он варварски уничтожал скрипки. Его Гофман изобразил под видом советника Креспеля.

— О, как непохоже! — сказал Паганини.

Он пытался восстановить истинный образ старого Козио, но Кореф проявил «полное равнодушие к истине».

После этого Паганини отказался от первоначального плана посоветоваться с этим знаменитым, но чудаковатым врачом. Тем более что здоровье его резко улучшилось.

Пришли вести о том, что революция во Франции нашла внезапное эхо на востоке. Польша охвачена восстанием против Николая I. Паскевич штурмует Варшаву. Все беспокойнее становится и в других странах. В Бельгии — восстание. И наконец — последние слухи, тайком переданные из Италии: Парма, Модена, Болонья охвачены вспышками карбонаризма.

Все с надеждой смотрят на Францию, воскресившую молодость века. Франция, конечно, поможет полякам; Франция, конечно, поможет бельгийцам; Франция, конечно, поможет народам Италии. Но на трибуну палаты депутатов выходит суровый и мрачный парижский банкир, министр Луи-Филиппа; он заявляет, что кровь Франции принадлежит только Франции. Франция не станет вмешиваться в революционные затеи других народов.

Это было страшным охлаждением умов.

«Ехать ли во Францию?» — думал Паганини.

Глава двадцать седьмая

УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ

— Итак, ты отрицаешь все, что о тебе говорят? — спрашивал академик, дирижер королевского камерного ансамбля, месье Фердинанд Паер.

Он расхаживал по комнате, а перед ним, откинув огромные черные кольца волос на спинку кресла, сидел усталый и бледный Паганини.

Паер был одет в темно-лиловое домашнее платье, на котором сияли белоснежный воротник, белый атласный галстук, манжеты с огромными аметистами и платиновая булавка с таким же камнем. Опять эти ярко-синие глаза и впечатление, будто в жилах этого человека вместо крови — жидкий светлый металл, подвижный, но тяжеловесный и холодный. Только лицо — уже лицо старика.

— Ты был источником больших огорчений для меня, у меня двоилось впечатление каждый раз, когда я получал о тебе вести. Мне казалось, что ты существуешь в мире в двух лицах. Паганини — носитель музыкального гения, Паганини, спасающий молодого Джанделли и оказывающий помощь десяткам тысяч семей, пострадавшим от наводнения,— и Паганини, выгоняющий несчастную жену зимой в морозную ночь на улицу. Ты слишком часто умирал. Газеты сообщали о тебе такие небылицы, обстановка твоей смерти была так отвратительна, что я наконец перестал оплакивать твою преждевременную кончину. Я не понимаю, откуда возникло столько ненависти. Про тебя говорят, что ты увлекаешься турецким стилем музыки. Это уже совершенная глупость. Про тебя говорят, что ты калечишь прекрасное изделие старинных скрипачей, про тебя говорят,— но это Пино мне опроверг,— что ты предавался самому гнусному пороку и проиграл замечательную скрипку Гварнери. Давай разберемся во всех этих странных явлениях, а потом я предлагаю тебе пойти в театр слушать певицу Малибран.

Паганини закрыл синеватые веки. Всего час тому назад он въехал в Париж.

За день перед этим он был в Лионе. Он с ужасом думал о рабочих заставах этого страшного города, где дымят трубы неведомых Италии гигантских зданий с машинами и паровыми котлами. Люди, десятки тысяч людей в рваных черных и синих блузах, изможденные, худые, тянутся вереницей из ворот, охраняемых конной полицией,

Что это за страна? Что это за город? Что это — тюрьма или место казни одних представителей человеческой породы другими?

Ни один город Германии, ни один город Италии не волновал так воображения Паганини. Вечером — яркие газовые фонари. Люди как будто ненасытно стремятся к свету. Этот беспокойный свет совсем не похож на тихий, колеблющийся желтоватый свет спермацета, на огонек масляной лампы или лампады. Люди стремятся бешено вперед, все усиливая звуки, повышая камертон, ускоряя движение по дорогам, увеличивая яркость вечернего света.

Проезжая по улицам Парижа, Паганини с жадностью всматривался из окна кареты в толпу. Молодые люди в цветных жилетах, сторонники изгнанного короля, с теми или иными условными знаками: или зеленый цветок в петлице, или зеленый жилет, или ярко-зеленая шляпа; студенческая молодежь в причудливых костюмах; женщины, переодетые пажами; усатый человек проезжает в коляске, публика неистово рукоплещет, кричат, машут руками, бросают цветы под коляску. «Это польский генерал,— говорит кучер.— Париж с ума сходит от поляков».

Усталый от всех этих впечатлений, Паганини вяло слушает наставления старика учителя.

— Каковы источники этой вражды? О тебе говорят как о человеке несметно богатом. Вполне понятна зависть тех, кому ты закрыл дорогу к богатству, и ненависть тех, кого ты подавил своим талантом. Но не слишком ли ты обнаруживал перед средним человеком свои неслыханные успехи? Имей в виду, нельзя ссориться с этим огромным, многоголовым буржуа, он считает тебя своим имуществом. Это все объяснимо, это все понятно, это все поправимо. Меня тревожит другое, меня тревожит Паганини — создание молвы. Имей в виду: нет той подлости и грязи, которых бы тебе не приписывали. Я могу показать тебе,— Паер махнул рукою в сторону шкафа,— изображение тюремных стен, которые слушали первые звуки твоей игры. Я не буду говорить о глупостях, которые пишут французские журналисты. Жюль Жанен, человек, пострадавший от иезуитов и напуганный теперь до последней степени, сравнивает твою музыку с демоном мятущегося отчаяния. Нет ли у тебя двойника, нет ли преступника, действительно присвоившего себе твое имя? Это — какая-то скользящая тень Агасфера, нигде не находящая приюта. Скажи,— ты можешь быть со мною откровенным: я хочу устраивать твои дела, я хочу обеспечить твой успех в Париже, это очень трудно! Ты сейчас стоишь перед очень сложным вос-

хождением на вершину, ты можешь сорваться и не встать больше. Скажи, что у тебя вышло с этим странным человеком, Шпором? Его секретарь находится в Париже. После первого выступления, если ты действительно пользуешься мелодиями Шпора и разрабатываешь его скрипичный концерт, тебя будет ожидать судебный процесс, слушать который сойдется весь Париж, проявляя к этому скандалу, быть может, гораздо больше интереса, нежели к твоей скрипичной игре... Нет ли у тебя тайного врага, не оскорбил ли ты какого-нибудь сильного и могущественного властелина, не ссорился ли ты с церковью? Подумай обо всем этом, прежде нежели начинать хлопотать о выступлении в Париже. После разгрома карбонариев в Италии много беглецов переселилось в Париж, с ними и здесь сводят счеты. После гибели десятков тысяч итальянской молодежи, выданной во время процесса и подавления карбонарского восстания, теперь производятся расчеты со шпионами. Достаточно случайного оговора, чтобы человек погиб от неизвестной руки.

Паганини достал из сюртука короткое письмо Фонтана Пино и показал Паеру.

— Да,— сказал, прочитав, Паер.— Если тебе пишут во Франкфурт о том, что кто-то в Париже играет роль Паганини, живущего инкогнито, то может оказаться, что этот человек успел сделать тебе столько вреда, что до каких бы то ни было выступлений нужно определить твое положение. Эти фантастические россказни, о которых пишет твой друг, не предвещают ничего доброго, и он правильно сделал, что ускорил твой приезд в Париж.

Они вдвоем вышли в столовую. Их встретила нисколько не постаревшая синьора Риккарди. Она принялась упрекать Паганини за то, что он не привез маленького Ахиллино обедать вместе с ними. Но Паер заметил, что, быть может, это и к лучшему, так как он хочет похитить Паганини на весь вечер.

— Вечером у итальянцев идет «Отелло». Поет Малибран, и хотя моя супруга не любит, когда я хвалю чужие голоса, но должен тебе сказать, что Малибран и Паста — это величайшие артистки мира. Малибран обладает трехоктавным регистром, и нет ни одной ноты, в которой не сказалась бы вся полнота очарования ее голоса. Но помни, что ты заранее обречен на неуспех у нее! Она сейчас со всей страстью испанки переживает увлечение скрипачом Берио. Вот твой соперник. Берио — непревзойденный талант, и, помимо Берио, в Париже есть Лафон, с которым ты когда-то, говорят, выступал. Есть ее брат, Александр

Малибран. Это все — первоклассные скрипачи, которым ты испортишь настроение в первый же концерт. Я не говорю о Байо, я не говорю о Керубини. Твое счастье, что умер Крейцер. Ты знаешь, что он скончался?

Паганини кивнул головой.

— Так вот помни, что если бы еще добавить сюда Крейцера и Родэ, то лучше было бы тебе не приезжать в Париж.

Паер испытующе смотрел на Паганини. Паганини с невозмутимым видом делал себе тартинку и молчал.

— С вами, кажется, приехал Джордж Гаррис? — заговорила Риккарди.

— Да,— сказал Паганини.

— Это автор комедий и анекдотов?

Паганини рассмеялся:

— Хорошо, что его здесь нет. Он очень не любит вспоминать о своих литературных неудачах, хотя его комедии шли в Касселе и Ганновере.

— Кто приставил его к тебе? — спросил Паер в упор.

— Я познакомился с ним у английского консула в Ливорно.

— Да, помню, помню,— сказал Паер.— Кто еще с тобой?

— Урбани, наш соотечественник.

Паер промолчал: фамилия ему ровно ничего не сказала.

А Паганини вдруг задумался, неожиданно вспомнив эпизод с портьерой. «Что ему было нужно? — думал Паганини.— И почему он так мрачен последние дни?»

От синьоры Риккарди не укрылась тень на лице Паганини. Изменив тему разговора, она пыталась вернуть Паганини хорошее настроение. Заговорили о театре, и Паганини произнес фамилию Россини. Этого было достаточно для того, чтобы лицо Паера внезапно стало грустным. Синьора Риккарди быстро взглянула на мужа и снова стремительным поворотом разговора попыталась рассеять внимание собеседников. Паганини почувствовал, что сделал какой-то неловкий жест.

Когда встали из-за стола, до отъезда в оперу оставалось еще около двух часов. Паганини и Паер перешли снова в маленькую гостиную. Паер взял с полки какую-то брошюру и передал ее Паганини.

— Вот ответ на твой вопрос о Россини,— сказал он.

Паганини пробежал несколько страниц. Это была отвратительная клеветническая книжонка, которая говорила о взаимной вражде двух больших музыкантов.

Паер и Россини, очевидно, не выносили друг друга. Трудно было сказать, кто был прав в этой неожиданной ссоре, но ясно было видно, чем она вызвана. С приездом Россини в Париж почти прекратились постановки опер Паера. Россини завоевал Париж. Арии из «Севильского цирюльника» распевали уличные мальчишки. Непоколебимый авторитет синьора Фердинанда Паера впервые был поколеблен. Кто-то воспользовался этим, кто-то стал нашептывать о разгорающейся вражде, и то, что еще не было действительностью, в скором времени осуществилось. Паер подозревал, что автор этой брошюры — Россини; Россини считал, что только друзья Паера могли позволить себе такую гнусную клевету на него, на Россини. Оба музыканта отрицали свое участие в издании книжонки. Музыкальный Париж делился на два лагеря в ее оценке: одни оперировали ею против Россини, другие — против Паера.

Паганини положил книжку на стол и сказал:

— Так вот, дорогой учитель, каковы же источники этой вражды? Вы богаты, вы занимаете хорошее положение, вам, конечно, завидуют бездарные музыканты, и вас хотят поссорить с моим молодым другом Россини.— И, подражая Паеру, произнес: — Не ссорились ли вы с властями, нет ли у вас тайных врагов? Вы видите, дорогой маэстро, что, даже не будучи ни в чем виноватым, вы можете попасть в такое положение, в каком я все время нахожусь...

— Ну, довольно говорить обо мне,— сказал Паер.— Ты, очевидно, не намерен зря проводить время в Париже, ты будешь давать концерты. Знаешь ли ты,— впрочем, мне не нужно тебя убеждать,— что истоки мировой славы находятся здесь, в Париже, и если Париж тебя не примет, то твое возвращение в Европу не будет таким славным походом завоевателя, который привел тебя сюда. Имей в виду, что тебе легче просто уехать из Парижа, не дав ни одного концерта. Ты в достаточной степени заинтриговал парижан сплетнями и твоим присутствием инкогнито. Я сам видел журналистов, которые хвастались беседами с тобой, когда ты еще не думал быть в Париже. Подумай, с чем ты выступишь? что ты читал? что ты знаешь? что ты представляешь собой сейчас? Пока еще не поздно отказаться от выступления. Я давно тебя не слышал, я говорю сейчас с тобой, основываясь на молве. Пойми, что во мне ты видишь наилучшего друга.

— Я вижу перед собой усталого человека,— сказал Паганини.

Паер нахмурился.

— Ты, очевидно, думаешь, что я преувеличиваю значение твоего пребывания в Париже. Да будет тебе известно, что прошлый год ознаменовался неслыханным скандалом, связанным с постановкой пьесы молодого писателя Виктора Гюго «Эрнани». Эта постановка была сорвана. Обстановка была такова, что автору оставалось только застрелиться. Его поддержали молодежь и случай, а несколько дешевых идей, брошенных автором в публику, спасли его положение. Заурядному спору завистливых людей печать придала значение философского спора о романтизме и классицизме. Молодые люди в костюмах конкистадоров, женщины, переодетые средневековыми пажами, идиоты в красных жилетках, с лицами бульдогов и с огромными суковатыми палками в руках, наполняли театр и едва не устраивали потасовки. Согласись сам, что это мало похоже на служение искусству. Если первые спектакли прошли с неслыханным успехом, потому что вся эта молодежь, причиняя, по-видимому, немало расходов автору, заполняла целые ряды, то следующие представления «Эрнани» сопровождались свистками, шиканьем, сцена была забросана огрызками яблок, остатками пищи, рваной обувью и черт знает чем. В Париже все зависит от капризов газетных репортеров. Ты должен сказать мне прямо и откровенно: чем вызваны нападки на тебя европейских газет? Откуда такое количество невероятных россказней, делающих тебя пугалом для всякого порядочного дома, для всякого честно живущего французского буржуа? Имей в виду, что в Париже это может вырасти до баснословных размеров, и то, что вызвало бы повышенную сенсацию в Германии, в Австрии и в Италии, может вызвать совершенно неожиданные последствия в Париже.

— Дорогой маэстро,— сказал Паганини,— нет у меня врагов. Все, что пишут обо мне, не имеет никакого отношения к живому Паганини. Во всяком случае, я не знаю людей, о которых я думал бы с опасением. Как можно отнять у меня то, чему отдана вся моя жизнь,— когда я чувствую себя скрипачом в полной силе? Обладая моим огромным даром, зачем я буду бояться кого-то, кроме себя? Мне завидуют, говорите вы, но я не враждую с людьми, я никому не желаю мстить, я ни о ком не думаю с ненавистью, и у меня за всю мою жизнь не было случая, чтобы мне долго не давали покоя злобные мысли о ком-нибудь. Скажу вам больше: меня радует всякое проявление таланта, меня радует всякое прекрасное душевное движение в человеке, я не вижу никакого для себя ущерба в том, что появится скрипач, равный мне по силе: тогда моя

работа будет облегчена, так как каждый концерт отнимает у меня год жизни, тогда кто-то другой придет ко мне на помощь и облегчит мне то горение, которое называется служением искусству.

Паер с широко раскрытыми глазами слушал эту неожиданную для него речь. В эти минуты он подсчитывал годы, пробежавшие со времени шестимесячного пребывания в Парме хилого ребенка, сына генуэзского маклера. Перед ним мелькали годы и месяцы, проведенные в Венеции. Известность в соединении со счастьем домашнего очага. Потом — Вена и Дрезден. В Дрездене — неожиданный успех. Вечером в большой дворцовой зале распахнулись двери, и вошел, заложив руку за лацкан, постукивая безымянным пальцем по звезде Почетного легиона, человек маленького роста, с желтоватым лицом, и метнул серыми стальными глазами в его сторону. После концерта этот человек, окруженный генералами, подписывая бумаги и даже не взглянув на музыканта, предложил ему ехать с ним в Париж. Потом — годы славы и удачи во французской столице. Итальянский театр, зависть соотечественников с независимым талантом, полная победа над ними. Потом — падение Бонапарта. Реставрация Бурбонов. Побег Людовика XVIII из Парижа. Новые сто дней Бонапарта. Потом — король Карл X и длительное торжество священников, монахов и дворян, стремящихся к восстановлению старого блеска.

Тогда было очень трудно Фердинанду Паеру. Все итальянское было не в чести у короля Карла. Потом, всего полгода назад,— баррикады, пушечная стрельба, громкие и отчетливые требования республики перекликаются со старыми итальянскими лозунгами свободы. Мелькают знакомые лица и знакомые фамилии, откуда-то возникли друзья, от которых, как от чумы, стремился в это время укрыться синьор Паер. И сквозь все эти годы — молва, чудовищная, злокачественная, об этом все и всех покоряющем на своем пути музыканте, Никколо Паганини.

Было представление о заносчивом человеке, крайне неприятном, который поставил жизнь на карту из-за денег. Скрипач, проигравший скрипку, не может считать себя артистом. Скрипач, променявший высокое искусство на деньги, разменявший свой талант на бирже случайных успехов, не может рассчитывать на добрый прием у старого Фердинанда Паера. И вот сейчас этот человек, которого всюду опережала неотвязная молва, сидит перед ним уже много часов, и Фердинанд Паер не может оторваться от беседы. Этот черный урод с землистым лицом покоряет его

своими удивительными словами, своими мыслями, никак не уживающимися с тем представлением о Паганини, которое создали газеты. А последние слова скрипача показывают, какая огромная это душа, они так не похожи на все, что слышит синьор Фернандо от артистов, окружающих его,— надо подумать, прежде чем решительно отговорить Паганини от выступления в Париже.

— Итак, ты отрицаешь существование у тебя врагов. Что бы ты хотел сделать?

— Я хотел бы видеться с вами часто, маэстро.

— Так,— сказал синьор Фернандо.— Мы сегодня с тобой пойдем в театр, а сейчас не хочешь ли сыграть что-нибудь?

Паганини отрицательно покачал головой.

— Я буду играть на концерте.

Паер нахмурился. «Не слишком ли он самоуверен?» — подумал он, но решил промолчать.

— Я должен освоиться с Парижем,— сказал Паганини.— Этот город меня поражает, он подавляет меня гигантскими размерами своих улиц и площадей. Я не знаю, к чему такие широкие улицы, к чему такие огромные пустые пространства. Я видел газовые фонари. Это фантастическое белое освещение говорит о неистребимой жажде французов к потокам света ночью. Когда я освоюсь с этим городом, то, быть может, вы окажете мне содействие в устройстве концертов, быть может, вы познакомите меня с теми, кто может обеспечить мне и Гаррису наем помещения и наиболее целесообразное расписание концертов.

— А выбор программы?

— Об этом я позабочусь.

— Ты самоуверен!

Паганини не обратил внимания на эти слова.

— Что говорят в Париже о нынешнем короле, маэстро?

— Что же могут говорить о нынешнем короле! Первое, что он сделал, это перевел состояние Орлеанского дома в Лондон на имя своих детей. Герцог Бурбонский, единственный Бурбон, оставшийся в Париже,— старик, уже не выходивший из дома,— завещал свое состояние герцогу Омальскому, старшему сыну Луи-Филиппа. Как это ни странно, старика нашли повесившимся в собственной спальне непосредственно после составления этого завещания. Ну, что еще сказать тебе? Луи-Филиппа возвели на трон парижские банкиры, Лафайет рекомендовал его восставшему Парижу в ответ на крики о республике, как лучшую из республик. Я, конечно, говорю с тобой так, как не буду говорить ни с кем другим. Имей в виду, что после

неприятных происшествий в Болонье, в Модене и в Парме ко всем итальянцам отношение в Париже подозрительное. Твой Фонтана Пино... лучше бы ты с ним не виделся! Кроме того,— тут Паер понизил голос,— ты знаешь, что я верный слуга короля. Ко мне обращались многие. Итальянские беглецы, которым во Франции оказывали покровительство, сейчас собрались в Лионе и Марселе. Онн хотели выехать в Италию, их не пустилн и отдали под надзор французской полиции.— Паер еще больше понизил голос.— Австрийские войска сейчас расстреливают жителей Модены, Пармы и Болоньи. Австрийские войска сейчас вошли в Романью, и ходит слух, что племянник Наполеона, Луи Бонапарт, замешан в итальянских делах. Держи себя осторожно в Париже, в особенности с соотечественниками. Ты, сам не зная как, можешь навлечь на свою голову множество бед.

В театре Паганини с восторгом слушал «Отелло». Дездемона совершенно захватила внимание Паганини. Голос испанской певицы, ее необычайная живость и изящество заставили Паганннн на несколько сладких часов забыть предостережения Паера.

После антракта, вернувшись на свои места, Паганини и Паер сделались предметом самого странного любопытства соседей. По окончании второго акта молодой, высокий, стройный человек, с усами кавалериста и военной выправкой, подошел к Паеру. Это был скрипач Берио. Он не скрывал, что подошел к синьору Фернандо только для того, чтобы просить представить его господину Паганини.

Этот чисто французский жест, эта свобода и легкость светского человека понравились Паеру. Паганини из нескольких слов Берио понял, что Париж, в отличие от тяжелодумной родины Шпора, обладает способностью бескорыстно и по достоинству оценить артиста. Он высказал это своему учителю. Паер посмотрел на него и ничего не сказал. У него еще не было достаточных оснований для того, чтобы так или иначе истолковать жест Берио. Французская светскость первого скрипача Парижа должна была свидетельствовать о радушии хозяина, принимающего итальянского гостя, но в равной мере она могла быть намеком на то, что парижские музыканты отнюдь не встревожены приездом Паганини, они слишком уверены в себе, чтобы бояться его появления. Эти оттенки быстро уловил учитель Паганини. И то, что сам итальянский скрипач принял за чистую монету, то для его учителя показалось очень серьезным предостережением.

13 февраля 1820 года герцог Беррийский — племянник короля Людовика XVIII и единственный наследник французского престола — вышел из театра. Столяр Лувель подошел к нему и перерезал ему горло обыкновенным кухонным ножом.

14 февраля 1831 года остатки парижской знати, люди, хранившие, как святыню, белые лилии бурбонского герба, собрались среди бела дня в аристократической церкви Сен-Жермен Л'Оксерруа. Все Сен-Жерменское предместье было запружено каретами и колясками. Была отслужена торжественная панихида по герцоге Беррийском. Это был протест Сен-Жерменского квартала Парижа против новых порядков, против буржуа, стоящего у власти, и против сотен тысяч Лувелей, точащих кухонные ножи на королей.

Панихида окончилась увенчанием цветами изображения герцога Бордоского. Молва как электрическая искра пробежала по улицам Парижа. Тысячная толпа собралась у церкви, когда окончилась панихида. Толпа запрудила дорогу, и вот кто-то из разъяренных парижан хватает первого попавшегося священника, и тот летит в реку. Быстро разъезжаются кареты, легкие экипажи, увозя графинь, герцогинь и виконтов. Народ врывается в церковь, разрушает алтарь Сен-Жермен Л'Оксерруа, ломает в куски статуи святых, режет ножами иконы и выбрасывает за окна дароносицы. Кресты снимаются с церкви. Дом каноника и квартира иезуитской конгрегации подвергаются той же участи. Все сломано, перебито, выбиты стекла, поломаны рамы, сожжены полы и потолки.

Народ бушевал весь день. Огромные толпы проходили мимо окруженного полицией и войсками Пале-Рояля. Они не трогали короля, они искали «попов и Бурбонов». Потом направились к дворцу архиепископа, и в то время как одни громили церковь, прилегающую к дворцу, другие, смяв отряд национальной гвардии, вошли во дворец, сорвали каменные кресты, уничтожили мебель, иконы. Из огромного количества распятий, бывших в разных комнатах, сложили костер на паркетном полу. И в это время мимо дворца архиепископа прогремела карета, из которой с удивлением выглянуло демоническое лицо, обрамленное кольцами черных волос. Землистые щеки, синеватые веки, лицо, на котором отпечатались цвета серы и медного купороса. Синие веки поднялись, как крылья ночной птицы, к черным бровям, и огромные глаза загорелись злорадством. Демон въехал в Париж. Этим демоном был Никколо Паганини.

В этот час, миновав заставу, он приехал на улицу д'Анфер и поселился там вместе со своим дьявольским фамулу-

сом, английской собакой, Джорджем Гаррисом, который является, несомненно, воплощением черта, купившего душу итальянского скрипача.

...О событиях этого дня помощнику префекта полиции докладывал невзрачный человек в большом черном сюртуке. Это происходило в те часы, когда синьоры Паганини и Паер спокойно слушали оперу «Отелло».

Полиция не спала всю ночь. Испуганные представители духовенства не знали, где искать защиты. Старая карлистская полиция была теснейшим образом связана с иезуитами, но орден знал очень хорошо могущество парижских банкиров. Он знал наперечет богатство всех наследников лучших купеческих домов Парижа. И он знал, что за первым опьянением победы наступит отрезвление и католическая церковь, в лице самых тайных ее организаций, снова станет необходимым пособником власти, а из пособника сделается настоящей руководительницей французской политики.

Сухим и монотонным голосом агент секретной полиции докладывает супрефекту города Парижа сводку своих наблюдений. Состоя в двойном подчинении, он в минуты большой усталости путал наблюдения интеллектуального сектора и полиции нравов с политическими сводками и с уголовными сводками обыкновенной полицейской агентуры. Но он знал, что господин супрефект сам добивается ордена Иисуса, и не очень заботился о размежевании тех сведений, которые он должен был сообщить полицейскому супрефекту, и тех, какими интересовался коадъютор ордена иезуитов.

— Еще что? — спросил супрефект.

— В кофейне «Эмблема» выступали молодые люди с литературными спорами. Молодой человек кричал о правах средних людей.

— Ну и что же? Что за необходимость подслушивать этого болтуна?

— Он кричал о том, что люди, лишенные талантов, должны соединяться вместе.

Супрефект зевнул:

— Какое дело полиции до всех сумасшедших мальчишек, страдающих тайными пороками и собирающихся в кофейнях?

— Он выкрикнул очень интересную вещь.

— Кто выкрикнул? — переспросил супрефект.

— Да Мюрже. Он закричал: «Я защищаю право среднего человека плевать в лицо гению!»

— Однако! Это уже интересно! Ну, и что же?

— Я пригласил его на службу.
— Зачем?
— Он нам будет нужен.
— Он что — романтик?
— Он — никто. Но человек, который кричит: «Я защищаю право среднего человека плевать в лицо гению, я за право подлеца и мастурбатора!» — может многое для нас сделать. Я дал ему денег.
— Как, ты говоришь, его фамилия?
— Я записал его и взял документы. Его фамилия — Мюрже.
— Вот как! Агент русского царя! Кто там был еще?
— Там был Нодье.
— Литератор? Что он говорил?
— Он произнес речь против газовых фонарей.
Супрефект окончательно оживился. Сон слетел с его глаз. Супрефект расположился в кресле поудобнее.
— Это совсем интересно. Теперь студенческая молодежь Сорбонны и медицинского факультета — болото, в котором родятся змеи и лягушки. С ними столько хлопот: то охраняй театр, в котором они колотят друг друга по морде дубинками, то они раскрасят друг другу физиономии кистями в мастерской господина де ла Круа, то поссорятся с девчонками на Итальянском бульваре и раздерут им юбки. Держите их под наблюдением, держите! Господин министр прав, когда говорит: «Сегодня это романтики, а завтра революционеры». Но за молодого Мюрже я ручаюсь. Пусть он служит и нам и петербургскому медведю — деньги не пахнут!..
— Да,— сказал агент,— господин министр говорит: «От социализма Францию может спасти только катехизис».
— Ты, кажется, становишься философом! — сказал супрефект.— Я ценю вашу агентуру. Мюрже — это рыбка, из которой можно сварить уху! Ну, а что же именно говорил Нодье?
— Нодье повторил свою речь о новогоднем освещении улицы Мира и квартала Вивьен газовыми фонарями. Нодье кричал, что от ядовитых газов умирают деревья, картины в кафе чернеют от ядовитого чада, тончайшего и невидимого, который выделяют эти проклятые лампы, слепящие глаза. Кареты падают в ямы, вырытые посреди мостовых, так как газовые фонари слепят глаза лошадям.
Супрефект порылся в папке и достал огромную синюю тетрадь.
— Это — сумасшедший,— сказал супрефект,— он подал правительству мемориал о запрещении водорода.

Он перелистал тетрадь. Агент ясно увидел подпись Нодье.

Автор «Сбогара» писал, что парижские пожары, холера, бунты и десять египетских казней имеют причиной водород, разливающий свой ядовитый свет по улицам Парижа.

В четыре часа утра тот же агент получил инструкции от коадъютора ордена.

Глава двадцать восьмая
ОТРАЖЕНИЕ ДВУХ ЗЕРКАЛ

Итак, Паганини, приехав в Париж, сразу попал под надзор полиции. Границы политической и уголовной полиции еще не были установлены с достаточной четкостью, но уже обрисовывалась вражда между ними. Коко Лакур, сменивший парижского Видока в 1827 году, был все-таки старым карманным рыцарем, как его называли. Работая путем привлечения мелких преступников для поимки больших, он внушал ненависть господину Жиске, желавшему ввести новые методы в политическую работу полиции. Но Жиске потерпел поражение, ибо в области секретного полицейского надзора правительство Луи-Филиппа пошло по старой, проторенной дорожке, создавая притоны, формируя провокационные ячейки, притягивавшие молодежь.

Коко Лакур был прямым продолжателем того самого Видока, который в 1817 году, в полном согласии с духом царствования реставрированных Бурбонов, предложил префекту полиции д'Англезу организовать на свой страх и риск бригаду сыщиков, с тем чтобы эта бригада действовала исключительно под его, Видока, контролем. И так как он сам принадлежал к компании крупных воров, то первые шаги Видока были чрезвычайно успешны. Видок, насладившись карьерой крупного вора, наслаждался карьерой помилованного каторжника, предающего правосудию своих прежних товарищей. Коко Лакур так же, как он, сформировал бригаду-мобиль и с этого начал свою работу. Жиске протестовал, но был принужден сдаться. Мало того, в качестве префекта полиции Жиске сам организовал в министерстве внутренних дел лабораторию, где готовились опасные политические яды. Оттуда вышли псевдополитические деятели, формировавшие тайные общества и союзы с самыми причудливыми названиями и самыми крайними программами. Это обеспечивало заработки полиции. Это

дешево стоило, это открывало блестящую эпоху удачного политического сыска.

Существовало и второе зеркало, отражавшее тайный Париж и тайную Францию. Это зеркало давало отражение чище и яснее. Старые опытные венецианские зеркальщики шлифовали это удивительное стекло и покрывали его амальгамой.

В 1829 году Роотаан сделался генералом ордена. Этот суровый, холодный, очень уравновешенный голландец обладал способностью с молниеносной быстротой вмешиваться в политику и наносить с неизвестной стороны такие удары, которые ставили в недоумение умнейших дипломатов Европы.

Иезуиты в светском платье сидели на почте. Их имена встречаются даже в списках черного кабинета.

В 1829 году, когда Карл X пошел по пути открытой реакции, министр Виллель опубликовал так называемую «Черную книгу». Правительство Луи-Филиппа заявило о ликвидации черного кабинета, оно заявило, что «Черная книга», опубликованная Виллелем, была простой уткой. Июльская революция как будто ликвидировала черный кабинет, но фактически его только переместили в новое здание. И там тоже были дубликаты печатей, дубликаты бланков, сургуч всех цветов и конверты всех министерств, гербовые печати французских дворян и девизы французских банков. Письмо вручалось адресату в совершенно целом конверте, до такой степени дело было поставлено хорошо.

В 1831 году в парижском суде слушалось дело маркизы Лавальер, вышедшей замуж за почтенного профессора Сорбонны. Она узнала, что этот профессор состоит одним из главарей черного кабинета, и потребовала развода. Несмотря на то что дело было решено в ее пользу, ни архиепископ парижский, ни Римская консистория не утвердили развода. Легальное существование иезуитского ордена использовано было только для организации школ, для управления имуществами ордена, но реальные силы иезуитов, богатства и секретные пружины этого огромного, всюду проникавшего механизма не только не были известны широкой публике, но и низшим степеням ордена не были доступны.

Когда итальянский карбонаризм выступил на борьбу с орденом, ему пришлось заимствовать железную дисциплину иезуитов, чтобы хоть сколько-нибудь успешно вести борьбу с этим тайным и страшным врагом. Иезуитизм — это была раковая опухоль в организме Европы, она всюду

простирала свои тончайшие нити и разветвления, обладавшие способностью разбухать и разрастаться, превращаясь в совершенно самостоятельное образование в тех случаях, когда деятельность Рима была парализована. Это второе зеркало, отражавшее тайную жизнь Парижа, отражало и деятельность тайной полиции Луи-Филиппа. Но само оно, несмотря на все усилия гражданской власти, не попадало в сферу наблюдения правительства.

Паганини в Париже был отмечен особо, и вереница лиц завертелась в отражающих зеркалах.

В один прекрасный день на улице д'Анфер появился министерский курьер. Об этом знали супрефект и господин Жиске. В другой день приходили врачи, музыканты, литераторы, художники, поэты. Вот карета господина Лаффита, бывшего министра, хозяина всех дилижансов Франции, владельца крупнейшего европейского банка. Зачем он приехал к скрипачу? О, разговор был самым пустячным: господин Лаффит желал слушать скрипача в своем отеле; он проезжал мимо, он хотел отвезти чудного ребенка, сынишку синьора Никколо, в Пасси или Булонский лес в своем открытом экипаже: чудесный весенний воздух будет полезен ребенку.

Копыта пары прекрасных арабских коней, с эгретами и сбруей из русской кожи, гулко стучали по торцовым мостовым. Синьор Паганини, маленький Ахиллино и господин Лаффит сидели в ландо. Лаффит прямо заявлял, что он ушел из министерства потому, что ему отвратительна иностранная политика нового правительства. При всем своем уважении к королю он должен сказать: король Луи-Филипп — все-таки в руках каких-то темных людей.

— А я ставленник баррикад,— с важностью заметил Лаффит.— Я был сторонником вмешательства в дела вашей прекрасной родины. Давно пора освободить Италию от варваров!

Прогулка окончилась. Паганини отказался заехать к господину Лаффиту. Секретарь господина Лаффита, пожимая руку Гаррису, вкрадчиво сказал, что все средства, все капиталы синьора Паганини, все лавины парижского золота, которые устремятся к Паганини, синьор может направить в банк господина Лаффита, так как только этот банк даст наиболее обеспечивающий процент.

Вечером, когда Гаррис беседовал с синьором Паганини на эту тему, тот же агент, который делал доклад супрефекту, стоял в другом месте, перед другим столом. На улице — вывеска: «Нотариус Браччолини». Маленькая душная комната с письменным столом. Сильно накурено. Здесь

всего два посетителя и клерк, разговаривающий сразу с обоими. Но через три комнаты, в глубине коридора — скрытое помещение с очень скудным убранством: один стол, один стул, узкая кровать, таз и кувшин с водой, огромное распятие над кроватью. Там старик с весьма проницательным взглядом, сидя на единственном стуле, выслушивает донесение агента о приезде Паганини в страшный день разрушения парижских храмов и дома архиепископа.

Рядом с седым стариком стоит синьор Нови, с выражением злобы и разочарования на лице. Приходом агента был прерван длительный спор.

У старика нет никаких возражений против Паганини. Рассказ агента не производит на него никакого впечатления. Но он ищет хоть какого-нибудь подтверждения того, о чем с такой тревогой говорит Нови.

Зачем Нови приехал в Париж? Нельзя спрашивать, какие полномочия имеет Нови, они перед глазами: это — письменное указание на то, что ему поручено дело увеличения доходов ордена посредством получения завещания людей, перечень которых знает на память Нови. Старик знает прекрасно всю обстановку приезда Паганини. Его интересует другое: когда Нови успел видеться с этим агентом. Он пристально смотрит на Нови, он боится сам впасть в ошибку.

Агент докладывает о новой деятельности так называемой черной бригады. Французские скобяники, торговцы железом, антиквары, обойщики и драпировщики получили внезапно откуда-то возможность скупать старинные усадьбы, замки, брошенные дворянские особняки в самом Париже и с невероятной быстротой производят разрушение зданий. Надо дознаться, кто стоит во главе, на чьи средства это делается.

— Что можно сделать для того, чтобы удовлетворить тебя? — спрашивает старик, обращаясь к Нови.— Вот передо мной карта всех поездок твоего скрипача. Ты говоришь, что все его путешествия связаны с работой карбонариев, ты упираешь на то, что Фонтана Пино — карбонарий. Но сам Паганини, как он воспользовался этим знакомством? Он просто, судя по крайней мере по копиям писем, нащупывал почву в Париже — и больше ничего. Я все-таки надеюсь на то, что Париж принесет ему много золота. Состояние его увеличится, а у нас еще много лет впереди для того, чтобы направить это золото в казну ордена. У нас всегда есть возможность применить устрашение без нанесения решительного удара. Мы можем заставить чело-

века жить, питаясь хлебом страдания и водой страха. В нашем распоряжении парижские врачи. Жорж-Бенуа Фодере, лучший судебный врач Парижа, всегда выполнит то, что мы ему прикажем. Доктора Ростан, Крювелье и Ласег, эти великие врачеватели душ...

— Да,— прерывает Нови.— Но пока Урбани находится при этом проклятом Паганини, наша работа обречена на неуспех.

Глаза старика вдруг потемнели и сделались непроницаемыми, он махнул рукой, ничего не ответив на это.

— Людьми легче управлять при посредстве пороков и страстей, нежели посредством добродетелей,— говорит старик.— Прививая обществу малые пороки, мы можем упразднять большие. На какую страсть отзывается больше всего твой скрипач?

— Это демон, которого гложут все страсти и все пороки.

Старик покачал головой.

— Ты говоришь, как юноша, а надо, чтобы ты говорил, как зрелый муж. Ты опытный сын церкви. Что можем мы сделать для того, чтобы начать воздействовать на Паганини? Если бы это был офицер королевской армии, мы могли бы пустить слухи, порочащие его воинскую честь. Если бы это был священник, мы могли бы обвинить его в ереси. Но когда это просто скрипач, артист, что можем мы сделать против такого человека?

— О! — воскликнул Нови.— Что можем мы сделать? Мы можем смертельно оскорбить его в печати. Мы можем затруднить его выступления, мы можем понизить состояние его духа настолько, что смычок будет вываливаться у него из рук! Мы можем, израсходовав небольшую сумму на парижские газеты и журналы, громко закричать на весь Париж, что иссякли родники творчества Паганини. Можно писать статьи, которые намеренно оскорбят его грубым непониманием. Мы можем поручить редакции составить специальный номер журнала, в котором дураки и тупицы напишут биографию Паганини, поместят вздорные портреты, изображения тюрем, в которых он был заключен, и портреты его любовниц. Этим мы вызовем в нем разлитие желчи. Глупость рецензента прощается гораздо скорей, нежели гениальное превосходство мастера. Поймите, отец, что только таким способом мы можем пресечь его работу в Париже!

Старик встал.

— Ты опять, сын мой, поворачиваешь на прежнюю дорогу,— сказал он.— Властью, данной мне орденом, прика-

зываю тебе оставить мысли о нанесении вреда Паганини. Мы не намерены прекращать его деятельность в Париже, и делать из Паганини какое-то исключительно интересующее орден лицо мы не будем. У тебя есть прямое приказание использовать все способы святой матери церкви для обращения Паганини и для превращения его огромного богатства в богатство ордена. Ступай.

Весь следующий день после представления оперы «Отелло» Паганини обдумывал слова своего учителя. Малибран его поразила. Его глубоко взволновала опера, показавшая, на каком высоком уровне стоит музыкальная культура Парижа.

Он видел в театре Россини, который издали ему поклонился, но не подошел, так как Паганини сидел рядом с Паером.

Паганини перелистал маленькую записную тетрадь. Там было записано: узнать адрес Лафона, написать приглашение синьоре Даморо. Дальше шли сведения, записанные со слов Паера: Лора-Синтия Даморо, дочь Монтерлана, ей тридцать лет, поет под именем Чинти. Спросить Россини. Обер написал для нее оперу «Черное домино».

В ту минуту, когда Паганини собрался писать синьоре Чинти письмо с предложением совместных концертов, в дверь постучали. Вошел Урбани с курьером парижской консерватории. Письмо от Паера. «Сегодня вечером его величество желает тебя слушать в Пале-Рояле. С этого мы начнем твое завоевание Парижа. Я в тебе уверен».

«Милый синьор Фернандо,— подумал Паганини,— я не напрасно считал тебя не только учителем, но и чудесным человеком». Однако его приглашали во дворец. Когда возобновилась война за свободу Италии, как может он войти во дворец короля? Решение было мгновенным. Краткие строчки, сползающие под линейку, известили синьора Фернандо Паера, что внезапная болезнь мешает Паганини принять приглашение короля.

Газеты, которые прежде были наполнены восклицательными знаками, сопровождавшими имя Паганини, вдруг стали сдержаннее. Через день появились кислые заметки о необычайном чванстве итальянца.

Паер ходил по комнате и говорил:

— Я не ручаюсь за твой успех. Первое, что ты сделал по приезде в Париж, ты оскорбил короля. Это первое, что ты сделал.

На лице старого скрипача, все еще прекрасном, появились тонкие склеротические морщинки, глаза его казались стеклянными, когда он произносил эти горькие фразы.

Может ли Паганини сказать учителю все, что думает? Но Паер как будто угадал его мысли.

— Ты, может быть, не пошел потому, что Луи-Филипп отказался помочь нашей родине? — по-детски, наклонившись к уху Паганини, шепотом спросил он. И как бы отвечая сам себе, выпрямившись, возразил: — Да, но я читал отчет о твоих поездках по Баварии. У королевы баварской в замке Тегернзее ты играл!

Паганини молчал.

— Я совершенно искренне говорю, я был болен,— наконец произнес он.

«Луи-Филипп,— подумал Паганини,— это повторение предательства кариньянской собаки!» Он чувствовал себя итальянцем больше, чем когда бы то ни было.

— Ну, вот что,— продолжал Паер.— Я говорил с Габенеком, это наш дирижер. Тебе предстоит сегодня объездить парижские залы и посмотреть, где лучше всего звучит скрипка.

Шесть дней прошли в поисках. Но дело было совсем не в том, хороши или плохи залы.

Каждый раз, когда Паганини, усталый, выходил из экипажа и поднимался в комнату своего учителя, происходил разговор приблизительно такого содержания.

Паер, вскидывая глаза, спрашивает:

— Ну, что?

— Не нашел. Мы с Гаррисом объездили весь Париж. В одном зале устраивают бал студенты медицинского факультета и кокотки, они будут плясать трое суток подряд, с четырнадцатью оркестрами, в другом — мировой пианист Пласко дает концерт.

— Какой Пласко? — Паер разводит руками.— Не знаю такого.

— В третьем — индийский маг будет показывать фокус с воскрешением мертвой собаки; в четвертом — состоится совещание общества «Возвращение утраченной молодости»; в пятом — сен-симонисты устраивают сборище с докладом некоего Анфантена; в шестом — неподражаемый, гениальный, знаменитый скрипач Афродито, приехавший откуда-то, дает свой концерт на удивление всем парижанам.

Паер снова ударяет кулаком по столу:

— Это что за идиотство? Откуда этот Афродито?

Паганини продолжает:

— Виньоль читает лекцию, где провозглашает себя мировым гением драматургии. Сабле читает свой новый роман из жизни Видока.

— Черт знает что! — кричит Паер.

— Дюкло читает доклад, доказывающий глупость и бездарность Шекспира.

— Ну, это еще куда ни шло,— говорит Паер.— Дюкло, которого никто не знает, конечно, талантливей Шекспира. Но когда же все это кончится? Снял ты наконец какое-нибудь помещение?

Паганини стоит, заложив руки за спину.

— Дорогой учитель, вы скрыли от меня, что Париж кишмя кишит музыкальными гениями, вы утаили от меня, какое количество собрано здесь гениальных скрипачей!

Наступило 7 марта. Курьер, посланный Паером с извещением, что господин Верон, назначенный директором Большой оперы, предоставляет на 9 марта театр в распоряжение Паганини, стучал очень долго. Никто не отзывался. Было уже два часа дня. Спускаясь по лестнице, курьер встретил мальчика и седого человека с острой бородой. За ними шли высокий черноволосый итальянец и старая дама. Увидев, что он отошел от двери Паганини, они остановили его.

— Как, вы не могли достучаться?

Гаррис, Урбани и старая дама переглянулись.

— Вы идете к синьору Паганини?— спросил курьер.

Гаррис порылся в кармане, быстро отпер замок и вошел.

— Неужели он уже уехал? Утром он еще лежал в постели и просил его не будить!

Когда приоткрыли дверь комнаты синьора, увидели его лежащим у письменного стола. Голова неуклюже упиралась в стену, шея согнулась чуть не под прямым углом к туловищу. Скрипка лежала рядом.

Ахиллино с криком бросился в комнату. Фрейлейн Вейсхаупт всплеснула руками. Урбани стиснул зубы.

— Доктора, немедленно доктора! — закричал Гаррис.

Урбани опрометью бросился на лестницу.

Курьер положил письмо и участливо сказал:

— Я сейчас же доложу господину академику, и мы вместе привезем врача.

Один за другим приезжали врачи, ни один не констатировал смерти. Состояние было странное, не похожее ни на летаргию, ни на искусственно вызванный сон, но это не была смерть. В комнате стоял отвратительный сладкова-

тый запах, вызывающий головокружение, и первое, что сделал Урбани,— поспешил открыть окно.

Растирание, лед, согревание — ничто не помогало. Раздвинув ножом зубы больного, молодой врач Жан Крювелье влил несколько капель какой-то жидкости. Прошло три минуты. Паганини открыл глаза. Крювелье отозвал в сторону Урбани и долго его о чем-то расспрашивал. Потом, когда Паганини слабым голосом заговорил и первыми его словами была просьба о еде, доктор быстро подошел к нему, пощупал пульс и сказал:

— Ну, теперь вы совершенно вне опасности, я уезжаю.

Гаррис осторожно спросил врача, какое он желал бы получить вознаграждение. Крювелье покачал головой и сказал:

— Ничего. Единственно, о чем я прошу, это чтобы вы до моего расследования не предавали огласке этот странный случай. Кроме того, я был бы весьма признателен, если бы получил в качестве сувенира подушечку от скрипки синьора. Я счастлив, что мне удалось спасти это украшение музыкального искусства.

Фраза была построена по трафарету, никто ей не удивился. Гаррис пожал плечами. Синьор Паганини с охотой согласился удовлетворить просьбу чудака врача.

Паганини не мог вспомнить, что с ним было. Он ничего не мог рассказать. Он говорил только о том, что погружался в сон, слыша какой-то странный звон вокруг него. Он слышал собственный реквием и выражал самому себе соболезнование по поводу того, что преждевременно отходит в вечность.

Эта ироническая фраза говорила о том, что всякая опасность действительно миновала.

Поздно ночью доктор Крювелье сидел у старого иезуита. Он держал в руках подушечку из черного бархата и говорил:

— Только я один во всем Париже могу сказать, в чем тут дело. Кража не удалась вследствие чистой случайности. Все одновременно вернулись в тот час, когда подобранным ключом должны были отпереть двери агенты.

— Что?! — перебил старик.

— Я скажу,— ответил доктор Крювелье.— Я знаю наверное, что Паганини должен был подвергнуться ограблению и что ограбление затеяли полицейские власти Парижа.

— С какой целью?

— Цель мне неизвестна. Я знаю только то, что два месяца тому назад врач Суберан впервые произвел опыт в

полицейской тюрьме с тем составом, который безболезненно и без особого вреда для организма усыпляет человека до полной потери памяти, сознания и чувствительности. Этот состав, открытый доктором Субераном, называется хлороформом. Я присутствовал при блестящих опытах моего коллеги. Их держат пока втайне. Этому изобретению принадлежит большое будущее, так как оно колоссально облегчает задачи хирургии. Кроме полиции и меня, никто не знает, что доктор Суберан обладает секретом этого усыпляющего средства. Хлороформ, которым смочена эта подушечка, был украден полицейским.

— Но вам удалось спасти скрипача?

— Да.

Доктор с гордостью кивнул головой.

— Пути полиции очень странны,— сказал старый иезуит. — Во всяком случае, вряд ли тут замешаны деньги. Может быть, исчезло что-нибудь у синьора Паганини?

— Да, синьор Гаррис был у меня сегодня и сказал, что похищено сто двадцать тысяч франков.

— В таком случае это нас не касается. Полиция это сделала, полиция найдет виновных. Вам по дисциплине ордена запрещается говорить об этом кому бы то ни было. Еще вопрос: вы говорите, что двери были заперты, когда с синьором случился этот обморок. Бывают ли такие часы, когда жилище синьора Паганини остается пустым?

— Его секретарь говорит, что нет,— ответил доктор.

— Так. Предписываю вам полное молчание.

9 марта в огромном зале Большой оперы состоялся концерт Паганини.

«Это был незабываемый вечер»,— писали французы. Лучший зал столицы мира был переполнен. Концерта ждали, последние дни только о нем и говорили. В этот удивительный год Париж привлекал к себе все, что было покрыто славой,— начиная от славы, добытой на полях сражений, и кончая славой строителей дворцов; начиная от поэтов и музыкантов мира и кончая вождями когорты героев, выходцами из карбонарского подполья и участниками титанических походов якобинских армий.

И Паганини, создавая свой новый концерт, который он хотел отдать этому городу, знал, что он должен вложить в звуки всю силу своего гения, всю мощь своего духа. Он должен ослепить зал блеском своего виртуозного мастерства. Он должен дать этому городу больше, чем какому бы

то ни было. Он должен заставить сердце мира на несколько минут замереть.

Но вот теперь он забыл все. Кривой, изогнутый, похожий на гипсовую обезьянку, вырытую из развалин Помпеи, он разбрасывает по залу тысячи колокольчиков — серебряных, золотых, бронзовых и стальных. И словно ветер пробежал по рядам зала. Для одних это был ветер в колоколах старинного собора, вихрь, залетевший в извилины древней колокольни, ветер какого-то нового восстания, попавший под купол собора и разбудивший дремавших там птиц. Птицы проснулись, взмахнули своими крыльями; цепляясь еще во сне по краям колокольчиков и колоколов, они задевают их хвостами, коготками и перьями. В сумраке натыкаясь клювами на колокольные узоры, будят мирно спящие колокола. Колокольня просыпается. Многовековое пение бронзы отзывается на эту тревогу, и в ответ раздаются звуки набата. И вот другим уже слышатся взрывы пороховых бочек под стенами дворцов. Вздрагивают баррикады фронды. Но иные видят лишь легкокрылых бабочек, летящих на колеблющийся огонь свечи.

Вот скрипка раздирается пополам, вот слышны две скрипки, каждая рассыпается на десять маленьких скрипок. Вот их двадцать, вот сто, вот поет тысяча скрипок. Да, конечно, это просто китайские фарфоровые божки и амуры со стрелами и фарфоровыми крылышками падают со звоном на пол. Пастушки́ и пасту́шки, одетые в шелк, в белых пудреных париках, танцуя менуэты Рамо и Люлли, задевают неосторожно эти фарфоровые безделушки, которые сыплются с полочек. Танец прерывается криком испуга. Из-под шелковых портьер вылезают черные кроты с миллионами своих детей. Они рвут шелковые занавески. Это нападение сопровождается диким свистом и воплями, раздается треск, лопаются стекла, падают уличные фонари, раскрываются стены замка, и холодный ветер сметает его с лица земли. Огромная победная кантилена, воинственная песня восставшего народа, такая знакомая этому народу, слышится вдруг в переливах скрипки. Потом наступает грустное адажио.

Многих эта музыка заставляет вспомнить Байрона, у многих в памяти возникают строки недавно умершего поэта:

> Как часто луч зари благословенной
> Я в чаще пинн зеленых созерцал
> В окрестностях пленительных Равенны,
> Где некогда шумел адрийский вал
> И вечною угрозой для вселенной
> Оплот последних цезарей стоял.

Мне мил тот лес, всегда листвой одетый,
Боккаччио и Драйденом воспетый.
Безмолвных рощ был тих и сладок сон;
Цикад лишь раздавалось стрекотанье;
Мой конь храпел, да колокола звон,
Сквозь листья доносясь, будил молчанье.
Во тьме ко мне неслись со всех сторон
Моей мечты счастливые созданья:
Охотник-призрак с стаею своей
И светлая толпа воздушных фей.

И после тихой кантилены внезапно налетает новая буря звуков.

В зале был Франц Лист. Он сам говорил потом, что день, когда он услышал Паганини, переменил всю его жизнь. Он вышел из театра выросшим и возмужалым. На следующий день он должен был выступать сам. Но оказалось, что он ничего не понимал в жизни и в искусстве еще вчера. Сегодня это был уже новый человек. В нищете, в беспомощности, если необходимо — в окружении полного непонимания, но жить только творчеством, не позволяя себе никаких выступлений, пока техническое совершенство не обеспечит полноты воплощения созревших замыслов! Пусть кто угодно несет на рынок эстрады и на базары театральных подмостков свою дешевую добычу, пусть кто угодно покупает этими концертами скудные услуги, комфортабельное существование,— Лист не может выступать до тех пор, пока рояль не будет ему повиноваться так же, как скрипка повинуется этому безумному скрипачу, отдающему жизнь, сжигающему нервы и сердце.

Для Листа это был костер, на котором он сжег все свое музыкальное прошлое.

Рядом с ним сидел человек иной породы. Это был трезвый, ясный аналитик Людвиг Берне. Он задыхался в антракте и не мог говорить. Он мял кожаный переплет записной тетради и, судорожно водя карандашом, писал:

«Это дьявольское наваждение. Я в жизни не видел и не испытывал ничего похожего. Его слушатели охвачены каким-то сумасшествием, иначе не может быть. Когда он играет, дыхание захватывает, и самое биение сердца отвлекает внимание человека. Собственное сердце раздражает и становится невыносимым. Собственная жизнь прекращается, как только начинаются эти звуки».

Вечером, вернувшись к себе, Берне продолжил эту запись:

«Еще до начала игры, как только Паганини показался на эстраде, его встретили бурным приветствием. И надо было видеть, как смущен был в своих движениях этот

ярый враг всякого танцевального искусства. Паганини шатался, как пьяный, он спотыкался, неуклюже цепляя ногой за собственную ногу. Свои руки он то поднимал к небу, то опускал вдруг к земле, затем он выпрямлялся во весь рост и молил землю, молил небо, словно прося заступничества в тяжелую минуту. Затем он замирал и с распростертыми руками как бы распинал самого себя».

Когда этот волшебник лежал в постели, совершенно разбитый, без голоса, и маленький Ахиллино тихонько гладил его руки, отзвуки его славы прокатились по всему миру. На весь мир прозвучали слова постановления Королевской академии об избрании Паганини членом академии. Он завоевал Париж.

«При жизни этот человек стал легендой,— писало «Парижское обозрение». Со всех сторон слышатся голоса восхищения, восторга, которые приводят в отчаяние людей, занимавших в мире место, отнятое игрой Паганини. Этим людям остался только механический способ устранения великого скрипача из жизни. Но и это не вернет им славы, потому что человечество узнало беспредельность достижений итальянского гения.

Паганини — не только скрипач, владеющий всеми тайнами инструмента, это — великий артист в полном смысле этого слова, великий артист, для которого скрипка является прежде всего средством выражения собственного гения. Это — творец и изобретатель, это — открыватель новых, неведомых миров. Чувствуется гигантский труд, вложенный человеческой волей в преодоление трудностей, лежащих в мире овладения скрипкой.

Паганини есть явление в мире искусств единственное, имеющее свое особое, ему одному данное назначение, и пусть утешатся его соперники старым утешением, говорящим о том, что не каждому дано родиться с красотою Аполлона. Анализ техники Паганини говорит о превосходно развитых пальцах, пясти и запястных суставах. Это — руки, бегающие, как молния, по инструменту, который держится сам собой, словно висит в воздухе, или является продолжением великого сердца, говорит живым человеческим языком, словно этот особый язык всем понятен, но говорить на нем может только один великий артист.

Все, что видела, все, что слышала Большая опера Парижа в часы концерта Паганини, превышает человеческое воображение, и наилучшим сравнением для смычка и скрипки Паганини является сравнение с волшебной палочкой, которая делает весь мир подвластным человеку.

Мы жалеем всех, кто не слышал этого концерта. Разве гении так часто встречаются в жизни, что не должно бежать ему навстречу, чтобы хоть на миг быть свидетелем его появления! Разве жизнь наша так богата, что можно отказаться от тех просветов в будущее и от тех знаков вечности, которые как птица, прилетевшая из неведомых стран, дают нам внезапно понять и почувствовать, какой дивный и неведомый мир будущего живет в нашем настоящем!

Паганини необычайно прост, он прост простотой великого человека».

Париж был покорен. С этого дня концерты Паганини были триумфальным шествием.

Фетис писал:

«Скрипка в руках Паганини — это живое существо, а сам скрипач — это организм, специально созданный для чудес неповторимой и единственной игры, организм, сросшийся со скрипкой. Полет вдохновенной фантазии сочетается у Паганини с тончайшим знанием музыкального расчета и обладанием всеми техническими секретами инструмента. Характерной особенностью Паганини является непоколебимая воля, которая только и может заставить человека ради высокой цели пожертвовать жизнью в преодолении чудовищных, нечеловеческих трудностей. Это — редчайший пример нашего века, когда механические расчеты сочетаются с гениальным вдохновением, а способность сжигать свою жизнь ради высокого искусства соединяется, с успехом, который оправдывает такое истребление собственной физической личности, ибо этот успех есть успех достижения высокой и удивительной цели».

Кастиль Блаз после третьего концерта, данного Паганини в Париже, заявлял: «Паганини — это ученый. Его композиции так же значительны, как открытия новых миров и земель. Они представляют собой плод музыкальных расчетов и знаний, кажущихся сверхчеловеческими...»

27 марта Паганини давал прощальный концерт. На этом концерте, по просьбе Паганини, пела Синтия Даморо. Берио весь день провел вместе с Паганини, как ученик с учителем. Музыкальный Париж в лице Синтии Даморо, Малибран, Берио и Паста окружил своего великого гостя знаками внимания и заботливости.

Но иное, таинственное окружение синьора Никколо Паганини не исчезло.

Суммы парижских гонораров выражались пятизначными цифрами. Гаррис сделал все, чтобы эти деньги не были расхищены. Синьор Паганини, несмотря на тяжелое впе-

чатление, которое в нем оставила кража, приказал Гаррису привезти сорок тысяч франков на квартиру, а не сдавать их в банк господина Лаффита, как предполагал и настоятельно советовал Гаррис. По мнению Гарриса, синьор Паганини вел себя странно. В эти дни он всячески избегал откровенных разговоров, он даже ни разу не спросил о причине чрезвычайной озабоченности Гарриса. Уже неделя, как Урбани исчез, Паганини этого не замечал. Синьор Гаррис был обеспокоен и не знал, следует ли обратиться к полиции.

Ночью, после прощального концерта, приехал Фонтана Пино. Он говорил с синьором Паганини долго, по-видимому обсуждая какие-то «итальянские дела».

«Неловко, конечно, делать так»,— думал Гаррис, но щель, оставшаяся между дверью и притолокой, пропускала потоки лучей газового света, и в этих лучах крутились пылинки. Эти лучи падали на зеркало, стоящее в вестибюле. Зеркало было в человеческий рост. Оно было поставлено в этом старом особняке еще в очень далекие времена прежним владельцем. Это было хорошее венецианское зеркало, в серебряной оправе, с мелкими чеканными амурами на верху рамы. «Типичные амуры барокко»,— думал Гаррис, считавший себя знатоком итальянского искусства.

Это, конечно, нехорошо: надо было закрыть дверь, но глаза оказывались прикованными к зеркалу. Синьор Паганини достал огромную пачку кредитных билетов и мешок с золотом. Синьор Фонтана Пино складывает это все в кожаный мешок путешественника, потом слышатся тихие слова:

— Итак, во имя святого дела освобождения Италии, прощай.

Гаррис не понимал, кто произнес эти слова. Он не узнает голоса Фонтана, который шипит и сипит так, как это бывает с синьором Паганини.

Фонтана Пино уехал. Синьор собирается в Англию, хлопоты о паспорте задерживают отъезд на три дня.

Глава двадцать девятая

НА ХЛЕБЕ СТРАДАНИЯ И НА ВОДЕ СТРАХА

Поведение Паганини приводило Гарриса в полное недоумение. Как можно, при его здоровье, столько времени отдавать притонам Парижа вроде этого Першеронского кабака или грязного «Café Tabakoff». В это кафе затащили Паганини певицы Шредер-Девриен и Синтия Даморо, желая показать синьору Паганини русский уголок Пари-

жа. Про госпожу Шредер-Девриен рассказывают страшные вещи. Свои эротические похождения она описывает в книжке, иллюстрированной такими рисунками, что никто не может ее напечатать. Непонятно, как можно проводить время с такой женщиной! Но синьор Паганини стал мрачен и невероятно раздражителен. Приехав из «Café Tabakoff» он был вне себя.

— Гаррис, посмотрите, какие страшные вещи есть в мире! — кричал он.— Этот человек со своей любовницей, этот Табаков, остался в Париже после увода оккупационных армий и открыл грязный притон, в котором тешатся русские белые медведи, обладающие графскими титулами и княжескими гербами. Посмотрите! То, что у нас называется органом,— эти громадные мехи, которые вдувают воздух в металлические и деревянные трубы, вызывая к жизни звуки, потрясающие своей торжественностью,— люди превращают в дрянной инструментишко с набором мехов и наконец вырождают в ужасную русскую гармошку, «гармо», как говорит Табаков. Эти звуки — издевательство над музыкой вообще. Как несчастна та страна, в которой орган превращается в гармонику, и как несчастен тот обездоленный люд, который в этом инструменте находит свое утешение... Я думаю сейчас о Шопене, о тех казнях, которые выдумывали в Варшаве русские жандармы! Что может быть страшнее этой исполинской страны!

— Вас раздражает что-то другое,— сказал Гаррис.— Может быть, вы мне скажете, что нужно сделать, чтобы предотвратить висящую над вами беду?

— Меня беспокоит одно обстоятельство, связанное с судьбой моих друзей,— процедил Паганини сквозь зубы и взглянул на Гарриса.

Гаррис не смотрел на него, словно вдруг стал очень рассеянным: он заметил на письменном столе большой черный пакет с изображением адамовой головы и костей. Он старался незаметно приблизиться к столу, ему хотелось вовремя убрать это новое бульварное устрашение и сделать так, чтобы оно до Паганини не дошло. Но было поздно: Паганини мгновенно бросил взгляд по тому направлению, куда смотрели глаза Гарриса. Он рванулся к столу. Гаррис умоляюще посмотрел на него и накрыл письмо ладонью.

— Не читайте, ради бога, не читайте!

Но Паганини уже разрывал конверт.

Гаррис с тревогой смотрел на то, как он, хмурясь, пробегает глазами строчки и потом внезапно расстегивает ворот.

— Фонтана! — кричит Паганини сиплым голосом, кашляя и брызгая розоватой слюной. Кровь появилась у него на губах.— Фонтана... негодяй! Где Ахиллино? Ахиллино!

— Тише, маэстро: ваш мальчик спит, я только что был у него.

— Какое счастье! — едва выговорил Паганини. На лице его появилась жалкая улыбка, он, казалось, был совершенно раздавлен.

— Пусть делают что хотят, лишь бы оставили мне моего мальчика. Пусть делают со мной что хотят.

Гаррис наклонился над столом и умоляюще взглянул на Паганини.

— Успокойтесь ради ребенка и разрешите мне прочесть письмо.

После первых строк буквы запрыгали в глазах Гарриса. Он читал:

«Я решился на этот отчаянный побег потому, что Вы, как мне кажется, подозреваете меня. Я не выношу подозрений. Вы считаете, что ограбление Вашей квартиры было произведено при моем участии. Вот вам доказательства: синьор Фонтана Пино украл Ваши деньги, он пойман, он сидит в Сен-Пелажи и завтра будет перевезен в тюрьму Лафорс. Я рад, что получил полную возможность изобличить вора. Он рассказывает о Вас всякие небылицы. Я добился права читать полицейские протоколы».

Жилы надулись на лбу Гарриса. Этого удара Паганини, вероятно, не снесет. Но почему он заговорил об Ахиллино? Гаррис читал дальше:

«Фонтана собирался похитить Вашего сына, но я вовремя помешал его проектам, и за это я должен страдать молчаливо, вынося Ваш подозрительный взгляд. Я вернусь к Вам в тот день, когда в утренней газете появится объявление о том, что Вы разыскиваете скрипку Страдивари номер семьсот семьдесят семь, я готов служить Вам до последней капли крови и сделаю все, чтобы синьорино Ахиллино был в безопасности. Оклеветанный перед Вами и Ваш верный слуга Федо Урбани».

— Сейчас же поезжайте в редакцию, сейчас же дайте объявление! — сипел Паганини над ухом Гарриса.

Гаррис никогда не видел его таким расстроенным.

— Фонтана! — повторял Паганини.— «Лучший друг». Фонтана, защитник свободы Италии.

Урбани сидел перед старым седоволосым коадъютором с номером утренней газеты, которая на последней страни-

це крупными буквами возвещала о желании синьора Паганини приобрести скрипку Страдивари номер семьсот семьдесят семь.

Синьор Нови и старый коадъютор ордена спорили попрежнему. Но на этот раз Нови удалось поселить в душе старика большое сомнение, лишь немного не хватало для окончательного торжества его замыслов.

— Я всегда считал, что в твоем деле, сын мой, говорит только личная ненависть — чувство, недостойное братьев ордена Иисуса. И сейчас в той мере, в какой к твоему справедливому негодованию примешивается личное чувство, я склонен отвести тебя от этого дела решительно, но,— тут он обратился к Урбани,— мы решили кончить все дело с Паганини. Мы терпели очень долго, и твое сообщение о том, что наглый конспиратор и опасный мятежник Фонтана Пино получил от этого безумца сорок тысяч франков на борьбу с властью и церковью, нас убеждает в необходимости нанести окончательный удар. Полиция попользовалась деньгами Паганини. Я слышал, что синьора Антониа Бьянки стала любовницей господина Жиске, префекта, ей нужны деньги, полиция помогла ей перенести золотые мешки из спальни супруга. Это их дело, но то, что деньги плывут мимо рук нашего святого ордена в нечестивые руки врагов ордена, не должно быть более терпимо. Иди, сын мой, вновь поступай на службу к Паганини и сделай так, как мы тебе приказали. Фонтана будет убит завтра. Скажи синьору Паганини, что он не раскаялся перед казнью и что правительство Франции по совокупности мятежных преступлений и замыслов казнило этого преступника вне зависимости от той кражи, которую он произвел у синьора Паганини. Затем ты будешь сопровождать синьора Паганини в Лондон, уведомляя всех нас необходимыми знаками и извещениями.

•

Дорога на север была очень неблагополучна. «Маэстро совершенно разбит»,— думал Гаррис. Он видел, как Паганини нервно и судорожно обнимал Урбани, целовал его в плечо и жал ему руки. Урбани не оставлял синьора ни на минуту. Он подолгу рассказывал о тех ужасах, которые грозили ему, Урбани, в пути, и о том, как он сумел предотвратить эти ужасы. И каждый раз заканчивал одним и тем же:

— Маэстро, вам необходимо помириться с церковью. Иезуиты в гневе на вас и могут сделать вам много вреда.

Ну хоть для формы помиритесь: делайте взносы, ходите слушать мессу.

Паганини все больше и больше раздражался от таких предложений.

— Вот именно теперь я меньше, чем когда бы то ни было, склонен идти на мир с попами! — говорил он гневно.

Не обращаясь ни к кому, оставшись один, Паганини вскидывал руки кверху и, сжимая кулаки, кричал:

— Негодяи, негодяи!

Внезапно он стал выказывать какую-то озлобленную, намеренно подчеркнутую, циничную жадность к деньгам. Он перечеркивал все предварительные соображения, приносимые ему Гаррисом. Гаррис делал вид, что соглашается, но поступал по-своему. А когда проходил концерт, как это было в Булони, Паганини не интересовался вырученными деньгами вовсе.

Какая-то торопливость появилась в движениях Паганини. Казалось, он вдруг понял размеры человеческой ненависти и зависти. Этим пользовался Урбани и каждый раз подливал масла в огонь. Он неожиданно вставлял словечко, и Паганини закипал злобой. Следствием этих приступов бессильной ярости всегда была полная потеря голоса. Опять появилась дощечка из слоновой кости.

Он внезапно собрался писать ответ Шпору, который, разражаясь проклятиями по адресу Паганини, написал письмо Лапорту, антрепренеру, заключившему с Паганини договор. Лапорт был настолько бестактен, что вручил это письмо скрипачу.

Шпор писал: «Все лучшее и высокое в мире связано с христианством. Лучшие музыканты нашего века пишут церковные гимны. Нет ни одного классического композитора, который не написал бы оратории и мессы. Реквием Моцарта, оратории Баха, мессы Генделя свидетельствуют о том, что господь не оставляет Европы и что вся наша культура строится на началах христианской любви и милосердия. Но вот появился скрипач, который сворачивает с этой дороги. Всем своим поведением, ненасытной алчностью, упоительным ядом земных соблазнов Паганини сеет тревогу на нашей планете и отдает людей во власть ада. Паганини убивает младенца Христа».

Гаррису стоило большого труда отговорить Паганини от мысли отвечать Шпору.

Паганини обязался дать в Лондоне шесть концертов в Королевском театре. Первый концерт был назначен на 21 мая, но после разговора с Урбани Паганини почувствовал себя плохо. Тяжелый обморок и последовавшая за

ним слабость, граничащая с потерей пульса, привели к тому, что концерт был отменен.

Журнал «Гармония» вдруг собрал сообщения европейской печати о необыкновенной жадности Паганини, и эту статью перепечатали газеты почти всех городов Англии. Заметка парижского «Музыкального обозрения» не помогла делу: «Английские газеты рисуют Паганини нахальным и дерзким»,— писал английский корреспондент французского «Обозрения». Газета от себя добавляла: «Все дело в том, что Лапорт, своекорыстный и хитрый антрепренер итальянской оперы в Лондоне, удвоил цены даже на дешевые места, на которые, по английской традиции, цены вообще не повышаются».

Первый концерт состоялся только 3 июня. Англичане ломились на концерт Паганини. Игра его стала еще совершеннее, еще тоньше и чище, еще изумительней стала техника, еще полнозвучней выражалось все бесконечное разнообразие дарования скрипача. Но какие-то страшные срывы стали наблюдаться в его настроении.

На одном из концертов, когда Паганини в сопровождении английского скрипача Джорджа Смэрта вышел на эстраду и готовился начать первую пьесу, с галереи кто-то крикнул:

— Ну, что же, мы готовы!

— Что это? — громко спросил Паганини Смэрта, топая ногой.

Он опустил скрипку почти до полу и ушел с эстрады. Публика была крайне смущена. Несколько представителей лондонской знати подошли к Паганини с просьбой продолжать концерт. Паганини отказался. Он громко при всех сказал Смэрту:

— Верните деньги: концерта не будет.

Смэрт, бледный, с трясущимися губами, умолял Паганини не портить дивных впечатлений, подаренных Лондону, выйти и играть. Наконец Паганини согласился. В это время раздался голос:

— Милый сэр Паганини, хлопните стаканчик виски и начинайте снова.

Паганини повернулся, положил скрипку и сказал:

— Нет, я не могу играть.

Но минут через пять он сам, без всяких просьб, вышел на эстраду и, как только утихла буря оваций, взял первый аккорд.

У лорда Холланда состоялся частный концерт в узком кругу изысканной литературной и аристократической публики. Паганини охотно приехал. Дощечка из слоновой

кости сплошь была усеяна вопросами о покойном Байроне. Нервы Паганини были, очевидно, надорваны сильно. Лорд Холланд, не привыкший к сильным выражениям чувств, был смущен слезами, выступившими на глазах Паганини при воспоминании о Байроне. Так же, как однажды, слушая Бетховена, Паганини при мысли о смерти величайшего музыканта мира не мог удержать слез, так и теперь, слушая рассказ о Байроне, он отворачивался и прижимал платок к ресницам. Лорду Холланду это казалось аффектацией.

Понемногу, под влиянием творческого напряжения, стало выравниваться настроение Паганини. К нему вернулась его легкая насмешливость. Он стал гораздо спокойнее. Только физическое состояние его внушало боязнь Гаррису.

Приехали в Бристоль, и, как когда-то в Вене, Паганини вдруг получил удар из-за угла! Бристольские улицы были украшены огромными афишами:

«Граждане, с чувством невыносимого отвращения я анонсирую начало концертов некоего синьора Паганини в нашем городе. Почему в год несчастия и испытаний, посланных нам судьбой, мы будем слушать этого дьявола? В год, когда холера косит людей по Европе, у кого хватит бесстыдства вместо помощи несчастным идти на концерт? Не он ли, этот иностранный скрипач, привез в Англию страшную болезнь, и все для того чтобы выкачивать по городам Великобритании деньги, которые могли бы пойти на помощь несчастным? Не совершайте порочной ошибки, не ходите слушать это музыкальное чудовище, которое приехало из чужих стран для того, чтобы с алчным корыстолюбием обмануть наивность Джона Буля». Подписано: «Филадельфус».

Концерт состоялся, но цели своей афиша достигла. Высшая степень депрессии сопровождала будни Паганини.

Гаррис был удивлен, найдя пять экземпляров этой афиши на столе в комнате Урбани, когда вернулись в Лондон.

— Зачем вам это? — спросил он Урбани.

— Понадобится. Необходимо найти этого негодяя.

Гаррис покачал головой.

В Лондоне — новая причина для раздражения. После возвращения из путешествия в Ирландию и Шотландию Паганини писал синьору Паеру:

«Я публично выступал по меньшей мере тридцать раз. Мне казалось, что любопытство англичан к моей внешности должно быть удовлетворено. Однако, несмотря на наличие огромного количества портретов, англичане не довольствуются этим зрительным впечатлением. Я не могу

выйти из дома, где я живу (к счастью, это не гостиница), без того, чтобы меня не провожала толпа людей. В гостинице это было прямо ужасно. Я не мог показаться в коридоре. Но здесь на улицах еще хуже. Целые толпы следуют за мной, сопровождают меня, идут рядом, окружают меня, загораживают дорогу, обходят вокруг меня, словно я какой-то столб, и даже, очевидно, не считая меня живым и не относясь ко мне как к человеку, ощупывают меня, словно желая удостовериться, состою ли я из мяса и костей, и обращаются ко мне с нелепыми вопросами на языке, которого я не понимаю. И это не только английское простонародье. Это позволяют себе и люди, которые по-видимому, принадлежат к благовоспитанному обществу».

Паганини впервые почувствовал свое страшное одиночество. Он действительно избегал гостиниц. Воспользовавшись предложением одного из друзей Лапорта, он поселился у господина Ватсона на Карлсен-стрит. Там он ощущал полный покой, и только много времени спустя ему пришлось расплачиваться за эту снисходительность судьбы.

Странные противоречия его характера сказались больше всего в месяцы пребывания в Лондоне. Он то соглашается на уроки в аристократических домах и внимательно, подолгу занимается со своими учениками, обнаружив в этих занятиях весь свой неожиданно развернувшийся педагогический талант, то пишет дерзкий ответ на предложение короля Георга IV играть во дворце.

Его королевское величество предлагает Паганини небольшую сумму денег и просит приехать вечером в Виндзор. Паганини пишет, что его величество может взять билет в каком-либо ряду партера лондонской оперы, это будет стоить его величеству дешевле.

Господин Ватсон в ужасе от этого поведения. Никто так не осмеливался оскорбить короля, как этот зазнавшийся скрипач.

Настал час отъезда из Англии. Паганини снова едет в Париж. Три дня проходят в сборах, три дня слышит Паганини в соседних комнатах плач девушки. Мисс Ватсон прячется от скрипача в иные минуты, это значит — она крупно не поладила с отцом и боится показать заалевшуюся, как вишня, щеку. Она не выходит даже проститься с синьором Паганини. Лошади благополучно доставляют Паганини, Ахиллино, Гарриса, Урбани, фрейлейн Вейсхаупт на пристань в Дувре. Внезапно исчезает Урбани, потом он появ-

ляется, держа под руку плачущую женщину. Она отнимает платок от глаз и бросается к Паганини.

— Спасите меня, сэр! — кричит она, схватившись за него обеими руками.

— Да, маэстро,— говорит Урбани,— я брал билеты и увидел эту девушку. Она еще в Лондоне просила меня ей помочь.

— В чем дело? — спрашивает Паганини.

Девушка признается, что она бежала из семьи, где жизнь становится невозможной, и что она давно просила Урбани ей помочь. Господин Урбани был настолько добр, что обещал приискать ей уроки английского языка во Франции. Паганини со скучающим видом пожимает плечами.

В Булони Приморской три дня живут в гостинице.

Паганини чувствует себя плохо. Он простужен, головная боль не позволяет открыть глаза. Урбани уговаривает его принять услуги мисс Ватсон, но, прежде чем Паганини успевает ответить что-нибудь, в комнату врывается разъяренный отец вместе с полицейским комиссаром. Происходит дикая сцена. Паганини, с трудом поднимая веки, произносит проповедь о необходимости бережного обращения с детьми.

— Я никогда пальцем не позволил бы себе тронуть своего Ахиллино, а вы бьете девушку, которую пора выдать замуж.

— Негодяй! — кричит Ватсон.— Похититель! Разбойник! Арестуйте его! — вопит он, обращаясь к комиссару.

Полиция составляет протокол. Урбани внезапно исчезает.

В протоколе значится, что еще в Лондоне синьор Паганини обещал родителям мисс Ватсон четыре тысячи гиней, а самой мисс Ватсон бриллиантовую диадему и алмазное колье, которые были куплены и даже находятся в чемодане синьора Паганини.

Растерянный Паганини не знает, что ему делать. Он открывает чемодан, демонстрируя полное отсутствие каких бы то ни было женских украшений и подарков. Но полиция охотно идет навстречу великобританскому подданному, и 26 июня 1834 года булонская газета сообщает:

«Знаменитый Паганини, которого мы так ценили и расхваливали как артиста, но характер коего как человека в высшей степени опорочен справедливыми указаниями на всевозможные скандальные происшествия, случавшиеся с ним в жизни, заключил в Лондоне с некиим господином Ватсоном условия, в силу которых господин Ватсон предо-

ставил синьору Паганини возможность спокойного и удобного проживания в Лондоне. Паганини не довольствовался этим. Покидая Лондон, он не только не заплатил условленных сумм господину Ватсону, но соблазнил его дочь и, тайно похитив девушку, скрылся с ней из Лондона».

Урбани принес этот лист скрипачу, и тут даже Гаррис посоветовал написать объяснение. Паганини писал в булонский «Аннотатёр»:

«Милостивый государь, Вы обвинили меня в похищении шестнадцатилетней девушки. Моя честь загрязнена. Теперь потрудитесь восстановить истину.

Сообщаю Вам, что господин Ватсон, который выступает в качестве моего клеветника, женился второй раз, и мачеха той молодой особы, похищение которой Вы мне приписываете, не только сама обращалась с мисс Ватсон жестоко, но и заставляла отца буквально преследовать дочь своими придирками. Я не вмешивался в эти семейные дела.

Те деньги, которые господин Ватсон самым обычным образом брал у меня взаймы после каждого моего концерта, превратились, оказывается, в плату за квартиру — в тот момент, когда наступил час моего отъезда. И это мною было игнорировано.

Сообщаю Вам, что отношения между господином Ватсоном и мисс Уэльс, которая заступила место его первой жены, указывают на существование каких-то тайных связей с лицами, находящимися в тюрьме, и это чрезвычайно болезненно сказывалось на состоянии дочери господина Ватсона, которой, кстати сказать, не шестнадцать лет, а восемнадцать. Совершенно аморальная обстановка, чрезвычайно не похожая на семейную, возникла в доме господина Ватсона. Я не имел бы оснований это писать, если бы не взял под свою защиту сейчас репутации его дочери, девушки, для которой ничего другого не оставалось, кроме побега из родного дома. Имел ли я право, по долгу чести, отказаться от помощи девушке, которая случайно встретилась со мной почти уже на палубе пакетбота? Она по собственному движению души просила у меня помощи, я никогда не советовал ей бежать из дому, не рекомендовал ей уезжать никуда со мной. Но я неоднократно предлагал самому Ватсону все средства для того, чтобы устроить его дочь жить самостоятельно, если она настолько в тягость ему и его новой подруге жизни. Я делал это открыто, не сговариваясь с самой мисс Ватсон».

Паганини повторил ошибку, сделанную когда-то в Вене: следующие номера европейских газет в течение двух месяцев перепечатывали, по-своему комментируя и иска-

жая ее, докладную записку Паганини, как они называли его оправдательный документ. А сам «Аннотатёр» написал пространное возражение против объяснения Паганини:

«Мы отвечаем господину Паганини, что, несмотря на необыкновенную ловкость рук, проявленную в подтасовке фактов ради своей защиты, он ничего не в состоянии ответить, кроме того, что девушке восемнадцать, а не шестнадцать лет, и что девушка согласилась за ним последовать не из дома отца, а присоединилась к нему в дороге.

Факт остается фактом. Во всех странах мира существуют законы, ограждающие невинность и молодость от покушений тех, кто в силу своего социального положения, не обладая ни религиозностью, ни христианской честностью, приближается к невинности девушки якобы с педагогическими намерениями, хотя сам имеет все признаки моральной распущенности. Необходимо отметить с негодованием, что «покровительство» подобного рода есть просто злоупотребление, имеющее целью обесчестить предмет этого покровительства.

С бесстыдством и наглостью господин Паганини, этот безнравственный иностранец, вторгшийся в семью Ватсона, осмелился разыграть роль отца, в то время как на самом деле он, ведущий распутный образ жизни, сам нуждается в исправительных мерах.

Обратите внимание на аргумент Паганини, который он приводит в свою защиту: он, дескать, не мог предчувствовать, что мисс Ватсон покинет Лондон по собственному побуждению, когда мы имеем свидетельства, что его агент, по имени Урбани, разыскивал перед посадкой в пакетбот дочь сэра Ватсона, для того чтобы сообщить ей час отхода, и настойчиво звал ее на палубу. Нам кажется, в заключение, что лучше было бы господину Паганини хранить молчание о происшедшем, нежели выступать с такой несчастливой аргументацией в свою защиту».

Отъезд в Париж пришлось отложить, но из попытки устроить суд над Паганини тоже ничего не вышло. Этому помогло довольно странное стечение обстоятельств.

Внезапно исчез Урбани. Гаррис с яростью и упорством повел расследование приключения. И перед ним раскрылся смысл поведения этого человека. Господин Ватсон и Урбани плохо сговорились. Гаррис перехватил их переписку и вручил ее Паганини. Совершенно отчетливо Паганини увидел всю последовательность событий. И ожесточенная торговля между Урбани и Ватсоном, у которого разгорелись глаза при виде колоссальных гонораров Паганини, и предшествовавшая работа Урбани вдруг показали Паганини,

что он, Паганини, сделался жертвой колоссального шантажа. Он увидел напряженную работу Гарриса, скромную, протекающую изо дня в день без шума и показной суеты.

Господин Ватсон с синьором Урбани выработали план выкачивания денег из Паганини. Было условлено, что Урбани уговорит молодую девушку, взбалмошную по природе и к тому же оскорбленную жестокой мачехой, бежать из родного дома и разыграть роль жертвы, бросающейся в объятия к странствующему скрипачу. Эта роль понравилась ей, а Урбани, действуя якобы от имени Паганини, настолько уверил ее в легкости побега, что она, по уговору с ним, приехала на дуврскую пристань, и только там, когда количество свидетелей оказалось достаточным, Урбани инсценировал ее побег с Паганини.

Ватсон, заблаговременно знавший обо всем от Урбани, нанял агентов и сам одновременно с Паганини приехал в Дувр. Здесь у него начались столкновения с Урбани: Урбани вел дело к тому, чтобы организовать крупный скандал вокруг имени скрипача, интрига должна была кончиться тюремным заключением Паганини. У Ватсона были более скромные намерения: его не интересовала судьба синьора Паганини, он хотел лишь сорвать как можно большую сумму денег, привезти дочь обратно в Лондон и зажить припеваючи. Эта легкая форма заработка ему казалась гораздо целесообразнее, нежели длительная возня с судебным процессом в Булони и Париже, где пришлось бы выбрасывать деньги на номер в гостинице и на другие жизненные нужды.

Гаррисом были представлены в булонскую полицию документы, изобличавшие Ватсона, и тому пришлось немедленно, вместе с дочерью, вернуться в Лондон. План той организации, которая поручила Урбани нанести «решительный удар», потерпел крушение. Урбани должен был немедленно исчезнуть с пути.

После этой истории начались скитания Паганини из гостиницы в гостиницу: всюду высоконравственные обитатели требовали его выселения. Так продолжалось, пока дело не было наконец полностью прекращено. Получив разрешение на выезд, Паганини немедленно уехал в Париж.

Меньше чем через час после остановки лошадей на улице д'Анфер он был у Фердинанда Паера.

Сильно постаревший за это время, Паер встретил своего ученика очень тепло.

Расспросив Паганини о том, что делается в Англии, рассказав, со своей стороны, о нарастающем волнении во французских городах, о событиях в Лионе, Гренобле и Па-

риже, старый учитель Паганини перешел к тому, что его больше всего занимало.

Он показал Паганини статью Берлиоза, молодого композитора.

— Что он имеет против тебя? Смотри, выступление в «Литературной Европе». Кто такая мисс Смитсон?

— Мисс Смитсон? Не знаю.

— Однако тебя обвиняют в том, что она осталась нищей.

— Первый раз слышу,— сказал Паганини.— С Берлиозом у меня только раз был разговор,— вспомнил он вдруг и нахмурился.— Он приходил ко мне советоваться относительно партии альта для пьесы «Мария Стюарт». Я сказал, что эта партия мне не нравится, и посоветовал ему переписать все произведение.

Паер кивнул головой.

— Он это выполнил. Но вернемся к госпоже Смитсон. Так ты говоришь, что не отказывал ей ни в чем?

— Ко мне никто не обращался.

— Берлиоз обвиняет тебя в том, что ты отказал ей, когда она просила тебя сыграть небольшую арию в день ее бенефиса.

— В таком случае,— сказал Паганини, пожимая плечами,— меня могут обвинить все артисты мира, на бенефисе которых я не играл.

Паер внезапно рассмеялся.

— Берлиоз женился,— сказал он.— И как это ни странно, в день свадьбы он написал свой знаменитый «Марш человека, идущего на эшафот». «Марию Стюарт» он переделал, теперь это произведение называется «Гарольд в Италии». Я сильно подозреваю, что твое увлечение Байроном заразило Берлиоза.

— Не знаю, как далеко пойдет эта зараза,— с досадой заметил Паганини,— но я вижу, что сейчас Берлиоз занял враждебную мне позицию. Знаете, учитель,— сказал он, вставая,— раньше я не так сильно чувствовал житейские уколы. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хочется видеть родной город. Я устал от Парижа. Жизнь идет с такой невероятной быстротой, что куда-то уходят и уходят физические силы. Знаете, как странно я провожу время? Я должен почти все время лежать, Гаррис настаивает на консилиуме врачей в Париже. Самое странное то, что все намерения, возникающие из человеколюбивых побуждений, истолковываются как намерения эгоистические. Все поступки, которые совершаются с желанием сделать людям добро, бывают встречены как злой умысел. И я чувст-

вую, что я накануне того дня, когда внезапно начну делать людям зло для того, чтобы они ощущали его как благодеяние.

— Ты все еще сохраняешь способность смеяться,— улыбнулся Паер.— Кстати, я могу тебя поздравить: у тебя есть последователи и почитатели. Лист усиленно работает над переложением твоих скрипичных пьес для фортепьяно. Шуман занят тем же самым. Как это ни странно, но вереницу твоих последователей начинают пианисты: скрипка после тебя замолкнет. Я слушаю Листа с величайшим наслаждением. Твое влияние на этого человека огромно.

Два концерта, данных Паганини в Париже, не были отмечены никак парижской прессой.

— Что это, заговор молчания? — спрашивал Паер.

15 сентября господин Жюль Жанен разразился огромным фельетоном в «Журналь де деба». Вся статья несла на себе печать личной заинтересованности и была очень острой и едкой. Жюль Жанен возмущался чрезвычайной алчностью и скаредностью великого скрипача.

Паганини был поражен этими нападками журналиста, тем более что непосредственно перед этим он как раз дал два концерта, сбор с которых целиком пошел в комитет помощи беднейшему населению Парижа и местностей, пострадавших от наводнения. Это умолчание о бесплатных концертах и яростные наскоки Жюля Жанена заинтересовали Паганини больше, чем какой бы то ни было хвалебный отзыв. Он вместе с Гаррисом направился в редакцию журнала.

Запыленные, прокуренные комнаты, грязная лестница, огромное количество столов и необычайная теснота были первым впечатлением Паганини от этой фабрики литературных мнений и политических сплетен.

Жюль Жанен сидел на высоком стуле перед громадной конторкой, заваленной гранками и рукописями. Ножницы, банка с кистями и клеем, вороха газет на столах, пол, усыпанный обрезками бумаги; в качестве главного повара этой кухни господин Жюль Жанен вносил в обстановку романтический беспорядок. Очевидно, в его характере неряшливость сорбоннского студента дополнялась навыками старого холостяка, хотя по своему окружению Жюль Жанен не был похож на человека холостого. Наоборот, он восседал на своем стуле наподобие гордого шантеклера в покорном ему курятнике.

Гаррис метнул острый взгляд в угол, где три хорошень-

кие мордочки склонились над чьим-то письмом. Девицы оглашали воздух забавными восклицаниями в таком роде: «Этот болван думает, что его напечатают! Вот идиот, он вздумал опровергать!»

Приход Паганини и Гарриса не остановил потока этих восклицаний. Но вот шантеклер, сидящий на насесте, заметил присутствие посторонних лиц.

— Тише, девочки! — закричал он.

Расправляя затекшие ноги, он встал и протянул руку Паганини с таким видом, как будто встретил старого, давнишнего друга. Он не ломался, он сразу узнал Паганини, он показал, что нисколько не удивлен, ожидает возражений и охотно идет навстречу требованиям скрипача.

Разговор был короткий. Дважды пришлось нахмуриться господину Жанену при слове «шантаж». Паганини говорил холодно, заявляя, что собирается возвращаться в Геную и что он уже два раза концертировал, не получив от этих концертов ни франка.

Быстро записав слова Паганини привычным пером журналиста, закругляющим фразы, Жюль Жанен показал написанное. Паганини кивнул головой. Мир был как будто бы восстановлен, и, когда после ухода скрипача и его секретаря поднялся птичий гам и щебет в курятнике редактора, девушки, создающие общественное мнение и регулирующие настроение этого поглощенного своим величием журналиста, были немало удивлены простым и категорическим приказанием — напечатать в следующем номере письмо Паганини. Словесные комментарии Жанена были далеко не лестны для скрипача.

Порывшись в последней почте, Жюль Жанен вздохнул:

— Еще бы этому Скапену и Гарпагону не дать двух концертов в пользу французских бедняков, когда наш итальянский корреспондент сообщает, что состоялась при помощи господина Алиани покупка виллы Гайона, около Пармы. Господин Паганини будет жить в истинно княжеской роскоши, в собственной вилле. Он может бросить кость французской собаке.

Действительно, Гаррис уговорил Паганини начать переговоры о покупке какого-нибудь жилища и прекратить надолго скитальческую жизнь. Гостиницы, придорожные трактиры и мальпосты становились все более вредными для здоровья скрипача. Гаррис с ужасом замечал чудовищное похудание Паганини. Самые узкие костюмы висели мешком, рукава болтались, как на палках, всякий ворот оказывался слишком широким.

Как это ни странно, но чем больше физические силы Паганини шли на убыль, тем тоньше и прекрасней становилась его игра. Когда Паганини закрывал глаза, его трудно было отличить от покойника, лежащего в морге, от рабочего, умершего на газовом заводе Парижа, от венецианского стекольщика, отравленного ртутью, от стеклодува, погубившего свои легкие у громадных стекольных печей острова Мурано при изготовлении фантастических цветных стекол лучшей стекольной фабрики в мире. Но вот когда открывались эти глаза, в них горел спокойный огонь колоссального творческого напряжения и энергии. Никакого сожаления о своем здоровье не испытывал этот артист. Он беспрестанно увеличивал наполнение своих суток. И часто Гаррис видел, как ночью в белом длинном одеянии, еще больше подчеркивавшем его сходство с призраком, артист брал скрипку, смычок беззвучно скользил по струнам, проворные пальцы бегали, как белые мыши по деревянному мостику между клетками. Потом, не освобождая скрипки, зажатой подбородком, Паганини доставал карандаш и нанизывал тончайшие узоры на узкие нотные линейки. Из этих сложных письмен вырастало новое творение гения.

Гаррис заносил в свою тетрадку однажды утром:

«Когда я сидел и писал, он начал первые вступительные фразы божественного бетховенского скрипичного концерта. Писать порученное им письмо было при этом невозможно. Я отложил перо в сторону. Тогда Паганини спросил меня, знаю ли я, что он играет. Я ответил утвердительно. Он на это сказал мне: «Я еще сыграю вам до конца этот концерт: раньше, чем мы с вами расстанемся в этой жизни». Мне казалось, что он забыл свое обещание. Однако наступил день, когда у него было два молодых пианиста, ученики его учителя. Внезапно, по знаку Паганини, один из них сел за рояль и стал играть. Я весь превратился в слух, узнав бетховенский скрипичный концерт. Я никогда не забуду улыбки бледного, худого, истомленного лица Паганини, каждая черта которого говорила о неимоверной боли его физического существа. Паганини был мучеником физических страданий. Он играл концерт Бетховена, и играл его так, что душа разрывалась на части и люди, слушавшие его, не знали, находятся ли они на земле и продолжают ли они обычное свое существование. Он играл и как только кончил, то, прежде чем кто-либо мог прийти в себя, он уже скрылся в своей спальне, не простившись ни с одним из присутствовавших. Каждый концерт стоил ему года жизни. В чем состояла болезнь Паганини, не мог определить ни один врач».

Глава тридцатая
СОЖЖЕНИЕ СУЕТ

28 июля 1835 года Генуя вдруг почувствовала, что она — родной город скрипача с мировым именем. Генуя, которая во время детства Паганини отнеслась к нему с таким жестоким пренебрежением, теперь вся была охвачена стремлением присвоить себе славу города, подарившего миру великого скрипача. Для магистрата и отцов города стало делом чести устроить Паганини, приезжающему из Северной Европы, блестящий прием. Маркиз Джанкарло ди Негро — из побуждений более бескорыстных — поспешил выстроить «земной парадиз» специально для того, чтобы дать там великолепный праздник в честь прибытия Maestro insuperato. Все, что может дать природа этих широт, было собрано в павильонах и садах ди Негро.

...Мраморный бюст возвышается у входа в роскошный тропический сад. Торжественная встреча на лестнице, охраняемой фавнами и нимфами, ожидает Паганини. Скрипач еще не появился, он совсем готов начать концерт, но все не выходит из своей комнаты. Он охвачен колебаниями и подавлен налетевшими на него, неведомыми прежде чувствами. Шесть лет, прожитых вне Италии, проведенных в карете, в концертных залах, в гостиницах. Прекратится ли эта скитальческая жизнь теперь, когда синьор Паганини обставит свое новое жилище с княжеской роскошью и когда родина откроет ему свои объятия?

Родина ли? Давно пережитые прогоркшие воспоминания. За шесть лет произошло много событий, водой времени смыты родственные связи. Умерла мать, отец трижды посылал Гаррису угрожающие письма, не довольствуясь ежемесячным содержанием, которого хватило бы на четырех отцов. После смерти матери жена брата сделалась предметом старческих исканий. Со всей остротой итальянского темперамента встретил сын этот удар судьбы. Была поножовщина. Под громкие крики соседей, на глазах у похолодевших от ужаса внучат старик был скручен веревками и выгнан из собственного дома. Семья разъехалась, старик умер.

С Гаррисом расставаться было тяжелее всего. Как долго и принужденно говорились бодрые, веселые слова, как грустно складывались старческие морщины на седых небритых щеках еще молодого Гарриса. Но вот сказаны последние слова прощанья. Последнее рукопожатие. Запылила дорога, и Гаррис, сутулясь, пешком пошел от париж-

ской заставы. Ахиллино — в надежных руках. Здесь, в Генуе, австрийский лейтенант из свиты Марии-Луизы и его сын все время находятся около Паганини. В Генуе мальчика принимают за Ахиллино, и это избавляет Паганини от множества тревог и забот. Каждый день в ту комнату маркиза ди Негро, которую занимает Паганини, приносят гелиограммы. Световая депеша сообщает ему короткие слова, обозначающие, что мальчик жив и здоров, что охрана надежна и что никто, кроме одного человека, не знает, где находится ребенок.

Герцогиня Мария-Луиза, жена покойного императора Франции, потеряла сына, но не потеряла веселости и дебелого спокойствия Юноны. Она прислала скрипачу из Пармы булавку с бриллиантами и большой золотой медальон, в котором сплетены пряди волос Наполеона Бонапарта, Марии-Луизы и белокурая прядка герцога Рейхштадтского, ее покойного сына, никогда не царствовавшего Наполеона II.

Трижды сворачивала с дороги, которая ведет на виллу Гайона, большая карета, привезенная богатым синьором Паганини из Лондона. Трижды он миновал ту дорогу, которая вела в его постоянное жилище. Вышло так, что вилла Гайона, почти достроенная и готовая, не увидела своего хозяина. Вот дорога, усаженная кипарисами, вот зелень мирт. Площадка открывается вдалеке, там начинается поле, за полем лес, и в лесу — крутой и холмистый путь. Паганини был там только однажды, в детские годы. А теперь первые два раза он проехал мимо поворота в собственный дом Паганини, просто позабыв о существовании виллы Гайона; в третий раз он внимательно осмотрел каждую тропинку, открывавшуюся из окон кареты, сердце слегка сжалось при мысли о том, что, быть может, он никогда не увидит этого жилища, где должны окончиться его скитания.

Сильно пошатнулось здоровье, но равновесие душевных сил было полное. Было ощущение обладания всем могуществом таланта. Больше чем когда-либо, чувствовались неисчислимые возможности магического воздействия скрипки на людей, и не было трудностей, которые могли бы остановить Паганини на пути к достижению предельных высот искусства.

Словно иглами кололо язвы в гортани, каждый звук скрипки сопровождался этой болью, и чем тоньше и лучше он выполнен, тем острее боль. Но чем полнее было угасание естественного человеческого голоса, тем полнее становилась выразительность игры этого человека. У слепого

изощряется осязательный опыт. Паганини, потеряв голос, научил скрипку выражать всю полноту его мысли и чувств.

Он шел среди всплесков и криков влюбленной в него толпы. Вот он спустился по лестнице, вот он в саду, вот он в беседке, на свежем воздухе, среди сотен и тысяч слушателей.

Вот, в виде приветствия, Паганини берет смычок, и ясно, как никогда, перед ним всплывают картины его прошлого. Он играл, взяв тему Бетховена. Берега никогда не виданных стран и, быть может, еще не созданные миры, и надо всем — угрожающий стук судьбы в дверь. Эта «песнь судьбы», как черное небо вселенной, открывшееся в жаркий полдень июля, как голос смерти, вдруг прервала бесконечную кантилену, и вот — странная, не слыханная ни разу фермата. Этот длительный, не затихающий, тянущийся бесконечно долго звук, поневоле заставивший затаить дыхание тысячи людей, слушавших его, сначала вызвал вздох немого восхищения, а вслед за тем заставил людей испытывать мучительное томление. Нечеловеческая длительность этого звука, этой последней затянувшейся ноты, подавляла. Казалось, что эта нота сейчас оборвется, истощенная яростным движением смычка. Но она, обманув ожидание, приобрела новую силу и волной толкнула человеческую кровь к вискам. Напуганные, смущенные и утомленные слушатели в изумлении смотрели друг на друга, словно стремясь проверить свои впечатления по глазам других, словно стремясь проверить, во сне или наяву продолжается этот волшебный, усыпляющий звук. Это был настоящий Бетховен, это была песнь судьбы, но песнь судьбы, пропетая единственный раз в мире скрипачом. Первый раз Паганини создал музыку уничтожения и небытия, и в ней послышалось ему самому ужасающее дыхание смерти. Песнь судьбы превращается в похоронный звон, в стук костей — в гулкие удары кусков земли о крышку гроба.

Напряжение толпы граничило с безумием, когда без всякого перерыва и перехода раздался звон колокольцев: на поле, среди цветов, легкие, легкомысленные, воздушные, в облачных, дымчатых, розоватых, голубоватых, зеленоватых одеждах, танцуют с посохами и гирляндами изящные пастушки́ в камзолах, в белых париках и элегантные пасту́шки в мушках и полумасках. Как марево вечерних облаков, исчезает это видение, ничего не оставившее от бетховенских звуков, и внезапно в сером тумане опять возникает голос басовой струны. Вливается сутолока вечерних улиц и притонов нищеты, протягиваются морщи-

нистые, костлявые руки, продавцы живого товара громкими выкриками оглашают рынок. Потом внезапно слышится скрип и мерзкий крысиный писк. Кто-то бежит по деревянной лестнице в мансарду, но тысячи отвратительных злобных животных настигают его. Начинается борьба, ожесточенные животные вонзают свои зубы в теплое, живое человеческое мясо. Дикие звуки переходят в барабанный бой. Что же осталось от Бетховена? Величавая торжественность суровой музыки сменяется фантасмагорией Паганини. Страшные всплески звуков увлекают за собой. Люди не смотрят друг на друга. А сверху — ясное генуэзское небо с тысячами звезд. И где-то вдалеке слышатся пение и плеск морских валов. Никто не замечает очарования этой ночи, все взоры устремлены на черную точку — мрачную фигуру Паганини. Вот он откидывает голову влево и, как палач, с размаху срезавший голову, вонзает смычок в четыре струны, и струны, повинуясь, издают вопль, дисгармонический и страшный.

...Врач в комнате маркиза держит Паганини за обе руки. Скрипач заснул, но его нельзя оставить, у него едва слышен пульс и почти не бьется сердце. Была минута, когда он превратился в труп, и только зеркало, приложенное к губам, дало слабый след тумана.

За стенами дворца бродит маленький человек, держа четыре пергаментных листа с готовым нотариальным текстом, отпечатанным по старинной форме. Он заявляет, что синьор Паганини еще с утра заказал завещание и приказал принести его на подпись. Он показывает письмо самого синьора Паганини, оно адресовано генуэзскому главному нотариусу. Поручение великого маэстро исполнено, и так как контора работает безукоризненно, то нет никаких оснований для промедления.

Его не пускают, но он заявляет, что сейчас должен приехать некто всесильный, могущественный, тот, перед кем открываются двери всех дворцов, и маленький человек войдет с ним вместе, и синьор Паганини подпишет те заветные слова, которые он выносил в сердце и заказал напечатать на пергаментном свитке, с тем чтобы все его родственники были довольны, если господу богу угодно будет унести его душу из этой юдоли печали.

Проходит полчаса, никто не приезжает, что-то задержало того человека, на которого ссылается этот маленький клерк. Проходит час, и человек, закутанный в черный плащ, сопровождаемый маркизом ди Негро, садится в карету и уезжает.

Бесконечные переулки, и вот наконец тупик, выход из

которого возможен только через проход в доме. Это Пассо ди Гатта Мора. Здесь когда-то мальчуган Никколо выпрашивал лишнюю горсточку макарон, здесь голод и непосильный труд истощали организм, который спустя много лет болезнь заставила платить по векселям. Великий дух в маленьком и хилом теле одержал победу и торжествовал, но настал час расплаты, и каждый скрупул сил теперь на счету.

Вот дом, где умерла мать. Отсюда совершен был побег на Швейцарские Альпы, и здесь измученный тяжестью дороги ребенок выходил, вооруженный маленьким корявым смычком, на поединок с огромной тяжелой скрипкой, сражался с ней по четырнадцати часов в сутки, без сна и отдыха.

Черная карета колесит по ночным улицам Генуи, но Паганини не хватает воздуха. Он отсылает кучера, выходит по мраморным ступенькам на площадь, и, как тогда, в дни бегства от отца, после первого сумасшедшего выигрыша в ночном притоне, вступает в сердце могучее чувство независимости, свободы от людей. Крадучись вдоль стен, Паганини минует первый квартал. Ничего не слышно, улицы пустынны. «Только на родине, только в местах, осененных воспоминаниями детства, чувствуешь близость своего конца так ярко и безутешно»,— думает Паганини, прислушиваясь к звукам своих шагов, к тихим всплескам приближающегося к нему моря. Зависть к самым простым людям, населяющим этот благословенный берег, возникла в душе Паганини. Он ускорил шаги навстречу шумящим и беспечным волнам. Он не видел, как маленький человек, словно крыса, шмыгнул мимо, быстро пробежал на язычок белого мола, к маяку Дарсена Реале.

Паганини, скинув плащ, расстегнул сюртук, снял галстук и швырнул его в море. Открыл грудь навстречу соленому ветру и твердыми шагами вступил на каменный мол. Узкая полоса огромных камней с обеих сторон сдерживала натиск соленых валов, брызги взлетали на якорные кольца позеленевших, обожженных ветром каменных глыб. Паганини шагал по шершавым камням, не боясь вздымающихся волн прибоя. Он слышал пение моря, вдыхал свежий морской воздух с таким чувством, будто к нему возвращалось детство. Он не видел, что человек, отдавший всю жизнь яростной, звериной злобе против него, стоит на конце мола, у высокой колонны маяка, и, не спуская глаз, следит за ним. Паганини не видел этого человека, он прямо шел на него, и Нови казалось, что Паганини не только видит его, но и приковывает своими черны-

ми глазами к камню. И если Паганини не подозревал о том, что он сейчас не один на камнях мола, то Нови был олицетворением ненависти и испуга. Ему внезапно показалось, что приближается последняя минута и что тот, кого он всю жизнь преследовал, сейчас к нему подойдет и могучими пальцами, обладающими силой стальной пружины, схватит за горло. Этот чудовищный страх сдавил глотку Нови, он хотел кричать, но голос ему не повиновался. Он хотел броситься в ноги Паганини, но руки и ноги были налиты свинцом.

Пение валов, крики чаек, проснувшихся и летающих над маяком, все приближались, оглушая скрипача, упоенного зрелищем и музыкой моря. Паганини не видел, как маленькая человеческая фигурка в испуге попятилась, чтобы спрятаться за маяк, и, не рассчитав движения, с воплем, похожим на вскрик чайки, неожиданно сорвалась с мола. Паганини дошел до маяка и уже шагал обратно, не подозревая, что в эти секунды оборвалась жизнь.

...Утром Паганини чувствовал себя хорошо. На песчаной отмели работал старый рыбак, исхудалый, морщинистый, горбоносый, перетянутый в талии морским канатом, с кожаным передником, на котором болтались снасти. Его маленький сын громко пел, помогая отцу. Прозрачные воды затихшего с восходом солнца залива золотились, над морем стоял утренний туман.

Паганини узнал лукавого Паскарелли из «Убежища», он узнал его, товарища детских игр, узнал по отсутствию левого уха, по большому шраму над левой бровью. Но рыбак не узнал Паганини. Он несколько раз поглядел в сторону человека, сидящего на камне, и делал по-прежнему свое дело с такой же заботливостью и размеренностью движений, как в мальчишеские годы, когда он пускал бумажные кораблики по лужам в Пассо ди Гатта Мора.

В час завтрака Паганини спустился из своей комнаты в большую столовую дворца ди Негро. Он ошибся дверью, и внезапное зрелище заставило его быстро захлопнуть дверь. Человек десять оживленно беседовали в этой комнате. Паганини услышал свое имя, произнесенное резким и недоброжелательным тоном. Он узнал эту женщину в широком ярко-голубом платье. Синьора Антониа почти не изменилась,— по крайней мере никаких перемен не заметил в ней Паганини, на секунду встретившись взглядом с этой дамой.

За завтраком маркиз ди Негро казался смущенным.

Откинув последний листок артишока, Паганини в упор посмотрел на маркиза и сказал:

— А теперь говорите.

Ди Негро густо покраснел. Он показал Паганини кипу французских газет, извещавших мир о внезапной кончине синьора Паганини от холеры в родном городе Генуе. Среди газет был большой коричневый конверт со множеством штемпелей и марок. Письмо фрейлейн Вейсхаупт и несколько крупных строчек, нацарапанных детской ручонкой. Ребенок заболел от испуга, теперь ему лучше.

Через час карета Паганини бешено мчалась на север.

Глава тридцать первая
СОШЕСТВИЕ В АИД

Синьор Фернандо Паер болен. Малибран, очаровавшая Англию своим голосом, не вернулась из великобританского турне. Во время концерта в Манчестере на последней ноте спетой ею арии она покачнулась и тихо упала на руки аккомпанировавшего ей Берио. Смерть наступила мгновенно и легко. Россини покинул Париж, навсегда оставив музыку.

Ахиллино здоров и счастлив, как никогда. Слухи о смерти отца оказались напрасными. Но синьора Антониа предусмотрительно оказывается всюду, где может умереть синьор Паганини. Она следует за ним по пятам в ожидании его смерти. «О счастливая тень! — думает Паганини.— Возможно, ей долго придется странствовать в Аиде».

Фердинанд Паер упрекает за внезапное исчезновение, за побег из Парижа, за отсутствие вестей. Он говорит, что наступает вечер его жизни.

Гарриса нет. Но как добросовестно выполнил этот бескорыстный друг все свои секретарские обязанности! Наем хорошего счетовода обеспечил синьору Паганини наличие толстой книги и большого сафьянового портфеля: там подытожены цифры состояния Паганини, там проложены дороги, по которым золото будет струиться ровным потоком по точно намеченным банковским дорожкам. Лаффит и Ротшильд наперебой стараются оказать услугу великому скрипачу. Господин Ротшильд даже превзошел самого себя. Он прислал синьору Паганини с первым директором своего парижского банка булавку для галстука, украшенную рубинами и бриллиантами.

Но враги Паганини также ни на секунду не выпускали его из поля своего зрения.

Однажды к синьору Паганини явились двое господ — Тардиф де Петивиль и Руссо-Демелотри — и предложили ему принять участие в организации музыкального дворца в столице столиц. Это, собственно, будет домом музыки, *каза* — по-итальянски дом. Так вот это будет *«Казино»*. Это будет дом с широко открытыми дверями, основанный обществом любителей музыки. В этом доме, как во дворце искусств, найдут себе приют и литература, и живопись, и музыка, и хореография, и архитектура; одним словом, это будет энциклопедическое учреждение, украшенное именем первого художника мира, синьора Паганини. Все готово. Господин де Петивиль купил отель «Жомар». О, это прекрасное место около шоссе д'Антен! Оно когда-то было владением финансиста времени французской революции, господина Перрего.

— Мы потому так охотно идем на выбор этого места,— говорили люди с двойными фамилиями, обращаясь к Паганини,— что синьор Перрего был итальянцем, а потом оно принадлежало Арриги, герцогу Падуанскому, и там, в сущности говоря, был учрежден первый банк вашего денежного патрона, господина Лаффита. Вы подписываете только устав и вот эти маленькие бумажки.

25 ноября 1837 года парижане впервые собрались в этом «Казино». Берлиоз в «Парижской хронике» на последней странице «Музыкальной газеты» поместил ядовитую и негодующую статью по поводу новой спекуляции синьора Паганини.

«Личное участие знаменитого скрипача в этом странном «Казино» будет выражаться в следующем: Паганини раз-другой пройдется по саду, если будет хорошая погода...»

Паганини пожал плечами: «Что нужно этому человеку? Я как будто сделал все для облегчения его судьбы».

Он не отказывал Берлиозу ни в одном музыкальном совете, отвечал на все его письма, но тем не менее в кругу близких знакомых, когда распущенность языка доходила до крайнего предела и когда оправдывалась поговорка о том, что самые большие предатели — это друзья, господин Берлиоз становился беспощадным в своем отношении к поклоннику Паганини, молодому Листу, которого ненавидел и которому завидовал, и в особенности к самому Паганини. Это имя вызывало у Берлиоза чувство суеверного ужаса.

Берлиоз обладал возможностью рассказывать о Паганини гораздо больше, чем многие из его музыкальных друзей. Еще бы, господин Берлен, крупный парижский финансист, содержатель газеты «Журналь де деба», приютивший

у себя Жюля Жанена, был в курсе всех сплетен о синьоре Паганини. Газета пользовалась услугами множества анонимных и открытых корреспондентов. Ежедневно почта приносила интересные эпизоды из жизни синьора Паганини. Редакция располагала даже кое-какими материалами, о которых не подозревал великий скрипач. А господин Берлен имел к этому непосредственное касательство, так как опера «Эсмеральда», поставленная по либретто господина Гюго и господина Фуше Берлиозом, была не чужда господину Берлену. Его дочь пела в этой опере, и если Берлиоз сплетничал о Паганини, то парижане имели еще больше оснований сплетничать о Берлиозе и его отношениях с дочерью господина Берлена. Но господин Берлиоз был женат, женат неосмотрительно, нерасчетливо, так как он тогда не был еще знаком с девицей Берлен. А теперь господин Берлиоз вынужден был влачить жалкое существование, и зачастую ему приходилось задумываться над тем, как расплатиться с прачкой. Поневоле приходилось быть хроникером «Музыкальной газеты», завтракать у Жюля Жанена, обедать у господина Берлена, от ужина воздерживаться и ложиться спать на тощий желудок, перечитав в сотый раз страницы дивного романа Бальзака «Шагреневая кожа». О, как похож эгоистический Рафаэль на синьора Паганини, с его волшебным могуществом скрипки, которое не в состоянии, однако, вернуть ему здоровье!

И вот однажды на почту сдается пакет с экземпляром «Шагреневой кожи».

Паганини читает трагическую историю Рафаэля, бедного парижанина, вошедшего, как и он, однажды в отвратительный игорный притон и поставившего последнюю монету. Странная встреча в антикварной лавке. Эта шагреневая кожа, которая отсчитывает часы и дни, уменьшаясь в объеме после выполнения каждого желания Рафаэля. Потом несметные материальные богатства, выполнение всех желаний и быстрое таяние жизни. День за днем, словно уносимые ветром листки календаря, бегут часы и минуты, подтачивая жизнь, и на глазах уменьшается объем когда-то огромной кожи онагра, висящей на стене. Вот ее старый контур, красная линия на белой стене, и вот нынешний ее объем. Крупнозернистая, лоснящаяся, с таинственной надписью на древнем языке, эта кожа символизирует запас дней и часов, оставшихся у Рафаэля. Берлиоз был прав, нанося этот удар. Его замысел удался. Паганини внезапно почувствовал полное сходство со своей судьбой.

События, развернувшиеся после возвращения Паганини в Париж, поражают необычайной согласованностью.

Шеф бюро полиции, господин Симоне, главный секретарь префектуры полиции господин Малеваль, «Музыкальная газета», представители духовенства, юристы и врачи Парижа, журналисты и рецензенты — все вдруг оказались исполнителями единого целеустремленного плана.

Гаррис, живя в Англии, получил письмо, извещавшее его о некоторых странных подозрениях, высказанных синьором Паганини по поводу ведения Гаррисом его финансовых дел. Гаррис написал Паганини письмо с предложением своих услуг и с просьбой установить истину. Паганини не получил этого письма. Гаррис счел сообщенное ему за истину и замолчал, не предлагая вторично своих услуг и скромно проживая в Брайтоне. Единственное, что он сделал, это написал своим английским друзьям в Нью-Йорк, предлагая пригласить Паганини в Америку и этим спасти его от неминуемой гибели в Европе.

Паганини получил вскоре извещение о том, что в его распоряжение будет прислан огромный океанский корабль, который может отвезти его в Новый Свет. Одиннадцатилетний Ахиллино был в восторге от этого плана, Паганини стал готовиться к отъезду. Он слишком громко говорил о своих приготовлениях, и те, кому нужна была его жизнь, нашли способ парализовать эти приготовления.

Если нужен был врач, являлся специальный врач; если нужен был юрист, являлся специальный юрист; если нужен был рецензент и представитель печати, то опять это была такая же маска все той же преследующей воли, которая принимала и личину врача, и личину юриста.

1837 год был годом решительного удара, годом, подготовившим осуждение и гибель Паганини. Талантливый и красноречивый адвокат NN ** на всех перекрестках и во всех залах, где его присутствия требовала профессия, кричал о безумии Паганини. «Не довольствуясь своим колоссальным богатством, Паганини вошел в компанию спекулянтов, ажиотеров и темных дельцов Парижа, устроивших на пустом месте и без денег «Казино».

Это заявление опытного адвоката повторялось всеми. И если бы Паганини больше обращал внимания на людскую молву, если бы он читал парижские афиши и газетные объявления, он увидел бы, что «Казино» — это вовсе не такая уж невинная благотворительная затея. Это — его доход. «Казино» — это детище Паганини. «Казино» и Паганини — это одно и то же.

Внося шестьдесят тысяч франков первого взноса на

организацию дома искусств, Паганини полагал, что он делает широкий жест благодарности мировому городу музыкальной культуры. А в это время авантюристы, растратив деньги скрипача, пользуясь его именем, влезли в колоссальные долги, начали крупные дела и сразу поставили Паганини перед фактом такой затеи, которая грозила полным его разорением, нисколько не отвечая его замыслам.

Мудрецы парижской юриспрудениции не вмешивались в эти дела, ожидая, что Паганини сам обратится к ним за помощью. Были среди них люди, ожидавшие еще большей путаницы, после которой Паганини должен будет как следует раскошелиться. А «Казино» с каждым днем все больше и больше приобретало сходство с ящиком Пандоры, наполненным бедами.

Господин Руссо-Демелотри оказался простым исполнителем воли и управляющим господина Тардиф де Петивиль. Господин Тардиф внезапно уехал из Парижа.

Господин Паганини обязан выступать ежедневно в «Казино», ибо публика, которой все это обещано, ждет его выступлений. Ей нет дела до того, что господин Паганини болен.

Это все очень смешно. Это какая-то шутка, в которую в конце концов вмешается французский закон и защитит великого скрипача, так охотно шедшего навстречу французам. Это же ясно как день. Паганини пишет письмо главному секретарю парижской префектуры господину Малевалю и получает извещение о том, что напрасно месье Паганини думает, будто французские законы будут защищать дикую спекуляцию, предпринятую неизвестными людьми: за оборудование «Казино» Паганини обязан немедленно внести двести тысяч франков, иначе ему грозит не только гражданский суд, но и вмешательство исправительной полиции.

На 7 марта назначен финансовый суд, и вот Паганини внезапно оказывается приговоренным ко всем колоссальным платежам, перечисляемым в письме Малеваля.

Паганини обращается к господину NN **. Господин NN ** пожимает плечами, говорит, что дело трудное, это все не так просто. Господин NN ** снисходителен, он все же обещает помочь синьору Паганини. И вот он начинает помогать. Каждый день он приезжает к синьору Паганини и начинает свои рассказы. Он привозит ему «Газету судебного трибунала». Он читает все, что написано о синьоре Паганини. Синьор Паганини — это обыкновенный шантажист с точки зрения полиции и парижского суда. Он затеял организацию «Казино» ради наживы и надул почтен-

нейшую публику, как старый и опытный спекулянт. Господин Паганини предается суду уголовной исправительной полиции.

— Это будет дорого стоить,— говорит NN **,— избавить вас от такого тяжелого наказания. Вы уже знаете, что Петивиль бежал из Парижа и увез все деньги «Казино». Он был в стачке со старой полицейской собакой Флери. Этот Флери теперь под судом. Недоволен вами также господин Симоне, он представил министру юстиции жалобу на вас, равно как и секретарь префектуры господин Малеваль представил министру юстиции аналогичную жалобу. Оба в качестве вещественного доказательства вашего шантажа представили министру те акции «Казино», которые вы им прислали в качестве взятки.

Паганини смотрит широко открытыми глазами человека, перед которым раскрывается пропасть. Но вдруг бешенство овладевает им, он топает ногами, выгоняет NN ** и решает приняться за дело сам.

16 марта опубликован приговор во всех парижских газетах. Синьор Паганини, организатор «Казино», обязан играть в «Казино», давая концерты без получения гонорара не меньше двух раз в неделю. Каждый концерт может быть заменен платежом со стороны господина Паганини в размере шести тысяч франков штрафа. В обеспечение все средства «Казино» объявляются находящимися под специальным арестом.

Ни о какой Америке думать нельзя. Взята подписка о невыезде синьора Паганини из Парижа. Так проходит время до августа месяца. Паганини мечется, как зверь в клетке. Болезнь осложняется, каждый вечер его трясет лихорадка, ночью преследуют кошмары, идет горлом кровь.

Какие-то лица по специальным пропускам полиции эксплуатируют помещение «Казино». Во вторник на масленице некая Сан-Феличе с подложным письмом Паганини выступала на эстраде «Казино». Потом она бежала вместе с кассиром, захватив все оставшиеся деньги. После этого господин NN **, брат жены парижского префекта Жиске, обращается из адвоката в истца. Он вызывает Паганини в суд и требует с него колоссальную сумму денег за ведение его дела. Паганини отвергает помощь NN **, но суд приговаривает Паганини к штрафу, NN ** удовлетворен. Паганини пишет письмо министру юстиции, и дело назначается к слушанию в палате.

Дворец юстиции — медленно работающая машина, теряются дела и документы. Заявления Паганини исчезают, словно они написаны на ледяных пластинках, тающих под

солнцем, и только журналы Франции и Европы печатают то с сочувствием, оскорбляющим Паганини, то с злорадством, угнетающим его, сообщения о его злоключениях. Нет великого скрипача, есть человек, бросившийся в омут шантажа, есть тяжело больной. Врачи стали интересоваться синьором Паганини.

Паганини пытается вырваться из парижского смрада. Он написал Лапорту письмо, в котором выразил пожелание дать концерты в Лондоне. Английские газеты указали дни и часы концертов. Паганини готовился к отъезду, но отъезд не состоялся: Дворец юстиции вспомнил, что Паганини просил о рассмотрении его дела, и послал синьору Паганини повестку, которая заставила отложить поездку в Лондон.

В тот день, когда до Парижа дошли сведения о том, что в лондонских газетах напечатан отказ Паганини от концертов, Паганини получил извещение: дело, назначенное к слушанию во Дворце юстиции, переносится на декабрь. Паганини не знал, что делать. Он был почти обессилен.

24 июня «Музыкальная газета» поместила письмо синьора Паганини, которое указывает, по мнению газеты, на крайнюю степень помешательства синьора Паганини. Письмо это любезно сообщено синьором Дугласом Ловедеем, дочери которого Паганини давал уроки игры на скрипке. Синьор Паганини требует с господина Дугласа Ловедея двадцать шесть тысяч четыреста франков за уроки. Новый взрыв негодования. Паганини делается жертвой невыносимой газетной травли. Люди, недавно восхищавшиеся его концертами, пожимают плечами и говорят: «Что сделалось с этим человеком? Двадцать шесть тысяч франков за уроки в течение какого-нибудь месяца! Да он с ума сошел!» И когда находились чудаки, говорившие, что тут что-нибудь не так, мудрые головы покачивались и раздавались голоса: «Вы не знаете этого человека».

Шесть недель Паганини тщетно добивается, чтобы напечатали его объяснения. Наконец представленные им доказательства оказываются настолько разительными, а угроза обращения непосредственно к Луи-Филиппу настолько действительна, что газета принуждена напечатать письмо господина Дугласа Ловедея, предшествовавшее письму Паганини.

В этом письме Ловедей требовал с господина Паганини за девяносто дней проживания у него, Ловедея, на квартире сорок тысяч франков. Кроме того, ввиду того что мисс Ловедей в Лондоне давала уроки маленькому Ахиллино,—

она ровно десять дней обучала Ахиллино игре на рояле,— господин Дуглас Ловедей, под угрозой суда, требовал с синьора Паганини две тысячи франков за урок. Письмо Дугласа Ловедея было составлено в самых категорических и твердых выражениях. В трехдневный срок синьор Паганини должен был выплатить шестьдесят тысяч франков.

Публикуя это письмо, Паганини добавляет:

«Я не давал уроков его дочери. Я ответил сэру Дугласу Ловедею простым указанием, что если фантазировать, то можно фантазировать так, как я этого захочу. За то, что я не давал уроков его дочери, взыскать с него двадцать шесть тысяч четыреста франков или вообще любую цифру, какая придет мне в голову. Я не касался,— пишет Паганини,— другого вопроса. Господин Гаррис, мой секретарь и друг, вовремя прекратил визиты брата господина Ловедея, которого сам господин Ловедей выдавал за знаменитейшего английского врача. Я не знаю, имеет ли этот человек медицинский диплом, но испытал странное состояние, чрезвычайно ухудшившее мое здоровье после первых приемов прописанных им лекарств. Гаррис раскрыл мне весь этот обман. Знаменитый врач поразил его требованием стофранкового гонорара за каждодневное посещение меня на квартире Ловедея даже тогда, когда эти визиты просто сводились к вопросу: «Как поживаете?» Я принужден был быстро покинуть квартиру господина Ловедея, причем Гаррис получил с него расписку о состоявшемся полном расчете».

Паганини боялся обращаться к врачам в Париже с некоторых пор. Будучи тяжело болен, 16 декабря 1837 года он слушал концерт Берлиоза. Вот этот странный музыкант, относящийся к имени Паганини с таким пренебрежением! Он, оказывается, пишет дивные композиции.

— Это чудо! — говорил Паганини, слушая «Гарольда в Италии».

На следующее утро Берлиоз написал своему отцу письмо: «Паганини, этот великий и благородный артист, поднялся ко мне и сказал, что в этот раз он растроган до глубины души концертом, ставящим меня на уровень Бетховена. Сейчас произошло событие, которое меня потрясло. Пять минут тому назад чудный двенадцатилетний ребенок Паганини Ахиллино передал мне письмо отца с вложением чека на банк Ротшильда, и я — обладатель двадцатитысячного состояния. Вот что пишет мне Паганини:

«Мой дорогой друг!

Бетховен умер, и только Берлиоз его оживил вчера. Я, вкусивший счастье слышать звуки божественных Ваших

творений, прошу Вас позволить мне исполнить долг перед гением: примите от меня, в знак благодарности, двадцать тысяч франков, которые можете получить от барона Ротшильда.

Всегда Вам преданный друг *Никколо Паганини».*

Неожиданно появилась новая заметка в «Журналь де деба»:

«Нет ничего в мире более жестокого, более несправедливого и более сурового, к моему стыду, нежели мои статьи, направленные против Паганини. Я был совершенно неправ, в глубине души я соглашался с тем общественным мнением, которое создалось вокруг имени Паганини. Жюль Жанен».

Невнятные строки Жанена ни слова не говорили об истинной причине его отказа от травли Паганини.

Бульварные парижские газеты подняли вой по поводу происшествия на концерте Берлиоза. Сказка о двадцати тысячах франков сделалась предметом самых веселых суждений о Паганини. Говорили о том, что Паганини дал Берлиозу не свои деньги, а что это мадемуазель Берлен упросила скрипача, тайком от отца, издателя «Дебатов», вручить Берлиозу ее сердечный дар: этим объясняется и заметка сотрудника «Дебатов», господина Жанена.

Лист в письме к Ортегу осудил этот жест благотворительности. Другие указывали просто на то, что Паганини вручил Берлиозу краденые деньги.

«Деньги, выигранные нечистыми картами, не могут принести пользу Берлиозу»,— писала газетка, выходившая на Итальянском бульваре.

Но Берлиоз был счастлив. Три года легкого труда, свободы и счастья. Теперь он закончит «Ромео и Джульетту».

«Я застал его одиноким, в большом зале,— писал Берлиоз сестре. — Ты знаешь: он лишился человеческого голоса; без посредства Ахиллино, его мальчика, нельзя понять, что хочет сказать Паганини. Когда он увидел меня, слезы показались у него на глазах, и я чувствовал, что могу разрыдаться. Понимаешь ли, Паганини плакал, этот дикий людоед и губитель женщин, он плакал, обнимая меня. «Не говорите. Мне не нужно ваших слов! Я сам получил радость, большую, нежели вы! — говорил он мне.— Вы дали мне ощущение давно утраченного подлинного искусства музыки». Затем, смахнув слезы, он вдруг со смехом ударил рукою по столу и начал быстро-быстро шевелить губами, смотря на меня с невероятной страдальческой выразительностью. Маленький Ахиллино переводил мне эти беззвучные слова.

«Я счастлив,— говорит Паганини,— я на вершине блаженства. Теперь вся эта сволочь, писавшая против вас, не осмелится повторять своей клеветы. Я — авторитет в музыке, и заявляю о признании вас великим музыкантом».

Берлиоз был действительно растроган. Эта растроганность мешала ему говорить. Перспектива осуществления всех возможностей, утраченных композитором в дни голода и нищеты, сделала его и восторженным и онемевшим в минуты беседы с Паганини. Но вот момент первого смущения прошел. Берлиоз спрашивает Паганини о здоровье, он в ужасе от того, что видел скрипача на эстраде здоровым и могущественным, а сейчас, вблизи, перед ним стоит усталый и измученный до последних пределов человек, сделавший без всякой корысти огромное благодеяние, хотя, по-видимому, здоровье его таково, что ему впору думать только о сохранении жизни.

Берлиоз заговорил о тайне волшебства, открывшегося с такой полнотой великому Паганини. Скрипач покачал головой. Ахиллино передал короткую фразу отца:

— Моя тайна не есть результат случая, это — плоды длительной, изнурительной работы. Изучайте природу своего инструмента. Начните с мысли о том, что вы его знаете не до конца. Свойства скрипки гораздо богаче, нежели об этом думали мои предшественники.

— О вас говорят, как о жреце Изиды,— ответил на это Берлиоз.

— О нет,— ответил Паганини,— мое божество просто называется скрипкой.

Берлиоз долго колебался, следует ли ему говорить о том, что ему, вследствие его связей с парижскими журналами и газетами, стало известным. Ему хотелось предупредить Паганини о новых опасностях, он чувствовал себя обязанным сделать это, и в то же время ему казалось, что заговорить о тяжелых и волнующих предметах сейчас, во время визита облагодетельствованного человека, невозможно. Берлиоз ежился, смущался и в конце концов неловко простился и ушел. Ощущение надвигающейся катастрофы, которая должна произойти вот здесь, в Париже, которая почти неотвратима, охватило его тотчас же, как только он вышел на улицу. Ему хотелось кричать, взывая о спасении Паганини. То, что происходило здесь втайне и что вело какими-то неведомыми путями к тому штабу, где вырабатываются новые способы нападения на Паганини, показалось Берлиозу чудовищным. Но ощущение обеспеченности, счастья и свободы опьяняло Берлиоза. Еще минута — и все мысли о Паганини исчезли. Чек в банк

Ротшильда, сверкающие золотые кружки, скромный, но изысканный вечер в кругу избранных людей, чтобы не было большого шума: музыканты завистливы и... «В самом деле, что я могу сделать для этого странного человека?» — вот мысли и чувства Берлиоза.

Доктор Паллеман, присланный друзьями и почитателями, констатировал ухудшение состояния больного.

— Весь Париж интересуется вашим здоровьем,— сказал он, обращаясь к Паганини.

«О да,— думал Паганини,— я знаю, что весь Париж. Дело в первой палате снова отложено, я опять под угрозой». Он смотрел на врача грустными, серьезными глазами, а губы шептали слова, не относящиеся к его здоровью.

Постепенно из редакции «Журналь де деба» и «Музыкальной газеты» вести о чрезвычайной серьезности положения Паганини стали проникать всюду.

Четыре знаменитейших парижских врача приведены на консилиум доктором Лаллеманом. После тщательного осмотра Паганини они удаляются на совещание в соседнюю комнату.

Молодой доктор Лассег, открывший манию преследования как тяжелую форму заболевания, доказывал, что Паганини страдает именно этой болезнью. Старый, почтенный психиатр Фовиль, написавший диссертацию о мании величия, настаивал на том, что Паганини одержим mania grandiosa. И только Жан Крювелье указывал на признаки полного нервного истощения и, обращаясь к истокам биографии своего пациента, удивлял своих почтенных коллег тонким знанием детских лет и юности Паганини.

— Я уже был у него однажды,— говорил Крювелье.— Это был день, когда кто-то испытал на нашем пациенте средство, открытое коллегой Субераном.

— Как? Что? — спросил доктор Ростан, поправляя очки.

— Да,— сказал Крювелье,— бандиты унесли мешок с золотом у него из квартиры, усыпив хозяина хлороформом.

— Но, я думаю, он от этого не пострадал,— сказал Ростан, обнаруживая свою солидарность со слухами, ходившими в Париже, о чрезвычайном богатстве Паганини.

Заговорил доктор Лассег:

— Основное свойство этого человека — чрезвычайное сопротивление рецепциям. Я считаю, что это произведение природы, именуемое синьором Паганини, обладает колоссальной силой сопротивления всем явлениям, которые ему

по природе чужды. Это исключительно продуцирующая натура. Я считаю себя компетентным в музыке и имею честь сообщить коллегам, что ни одно произведение скрипичных мастеров не было сыграно синьором Паганини без полной переработки, настолько ярко отражающей характерные черты собственной индивидуальности Паганини, что композиторы, которых он переделывает, имеют полное основание обижаться. Это упорство в восприятии чужого и вулканическое бурление собственных чувств, мыслей сопровождается у пациента гипертрофией индивидуальности, и как результат мы можем наблюдать сжигание нервной силы на собственном огне. С каждым новым выступлением сжигание будет идти крещендо.

— Я считаю положение его безнадежным,— отрывисто бросил доктор Крювелье.— Истощение в детстве и изнурительная, нечеловеческая работа заложили основание той болезни, которая вспыхнула сейчас с лихорадочной яркостью. Господин Паганини погиб. Это мильярная чахотка, раскинувшаяся от larynx'а; она скоро повлечет за собой перерождение всех тканей. Паганини подобен свинцовому чайнику, попавшему за Полярный круг. Твердый и вязкий металл под влиянием арктического мороза превращается в порошок. Спасения нет. Каждый новый концерт будет уносить пять лет жизни. Я думаю, что достаточно десяти концертов, чтобы на одиннадцатом Паганини выронил скрипку и умер.

— У него есть наследники? — легкомысленно спросил Лассег.

Крювелье промолчал.

— По-видимому,— бросил в воздух психиатр Фовиль.— Говорят, дела его крайне запутаны. Я слышал краем уха о том, что он писал в министерство юстиции, но письмо оставлено без последствий. Министр Лаффит был прав, когда заявил, что господа банкиры будут теперь формировать власть. Золотые аристократы, сидящие у нас в правительстве, не любят, когда люди чужого лагеря начинают прибегать к таким способам, какими вздумал разбогатеть Паганини. Он нанял каких-то авантюристов, Петивиля и Руссо, и хотел, спрятавшись за их именами, устроить в Париже выгодную спекуляцию. Дело сорвалось, и сам Паганини попал под суд. Если бы он совершил публичное оскорбление кого-либо, ему простили бы, конечно, но попытка разбогатеть в Париже, да еще такими средствами, не будет ему прощена.

— Вот как! — заметил Крювелье.— К чему же его приговорили?

— Однако мы отвлеклись,— вместо ответа напомнил Фовиль.

Крювелье не переспрашивал, так как сам знал гораздо больше, чем его коллеги. Доктор Ростан вынул из бумажника сложенный вчетверо красивый листок почтовой бумаги, заглянул в него, сложил опять и убрал.

— Итак, мы приговариваем пациента к смерти. Я должен буду огорчить господина Лаффита, который пишет мне о необходимости помочь Паганини.

Врачи переглянулись.

— Кому адресовано письмо господина Лаффита? — спросил Крювелье.

Несмотря на странность вопроса, Ростан ответил:

— Да, вы правы: письмо послано в Факультет, а не лично мне.

Крювелье наклонил голову.

— Итак,— сказал доктор Фовиль,— кроме созвавшего нас Лаллемана, высказались все.

Лаллеман, стоявший у окна и не произносивший ни слова, сказал:

— Факультету доложу я, а не доктор Ростан. Медицинский Париж отвечает за жизнь скрипача.

— О, конечно, конечно,— хором заговорили все врачи с самыми кислыми улыбками.

— Итак, с нынешнего дня категорическое запрещение каких бы то ни было концертных выступлений,— сказал Крювелье.

— Но, дорогие коллеги! — воскликнул доктор Лаллеман.— Как можно в столице Франции допустить?..— Лаллеман остановился, не находя слов.

— Медицина не вторгается в частные жилища,— сердито сказал Фовиль.— Что могут сделать парижские врачи, когда причиной своей болезни является сам пациент, а правосудие Парижа создает обстановку, вряд ли благоприятную для нашего пациента!

Фрейлейн Вейсхаупт, по знаку доктора Лаллемана, принесла конверты с тонкими чековыми бумажками в каждом. Врачи, обмениваясь шумливыми фразами, вышли. Остался один Лаллеман, который сел к постели Паганини и принялся твердо, настойчиво убеждать его подчиниться решению Факультета и оставить скрипку.

— Дорогой друг, любимый маэстро,— говорил Лаллеман,— с того дня, как я воспользовался вашим разрешением разлучить вас с музыкой, скрипки ваши находятся у вашего друга Алмани. Оставьте их у него и едемте со мной на юг. Уверяю вас, что не пройдет полугода, как ваше

здоровье восстановится полностью. Где хотели бы вы пожить?

«Об этом я должен спросить моего хозяина»,— написал Паганини на дощечке.

Хозяина позвали. Он вбежал, разгоряченный игрой, веселый и смеющийся. Он принес кипу писем, которые вырвал у госпожи Вейсхаупт. Разбрасывая их по полу, прыгая по комнате, он с восторгом принял предложение доктора Лаллемана отправиться на юг Франции, к морю.

В ту минуту, когда маленький Ахиллино прыгал на паркете перед отцом, четыре чрезвычайно элегантно одетых человека ждали внизу у подъезда, там, где кучера четырех экипажей, облокотившись на фонарные столбы, перебрасывались фразами на темы об алжирской войне, о восстании арабов, о том, что племянница одного из кучеров, Фаншетта, ловко подцепила молодчика, парикмахера с улицы Риволи.

Но вот доктора, в цветных цилиндрах и элегантных сюртуках, показались на лестнице. Кучера бросились к своим лошадям.

Группа элегантно одетых людей подошла к врачам: Гюго, Ламартин, Мюссе и Жорж Занд. С большой тревогой они искали глазами человека, к которому легче всего обратиться.

— С кем имею честь? — начал было доктор Крювелье, когда Мюссе подошел к нему вплотную. Потом, любезно осклабясь, всем существом выражая улыбку, Крювелье протянул руку Жорж Занд и поклонился Мюссе.

— Самое большее он проживет месяц или два,— сказал Крювелье.

Жорж Занд всплеснула руками. В это время из-за поворота показался человек среднего роста, с длинными волосами, с живыми блестящими глазами: это был Лист. Он едва не опоздал к условленному времени.

...Паер лежал на смертном одре. Он звал Паганини в бреду. В минуту облегчения он первым делом перелистал бумаги, лежавшие на огромном столе перед кроватью, нашел нужный документ и, запечатав его в тяжелый серый конверт, тронул колокольчик, стоящий на столе. Вошла синьора Риккарди. Она еще раз упрекнула мужа за то, что он запрещает отодвигать письменный стол от кровати, взяла конверт и вышла. Паер предчувствовал свою кончину и поэтому, не дожидаясь специального распоряжения Паганини, отправил в парижскую консерваторию документ, написанный его учеником в первые дни счастливого

пребывания в Париже. К вечеру синьора Фернандо Паэра не было в живых.

В консерватории к делам о пребывании синьора Паганини в Париже присоединили его собственное заявление. Оно начиналось обычными словами:

«Милостивые государи, тот прием, который соблаговолило оказать мне общество Франции, позволяет предполагать, что я не обману тех надежд, которые предшествовали моему появлению в Париже.

Если бы по поводу моего успеха могло возникнуть во мне самом какое-либо сомнение, то оно могло бы разрешиться тем, что стены Парижа заклеены моими портретами, похожими и не похожими на меня. Но дело в том, что старания портретистов не ограничиваются стремлением дать схожий портрет. Сегодня, проходя по Итальянскому бульвару, я увидел литографию, снова, как в прежние годы, изображающую меня в тюрьме. «Нечего сказать,— подумал я,— люди находят возможным наживаться, пользуясь тем обвинением, которое вот уже пятнадцать лет тяготеет надо мной».

По-видимому, по поводу моего тюремного заключения существует много историй, пригодных как материал для всевозможных иллюстраций. Например, рассказывают, будто бы я застал соперника у моей любовницы и убил его сзади как раз в ту минуту, когда он был лишен возможности защищаться. Что касается остальных, то они того мнения, что моя бешеная ревность обрушилась на мою любовницу. Не сходясь только в одном — каким способом заблагорассудилось мне отправить на тот свет милую женщину: одни уверяют, что я для этой цели воспользовался кинжалом трехгранной формы, а другие — что я предпочел яд. Что касается меня, то я полагаю, что есть люди, не стесняющиеся выдумывать и распространять про меня подобные слухи, но что же после этого мне сказать о рисовальщиках, которые пользуются правом изображать меня как им заблагорассудится на своих рисунках.

Приведу в пример случай, происшедший со мной пятнадцать лет тому назад в Падуе. Я концертировал там, и, насколько мне удалось заметить, концерты имели успех. Наутро после концерта, за табльдотом, по обычаю сидя скромно и незаметно, я был свидетелем разговора моих соседей о предшествующем концерте. Один собеседник не жалел похвал, его сосед был не менее лестного мнения. «В искусстве Паганини нет ничего удивительного,— внезапно вставил слово третий собеседник.— Я думаю, что если он провел восемь лет в тюрьме и за это время у него не

отнимали скрипку, то что же было ему делать с утра до вечера? Что касается тюремного заключения, то он был приговорен потому, что самым подлым образом зарезал моего друга, который был его соперником у женщин. Весь город возмущался низостью этого подлого преступления Паганини».

Никто не ожидал, что я вступлю в этот разговор. Я просто обратился к тому из говоривших, кто выдавал себя за наиболее осведомленное лицо, сообщающее о моих преступлениях. Тут все сидевшие за столом внезапно повернулись ко мне. Вообразите эффект и удивление. Вся публика, сидевшая в столовой, узнала во мне отъявленного преступника и негодяя. Рассказчик был смущен. Оказалось, что убитый вовсе не был его другом и что сам он слышал эту историю из третьих, четвертых, пятых уст. Со смущенным, жалким видом он говорил о том, что его могли ввести в заблуждение.

Милостивые государи! Вы видите, как злостно играют репутацией артиста. Люди, склонные к лени, не могут понять, что человек, поставивший себе большую цель, может достичь ее упорным трудом во всех условиях, может долго и напряженно работать тайком по ночам, и даже для вида притворяясь беседующим, и даже закрывши глаза, просто ходя по улицам. Поэтому лентяю и паразиту, живущему на теле общества, необходимо быть заключенным в одиночную камеру, чтобы понять творческую одинокость мысли человека, посреди всего городского шума остающегося наедине со своей творческой совестью.

В Вене я был очевидцем еще более странного происшествия. Что это, милостивые государи? Курьез легковерия, подогретый энтузиазмом моей игры, или что-либо злонамеренное? В Вене я играл скрипичные вариации под названием «Колдуньи». Они произвели совершенно необычайное впечатление. Но я увидел молодого человека с бледным лицом, с бородкой, с горбатым носом, с блуждающим взглядом, с неестественно возбужденным видом. Он смотрел на меня и громко уверял соседей в том, что он нисколько не удивляется моей игре, ибо с полной отчетливостью видит за моей спиной самого черта, стоящего около меня и управляющего движениями моих рук и напряжением моего смычка.

«Смотрите,— говорил молодой человек,— это поразительное сходство с самим Паганини. Черт и Паганини — это одно и то же лицо, лишь раздвоенное. Это двойники — один одет в черное, другой — в красное. Взгляните за спину Паганини, вы увидите существо в красной одежде с

рогами, с козлиной бородой, с выпяченной нижней губой, с улыбкой и сиплым смехом. Его красный хвост шлепает по туфлям синьора Паганини».

Милостивые государи! После подобного случая даже я сам как будто не сомневаюсь в справедливости этих слов. И вот отсюда возникает огромное количество людей, объясняющих секрет моего мастерства моим союзом с дьявольской, нечестивой, злонамеренной, злокозненной силой. Милостивые государи, меня возмущали и изводили все эти пакостные истории. Я пытался доказать всю их нелепость и смехотворность. У меня простая и грустная биография. Милостивые государи! С четырнадцати лет беспрерывно я выступаю публично. Пять лет подряд был я директором и придворным капельмейстером в Лукке. Присоедините к этому, что в течение восьми долгих лет много дней и много ночей я был заключен в одиночную тюрьму за убийство моей любовницы и моего соперника,— и вы видите, в силу простых арифметических вычислений, что год моего преступления, убийства, каторги и галер падает на время, когда мне едва исполнилось семь лет. Семилетним мальчиком я уже имел любовницу и убил соперника.

В городе Вене, прославленном городе искусства, я вынужден был прибегать к свидетельству посланника моей родины. Он выдал мне сертификат, удостоверяющий, что он, как посланник достославной Италии, в течение двадцати лет подряд знает меня за честного и добропорядочного человека, а я сам во всякое время могу доказать, что возводимые на меня обвинения суть не более, как наглая клевета».

Глава тридцать вторая
ДЫХАНИЕ МИСТРАЛЯ

Ветер южных городов Франции, свистя, разгуливает по полям и, внезапно врываясь в улицы маленьких городов, бешеным порывом рвет вершины деревьев, свивает листья клубками, валит фонари на городских площадях. Он повергает ниц высокие деревья и выворачивает камни. В ущельях гор и даже в маленьких изгибах переулков, даже в слуховых окнах мансард он вдруг начинает петь глухими и густыми звуками органа. Это «благодетельное божество Прованса», как называют его южане, дует с северо-запада и всегда приносит с собой ясную погоду. Ломая деревья, как тростник, он крутит гальку и мелкие камни. И беда, если человек попадет в эту вертикальную ка-

менную грядку, идущую наподобие древнего старого монаха по дороге. Этот маленький смерч, человекообразный, возникающий неведомо откуда, отшвыривает прохожих в придорожные овраги. Овцы бегут и собираются в тесный клубок, когда заслышат свист мистраля.

Карета Паганини двигалась третьей, несмотря на запрещение доктора Лаллемана, стремившегося уберечь больного от пыли. Синьору непременно хотелось, чтобы посередине ехала карета с Ахиллино и чтобы все время было видно эту карету.

Лаллеман писал доклад своим старшим коллегам:

«От Паганини осталась только тень. Он потерял голос окончательно. Голос к нему никогда не вернется, и только пламенные глаза и угловатые жесты, к которым мы привыкли, дают нам возможность с ним объясняться. Он соглашается играть в Марселе квартет Бетховена, когда его просят, и, несмотря на мое запрещение, выписал скрипки Гварнери и Страдивари от Алиани. Этот агент его славы вышел сейчас с ним из его кареты. Дело в том, что в Мартинике много жертв внезапной катастрофы. Паганини собирается дать в Марселе благотворительный концерт, несмотря на мое запрещение».

12 мая 1839 года, в Париже, «Общество времен года» всколыхнуло внимание Франции. На улице Бур л'Аббе отряд повстанцев захватил оружейные магазины, главари стали призывать парижан к оружию. У Дворца юстиции повстанцев оттеснили, они построили баррикаду на улице Гренетт, но к вечеру стрельба затихла. Барбес, Бланки, Бернар и Гинбо были арестованы, начался процесс «Общества времен года». А на юге зашевелился новый карбонарский союз «Молодой Италии».

В те дни, когда Дворцу юстиции было вовсе не до Паганини, внезапно возник еще один процесс против скрипача. Дело, бывшее на пересмотре, неожиданно получило новый поворот. В отсутствие Паганини началось дополнительное расследование всех его злодеяний, и приговор первоначальных инстанций был утвержден.

Доктор Лаллеман не решался говорить об этом Паганини, он боялся, что внезапное волнение может окончиться смертью. Приговор сводился к следующему: помимо выплаты единовременных штрафов, помимо конфискации имущества Паганини на покрытие всех претензий по устройству «Казино», Паганини обязан был игрою на скрипке, то есть безгонорарными концертами, заплатить по всем претензиям неожиданно возникавших жертв его алчности. Приговор королевского суда приказывал «синьо-

ру Никколо Паганини играть в Париже, в «Казино», не меньше двух раз в неделю, желательно ежедневно». Если же будут пропуски, то «за каждый пропущенный день из двух обязательных еженедельных концертов» Паганини платит штраф в шесть тысяч франков».

Ллалеман чувствовал, что волосы у него шевелятся. Он схватил карандаш и стал вычислять. Ему казалось, что он бредит. Он перечитывал этот потрясающий документ. Нет! Цифры были правильны, опечатка в одной строчке могла быть исправлена в следующей, но везде стояла цифра шесть тысяч франков за каждый пропущенный день.

Лаллеман вычисляет на листке бумаги — в году триста шестьдесят пять дней, сто двадцать пропущенных концертов в течение года лишают синьора Паганини половины его состояния, и во всяком случае, судя по имеющимся у доктора Лаллемана сведениям, в течение первого года Ахиллино Паганини превращается в нищего. Два года без концертов разоряют самого Паганини. «Говорят, его имущество доходит до трех миллионов франков,— соображает доктор Лаллеман.— Приговор ставит дело так, что каждый день жизни отца разоряет сына, ибо если бы Паганини умер нынче или завтра, то претензии к нему отпали бы. Каждый концерт — это яд для отца. Каждый пропущенный концерт — это крах для сына. Смерть отца оставит неприкосновенным наследство. Это — адский план. Эти люди должны знать, что несколько концертных выступлений в теперешнем состоянии больного будут достаточными для полного расчета с жизнью».

У правительства множество хлопот. Случай на улице Бур л'Аббе показывает, что Франция живет на вулкане. Можно ли кому-нибудь из правительства заниматься такими пустяками, как спасение от рук убийц величайшего мирового скрипача, проживающего у господина Сержана в Ницце?

Господин Сержан, в доме которого остановился Паганини, не стремится рассказывать о своем прошлом. Он — член революционного комитета, добровольно оставивший Францию в те дни, когда звезда ее свободы упала к ногам Первого консула. Спутник жизни Робеспьера и Марата, он был в Ницце в те годы, когда Шарлотта Робеспьер путалась на морском берегу с худощавым лейтенантом Бонапартом. Кто знал тогда, что этот лейтенант сделается императором французов! Теперь старичок Сержан, в темнозеленом сюртуке, в чистом голландском белье, доживает

свой век на морском берегу и сдает комнаты господину Паганини.

Но вечером, когда доктор Латлеман сидит с этим старичком в саду на скамейке, Сержан рассказывает доктору историю мраморного креста, стоящего на другом берегу предместья. Павел III, римский папа, пленник Бонапарта, провел несколько дней в Ницце по пути в Савону. Ницца только что была присоединена к Франции приказом Бонапарта. Речка Вар, разделявшая в этом месте владения Франции и Италии, соединяла свои берега маленьким мостиком, и вот римский папа увидел на другом берегу коленопреклоненную женщину. Он один вышел из кареты и пошел ей навстречу. Там, где стоит мраморный крест, произошла трогательная встреча римского первосвященника и другой жертвы бонапартовского деспотизма, королевы Этрурии, сосланной в этом году в город Ниццу.

— А девятого февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года,— говорил Сержан,— на севере гремели пушечные громы. Бонапарт был низвержен, и уже другой пленник — папа Пий Седьмой — возвращался свободным в свою столицу.

Этот мраморный крест, поставленный раболепными горожанами, внушал Сержану жестокое отвращение.

— Здешнее население суеверно,— говорил он доктору Лаллеману.— Впрочем, я уже много лет как дал обет вечного политического молчания.

В дни, когда доктор был наиболее встревожен газетными заметками о возобновлении судебного процесса и о доведении всего дела о «Казино» до королевского суда, Паганини внезапно почувствовал улучшение.

Чистый, отчетливый тон появлялся в сипящих словах, когда Паганини шевелил губами, и хотя Лаллеман был уверен в кратковременности новой вспышки энергии, он был поражен необыкновенной стойкостью этого организма простолюдина, этого истого генуэзца, худощавого, сухопарого, с жилами, похожими на стальные канаты, человека, проделавшего столько километров гигантского пути по Европе, сколько поколение наполеоновских генералов не покрывало в походах. Паганини сам любил говорить в эти дни о том, что «можно измерить до последнего пальма расстояние от эстрады к эстраде, от города к городу». Так вся жизнь прошла в карете, в гостиницах, в концертных залах, в придорожных трактирах, в роскошных отелях, куда Паганини переносил невзыскательные привычки человека, привыкшего жить впроголодь.

Пользуясь возможностью говорить, Паганини излагал доктору Лаллеману свои суждения о музыке, свой план — по выздоровлении построить исполинскую музыкальную консерваторию для всей Италии. Он говорил о началах нового искусства с огромным оживлением, с такой уравновешенной мудростью в глазах, с такой ясностью ума, что Лаллеман получил уверенность в бесповоротной победе организма над болезнью.

Лаллеман записывал суждения Паганини о музыкальном ритме: «Синьор Паганини рассматривает ритм как внутренний закон процесса. Он говорил о том, что время есть форма движения материи и внутренний закон процесса сказывается во времени в частом претворении ритма в звуках. Музыка — это невоплощенный ритм, это наиболее тонкая форма движения материи, в ней лучше всего сказывается внутренний закон процесса».

— Я шел к этому кружными путями,— говорил Паганини,— я нашел следы этого всюду. Есть способ преодоления пространства путем ускорения движения во времени. Я делал это для того, чтобы всюду посеять семена новой музыки. Добро, истина, красота, строй души одного человека, находящий себе отклик в чувствах других, весь мир человеческих взаимоотношений — это замкнутая ритмическая цепь. Добро и зло, истина, красота, ритм, стройность, а потом разлад — это аритмия. Беспорядок, вносимый в применение ритма истории, порождает бурю и волнение, дисгармонию в человеческом обществе, так же как камертон, поставленный неправильно, разбрасывает порошок ликоподия па пластинке. Вы можете найти ритм решительно всюду. Посмотрите, как ритмически повторяет природа смену времен года.

На этих словах, произнесенных достаточно громко, Паганини остановился. Дверь слегка открылась и, скрипнув, замолкла. Господин Сержан привстал, он вышел в соседнюю комнату, там никого не было.

— Никого нет,— сказал он, возвращаясь и садясь в кресло перед раскрытым окном.

В треугольник, образованный краями тяжелых бархатных портьер, врывался веселый солнечный юг, со всеми своими красками и звуками, с морским ветром, со щебетом птиц, с шелестом пенящихся волн, дробящихся о берег. Прохладный тихий ветер пробегал по листьям, шевеля ветки и слегка покачивая бахрому портьеры.

Большие старинные залы примыкают к комнатам больного. Полная тишина кругом. Скрипка лежит на бархатном кресле. Паганини устало откидывает голову.

— Так вы считаете, что добро и божественное милосердие не суть абсолютные начала мира? А где же место церкви?

Паганини покачал головой: казалось, он не понял.

Белокурый голубоглазый мальчик играет в серсо в саду под окнами скрипача. Золотое кольцо влетает в окно и, упруго ударившись в портьеру, падает на одеяло у ног Паганини. Раздается стук в дверь. Появляется испуганное лицо фрейлейн Вейсхаупт, глаза с острым напряжением смотрят на Паганини.

— Ну что же, входите, не бойтесь, фрейлейн! — говорит Паганини.

Старушка молчит. Доктор Лаллеман неловко встает и подходит к ней. Потом спокойно поворачивается к Паганини и говорит:

— Монсиньор Антонио Гальвани, епископ города Ниццы, прислал своего викария. Этот набожный священник говорит, что вы пригласили его. Святая церковь напугана вашим нездоровьем и, желая принести вам облегчение, предлагает вам исповедь, отпущение грехов и святое причастие.

Сержан встает. Паганини качает головой.

— Ну хотя бы для виду,— подходя к кровати, шепотом говорит доктор.

— Тем более — для виду,— хрипит Паганини. В глазах его появляется гнев, он откидывает голову на подушку.

Лаллеман совершенно растерян. Его вдруг мгновенно пронизывает мысль о неосторожности синьора Паганини, который отчетливо и громко произнес слова — ритм *в изменении времен года.* Весь Париж сейчас бредит этим, всюду ищут членов таинственного «Общества времен года». Что сделал этот больной, сам того не зная! Мысль доктора работает напряженно. Он, доктор Лаллеман, не связан ни с какой организацией, кроме парижского Факультета. У него честные стремления помочь больному, он не знает ужаса интриг, окружающих Паганини, и в этом сказалась тонкая хитрость тех людей, которые убили человека и твердо уверены в том, что он не воскреснет. В качестве свидетеля смерти они ставят человека, ни в чем не заинтересованного и не знающего их намерений. Доктор Лаллеман огорчен упорством Паганини. Он — старый, опытный врач, в глубине души — полный и законченный атеист, но он знает всесильное могущество римской церкви на юге Франции.

Рыбаки прибрежных сел и мещане города Ниццы, торгующие козьим молоком, цветами, вином и виноградом,

очень хорошо знают господина префекта, еще лучше знают агента полиции, живущего на их улице. Они хорошо знают монсиньора епископа Гальвани, еще лучше знают священника местной церкви, но они совершенно не знают и не хотят знать чахоточного человека, игравшего когда-то на скрипке. Они вправе ничего не знать еще об одном чахоточном, привезенном на благословенную Ривьеру; они узнают его только в том случае, если священник и жандарм укажут на этого уродливого негодяя как на врага церкви, и тогда все, что можно поднять с мостовой, полетит в стекла того дома, где умирает Паганини.

— Что же сказать? — с волнением спрашивает доктор.

Паганини открыл глаза. Он увидел встревоженное лицо старого человека, вспомнил, что священник ждет ответа, и громко произнес:

— Скажите, что еще рано, что я вовсе не собираюсь умирать, если ничего другого сказать не можете.

— Дайте ему что-нибудь,— шепнул Сержан доктору Лаллеману.

Доктор посмотрел растерянным взглядом, не понимая.

— Да, да,— вдруг спохватился он и стал искать шкатулку с деньгами.

Она куда-то исчезла. Пришлось обратиться к фрейлейн Вейсхаупт. Старушка отперла свою комнату и сказала:

— Я ее убрала. Новая прислуга проявила чрезвычайное любопытство к этой шкатулке.— При этом, механически, привычной рукой отсчитывая деньги для священника и вручая их доктору, фрейлейн говорила: — Синьор никогда не знает, сколько у него денег. Он всегда выведет из кареты сына, вынесет скрипки и никогда не вспомнит о шкатулке. В Праге мы случайно остались без денег при выезде за город, и вот видите: синьор, забросив шкатулку в карету, так и оставил ее в пражской конюшне. Пришлось ехать обратно, разыскивать.

Лаллеман вернулся, он был вполне удовлетворен необычайной скромностью священника. Казалось, этот человек не имел никакого злого умысла, у него был глуповатый и наивный вид.

Прошло три дня. Теперь уже двое священников стояли в вестибюле. В этот день Паганини чувствовал себя хуже, кровь полила у него горлом, носом, даже из ушей. Желтые руки хватали одеяло, и наступало беспамятство. Доктор ничего не говорил больному о настойчивости священников. Они вели себя довольно грубо. Один громко сморкался и харкал на ковер. Чувство страшного беспокойства охватило маленького Ахиллино. У мальчика были синие круги

под глазами, он сбивчиво рассказывал, что кто-то напугал его в саду криками о скорой смерти отца.

— Почему они зовут его проклятым? — спрашивал Ахиллино врача.

В три часа дня состояние Паганини ухудшилось. Он почти не приходил в себя. Тихие стоны сменялись редкими глубокими вздохами. Пытаясь достать скрипку в минуту прояснения сознания, Паганини опрокинул стол с графином воды и сам упал с постели. Никто не пришел ему на помощь, так как в эту минуту помощник префекта полиции стучал деревянным молотком в наружную дверь. Полицейский передал доктору Лаллеману извещение о том, что на Паганини наложен штраф в размере пятидесяти тысяч франков за неявку в королевский суд. Одновременно было вручено приказание местных властей — немедленно явиться в префектуру и отбыть в Париж для тюремного заключения на десять лет. Приговор утвержден постановлением королевского суда 4 января 1840 года.

— Но ведь он болен, он страшно болен! — крикнул доктор Лаллеман, с удивлением и негодованием глядя на префекта.

Представитель полиции пожал плечами и вышел. Доктор, комкая в руках бумагу, пошел по направлению к комнате, где лежал Паганини. Это было 27 мая 1840 года, в четыре часа пополудни.

Он нашел Паганини мертвым. Извещение королевского суда Франции запоздало.

Но не запоздала синьора Бьянки, вечером она была в Ницце. О, как безутешна была эта вдова, обнимая своего маленького и милого Ахиллино и обливая его голову слезами! Она упрашивала синьора помощника префекта на минуточку допустить ее к вскрытию завещания.

Два жандарма и четыре полицейских чиновника охраняли все выходы из дома, пока помощник префекта опечатывал тяжелыми сургучными печатями пакеты, переписку, ноты, документы, шкатулки. Он хотел опечатать даже корзину с детским бельем.

— Умерло безголосое чудовище,— говорил садовник, когда толпа зевак собралась у подъезда дома Паганини,— умер проклятый дьявол. Не допустил священников, умер без покаяния, как собака. Его труп оскверняет наш город.

Синьора Антониа Бьянки тщетно умоляла священника совершить последний обряд над покойным возлюбленным супругом. Ни один священник не шел, у всех на лицах было написано полное недоумение. Синьора тревожилась.

На утро следующего дня прибыли неизвестные люди. «Музыкальная газета» в Париже печатала депешу от 27 мая 1840 года:

«Умер в Ницце знаменитый скрипач Паганини, завещав свое великое имя и несметное состояние своему единственному сыну, красивому мальчику в возрасте четырнадцати лет. Бальзамированное тело Паганини было отправлено в город Геную на родину скрипача. *Будем надеяться, что и это сообщение, как и все предшествовавшие сообщения о смерти Паганини, будет счастливо опровергнуто».*

Это объявление «Музыкальной газеты» опровергнуто не было. Оно оказалось правильным во всем, кроме последнего — сообщения о погребении в Генуе.

Глава тридцать третья
ЗАГРОБНЫЕ СКИТАНИЯ

— Я привез с собой все необходимое,— сказал доктор после двухдневного отсутствия.

Худое тело Паганини лежало на жесткой деревянной кровати. Рядом стоял стол, накрытый клеенкой. Баночки, мензурки и тяжелый стеклянный шприц были разложены и расставлены на этом столе. Доктор быстро приступил к своей операции, быстро ее закончил. Методически он вводил в мышцы и под кожу, в вены и в артерии тела Паганини средство доктора Ганналя. Это был раствор хлористого цинка. После двухчасовой работы мышцы приобрели естественную округлость, кожа перестала обвисать и морщиться на теле. Лаллеман не коснулся лица. Затылочными мышцами и волосами скрыты были места самых больших головных уколов. Лицо было спокойно. Телу Паганини не грозило уже разложение, оно могло, постепенно все более и более высыхая, сохраняться, не разрушаясь.

Синьора Бьянки дважды приезжала из гостиницы. Она становилась все мрачнее и мрачнее. Ахиллино был до такой степени напуган кем-то, что после двухчасового припадка, когда он бился ногами и головой об пол, у него появилась пена на губах, и он заснул тяжелым, лихорадочным сном.

Синьора заказала металлический гроб, но в дальнейших хлопотах нигде не могла добиться никакого толку. Странное затаенное молчание говорило о том, что где-то происходила какая-то работа, сделавшая предусмотрительные заботы доктора Лаллемана чрезвычайно необходимыми.

Две свечи по углам зала дымили в полутемной комнате. Так прошло три дня, пока наконец синьора получила категорический отказ местных священников прийти и прочесть отпустительную молитву. Цепкие руки держали Паганини на земле и не позволяли опустить его в землю. После двух дней тщетных просьб синьора подала жалобу монсиньору епископу города Ниццы. На третий день она была допущена в парлаторий местного монастыря и через решетку, издали, увидела осанистого и важного молодого человека, который в резких выражениях дал ей понять, что Паганини, умерший как безбожник и живший как нечестивец, не только прошел мимо благодати святой вселенской церкви, но оскорбил ее грубым отвержением милосердного и снисходительного предложения примириться с церковью. Эта длинная витиеватая фраза, произнесенная через решетку, как заклинание, звонким и резким голосом средневековой литании, вдруг показала синьоре Бьянки всю значительность происходящего.

Она поняла свою бесконечную правоту, заставившую ее отшатнуться от этого человека при жизни. Но завещание!

Завещание наконец было вскрыто. Оно было составлено еще задолго до смерти и подписано 27 апреля 1837 года. Перед расставанием Гаррис сделал все, чтобы оградить имущество своего друга и почитаемого маэстро. Миллионные суммы франков, вложенные в акции и облигации государственной ренты Англии и королевства обеих Сицилий, обеспечивали на долгие годы любимца и наследника, Ахиллино. Но некая дама из города Лукки имела получить значительную сумму денег на специальные цели, ей одной известные и ей завещанные. Знаки, эмблемы и сертификаты эта дама представит сама, не объявляя своей фамилии. Они подробно перечислены, зарисованы и описаны в завещании.

«Матери моего ребенка,— говорилось дальше в завещании,— вы обязуетесь обеспечить именем моим пожизненную ренту в тысячу двести франков. Маркиз Лоренцо Паренто, синьоры Джамбатиста Джордани, Лаццаро Реббицо и Пьетро Торрильяни, генуэзцы, приглашаются в свидетели и в охранители моей воли».

«Странный человек этот Паганини,— писала «Музыкальная газета».— Для того чтобы завершить нелепость своей жизни, он довел до кульминационного пункта нелепость своей смерти. Что может быть смешнее этого завещания: его можно назвать завещанием сумасшедшего, завещанием чудака».

В самом деле, скажет читатель, не странно ли обеспечивать женщину, сделавшую столько вреда своему мужу? Не чудачество ли синьора Паганини заставляет его завещать восемь скрипок с мировыми паспортами не только друзьям, но и врагам? Почитайте, кому перешли эти дивные инструменты — Амати, Гварнери и Страдивари. Вот имена восьми скрипачей, получивших по завещанию скрипки Паганини. Это — Берио, Эрнст, Липинский, Майзедер, Молик, Оле Булл, Вьетан и, наконец, Шпор. Да, и Шпор является наследником великого маэстро, огромного духа Паганини.

«У меня остается одна надежда,— писал Паганини Фердинанду Паеру,— что после моей смерти оставят меня в покое те, кто так жестоко отомстил мне за мои успехи скрипача, что не нарушат покоя моего и не оскорбят имени моего, когда я буду лежать в родной земле».

Синьор Паганини ошибся. Он лежит, поверженный в прах. Доктор только что снял белый халат. Мертвеца одели и положили в цинковый гроб, напоив страшным питьем из хлористого цинка. Вот, после мирового турнира, этот рыцарь скрипки лежит в гробу. Все ждут, что наконец отворится дверь и войдет черный рыцарь, поднимет забрало и скажет:

— Да, это я враждовал с этим человеком всю жизнь.

Дверь отворилась, и вместо черного рыцаря с опущенным забралом, жестокого и гордого, появился маленький грязный монах с измятой бумажкой в руках. За ним вошли двое неожиданных посетителей. Это были мужья сестер Паганини. Одну из них Паганини вспоминал при жизни, о другой сестре знал только понаслышке. Но в завещании, напрягши свою память, упомянул обеих. Появился и Андреа Паганини, объявивший себя самым родственным из родных, хотя нигде ни разу сам покойный скрипач его не упоминал. Семья католических мещан бросилась на растерзание наследства умершего скрипача.

Монах с беспокойной ласковостью взгляда был похож на переодетого зверя. Он бегал глазами по комнате, но ни на ком не мог остановиться, что-то, по-видимому, хотел спросить и, сложив руки на животе, быстро-быстро крутил палец вокруг пальца. Осмотрев комнату, этот монашек спросил, кто хозяин дома. И, не увидев хозяина, с какимто загадочным и угрожающим видом подошел к дверям. Открыл дверь, чуть раздвинул портьеры и занавески, увидел Ахиллино Паганини и поманил его пальцем. Мальчик вошел и непринужденным, простым движением отодвинул портьеру; задержав ее левой рукой, он большими глазами

смотрел на монаха. Монах засуетился. Оставив комнату, он ринулся к выходной двери и исчез. Через минуту донеслись его дикие восклицания, обращенные к толпе. Господин Сержан, бледный, с трясущимися губами, вошел в комнату. Он подошел к Ахиллино Паганини и шепотом произнес какую-то очень короткую фразу. Щеки Ахиллино запылали, он ушел во внутренние комнаты дома господина Сержана.

В это время чудовищное зрелище представлял собою подъезд дома, где жил Паганини. Маленький монах в грязной одежде, стоя на верхней ступеньке лестницы, кричал толпе, собиравшейся у крыльца, что за этими дверями лежит страшный безбожник, отвергнувший покровительство и помощь святой церкви. Этот колдун, этот чародей питался мозгом младенцев и сделал струны своей скрипки из кишок убитой и замученной им жены. Монах сыпал клеветническими заверениями и говорил главным образом о том, что если человек имел дерзость отвергнуть помощь святой церкви, то он не только оскорбляет этим свое собственное тело после смерти, но и предает проклятию дом, в котором он находится, местность, где он умер, город, в котором он жил, кладбище, на котором его похоронили. Он говорил недолго, но настолько выразительно, что толпа, постепенно выраставшая до огромных размеров, была возбуждена до последней степени.

Старый дом был окружен со всех сторон. Пылкие парикмахеры; бакалейщики и клерки; женщины легкой профессии; продавщицы маслин и козьего молока; крестьяне, холившие свои виноградники,— все верные сыны католической церкви образовали цепь и окружили этой цепью проклятый дом, где лежал демон в цинковом гробу. Они требовали выдачи трупа и предания его огню. Подняв придорожные камни, вооружившись кольями, мотыгами, кирпичами, чем попало, они двинулись к последней обители великого скрипача, угрожая снести до основания дом, в котором лежит его проклятое тело.

Почтенный господин Сержан не успел опомниться, как в окна полетели камни и на крыше оказались бойкие, бедовые ребята, владельцы соседних голубятен. Все это ломало рамы, выбивало стекла, осаждало дом, где ни в чем не повинная груда костей и оцинкованных хлорированных мышц напоминала о том, что умер затравленный французскими банкирами и римской церковью величайший скрипач, какого когда-либо видел мир,— Никколо Паганини.

— Где это чудовище? — кричали голоса.— Покажите его нам!

— А вот мы сейчас его покажем! — раздавались голоса в другом конце улицы.

Но в эту минуту небесное зрелище остановило толпу. Молодая красивая синьора в розовом платье, с огромной пальмовой веткой в руках, стояла перед толпой на верхней ступеньке лестницы, ведущей в дом.

— Тише,— произнесла эта женщина и повысила голос.— Вы видите, что ваше волнение напрасно: я жива, вы видите, что мой покойный супруг, великий скрипач Паганини, лежащий в этих комнатах, не делал скрипичных струн из кишок своей жены. Я — жена покойного скрипача. Не моя вина в том, что он по недосмотру окружавших его докторов не мог приобщиться святых тайн и воссоединиться с церковью. Я прошу вас разойтись и не тревожить праха усопшего.

Толпа отпрянула. Черепицы крыши, валявшиеся на тротуаре, и осколки стекол свидетельствовали об успешном начале операции.

Господину Сержану было не по себе. Странные слухи о магии и колдовстве обежали все побережье, надо было принимать какие-то меры.

Господин Сержан невольно вспомнил былые времена, когда он стоял в карауле около трупа зарезанного Марата и утешал Симонну Эврар, уроженку парижских предместий, которая разделяла трудный путь и бессонные ночи великого Марата, Друга народа. Он и теперь считал своим долгом охранять безутешную вдову замученного Паганини. Но тогда молодой, семнадцатилетний гвардеец гражданин Сержан готов был отдать всю свою кровь революционным Секциям, и гражданка Эврар могла рассчитывать на то, что мальчишка Сержан отдаст свою кровь до последней капли на защиту тела Марата, если уж случилось такое несчастье, что аристократка Шарлотта Корде ударила ножом в сердце Друга народа.

А теперь этот старый человек в темно-зеленом сюртуке бегал по комнатам и не знал, что ему делать. Дымятся свечи с обеих сторон на двух концах гроба Паганини. Синьора Бьянки безутешна. И мальчик!.. Ах, какой удивительный мальчик! И как жаль, что в этом возрасте выпало ему на долю такое горе... Но дебелая и пышнощекая синьора Антониа Бьянки нисколько не была похожа на Симонну Эврар.

Под утро новая толпа народа собралась у подъезда, и когда господин Сержан вышел из двери, бойкий семинарист ловко попал булыжником ему в глаз. Господин Сержан упал, за первым ударом последовал второй, потом

набросилась толпа, и через десять минут господина Сержана, окровавленного, избитого, с переломанными костями, унесли в госпиталь.

К счастью, на следующий день появились душеприказчики, отмеченные в завещании, и начался настоящий торг с духовными властями города Ниццы.

Ночью в гостиницу, где проживала синьора Бьянки, явились трое неизвестных людей и предложили, ввиду чрезвычайных осложнений с погребением синьора Паганини, а в особенности ввиду того, что, вероятно, жизнь покойного супруга была ей самой неизвестна, отвезти синьора в укромное и тихое место в сердце французского королевства и там похоронить тихо и бесшумно. А недели через две-три молва затихнет, и можно будет не возобновлять печальных разговоров.

Белолицый худой человек с необыкновенно симпатичным лицом, чарующе спокойным и ясным, совершенно покорил синьору Бьянки.

— Что же,— говорила она,— я согласна.— И, как опытная хозяйка, спросила при этом: — Я не знаю, как и кого за это вознаградить?

Но тут выступил добродушный и спокойный человек, он говорил:

— Знаете что, сударыня, я похороню его у себя, мне придется претерпеть то, что предвещают наши духовные лица. Но что же делать, я согласен, лишь бы только была обеспечена моя семья.

— Подождите,— сказала синьора и вышла из комнаты.

В соседнем номере гостиницы спал Ахиллино. Неузнаваемо повзрослевший за эти дни, мальчик уже вполне отдавал себе отчет в том, что раскрыла ему жизнь. После первых припадков помешательства он сделался меланхолическим, тихим ребенком и вполне понял и оценил все могущество церкви, предписывающей абсолютное повиновение авторитету даже тогда, когда здравый смысл и все существо человека протестуют.

Мать разбудила и привела его, в детском халатике, в туфлях на босу ногу.

— Ахиллино,— сказала синьора Бьянки,— мы с тобой оба являемся жертвой отцовского безумия.

Ахиллино опустил голову. Он молчал и ждал, что скажет женщина дальше.

— Итак,— сказала синьора,— вот этот человек,— она резко подчеркнула это слово, указывая на родного сына,— вот этот человек, который может располагать средствами.

Ахиллино поднял глаза на того, к кому были обращены слова матери. Синьора Бьянки объяснила:

— Он хочет похоронить отца тайком где-то в центральных провинциях.

Маленький Ахиллино посмотрел на этого человека.

— Ну, хороните. Хотя отец завещал похоронить его в Генуе. Должно быть, он не знал, что это будет так трудно.

Синьора Бьянки, обращаясь к сыну, сказала:

— Но надо платить деньги.

— Сколько?

Быстро карандаш начертал что-то, и синьора прочла: два с половиной. Это была только цифра два и потом дробь: половина.

— Не понимаю,— сказала она.

— Два с половиной франка? — спросил Ахиллино, и вдруг вся его детскость сказалась в этом вопросе.

Посетители переглянулись горестно. Странная улыбка прошла по их лицам. И только тот, кто написал эту цифру, сипло захохотал.

— Две с половиной тысячи франков? — спросила синьора Паганини с надеждой в глазах.

Опять молчание.

Посетители встали.

— Синьора и вы, молодой синьор, отдавайте два с половиной миллиона франков — все, что вам завещано. А иначе будет плохо и вам и вашему папаше...

...Завещание не было утверждено. Наступила новая работа для душеприказчиков синьора Паганини, тихих буржуа города Генуи, и для тех, кто бескорыстно хотел помочь,— для маркиза Сезоля и графа де Местра, которые считали себя достаточно авторитетными представителями легитимистских партий на юге Франции. Сезоль и де Местр посоветовали душеприказчикам, поименованным в завещании Паганини, подать жалобу в гражданский трибунал города Ниццы. Обвинение Паганини в колдовстве, в магии и чародействе в середине XIX столетия, по их мнению, звучало диким отзвуком невежества средних веков. Но судебный трибунал города Ниццы полностью утвердил постановление монсиньора епископа города Ниццы Антонио Гальвани и даже усугубил кару.

И цепь замкнулась на протяжении всей Франции. Секретные инструкции, протоколы и циркуляры запрещали хоронить покойного Паганини в какой бы то ни было стране, где есть крест Христов.

«Да не будет он предан земле кладбищенской, городской, частной и государственной, помещичьей и крестьян-

ской, дворянской и графской, в лесах и полях, в виноградниках и фруктовых садах, у дворян в имениях или у купцов в городах, где бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом, а если тайно это свершится, то да будет прощен от всех грехов тот верный сын церкви, кто выроет это дьявольское тело из земли, и выбросит из гроба, и развеет по ветру».

Префект полиции и маленький монах объявили дом господина Сержана подлежащим передаче в ведение города. Был произведен обыск во всех комнатах, и, пока господин Сержан находился в больнице,— повинуясь массовому движению населения, господин префект города Ниццы со скандалом выволок гроб Паганини и поместил его в главном госпитале. Но верный сын церкви, главный врач, ненавидевший доктора Лаллемана, ничего не понимавший в музыке и больше всего дрожавший за свою шкуру, лечивший крестьян святою водою, а горожан — касторовым маслом, потребовал, чтобы в мгновение ока гроб был вынесен из госпиталя, ибо госпиталь есть место для восстановления здоровья, а не для похорон гнусных покойников.

Дорога на восток по каменистому берегу моря была чрезвычайно трудна. Восемь человек и впереди мальчик с фонарем, Ахиллино, измученный, с израненными коленями, шли, сопровождая гроб.

Дождь, гроза, буря и морской прибой провожали тело Паганини из Ниццы на восток.

Наступило серое и туманное утро. Горячее солнце накаляло воздух. Стало трудно дышать, в горных ущельях носильщики обессиливали. Маленький Паганини смотрел на то море, которое еще недавно видели глаза его отца. Мачеха, как он называл синьору Бьянки про себя, неподалеку разговорилась с красивым черноусым гробовщиком. Этот парень в черном цилиндре, в одежде с серебряными галунами, стрелял в нее глазами и указывал на горное ущелье, расположенное неподалеку от дороги. Ночь провели в этом ущелье.

Вилла Франка, лазарет, при лазарете — морг для утопленников, рыбаков и для тех, кого убили папские жандармы или почтенные бандиты больших дорог. В этом лазарете, среди трупов убийц, воров и проституток — цинковый гроб. Но там оставаться долее двух дней невозможно. Ахиллино один ездил в Польчеверу около Генуи и просил разрешения отвезти отца на знаменитое генуэзское кладбище, где стоят лучшие памятники, мраморные скульптуры, украшающие могилы знаменитых людей. В Польчевере вообще не знают, кто такой синьор Паганини, но напуганы

холерой и боятся всего, что, по мнению горожан, ее разносит.

Мальчик обходит дома именитых граждан и властей. С высокомерным или снисходительным видом рассматривают с ног до головы юного пришельца:

— Паганини? Не слыхали.

Наконец в погребе Вилла Франка за огромную сумму наличными удается получить приют для гроба синьора Паганини. Долгое путешествие по берегу Средиземного моря. Мрачная и тяжелая жизнь.

Синьора Бьянки, увидя, что ей не по пути с маленьким сыном, внезапно исчезла с нотариусом из Польчеверы, вытеснившим из ее сердца пробовщика. Мальчик остался один. Рядом с ним шагает высокий человек, похожий на парикмахера, приходившего к отцу на улицу д'Анфер в Париже. Это синьор Андреа Паганини; он хлопает Ахиллино по плечу и говорит:

— Подожди, еще увидим хорошие дни!

На побережье от Марселя до испанских берегов и от Марселя до Генуи были испытаны все средства подкупа.

Ночью, на пути к испанскому берегу, почти у самой испанской границы, появляется грязный высокий человек со сросшимися бровями. Он узнает историю этого страшного путешествия, похожего на странствования Изабеллы Кастильской, матери Карла V, скитавшейся за гробом своего мужа и ожидавшей его воскресения.

В это время на севере, в одной из столиц, темноглазый и сумрачный человек, продолжавший дело гениального Паганини, Франц Лист, говорил:

— Нет, не воскреснет Паганини!

Но появился странный человек со сросшимися бровями и предложил мальчику и его спутнику тридцать тысяч франков, лишь бы они отдали ему тело синьора.

— Не пройдет года,— говорил он,— как этот скрипач снова появится в Европе. Я его знаю, он воскреснет.

Ахиллино, сморщенный, хилый, с лиловыми кругами под глазами и желтыми пятнами на щеках, полный ужаса, слушал этого странного человека.

Утром какой-то новый спутник, присоединившийся к траурной процессии семьи Паганини, пояснил:

— Это чудовище, этот браконьер — это просто Агасфер, явившийся к вам. Это содержатель подвижных кунсткамер. Вы хорошо сделали, что его не приняли, иначе ваша сделка с ним воскресила бы не вашего отца, а молву о том, что умерший Паганини — колдун, отравляющий Ев-

ропу и заражающий чистый воздух нашей страны дыханием, от которого виноградинки перестают родить.

Вот наконец берег и за волнами моря — остров. Матросы на берегу у костра предлагают остановиться, разделить их скудный ужин из фрутти ди маре, из плодов, приносимых морем. Ахиллино и синьор Андреа садятся у костра.

Ночью гроб Паганини, по приказанию капитана безвестного корабля, перевозят на остров Сен-Фереоль. Если кто-нибудь был в этом месте Средиземноморья, то, высаживаясь на маленьком одиноком острове, вероятно, видел в пещере, словно сделанной нарочно над морем, место, где висел на цепях гроб Паганини.

Власти проведали о том, что Ахиллино похоронил отца на острове. Но юный Паганини не дремал. Теперь уже меланхолический, полупомешанный юноша, за эти годы он перебывал всюду.

Вот она, светлая юность Ахиллино: она растрачена на чтение пергаментов и старых книг, энциклик и булл, канонических правил, книг в пергаментных переплетах, древней, старой и новой печати. Ахиллино в Риме проводит дни в изучении параграфов и пунктов, глав и разделов, отделов и схолий, королляриев и аргументов, доказывающих его право предать тело отца земле.

Папский мажордом Маркезе приглашает его к обеду. Тонкие вина, прекрасные кушанья, музыка, пение, пляски; прелестные девушки, готовые на все и ничего не требующие, приходят тревожить сон Ахиллино в Трастевере. Легкий шепот на ухо говорит ему о том, что Ахиллино — дурак, Ахиллино — ступидо бамбино. Надо просто хорошо заплатить римской церкви. Отец будет похоронен, и сын будет доволен.

— Но как же это: просто за деньги? — спрашивает Ахиллино.

На это ответа нет.

Снова барка, и паруса, и ночевка на палубе. Скудный свет факелов, табак и спирт, рыбьи кости и пьяная ругань матросов.

Бордигера, Сан-Ремо, порт Морис и, наконец, Савона.

— Постранствуй после смерти так же, как римский первосвященник странствовал при жизни,— говорит Андреа, хлопая по плечу Ахиллино Паганини и стукая кулаком по гробу великого скрипача.

Но синьор Ахиллино Паганини теперь обладает купленным маркизатом, он — эччеленца; прошли годы, когда можно было над ним смеяться, он — один из лучших знатоков канонического права во всей Италии.

Церковь «Стекката» в 1853 году возносит молитву об отпущении грехов неслыханному грешнику. Миллион сто тысяч франков потекли золотым потоком по каналам консистории римской апостолической курии. Еще немного, и будут выжаты последние соки из этого Ахиллино.

Зрелый муж, не лишенный сумасбродного, меланхолического величия, маркиз Ахилло Паганини обращается к римскому первосвященнику с просьбой о выяснении загробной судьбы отца. И, как это ни странно, римский первосвященник, отвергая все предшествовавшие постановления, требует, чтобы два каноника, выехавшие из Рима, определили, насколько был повинен в ересях покойный отец, безвестный и презренный скрипач: надо сделать это ради сына, знаменитого Ахилло Паганини, верного сына церкви, каноника часовни «Стекката» в Парме, архидиакона римской церкви.

— Это пустая форма,— говорили маркизу Ахилло в Риме.

Но пустая форма растянулась ровно на двенадцать лет. Синьора Паганини к этому времени раза три-четыре зарывали в землю и выкапывали обратно.

И пока два каноника ездят по всем городам, где давал концерты покойный скрипач, синьор Ахилло успевает покрыться морщинами.

Наступил 1876 год. Из склепа на вилле Полеври гроб тайком перенесли в Парму, где впервые поставили в каменном склепе на кладбище. Но прошло еще семнадцать лет, прежде чем римский папа разрешил предать это тело земле.

Наступил 1896 год, когда впервые владелец виллы Гайона въехал — в цинковом гробу — в свое имение.

Седоволосый, желтолицый, огромного роста хилый старик, с опухшими веками и нависшими бровями — кавалер ордена святого Георгия, маркиз Ахилло Паганини стоит со свечой среди кипарисов. В маленькой ограде высятся восемь колонн. Над архитравом вздымается легкий купол, по фронтону — большая надпись: «Никколо Паганини».

Синьора Бьянки давно похоронена на севере Франции.

Маркиз Ахилло Паганини ждет прихода священника. Рядом с ним стоит венгерский скрипач Ондричек и играет раздирающую душу мелодию памяти Паганини. Потом скрипач уходит. Синьор Ахилло боязливо озирается. Свеча наполовину сгорела, а священника все еще нет. Неужели и в этот раз опять какое-нибудь новое вмешательство?

Но вот наконец приходит этот вершитель судеб. Суровый, грубый, с резкими движениями, с сознанием своей

власти над существом человека. По всем без исключения правилам святой римской католической церкви происходит полное погребение.

Внезапно прибегает синьор Андреа Паганини:

— Этот негодяй генуэзец не соглашается платить двести тысяч лир! Он говорит, что эти ордена, медали, булавки, иголки и запонки не так уж ему необходимы. Чего они от нас хотят, подлецы?

— Тише,— останавливает его Ахилло Паганини.— Вы и без того разменяли память моего отца.

Погребение закончено. В большой зале виллы Гайона собираются гости. Прошло пятьдесят шесть лет после смерти отца, и невероятным упорством маркиз Ахилло Паганини добился своего — его отец наконец зарыт в землю и смешался с прахом своей родины. Вот сидит священник, который говорит, что душа нераскаявшегося грешника теперь прощена богом и радуется радостью ангелов.

Маркиз Ахилло тихо прикладывает платок к глазам, а когда высыхают слезы умиления, он подсчитывает оставшиеся деньги и с ужасом думает о том, как дорого обходится людям воссоединение с католической церковью и как тяжело ложатся на детей грехи отцов.

1936 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий Корнелиевич Виноградов

ПОВЕСТЬ О БРАТЬЯХ ТУРГЕНЕВЫХ
ОСУЖДЕНИЕ ПАГАНИНИ

Заведующий редакцией *Н. П. Утехин*
Редактор *Т. Я. Шипова*
Художник *Б. Н. Осенчаков*
Художественный редактор *А. К. Тимошевский*
Технический редактор *А. В. Семенова*
Корректоры *И. В. Левтонова* и *Л. В. Берендюкова*

ИБ № 2642
Сдано в набор 21.09.82. Подписано к печати 22.12.82. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарн. литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 33,6. Уч.-изд. л. 38,37. Тираж 1 500 000 экз. (2-й завод 300 001—700 000 экз.)
Заказ № 709. Цена 3 р. 30 к.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Чтобы сохранить лесные богатства нашей страны, с 1974 года организован сбор макулатуры в обмен на художественную литературу, для чего расширен выпуск популярных книг отечественных и зарубежных авторов.

Сбор и сдача вторичного бумажного сырья — важное государственное дело. Ведь 60 килограммов макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, которое вырастает в течение 50—80 лет.

Призываем вас активно содействовать заготовительным организациям в сборе макулатуры — это даст возможность увеличить производство бумаги для дополнительного выпуска нужной населению литературы.

Виноградов А. К.

В49 Повесть о братьях Тургеневых; Осуждение Паганини.— Л.: Лениздат, 1983.— 639 с.

В книгу вошли художественно-биографические произведения А. К. Виноградова (1888—1946) «Повесть о братьях Тургеневых» и роман «Осуждение Паганини».

В $\frac{4702010200-085}{М171(03)-83}$ без объявл. **84.3Р7**